

ЮРИЙ КОЛЕСНИКОВ



Занавес
приподнят

ЮРИЙ КОЛЕСНИКОВ

Занавес приподнят

Р о м а н



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛУМИНА»
КИШИНЕВ * 1976

Роман посвящен событиям кануна и начала Второй мировой войны. Показана закулисная игра различных ведомств нацистской Германии и ее зарубежной агентуры, а также участие империалистических сил ряда стран в подготовке Гитлером нападения на Советский Союз.

В книге воссоздана атмосфера тревоги и неуверенности, порожденная тогдашней политической обстановкой в Европе и на Ближнем Востоке. Автор нарисовал картины жизни различных слоев: перед читателем проходят главари и руководители отдельных учреждений «Третьего рейха», члены румынской королевской семьи и их приближенные, крупные и мелкие коммерсанты, полицейские и темные политические деятели, рвущиеся к власти. Этой продажной клике противопоставлен трудовой народ, которому отданы симпатии автора.

Книга — многоплановая. Одна из коллизий разоблачает антинародную сущность сионизма, который, как показано в произведении, является обратной стороной фашистской медали. (Сокращенный вариант романа печатался в журнале «Октябрь» под названием «Земля обетованная».)

На страницах новой книги читатель встретится с некоторыми героями, уже знакомыми ему по роману Ю. Колесникова «Тьма сгущается перед рассветом».

1

Воскресный день в Берлине выдался на редкость пасмурным. Свинцово-серые облака повисли над городом, словно готовые осесть на крышах домов, расстелиться по тротуарам, по мостовой. Дул резкий, пронизывающий ветер. Однако погода не помешала «Третьему рейху», опьяненному новой победой вермахта, с особой пышностью торжествовать ликвидацию польского государства. Центр столицы напоминал густую рощу плакучих ив от бесконечных рядов свисавших с балконов и крыш огромных кроваво-багровых полотнищ со скрюченной в мутно-белом кругу свастики. Фонарные столбы были увенчаны пучками флагов. Рекламные тумбы, витрины магазинов, цоколи зданий и заборы на окраинах города пестрели большими плакатами: рейхсканцлер Адольф Гитлер, точно во внезапном приступе столбняка, застыл с широко открытым ртом... Под этим изображением стояла выведенная жирным готическим шрифтом подпись:

«Они захотели войну? Они ее получают!»

По улицам сновали празднично одетые берлинцы. Мощные радиоусилители разносили захлебывающийся гортанный голос имперского министра пропаганды доктора Геббельса.

Заглушая его истерические вопли, со стороны Шарлоттенбургского шоссе все чаще и сильнее доносились звуки медных труб и барабанного боя...

Недавно объявленная Англией и Францией война Германии явилась поводом для новых парадов войск, крикливых слетов коричневорубашечников. Австрия была аннексирована, Чехословакия оккупирована, Польша разгромлена... Национал-социализм был в расцвете!

Подкатившей на бешеной скорости к проезду через Ландверский канал черной автомашине преградила путь марши-

ровавшая под барабанную дробь колонна парней, как один коротко подстриженных и с задорно свисающими чубами. Несмотря на осенний холод и пронизывающий ветер, юнцы были в шортах выше колен и рубахах с засученными по локоть рукавами.

Шарфхрер СС — водитель громоздкого «адлера», оснащенного множеством поблескивавших никелем фар и мощным опознавательным прожектором сбоку передней дверцы, — терпеливо ждал, пока пройдет колонна. Как это полагалось при наличии в машине высокопоставленных пассажиров, он не выключал мотор. Изменить маршрут, двинуться в объезд он тоже не имел права...

Едва барабанщики прошли вперед, до сидевших в автомобиле Хории Симы, руководителя легионерского движения в Румынии, и сопровождавшего его штандартенфюрера СС Пуци Штольца донеслась знакомая обоим песня:

И пусть весь мир в развалинах лежит,
К черту! Нам на это наплевать...
Мы все равно будем дальше маршировать,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
А завтра — весь мир!
Завтра — весь мир!..

Хория Сима подался всем корпусом вперед, прильнул к стеклу, подчеркнуто восхищенным взглядом провожая каждую шеренгу горланивших юнцов, надменно косившихся на прохожих зевак. Высшим идеалом этих молодцов была война. О ней они мечтали, как о верном пути к почестям, наградам, известности, карьере.

Штандартенфюрер СС Штолец уловил восторженное состояние почетного гостя. На ломаном румынском языке эсэсовец пояснил:

— Это ест Хитлерюгенд!

— Я... догадался, герр штандартенфюрер! — заискивающе поспешил ответить Сима. — У нас тоже есть молодежь, готовая идти в ногу с этими восхитительными юношами!

Высокий, худой, с вытянутым желчным лицом, напоминавшим традиционный облик Мефистофеля, штандартенфюрер СС Штолец неприязненно поморщился, но тут же, в знак одобрения, слегка кивнул. Его задело, что зарубежный гость столь смело позволил себе сравнить каких-то молокососов с отборными молодцами «высшей расы», которым самим провидением предопределено править миром.

Пуци Штольц молчал. Так он делал частенько в подобных ситуациях, когда хотел дать понять собеседнику несравненность всего немецкого, арийского... Но, вспомнив, что недавно назначен «советником по особым делам балканских стран», а щупловатого соседа с опущенными полями темно-зеленой шляпы должны принять высшие чины абвера, и рейхсфюрер СС Гиммлер даже намерен якобы устроить ему аудиенцию у самого фюрера, эсэсовец торопливо посмотрел на часы и соорудил недовольную мину. Этим он хотел показать гостю, что раздражение его вызвано исключительно непредвиденной задержкой.

Шествие юнцов продолжалось, одна за другой следовали колонны со штандартами-впереди. Они направлялись в Спорт-палас на слет представителей семи миллионов членов «Гитлерюгенда», чтобы в очередной раз выслушать внушения о величии фатерланда из уст имперского руководителя национал-социалистской молодежи Бальдура фон Шираха.

— Досадная остановка... — наконец-то процедил сквозь зубы штандартенфюрер СС.

Хорию Симу это не огорчало. Наоборот, он с удовольствием смотрел на шествие, на чеканный шаг и стройные шеренги юнцов, и предавался давней мечте о том дне, когда и его зеленорубашечники будут вот так же маршировать по улицам румынских городов, а он, *Comandantul suprem al mișcării legionare*¹, будет принимать парад... «Когда, когда же, бог мой, настанет этот час?!» — думал Сима, отчетливо представляя себя с вытянутой вперед рукой на огромной трибуне бухарестского стадиона А.Н.Е.Ф. Размечтавшись, он не заметил, как съехал на край сиденья. Рывок машины откинул его к спинке и вернул к действительности.

Хвост последней колонны уже миновал перекресток, и шофер, быстро набирая скорость, направил черный лимузин вдоль Ландверского канала, по прилегающим к нему улицам с уютно разместившимися иностранными миссиями и посольствами, потом свернул на Тирпицфюрштрассе и почти тотчас же за поворотом резко затормозил перед темно-серым, исполосованным в целях маскировки зелеными и коричневыми красками четырехэтажным зданием.

В сопровождении штандартенфюрера СС Штольца, маленький и щупленький Хория Сима предстал перед недурно сохранившимся для своих пятидесяти двух лет адмиралом Канарисом. Невысокий, не очень плотный, со слегка выступающим животом, он даже в черном адмиральском мундире с широким

¹ Верховный главнокомандующий легионерским движением (рум.).

аксельбантом, свисавшим с плетеных серебристых погон на покатых плечах, выглядел подчеркнуто простым, почти домашним. Такое же впечатление производило и его продолговатое смуглое, отнюдь не чистоковно арийское лицо с прямым мясистым носом, большими умными глазами и нависшими над ними пушистыми седеющими бровями. Все в этом лице казалось мягким, приветливым: и открытый взгляд, и без напряжения сомкнутые губы, и округлый подбородок, и высокий лоб, и чуть мешковато свисающие щеки.

Еще издали — окинув оценивающим взглядом гостя из Румынии, адмирал медленно приподнял руку, доброжелательно улыбнулся и едва слышно, как человек, далекий от всяких формальностей, ответил на приветствие вошедшего. Мельком взглянув на эсэсовца Штольца, начальник абвера сдержанно ответил и на его звонкое «хайль Гитлер!», затем, указывая на лиц, находившихся в кабинете, коротко, называя только воинские звания, представил каждого зарубежному гостю. Делал он это неторопливо, даже флегматично, но не упускал случая снова и снова взглянуть на Хорию Симу. Впрочем, он и сам, знакомясь, не назвал ни своей фамилии, ни звания, ни тем паче должности, которую занимал здесь уже много лет. Спокойным жестом руки адмирал Вильгельм Канарис пригласил легионерского вожака сесть и сам степенно опустился в большое кожаное кресло, напротив гостя, по другую сторону продолговатого округлого стола, на котором красовалась замысловатая пепельница: скульптурная группа из пяти лягушек, приготовившихся выпрыгнуть из круглого бассейна. Вряд ли мастера саксонского фарфора, создавая эту изящную вещь, подозревали, насколько изобретательно используют ее специалисты ведомства смуглолицего адмирала... В открытых лягушечьих пастьях они установили миниатюрные, но весьма чувствительные микрофоны, скрытно, через доску стола и его ножки, подсоединенные к мощному аппарату звукозаписи...

Несколько в стороне от стола расположились заместители Канариса: начальник отдела кадров абвера и большой друг адмирала полковник Остер; рядом с ним всегда невозмутимый полковник Эрвин Лахузен, ведавший вторым отделом и слышавший одним из крупнейших специалистов в рейхе по организации саботажа и диверсий за рубежом. Его люди непосредственно осуществляли руководство разведывательной агентурой за границей через различные филиалы отдела, координировавшего всю шпионско-диверсионную деятельность против Советской России и еще совсем недавно — против панской Польши. В той мере, в какой это касалось Бессарабии и Буковины, отдел этот занимался и Румынией.

К главе абвера подсел приглашенный специально для данного случая личный переводчик Гитлера — широкоплечий дегтина Пауль Шмидт.

На душе у Канариса было тревожно и пасмурно. И, конечно, не погода была в этом повинна. Были к тому иные причины. Однако внешне это его душевное состояние ни в чем не проявлялось. Он начал беседу с гостем с расспросов о положении в Румынии, о настроениях легионеров и перспективах движения в целом, уточнял, какие оппозиционные правительству партии разделяют программу легионеров и политику фюрера, что представляют собою отдельные лица, занимающие ответственные посты в правительственных учреждениях и в армии. Интересовали Канариса взаимоотношения короля Кароля второго с окружающими его людьми, и с особой тщательностью он старался выяснить, насколько серьезно наследник престола молодой Михай поддерживает легионерское движение.

Коснулся адмирал и некоторых деталей деятельности военного министерства и сигуранцы².

Начальник абвера был не в восторге от характера и содержания ответов и рассуждений представителя легионеров. Ему, как и присутствовавшим на аудиенции, было очевидно, что Хория Сима склонен к многословию и аффектации, но не способен глубоко анализировать и обобщать. Тем не менее, кратко охарактеризовав политическую обстановку в Европе, в частности на Балканах, Канарис перешел к изложению сути вопроса, для решения которого Хория Сима и был приглашен в абвер.

— Вы знаете, — говорил Канарис, — что план фюрера предусматривал завершить победоносную кампанию в Польше преследованием польских войск, отступавших на территорию Румынии. Мы весьма признательны определенным лицам в вашей стране, способствовавшим открытию границы в северной Буковине для вступления поляков на земли вашего государства. И прежде всего это относится к легионерам — нашим верным друзьям, которые вовремя и соответствующим образом реагировали на этот акт, создав вполне благоприятный «казус белли»³... Повод для вступления вермахта в Румынию был более чем достаточен... Но, как известно, русские двинули свои армии навстречу нам и помешали овладеть восточными районами Польши, лишив нас тем самым возможности до конца осуществить план фюрера. Этот факт, как и ряд других обстоятельств, совершенно определенно свидетельствует, что де-

² Тайная полиция в королевской Румынии. Охранка (рум.).

³ «Повод к войне» (лат.).

ятели Кремля все настойчивее стремятся восстановить Россию в границах прежней империи!.. Это обязывает нас принять соответствующие меры.

Канарис замолчал, предоставив Паулю Шмидту перевести сказанное на румынский язык. При этом он привычно опустил голову, касаясь круглым подбородком галстука и исподлобья устремив пристальный взгляд на Хорию Симу.

— В конечном итоге все эти меры, — продолжал Канарис, медленно поднимая голову, — направлены на энергичную и всестороннюю подготовку к неминуемому, как говорит фюрер, столкновению Великой Германской империи с красной Россией.

Хория Сима порывисто встал и, вытянувшись в струнку, неожиданно громко, крикливо отчеканил:

— Через двадцать четыре часа после столкновения Германии с Россией наши легионеры объявят крестовый поход против большевиков!

Повторяя эту фразу по-немецки, Шмидт добросовестно имитировал и пафос гостя.

Канарис обменялся украдкой лукавым взглядом со своим заместителем полковником Остером и, жестом руки приглашая румына сесть и спокойно слушать, продолжил:

— Небесполезно знать вам, господин Сима, что, возможно, в ближайшее время Москва предъявит требование о возвращении России территории Бессарабии, занятой войсками вашей страны в восемнадцатом году... Именно поэтому возникла необходимость заблаговременно создать в Бессарабии надежную и широко разветвленную сеть наших людей, которая впоследствии сыграет роль своего рода «тройного кода»...

Слушая переводчика, Сима нетерпеливо ерзал в кресле, лихо вскидывая то правую ногу на левую, то наоборот. Всем своим видом он старался показать, что глубоко взволнован сообщением адмирала. В то же время Сима с гордостью думал, что немцам не обойтись без помощи зеленорубашечников и, естественно, их вождя, которому, как он ментал и верил, непременно суждено сыграть выдающуюся роль в истории...

Начальник абвера и в самом деле возлагал немалые надежды на легионерское движение.

— Очень важно, — подчеркнул он, говоря о вербовке агентов главным образом среди коренных бессарабцев, — чтобы вы, господин Сима, и ваши коллеги из «Тайного совета» безотлагательно приступили к тщательному подбору надежных людей и уделили максимум внимания их подготовке.

Следует помнить, что эти люди уже в ближайшее время будут призваны сыграть значительную роль в осуществлении наших общих планов борьбы с русским большевизмом.

Замолчав, Канарис холодно взглянул на висевший напротив портрет в овальной раме из дутой бронзы. Так бывало всегда, когда адмирал пребывал в дурном настроении. Портрет руководителя германской военной разведки времен минувшей мировой войны полковника Вальтера Николаи появился на стене кабинета вскоре после того, как Канарис принял бразды правления абвером. Разглядывая портрет, адмирал в который раз подумал, что вряд ли кто-либо лучше, чем в свое время Николаи, понимал, до чего неблагодарна работа в разведке, и все же он, как и покойный полковник, не мыслит без нее и дня своей жизни.

Раздумья эти пришли к Канарису в связи с новым замыслом, который он решил осуществить... То была игра ва-банк. От исхода ее зависело многое...

Разговор продолжил полковник Остер.

— Естественно, — сказал он, — что в Бессарабию, как только она станет пограничной зоной Советов с Румынией, будут переброшены отборные части Красной Армии. Таким образом, заблаговременно насажденной агентуре представится широкая возможность на месте развернуть свою деятельность. Однако главная цель Управления — это проникновение в глубь России! Такая возможность представится вслед за тем, как большевики откроют нынешнюю границу, проходящую по реке Днестр... И тогда наши люди должны будут перекочевать в заранее намеченные районы обширной территории Советов.

Остер обратил внимание Хории Симы на то, что осуществить эту переброску агентов нужно будет в кратчайшие сроки.

— Не исключено, — заявил он, — что пребывание красных войск на территории Бессарабии может оказаться относительно кратковременным... Это вытекает из концепции неизбежности столкновения Германии с Россией... В связи с этим фюрер и генеральный штаб вермахта пришли к твердому убеждению, что при подобном стечении обстоятельств Румыния не сможет остаться в стороне... Ее участие в военных действиях против большевизма — историческая необходимость!

— Прошу извинить, — прервал Канарис, — но я хочу заметить, что вступление частей Красной Армии в восточную Польшу явилось для нас некоторой неожиданностью... Я вынужден это констатировать потому, что если бы мы в свое время предвидели этот ход русских, то уже теперь в комму-

нистическом тылу была бы для нас более благоприятная обстановка... Надеюсь, господин Сима понимает, о чем я говорю?

Начальник абвера смолк. И только после того, как Шмидт перевел румыну и тот одобрительно кивнул, адмирал продолжил:

— Поэтому я вновь подчеркиваю, что Бессарабия — это, пожалуй, последняя благоприятная возможность для создания на территории Советов широко разветвленной и надежной агентурной сети. И ни при каких обстоятельствах эту возможность нельзя упускать! Нельзя еще и потому, что засылка в эту страну наших людей, как известно, сопряжена с чрезвычайными трудностями... Ни для кого не секрет, что ни в одной стране мира не существует столь неблагоприятных условий для легализации иностранных агентов, какие созданы партийным и административным аппаратом большевиков, не говоря уже об органах энкаведе⁴, перед которыми местное население испытывает чувство невероятного страха...

Канарис спокойно и внятно произносил каждое слово, делал частые паузы, чтобы дать возможность Шмидту точнее перевести сказанное.

Божак легионеров выслушивал фразу за фразой и в знак полного согласия, как фарфоровый китайский болванчик, то и дело размеренно кивал.

Начальник абвера и его коллеги все еще надеялись, что гость внесет какие-либо конструктивные предложения, вытекающие из специфики его страны, местных условий, но услышали лишь напыщенные заверения в готовности зеленорубашечников сражаться бок о бок с армией фюрера.

— Для румынских легионеров воля фюрера — святая святых! — вновь с пафосом заявил Хория Сима. — В этом я честно заверяю вас, господа!

Адмирал нахмурил брови: было очевидно, что приезжий — очередной экзальтированный фанатик, а подобные субъекты чаще всего не оправдывают надежд. Начальнику абвера ничего не оставалось, как попытаться наводящими вопросами заставить Симу от выпретенных фраз перейти к деловому разговору. В этот момент распахнулась дверь и появилась приземистая фигура полковника Бухса — начальника отдела охраны гестапо при абвере. Из-за его спины мелькнула голова секретарши Канариса с выражением растерянности на лице, хотя повадки ворвавшегося гестаповца не были для нее новостью. Выкинув на ходу вперед руку, Бухс прорычал

⁴ НКВД — Народный Комиссариат Внутренних Дел.

«хайль Гитлер», не обращая внимания на остальных, торопливо подошел к адмиралу и шепнул ему что-то на ухо. На лице главы абвера, настороженном и суровом, появилась неестественная радостная улыбка.

— Господин полковник, — обратился Канарис к Лахузену, — вы ближе всех к приемнику, включите, пожалуйста...

— Сейчас будет транслироваться выступление фюрера! — привычным голосом изрек Бухс. — Он в Спорт-паласе...

Пока аппарат нагревался, Канарис, почтительным жестом руки указав на Хорию Симу, представил его человеку с багровой шеей, широким подбородком и выпирающими челюстями, затем представил и того гостю:

— Это также наш полковник...

Бухс бросил высокомерный взгляд на поднявшегося с кресла Хорию Симу и звонко щелкнул каблуками. В то же мгновение он отвернулся, не удостоив румына рукопожатием, торопливо зашагал к радиоприемнику и грузно уселся около него — спиной к озадаченному вождю легионеров.

Подобной бестактности присутствующие не ожидали даже от Бухса, о грубости которого среди абверовцев ходили легенды. Злыми, серыми, как сухая полынь, глазами он вперился в панель приемника, где медленно загорался зеленый огонек. И когда сквозь треск радиопомех стал прорываться голос, Бухс восторженно вскрикнул:

— Фюрер!

— ...мы обязаны воспитывать нового человека в духе идеалов нашей партии, нашего мировоззрения, — доносился надрывный голос Гитлера. — И мы не потерпим никаких компромиссов!..

— Хайль Гитлер! — патетически взвизгнул вдруг Хория Сима, вскочив с кресла и выкинув молниеносным движением руку.

Все встали. Последним медленно поднялся Канарис. По его лицу пробежала тень недовольства.

Приемник изрыгал:

— ...молодые люди будущего должны быть мужественными и стойкими, ловкими, как пантеры, жестокими, как тигры, неутомимыми, как гончие собаки, и твердыми, как крупноповская сталь!

Гитлер говорил о «преданности и жертвенности». Его речь была то монотонно драматичной, то напыщенно страстной, то истерически крикливой. Временами им овладевала ярость, он хрипел и тогда уже нельзя было понять, что он говорит.

Искоса взглянув на Лахузена, Канарис уловил, что и тот недоволен комедией, разыгранной румыном. Сба деятеля аб-

вера отлично изучили друг друга. Всего два года назад Эрвин Лахузен возглавлял военную разведку Австрии. Однако связи его с Канарисом возникли и укрепились еще до присоединения этой страны к рейху, когда между Германией и Австрией было заключено секретное соглашение об обмене информацией, касающейся центральной Европы и стран Балканского полуострова. Контакты начальников двух разведок уже тогда выходили далеко за пределы этого соглашения. Когда австрийское правительство сочло нужным поделиться некоторыми секретными сведениями, касающимися Германии, с прибывшим в Вену по указанию Муссолини главой военной разведки Италии господином Роатта, Канарису тотчас же стало об этом известно. Больше того: Эрвин Лахузен устроил большой банкет в честь посланца дуче, подчеркнув тем самым желание правительства Австрии заручиться поддержкой Италии на случай конфликта с гитлеровской Германией, но именно на этом банкете он вручил Роатта сфабрикованную ведомством Канариса информацию, преувеличивавшую мощь вермахта.

Когда же вскоре сам Бенито Муссолини приехал в Мюнхен, Гитлер, желая убедить его в достоверности информации австрийской военной разведки, стянул сюда лучшие воинские части со всего рейха и устроил грандиозный парад вермахта. Дезинформация Лахузена — Канариса и наглядный показ военной мощи Германии произвели сильное впечатление на итальянского дуче. Вождь чернорубашечников пошел на попятную и в конечном итоге не стал препятствовать намерению Гитлера аннексировать Австрию.

Рейхсканцлер знал, кому обязан таким исходом дела, но не подозревал, что на протяжении всей службы в «Третьем рейхе» Вильгельм Канарис осуществлял исподволь, методично и тонко линию, прямопротивоположную его устремлениям, когда это касалось некоторых кардинальных вопросов... И поэтому время от времени адмирал был вынужден делом оправдывать и укреплять оказанное ему Адольфом Гитлером доверие. Правда, нередко чашу весов перетягивала то одна, то другая сторона его многообразной деятельности. Дезинформировав итальянцев, начальник абвера укрепил в глазах фюрера свой личный авторитет, а в лице Лахузена приобрел после аншлюса не только преданного помощника, но и верного единомышленника в вопросах, выходящих далеко за рамки деятельности возглавляемого им ведомства.

Долго еще неслись из приемника гортанные звуки. Гитлер паясничал:

— Дети мои! Я твердо верю, что вы всегда будете стоять вместе со мной и передо мной... И мы вновь пойдем в сраже-

ния и, как в былые времена, будем побеждать под знаком нашей свастики!..

Затрубили фанфары, заглушаемые нараставшим рокотом барабанов. Внезапно трескучий грохот оборвался и раздался звонкий голос подростка:

— Мой фюрер! Точно так же, как в прежние времена, мы выполним свой долг! И в будущем мы будем лишь ждать ваших указаний! ...Нет для нас большего счастья, чем выполнение приказов нашего фюрера!

Снова барабанная дробь и вслед за ней вся масса собравшихся на слет юнцов отрывисто, точно эсэсовцы на плацу, проскандировала:

— Мы здесь, со всех концов нашей земли... Мы ждем! Веди нашу страну, наш народ и нас к новым победам!

Трижды последовала команда «зиг!», каждый раз сопровождаемая протяжным ревом — «ха-а-йль!», и наконец воцарилась шумная пауза.

Когда было объявлено, что слово предоставляется Бальдуру фон Шираху, Канарис попросил выключить приемник. Он первым опустился в кресло и тотчас же предоставил слово полковнику Лахузену.

Излагая точку зрения отдела «Аусланд-абвер»⁵, руководству которым ему было доверено самим фюрером и, разумеется, не без содействия адмирала Канариса, полковник недвусмысленно потребовал от Хории Симы усиления кампании против румынской компартии, «разоблачения агентов Коминтерна». При этом он цинично заявил, что, «если таковых в природе не существует, то сторонники национал-социализма обязаны без малейших колебаний находить их...»

Лицо Хории Симы оживилось. То, о чем говорилось здесь, было ему особенно по душе. Коньком его деятельности, как и его сподвижников из «Зеленого дома»⁶, были провокации против коммунистов. Обрадованный возможностью блеснуть своими деловыми качествами, Сима тоном знатока стал перечислять некоторые виды «разоблачений», применяемых легионерами.

— Антикоммунизм, — заключил он свою речь, походившую на отчет, — главное в нашей деятельности! Во имя священной цели — спасения страны от франкмасонства — мы применяем любые методы, вплоть до физической расправы, не останавливаемся и перед жертвами наших людей...

Едва Шмидт перевел последнюю фразу, как заговорил полковник Бухс:

⁵ Заграничный отдел абвера (нем.).

⁶ Штаб-квартира легионеров в Бухаресте (рум.).

— Пусть вас ничто не беспокоит, когда вы делаете что-то полезное для германского рейха! И действовать надо всегда решительно и жестоко... Так приказывает нам фюрер! И знайте, что сильнейший всегда прав... После нашей победы судить будем только мы! Да, только мы, национал-социалисты, и никто другой!

В слегка прищуренных глазах адмирала промелькнуло едва уловимое презрение. Он не переваривал Бухса за необузданный фанатизм и тупость, но внешне поддерживал с ним почти дружеские отношения. Бухс был ставленник главы гестапо обергруппенфюрера СС Рейнгардта Гейдриха, который относился к Канарису с почтением и одновременно с определенным недоверием. Канарис это чувствовал, но не подавал виду. Он был доволен тем, что Гейдрих, желая иметь в абвере преданного ему человека, остановил свой выбор на мало смыслящем в делах разведки и вообще не очень блестящем проницательностью полковнике Бухсе. Этого-то «дикаря» Канарис всегда мог обвести вокруг пальца, что и делал многократно, сохраняя с гестаповцем весьма лояльные отношения... Начальнику германского абвера приходилось в большом и в малом вести сложную и хитрую игру. В свою очередь и Гейдрих не без умысла направил в абвер Бухса, о способностях которого был осведомлен.

Однако промелькнувшее невольно в глазах Канариса презрение к гестаповцу Бухсу было следствием крайнего нервного напряжения. Два дня назад ему стало известно, что Гитлер замышляет вернуться к плану «Зеелеве», то есть осуществить вторжение на Британские острова. Эта затея шла вразрез с далеко идущими планами начальника абвера. И теперь его мозг интенсивно работал в поисках выхода из создавшегося положения.

Шмидт перевел реплику Бухса, и Канарис, пожалев о допущенной вольности, заставил себя отвлечься от мыслей о плане «Зеелеве» и терпеливо выслушать перевод многословного ответа румына на глупую реплику гестаповца.

— Недавно я имел честь изложить в письменном докладе рейхсфюреру СС Гиммлеру результаты проведенной легионерами блестящей операции на нашей границе с Советами, — с чувством откровенного удовлетворения торопливо рассказывал Сима. — Она, кстати, состоялась на реке Днестр и принимали в ней участие бессарабские агенты нашего движения... Мы организовали, как, очевидно, уже известно присутствующим, крупный инцидент, получивший широкую огласку за пределами страны. Помимо возникшей в результате этой операции антисоветской волны, были скомпрометированы и мест-

ные коммунисты, которые вновь начали было завоевывать симпатии среди румынской интеллигенции. Одновременно нам удалось приобщить к этому делу известного инспектора генеральной дирекции сигуранцы. Ликвидация его дочери была инсценирована нами как дело рук коммунистов.

Канарис слегка барабанил по подлокотнику кресла и, снисходительно рассматривая легионерского деятеля, думал: «Прическа — со свисающей прядью, взгляд — быстрый, черты упрямства и непоседливости... Усики бы ему и, пожалуй, стопроцентное подражание нашему внуку...» — так начальник германского абвера тайне называл своего фюрера.

Перевод Шмидта Канарис выслушал с интересом. Из всего сказанного румыном он заключил, что среди сторонников сидящего здесь выскочки есть люди дела и орава оболтусов, готовых идти на самые рискованные операции. «Штольцу, разумеется, придется крепко поработать и, в первую очередь, прибрать их к рукам, обеспечить жесткий контроль над всей деятельностью легионеров... — подумал адмирал. — В противном случае от них можно ждать и нежелательных сюрпризов...»

Взгляд Вильгельма Канариса упал на штандартенфюрера СС. Его сухое, как у мумии, лицо было неподвижно. И только злые серо-голубые глаза порой настороженно скользили украдкой по лицам собеседников. Тем не менее Штольц не выдерживал встречного взгляда, он отводил глаза.

Сима излагал свои прожекты. Были среди них и дельные, однако первое впечатление, сложившееся о нем у Канариса, оставалось неизменным. Своим поведением и мышлением он чем-то напоминал ему бывшего фюрера штурмовых отрядов Рема. И начальник абвера твердо решил не делать ставку на Хорию Сима, к чему склонялся рейхсфюрер СС Гиммлер.

При этой мысли Канарис посмотрел на пепельницу с фарфоровыми лягушками, хотел что-то сказать, имея в виду, что запись его выступления «на всякий случай» останется в архивах абвера, но мысль убежала, перекинулась на Гиммлера, потом задержалась на далекой и незнакомой Бессарабии, вновь вернулась к Гиммлеру и, наконец, перекочевала к уже привычным раздумьям о намерении Гитлера осуществить вторжение в Англию...

Хория Сима продолжал говорить, а в соседней комнате безостановочно вращались катушки аппарата звукозаписи, фиксируя сообщения вожака легионеров и его заверения в преданности национал-социализму, германскому рейху, фюреру. Он гордо перечислял акции, осуществленные агентами легионерского движения против коммунистического подполья

и объявленных монархом вне закона некоторых других партий, не в полной мере разделяющих политику и действия зеленорубашечников; называл Сима и своих единомышленников, занимающих ответственные посты в правительственных учреждениях, в армии и полиции, в жандармерии и сигуранце...

Теперь Хорию Симу слушали не перебивая. Речь шла о людях, которым «Третий рейх» был в не малой степени обязан своими достижениями в Румынии, ближайшими перспективами. Одни из них отличались изощренной хитростью, другие безграничным тщеславием, третьи звериной жестокостью. И лишь немногие одарены были пронизательностью, умом. Но все без исключения принадлежали к убежденным авантюристам. Такими они были от природы, от рождения. Абверу они были крайне нужны. Тем более теперь, когда «троянский конь» должен был вступить в решающую фазу своей деятельности.

Совещание в кабинете начальника абвера продолжалось.

За стенами этого мрачного здания тем временем текла жизнь, обычная для столицы страны фанфар и тюрем, знамен и виселиц, штандартов и погромов, слетов коричневорубашечников и парадов войск, шантажа и речей дорвавшихся до власти авантюристов и маньяков...

2

Когда Илья Томов очнулся, его охватил страх: ему казалось, что он ослеп или погребен заживо. Вокруг было непроницаемо темно и неправдоподобно тихо. Он приподнялся и, вскрикнув от боли, пронзившей все тело, снова распластался на каменном полу.

— Заткнись, скотина!

Человеческий голос, донесшийся откуда-то сверху, несколько успокоил Илью. Преодолев боль, он все же приподнялся, ладонями ощутил, что лежит на холодном и влажном полу. Сверху пробивалась едва заметная узкая полоска желтоватого света. «Мерещится?» — подумал Томов и, чтобы убедиться, что это действительно свет, зажмурил поочередно один и другой глаз, потом закрыл и открыл оба. Понял, что находится в неосвещенном помещении. Сухим, шершавым языком он нащупал в левой стороне полости рта два вспухших гнезда вместо зубов; провел языком по правой стороне — и здесь было пустое местечко. «Выбили... Сволочи! Но жив. Жив!» — прошептал он и почувствовал, что губы стянуты плотной коркой запекшейся крови. Лицо горело, словно с не-

го содрали кожу. Трудно было дышать: казалось, что внутри все оборвалось и едва держится на тоненькой ниточке. Томов попытался лечь на бок и не смог; опять пронзила острая боль. Перед глазами замелькали блестящие черные лакированные сапоги низенького подкомиссара, который на допросе топтал и бил его ногами.

«Что же произошло? И как быть дальше?» — пытался Илья Томов восстановить в памяти весь ход событий и сделать какие-то выводы, но возникавшие мысли то и дело уводили его в сторону от главного. Он отчетливо вспомнил подпольное собрание в доме кузнеца, на окраине, около известной во всем Бухаресте казенной бойни. В тот вечер механик Захария Илиеску говорил о русских революционерах, и Томову особенно запомнился рассказ об одном из них. Его тоже били, пытали, а он, истерзанный, объявил голодовку. «...И выстоял!» — подумал Илья. Мысли его обратились к товарищам по подполью. «Знают ли они, что с ним стряслось и как отнесется к этому Захария Илиеску?» Потом он вспомнил родной дом. Хотел представить себе, как истолкуют в Болграде, небольшом городке на юге Бессарабии, весть об его аресте... «А что я говорил? Босьяк рано или поздно попадет в острог!» — будет злорадствовать бывший хозяин Томова, господин Гаснер. «Поехал учиться на авиатора, а угодил за решетку префектуры...» — скажут бывшие соученики Ильи по лицею.

Невероятная злоба охватила Томова. Он понимал, что матери теперь прохода не дадут на улице. Со всех сторон только и будут кивать в ее сторону да шептать: «Слыхали? Посадили! Ну конечно, наломал дров, сигуранца и арестовала... Уже в каталажку заточили!»

Лязг ключей, звон железного засова прервал поток мыслей. Скрипнула дверь, и тусклая полоса света упала на пол, скользнула по стенам. Томов успел заметить, что лежит на бетонному полу, что в камере нет ни единого окна. Сверху послышался хриплый голос:

— Вставай! Выходи...

В дверях, к которым вела короткая лестница, стоял полицейский.

— Вставай, слышь?! — грозно повторил он и перешагнул через порог.

Томов приподнялся, но встать не смог. Закружилась голова, боль обожгла все тело, и, обессиленный, он снова свалился на пол.

Полицейский тотчас же спустился по ступенькам и, извергая поток ругательств, схватил Томова за локоть, рванул

вверх и потащил к выходу. С трудом добрались они до уборной. Здесь полицейский мастерски запустил заскорузлую ручищу в шевелюру арестованного и резким движением сунул его голову под струю ледяной воды. Озноб пробежал по телу, еще сильнее заболели раны на лице, но в то же время Илья почувствовал некоторое облегчение: убавилось головокружение.

После короткой процедуры «приведения в порядок» полицейский повел Томова по узкому, казавшемуся бесконечно длинным, коридору. Наконец они миновали еще какое-то затемненное помещение и вошли в уже знакомый Илье «кабинет». Здесь были те же чины полиции, которые днем арестовали его, а потом вели допрос. Высокий, с болезненным лицом пожилой комиссар, сидя на стуле, рылся в железном шкафу; второй — подкомиссар, приземистый, с прилизанными на пробор черными, как смоль, волосами и такими же черными лакированными сапогами с жесткими голенищами, ерзал на подоконнике замурованного окна. Он глубоко, с наслаждением затягивался сигаретой в позолоченном мундштуке и искоса свирепо поглядывал на арестованного.

Томова посадили на табурет посреди небольшой грязной комнаты, напминавшей герметически закрытый сейф. Положив, как заведено в таких случаях, ладони рук с растопыренными пальцами на колени, Илья устался в досчатый пол.

Вдруг оба — комиссар и подкомиссар — как по команде вскочили со своих мест и, опустив руки по швам, вытянулись в струнку.

В комнату вошел и направился к обшарпанному письменному столу слегка сутулый человек в коричневом элегантном костюме с черной лентой поперек левого лацкана пиджака. Днем на допросе голос этого человека показался Томову знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда его слышал.

Окинув недобрым взглядом арестованного, вошедший зло бросил:

— Когда входит господин шеф, арестованный обязан встать. Здесь не кабак!

Стоявший позади полицейский чувствительно ткнул Томова кулаком в спину. Морщась от боли, Илья поднялся. Снова, как во время первого допроса, он стал вспоминать, где и при каких обстоятельствах слышал этот сипловатый голос, необычную манеру говорить монотонно, без отчетливых интонаций. И Томов вспомнил... У него перехватило дыхание. «Невероятно! Неужели это он помог тогда в гараже Захарие Илиеску избежать ареста? Но ведь, судя по всему, он тут большая шишка!.. Как же это?..»

Томов снова внимательно осмотрел господина шефа. На мгновение его взгляд задержался на черной муаровой ленте, перетянувшей лацкан пиджака. «Траурная... — подумал Илья, и точно же из множества мыслей возникла догадка: «Солокану! Неужто в самом деле он?»

Томов не ошибся. Это действительно был Солокану — инспектор Генеральной дирекции сигуранцы бухарестской префектуры. Этот страж порядка славился фанатической жестокостью. Легионерский «Тайный совет», прибегая к всевозможным ухищрениям, решил натравить его на компартию, скомпрометировав ее прежде в глазах общественности, а заодно свести с инспектором и свои давние счёты. Таковые у них имелись...

На границе с советской Россией легионеры учинили очередную провокацию. План был разработан до мельчайших деталей «Тайным советом» легионеров и одобрен Берлином. В качестве исполнителя был избран некий студент, однокурсник дочери инспектора сигуранцы Солокану, одно время принимавший участие в легионерском движении, но впоследствии разочаровавшийся в его «идеалах».

Студенту предложили пригласить дочь инспектора Солокану в кино. Студент отказался. Тогда ему напомнили о «присяге верности движению», которую он принес «капитану», и о том, что нарушение этой присяги карается смертной казнью. Студент согласился, и в тот же вечер, после того как его видели в кино с дочерью Солокану, ее труп был найден в окрестностях Бухареста. А студент, ничего не зная о случившемся, сидел в ресторане Северного вокзала в ожидании последнего приказа, выполнение которого, как было обещано в соответствии с «законом» легионеров, освободит его от необходимости впредь соблюдать присягу движению.

Представитель легионеров не заставил себя долго ждать. Студент был несказанно удивлен и даже польщен тем, что этим представителем оказался сам Николае Думитреску — один из вожakov движения, не без основания рассчитывавший в недалеком будущем стать главой государства, а пока прославивший себя участием в убийстве премьер-министров Румынии Иона Георге Дука и Арманда Калинеску. Что же касается приказа, который студент с подобострастной готовностью выслушал из уст самого Думитреску, то выполнение его показалось ему совсем не сложным и абсолютно не рискованным... Он-то ведь знал, что многие легионеры получали приказы членов «Тайного совета» Николае Думитреску и

Хории Симы, выполнение которых заведомо обрекало их на гибель.

Преисполненный чувства гордости за сказанную ему высокую честь и испытывая угрызения совести из-за своего отхода от «национального движения за спасение страны от франкмасонов», студент, как прежде, воспылал решимостью самозабвенно служить идеалам нации. Он выразил готовность выполнить приказ. Правда, он несколько смутился, когда Думитреску сунул ему в карман «на всякий случай» пистолет и дал понять, что приказ надлежит выполнить безотлагательно. При этом один из легионеров, в прошлом офицер армии его величества Лулу Митреску, тотчас же вручил студенту билет второго класса, деньги на расходы и на обратный путь. Размышлять было некогда: до отхода поезда оставались считанные минуты.

Студент ступавался, глаза его забегали по сторонам, худшее лицо совсем побледнело, очки съехали с переносицы на нос. Стараясь скрыть растерянность, он сказал:

— Все это так неожиданно... Надо бы предупредить жену об отъезде, ей нельзя волноваться, она в положении. И хотелось бы взять в дорогу плащ, вечером прохладно, а я налегке, в одном костюме...

Сочувственно взглянув на студента, Думитреску протянул ему свой новенький макинтош с поблескивавшим на подкладке большим фирменным ярлыком «Галери Лафайетт».

— Похвально ваше внимание к супруге, молодой человек, — сдержанным тоном произнес Думитреску, — но... откладывать отъезд нельзя. Да и не столь уж продолжительным будет ваше отсутствие — не более полутора суток. Смотрите, не простудитесь! — напутствовал он студента, прощаясь.

«Как, однако, несправедлива молва о жестокости Николае Думитреску, — размышлял студент, сидя в поезде. — Ко мне он был так участлив...»

Потом все происходило, как по расписанию: студент прибыл в пограничный город, всю вторую половину дня бродил по пыльным улицам, с неудовольствием отметил наличие множества лавчонок с еврейскими фамилиями на вывесках, заглянул в ресторан и даже побывал в невзрачном кинотеатре, который, к великому его сожалению, также принадлежал еврею. Когда же стемнело, он, точно следуя указаниям вожака легионеров, пошел по шоссе до заранее определенного каменного столбика с обозначенным километражем, от него свернул строго на девяносто градусов влево, прошел через небольшой овраг к Днестру — границе страны. Стрелки часов приближались к назначенному времени. Было уже

темно, когда показался силуэт ожидаемого человека «с того берега». Стоя с пистолетом в руке, студент произнес условную фразу и, услышав верный ответ на пароль, с облегчением вздохнул. Он даже пожалел, что казавшийся ему весьма романтичным приказ члена «Тайного совета» выполняется столь прозаически. Но, приблизившись к человеку, который должен был передать ему заветный портфель с «крайне важными для легионерского движения документами», студент признал в нем одного из легионеров, присутствовавших при разговоре с Думитреску. И тут же, словно из-под земли, перед ним выросла статная фигура того самого Лулу Митреску, который сутки назад в ресторане Северного вокзала вручил ему билет и деньги на расходы.

— К чему эта комедия, господа? — возмущенно спросил студент, полагая, что руководители легионерского движения усомнились в его готовности выполнить приказ.

Ответа студент не услышал. Перед его глазами блеснула огненная вспышка...

А на рассвете в нескольких шагах от Днестра фотокорреспонденты щелкали «лейками», снимая труп бухарестского студента с портфелем, набитым документами, раскрывающими дислокацию королевских войск и другие тайны военного министерства.

Исследуя вещи студента, следственные органы обнаружили на макинтоше пятна крови. Анализ показал, что это кровь убитой в предместьях Бухареста дочери инспектора сигуранцы Солокану. Заинтересованная пропаганда не замедлила сделать из сопоставления всех этих фактов выводы, которые, впрочем, были заготовлены заранее: «Убив дочь инспектора сигуранцы, стоящего на страже государственных интересов и безопасности суверенной страны, красный студент пытался перейти границу с портфелем, заполненным секретными сведениями».

С невиданным доселе усердием пресса стала трубить о необходимости принять решительные, безотлагательные, кардинальные меры для искоренения агентуры «соседней державы». Шпионов искали повсюду, но только не там, разумеется, где засели доверенные люди рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и ведомства адмирала Вильгельма Канариса.

Томов работал в те дни в автомобильном гараже «Леонид и К⁰». Как-то, беседуя со старшим товарищем по работе и наставником по подполью Захарием Илиеску, он сказал, что, будь он коммунистом, непременно пошел бы к отцу убитой студентки и растолковал, что коммунисты никак не могут быть причастны к убийству его дочери.

— Пусть он трижды свирепый инспектор сигуранцы и наш заклятый враг, но если ему дать понять, кто в действительности повинен в гибели его единственной дочери, он не оставит убийц безнаказанными, — горячась, говорил Томов. — И тогда, хочет этого Солокану или не хочет, лживые обвинения против коммунистов лопнут, как мыльный пузырь!

Илиеску ухватился за мысль своего воспитанника. Рискуя жизнью, он решился посетить инспектора Солокану, причем не на дому, а в самой цитадели королевской охраны. Он пошел в генеральную дирекцию, помещавшуюся в центре столицы Румынии, — в двух шагах от главной улицы Каля Виктории!.. Пошел в отведенную сигуранце часть шестиэтажного здания префектуры, которую в народе прозвали «*morgă regală*»⁷. Сюда даже полицейские чины входили с трепетом. В подвалах этого довольно мрачного здания, несмотря на длинный балкон вдоль всего фасада, размещались печальной славы «боксы». Это были железобетонные камеры, лишенные света и воздуха. В них томились и гибли борцы за народное дело. Сюда и пришел по своей воле коммунист Захария Илиеску, доложив дежурному, что у него срочное дело к инспектору сигуранцы.

Солокану принял его подчеркнуто равнодушно. Но когда Захария спросил, не думает ли господин инспектор, что чудовищное преступление, жертвой которого оказалась его дочь, совершено не коммунистами, как назойливо твердят некоторые газеты, а легионерами, бесстрастное выражение исчезло с лица Солокану. Он удивленно взглянул на Илиеску и, помедлив, глухо спросил:

— Почему вы так думаете?

— Хотя бы потому, что они жестоко мстят тем, кто активно противодействует им, а вы, господин инспектор, в свое время поймали «капитана» железнодорожников Корнелия Кодряну, и затем, как гласило официальное сообщение, «при попытке к бегству» он был убит... Есть и другие доказательства...

Солокану побледнел, сурово сдвинул брови и, слегка опустив голову, на мгновение закрыл глаза. На его скулах заходили желваки. Этот странный посетитель был первым человеком, высказавшим ему подозрение, давно уже возникшее у него самого. «Но кто он, этот Илиеску? — подумал Солокану. — Чем вызван его интерес к этому делу и какую цель преследует он своим приходом?»

Вопросы, которые стал задавать инспектор, придали беседе характер допроса. Но Захария предвидел это. Он не скрыл, что

⁷ Королевский морг (рум.).

в прошлом был судим за участие в нашумевшей забастовке железнодорожников бухарестских мастерских на Гривице, не утаил и то, что отсидел свой срок в неизвестной Дофтани.

— Стало быть, господин Илиеску и сейчас коммунист, коль скоро пришел защищать компартию? — сдержанно, не без лукавства заметил Солокану.

— Этого, господин инспектор, я не говорил, — спокойно ответил Захария. — И если вам угодно выяснять степень моей благонадежности, то вряд ли я смогу сообщить вам то, с чем пришел сюда.

Солокану понял намек. Конечно, он мог бы попытаться вырвать признание у Илиеску в его принадлежности к запрещенной компартии, мог арестовать его даже по подозрению в принадлежности к ней. Но Солокану чувствовал, что Илиеску не намерен вводить его в заблуждение, — напротив, по мотивам политическим он заинтересован в том, чтобы были установлены подлинны виновники гибели его дочери. И это последнее вполне совпадало с его собственным горячим желанием и твердым решением.

— В таком случае, я слушаю... — сказал Солокану, давая понять, что не склонен более заниматься выяснением политического кредо пришельца.

Изложение доказательств, которыми оперировал пришедший, не заняло много времени. Инспектор слушал настолько спокойно, что Илиеску показалось, будто его доводы воспринимаются как детский лепет и Солокану думает о чем-то совершенно другом. Это задело его, и он сказал:

— И кроме того вы, господин инспектор, допустили большую ошибку, когда отказались вмешаться в следствие... Этого только и ждали ваши недруги. Известно ли вам, например, что жена убитого студента никогда прежде не видела тот макинтош, на котором обнаружены следы крови вашей дочери?!

Солокану взглянул на своего собеседника большими и широко открытыми глазами и, не произнеся ни слова, неторопливо вышел из кабинета.

Илиеску остался наедине с беспокойными думами о товарищах по подполью, о доме и его обитателях — старушке-матери, труженице-жене и маленькой дочурке. Прошел час, другой, третий... Солокану не возвращался... Лишь поздно ночью он вернулся. И с порога едва слышно сказал:

— Пошел вон!

Захария вышел из зловещего здания, увидел над собой синее небо, мерцающие звезды, глубоко вобрал в себя чистый воздух и огляделся по сторонам. Не верилось, что он не сво-

боде. Ему было не ясно, какое впечатление все сказанное им произвело на инспектора. Подумывал Илиеску и о том, что Солокану, возможно, попытается разыскать его, чтобы продолжить прерванную беседу или для того, чтобы запрятать в тюрьму еще одного коммуниста.

Но случилось иначе. Сигуранца с помощью провокатора раскрыла одну из подпольных организаций партии, и в гараж «Леонида и К⁰» неожиданно нагрянула полиция. И вот тогда Томов, работавший в гараже вместе с Илиеску, случайно услышал за дверью диспетчерской незнакомый сипловатый голос человека, сказавшего механику, чтобы он немедленно бежал из гаража.

Илиеску удалось скрыться, хотя все выходы уже были блокированы полицией. На первой же явке Томов спросил Захарию, кто предупредил его о предстоящем аресте и посоветовал немедленно покинуть гараж, но Илиеску сказал, что не следует разглашать имя этого человека, и перевел разговор на другое.

И вот сейчас, второй раз за день, Томов слышит тот же сипловатый голос, который, как ему кажется, он слышал тогда в диспетчерской гаража.

Солокану сел в кресло с высокой спинкой, раскрыл папку и стал просматривать бумаги. Рядом с папкой на столе лежала полуметровая дубинка из круглой черной резины.

Бесшумно открылась дверь. Вошел дежурный полицейский комиссар с голубой повязкой на рукаве и что-то шепнул на ухо инспектору.

Солокану кивнул и, не отрываясь от чтения, чуть слышно сказал:

— Пусть входит.

В вошедшем Илья узнал своего земляка Сергея Рабчева.

Получив телефонограмму-вызов в сигуранцу, Сергей испугался; он работал на аэродроме Бэняса механиком в авиационном ангаре летной школы «Мирча Кантакузино» и больше, чем кто-либо другой, был причастен к нелегальной переброске главарей легионерского движения Хории Симы и Николае Думитреску за границу на самолете.

Потому-то прежде, чем отправиться в сигуранцу, он побывал в парикмахерской Заримбы. Надо было поставить в известность шефа. Но Гицэ Заримбы не оказалось.

— Патрон уехал в Добруджу, — сухо ответила кассирша.

Рабчев окончательно сник: «Горбун, — подумал он, — должно быть, пронюхал, что сигуранце стало известно о по-

лете самолета за границу, и он дал ходу!.. А может, его уже арестовали?!»

Рабчев решил было скрыться. План у него тотчас же созрел: «Выкачу из ангара новенький «Икар»... Кстати, он заправлен по самую горловину... Под видом проверки мотора в полете махну к Карпатам... А там рукой подать до Чехословакии. Ведь ее, как таковой, уже нет. Теперь это Протекторат. Немцы в обиду, надо полагать, не дадут. Из-за них, по существу, весь сыр-бор...» Но, продолжая рассуждать, Сергей подумал: «А почему сигуранца вызвала меня телефонограммой? Было бы что-нибудь серьезное, они бы еще ночью сами ко мне домой заявились... Прямо с постели заграбастали бы!»

И Рабчев все же решил идти в сигуранцу, хотя по-прежнему страшился. По дороге он снова пытался трезво взвесить все обстоятельства, чтобы найти способ уйти от ответственности, если речь пойдет о полете главарей легионеров за границу, и не заметил, как оказался на углу Каля Виктории и бульвара Карол, так ничего и не придумав. В полном смятении чувств вошел он в подъезд темно-серого здания префектуры.

Рабчева принял дежурный полицейский комиссар, и тут выяснилось, что в сигуранцу его вызвали всего лишь для того, чтобы узнать, с какой целью Илья Томов длительное время изо дня в день приходил в ангар. С лица Рабчева, словно мелькнувшая тень пролетевшей птицы, исчезла тревога. Он сразу обрел горделивую осанку, напыжился, а когда его ввели в кабинет, бросил надменный взгляд на арестованного земляка. Из-под широко распахнутого кожаного реглана на отвороте его пиджака виднелась никелированная свастика на фоне трех полосок цвета государственного флага.

— Господина знаешь? — спросил низенький подкомиссар, обращаясь к арестованному.

Томов глянул исподлобья на земляка и молча кивнул.

Низенький вскипел:

— Ты что, говорить не умеешь? Или язык присох?

— Знаю его... — с презрением выдавил Томов и вновь посмотрел на Рабчева.

— Кто этот господин? Как его звать?

— Рабчев. Сергей Рабчев, механик ангара авиационной школы...

— Прощу извинить, — восторженно вскрикнул Сергей, — моя фамилия Рабчу, а имя — Сержу...

— Верно, верно, — перебил его Томов. — Я не учел, что совсем недавно он стал «подлинным» румыном!

Полицейские переглянулись, и Рабчев поспешил уточнить, что вовсе не «недавно», а более года тому назад.

— Все правильно! — с усмешкой произнес Томов. — Без смены ярлыка в такое время далеко не уедешь...

— А-а! — обрадовался долговязый комиссар. — Так ты, оказывается, умеешь говорить! Вот как... — Что ж, мы слушаем.

Томов молчал.

— Я понимаю, — введливым тоном сказал низенький. — Ваша милость надеялась поступить в авиацию, чтобы потом перелететь туда, к красным? Ай?!

— Да, конечно! — в тон ему ответил Томов. — Перелететь на той модели планера, которую я еще в лицее склеил из бумаги и фанеры... Как это вы сразу не догадались?

Делавший вид, будто все это время рассматривает бумаги, Солокану поднял глаза и с любопытством взглянул на арестованного.

— О, как разговорился! — иронически заметил низенький и, уловив какой-то знак Солокану, добавил: — Что ж, в таком случае, поговорим!

Рабчев понимающе улыбнулся и, готовясь принять участие в предстоящем серьезном разговоре, выпрямился, солидно откашлялся, но... Солокану вновь подал знак комиссару, тот подошел к Рабчеву, что-то шепнул ему на ухо, и оба тотчас же вышли из кабинета.

Солокану сурово уставился на арестованного:

— Как я понимаю, господин коммунист не образумился?

Томов молчал и не шевельнулся, словно окаменел. Это был тот же голос, который он слышал за дверью диспетчерской. Теперь он уже не сомневался...

— Тебя, Томоф, спрашивают, а не стенку! — нарушил паузу низенький. — Говори правду, не то опять пустим тебя в оборот нашей «кухни»!..

Томов исподлобья взглянул на подкомиссара. Невольно подумалось, что эдакий тип ходит по городу, общается с нормальными людьми, а они, наверное, даже не подозревают, какой он выродок. Ничего не ответив, Илья с явным отвращением отвернулся от подкомиссара.

— Учти, — угрожающе продолжал подкомиссар, — все, что до сих пор ты получил здесь, — пустяки. Как говорят, «мизелик»...⁸ Впереди — «маса маре!»⁹

Подкомиссар выжидающе уставился на арестованного.

⁸ Закуска (рум.).

⁹ Обильно заставленный снедью стол (рум.).

Томов молчал.

— Видать, хочешь все же испытать это удовольствие? — вновь заговорил низенький. — Ассортимент у нас большой... Можно утюгом по спинке погладить, разумеется не холодным... И электрическим током можем вывернуть мозги наизнанку... А что ж? И пальчики прижмем в дверях, чтобы господин коммунист не мог в другой раз таскать листовки, прокламации и прочее такое... Нравится выбор?

Томов не произносил ни слова в ответ.

— Ну, а если и этим не будешь сыт, — продолжал ехидно подкомиссар, глядя в упор на арестованного, — то найдутся на нашей «кухне» блюда и посытнее... Например, раскаленные булавочки под ногти. Мечта! Это «маникюр» специально для коммунистов... Разве у вас, там, на сходках, об этом не говорили?

Томов молчал.

— Ага... Не говорили, значит. Так. А о том, как раскаленное добела железо прикладывают к пяткам? Тоже не говорили? Хм... Восторг! — причмокнул подкомиссар, пригубив три пальца. — Вдыхаешь аромат собственного мяса! Ни в одном ресторане не подадут такую «фриптуру!»¹⁰.

— Послушай, будь благоразумным... — посоветовал инспектор Солокану. — И никто тебя не тронет. Люди мы серьезные, словами попусту не бросаемся. Понял?

— Понял, конечно... — едва слышно ответил Томов.

— Тогда давай договоримся, — монотонно продолжал Солокану. — Не бог весть какие признания от тебя требуются. Скажи только, где получал литературу. Больше ничего. Отпустим сразу. Мы прекрасно знаем, что ты втянулся в это грязное дело случайно, а вот тот, кто завлек тебя, гуляет на свободе. К чему тебе, чудак, отдуваться за них? Парень ты, видно, не глупый, но, должно быть, не знаешь, что господа «товарищи», вскружившие тебе голову, целыми чемоданами получают деньги из Москвы... А живут, знаешь как?

Томов, слушавший Солокану с подчеркнутым вниманием, удивленно ахнул, словно его и в самом деле поразило это сообщение.

— Мой совет тебе — признайся по доброй воле. Сам потом будешь благодарить нас...

Томов покорно кивал, затем добродушно развел руками и, обращаясь только к Солокану, взмолился:

— Все может быть так, но я не знаю, господин шеф, о чем вы говорите! Никогда в жизни не приходилось мне тор-

¹⁰ Поджарку (рум.).

говать ни листовками, ни газетами... Поверьте, понятия не имею, чего вы все от меня хотите... Я...

Договорить Илье не удалось. Солокану подал условный знак, и низенький сорвался с места с отборной руганью. Он схватил со стола застекленную фотографию в бронзовой рамке и, подскочив к Томову, ткнул ее ему в лицо.

— Это что? Говори, bestия!

Илья узнал фотографию и успел заметить, что стрелки на ручных часах взбесившегося подкомиссара показывали без пяти девять. Это обрадовало его: «Значит, они побывали в пансионе мадам Филотти, когда Морару еще был на работе и Вики тоже. Сегодня канун рождества и магазины открыты допоздна...»

— Я спрашиваю, что это? — снова закричал подкомиссар.

— Фотоснимок. Из кино, — как о чем-то само собой разумеющемся сказал Илья.

— Фотоснимок? Из кино? — оскалив маленькие желтые зубы, передразнил подкомиссар и с размаху ударил Томова по лицу.

На пол посыпались осколки стекла. Илья почувствовал на губах кровь. Она стекала на подбородок и шею.

— Большевик! В Христа, бога, душу, веру... А это? Это, bestия гуманная, что? — яростно кричал подкомиссар, тыча длинным ногтем мизинца в фотографию.

На фотографии была запечатлена колонна жизнерадостных девушек-спортсменок. Среди них, как полагал Илья, находилась и парашютистка, с которой он познакомился года два назад во время авиационного праздника на бухарестском аэродроме Бэняса. На праздник, в числе многих иностранных делегаций, прилетели посланцы из Советской России. С одного из русских самолетов был выброшен парашютный десант. Это была сенсация! Еще мало кто видел людей, выбрасывающихся с летящего аэроплана. И народ, что толпился на аэродроме, бросился к приземлявшимся парашютистам. К одному из них подбежал Томов со своим другом Женей Табакаревым. Парашютистом, к великому их удивлению, оказалась симпатичная девушка с золотистыми кудрями, выбивавшимися из-под шлема.

Томов хорошо знал русский язык. И ему хотелось расспросить девушку о многом, но осаждавшая парашютистов толпа оттеснила его. Илья успел лишь узнать, что зовут ее Валентина Изоту. Отвечая, она приветливо посмотрела на Илью. Оттесненный толпой, он продолжал неотрывно смотреть на парашютистку, взгляды их на секунду снова встрети-

лись, и девушка улыбнулась ему уже как старому знакомому... Этим и ограничилось их знакомство, но с тех пор Илья почему-то частенько вспоминал Валентину.

Некоторое время спустя в бухарестском кинотеатре «Глория» он смотрел русский фильм «Парад». Ему показалось, что в одной из колонн среди девушек-спортсменок находится и парашютистка с золотистыми кудрями. Томов завел знакомство с киномехаником и через него, разумеется не безвозмездно, раздобыл кадр киноплёнки, на котором, как ему думалось, была снята Валентина. А когда была готова фотография, Илья вставил ее в бронзовую рамку со стеклом. С тех пор она висела над его койкой в пансиснате мадам Филотти.

Воспоминание о парашютистке подействовало на Илью как целительный бальзам. На несколько мгновений отступили даже ощущения физической боли и нервного напряжения. Из этого состояния Томова вывел низенький подкомиссар. Он снова ткнул ему в лицо фотографию.

— Говори, кто это! Говори — или измордую в Христа, бога, душу, веру...

— Скажу, скажу...

Но Томов не мог сказать, что на фотографии запечатлены девушки из Советской России, и тем более не мог рассказать, где и зачем приобрел фотографию. Он прекрасно знал, что здесь не делают различия между малейшим проявлением симпатий к большевикам и принадлежностью к компартии. Пожав плечами, равнодушным голосом он едва слышно ответил:

— Какие-то девушки-спортсменки...

— Ух, бестия гуманная! — вскипел подкомиссар. — Куда смотришь? Вот тут кто? Не видишь, ослеп?

Только теперь Томов заметил, что длинный до отвращения ноготь мизинца указывает на видневшееся в середине колонны полотнище с портретом усатого человека в застегнутой до верха куртке с широким отложным воротником. Томов, конечно, знал, что это Сталин, но назвать его не решился: «Раздуют кадило до небес!» — подумал он и снова прикинулся несведущим пареньком:

— Наверное, тоже какой-нибудь силач...

Сильный удар ногой в живот повалил его на пол. От острой боли он скорчился и закричал во весь голос.

Солокану взирав на эту сцену, как искушенный столичный зритель на игру актеров провинциального театра. Он несколько оживился, когда вернулся долгоязыкий комиссар и подал ему протокол с показаниями Рабчева. Но, видимо, ме-

ханик авиационного ангара ничего не прибавил к тому, что уже было известно, и Солокану со скучающим видом стал наблюдать за ходом допроса Томова. Был у него, как и у каждого следователя, свой метод и своя тактика поведения. К нему научились безукоризненно подлаживаться его помощники. Сам Солокану, как правило, не повышал голоса, тем более не пускал в ход кулаки. Даже пытаясь уличить допрашиваемого в ложных показаниях, в стремлении ввести его в заблуждение, он старался говорить спокойно, «по-отечески» пожурить, высказать сочувствие, дать «добрый» совет, подобрать. Так и сейчас.

— Говори, бестия гуманная, кто этот усач? Убью! Слышишь? Убью! — истерически орал подкомиссар, прижимая подошвой лакированного сапога голову арестованного к полу.

— Перестаньте, господин подкомиссар! — с ноткой отвращения произнес Солокану. — Вы совсем уж не отдаете себе отчета в том, что делаете. Наступили парню на горло и требуете, чтобы он говорил...

— Сколько же можно, господин инспектор, терпеть! Ведь врет он нахально, — будто извиняясь, ответил подкомиссар, отлично понимавший игру своего шефа. И, словно нехотя, он отошел к окну, закурил.

Солокану дирижировал. Низенького сменил долгоязыый комиссар. Этот с самого начала разыгрывал из себя доброжелателя. Вместе с полицейским, стоящим все это время как за гипнотизированный, помог арестованному подняться и сесть на табурет, поднес даже стакан воды и предложил закурить.

— Послушай, Томоф! — миролюбивым тоном заговорил комиссар. — Стоит ли из-за каких-то глупых смутьянов переносить такие муки? Ты же парень грамотный, учился в лицее, в авиацию его величества хотел поступить, а ведешь себя — скажем прямо — необдуманно. Мы же хотим всего-навсего помочь тебе выпутаться из этой грязной истории. Больше того, вознаградим тебя и даже на службу к себе примем. Человеком станешь! Карьеру сделаешь! — увещевал комиссар, поглядывая на Солокану, чтобы узнать, одобряет ли он такой ход.

Томов понимал, что здесь его не оставят в покое. И он решил ускорить развязку.

— Обещать-то обещаете, а кто знает, заплатите ли? — ворчливо пробормотал он.

— Вот это другой разговор! — воскликнул комиссар. — Можешь не сомневаться, Томоф. Мы всегда верны своему слову... Так вот, слушай: скажи, где находится типография и... сразу получай тышечонку. Идет?

— Тысячу лей? — изумленно переспросил Илья. — И это вы мне дадите?

— Да, тысячу... А что?

— Так я за такую сумму на весь мир скажу, что типография коммунистов находится в королевском дворце!..

Уловив удивленный взгляд, которым обменялись палачи, Томов добавил:

— Да, конечно! Типография установлена там с согласия нашего любимого монарха — короля Кароля второго!

Долговязый прервал арестованного и, побледневший от злости, зашипел:

— Ты понимаешь, что говоришь? Откуда тебе известно, что типография находится во дворце да еще с ведома его величества?

— А кто ж еще может разрешить, как не король? Ведь он самый главный у нас в стране...

Договорить Илье не пришлось. Солокану стукнул кулаком по столу и, вопреки обыкновению, повысил голос до крика:

— Он издевается над нами!

Последнее, что запомнил Томов, были замелькавшие перед глазами кулаки долговязого, перекошенное злобой лицо низенького, который успел уже соскочить с подоконника и пустить в ход резиновую дубинку...

Бесчувственное тело арестованного приволокли в погреб, а ночью дежурный полицейский поднял тревогу:

— Кажись, дуба дает!

Вызвали фельдшера. Он осмотрел арестованного и заплетаящимся языком установил «диагноз»:

— О-обработка господина п-п-одинспектора Стырча... По п-п-одчерку узнаю...

— Б другой бы раз не беда... — как бы извиняясь за беспокойство, доставленное фельдшеру, сказал полицейский. — А так-то в самое рождество, господин фершел, грех ведь, как ни скажи...

Помешкав подле арестованного, фельдшер поморщился и распорядился:

— В-возьми в общей парочку гостей от вечерней облавы и тащи его к-ко мне, туда... Н-н-аверх.

К окровавленному телу Томова всю ночь прикладывали компрессы, делали уколы, но он не приходил в себя. Лишь на рассвете Илья услышал сперва собственный стон, потом различил отборную брань сильно заикавшегося человека, который поносил всех святых за то, что ему не дали выспаться.

Илья приоткрыл глаза, увидел белые стены, пробивавшийся сквозь решетку окна дневной свет. Вспомнил, что произошло на последнем допросе, и решил, что вконец искалечен, живым, видимо, отсюда не выйдет.

— Наши тоже х-хо-ороши... — ворчал подвыпивший по случаю рождества фельдшер, не замечая, что его «пациент» пришел в сознание.— Будто им кто-то мешал п-п-проделать все это после праздников...

В знак полного согласия полицейский кивнул головой и доверительно зашептал:

— Слышал от дневного сержанта, что сам господин инспектор, шеф Солокану, занимался им. Во как! Ну, а там уж, известно, были и господин комиссар Ионеску, и господин подкомиссар Стырча... Втроем они его того... А он ни-ни... Во нечистая сила!

— А ты, Гросуле, что? К-к-оммунистов не знаешь? — фельдшер махнул рукой и хотел было пройти к себе за ширму, но передумал и тоном знатока продолжал: — они знаешь какие? Эге!.. Принимают к себе не как другие па-па-артии — только давай! Уж кто идет к ним, тот не человек, а кремь!.. Иной раз, кажется, вот-вот душа с те-те-елом расстанется, а он все свое твердит! Ба-абы ихние еще хлеще. В прошлое дежурство приволокли сюда одну. Г-г-господин инспектор Стырча разделал ее почище этого. Он-то умест! Не зря ж ге-ге-енеральная дирекция посылала его в Германию... — и фельдшер перешел на шепот, — в ге-ге-гестапо практиковался.. Ясно?

Полицейский равнодушно поддакивал. Он думал лишь о том, как бы арестованный не скончался во время его дежурства. Тогда придется писать докладные, присутствовать при составлении всяких актов... «И никак уж не поспеть в церковь... А как ни есть, на сегодняшний день — рождество уже!»

— Та бабенка, — продолжал фельдшер, — со всех сторон была, знаешь, синяя, как спелый ба-ба-аклажан!.. — Фельдшер рассмеялся. — И сердце у нее, казалось, ни к черту, и пу-ульс уже не нащупаешь... Мы было малость забеспокоились... Сам по-по-онимаешь — ихние адвокаты начнут копать, обвинение строчить, мол, убили... И вдруг, глядим, барышня наша, будь она не-не-ладна, очухалась!

— Ба-а! — удивился полицейский. — Не дала дуба?

— Не только не дала дуба, а за-за-апела-а!

— Во нечистая сила! — воскликнул полицейский и осенил себя крестом.

— Есть у них такая пе-пе-есня, вроде молитвы — «Интернационал» называется... Фанатики!

Рассказ фельдшера не очень удивил полицейского. За многие годы службы в префектуре полиции старик ко всему привык. И все же он подумал: «Хоть фершел малость тятнул, а правду сущую говорит — люди они совсем другого сорта... Как там ни есть, а человек, сотворенный господом-богом, не такой живучий... Не-е! Видать, и впрямь в них нечистая сила сидит. В Христа-то не веруют? Не. Выходит — антихристы!.. А уж, как ни толкуй, взять хоть бы жидов, так и те богу своему молятся, празднуют... Ого! Еще как празднуют, иуды!.. Хм-м... Не то что эти — придумали себе какой-то там «интернационал» и кланяются ему... Не-е, не к добру все это, не-е. Спроста ли языки чешут, будто писано, что свету скоро конец? Не. Не к добру все это. Уж точно!..»

Полицейский тяжело вздохнул, слегка приподнял фуражку и торопливо трижды перекрестился. Снова он вспомнил о предстоящем рождественском богослужении и, обеспокоенный тем, что, может, не придется ему побывать в церкви, нерешительно спросил:

— А этот-то, господин фершел, как? Не загнется до утра? Уж больно тяжело дышит. Слышите? Гыр-ррр, гыр-рррр... Видать, у него там наскрось все хорхочет...

— К лошадиной па-па-асхе, может, и станет человеком... — махнув рукой, ответил фельдшер, но, подумав, добавил: — А там кто его знает?.. Глядишь, дьявол, и выживет... Руснаки эти крепкие, выносливые, идолы, к-к-ак лошади!

Полицейский удивился и перебил:

— А этот что? Русский?

— Руснак, будь он не-не-ладен... В карточке записано: из Бе-бе-бе-ессарабии... Они знаешь как жрут? У-ух! На сало да на водку больше нажимают... Калории!

Полицейский почесал затылок и с грустью заметил:

— Эгей, русские наворачивать умеют. Сушая правда! Не то что наши — одну сухую мамалигуцу, что осталась с вечера... Дело известное — от нее толк какой? Божья водица да кукурузная мучица... А этот, значит, господин фершел, мыслите, не скапсунится?

Фельдшер глянул на арестованного, прислушался:

— Похоже н-на то... — позевывая, ответил он. — А скоырнется, что ж — не он первый, не он по-по-оследний...

— Это-то верно, да, как ни говорите, беда, ежели он того... Праздник нынче великий! Помолиться б надо.

— Не тревожься, Гросуле! Мы сдадим его смене тепленьким... Будь покоен! Сейчас я впрысну ему лошадиную дозу камфоры, и, глядишь, он тоже за-за-апоет, как та бабенка.

Фельдшер принялся выхаживать арестованного: сделал укол, раздвинул ему челюсти металлической «лопаткой», влил в рот какую-то микстуру и, покосившись на «пациента», обратился к полицейскому с наставлениями:

— Ты, Гросуле, меняй ему по-по-очаще компрессы... Как нагреется тряпка, так снова на-на-мочи и клади ему. Все будет в ажуре! Не тревожься. А я за твоё здоровье сейчас впрысну себе ещё одну мензурочку ра-ра-атификата и... на бочок!

— Чтоб вам было на пользу, господин фершел! — с готовностью ответил полицейский, при этом привстал немного и слегка поклонился.

— С-с-пасибо, Гросуле! Сам же говоришь — праздник сегодня, не так ли?

— Праздник, господин фершел! Великий праздник!

— А дома у меня, знаешь, стол по всем х-х-христианским правилам... Свояка на обед пригласил и вместо того, чтоб выпастся, вожусь тут с этим и-и-долом... Шефам нашим что? Спят себе без задних ног, а мы ра-ра-асхлебываем!..

Полицейский то и дело кивал в ответ да разводил руками, — дескать, такова уж воля божья, и не без зависти наблюдал, как фельдшер достал пузатую бутылку из стеклянного шкафчика с красным крестом на дверке, налил в стограммовую мензурку прозрачную жидкость и, по закоренелой привычке, воровато огляделся по сторонам, затем, подмигнув застывшему с открытым ртом полицейскому, разом опрокинул содержимое мензурки в рот. Большими глотками он тут же потянул воду прямо из графина.

Полицейский закрыл рот и проглотил слюну.

Вскоре из-за ширмы, где на жестком диване пристроился фельдшер, донесся храп.

Гросу выполнял свои обязанности не столько за совесть, сколько за страх. Меняя компрессы, он нашептывал: «Помоги, господи боже, чтобы леший не помер, ну хоть бы до десяти! Не то мне, грешному, не бывать нынче в храме... А уж после смены — твоя воля, господи, твоя...»

3

На следующий день после приема в абвере Хория Сима в сопровождении полковника СС Штольца и переводчика Пауля Шмидта отправился на Принц-Альбрехтштрассе.

У подъезда величественного здания автомашину встретил эсэсовский офицер. Одним рывком он открыл одновременно обе дверцы автомобиля и, вскинув руку, вытянулся во фронт.

В таком положении офицер оставался до тех пор, пока гости не миновали его, направляясь в здание.

Стоявшим по обеим сторонам входа солдатам из «ваффен СС» и внутренней охраны заблаговременно было приказано пропустить без проверки документов штатского, который будет в сопровождении полковника СС Штольца и герр Шмидта из имперской канцелярии.

Хория Сима был польщен такой встречей. Перешагнув порог массивных, окованных бронзой дверей, он оказался в просторном вестибюле с холодными мраморными стенами. В центре высокого и широкого свода хищно раскинул крылья огромный орел, намертво вцепившись острыми когтями в обрамленную лавровым венком свастику, напоминавшую судорожно скорчившуюся гадюку. Кругом все казалось застывшим.

Из вестибюля на первый этаж вела лестница с мозаичными ступенями и мраморными перилами; на широкой площадке, где она раздваивалась, по обеим сторонам вытянулись в струнку часовые, облаченные с головы до ног во все черное. На этом фоне особенно резко выделялись посеребренные кокарды с изображением черепа и перекрещенных костей. Такие же черные фантомы замерли с автоматами наперевес у высоких и узких готических окон, расположенных вдоль боковых лестничных маршей. Тяжелые плюшевые драпьи и портьеры, облицованные лабродоритом пилястры, укрепленные в простенках между ними массивные бронзовые бра, — все это напоминало пантеон. Таков был вкус лейб-архитектора фюрера герр Шпеера, по эскизам которого оформлялся интерьер резиденции рейхсфюрера СС.

Хория Сима ступал осторожно, словно опасался кого-то разбудить и, сам того не замечая, без конца перебирал руками шляпу зеленого цвета, символизирующего движение, которое он ныне представлял в «Третьем рейхе». Здесь его персону должна была удостоиться чести быть принятой рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.

Сима давно мечтал об этой встрече. У него было достаточно оснований рассчитывать на весьма теплый прием: указания рейхсфюрера СС он выполнял четко и преданно, многократно высокий шеф удаивал его благодарностями, приветствиями и поздравлениями. К столь желанной встрече командующий зеленорубашечников готовился весьма тщательно, но до сих пор так и не решил, следует ли с самого начала держаться строго официально или, напротив, вести себя более непринужденно, подчеркнув тем самым наличие доверительных и даже дружеских отношений между ним и шефом эсэсовцев.

Эти мысли занимали его и в последнюю перед предстоящей встречей минуту. Хория Сима так и не принял на этот счет окончательного решения, когда его любезно встретил рослый блондин в эсэсовской форме с широкой красной повязкой со свастикой в белом кругу — на рукаве. Он повел гостя и сопровождающих его лиц в маленькую комнату и, указав на кресла, сообщил, что ввиду неожиданно возникших у рейхсфюрера СС неотложных дел прием несколько задержится.

— В связи с этим, — продолжал бесстрастным голосом блондин, — его превосходительство приносит свои извинения.

Выслушав перевод Шмидта, Хория Сима почтительно поклонился и изъявил готовность ждать...

Задержка с приемом гостя из Румынии явилась следствием телефонного звонка адмирала Канариса.

В кабинете рейхсфюрера СС в это время находился имперский министр пропаганды доктор Геббельс. Он должен был присутствовать на встрече с руководителем легионеров. Оба деятеля «Третьего рейха» поняли, что только очень важное обстоятельство могло вынудить главу абвера просить воздержаться с приемом Симы.

Машина адмирала въехала во двор здания на Принц-Альбрехтштрассе почти одновременно с появлением автомобиля с зарубежным гостем у парадного подъезда. В кабинете Гиммлера Канарис появился в тот самый момент, когда Хория Сима почтительно поклонился, выслушав переводчика.

В нескольких фразах, сформулированных предельно четко и убедительно, начальник абвера изложил свою точку зрения о реальных возможностях и перспективах легионерского движения и дал исчерпывающую характеристику Хорие Симе. При этом адмирал предложил прослушать его беседу с главарем легионеров, зафиксированную на тонфильме. Вызванный из технического секретариата офицер установил катушку в аппарат, воспроизводящий звукозаписи, и, включив его, удалился.

Гиммлер не стал выслушивать до конца рассуждения румынского гостя; резким движением руки он выключил аппарат. Причина такой реакции фюрера эсэсовцев была ясна, однако на Геббельса она произвела, казалось, обратное действие. Он по-прежнему пребывал в отличном расположении духа и не упустил представившегося ему случая подтрунить над своим коллегой.

— Насколько я понимаю, — сказал он, — дела наши в

Румынии обстоят блестяще! Не так ли, Генрих? Теперь, надеюсь, вы можете не колеблясь представить румына фюреру. Он будет в восторге.

Белое, как почтовая бумага, лицо Гиммлера залилось малиновой краской. Заметив это, Канарис поспешил придать беседе серьезный характер.

— Я потому и торопился сюда, чтобы вы могли еще раз взвесить, целесообразно ли устраивать Симе аудиенцию у фюрера?

— Держу пари, этот румын — пустой фантазер и грязная свинья! — не унимался Геббельс, ерзая в кресле.

— Это не открытие, — скороговоркой произнес Гиммлер. — Но и такой нам пока очень нужен...

— Кстати, — перебил его Геббельс, — вы читали о нем? Какой-то не то француз, не то бельгиец довольно пространно писал, как этот Сима жил на средства некоей девицы из притона, обобрал ее и бежал за границу...

— В Венгрию, — деловито уточнил Канарис.

— Верно, верно! К тому же, перед побегом убил даму своего сердца! Это вы тоже знаете, господин адмирал?

Канарис подтвердил, что и эта деталь известна абверу. Гиммлер невольно скосил маленький рот с едва заметной полоской губ и, скользнув сквозь искрившиеся стеклышки пенсне недружелюбным взглядом по лицу Канариса, устремил пытливый взор на имперского министра пропаганды. Рассказ колченогого коллеги озадачил его, напомнив о собственном, недалеком и неприглядном прошлом. В памяти всплыла длинноногая и тощая, прямая, как жердь, Фрида Вагнер. Ирония судьбы! Она так же, как и милая сердцу Хории Симы женщина, промышляла в публичном доме и так же, как Хория Сима, Генрих Гиммлер припеваючи коротал денечки на ее средства. Это было тяжелое для Германии время. Страну разъедал кризис, ежедневно разорялись десятки предпринимателей, неимоверно росла инфляция, с каждым часом увеличивалась армия безработных, а вместе с нею возрастала проституция. Множились и ряды кавалеров, подобных Генриху Гиммлеру, которые выполняли скромную миссию, именуемую в мире сутенеров «шлепер». И, надо отдать должное Генриху, он выискивал с присущим ему рвением денежных клиентов и, как настоящий «шлепер» («таскун»), тащил их к своей девице, дающей «любовь напрокат»... За это Фрида вознаграждала его теплотой и уютом, сытым столом и постелью с бесплатной любовью!.. Генрих преуспевал, и Фрида даже смогла приобрести кое-какие ценные вещишки. Но в один прекрасный

день будущий шеф эсэсовцев, как и командующий легионеров, прикончил свою возлюбленную, забрал ценные вещи и скрылся.

Иозеф Геббельс безоговорочно одобрил тогда действия своего дружка. Фриде минуло двадцать семь лет, а бедняжке Генриху едва исполнилось двадцать. Куда это годится! К тому же, парень всей душой отдался зарождавшемуся национал-социалистскому движению, а связь его с девицей из замызганного отеля с Аксерштрассе 45 рано или поздно могла скомпрометировать его.

Все последующие годы Геббельс был уверен, что он один осведомлен об этой странице биографии Гиммлера. Но ошибался. Адмирал Канарис мог бы без труда рассеять это заблуждение имперского министра пропаганды. В сейфе, который находился отнюдь не в здании самого абвера, а в некоем подведомственном ему неприметном учреждении, среди множества подобного рода досье, проливавших свет на прошлое многих лиц, занимавших высокие посты в «Третьем рейхе», хранился составленный дежурным комиссаром 456-го полицейского участка Берлина Францем Штриманом протокол об обстоятельствах, при которых обладательница желтого билета третьеразрядного отеля моабитского района Фрида Вагнер была найдена убитой.

Следствие по этому делу было приостановлено на некоторое время по той причине, что некий Курт-Генрих Гиммлер, сожительствовавший с Фридой Вагнер, скрылся. Полиция предприняла розыск, и через полгода беглец был арестован в Мюнхене. Бранденбургский суд берлинской криминальной полиции, к своему большому огорчению, был вынужден оправдать Курта-Генриха Гиммлера, так как бегство его, служившее единственной уликой, не могло быть принято доказательством совершения убийства...

Теперь Гиммлер заподозрил, что колченогий рассказал о сутенерском прошлом этого ничтожества Хории Симы для того, чтобы напомнить ему, Генриху, о его незавидном прошлом. Но с какой целью? Это оставалось для него загадкой. Ни Геббельс, ни Канарис ни единым словом или жестом не выдали мыслей, навевших на них экскурсом в биографию главаря румынских зеленорубашечников, однако оба заметили, как у рейхсфюрера СС передернулось правое веко — верный признак наступающего безудержного бешенства.

— Только на днях фюрер высказал гениальную мысль относительно наших планов на Балканах, — в прежнем тоне продолжал Геббельс. — При этом он исходил из того, что, по данным абвера, обстановка в Румынии нам вполне благо-

приятствует! — подчеркнул Геббельс, в упор глядя на Канариса. — Кейтель в свою очередь заверил фюрера, что к концу года никто, кроме нас, не будет получать ни галлона плоештской нефти!

По своему положению начальник абвера должен был бы сказать «любимцу фюрера», что он целиком поддерживает заявление генерала Кейтеля, но Канарис предпочел отмолчаться. Непреложным правилом для него было по возможности избегать к чему-либо обязывающих устных заявлений, тем более по такому щекотливому для него вопросу, как использование плоештской нефти. Ведь кто-кто, а Канарис знал, что заверения Кейтеля основаны на весьма зыбкой почве. Во всяком случае, абвер не предпринял каких-либо мер, могущих серьезно подорвать влияние английских нефтяных компаний в Румынии. На сей счет у адмирала были особые соображения, прямо противоположные помыслам его собеседников.

Эта манера Канариса отмалчиваться, об истинной причине которой никто не догадывался, выводила Гиммлера из себя. И он наверняка разбушевался бы, не будь здесь «коварного гнома». Так окрестил он Иозефа Геббельса еще в дни, когда они делили на двоих скромную секретарскую должность у основателя национал-социалистской партии Грегора Штрассера. Позднее Геббельс предал Штрассера, а Гиммлер расправился с ним в угоду Адольфу Гитлеру, рассчитавшему себе путь в фюреры. Закадычные друзья знали истинную цену друг другу, знали и то, что у каждого из них за душой. Однако внешне они поддерживали вполне лояльные отношения.

Все это, разумеется, знал Канарис. Он был той личностью в «Третьем рейхе», от внимания которой ничто не могло ускользнуть. И когда Гиммлер устремил пытливый взгляд на продолжавшего излагать свои соображения имперского министра пропаганды, Канарис почувствовал, с каким наслаждением тот расправился бы с хромоногим.

— Теперь не приходится удивляться, почему эти легионеры не пользуются поддержкой у себя в стране, — скептически заметил Геббельс. — И вообще, Генрих, это гнусная нация. А вы, как я вижу, намерены отвести ее представителям некую положительную роль в исторических свершениях нашего народа?

— Не знаю, Иозеф, — оборвал его Гиммлер, — какую роль вы отводите им, но я полагаю, что в качестве чистильщиков сапог и нужников они вполне сгодятся... По этому поводу я сотни раз уже говорил и могу вновь повторить: другие на-

роды интересуют меня лишь постольку, поскольку они нужны нам в данный отрезок времени для исполнения определенных функций, способствующих претворению в жизнь замыслов фюрера, а после этого их назначение — быть рабами... Нашими рабами. И только!

Канарис нехотя улыбнулся. Он не был до конца убежденным приверженцем нацистской теории о превосходстве арийской расы, но положение обязывало скрывать это.

Не давая Геббельсу перебить себя, Гиммлер продолжал:

— Что же касается оценки итогов нашей деятельности в этой стране, то, хотим мы этого или не хотим, приходится констатировать, что, несмотря на нерешительность действий легионеров и кретинизм их руководителей, в невероятно короткий срок нами достигнуто немало. Не забудьте: все годы Румыния имеет общую границу с Россией и агенты Коминтерна не дремлют... И ожидать от самих румын действий, которые по плечу только немцам, — полнейший абсурд! Однако коммунисты и подобные им элементы, которые еще совсем недавно, как крысы в голодный год, проникали почти во все институты этой страны, сейчас загнаны за решетку! Это не богом ниспослано... Наши люди неплохо потрудились! Не правда ли, адмирал?

— Да, рейхсфюрер, — прилежно закивал Канарис. — Это совершенно бесспорно...

— Одну минуту, господа! Вы не так меня поняли, — с плохо скрытым раздражением наконец-то заговорил Геббельс. — Я вовсе не отрицаю и не умаляю достигнутого. Учитываю и трудности. Они всегда были на нашем пути и, вероятно, будут еще некоторое время... Но, согласитесь, их было бы гораздо меньше, а успехи были бы еще значительнее, будь вожаком легионеров ариец или хотя бы фольксдойч¹¹, как, например, в Австрии Зейсс-Инкварт, в Чехословакии — Генлейн, в Данциге — Фостер.

— Эта истина стара как мир, Иозеф! — снисходительно согласился Гиммлер. — Но чтобы поставить во главе румын надежного человека арийского происхождения, необходимо время... А его не было в нашем распоряжении. Нет его, к сожалению, и сейчас... — многозначительно закончил Гиммлер и, насупив рыжевато-жидкие брови, уставился в большую серебряную крышку массивной чернильницы.

Наступила пауза, но, прежде чем собеседники рейхсфюрера СС успели промолвить слово, он резко вздернул голову и, обращаясь к Канарису, скороговоркой спросил:

¹¹ Немцы, рожденные и проживающие за пределами Германии (нем.).

— Кстати, где сейчас заместитель Симы? Тот... Как его? Со шрамом на лице?..

— Думитреску? — настороженно переспросил Канарис.

— Да, да. Он!

— В Гамбурге, рейхсфюрер. У Курца... Проходит подготовку.

— Вначале и о нем у нас сложилось неблагоприятное впечатление. Он тогда медлил с выполнением нашего задания убрать румынского премьера Дука... Этот фигляр изображал из себя поборника справедливости! Объявил бойкот прогерманским течениям... Помните, Иозеф?

— Разумеется, помню, — скороговоркой ответил Геббельс. — Он запретил «Железную гвардию!»

— Именно! Фюрер был вне себя... К тому же, этот пример наглости, как понимаете, мог быть заразителен... Недруги рейха уже потирали руки от удовольствия! Вплоть до того, что и в узком кругу осведомленных лиц НСДАП-а¹² в те дни появились скептики, утверждавшие, будто наша затея в Румынии обречена на провал... К счастью, этих «деятелей» уже нет. И вот, представьте, — увлекшись, продолжал Гиммлер, — за два дня до истечения установленного нами срока, 29 декабря, акт был совершен! Подобного сюрприза к Новому году история не знала... Фюрер, помню, был в восторге! «Лучшего подарка к началу тридцать четвертого года, — сказал он тогда, — трудно придумать!»

— Верно, Генрих! Это был поистине впечатляющий и очень результативный акт! — произнес Геббельс, и его огуречной формы лицо просияло. — Я прекрасно помню этот случай. Мировая пресса была в смятении... Но фюрер тогда поистине пророчески предсказал, что ликвидация румынского премьера послужит суровым предостережением всем демагогам!

— Разве не так позднее происходило? — подхватил Гиммлер. — Это был наш первый выстрел международного значения! Именно он возвестил начало беспощадного истребления наших противников за пределами рейха! И недооценивать качества этого Думитреску было бы ошибкой... Кстати, под его руководством был отправлен в лучший мир второй румынский премьер... Как его?

— Калинеску; — напомнил Канарис. — Арманд Калинеску.

— Да-да. Одноглазый...

¹² «Национал-социалистская германская рабочая партия» — так именовали гитлеровцы свою партию.

Геббельс перебил:

— Все это так. Но, как я понимаю, вы хотите сказать, что и среди этих туземцев встречаются приличные экземпляры?! В таком случае, может быть есть смысл поставить этого румына во главе легионеров?

— Именно это я и имею в виду, — недовольным тоном ответил Гиммлер. — Вы, адмирал, как относитесь к возможности такой перестановки фигур?

Канарис, казалось равнодушно слушавший диалог своих собеседников, в душе был доволен тем, что деятельность подведомственного ему учреждения лишней раз получила высокую оценку нацистской верхушки. Именно сейчас это было для него крайне необходимо... Вместе с тем, он, как и Гиммлер, был недоволен вмешательством в сферу их деятельности имперского министра пропаганды. Качнувшись всем корпусом назад и вперед, адмирал неторопливо и спокойно ответил на вопрос Гиммлера:

— Я прошу извинить, рейхсфюрер, но полагаю, что и Думитреску не фигура.

— Вот как? — удивился Гиммлер. — Любопытно...

— Я, разумеется, не знаю этого румына, — встрепенулся Геббельс и, как бы оправдываясь, продолжал, — но, судя по тому, как он выполнил наши указания, личность это, видимо, достаточно сильная! Или я ошибаюсь?

— В том-то и дело — сдержанно парировал Канарис, — что у Думитреску слишком развита сила... В мышцах! — и, посмотрев на рейхсфюрера, нехотя добавил: — В ущерб здравому смыслу.

Гиммлер бросил поверх прямоугольных стеклышек пенсне удивленный взгляд на начальника абвера:

— Вы так полагаете?

— Безусловно, рейхсфюрер! Хория Сима, при всей ограниченности мышления, вне всякого сомнения, стоит выше своего заместителя...

Не хотелось старому волку выкладывать до конца свое мнение о члене «Тайного совета» легионеров, чтобы не дать лишний повод Геббельсу истолковать по-своему положение с румынской агентурой. Несмотря на серию выполненных Думитреску операций, получивших всемирный резонанс, начальник абвера считал его тупицей и самодуром; проделки его, как отмечали многократно работники абвера, могли сойти с рук только в стране, которой верховодят опереточные правители во главе с жонглером-монархом. Доведись, конечно по настоянию «свыше», привлечь Думитреску к руководству, Канарис рекомендовал бы его только, пожалуй, на

пост министра внутренних дел. Он всегда считал, по аналогии со своим шефом, что на этой должности, в условиях насаждаемого нацистами «нового порядка», от человека не требуется большого ума.

Ответ Канариса озадачил Гиммлера. Не без оснований он полагал, что имперский министр пропаганды прибыл на встречу с Хорией Симой по договоренности с фюрером. «Сейчас он не подает вида, — подумал Гиммлер, бросив пронизывающий взгляд на Геббельса, — но стоит ему выйти отсюда, как моментально побежит нашептывать фюреру, что дела наши в Румынии оставляют желать много лучшего...». И вот, когда Геббельс все же склонился к тому, чтобы поддержать практику использования на высоких постах в Румынии агентов неарийского происхождения, Канарис словно нарочно подsunул имперскому министру пропаганды новый повод нашептывать Гитлеру, будто в Румынии делается ставка на совершенно бездарные личности.

Нервничая, Гиммлер стал барабанить по столу короткими пальцами, поросшими рыжеватыми волосками, и, снова уставившись на крышку чернильницы, напряженно думал, пытаясь понять подлинные мотивы начальника абвера, отвергшего кандидатуру Думитреску. «Не согласиться с ним, видимо, тоже нельзя... — размышлял Гиммлер. — Канарис — не Геббельс! От него, по крайней мере в данном случае, нет оснований ожидать подвоха...»

К начальнику абвера рейхсфюрер СС порою относился с большим уважением, считался с его мнением и высоко ценил его поразительную способность предвидеть ход событий во всех аспектах. Но бывало, что Канарис впадал в немилость, и тогда Гиммлер принимал его холодно, планы и проекты абвера выслушивал настороженно. И все же, невзирая на многократные требования некоторых весьма влиятельных в рейхе лиц расправиться с «черным адмиралом», глава эсэсовцев относился к нему терпимо. Объяснялось это просто: Гиммлер не видел в нем соперника! Признавая за Канарисом многие достоинства, он тем не менее не считал его человеком одаренным подлинно государственным умом и способностями когда-либо захватить власть... Этого Генриху Гимmlеру было достаточно.

— И все же — Думитреску! — прервал тягостную паузу Геббельс. — К тому же, насколько я понимаю, других у вас в резерве нет?! Впрочем, решать вам...

Гиммлер вскочил, словно ужаленный, резким движением сорвал с бледного носа золотое пенсне и с раздражением

стал судорожно сжимать и разжимать его пружинистые рычажки.

— Простите, пожалуйста, Иозеф, — возразил Гиммлер, отчеканивая каждое слово. — Но ваше заключение является результатом очевидной и естественной неосведомленности об истинном положении дел...

Театральная поза имперского министра пропаганды, его наглая повадка вмешиваться не в свои дела возмутили и Канариса.

— Людей в резерве у нас более чем достаточно... — сдержанно произнес Канарис. — В том числе людей с именами, известными в ряде стран Европы. Для ясности отмечу, что есть кандидатуры весьма и весьма обнадеживающие...

Бескровное лицо Геббельса вытянулось еще больше.

— Кого вы имеете в виду? — резко повернувшись к начальнику абвера, нетерпеливо спросил Гиммлер.

— Генерала Антонеску, рейхсфюрер.

— М-так.. — процедил сквозь зубы Гиммлер и, скрестив руки на груди, занял выжидательную позу. — Что о нем можете сказать?

— Абвер давно занят разработкой этой личности... Контакт у нас полный. Взгляды и устремления его нам абсолютно ясны. Лишь одно обстоятельство несколько настораживает...

— Какое именно? — перебил Гиммлер.

— Некоторое время генерал был военным атташе в Великобритании... — интригуяще произнес Канарис и умолк. В действительности это обстоятельство нисколько не беспокоило адмирала, но он не упускал ни одного удобного случая, чтобы хоть вскользь не высказать свое подозрительное отношение к лицам, когда-либо соприкасавшимся с англичанами.

— Был военным атташе в Британии? Теперь припоминаю, кто этот Антонеску... — скороговоркой произнес Гиммлер. — Мне говорил о нем Гейдрих. Этот румын был завсегдатаем нашего клуба в Лондоне. По сведениям гестапо, весьма лестно о нем отзывался бывший председатель «Anglo-German Fellowship»¹³ лорд Маунттемпл.

Канарис знал все это. Знал он и многое другое из биографии румынского генерала, но не стал ни уточнять, ни излагать подробности. Желание сделать это у него отпало после сообщения Гиммлера. Он лишний раз убедился в том, что глава гестапо Рейнгард Гейдрих все чаще и чаще бесцере-

¹³ Англо-германское товарищество (англ.).

монно перехватывает агентов, которых абвер готовит долгие годы и на которых возлагает определенные надежды. И хотя внешне адмирал ничем не выдал своего неудовольствия, Гиммлер догадался, что допустил промах.

— Гейдрих мне говорил о нем в связи с тем, — поспешил он подсластить пилюлю, — что этого генерала прочили на пост председателя «Румыно-германского содружества».

Канарис молчал, делая вид, будто воспринимает сообщение рейхсфюрера как обычную информацию.

— Так или иначе, господа, — вмешался Геббельс, — и Сима, и Думитреску, и этот генерал — свиньи одной породы! И альтернатива состоит в том, что пока во главе этого племени нет человека нашей расы или хотя бы родственного нам по крови, проблему Румынии нельзя считать окончательно решенной в пользу рейха... А вы прекрасно знаете, что в настоящий момент именно эта часть Балкан больше, чем, пожалуй, любой другой район привлекает внимание и волнует фюрера!

Канарису надоело слушать напыщенные речи имперского министра пропаганды. К тому же он предчувствовал, что Гиммлер снова начнет полемизировать, доказывать, что после фюрера никто другой в рейхе так горячо не ратует за чистоту расы, как он.

— Вы абсолютно правы, господин доктор, — деликатно заметил Канарис. — И мне думается, что действительно мы обязаны и можем поставить сейчас точку над «и». Если позволите, рейхсфюрер, — адмирал пристально взглянул на Гиммлера, — я изложу мнение абвера по данному вопросу.

— Да, пожалуйста...

— Вы не против, господин доктор? — обратился Канарис и к имперскому министру пропаганды.

Хитрый Геббельс сразу понял, что адмирал обратился к нему всего лишь из соображений такта. Тем не менее ему было приятно, что «легавый пес» — как он имел привычку называть в интимном кругу главу абвера, — не только считается с ним, но и весьма серьезно остерегается его.

— Напротив, адмирал, — ответил Геббельс, — я с удовольствием послушаю!..

— Прежде всего, на мой взгляд, будет разумно оставить во главе легионеров, так сказать «де юре», Хорию Симу. Это избавит нас от недовольства и эксцессов, которые в противном случае возникнут среди его приверженцев. Какой-либо разлад внутри легионерского движения в настоящее время крайне нежелателен... Абвер и соответственно Генеральный штаб возлагают на эту часть румынской агентуры определен-

ные надежды, связанные с большими планами фюрера на Востоке... Затем, как мне думается, целесообразно возложить на штандартенфюрера СС Штольца, назначенного вами, рейхсфюрер, советником при нашем посольстве в Бухаресте, миссию — повседневно направлять легионерское движение в нужное нам русло и неуклонно активизировать его деятельность. Таким образом, Штолец и явится руководителем легионеров «де факто»...

— Разумная идея, господин адмирал! — не вытерпел Геббельс. — Не правда ли, Генрих?

Гиммлер промямлил что-то невнятное.

Канарис продолжал:

— Кроме того, полномочия находящегося со своими людьми в Румынии майора абвера Доеринга придется распространить и на членов так называемого «Тайного совета» легионеров. Это даст нам возможность держать их действия под постоянным контролем. И последнее: могу взять на себя, но было бы целесообразнее вам, рейхсфюрер, попросить фон Риббентропа указать нашему послу в Бухаресте господину Фабрициусу на необходимость усилить нажим на правительство...

— С ними, я полагаю, поменьше надо церемониться! — заметил Геббельс. — Результаты будут гораздо эффективнее...

— Не исключено... — неопределенно произнес Гиммлер. — Что касается разговора с фон Риббентропом — беру на себя. А румынским генералом, пожалуйста, займитесь вплотную... Я постараюсь в ближайшие дни переговорить об этом с фюрером. Есть у меня одна идея!..

Канарис кивнул в знак полного согласия и тут же поднялся. Неожиданно поднялся и Геббельс.

— Мое присутствие на встрече с Хорией Симой излишне. Этой свинье, — с брезгливой миной сказал Геббельс, — и без того много чести, что ты, Генрих, принимаешь его... Хайль Гитлер! — просипел министр пропаганды и, как утка переваливаясь с ноги на ногу, вышел из кабинета.

После почти двухчасового томительного ожидания Хория Сима, штандартенфюрер СС Штолец и переводчик Шмидт были приглашены к Гиммлеру.

С затаенным дыханием Сима шел по казавшемуся невероятно длинным кабинету к столу, за которым в черном мундире при единственном посеребренном погоне, скрестив руки на груди, стоял глава СС. Сквозь большие прямоугольные

стекла пенсне, словно на сеансе гипноза, он неотрывно сверлил взглядом приближавшегося гостя.

Вожак легионеров все еще не решил, соблюдать ли ему официальный этикет или придать встрече дружеский характер. В последнем письме рейхсфюрер называл его «мой дорогой друг», а прибывавшие в Бухарест с директивами Берлина эмиссары неизменно заверяли его в безграничной симпатии главы эсэсовцев к «легионерам-мученикам, ведущим с продажным иудаизмом жертвенную борьбу во имя спасения отчизны от большевистского террора». В свою очередь Хория Сима на все лады превозносил историческое значение великодушной и бескорыстной заботы вождя эсэсовцев о расцвете патриотического движения чистокровных румын.

И теперь, когда долгожданная встреча с подлинным другом румын — рейхсфюрером СС и начальником германской полиции Генрихом Гиммлером сбылась, Сима почувствовал себя неуверенно, так как прием, как ему казалось, проходил в атмосфере странной сдержанности. Наконец он отбросил нахлынувшие сомнения и решительно свернул в обход стола, чтобы, вплотную подойдя к Гиммлеру, подать ему руку и, в зависимости от его реакции, возможно, даже обняться. Но едва Сима сделал три шага, как Гиммлер выбросил руку вверх и резко крикнул:

— Хайль Гитлер!

Одновременно с ответным «хайль» штандартенфюрера СС Штольца, переводчика Шмидта и стушевавшегося Симы Гиммлер с промелькнувшей улыбкой молниеносным движением протянул гостю через стол обмякшую руку. Вожак легионеров едва ощутил кончики холодных пальцев рейхсфюрера СС, коснувшихся его ладони. Он не помнил, как оказался в очень низком и мягком кресле. Глубоко осев в нем, он почувствовал себя маленьким и беспомощным, словно букашка, брошенная в воду.

В отличие от предыдущих приемов и встреч в различных ведомствах «Третьего рейха», рейхсфюрер СС Гиммлер ни о чем не спросил гостя и даже не извинился за то, что заставил его так долго ожидать приема. С места в карьер он обрушился на Симу с гневной речью:

— Мы истратили на легионеров колоссальную сумму! Однако положение в Румынии по-прежнему остается нетерпимым. Ни для кого в цивилизованном мире не секрет, что у нас в правительстве сидят лица, находящиеся на службе Москвы! Командный состав армии продан англичанам, французам и всем, кто в какой-то мере готов платить. Вонючая Бессарабия превратилась в источник большевистской заразы, расползаю-

щейся по всей вашей стране, по Балканам, по Европе! Всюду у вас шныряют агенты Коминтерна! Чиновничий аппарат государственных учреждений и частных компаний заполнен иудеями и их наймитами; в полиции — в этом основном звене государственной власти, — ключевые должности захвачены противниками национал-социализма! Какие эффективные шаги предприняли руководители легионеров для пресечения всех этих вопиющих явлений? Никаких!.. Или вы полагаете, что, отправив двух неугодных премьер-министров на тот свет, ваша миссия на этом окончена? Ошибаетесь, господа легионеры! Не можете выполнить наши требования? Скажите, справимся без вас. Для этого у нас есть вермахт. Один приказ фюрера, и Румыния в двадцать четыре часа превратится в протекторат Германской империи!

Гиммлер явно впал в очередную транс. Вся злоба, накипевшая в нем во время продолжительного визита Геббельса, теперь выливалась наружу. Манеру терять самообладание, когда это придает ему вес в глазах окружающих, Гиммлер весьма искусно перенял у фюрера, который в подобных случаях задыхался от гнева и буквально хрипел. Однако если Гитлер успокаивался столь же внезапно, как впадал в ярость, то рейхсфюрер надолго терял равновесие.

Для переводчика Шмидта это было не ново. Знаком был с этой повадкой и штандартенфюрер СС Штольц. Советником при германском посольстве в Бухаресте он стал совсем недавно, за предыдущую деятельность легионеров не был в ответе и потому, казалось бы, мог испытывать только наслаждение от того, как рейхсфюрер СС распекает презренного румына. Но Пуци трепетал. Дюжий рост, бравая выправка и два глубоких шрама на лице, полученных в открытых дуэлях, на этот раз не могли скрыть присущей ему трусости. Больше всего в жизни он дорожил карьерой и теперь чувствовал себя подопытным кроликом, испуганно тарашил серые глаза на рейхсфюрера и в знак безоговорочного согласия в такт ему кивал головой.

Уловив короткую паузу в затянувшейся тираде рейхсфюрера, Шмидт стал переводить, и только тогда Гиммлер вспомнил, что Сима еще ни слова не понял из того, о чем он так горячо говорил. Это окончательно взорвало вождя эсэсовцев и, едва дослушав перевод, он закричал:

— Запомните раз и навсегда, что мы либо германизируем, либо уничтожаем! Так и передайте своим коллегам, что лицам хорошей крови мы предоставим достойное их место среди нашего народа, если они безоговорочно во всем и всегда будут следовать за нами и вместе с нами; в противном случае, гос-

пода румыны, можете называть это жестокостью, но сама природа жестока — мы истребим и их!

Хория Сима оторопел. По мере того, как Шмидт переводил, его лицо бледнело все больше. Ему уже было не до рапорта, которым он намеревался блеснуть перед рейхсфюрером; не могло быть речи и об увеличении ссуды на содержание зеленорубашечников, о чем он собирался просить. Более того: всего несколько минут назад он был твердо уверен, что удастся получить толику наград для «особо отличившихся» легионеров, урвать и для себя крест, учрежденный в рейхе специально для иностранных агентов. Но все рухнуло...

— Каждый легионер, ваше превосходительство, — отважился все же промолвить Сима, — готов жертвовать собой во имя идеалов фюрера!.. Очевидно, вашему превосходительству неизвестно, что большинство наших министров придерживаются прогерманской ориентации и, насколько это возможно в данное время, проводят соответствующую политику. И если ключи от тюрем, ваше превосходительство, пока еще не в наших руках, то и время, когда мы остерегались властей, прошло. Теперь они боятся нас, ваше превосходительство! Прошло и то время, когда правительство бесцеремонно расправлялось с участниками нашего движения; теперь каждый, от монарха и до последнего чиновника, знает, что противодействие нам не остается безнаказанным... Но, ваше превосходительство, на нашем пути есть еще препятствия... Не всегда и не во всем оказывается возможным вынудить правительство осуществлять желаемую нами политику.

Выслушав перевод, Гиммлер вскочил. Вслед за ним с испуганным видом встали Хория Сима, Штольц и даже переводчик Шмидт, хотя ему давно уже были знакомы позерство и театральные выходки нацистских бонз.

— Мы знать ничего не желаем о каких бы то ни было препятствиях! — заорал Гиммлер и ухватился обеими руками за стол, словно хотел через него прыгнуть на Симу. — Фюрер и канцлер германской империи дал нам всем гениальную теорию: политика, сказал он, — это искусство делать невозможное возможным! И я требую от всех, кто с нами сотрудничает, сделать невозможное возможным. Не умеете? Скажите. Мы научим! Не хватает у вас оружия? Заявите. Мы дадим!.. Вам кто-то мешает осуществлять полностью нашу программу? Истребите его! Не можете? Признайтесь. Мы найдем других людей, которые смогут... А если можете, то поступайте так, как вам говорят. Пусть вас ничто не смущает. За все отвечает Германия! Наш фюрер! Я!

Слушая Гиммлера, а затем переводчика, Сима стоял с

опущенными по швам руками, подавшись всем корпусом вперед. Он уже открыл рот, чтобы подтвердить готовность зеленорубашечников поступать именно так, но Гиммлер выбросил вперед руку, торжественно и громко произнес:

— Германскому рейхсканцлеру и фюреру Адольфу Гитлеру — хайль!

Прием, проходивший в спринтерском темпе, завершился. Хория Сима в сопровождении штандартенфюрера СС Штольца покинул в полном смятении таинственные апартаменты здания на Принц-Альбрехштрассе, 8.

Пуци Штолец, как и вожак легионеров, был до крайности расстроен. Ему казалось, что и он явился причиной гнева рейхсфюрера СС, и теперь он с тревогой размышлял о возможных последствиях. Неотвязно в ушах у него раздавался голос разъяренного шефа, и только когда неуклюжий «адлер» пронес его и Симу по Бельвюштрассе, штандартенфюрер отвлекся. Он увидел здание, в котором имел несчастье служить еще во времена Веймарской республики. Здесь помещалось тогда министерство экономики. В его стенах Пуци познакомился со своей будущей женой. Вновь побывать в этом здании ему довелось много лет спустя, когда в нем расположился известный во всем рейхе «Народный трибунал». Штолец был вызван сюда в качестве свидетеля по делу... жены. По закону жёны эсэсовцев, как и всей элиты немецкой нации, были обязаны представить доказательства своего арийского происхождения. Жена Пуци представила документы, из которых явствовало, что бабушка ее прабабушки родилась в 1769 году от родителей немцев. Однако этого оказалось недостаточно. Параграф закона устанавливал срок: с 1800 года — для жен эсэсовцев рядового и младшего офицерского состава, а для жен эсэсовцев старшего состава — с 1750 года. К сожалению супруги Пуци Штольца, бабушка ее прабабушки родилась на девятнадцать лет позже установленного законом срока, а данные о предках более раннего периода ей не удалось разыскать. Однако эту задачу с успехом выполнило Центральное управление «Hauptamt». Оно установило, что у прабабушки жены Пуци Штольца имелась прабабушка, родившаяся в 1750 году от родителей евреев...

Большого горя для эсэсовца быть не могло. За «злостное укрывательство происхождения жены», как отметил герр Фрейслер на закрытом заседании «Народного трибунала», Штольцу предложили либо уйти из состава СС, либо развестись с женой.

Не колеблясь, Пуци Штолец выбрал второй путь. Больше того, — оформив развод, он решил доказать, что совершил

этот акт не формально, а как убежденный национал-социалист, готовый на все ради сохранения чистоты своей арийской крови. С мнимым состраданием выслушивая свою бывшую супругу, еще и еще раз клявшуюся в том, что ничего прежде не знала о своих предках еврейского происхождения, Пуци нежно обнял ее... и хладнокровно задушил. Об этом «подвиге» эсэсовца, председатель «Народного трибунала» герр Фрейслер счел за благо доложить лично фюреру.

С тех пор Пуци Штольц стал быстро продвигаться по иерархической лестнице Schutzstaffel¹⁴. Но все это не исключало возможности впасть почему-либо в немилость у рейхсфюрера СС, и расстроенный Штольц не переставал гадать, чем может для него кончиться столь неожиданная, уничтожающая оценка деятельности прогерманской агентуры в Румынии.

Доставив Симу в гостиницу «Кайзерхоф», штандартенфюрер СС Штольц остался с ним в номере в ожидании указаний. Вначале предполагалось, что подопечного Штольцу гостя примет фюрер. И, естественно, вызов мог последовать с минуты на минуту. Но чем больше Штольц думал о происшедшем в кабинете рейхсфюрера, тем больше склонялся к заключению, что прием у фюрера не состоится. Навести по этому поводу справки по телефону он не решался. Не знал он, как быть и с программой на вечер. Накануне было решено, что он повезет румына в отель «Эспланд». Там по вечерам выступал известный оркестр фон Гези.

Грозный лишь у себя в Румынии, вожак легионеров, прозванный «железным клыком», здесь, осунувшись, точно после изнурительной качки на пароходе, сидел, подперев обеими руками желчное лицо с оттопыренными большими ушами, и думал только о том, удастся ли привести обратно в Бухарест свою голову со спадающей на лоб прядью волос.

Долгим, томительным было ожидание. Лишь около четырех часов дня задребезжал звонок телефона. Говорили из канцелярии штаба СС. Штольц узнал голос адъютанта Гимmlера штурмбанфюрера СС Пейпера, который без всяких вступительных шуток, как бывало, передал приказание обоим приготовиться к отъезду и сообщил, что за ними заедут. Штольц не успел ни ответить, ни спросить что-либо, как в трубке раздались частые гудки.

Менее чем через час после этого, не предвещавшего ничего хорошего распоряжения, на правительственном аэродроме

¹⁴ Охранные отряды нацистской партии, сокращенно именуемые СС (нем.).

Темпельгоф имперский уполномоченный по особым перевозкам проводил штандартенфюрера СС Штольца, безмянного штатского в помятом макинтоше и темно-зеленой шляпе и еще двух эсэсовских офицеров к трехмоторному «Юнкерсу-52».

Большой самолет с четьрьмя пассажирами на борту вскорее развернулся над окрестностью германской столицы и лег строго на трассу Берлин—Гамбург...

4

С вечера крепкий северный мороз к утру внезапно сменился оттепелью. В парке Чишмиджиу, что в нескольких шагах от бухарестской Генеральной дирекции префектуры полиции, оседал и быстро чернел влажный снег; с крыш в монотонном ритме падали прозрачные, как слезы, капли.

Дежурный полицейский, пожилой и суеверный увалень, убедившись, что до скорого прихода смены лежащий на носилках «бессарабский дьявол не даст дуба», махнул рукой на компрессы, которые фельдшер обязал его почаще менять арестованному, грузно опустился на скамейку, почесал затылок и, потянувшись, лениво зевнул.

Со стороны бульвара Елизабеты доносились протяжные, скрипуче-воющие звуки трамвая, пересекавшего центральную улицу Каля Виктории. За стенами лазарета сигуранцы жизнь шла своим чередом...

Подвыпивший фельдшер спал беспробудным сном. Его храп со свистом и фырканием выводил из себя охранника: хотелось чем-нибудь тяжелым огреть фельдшера по голове. К тому же, и арестованный, придя в сознание, тяжело стонал. И совсем уж некстати в желудке полицейского назойливо и бурно заурчало. Он перекрестился и, позевывая, подошел к узкому зарешеченному толстыми железными прутьями окну. Упершись локтем в решетку и задрав голову, полицейский уставился на свисавшую с карниза крыши сосульку. Чем-то она напоминала ему распятого Христа в предалтарной части храма, который он исправно посещал.

Сняв фуражку, полицейский благоговейно и размашисто перекрестился раз, другой и только вскинул было снова руку, как из-за ширмы, где спал фельдшер, донесся продолжительный и не очень приятный звук... Благочестивый охранник на мгновение замер, потом злобно выругался и, довершив в третий раз крестное знамение, нахлобучил на лоб фуражку с большой желтой кокардой, увенчанной замусоленной королевской короной. Поморщившись, он открыл форточку.

Пришел наконец-то сменщик. Полицейский сдал ему, как

вещь, арестованного в кровавых подтеках и синяках. Вновь заступившему на дежурство он наказал «стеречь дьявола, поскольку он вполне еще дышит и кто знает, не вздумает ли сорваться... Ведь как ни есть там, а это большевик и от него всякого жди!»

При всей своей ограниченности, полицейский был себе на уме: потребовал от напарника расписаться в журнале разборчиво и, главное, приписать, что «принял арестованного вполне еще живого...».

Новый дежурный безропотно выполнил все требования. На ногах он держался устойчиво, но язык у него заплетался, и поэтому он предпочитал делать все молча. Накануне он достойно встретил рождество Христово, но вот выспаться да протрезветь не удалось.

Уже рассвело в полную меру. Фельдшер по-прежнему спал. Уснул, сидя на скамейке, и заступивший на дежурство полицейский. Было очень душно. Тишина нарушалась лишь сопением спящих, скрипучим воем трамваев и все чаще доносившимися автомобильными гудками.

Томов приподнялся, огляделся по сторонам, понял, где находится, и снова опустился на носилки. Ныло тело, горели раны, мучила жажда. Особенно донимали тревожные мысли: «Какой сегодня день? Где сейчас механик Илиеску? Что думают товарищи о его аресте? Приняли ли меры предосторожности? Не считают ли, что я могу выдать? Должно быть, и мать скоро узнает обо всем? Наверное...»

В дверь постучали раз, другой и третий. Полицейский вскочил, заметался как угорелый, поправляя то френч, то ремень, то фуражку. Пришел сменщик фельдшера. Долго будили спящего. Гораздо быстрее соблюли формальности «сдачи и приема» дежурства. Но только после этого разбуженный фельдшер взглянул на часы и ахнул: оказывается, сменщик прибыл с опозданием на добрых полтора часа. Фельдшера взорвало. Он отпустил своему коллеге несколько хлестких фраз, не забыв при этом, очевидно по случаю рождества, упомянуть богородицу и самого новорожденного, и ушел, хлопнув дверью с такой силой, что зазвенели расставленные на столике с кривыми ножками пузырьки и склянки.

Вступивший на дежурство фельдшер хихикнул, приоткрыл дверь и послал вдогонку приятелю слова, полные взаимности. Потом подошел к лежавшему с открытыми глазами арестанту, пинцетом приподнял с его лица влажную тряпку и с восторгом воскликнул:

— Мэ-эй! Вот так разукрасили! Подстать рождественской ёлке!

Стоявший рядом рябой сутулый полицейский громко икнул.

— По почерку видать, обработка господина подинспектора Стырчи!.. — показывая свою осведомленность, прогнусавил фельдшер. — Коммунист?

— Т-так точ... — с трудом вырвалось у полицейского и, не договорив, он вновь икнул.

Очкастый фельдшер замахал рукой и поспешил за ширму. Вернувшись, он сунул под нос содрогавшемуся от икоты полицейскому тампон с нашатырем, многократно повторил эту процедуру, невзирая на фыркание, кашель, слезы и брань полицейского.

Потом он занялся арестованным: смазал марганцовкой раны, прижег крепким раствором йода кровоточащие места, а напоследок прослушал сердце и заключил:

— Этот выдержит еще не одну профилактику!..

Принесли завтрак: кружку чая, ломоть черного клейкого, как оконная замазка, хлеба и по случаю рождественского праздника кусок покрывшейся слизью брынзы.

Томов приподнялся, выпил чуть теплый, отдававший мешковиной и едва подслащенный сахаринном чай. Есть не стал. Болели зубы, кровоточили дёсна, кружилась голова.

Около полудня появился низенький подкомиссар в парадной форме с покрытым позолотой аксельбантом. Томов уже знал, что имя его Стырча. Обменявшись с фельдшером рождественскими поздравлениями, Стырча, как гиена, выследившая добычу, устремился к Томову, внимательно разглядел результаты своей «работы» и с ехидной улыбкой спросил:

— Так как? Рождественский дед образумил тебя?

Томов смотрел в потолок и молчал.

— Я спрашиваю, говорить правду будешь? — повысив голос, произнес Стырча.

— Всё сказал, — ответил Томов, продолжая смотреть в одну точку. — Вы обещали мне деньги. Где они?

— Заткнись! — рявкнул подкомиссар.

— Только обещаете! — невозмутимо повторил Томов, хотя каждое слово стоило ему немалых усилий.

Стырча впал в истерику:

— Я тебе дам деньги, бестия гуманная! Я тебе покажу, как прикидываться дурачком! Ты заговоришь у меня...

Изрыгая ругательства и угрозы, Стырча вышел: ему пора было заступать на дежурство.

Весь остаток дня Томова никто не тревожил. Это позволило ему немного прийти в себя. После обеда он почувствовал себя даже несколько окрепнувшим. Лишь под вечер,

когда ему уже казалось, что день благополучно миновал, в лазарет пришел старший полицейский с повязкой дежурного на рукаве и вместе с полицейским, охранявшим Томова, повел его на допрос.

Опять тот же кабинет, та же табуретка для допрашиваемого. Илье все здесь было знакомо: и мебель, и пол, на котором валялся, когда его истязали, и рожа подкомиссара, и резиновая дубинка, и портрет короля, ревностные служители которого учиняли здесь расправу над «верноподанными его величества», и... О, нет! Это что-то новое... На стене, рядом с портретом всемогущего монарха, появился огромный многокрасочный плакат.

Томов приоткрыл рот и, покачивая головой, стал нарочито внимательно рассматривать плакат. В верхней его части большими буквами было написано «БОЛЬШЕВИЗМ». Ниже художник изобразил тяжелое артиллерийское орудие с впряженными в него женщинами. Все они растрепанные, с грудными детьми на руках и с выражением ужаса на лицах. Их подгоняют длинными плетями скачущие на конях усатые казаки в черных папахах с красными донышками. С головы до ног они обвешаны португезами, карабинами и пистолетами в деревянных кобурах, в зубах у некоторых окровавленные кинжалы. Сбоку, во всю высоту плаката, в белом саване скелет человека с огромной косой, на лезвии которой выведено кровоточащими буквами «КОММУНИЗМ». У подножья скелета — кладбище с уходящими в бесконечную даль перекосившимися крестами.

«Ну и ну-у... — подумал Илья, вглядываясь в изможденные лица женщин. — Вот, оказывается, как хотят запугать народ!.. Но просчитаются. Румынские труженицы-работницы и крестьянки, а бессарабки тем более, с полным основанием скажут, что это именно их тяжкая доля изображена на плакате...»

Томов вспомнил жизнерадостных советских летчиков и парашютисток, которые два года назад участвовали в празднике авиации на бухарестском аэродроме Бэняса. Перед его мысленным взором предстала парашютистка с переливающимися золотом волосами, белыми как жемчуг зубами, голубыми ясными глазами. Вспомнил он и как толпа оттеснила его, а немного спустя девушка все же обернулась и помахала ему рукой.

Илья отвернулся от плаката, посмотрел на низенького и по его взгляду понял, что все это время подкомиссар следил за ним.

— Хочешь, чтобы и в нашей стране так было? — кивнув

на плакат, сказал Стырча и, не дождавшись ответа, продолжал, ехидно улыбаясь: — Нет! Это вам не удастся. Заверяю. Всех уничтожим, прежде чем занесете над нами вон ту косу! Слышишь, bestия большевистская!?

Томов собрался с силами и смело, с явной ненавистью посмотрел на подкомиссара.

Жест молчаливого протеста вывел из равновесия низкорослого и узкоплечего человека, облеченного неограниченными правами, человека с желтыми зубами и вечно искривленным от злости ртом. Человечек этот сорвался с места, подскочил к арестованному, схватил его за голову и резко повернул к плакату:

— Нет, ты смотри! Смотри! Вот оно — дело твоих соотечественников, бессарабская bestия!

Стырчу охватил очередной приступ звериной злобы. Одно за другим извлекал он из своего полицейского арсенала специфические выражения, сопровождая их виртуозной бранью.

С презрением смотрел Томов на подкомиссара и невольно думал: «Вот это существо облечено правом безнаказанно избивать, лишать людей свободы... А его заключения, как это водится, через начальника Генеральной дирекции сигуранцы докладывают королю! На их основе во дворце принимаются «кардинальные решения», издаются «указы» и «постановления», разрабатываются «меры», призванные сохранить в неприкосновенности и укрепить власть, которую олицетворяют полиция, жандармерия, армия, господа министры, его величество король...»

Мысли Томова и брань Стырчи были прерваны приходом должовязого комиссара. Он тоже дежурил и по случаю рождества также был облачен в парадную форму с широким позолоченным аксельбантом, свисавшим с эполет.

— А ты, Томоф, опять не соизволишь встать, когда начальство входит? Нехорошо, парень, не годится так... Или тебя не учили этому? В какой гимназии ты учился?

— В мужском лицее короля Кароля второго... — без всякого желания и не глядя на комиссара, ответил Томов. — В моем городе... Болграде.

— В лицее Его Величества учился! А ведешь себя, как последний невежда. Некрасиво.

Томов продолжал сидеть и смотреть в пол.

— Ну, а сегодня как? Будешь говорить правду или прикажешь начать все сначала? — вьедливо спросил должовязый. — Мы же не оставим тебя, пока не сознаешься! Разве ты не понимаешь это?

«Снова те же слова и те же приемы... — подумал Илья. —

А то, что они называют «правдой» и к чему склоняют меня, имеет совсем другое название — предательство. Этому не бывать!» — решил Томов и твердо ответил комиссару:

— Мне ничего не известно из того, о чем вы спрашиваете. А наговаривать на себя я не стану. Хотя убейте!

Низенького передернуло от злости, а долговязый подошел к Томову и, хитро улыбаясь, спросил:

— А если мы докажем, что ты получал и передавал другим коммунистическую литературу? Что тогда велишь с тобой делать?

Томов пожал плечами и равнодушно ответил:

— Не знаю я, как можно доказать то, чего в действительности не было!

— Отрицаешь. Что ж, пеняй на себя...

С этими словами комиссар подал знак Стырче, который тотчас же вышел из кабинета. Комиссар уселся в кресло и принялся рассматривать рождественский номер красочного журнала «Реалитата илустратэ».

Томова осаждали всякие предположения: «Быть может, кто-либо из товарищей арестован?», «А если это ловушка?», «Кто бы мог выдать? Один только Лика... Но если он, тогда как быть? Отрицать все?»

Позади Томова открылась дверь, кто-то вошел и остановился на пороге. Томова так и подмывало обернуться, поскорее узнать, с кем же ему предстоит очная ставка? Большим усилием воли он заставил себя сидеть неподвижно и сохранять равнодушное выражение лица. В эти считанные секунды в нем напряженно боролось чувство с рассудком. Он с облегчением наконец-то вздохнул, когда долговязый комиссар насмешливо спросил:

— Ты спишь, Томоф? Ну-ка, посмотри. Узнаешь?

Илья неторопливо обернулся и стал рассматривать пришельца с таким видом, словно впервые видел эту прыщеватую физиономию, худощавую высокую фигуру.

— Что молчишь? — поторопился Стырча прервать затянувшуюся паузу. — Язык отнялся от такой встречи?

— Почему отнялся? — спокойно ответил Томов. — Если этот господин меня знает, пусть скажет. Я вижу его впервые.

Это был Лика. Он подробно рассказал о том, как руководитель подпольщиков сообщил ему пароль для встречи с Томовым и получения от него литературы, как в намеченное время, поздно вечером, он пришел в установленное место и, обменявшись паролями, воспользовался темнотой и неожиданно накинуд Томову на руку кольцо от наручников, а тот в ответ нанес ему сильный удар в пах.

— Я упал тогда, — оправдывался перед комиссарами си-
гуранцы Лика, — и не успел накинуть второе кольцо себе на
руку. Вот он и сбежал, не то бы остался как миленький ря-
дом со мной...

Илья слушал с таким видом, будто рассказ действительно
очень интересный, но к нему не имеет никакого отношения.
Он понимал, что от его поведения на очной ставке с прово-
катором зависит исход следствия, и старался не выдать себя
ни жестом, ни мимикой, ни вздохом. «Надо держаться.
Играть до конца!» — твердил про себя Илья.

И он играл, хотя голова разламывалась от боли, гнев под-
катывал к глотке. «Наши тоже хороши... Кого привлекли к
подпольной работе!»

— Не могу понять, зачем этот человек пытается навязать
мне то, чего со мной не было?! — удивленно сказал Томов,
когда Лика наконец закончил свой рассказ. — Возможно, все,
о чем он говорил, произошло с кем-либо другим? И вообще,
нормальный ли он?.. — кивнув на предателя, добавил Илья. —
Плетет какую-то чушь о каком-то кольце... Что это за коль-
цо? И при чем тут я?

— Слушай, Томоф! — прервал его комиссар. — Говорю те-
бе по-доброму: кончай валять дурака! Не то возьмусь за те-
бя по-настоящему... Смотри! Каторги тогда не миновать, а
то и кое-чего похуже!.. Давай-ка лучше признавайся — и бу-
дешь работать вместе с этим парнем. Он тоже, когда попал-
ся, — отпирался, но вовремя поумнел... Мы ему все простили
и неплохо вознаградили. Видишь, как он одет! И деньжата
всегда у него в кармане позванивают, и вообще... Так что —
забудем прошлое и начнем дружить. Идет?

Томов закатил глаза, как бы не в силах больше повто-
рять одно и то же, но все же сказал:

— Понятия не имею, о чем говорил ваш агент и чего
вы от меня добиваетесь?! Все это какое-то недоразумение...

Воцарилось молчание. Все трое смотрели на сникшего и
оборванного арестованного и каждый думал, что еще ска-
зать, чтобы уличить его, заставить признаться. Первым на-
шелся Стырча.

— А если мы приведем сюда твоего механика Илиеску?
И он подтвердит, чем ты занимался, тогда что запоешь?

У Томова тревожно забилося сердце, в какое-то мгнове-
ние пронеслось в голове: «А вдруг и товарищ Захария по-
пался? Тогда что? Но он не может выдать. Нет. Это ловуш-
ка! Провокация!» И, тут же овладев собой, Томов ответил:

— Пожалуйста. Приведите и его! Вы все время пугаете
меня механиком, а кто он мне? Ни сват, как говорится, ни

брат... Знаю его только по гаражу. Если он чего-то там натворил, отвечать за него не собираюсь. Могу лишь сказать, что в гараже господина механика Илиеску все считали честным человеком, даже господин инженер-шеф! Спросите кого угодно, и вам подтвердят это.

Ли́ка чувствовал, что очная ставка не оправдала надежды, которую возлагали на нее его хозяева, и поспешил исправить положение:

— Значит, говоришь, не узнаешь меня, Томов?

— О-о, и фамилию мою уже знает! — иронически заметил Илья. — Давно ли?

— А ты не цепляйся за фамилию, — горячился Ли́ка. — Я тут ее услышал, сейчас, а вот кличку твою пораньше узнал. Ты «Костика»! Правильно? А я был «Ли́ка». Это ты тоже хорошо знаешь, не прикидывайся...

Томов сокрушенно покачал головой.

— Сегодня рождество, и ваш агент, видать, хорошо хлебнул! «Крещение» мне уже устроил... «Кости́кой» каким-то назвал. Но это очень глупо. Если есть на свете какой-то Костика, так его и ищите. Не за то же вы этому парню платите, чтобы он с похмелья морочил людям голову... А мне из-за этого приходится страдать... За что?

Ответ Томова обескуражил Ли́ку. Он не блистал сообразительностью. Единственное, на что он был способен, так это выложить напрямик все свои «козыри». И, горячась все больше, он привел еще одну, казавшуюся ему неопровержимой, улику:

— Да не цепляйся ты за соломинку! Я ж узнаю тебя даже по голосу!

Томов не растерялся. Он и эти слова обернул против предателя.

— По голосу, говоришь, узнаешь? — неторопливо спросил он.

— Да, по голосу! Меня слух никогда не подводил!

— Ну, вот, господа начальники... — обратился Томов к полицейским. — Ваш агент совсем уж заговорился! Его, говорит, слух никогда не подводил. Но вы прекрасно знаете: когда меня привели сюда, голос у меня был совсем не такой. После всего, что вы проделали со мной, я не говорю, а хриплю!.. Зубы-то здесь мне выбили... Я сам теперь удивляюсь своему голосу, а он, видите ли, сразу узнал!.. Ловкач какой нашлся...

Агент уловил укоризненный взгляд подкомиссара Стырчи, и прыщи на его лице побагровели. Сдвинув жиденькие брови, он поторопился оправдаться:

— Пусть говорит, что хочет! Все равно — он это! Честное слово, господин шеф! Я не ошибаюсь...

Томов брезгливо отвернулся. Он не хотел скрывать, что даже здесь, в сигуранце, избитый и истерзанный, он остается полон презрения к предателю!

Лике велели выйти. Следом за ним вышел долговязый комиссар. Оставшись наедине с арестованным, Стырча принялся было обычными для него методами настаивать, чтобы Томов сознался, кто помог ему снять с руки кольцо от наручников-кандалов и куда их дели, но, ничего не добившись, вдруг, без всякой связи с предыдущим, визгливо закричал:

— Думаешь, мы не знаем, чем ты занимался еще в лицее? Где тот пархатый жид, с которым ты дружил? Где он, я спрашиваю!? Как его фамилия? Говори, бестия!

Томов сразу догадался, о ком идет речь, но притворился, будто понятия не имеет. Он скорчил удивленную мину и промолчал.

Стырча кинулся к столу и начал перелистывать какие-то бумаги:

— Волдистер! Хаим... Христа, господ-бога, веру, душу... Говори!

Томов молчал. В памяти всплыл зеленый городок Болград — его тихие и пыльные улочки, залитые солнцем сады, каменное здание мужского лицея, где учился Илья Томов и его друзья. Впрочем, далеко не все были верными товарищами. Среди настоящих друзей был Хаим Волдистер. Добрый, остроумный, верный Хаим. Это он, копаясь как-то у себя на чердаке, обнаружил спрятанные кем-то связки книг и газет, листовок и прокламаций, которые оказались нелегальной большевистской литературой, чудом сохранившейся еще со времен революции в Бессарабии.

Тогда Хаим стал приносить в класс то листовку, то прокламацию, то газету. Лицейсты читали их взахлеб, горячо обсуждали. Наиболее активными были его одноклассники Илья Томов и Вальтер Адами. Но однажды ночью жандармы оцепили базарный квартал, а перед домом Волдистера установили пулемет. Агенты сигуранцы ворвались в дом, учинили обыск. Хаима увели с собой и посадили в «погреб» полиции.

По городу распространились самые невероятные слухи. В лицее появились полицейские комиссары, по коридорам шныряли сыщики сигуранцы.

Через некоторое время Хаима Волдистера выпустили. Остриженный наголо, бледный, худой, точно после тяжелой болезни, он был встречен друзьями, как герой. Несмотря на жестокие истязания, он никого не выдал сигуранце, а вот имя

доносчика стало ему известно. Это был один из лицеистов, сын местного богача, владевшего мельницами, маслобойнями и пекарнями. Имя предателя стало притчей во языцех среди лицеистов. На стенах появились надписи, клеймившие иуду. Сторожа стирали мел, но появлялись надписи, сделанные краской, дегтем, смолой. В конце концов директор лицея был вынужден просить родителей доносчика перевести сына в лицей другого города. Богачу все было под силу, а вот перед Хаимом Волдитером двери всех лицеев страны закрылись навсегда. Он стал работать в керосиновой лавке своего дядюшки. Да, много прошло времени с тех пор... Ушло детство, жизнь обернулась для них суровой стороной. И для Хаима Волдитера, и для Ильи Томова...

— Молчишь, бестия гуманная?! — кричал подкомиссар Стырча, трясая арестованного за разодранный ворот рубашки. — Я спрашиваю, где тот шпион?!

— Откуда я знаю? — ответил наконец-то Томов, словно только сейчас вспомнил, о ком говорит подкомиссар. — Помню, его исключили из лицея, и с тех пор мы не виделись. Я уехал сюда, в Бухарест, а он... он, наверное, в Болграде. Мать у него, кажется, там...

Томов не случайно отвечал так следователю. Он-то знал, что мать Хаима погибла во время погрома, учиненного легионерами. Об этом рассказал ему Хаим, когда они совершенно неожиданно встретились в Констанце. Это было сравнительно недавно. Томов получал тогда в порту грузовые автомашины «шевроле», прибывшие из Америки для гаража «Леонид и К⁰», где он в последнее время работал.

В тот день, как, впрочем, и в другие дни, Констанца походила на растревоженный муравейник. Кругом были люди, на каждом шагу попадались магазины и лавчонки с пестрыми вывесками, крохотные рестораны и бodeги¹⁵, с порога которых ударял запах «гратаря»¹⁶ вперемежку с прокисшим вином, а также уйма контор по закупкам и экспорту зерна, вина, фруктов, нефти... И всюду люди. По преимуществу приезжие, или, точнее, — отъезжающие: вокруг них — крупные маклеры и мелкие жулики, выдающие себя за дельцов адвокатов и даже полицейских чинов... И у всех одна цель: деньги! Их здесь дерут с живых и мертвых... Все продается и все покупается, все с трудом и все запросто...

«Новое немецкое мыло — рекламировал у лотка свой то-

¹⁵ Закусочные, в которых продаются спиртные напитки (рум.).

¹⁶ Решетчатая жаровня на древесных углях (рум.).

вар одноглазый продавец. — Покупайте эрзац-мыло «Шмуц-фрессер»¹⁷! Лучшее импортное мыло... от чесотки!..»

Откуда-то из-за угла вырвалась ватага ребятишек-газетчиков. Оборванные, чумазые, в лохмотьях, они наперебой выкрикивали: «Универс-оу! Курент-оу! Тимп-оу! Экстренное сообщение!..» «Ултима ора-оу! Едиичиче спечиа-оу!..» «Ултима ора-оу! Специальный выпуск!..»

Стоявшие друг перед другом Илья Томов и Хаим Волдигер из-за шума никак не могли толком поговорить. С трудом они выбрались в подворотню какого-то дома, и Томов наконец-то спросил друга:

«Так что же ты здесь делаешь, Хаим?»

«Что я делаю в Констанце? — как всегда, пожав узкими плечами, грустно и с усмешкой ответил Хаим. — Я уезжаю, Илюшка...»

«Куда, если не секрет?»

«В Палестину».

«Что-что?»

«Первый раз слышишь о Палестине? Или ты не знаешь, что такое «Земля обетованная»? «Земля предков»? «Страна праотцов»?»

«Слышал... ответил Томов. — Ты-то причем?»

«Я?! — резко развел Хаим руками. — Говорят, там, за синими морями, мед течет... Вот и еду попробовать его... Но, честно говоря, боюсь я, Илюшка, как бы тот мед не оказался горчицей... Ей-богу!»

«Так на кой черт ехать?!»

«На кой черт ехать?.. А что мне делать, если господин Гитлер безнаказанно проглатывает одну страну за другой и, как поговаривают, собирается навеститься и сюда?! Сам понимаешь: мне тогда крышка!» — И Хаим выразительно вздернул кверху обернутый вокруг шеи поблекший галстук.

Илья стал было успокаивать друга, но тот не дал договорить:

«А Вальтер наш, знаешь, тоже сорвался!»

«Адами Вальтер? — настороженно спросил Томов. — Куда это сорвался?»

«Ну конечно — в Германию!»

«Не понимаю, — удивился Илья. — Как это в Германию?»

«Очень просто! Ты разве не знаешь, что фюрер бросил клич — стомиллионное государство с немцами, твердо живущими на своих землях? Сказал — и баста! И со всей Европы, ровным счетом, как мухи на падаль, полетели фольксдойч!..

¹⁷ Пожиратель грязи (нем.).

Порхнул в фатерланд¹⁸ и наш бывший единомышленник, — Хаим огляделся по сторонам, — по читке большевистских прокламаций на чердаке... Помнишь?»

Томов улыбнулся:

«Еще бы, Хаим, конечно помню».

«Так что это, по-твоему?»

Томов неопределенно пожал плечами.

«Вот я и еду, представь себе, Илюшка, тоже для создания «государства»... Да, да! Нацисты трубят о стомиллионном, а сионисты скромнее — просто о многомиллионном государстве и тоже — с твердо живущими на своих землях евреями... Ну, так что это, по-твоему? Комедия? Нет, брат, ровным счетом трагедия! Да, да. Трагедия двух народов! Гитлеру нужны солдаты, чтобы завоевывать земли, а сионистам, чтобы их отвоевывать. В Германию слетаются фольксдойч, а в Палестину едем мы, фольксюден!.. Немцы орут в три горла о своем «Фатерланде», не отстают от них и наши сионисты — со своим «фатерландом»¹⁹... Ей богу, я не придумал это! И не смотри на меня так, будто твой друг спятил. Вообще говоря, я не отрицаю, что в таком кавардаке можно и в самом деле свихнуться...»

Слушая Хаима, Илья подумал, что его школьный друг по-прежнему болен политикой. И, не желая еще больше расстраивать его, он попытался перевести разговор на другое:

«Неужели Вальтер станет нацистом?»

«Откуда я знаю? Во всяком случае, нацисты фаршируют мозги фольксдойчам почище, чем моя покойная мама начиняла рыбу перцем, чесноком и всякими специями. И вообще, скажи на милость, как это, по-твоему, называется, если один из нашего «марксистского кружка» кинулся в объятия Гитлера, а другой плывет за тридевять земель под крылышко сионистских петухов?!»

Томов не знал тогда, что ответить. Он долго молчал, глядя на Хаима, на его основательно потертый серый пиджак, висевший на худых плечах, как на вешалке, на вздыбленные огненной волной жесткие волосы, на всю его жалкую, смешную и вместе с тем трогательную фигуру, и думал... О чем думал тогда Илья Томов? Разумеется, ему трудно было расстаться с другом, и, разумеется, он жалел его: позади была закадычная дружба, много неосуществленных планов.

«Не торопись с отъездом, Хаим, — сказал ему тогда Илья Томов. — Найдем и здесь что-нибудь для тебя, ты же не один!»

¹⁸ Родина отцов (нем.).

¹⁹ Страна отцов (идиш.).

Томов рассказал о своей работе в Бухаресте, о друзьях. Вскользь упомянул он и механика гаража «Леонида и К³» Захарию Илиеску.

«Я тебе советую остаться, Хаим, — начал настаивать Томов, видя нерешительность друга. — Попросим этого механика, и, уверен, он поможет. Подыщет тебе неплохую работенку. А тем временем, глядишь, и наши из-за Днестра скажут свое веское слово!»

Хаим тогда сразу оживился:

«Ты, конечно, имеешь в виду Советы?»

«Кого же еще? — как само собой разумеющееся, ответил Томов. — Долго так не может продолжаться. Они пока молчат и терпят, но нашу Бессарабию не отдадут... Терпение их лопнет! Увидишь...»

«Все это так, но пока что у них пакт с Германией!»

«Видимо, так нужно на какое-то время... Оставайся! Есть у меня друзья среди румын... Настоящие!»

Хаим молча вздохнул.

«Понимаю тебя, Хаим! — сочувственно произнес Томов. — Но чтобы не было погромов и прочего подобного — нужно что-то делать, а не убегать... Другое дело, если ты решил на время укрыться в тихом углу...»

Хаим снова тяжело вздохнул, наморщил лоб...

«Подумай хорошенько, Хаим!»

«О чем думать, — выдал наконец из себя Хаим, — если я уже покупаю оружие?!»

«Какое оружие?»

«Какое? Которым убивают людей... И, конечно, я не один. Мной командуют тут друзья поневоле... Сионисты».

«Не понимаю. Огнестрельное оружие свободно продается, как вон в той булочной хлеб, что ли?»

«Не так, но... продается. Сионисты твердят, что для создания государства нужна территория. А чтобы завоевать территорию, необходимо оружие... Вот мы и выискиваем его и покупаем за бешеные деньги!»

Томов с суровым недоумением посмотрел на Хаима.

«Да, Илюшка... — с грустью признался Хаим. — Не удивляйся. Мы уже купили новенький пулемет «З.Б.» Ты знаешь, что это такое? «З» — это збруино, то есть — оружие, а «Б» — Брно. Город. У чехов там были первоклассные оружейные заводы. Их тоже Гитлер слопал... Весело, а?»

«Очень!»

«Очень, говоришь? А если я тебе еще скажу, что купили мы тот пулемет в одном доме терпимости, что ты на это ответишь?»

«Не узнаю тебя, Хаим...»

«А сам я, думаешь, узнаю себя? Ведь за время нашей разлуки я прошел военно-трудовую стажировку — «акшару»... Там сионисты вымотали из меня все кишки и, конечно, кое-чему научили... Теперь я — холуц! У них это означает — пионер или доброволец, едущий обрабатывать и защищать землю предков...»

«Вот даже как!? Ну, ты далеко пойдешь, Хаим... Только, видать, не по той дорожке...»

«Не сердись, Илюшка! Хотя... я понимаю тебя. Но пойми и ты!.. Ведь если только на минутку призадуматься, что какой-то Хаим Волдистер из захолустного городка Бессарабии на деньги американских евреев покупает у румынских проституток чешский пулемет, изготовленный на заводе, захваченном немцами, а сионисты в Палестине будут из него стрелять в арабов, так что это, по-твоему?»

«Жаль мне тебя, Хаим...»

«Возможно, ты прав, а я наивен, — проговорил Хаим, как бы оправдываясь. — Но подумай сам, что мне делать, если сюда в самом деле нагрянет Гитлер? Останься я в Румынии, меня, конечно, повесят или расстреляют, или замучают... И кто это сделает — немцы в коричневых или румынские легионеры в зеленых рубашках, — сам понимаешь, не столь уж большая разница. Я еврей, и этим сказано все!.. Мне здесь нет места. Вот я и еду, Илюшка, искать счастья. Понимаешь? И хотя я не очень-то обольщаюсь насчет многомиллионного еврейского государства, о котором трубят сионистские петухи, не верю, что там рай земной, но надеюсь, понимаешь, очень надеюсь в это страшное время, которое надвигается на нас, выжить. Просто хочу выжить... — Хаим в волнении вертел в руках смятую газету. — И не смотри на меня так укоризненно. Мне и без того делается тошно, когда я отчетливо вижу, как меня хватают фашисты... Прихлопнут, как мою маму, — и конец... Я даже крикнуть не успею, не то чтобы сделать что-то полезное...»

Томов слушал и не отступал. Он вновь пытался тогда отговорить друга от далекой и рискованной поездки, но Хаим отвечал, что теперь уже поздно: у него на руках виза английского консульства на въезд в подмандатную Великобританию Палестину. Вдруг он горько усмехнулся:

«Разве все это не потеха?!»

«Если и потеха, то все-таки не смешная...» — задумчиво ответил Томов.

«Не смешная?! — переспросил Хаим. — Ну-ну... Она, Илюшка, с кровью! Слышишь? С кровью... И, честно говоря, свою

кровь мне проливать жалко. Может, еще пригодится... Ты же помнишь листовки с чердака нашего дома!»

«Я-то, помню, а ты, видать, забыл!»

«Я забыл?! — вскрикнул Хаим и, раздвинув ворот рубашки, показал шрам. — Такую прекрасную отметину от допросов в полиции разве можно забыть?.. Вот почему, хочешь не хочешь, а приходится ехать... К тому же, в кармане у меня сертификат с шифс-картой, и в ночь отходит пароход!.. Вот так, Илюшка... Не обижайся. Пиши: Тель-Авив, до востребования...»

Так они расстались тогда в Констанце. Дойдя до угла, Томов оглянулся: Хаим Волдитер стоял на том же месте и смотрел ему вслед. Сутулый, сникший, худой, но очень милый...

«Где сейчас Хаим? Что с ним?» — подумал Илья, вспоминая эту встречу в Констанце. То, что Хаим Волдитер называл тогда «кавардаком», Илья Томов и сам знал, но то, что ему приходилось испытывать сейчас, он был уверен, Хаиму и во сне не виделось...

Подкомиссар Стырча продолжал неистовствовать:

— Какие дела у тебя были с тем жидом?!

— Ничего у меня с ним не было, — ответил коротко Томов.

— Овечка!.. «Ничего не было!», «Ничего не знаю!», «Ничего не делал!», «Все это недоразумение!» Но запомни: бить буду, колотить буду, и ни тебя, ни твою старую каргу на свет божий не выпущу, пока вы у меня тут не сгниете!..

Вмиг Илья представил себе больную одинокую мать, измученную вечными нехватками, настрадавшуюся из-за своего отца, перебивавшего чуть ли не во всех тюрьмах королевства за участие в Татарбунарском восстании бессарабских крестьян. Илью охватила нестерпимая злоба.

— За что вы арестовали мою маму? Что плохого она вам сделала?

— «Что плохого сделала?», «За что арестовали?» — передразнил подкомиссар. — А хотя бы за то, что она — дочь большевистского бунтаря! И еще за то, что тем же навозом напичкала мозги своего выроodka, неведомо от кого нагуленного.

Томов не выдержал и, не отдавая себе отчета, выпалил:

— Ничего, господин подкомиссар... Когда-нибудь вы ответите за все! Ответите...

Стырча обомлел. Он съежился, как рысь перед броском, и, скривив тонкие губы, медленно подошел к арестованному.

— Как ты сказал, большевистская bestия? Мне?.. Мне

посмел угрожать?! Да я тебя... в порошок!..— взвизгнул подкомиссар и размахнулся.

Терпение Томова иссякло, нервы окончательно сдали. Налету перехватил он руку подкомиссара и резко оттолкнул его. Стырча ударился об угол письменного стола...

Побледневший от испуга подкомиссар судорожно извлек из кармана пистолет, вогнал в ствол патрон и, выждав секунду-другую, медленно, прижимаясь к стене, обошел арестованного и рывком бросился к дверям, распахнул их и громко окликнул дежурившего в коридоре полицейского. Вдвоем они накинули на Томова наручники. Полицейскому Стырча велел удалиться, а сам не торопясь вытер испарину со лба, подошел к стене, снял с гвоздя висевшую резиновую дубинку, осмотрел ее со всех сторон, словно сомневался, выдержит ли она... Потом подошел вплотную к арестованному и спросил:

— Стало быть, ничего не знаешь о коммунисте Волдитере Хаиме, ай?..

5

Поздно ночью судовой врач, вызванный к больному пассажиру, осмотрел его и, не проронив ни слова, удалился к капитану. Пароход «Трансильвания», заполненный до отказа эмигрантами из Европы, миновал пролив Скарпанто и вышел в открытое Средиземное море. Он держал курс к побережью Палестины. Оставались сутки с небольшим плавания, когда «Трансильвания», дав легкий крен на левый борт, внезапно свернула с курса. Капитан решил еще до рассвета высадить больного в ближайшем порту, пока не распространился слух о вспышке эпидемии на борту парохода. Капитан знал, что такое паника среди пассажиров. Кроме того, в случае эпидемии «Трансильвания» не смогла бы войти в Хайфу до истечения срока карантина, нарушив тем самым расписание рейсов. Этого капитан и тем более фирма, владевшая судном, опасались, пожалуй, больше всего.

Больного Хаима Волдитера отнесли в крошечное помещение в кормовой части парохода, служившее по мере надобности то изолятором, то моргом.

Светало, когда вдали, за темно-фиолетовой полосой горизонта, выползли очертания остроконечных вершин прибрежных скал. Кое-где на них зеленела растительность и угадывались очертания белокаменных строений города, раскинувшегося в юго-восточной части Кипра.

В миле от фарватера «Трансильвания» встала на якорь,

на мачте взвился сигнальный флаг: «Просим срочную медицинскую помощь!»

Палубы судна были еще пустынные, когда носилки с больным, накрытым с головой одеялом, спустили в пришвартованный к борту мотобот английской сторожевой охраны.

Хаима Волдитера доставили в невзрачное здание порта города Лимасол. В официальном свидетельстве — «сертификате» — больного значилось, что «прошедший акшару²⁰ холуц²¹ Хаим бен-Исраэль Волдистер имеет право на въезд в Палестину», а на обратной стороне документа овальная голубого цвета печать удостоверяла подлинность подписи английского консула, выдавшего визу на право жительства на подмандатной Великобритании земле. При наличии такого документа власти, аккредитованные в Лимасоле, не стали чинить препятствий больному-иноземцу и распорядились передать его главе местной еврейской общины.

На двуколке Хаима отвезли к раввину Бен-Циону Хагера. Вызванная раввином фельдшерица определила диагноз: — Тиф...

Бен-Цион Хагера закатил выпуклые, налитые кровью глаза и, сложив на животе руки с длинными, мертвенно-бледными пальцами, в ужасе прошептал слова молитвы:

— Шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай эход!..²²

Дом раввина был полон детей. Непрошенного гостя тотчас же перенесли в перекосившееся от времени помещение под общей с сараем крышей, отделенное от него прогнившей перегородкой. Ухаживать за больным вызвалась старая фельдшерица, которая была домашним медиком в семье Хагера. В доме раввина ее звали тетей Бетей.

Раввин запретил детям подходить близко к «флигелю» и приказал им повесить на грудь мешочки с черным перцем, очищенным чесноком, какими-то травами и камфорой, что, по его мнению, должно было уберечь от заразы. Своей работнице Ойе, хлопотавшей по двору, он велел помазать стены дома известью, а порог, двери и полы протереть карболкой.

Ночами возле больного дежурил шамес — синагогальный служака. Этого бородатого косого старика еще издали можно было узнать по съехавшему на одно ухо картузу и длинному, засаленному черному кафтану. Он приходил поздно ночью и уходил чуть свет: по утрам и вечерам шамес был

²⁰ Трудовая стажировка с военной муштрой, проводимая сионистами за пределами Палестины и дававшая право на въезд в «страну обетованную».

²¹ Буквально: пионер; доброволец, вызвавшийся ехать обрабатывать и отвоевывать «земли предков».

²² Слушай, Израиль, господь-бог наш, господь один!..

занят в синагоге подготовкой к молению. Старик любил напоминать, что именно он в городе является старшим из «хевра кадишу»²³ и что на нем лежит обязанность, по обрядовым предписаниям, омыwać и облачать в белое полотно покойников. Конечно, только мужчин. А это вовсе не такое уж простое дело!

К вечеру второго дня состояние Хаима ухудшилось. А старика, как на зло, вызвали совершать обряд над покойником в одну состоятельную семью, и шамес, конечно, надеялся урвать хорошие чаевые... С больным на всю ночь осталась тетя Бетя. На рассвете она сообщила пришедшему служителю синагоги, что парень очень плох и едва ли дотянет до вечера.

Шамес подошел к больному, приподнял ему веко и, удивившись, что фельдшерица права, стал нашептывать молитву, вздыхая и присвистывая: у старика не хватало двух передних зубов. Заодно он наметанным взглядом прикидывал, сколько вершков имел в длину парень.

Вскоре шамес ушел. В синагоге в тот день царил необычное оживление: до рош-га-шана²⁴ оставалось менее двух дней! Не до шуток здесь, если учесть, что в эти «грозные дни» на небесах решаются судьбы обитателей земли!..

Рано утром, вскоре после ночной «слихэс» — молитвы прощения — шамес и его хромой напарник, взяв лопату и кирку, отправились на кладбище. Нелегко копать могилу в сухой каменистой земле, да к тому же еще и поторапливаться: ведь в канун Нового года уже с полудня запрещалось хоронить и, как на зло, сразу после праздника — суббота! Тоже нельзя хоронить... А откладывать погребение не позволяла жара.

— Если всевышний задумал не пускать человека на обетованную землю, то тут не помогут ни сертификат, ни шифс-карта, ни виза, ни даже молодость!.. — проговорил напарник шамеса, распрямляя спину и опираясь на заступ.— Парень, можно сказать, был уже перед самым порогом рая, а он отнимает у него жизнь... Ну, так разве он не всеильный?

Шамес ответил не сразу.

— Э, когда нет у человека счастья, так ничего не поделаешь. Это я давно заметил. Да простит меня господь-бог, но и он в последнее время, кажется, выжил из ума... Косит, кого не надо! Нет чтобы прибрать нашего реббе, гори он ясным огнем...

²³ «Братьев-погребальщиков».

²⁴ Нового года.

Хромой оживился: такая речь была ему по душе.

— Хэ-хэ-э! Наш реббе! Наш реббе здоров как буйвол, его и тиф не возьмет...

— Вечного на свете ничего не бывало! Будем надеяться, господь поможет...

Могильщики еще долго копали яму и тешили себя мечтой о том, как с божьей помощью им еще удастся выкопать могилу для реббе.

Шамес появился во дворе раввина Бен-Циона Хагера задолго до захода солнца и сразу направился в сарайчик к больному. Однако, к своему удивлению, вместо фельдшерицы он застал там молодую девушку, работницу раввина гречанку Ойю, старательно моющую кипятком с мылом дощатые стены.

— Пустые хлопоты... — пробурчал шамес, подходя к больному, посмотрел на него, покачал головой и протянул руку, чтобы приподнять веко — удостовериться, что парень долго не протянет. Но Ойя, вдруг бросившись к старику, резко оттолкнула его. Шамес испуганно посмотрел на девушку и поспешно вышел.

Узнав о том, что Ойя ухаживает за тифозным, раввин рассвирепел:

— Кто разрешил этой дуре заглядывать в сарайчик? Видно, хочет нас всех заразить? Чтоб духу ее здесь больше не было!

Вернувшись к тому времени из аптеки тетя Бетя покорно согласилась с раввином, но сказала:

— Что сделано, то сделано, а за больным, как ни говорите, реббе, надо же кому-то присматривать... Парень еще жив! А я, поверьте мне, еле-еле стою на ногах...

Постепенно Бен-Цион успокоился.

— Холуц скоро преставится, пусть побудет с ним, — согласился он. — Но к нашему дому чтоб и близко не смела подходить! Вы слышите или нет?!

Тетя Бетя заверила раввина, что об этом она непременно позаботится. Никто, кроме тети Бети, не относился к Ойе столь сердечно и ласково. Каждый раз, когда фельдшерица вспоминала об Ойе, сердце у нее обливалось кровью.

«Господь наделил ее всем, — думала она, — и умом, и красотой, и добрым сердцем. Но какой дорогой ценой заплатила девчонка за все это...»

Ойя была глухонемой. Родилась она, как утверждали люди, в Фамагусте, росла сиротой: отец, матрос с рыболовного судна, ушел в море и не вернулся. С тех пор Ойя со страхом поглядывала на море. Шло время, и как-то поздно вечером

мать Ойи пришла домой с высоким красивым матросом. Она крепко-крепко прижала девочку к груди, поцеловала ее, долго гладила по головке, с тоской всматриваясь в смуглое личико. Так Ойя и уснула на руках у матери. А утром, проснувшись, увидела пустую комнату. Девочка соскочила с постели, побежала во двор. Старушка, у которой мать снимала комнатку, указала ей на море. В сизой утренней дымке Ойя увидела удаляющийся белый пароход... Девочка осталась у старушки, помогала ей по хозяйству, носила воду, пасла козу, в школу не ходила из-за своего недуга и всегда с тоской и надеждой поглядывала на приходящие в гавань большие белые суда...

В семью раввина Ойя попала еще в Фамагусте. При переезде в Лимасол больная жена Бен-Циона взяла с собой выгодную работницу. Ойя была старательна и безотказна.

Когда же в предвечерние часы Ойя заканчивала работу и приводила себя в порядок, она выглядела писаной красавицей. И соседки-гречанки поговаривали, будто господь отнял у девушки речь лишь потому, что наделил ее такой красотой.

В Лимасоле частым гостем раввина бывал Стефанос — отставной полицейский сержант, содержавший на паях с реббе у портового пакгауза кабак с притоном. Всякий раз, когда девушка попадалась ему на глаза, толстяк, поглаживая усы, жадно оглядывал ее с ног до головы... И о чем-то подолгу шептался с раввином.

Было это минувшей весной. В один из предпасхальных дней, когда вся подготовка к празднику в семье раввина подходила к концу, Бен-Цион Хагера неожиданно заявил, что недозволительно в течение всей пасхальной недели пребывание в их доме человека иной веры. По священным пасхальным законам, добавил он, все, начиная с пищи и кончая посудой, должно быть кашерным²⁵ и, конечно, чисто еврейским. При этом Бен-Цион дал понять, что девушку придется хотя бы на время определить к Стефаносу.

Узнав о том, что ее отдадут в кабак, Ойя порывисто закрыла лицо руками и убежала. Она всю неделю скрывалась во «флигеле», где теперь маялся в тифозном жару Хаим Вольдтер. За исключением Бен-Циона и его дочери Циля, все знали, где находилась девушка. Ей тайком от раввина приносили еду, утешали, жалели. Но что могли сделать они, запуганные отцом дети: лишь Циля, пышногрудая статная кра-

²⁵ Пища и посуда, которая с точки зрения иудейской религии является ритуально чистой.

савица с большими карими глазами, любимица отца, имела право возразить раввину. Остальные: и старшая горбатенькая Лэйя, и даже сын Йойнэ — должны были молча повиноваться.

Только незадолго до Нового года Хаим Волдитер пришел в сознание. Смутно различив худенькую и молчаливую девушку, сидевшую подле него, он с трудом повернул к ней голову.

Девушка тотчас же склонилась над ним, вглядываясь своими большими черными, как смола, глазами в изможденное лицо больного. И сразу же она проворно принялась обмахивать полотенцем его лицо, затем снова склонилась над больным, пытаясь понять, что он шепчет. Ойя чувствовала свое бессилие, не знала, чем помочь парню. Она начала волноваться, метаться по чулану. И вдруг ее осенила мысль... Быстро зачерпнув кружкой воды из большого глиняного кувшина, она поднесла ее Хаиму, приподняла ему голову. Он отпил несколько глотков, и тут впервые их взгляды встретились.

Солнце уже взошло, когда пришла тетя Бетя. Поставив больному градусник, она глянула на него. Ойя уже объясняла ей жестами, что парень пил воду... Вон — почти полкружки!

Фельдшерица поразилась. Она ощупала лоб больного, извлекла градусник. Но что это? Женщина поправила очки и снова напряженно стала всматриваться в ртутный столбик: температура резко снизилась!.. Значит, слава всевышнему, — кризис миновал!.. От счастья тетя Бетя принялась обнимать и целовать Ойю... Ну, и надо же немедленно сообщить об этом раввину, пусть и он порадует, что господь смилостивился и оставил в живых молодого парня...

В дверях она столкнулась со стариком шамесом и его хромым напарником. В руках одного было свернутое черное покрывало, которым накрывают покойника, другой держал подсвечник и свечи...

Фельдшерица со слезами на глазах от счастья вместо обычного приветствия встретила «хебра кадишу» радостным восклицанием:

— Все! Все, вы слышите?!

— Так к чему так радоваться? — склонив голову на бок, удивленно спросил шамес. — Я и сам знал, что бедняга до утра не дотянет... Пойдемте, надо спешить! До полудня мы должны отнести «месса»²⁶ к священному месту... Вы видите,

²⁶ Тело покойника.

где уже солнце? Скоро Новый год... О! — указал старик на небо.

— Вы что, сдурели? — вскрикнула фельдшерица, только теперь догадавшаяся о цели прихода «хевра кадишу». — Сумасшедшие! Кризис у холоца миновал благополучно... Вы это понимаете? Он поправляется! Он жив!

— Да-а? А мы думали... — в растерянности разочарованно произнес хромой и невольно вытянул руку с подсвечником.

Женщина набросилась на него, размахивая кулаками и продолжая отчитывать пришельцев:

— Кто вас просил об этом?! Такое придумать: копать могилу, когда человек еще жив!? Ужас!

Шамеса это обидело.

— Что значит, кто нас просил?! — возмутился он, выйдя с напарником на улицу. — Как будто мы хотели, чтобы парень умер! А она знает, что есть обряд? Ей, конечно, на все это наплевать! Ну, а скажем, если бы холуц таки-да преставился? Тогда что? Подумала она, что завтра праздник, послезавтра — суббота? Пусть попробует в такую жару сидеть дни и ночи напролет с разлагающимся покойником... Хэ! Думает, шамес все стерпит... А кукиш она не хочет, старая ведьма, погибель на ее голову! Раскричалась, «ужас»!.. Можно подумать, у меня нет обязанностей поважнее. Гвалт подняла такой, будто мы хотели убить человека...

— Хорошо, хорошо, — прервал его излияния хромой напарник. — Пусть так, пусть не так... Но к чему, хочу я вас спросить, почтеннейший шамес, было нам в такую жару копать яму, да еще такую глубокую? Я же говорил — хватит! Так нет: «еще»! Всё мало...

— А что такое, что? Боитесь, будет пустовать?

— Это так, да. Но все же надо бы ее зарыть... Неудобно. И при том порядок же, кажется, предписывает, я знаю?.. Узнает кто-нибудь и будет потом болтать...

— Можно, конечно, ее прикрыть... — нехотя согласился шамес. — А если нет, так что? Э!.. Только бы эти беды мне остались... Пригодится она. Как-нибудь!..

Вечерело. В крохотном помещении синагоги, с трудом вместившем почти всех верующих, было нестерпимо душно, пахло потом и гарью чадящих свечей. Расставленные на старых противнях или просто в наполненных песком жестянках из-под консервов свечи всех сортов и достоинств, начиная от произведений кустарей и кончая шедеврами всемирно известных фирм, были наглядным свидетельством имуществен-

ного положения их владельцев. Но независимо от этого свечи или горели ровно и ярко, или, оплывая растопленным воском, оседали и, скорчившись, догорали. Как люди...

Раввин Бен-Цион Хагера стоял перед бархатной занавеской, за которой в парчовых и плюшевых чехлах хранились священные торы²⁷. С обеих сторон его столика, похожего на пюпитр, на котором лежал пухлый молитвенник, высились огромные серебряные подсвечники, «минойрэ»: в каждом из них, в соответствии с талмудом, утверждавшим, что бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой отдыхал, — горело по семь свечей, установленных в один ряд.

В торжественной тишине, согласно обрядовому и традиционному порядку — «кто повышает голос, тот не верит в силу молитвы», — Бен-Цион Хагера сдержанно, но величаво, как это подобало раввину, читал нараспев особые вставки для Новолетия в молитве «амида». Лишь изредка верующие трепетно произносили «аминь!» Наступал новый, пять тысяч шестьсот девяносто девятый год...

Несколько в стороне от раввина, с накинутым поверх головы «талесом»²⁸, раскачиваясь в такт чтению, самозабвенно молился шамес синагоги. В соответствии с наказами ученых предков он весь отдавался священной молитве, благочинно всхлипывал, воздавая хвалу всеильному, всевятому, всевышнему...

Помещение синагоги походило на герметически закупоренный пчелиный улей...

И вдруг шамес почувствовал, как стало трудно дышать, словно кто-то сдвигал горло, сердце всполошенно заколотилось, будто его чем-то обожгло.

Он откинул на затылок парчовый, пожелтевший от времени талес, осторожно вдохнул полной грудью спертый воздух, но острая боль под лопаткой почему-то не утихала. Тогда он протиснулся к скамейке и тяжело опустился на нее.

К нему пробрался хромой приятель и вопросительно заглянул старику в лицо.

— Вот тут что-то... — сказал шамес и указал на левую лопатку.

В этот момент раздались величавые звуки «шофара»²⁹, и синагога содрогнулась от голосов молящихся. Хромой приятель шамеса, не обращая на это внимания, взял старика под руку, повел к выходу и во дворе усадил на лавочку.

²⁷ Пятикнижие — пергаментные свитки с изложением заповедей мифического пророка Моисея.

²⁸ Молитвенное облачение — белое покрывало с черными полосами и кистями из шерсти по краям.

²⁹ Рог, древний духовой инструмент.

— Так душно, что можно богу душу отдать, — сказал хромой могильщик, кивнув на синагогу. — Скорее всего это от чада самодельных свечей. Болит? Отчего бы?

— Я знаю? — переводя дух, с трудом ответил шамес.

— Может, дать немного воды?

— Я знаю?

Хромой принес кружку воды. Шамес выпил глоток-другой, выпрямился, глубоко вздохнул.

— Кажется, чуточку лучше... — И вдруг стал валиться на бок. Сбежались люди, стали искать в толпе доктора, но подошла тетя Бетя и сказала, что покойнику никто уже не поможет...

Тело шамеса унесли в крошечную и почти пустую комнату на заднем дворе синагоги, где он жил как отшельник, и положили на пол, произнеся краткую молитву, накрыли черным покрывалом, еще утром заботливо приготовленным для молодого приезжего парня.

И покойник лежал ночь, весь следующий новогодний день, потом целые субботние сутки. Лишь во второй половине воскресенья шамеса понесли на кладбище. Хромой могильщик положил покойнику на глаза по черепку, третьим, побольше, накрыл рот — этого требовал обряд: в загробной жизни человек избавлялся от присущей ему на земле скверны — от жадных, завистливых глаз и ненасытного, сквернословящего рта. Могильщик на прощание наклонился к покойнику и стал настойчиво нашептывать ему на ухо:

— Это я, твой хромой приятель. Прошу тебя, будь снисходителен, не сочти за труд и сбегай к богу, замолви за меня словечко и за знакомых тебе Аврама, Бореха, Шмуэля, Гитлу, Двойру, Сурку, Янкеля, Симху, ну, и... за всех остальных, конечно... Попроси его ниспослать нам немного счастья, хорошего здоровья, и пусть он наконец-то чуточку глянет вниз, сюда, на землю! Пора уже, кажется, сжалиться над нами... Ты сам прожил немало и, слава богу, видел и знаешь, что тут творится! А ему стоит только захотеть, так и здесь еще может быть ничего себе...

Раввин Бен-Цион знал, что хромой обращается к покойнику с последней просьбой, и подсказал:

— Скажите, пусть сбегаёт к богу и попросит за реббе Бен-Циона, за его детей, за весь наш верующий народ.

Хромой кивнул головой в знак согласия и вновь наклонился к уху покойника:

— О! Еще реббе наказывает тебе сбежать к богу и попросить за весь наш верующий народ, за его несчастных детей, и, я знаю, может, надо попросить и за него... Возможно, ты уже

переменил свое мнение о нем? Словом, как сам понимаешь... Может быть, я что-нибудь не так сказал, так уж прости меня, невежду... Слышишь?

И только после этого труп шамеса накрыли досками и захоронили в той самой могиле, которую так торопливо и усердно он копал для другого... У свежего холмика, к удивлению присутствующих, раввин Бен-Цион Хагера лично прочел отходную молитву и, так как покойник был бездетным, даже заупокойную «кадеш». По дороге с кладбища Бен-Цион Хагера умиленно делился с окружающими воспоминаниями о шамесе, называл его самым ревностным служителем синагоги и повторял, как он, раввин Бен-Цион, всегда великодушно и справедливо относился к покойному. И кто знает, стал бы Хагера так же восхвалять покойника, если бы знал о мечте почившего старика отыгаться над трупом раввина за все, что он, шамес, претерпел от Бен-Циона за годы службы в синагоге.

— Так что это за жизнь? — грустно, растягивая слова, спросил хромой могильщик, ставший теперь по велению раввина шамесом. — Старик был такой хороший человек, да простит ему бог грехи! Такой честный труженик, чтоб земля ему была пухом! Такой хасид³⁰, царство ему небесное!.. Он так старался, вы понимаете, реббе? Так усердно копал ту могилу, так хотел, чтоб она непременно была глубокая, и думать не думал, несчастный, мир праху его, что сам навсегда ляжет в нее!.. Ну, так я вас спрашиваю, это жизнь, а?

6

В пансионе мадам Филотти, где Илья Томов на пару со своим другом Евгением Табакаревым снимал койку, рождественский вечер походил на поминки. Вики, молоденькая продавщица крупнейшего в Бухаресте магазина «Галери Лафаетт», снимавшая угол с раскладушкой в комнатке хозяйки, плакала, уткнувшись лицом в подушку. Некоторое время назад она увлеклась Томовым и всячески старалась ничем не выдавать своих чувств. Ей казалось, что никто не догадывается об истинной причине ее слез. В действительности об этой тайне девушки давно знали все жильцы пансиона, включая супруга мадам Филотти ня Георгицу. Знал о ней и племянник мадам Филотти, шофер Аурел Морару, не чаявший души в Вики. Аурел ревновал Вики к Томову, но скрывал это. Он завидовал Томову, и не потому, что тот был высоким,

³⁰ Буквально: «учение благочестия»; благочестивый.

широкоплечим и темноволосым парнем с карими глазами, а потому, что он обладал привлекательными чертами характера. Любитель пошутить, общительный и непосредственный, он, сам того не замечая, всегда оказывался в центре внимания окружающих, как говорится, «гвоздем» общества.

Совсем другим человеком был Морару. Округлое лицо с чуть приплюснутым носом, тщательно приглаженная вороненная шевелюра и сутуловатость придавали ему несколько слащавый вид, в действительности же это был очень застенчивый, скромный и уравновешенный человек. Он безропотно переносил подчеркнутое безразличие к нему Вики, которое она проявляла всякий раз, когда предавалась мечтам, навеянным кинофильмами Голливуда, и был безгранично счастлив, когда она с благодарностью принимала и искренне ценила его заботу о ней. Бывало, что стремление Аурела во всем угодить девушке раздражало ее, и тогда Вики не скупилась на острые словечки в его адрес. Аурел покорно отступал и не обижался, воспринимая эти выпады как капризы любимого ребенка.

Ничем не выдавая своей причастности к революционной деятельности, Аурел стремился привить Вики интерес к политическим событиям, исподволь наталкивал ее на размышления о причинах унижительной бедности и гнетущей неуверенности в завтрашнем дне тысяч подобных ей тружеников. Но давалось ему это не легко. Разговоры на эти темы были Вики скучны. Жизнь она воспринимала поверхностно и всегда находилась в ожидании чего-то необычного, счастливого, что непременно должно было встретиться на ее пути и изменить всю жизнь. Она будто жила на перроне большого вокзала и, встречая каждый поезд, как заветный, окуналась в шумную толпу, выискивала того, о ком мечтала.

Однажды Аурел и Илья предложили Вики пойти вместе на просмотр русского фильма «Парад» — о спортивном празднике молодежи. Вики ответила: «Парады я видела и сколько угодно увижу еще на стадионе, а фильмы предпочитаю смотреть о любви, — и, многозначительно взглянув на Томова, тихо добавила: — хотя бы в кино... Томов непринужденно рассмеялся, притворяясь, будто не понял намека, а Морару смущенно улыбнулся.

Вики, как и все в пансионе, знала тогда, что Томов получает письма от некоей Изабеллы — внучки крупного бесарабского помещика, с которой он был знаком еще в детстве. Позднее, когда Илья учился в лицее, они, несмотря на строгий запрет деда, помещика Раевского, часто встречались и полюбили друг друга. Когда же Илья уехал в Бухарест, а

в Болграде прошел слух, будто он учится на офицера-летчика, помещик одобрил переписку с ним внучки. Последнее письмо от Изабеллы, в котором она писала, что мечтает увидеть Илью офицером авиации и что в противном случае дед не одобрит ее выбора, Томов получил уже тогда, когда вместо учебы на летчика ему пришлось зарабатывать на кусок хлеба в гараже «Леонида и К⁰». И как ни прискорбно было Илье порывать отношения с Изабеллой, он ответил ей коротко и зло. «Твоей мечте, — писал он, — не суждено сбыться. Я не буду офицером авиации, а сейчас тружусь простым рабочим и, представь себе, горжусь этим. Когда же придет время выбрать подругу жизни, то я не стану испрашивать одобрения ни черта, ни ангела, ни тем паче родичей, если даже они будут владеть миллионами...»

Переписка прекратилась. Вики это обрадовало, в ее душе затеплилась надежда, но ненадолго. Илья увлекся какой-то парашютисткой из Советской России. На подоконнике у его койки в дорогостоящей бронзовой рамке красовалась фотография — кадр из фильма «Парад», на котором была запечатлена колонна русских девушек-спортсменок и среди них, как внушил себе Илья, его знакомая, парашютистка Валентина Изоту. Вики успокаивала себя, что эту чужестранку Илья больше не увидит и переписываться с нею не может. Хуже было другое: Томов принимал искреннее участие в налаживании дружбы между нею и Аурелом. И это порою выводило девушку из себя, она выпаливала в его адрес кучу дерзостей, а после этого подолгу не желала разговаривать с ним и здороваться. Когда же наконец отношения между Вики и Аурелом стали походять на настоящую дружбу и жильцы пансиона всерьез стали предвкушать удовольствие «топнуть на свадьбе», нагрянули агенты сигуранцы и стало известно об аресте Ильи. Вики, не в силах совладать со своими чувствами, уткнулась в подушку, чтобы заглушить рыдания.

— Перестань, глупенькая... Пройдет день-два — и отпустят его, увидишь! — успокаивала ее мадам Филотти, но про себя она думала иначе: «Комиссары из префектуры зря не приходят! Значит, что-то есть...» Улучив момент, когда Вики не было рядом, она спросила своего давнего постояльца, служащего трамвайного общества «С.Т.Б.» Войнягу, что мог бы натворить их молодой квартирант?

Войнягу сам терялся в догадках, был обеспокоен, но, подобно хозяйке пансиона, утешавшей Вики, уверенно ответил:

— Наверное, просто недоразумение... Вы разве не знаете,

что из всякой мухи можно раздуть слона? Эге!.. Но муха-то остается мухой! Обойдется...

Ответ не успокоил хозяйку, она продолжала допытываться. Особое недоумение у нее вызывало то, что полицейские забрали какие-то книги квартиранта и, главное, фотографию девушек-спортсменок!

— Что это — бомба? — удивлялась она. — Нашли к чему придраться...

И старик ня Георгицэ не находил себе места. Он всегда считал молодого квартиранта человеком вполне положительным, вежливым, аккуратным.

— Ума не приложу... — Шутка ли — сигуранца! — повторял он и ходил взад-вперед по коврику, постланному по случаю праздника.

Старик вспоминал день за днем жизнь квартиранта с момента, когда года два назад он приехал из Бессарабии к своему земляку, давнему постояльцу пансиона господину Еуджену Табакареву. В пансионе все знали, что парень намерен поступить в авиационную школу. «Что ж, стать авиатором — дело неплохое, почетное и денежное... Факт!» — сказал тогда ня Георгицэ. — Месяца три приезжий ходил на аэродром Бэняса. В девятнадцать лет — это не расстояние. Ради экономии парень не часто пользовался автобусом. Добрых два часа, если не больше, добирался он от Вэкэрешть до аэродрома, зато шесть лей оставались в кармане. Да и откуда ему было их брать? В Бэнясе жил его земляк, какой-то механик, который обещал устроить его в авиацию... «Это вполне понятно, — заметил тогда ня Георгицэ. — Без знакомства, или, как говорится, без помощи «родичей в Иерусалиме», еще никто в жизни не преуспевал. Факт!» Томов верил механику и ждал, а тот тянул с парня, что только мог. И вот однажды механик сам приперся в пансион и торжественно во всеуслышанье заявил, будто уже устроил Илью в авиацию и задержка теперь лишь за формой, которую приобретать придется на собственные средства...

«Что ж, это вполне резонно!» — сказал тогда ня Георгицэ. А когда Томов и его друг Табакарев, желая отблагодарить земляка-механика, засуетились, выбирая для него самое почетное место за столом и выкладывая все, чем были богаты, ня Георгицэ примирительно, но не без задней мысли, заметил: «Слова благодарности без придачи — пустой звук!» Он поставил на стол бутылку вина и распил ее с гостем.

На следующий же день на радостях наш молодой человек заглянул в шапочную мастерскую. Мэ-эй! Тут только и

ждали таких покупателей... Дельцы сразу смекнули, что господин Томов провинциал,— и «накололи» его. Да еще как! Всучили первоклассную форменную фуражку с кокардой королевского воздушного флота и, будьте любезны, гоните монету, господин авиатор!.. Тот выложил деньги, сунул под мышку фуражку и... ту же затянул ремешок. Господин Табакарев делился с другом своим обедом и помогал, конечно, чем мог, но шли дни, недели, а прием Ильи Томова в авиационную школу все оттягивался. И вдруг выяснилось, что фуражка ни к чему — в Воздушный флот Его Королевского Величества доступ бессарабцам наглухо закрыт... Факт!

Вспомнив все это, ня Георгицэ сердито сплюнул и, рассуждая вслух, пробурчал:

— Этот механик шепелявый — жулик, видать, первого сортной марки! Он-то знал, чем дело кончится... Королевский флот! Экая невидаль! Будто мы не знаем — три десятка фанерных аэропланов! Было время — верили, а нынче перевелись дураки...

Мадам Филотти оглянулась на супруга.

— Вот так, коницэ³¹, как ни говори, а мир совсем испортился. Факт!— ответил он на вопросительный взгляд супруги и вновь углубился в свои мысли.

В памяти всплыли дни, когда молодой квартирант скитался по Бухаресту в поисках работы. Наконец, Аурелу Морару удалось пристроить его в гараж. Парень стал зарабатывать, но жил скромно, ой как скромно... Вместо пальто поверх тужурки носил фельдфебельскую поношенную куртку, присланную из дома. За все время купил себе только галоши, а матери из каждой получки посылал деньги. Тихий... И вдруг — «компот»! Пришли, перевернули все вверх дном, на шумели: «Шпионов держите! Коммунистов!»

Мадам Филотти с тревогой следила за супругом, прислушиваясь к тому, что он нашептывает, но, ничего не поняв, указала Войнягу на дверь комнаты Вики, давая понять, что надо успокоить девушку.

Войнягу вышел.

Мадам Филотти плотно закрыла за ним дверь и даже затянула портьеру, прежде чем обратилась к мужу:

— Послушай, Георгицэ! Я не понимаю, что происходит? Аурика пришел сегодня с работы рано, как полагается перед праздником, собрался в парикмахерскую, попросил приготовить ему чистую рубаху, но как услышал, что были с обыском, исчез... Сказал «скоро приду», а все нету! Что это может означать, Георгицэ?

³¹ Барыня (рум.).

Старик недоуменно развел руками и ничего не ответил. Мог он разве догадаться, что Аурел Морару только делал вид, будто это сообщение его нисколько не взволновало, тогда как в действительности у него дух перехватило. Под угрозой провала была партийная ячейка. Опасность нависла и над другими товарищами, о местонахождении которых Илья Томов знал. Знал он и многое другое...

Было это совсем недавно, вечером. Илья Томов пришел в одиннадцатом часу. С напускной веселостью поздоровался со всеми обитателями пансиона и, подавая руку Аурелу Морару, сказал, как бы между прочим:

— Насчет карбюратора к вашему «шмандралету» — придется еще денек обождать. Весь день искали на складе и не нашли подходящего....

Морару застыл от неожиданности.

Когда Илья пошел на кухню умыться, Морару вышел за ним.

— Слушай, я же горю! Мне завтра надо подавать машину профессору!.. Понимаешь?

Илья поднял к нему намыленное лицо.

— Конечно понимаю. Но что делать? У нас большой провал. Захария прямо об этом не говорит, сегодня он весь день отсутствовал, пришел очень поздно расстроенный и велел передать, чтобы ты придумал что-нибудь и еще денек продержал типографию.

— Что же можно придумать, если я уже сказал профессору, что завтра к обеду машина будет подана?!

— Понимаю, Ауреле... Все понимаю, но надо же как-то спасти типографию.

Морару прикусил губу, затем сказал:

— Может быть, снять водяную помпу и отвезти ее к вам в гараж? Я будто предчувствовал, что так будет, и на всякий случай предупредил его, что обнаружил течь в помпе... Он, правда, велел купить новую...

Томов развел руками:

— Не знаю я, какие у тебя с хозяином отношения... Но так или иначе придется выкручиваться... Сам понимаешь...

Морару ходил по кухне, ероша волосы.

— А что, если заболеть на пару днейков?

Томов перекинул через плечо коротенькое вафельное полотенце.

— Это, пожалуй, выход! Скажешь хозяину, что в гараже просквозило.

Морару молчал. Ему было стыдно перед профессором. Он никогда не обманывал его.

— Предлог, по-моему, подходящий, — продолжал Томов. — Но ты уверен, что старикан без тебя не заглянет в гараж?..

— Да нет, это меня меньше всего беспокоит. Я уже говорил — в гараж он не пойдет, тем более, когда меня там нет. Это точно!

— В таком случае, придется заболеть...

— Или лучше отпроситься на денек?

— Смотри, тебе виднее... Отпроситься бы, конечно, порядочнее, чем соврать... Это ясно! Но вдруг Захария и завтра не найдет помещения? Тогда как будешь выворачиваться?

Вопрос остался нерешенным. А утром, когда Илья вновь встретился в коридоре с Аурелом, они условились не обсуждать в пансионе свои дела.

Вскоре Томов и Морару вышли из пансиона. Было холодно и тихо. Бухарест только просыпался, ночная тьма постепенно вытеснялась хмурым рассветом. На душе у обоих было тревожно. Предстояло окончательно договориться, как быть: пойти Аурелу к хозяину и отпроситься на денек или все же позвонить ему и сказать, что заболел?

Они подходили к углу улицы Вэкэрешть и переулка Тайкэ Лазыр, когда со стороны площади Святого Георгия с трезвоном и грохотом подкатил к остановке девятнадцатый трамвай. Из открытого тамбура прицепного вагона соскочили мальчишки-газетчики. Их звонкие голоса тотчас заполнили всю окрестность:

«Универсул»!, «Курентул»!.. Перестрелка на фортификационных линиях «Мажино» и «Зигфрид»!.. «Новый налет на Германию крупных соединений английских бомбардировщиков «Бостон»! «Специальный выпуск! «Универсул!» «Сброшено сто тонн... листовок!» «Заявление рейхсминистра пропаганды доктора Геббельса!»

«Тимпул»!, «Крединца»!, «Ултима ора!» — кричал сорванным голосом рослый парень. — «Речь генерал-губернатора Польши Франка...» «Французские солдаты на «Мажино» получают очередные отпуска...» «Специальный выпуск!» «В Париже проститутка покончила самоубийством от скуки!»... «Его величество король Карол II дал грандиозный банкет...»

У больницы «Колця» Морару позвонил из автомата своему хозяину и сказал, что плохо себя чувствует, должно быть во время ремонта машины простудился. Профессор Бу-

кур, как всегда внимательный к людям, особенно к больным, велел ему непременно отлежаться, предупредил, что в столице свирепствует бестемпературный грипп, который дает неприятные осложнения... Профессор признался, что тоже чувствует себя неважно, и если уж выйдет из дома, то только в больницу; для такой поездки он вызовет такси... «Как видите, машина мне не нужна. Придете, когда почувствуете себя совершенно здоровым... С гриппом шутки плохи! Так что, тайкз³² Ауреле, лежать! Лежать, и никаких разговоров!» — властно произнес профессор и повесил трубку.

Результат переговоров превзошел их ожидания. Томов восхищенно воскликнул:

— Слушай! Так он в самом деле человек?!

— Верно, человек... — нехотя ответил Аурел, удрученный тем, что пришлось вторично обмануть профессора. — Иногда, правда, бывает резок... Если уж разоидется, то и слова не даст вымолвить. Находит на него такое. Вот тогда стой перед ним, молчи, слушай и терпи.

Договорились, что Морару безотлучно будет ждать в пансионе сообщения о помещении для типографии. На ходу Томов вскочил в трамвай и уехал на работу. Вернувшись домой, Морару занялся ремонтом старых стенных часов, но тревожная мысль о том, что печатный станок все еще в гараже, не оставляла его ни на минуту.

В пансионе было тихо: мадам Филотти ушла на базар, ня Георгицэ, довольный, что Аурел, наконец-то взялся чинить часы, собрался пойти купить сто грамм настоящего кофе, чтобы угостить племянника.

— Вот исправишь часы, я сварю тебе такую кафелуцу, какую самые высокопоставленные господа пьют только в «Капше»! Без цикория, стопроцентное мокко! Каково? — и старик от удовольствия причмокнул губами.

Морару усмехнулся, продолжая отвинчивать болтики от корпуса часов.

С базара пришла мадам Филотти, вернулся и ня Георгицэ, а часы все еще не были готовы. Мысли о типографии, оставленной в машине, об арестах товарищей, о выдуманной им болезни не давали покоя Аурелу.

Профессор Букур к тому времени уже вернулся из больницы, пообедал и прилег в кабинете на кушетку. Позевывая, он вспомнил об удачно сделанной знакомому врачу операции на правом легком, потом задумался над мерами борьбы с эпидемией гриппа; вспомнил и своего шофера. Не воспали-

³² Батенька (рум.).

ние ли легких у него? В гараже, по всей вероятности, холодно... Профессор представил себе цементный пол гаража, вспотевшего Аурела, ремонтирующего автомашину. И, наконец, щели в воротах... Могло просквозить! Надо бы и в гараже сделать ремонт, хотя Морару все отговаривал: «Ничего не надо!» Так и с машиной: будет ремонтировать помпу и ни за что не купит новую... На редкость честный!

Профессору показалось, что в комнате холодновато; он накрыл ноги шерстяным пледом, но уснуть не мог. «Не мешало бы обить ворота гаража войлоком, поверх обтянуть плотным брезентом... И подключить еще несколько секций отопительных батарей», — размышлял профессор. Так и не уснув, он откинул плед, встал, взял запасные ключи от гаража и спустился вниз.

Сначала профессор осмотрел гараж снаружи, проверил, плотно ли закрываются ворота. Войдя в гараж, он включил свет и, свернув губы трубочкой, сильно выдохнул... «М-да-с... Совсем как на улице» — проговорил он, поежился и решил непременно установить в боковых стенах большие батареи, поднять порог...

Раздумывая, как лучше утеплить гараж, профессор взглянул на автомашину и удивился: задняя часть кузова была слишком приподнята. Это Морару поднял ее на домкрат, чтобы от тяжести типографского станка, ящиков со шрифтом и пачек газет, — для легковой машины это был чувствительный груз, — не осели рессоры.

Подойдя ближе, профессор заглянул в боковое окно машины. Ему показалось, что внутри что-то есть. Он открыл дверцу и в изумлении сделал шаг назад. На заднем сидении, обернутое байковым одеялом, лежало что-то огромное, почти касавшееся брезентового тента. Профессор протянул руку и ощутил твердость и холод металла; рядом лежали жестяные ящики и две пачки, завернутые в простыни. Пощупал... «Что же это такое? — недоумевал он. — Неужели краденое?»

При этой мысли ему стало знобко, он с гадливостью захлопнул дверцу и устремился из гаража, но, вспомнив про водяную помпу, так же стремительно вернулся к машине, дрожащими от волнения руками оттянул пружинистые защелки и приподнял капот: водяная помпа, которую шофер якобы снял для ремонта, была на месте... Уже много лет профессору, старому любителю и знатоку автомобилей, не приходилось заглядывать под капот, но теперь он решил проверить все собственными руками и глазами. Отвернул пробку радиатора: он был полон воды... Не поленился профессор нагнуться и посмотреть пол под радиатором. Там

было сухо! Теперь все стало ясно: и протекающая водяная помпа, и вчерашний ремонт, и, видимо, сегодняшнее внезапное заболевание — все выдумка...

Почтенный профессор с известным по всей стране именем давно уже не был так взволнован... Так ошибиться в человеке, которому он доверял и которого даже уважал!

Забыв опустить капот, он вышел из гаража, запер калитку и, привычным движением закинув руки за спину, взволнованный до предела, поднялся к себе в кабинет...

— Августина! — закричал он не своим голосом и бросил связку ключей на кушетку. Туда же швырнул шляпу, пальто, кашне. — Какое бесстыдство!.. Меня надуть!

Невысокий, плотный, всегда подтянутый профессор Букур, несмотря на преклонный возраст, был очень подвижен. Сын некогда крупного с крутым нравом помещика, он унаследовал от отца его волевою натуру и резкий, нетерпеливый характер. Разгневанный, он схватил стоявший на столе колокольчик и затряс его изо всех сил:

— Августина! Мариоарэ!

Прихрамывая, вбежала испуганная пожилая немка-гувернантка.

— Куда вы запропалились, фрейлен?! — набросился на нее профессор и, не дав ей вымолвить ни слова, опять затряс колокольчиком, вызывая Мариоару. Наконец гувернантке удалось сообщить ему, что прислуга ушла в магазин.

— В таком случае сейчас же! Немедленно! — взвизгнул профессор. — Сию же минуту оденьтесь, возьмите таксомотор и поезжайте к нашему шоферу. Знаете, где он живет?

— О да, конечно, господин профессор, — торопливо ответила гувернантка. — Я корошо знает, где шифет господин Морару!..

— Так вот! — от негодования Букур не говорил, а кричал срывающимся голосом и в такт словам приподымался на носки и опускался. — Трезвого или пьяного, здорового или больного, живого или мертвого — тащите его сюда! Вы слышите, фрейлен?! Немедленно!

Не прошло и получаса, как в дверь пансиона мадам Филотти, как раз когда Аурел уже завинчивал последние болтики на крышке часов, а ня Георгицэ варил по особому рецепту кофе, постучалась гувернантка профессора Букура. Волнуясь, она сказала Морару, что приехала за ним, что его срочно вызывает хозяин.

Что только не передумал Морару в пути! Ведь профессор сам велел ему отлеживаться! Неужели такой провал, что полиция наводит о нем справки у хозяина? Одна за другой,

словно волны, набегали мысли, и каждая казалась страшнее другой. Не мог профессор просто так вызывать его: он же утром говорил, что машина не понадобится... Но если профессор обнаружил в гараже типографию, то, безусловно, худо...

Когда такси остановилось у дома профессора и гувернантка стала расплачиваться, Морару бросился в гараж. Он сразу понял, что тут кто-то побывал: капот поднят!.. От мысли, что типография в опасности, его бросило в жар. «Неужели напали на след? Что скажут товарищи?! А если мне сейчас снять машину с домкрата и рвануть из гаража? — мелькнула мысль. — Но, если здесь побывала полиция, то наверняка уже за домом следят...»

Морару инстинктивно оглянулся, прислушался. Двор был пуст. Он снова подумал: «А что, если один только профессор здесь был и еще не успел сообщить полиции? В таком случае как быть?»

То и дело Морару возвращался к этой мысли и в конце концов решил подняться к профессору: если следят, то бежать с типографией все равно бессмысленно...

В прихожей его ожидала немка Августина. Она прошла в кабинет хозяина, и Морару слышал, как профессор сердитым срывающимся голосом велел пригласить шофера.

Букур стоял у венецианского окна и беспокойно теребил начищенную до блеска бронзовую ручку. Раздвинув кремовые занавески из китайского шелка, он неподвижным взглядом смотрел на давно знакомую, надоевшую за долгие годы красную черепицу готической крыши соседнего дома. Услышав шаги шофера, профессор повернулся и, не дав ему поздороваться, наигранно любезным тоном заговорил:

— А-а! Это вы, господин Морару?

— Здравствуйте, госп... — начал было Аурел, однако профессор прервал его.

— Очень приятно видеть вас в добром здравии... Вы, кажется, снимали водяную помпу, чинили что-то в автомобиле и простудились? Не так ли?

Морару понял, что профессор иронизирует. Встревоженный, он пристально всматривался в хозяина, чутко прислушиваясь к тому, как и что он говорит. Надо было узнать причину, приведшую к раскрытию типографии в гараже, оценить создавшееся положение, сориентироваться и принять какое-то решение. Морару терпеливо молчал, а Букура это еще более возмутило:

— Вы и отвечать, я вижу, не намерены? Вон как! — он ехидно усмехнулся, и вдруг закричал: — Может, вы все же

скажете, что это за «багаж» внизу? В моей машине, в моем гараже, в моем доме?!

Морару скользнул взглядом по дверям, выходившим в большую гостиную, и не торопился с ответом.

— Я спрашиваю, чей «багаж»? Что там такое? Зубо-врачебное кресло? Бормашина? Вы что — изволили переменить профессию шофера на дантиста?!

Морару не проронил ни слова. Он оглянулся. Кроме него и профессора, здесь как будто никого нет... Впрочем, полиция с успехом может находиться за дверью...

Букур проследил за его взглядом, устремленным на дверь соседней комнаты, и губы его скривились в презрительную усмешку.

— Ах вон что!.. Боитесь? Прелестно!.. Однако могу вас, сударь, заверить, что там пока никого нет... И извольте отвечать, когда вас спрашивают! Что в машине? Краденое?

Морару зло посмотрел хозяину в глаза, нахмурил брови, и, решив — «будь что будет», — резко ответил:

— Могу ответить, если вас и тех, кто стоит за дверью, это очень интересует...

— Что такое? Да как вы смеете?! Я уже сказал — там никого нет! И перестаньте паясничать! Я вам не мальчик!.. Отвечайте прямо и не виляйте!

Морару вновь бросил настороженный взгляд на противоположную дверь и выпалил:

— И скажу! То, что находится в вашей, как вы нашли нужным подчеркнуть, автомашине, — это... это наше, наше народное добро!..

Профессор вздернул брови, развел руками и в недоумении резко переспросил:

— Что значит «наше»? Не понимаю, что такое «народное добро»?.. Говорите яснее!

— А вот так, наше, народное! Добро это принадлежит всем рабочим и не ошибусь, если скажу, всем честным труженикам, включая интеллигентов и, конечно, ученых... И приобретено оно на трудовые гроши, которые простые люди отрывали от своего скудного заработка и, может быть, из-за этого не один день голодали...

Аурел Морару предстал перед профессором Букуром в совершенно новом, неожиданном для него свете. Всегда уравновешенный, скупой на слова, он в равной степени поразил профессора как взволнованностью своей речи, так и ее смыслом.

— И все же я не понимаю ваших шарад... — сказал про-

фессор, несколько смягчив тон. — Сделайте одолжение — говорите на доступном мне языке!

— По-моему, я говорю на румынском...

— Это не ответ, милостивый государь! — вновь надменно воскликнул Букур. — Какое там народное добро? Ответьте точнее! Да, пожалуйста, точнее!

Морару не мог больше совладать с собой. Барский тон хозяина вывел его из себя. Он подошел вплотную к Букуру и, понизив голос, четко сказал, сурово глядя ему в глаза:

— Это типография. Понимаете? Подпольная типография...

Букур удивленно округлил глаза, вобрал голову в плечи и в полном замешательстве чуть слышно переспросил:

— Что? Что вы сказали?!

— То, что слышали... — уже не сдерживаясь, говорил Аурел. — Типография. Обыкновенная «американка», и при ней все, что полагается, — шрифты, касса, бумага... А в свертках, если вас уж так интересует, — газета... Да, газета, к вашему сведению, — коммунистическая газета, которую с нетерпением ждут все честные румыны! Теперь вам все точнее и точнее доложено, и можете действовать!

Профессор был настолько ошеломлен, что не воспринял даже вызывающего намека, содержащегося в последних словах шофера.

— В моем автомобиле? В гараже? — растерянно лепетал Букур. — Подпольная, коммунист... гм-гм... типография?

— Да! Подпольная коммунистическая! Так случилось... — развел руками Морару. — Некуда было девать. Это все, что я могу сказать и чего не собираюсь отрицать ни в полиции, ни в сигуранце, ни в трибунале, ни даже на том свете! Я коммунист... Но вы, господин профессор, можете быть спокойны. Ни к типографии, ни ко мне вы не имеете никакого отношения... — не без иронии заметил Морару. — И я огражу вас от неприятностей...

Все еще не реагируя на вызывающий тон и смысл того, что говорит шофер, Букур, поглощенный разбуженными воспоминаниями, тихо, с оттенком уважения, спросил:

— Так вы... коммунист?!

— Да, я уже сказал — я коммунист. Можете вызывать полицию, если еще не успели это сделать... Авось перепадет какая-нибудь бляха!..

У Букура перехватило дыхание, словно его окатили ледяной водой. С изумлением он впился глазами в шофера, будто увидел его впервые. Но постепенно выражение крайнего изумления сменилось на его лице лукавой улыбкой. Слегка при-

щурив один глаз, он задумчиво ощупывал свои «рубленные» с проседью усы и, точно рассуждая сам с собой, говорил:

— Так-так... Любопытная ситуация!.. Сначала сочинили какую-то неисправность в машине. Потом наврали, будто заболели. Теперь тоже продолжаете фантазировать! Придумали какую-то типографию рабочих и «честных интеллигентов»!.. Словом, пытаетесь высокими идеями прикрыть низменные дела... М-да. Не выйдет! — неожиданно резко крикнул Букур, опять входя в раж. — Вы пойманы с поличным, сударь! Да. Сочувствую вам, что весьма неприятно, однако же и я, господин шофер, не такой олух, чтобы вновь поверить вам на слово! Да-с!

— Как угодно... — грустно ответил Аурел. — Хотя, — спохватился он, — вы уже были в гараже и могли сами убедиться...

— Шарить в чужом добре, если даже оно, как вы изволили сказать, народное, — не мое призвание! Запомните это!

— В таком случае, — развел руками Морару, — остается только пригласить вас в гараж. Моим словам не верите, своим глазам поверите... если это очень необходимо, конечно, и не составляет для вас большого труда...

Аурел вовсе не рассчитывал, что профессор снизойдет до «проверки». Зачем ему? С большим успехом за него это сделает полиция... Сказал же он все это хозяину потому, что несносно стало слушать его резкие и бесконечные попреки за действительный и мнимый обман.

А старик на минуту притих, заложил руки за спину и обошел вокруг понурившего голову шофера, слева и справа заглянул ему в лицо, наконец остановился, и, глядя в упор хитро сощуренными глазами, с мальчишеским задором сказал:

— А вот представьте, я принимаю ваше «любезное» приглашение! Да-с... К вашим услугам... В гараж, так в гараж! — И, заметив, что шофер несколько растерялся, торжествующе произнес: — Ага! Попались, сударь. Не вздумайте на попятную, не выйдет! Нет, не выйдет!..

— Почему же? С удовольствием! — твердо ответил Аурел. Желание профессора лично убедиться в том, что в гараже спрятана подпольная типография, вместо того чтобы вызвать полицию, нотки лукавой игривости и добродушного торжества в его последних словах — все это действительно привело Аурела Морару в некоторое замешательство, породило у него пока еще смутную надежду на благополучный исход всей этой истории. Побуждаемый искренним жела-

нием помочь старику, он схватил с кушетки пальто и предложил профессору одеться.

Букур протестующе вырвал из рук шофера пальто и стал одеваться, возмущенно проговорив:

— Нет, сударь! Покорнейше благодарю...

Морару стоял с вытянутыми руками, сконфуженный и обескураженный. Не проронив ни слова, он грустно наблюдал, как взволнованный старик сует руку мимо рукава пальто, как задом наперед напяливает шляпу и небрежно накидывает поверх воротника кашне.

В гараже Морару сразу же развязал шнур, снял с «американки» одеяло и, отступив на шаг от дверки автомашины, жестом пригласил Букура подойти ближе.

— Как видите, это типографский станок, а не бормашина...

Букур тотчас же просунул руку, торопливо ощупал холодный металл и недовольно буркнул:

— Предположим, типографский... Дальше!

— А это кассы со шрифтом... В ящиках тоже шрифт, — продолжал Морару, извлекая из ящика несколько свинцовых букв. — Видите?

— Вижу, вижу... Все вижу. Но это не убедительно! — нетерпеливо произнес Букур. — На таких станках можно печатать канцелярские формы и бланки, бутылочные этикетки и прочую дребедень!.. Газеты! Где ваши газеты, сударь?

— Минуточку, — спокойно ответил Морару и бережно достал из большой пачки газету. Профессор порывисто взял ее, сунул себе под нос и стал обнюхивать.

— Совсем свежая! Люблю этот запах, — сказал он неожиданно миролюбиво и, надев очки, медленно, как бы вдумываясь в каждое слово, вполголоса прочел:

— Пролетарии... всех... стран... гм-мы-м...

Вдруг он оторвался от газеты, обернулся к Морару и заговорщицким тоном прошептал:

— Вы, между прочим, хорошо заперли калитку? Проверьте!

— На внутренний засов, господин профессор. Не беспокойтесь...

Букур приподнял очки.

— Не торгуйтесь! Проверьте...

Морару покорно направился к воротам. Засов был задвинут до отказа. Развернув газету, Букур пробежал глазами по броским, совершенно необычным для легальной прессы заголовкам: «Нищенский уровень шахтеров Лупень», «Союз Советских Социалистических Республик — бастион мира и де-

мократии», «Борьба румынских коммунистов за воссоединение Бессарабии с Родиной-матерью Советской Россией!», «Финансовые тресты — новая кабала!»

Профессор углубился в чтение, иногда чуть заметно кивал головой, как бы подтверждая прочитанное, иной раз хмурился, наклонял голову набок, словно удивлялся чему-то. Читал внимательно, безотрывно. Казалось, он нашел в этом небольшого формата листе шершавой оберточной бумаги, не содержащем сенсационных сообщений и интригующих фотографий, что-то чрезвычайно важное и нужное.

С умилением Морару наблюдал за стариком и чем дальше, тем больше ослабевала тревога за судьбу доверенной ему товарищами типографии. Профессор читал стоя, переминаясь с ноги на ногу. Аурел спохватился, взял в углу табуретку, тихо и осторожно подставил ее старику.

— Присядьте, господин профессор.— И добавил шепотом:— Мои карты раскрыты...

— Скажите, пожалуйста... А я, тем не менее, не намерен прощать вам!

Аурел снова встревожился.

Букур положил газету на верстак, снял очки и, нервно передергиваясь, сурово повторил:

— Такое не прощается! Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю...

— Не совсем... — выдавил Морару. И это была правда. Мысли подпольщика напряженно заработали в одном направлении: «только бы избежать провала!»

— Вот как?!— в свою очередь удивился профессор.— Разве не вы, сударь, предложили мне, профессору Букуру, вызвать полицию и пророчили за это какую-то бляху?! Наговорили черт знает чего, а теперь прикидываетесь непонимающим?!

Аурел с облегчением глубоко вздохнул, словно лопнул обруч, сжимавший его грудь... «Ну и старик!» — с восхищением подумал он.

— Скажите-ка, сколько лет вы работаете у меня?

— Шестой год.

— Позор! Пять лет! Ну пусть четыре и даже три... — быстро заговорил Букур.— Почему же в таком случае у вас сложилось такое отвратительное мнение обо мне?!

— Господин профессор! Дорогой вы человек! — в который раз пытался Морару объяснить. — Я же обязан соблюдать...

— Это меня не касается! — снова оборвал его Букур. —

Не хочу знать, что вы там обязаны или не обязаны соблюдать. Я спрашиваю, как у вас повернулся язык предложить мне вызвать полицию?!

— Я виноват, — твердо, без обиняков признался Морару. — И прошу извинить меня.

— Слышал, слышал уже это!.. — нахмурившись, сказал Букур и, закинув руки за спину, в раздумьи принялся расхаживать по гаражу, как по своему кабинету. — Вдруг он остановился перед Морару, ткнул его пальцем в грудь: — Вот, скажите, только прямо — я груб?

— Ну что вы, господин профессор!.. С кем не бывает... — в замешательстве начал было Морару, но Букур с присущей ему резкостью стал настаивать, и Аурел вынужден был сказать, что такой грех водится за хозяином.

— Вот как?! — удивился Букур. — Ну-с, а что говорят обо мне в городе или там, у вас?.. Какими эпитетами награждают? Крикун! Закоренелый грубиян! Деспот!..

Морару сконфуженно улынулся и нехотя промолвил:

— Поговаривают, конечно... Называют...

— И самодуром?

— Бывает и так, но...

— Ах, вот как! Бывает? — вскрикнул профессор. — Конечно, от самодура до доносчика — один шаг! Теперь все ясно, сударь! Однако вам это непростительно! Пять лет работаете у меня, а знаете только, что старик Букур бывает очень нелюбезен, но не знаете, что он всегда, постоянно, при любых обстоятельствах бывает полезен! Да-с... Не любезен, зато полезен!

Смирненно выслушав эту тираду, Морару робко сказал:

— Почему же, господин профессор, и я, и другие знают, что вы многим оказываете безвозмездную помощь, лечите, снабжаете лекарствами...

— Э-э! Не то, не то... Ни черта вы не понимаете, ни черта вы не знаете.

— Зачем же так, господин профессор?

— Пять лет изо дня в день встречаетесь со мной, — вскипел Букур, — а не знаете, что... Букур неожиданно прервал свою речь, настороженно посмотрел по сторонам, вплотную подошел к шоферу и взволнованным голосом тихо продолжил: ... — не знаете, что ваш покорный слуга имел счастье встречаться и быть знакомым с господином Ульяновым!

Морару судорожно глотнул воздух. Раскрыв от удивления рот, он сердито, вопрошающим взглядом уставился на профессора, пытаясь разгадать, не выкидывает ли тот какой-

то новый замысловатый и уже совсем неуместный трюк. Все еще сомневаясь в правдоподобности услышанного, Аурел то-ропливо спросил:

— Вы?

— Да, сударь, представьте себе — я. Впрочем, сами-то вы знаете, кто это?

— Конечно, знаю: товарищ Ленин!

— Вот именно! А я имел честь знать его как Ульянова... — спокойно ответил Букур и уже совсем необычным для него тоном — человека, с теплотой и грустью вспоминающего о чем-то далеком, но волнующем, начал рассказывать: — Это было в Париже почти тридцать лет тому назад. Тогда я практиковал в частной клинике крупнейшего в те времена профессора Дюбуше. А господин Ульянов находился в эмиграции и нередко заходил к нам в клинику, навещая русского революционера, по специальности инженера-химика. Фамилия его, если память не изменяет, Курнатовский... нет, Курнатовский! Как я узнал позже, он был вместе с господином Ульяновым в ссылке, в Сибири! Личность совершенно необыкновенная! Рассказывали, что он почти четверть века, то есть больше половины своей жизни, провел в тюрьмах и ссылке. В последний раз его приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненной каторгой, и сослали куда-то на край света. И, представьте, он снова бежал... Сперва в Японию, потом окружным путем в Европу. В Париж прибыл совершенно больной. Вместе с господином Ульяновым его часто навещала русская революционерка Наташа... Наташа... О, вспомнил — Наташа Гопнер! Исключительно мужественная девушка! Дюбуше она знала еще по Одессе, когда он имел там свою клинику. Она и познакомила господина Ульянова с профессором. Да-а! Давно это было... Очень давно, но мне почему-то кажется, что это было вчера!

— И вы правда видели товарища Ленина?! — удивленно спросил Морару, еще не свыкшийся с мыслью, что его хозяин видел и слышал Ленина, разговаривал с ним.

Букур снисходительно улыбнулся.

— Не только видел, но был даже дома однажды у него, на улице Мари-Роз...

— Господин профессор, расскажите! Расскажите, какой он? Пожалуйста! — волнуясь, попросил Аурел.

Букур встряхнул плечами, словно хотел сбросить годы, отделявшие его от тех дней, выпрямился.

— Да как вам сказать... — задумчиво ответил он. — Вопрос не прост, хотя и кажется простым. Внешность господи-

на Ульянова вам должна быть знакома, разумеется: невысокий, плотно сложенный, с крупной лысозатой головой и очень выразительными глазами... Казалось бы, ничего особенного, если не считать удивительный, ни с кем из известных мне мудрецов не сравнимый лоб мыслителя!.. Но за этой внешностью скрывался человек поистине необыкновенный! — И Букур неожиданно громко воскликнул: — Гениальный! Неисчерпаемый кладезь ума и знаний! И вместе с тем паразитально простой, общительный и обаятельный!

Аурел слушал как завороженный. Его переполняло чувство гордости от сознания того, что почтенный, широко известный ученый, казалось бы очень далекий от революционных идей и дел, говорит о вожде всех угнетенных и обездоленных так душевно и восторженно.

— Вот так-с!... — продолжал Букур, с доброй улыбкой глядя на своего шофера. — Не забыть тот воскресный день, когда я пришел на улицу Мари-Роз передать записку от господина Курнатовского и неожиданно провел несколько часов в обществе этого удивительнейшего человека!.. Расспросив о состоянии больного, господин Ульянов выразил желание проводить меня по аллеям очаровательного парка Монсури. Парк этот расположен рядом с домом, где жил господин Ульянов, однако проводы затянулись. Мы много раз пересекали парк вдоль и поперек, оживленно беседовали на темы, казалось бы весьма далекие друг от друга — о научных проблемах медицины и об историческом значении восстания румынских крестьян в тысячу девятьсот седьмом году; о формах землепользования в нашей стране и о последнем романе великого французского писателя Анатolia Франса «Остров пингвинов» и так далее. Господин Ульянов поразил меня энциклопедичностью своих познаний и разносторонностью интересов, глубиной и убедительностью суждений. Но это, пожалуй, не главное впечатление. Оно пришло позже. Часто, вспоминая об этой беседе, я испытывал такое ощущение, словно потерял какую-то связующую нить, на основе которой наш разговор так незаметно и естественно переходил от одной темы к другой. Раздумывая, я нашел эту нить. Она была в критике несовершенства существующего общественного строя и в утверждении необходимости, исторической неизбежности крутой его ломки. Именно так! И должен признаться, что под таким углом зрения я никогда прежде, до этой памятной беседы, не рассматривал ни текущие события, ни перспективы развития медицины, ни общественное значение лично своей медицинской практики и научной деятельности...

Морару провел рукой по лицу. Ему казалось, что все это

сон, и он со страхом подумал, как бы не наступило пробуждение.

— Дайте-ка закурить! — попросил профессор, сию минуту скрыв волнение.

— Дешевые у меня, господин профессор... — смущенно ответил Морару, поспешно протягивая пачку «Месериаш».

— Дайте, дайте... Ничего! С двадцать четвертого года не брал в рот, а вот потянуло... — Букур как-то неловко взял папиросу, закурив, слегка покашлял и продолжал: — Однако мы тоже — увлеклись разговором в этом отнюдь не очаровательном «автопарке» вместо того, чтобы решить, насколько я понимаю, неотложный вопрос... Скажите-ка лучше, что у вас стряслось... Почему этот «багаж» перекочевал сюда?

Морару замаялся. Почувствовав это, Букур тотчас же сказал, постепенно возвращаясь к обычному для себя безапелляционному тону:

— Впрочем, можете не говорить. Не надо. Однако, как я понимаю, вам некуда девать типографию?

— Это верно, господин профессор, но вы не беспокойтесь... Товарищи подыскивают помещение... Так что долго здесь она не задержится.

— Улита едет, когда-то будет!... — отрубил Букур.

— Это, конечно, верно... — неохотно согласился Аузел. — Обстановка тяжела.

— М-да. «Керосином» запахло?! — пробурчал как бы про себя Букур и тотчас же спохватился: — Но меня это не касается... Плохо то, что типография простаивает... Это плохо! А ведь вы говорили, что газету вашу ждут как хлеб насущный!

— Ждут, господин профессор, и даже очень... Это точно. Но что делать? Постараемся потом наверстать...

— Потом наверстать?!.. — возмущенно воскликнул Букур. — Учтите, сударь, ждать и догонять — последнее и самое ненадежное дело! А вы не находите, что пока ваши друзья ищут приют для этого «багажа», мы можем здесь что-нибудь сообразить?..

Морару оторопел, не верилось, что он правильно понял хозяина.

— Что это вы так смотрите на меня?! Я говорю, может быть здесь подыщем помещение?

— Мы? Здесь?

— Именно здесь! — подтвердил Букур. — Видите вот лешенку в подвал? Он, правда, небольшой, рассчитан на хранение автомобильного хлама... Но, может, подойдет?

— Тот подвальчик? — едва выговорил растерянный и одновременно обрадованный Аузел.

— Что, не годится? — удивленно переспросил Букур.

— Нет, почему же, вполне годится!.. Ну и денек! Как во сне, честное слово! — чистосердечно признался Морару. — Помещение хорошее, только, сами понимаете...

— Так, так... Договаривайте.

— Рискованно!

Букур наклонил голову на бок, насторожился.

— В каком смысле?

— Это же, господин профессор, типография... и вдруг в вашем гараже, в вашем доме!

— Что вы хотите этим сказать?!

— Типография это!..

Букур не дал шоферу договорить:

— Именно потому, сударь, что это типография, а не черт знает откуда появившийся в моем гараже зубоветеринарный кабинет, я и предлагаю вам подвал своего дома!

— Благодарю вас, господин профессор, — стараясь говорить как можно спокойнее, ответил Морару. — Но я не могу не предупредить, что всякое может случиться... и тогда у вас будут крупные неприятности...

— Ну, знаете, «господин товарищ», или как вас там величают! — окрысился Букур. — Меня этим не испугаешь. Да-а-с! Честного человека можно облить грязью, можно преследовать и, наконец, заточить в тюрьму, но обесчестить — никогда! Нет, нет! Правду не утопишь, она, как масло в воде, непременно всплывет наружу. А кроме того, сударь, за ваше недоверие ко мне... Нет, нет, не возражайте, пожалуйста! Я делаю поправку: за ваше первоначальное недоверие я желаю «отомстить» вам полным доверием и тем самым оградить себя от неприятностей, которыми вы меня стращаете. Давайте рассуждать по порядку: вы взяли мою автомашину, куда-то поехали за этим дьявольски тяжелым «багажом». Меня об этом вы не поставили в известность. Не так ли? Затем вы привезли все это хозяйство сюда в гараж, оставили его здесь... И тоже не испрашивали соизволения? Так продолжайте в том же духе! Кто вам мешает?!

— Спасибо, господин профессор, большое вам спасибо! — только и мог сказать взволнованный Морару.

— Я ничего не знаю и знать не желаю... — пояснил Букур, и при этом молодецки, как, наверное, давно уже не доводилось, подмигнул. — В гараж без вашего приглашения обещаю впредь не заходить... Но и вы, любезный, пожалуйста больше не простужайтесь! Иначе я опять, как сегодня, нагряну и буду заглядывать во все щели, думая, где и как утеплить...

Букур добродушно рассмеялся, глядя на сконфуженно улыбающегося Морару.

— Только вот что, сударь! Не думайте, пожалуйста, что я бессребреник! — заговорил вновь Букур подчеркнуто деловым тоном. — За аренду помещения я буду взимать с вас плату. Как говорят в подобных случаях, «брат братом, а брызна — за наличный расчет!» Не правда ли?

— Пожалуйста! — поспешил ответить Аурел, не понимая, шутит старик или говорит всерьез, — от него всего можно ожидать. — Будем платить регулярно... Если хотите, и вперед можно оплачивать...

— Вот именно! — вскрикнул Букур, начиная, похоже, выходить из себя. — Что вы тут будете делать, — знать не желаю, а плату извольте вносить регулярно и вперед!

Морару развел руками:

— Да, конечно! Пожалуйста...

Букур пристально посмотрел на своего шофера и, довольный достигнутым эффектом, лукаво сказал:

— В качестве арендной платы — один экземпляр от каждого выпуска газеты! По рукам?!

— Обязательно! — воскликнул Морару, схватив руку профессора и крепко ее пожимая. Он добродушно рассмеялся. — Первый же оттиск — вам!.. Честное слово!

— Вот и прекрасно! Обязуюсь возвращать его в полнейшей сохранности!

— Спасибо вам, господин... Нет! Разрешите... товарищ профессор!

Букур широко развел руками.

— Ну, вот, какие вдруг превращения...

— Не обижайтесь, прошу вас...

— Ну, ну, пустяки... Занимайте подвал. Немедленно! Я жду арендную плату!

Уходя из гаража, старик не преминул еще раз подтрунить над шофером. Притянув его к себе за пуговицу кожанки, он прошептал ему на ухо:

— Так, оказывается, профессор Букур вовсе не бессребреник! Не правда ли?

Морару и руководитель ячейки Захария Илиеску, которого Аурел поспешил известить о случившемся с Томовым, верили, что Илья не выдаст, однако рисковать не имели права. Было решено немедленно перевезти подпольную типографию с улицы Мэнтуляса, из подвала гаража профессора Букура.

Илиеску возложил перевозку станка на Морару и това-

рища, который почти безвыходно находился в подвале, печатая подпольную литературу. На этот случай у них было заранее подготовлено помещение. Задача была сравнительно несложной. Много раз Морару вывозил на машине литературу, а изредка и печатника, чтобы тот подышал свежим воздухом, и всякий раз столичные блюстители порядка движения, знавшие машину профессора Букура, пропускали ее, ничего не подозревая, без малейшей задержки. На этот раз таким же образом предстояло перебазировать все типографское имущество.

Захарию Илиеску предстояло кроме того немедленно переселить на другую квартиру нелегально проживавшего в Бухаресте одного из руководящих деятелей партии, по кличке Траян. Проживал он в центре Бухареста на улице Армянская, 36, в одной из комнат квартиры тетушки Домны — дальней родственницы Ильи. Сюда, по совету Томова, временно поселили товарища Траяна.

Теперь Илиеску нервничал. Ему-то хорошо были известны зверские методы, которые применяли в сигуранце при допросах, и нет-нет, да и закрадывалось сомнение: выдержит ли его воспитанник такое суровое испытание?

— Если парень заговорит, худо будет... — поделился он тревожными мыслями с Морару. — Сигуранце немного надо, чтобы размотать весь клубок. Мы можем предотвратить провал подпольной типографии, можем переселить товарища Траяна, а как отвести угрозу от профессора?

В памяти подпольщиков всплыли события недавних дней, когда ночью Морару привез к Букуру раненного полицейскими Ильёю Томова. Профессор извлек у него пулю, наложил повязку и, ни о чем не расспрашивая, попросил оставить ему пробитую пулей и окровавленную нелегальную газету.

« — Собственно, именно благодаря газетам пуля застряла в мягкой ткани, не достигнув кости... — сказал тогда профессор Букур и, взяв газету, добавил: — Но я убежден, придет время, когда Румыния будет освобождена от вандалов, и я смогу показать эту газету студентам, — пусть знают, какие жертвы приносили лучшие люди, неся слово правды в народ! »

Морару вернулся в пансион поздно. Бледная и испуганная мадам Филотти набросилась на племянника:

— Пришел, как всякий порядочный человек, под вечер, собирался в парикмахерскую, рубаху тебе приготовила, а сам

взял да исчез!.. Ты ведь сказал, что ского придешь! Мы уж не знали, что думать!

Морару беззаботно махнул рукой и сказал, что забыл в гараже вино, купленное к празднику.

— А там, как на грех, — оживленно продолжал он, — встретил во дворе дочь профессора. Сделайте, говорит, одолжение, отвезите к портнихе, всего на пять минут и... обратно. Делать было нечего! Отвез, конечно. Только пришлось ждать, пока мадемуазель примеряла туалеты... С добрый час, не меньше! Наконец, когда мы тронулись в обратный путь, опять неудача: перед самым домом мотор заглох, подача отказала! Хоть лопни — не качает бензонасос — и точка... Пришлось повозиться, вымазался хуже кочегара. Вот, полюбуйтесь, — Аурел показал руки, испачканные маслом и типографской краской.

На лице Вики еще видны были следы недавних слез, причину их Морару, конечно, понял, но, как ни в чем не бывало, вручил ей «забытые» бутылки с вином и удалился, чтобы привести себя в порядок.

Ня Георгицэ взял у Вики бутылку и, держа ее в вытянутой руке, прочел название на красочной этикетке.

— Если верить написанному, так это «Котнар»! — скептически заметил признанный знаток вин. — Однако только безусые юнцы судят о качестве вина по этикетке...

Старик внимательно исследовал укупорку, поднял бутылку на свет, раза два перевернул ее вверх дном и, убедившись, что осадка нет, проделал такие же операции со второй бутылкой.

— А знаете, господа, по-моему, это и есть настоящий «Котнар»! — причмокнув от удовольствия, заключил он и в который уже раз за вечер стал поправлять аккуратно расставленные на праздничной скатерти тарелки с закуской. Бывший обер-кельнер был мастером сервировки. «Было бы что подавать, а за остальным дело не станет!» — приговаривал он и при этом многозначительно подмигивал.

С возвращением племянника мрачное настроение жильцов пансиона несколько рассеялось: мадам Филотти торжественно водрузила на середину стола зарумяненную индейку, Войнягу поставил литровую бутылку столового вина и два стеклянных сифона с газированной водой, а Вики — две коробки сардин высшего сорта фирмы «Робертс». Словом, все выглядело так, как бывало уже не раз в этом маленьком дружном коллективе — не бедно и не богато, просто и радушно. За стол, бывало, садились с шутками и смехом; ня Георгицэ заводил речь о международных событиях и с увлечением рисовал

дальнейший ход их развития; Морару неизменно охлаждал пыл дядюшки короткими трезвыми репликами, а Войнягу, наоборот, со свойственным ему юмором «подливал масла в огонь», и все душой и телом отдыхали от повседневных трудов, забот и тревог. Так бывало... Но сегодня не слышно было ни шуток, ни смеха, словно собрались на поминки после похорон близкого человека. Ня Георгицэ молча разлил в бокалы вино, хотел что-то сказать, но его опередил Морару.

— За то, чтобы у нашего Илие нервы были крепкими!

Все выпили до дна, но истинный смысл этого тоста был ясен только его автору. Женья Табакарев, будь он сейчас здесь, конечно понял бы, что имеет в виду Аурел. Женья помнил, как Илья пытался привлечь его к подпольной работе и как он, в свою очередь, отговаривал друга. «Рано или поздно поймают, — рассуждал Женья, — бить будут, искалечат, а потом отправят крыс кормить на каторгу!.. Не-ет, брат! У них полиция, жандармерия, войска! Это все равно, что головой об стенку биться...» Помнил Табакарев и тот вечер, когда Илья появился в пансионе истерзанный, с полицейскими кандалами на одной руке и, не успев ничего рассказать, потерял сознание. К счастью, все уже спали и лишь один Женья был в прихожей. Подвернулась как раз срочная работа, и он сидел до глубокой ночи: писал номерные таблички для домовладельцев... Перепуганный, он тихо прошел в комнату к Аурелу, разбудил его. Тот сразу же побежал за машиной и увез Илью. Женья остался тогда в полном неведении. А незадолго до своего отъезда на рождественские праздники домой, в Болград, Табакарев спросил друга, что же случилось с ним в тот злополучный вечер. Томов ответил шуткой:

— Головой об стенку бился!..

Женья попытался настоять, но Илья сказал:

— Ты, дружище, если много будешь знать, чего доброго вместо меня угодишь на каторгу крыс кормить!

Когда вновь подняли наполненные бокалы, мадам Филот-ти произнесла своеобразный тост:

— Я только что разбила тот большой графин — «блёмарэн»³³! Он до верху был заполнен водой... Это хорошая примета. Увидите! Господь-бог поможет, и господин Илие вернется в пансион!

Бокалы осушили, стали закусывать, но по-прежнему за праздничным столом царила необычная тишина. Однако хозяйка пансиона старалась перебороть уныние и провести рождественский вечер как подобает.

³³ Темно-синий (рум.)

— Георгицэ! — весело воскликнула она. — Пьешь бокал за бокалом, а включить радио забыл? Стареешь, друг мой... Уже рождество! И, наверное, передают хорошую музыку...

Ня Георгицэ, еще недавно не представлявший себе жизни без радио, особенно в вечерние часы, вытаращил глаза, словно его разбудили в самый волнующий момент сновидения. Мадам Филотти пришлось вторично напомнить супругу о его добровольно взятой на себя обязанности, прежде чем он нехотя протянул руку и включил допотопный «Филипс».

Заморгал зеленый глазок и, по мере того, как радиоприемник нагревался, комната заполнялась звуками веселой «сырбы».

Ня Георгицэ откупорил вторую бутылку и снова наполнил бокалы. Вики на минуту покинула компанию и вернулась с припудренным лицом и подкрашенными губами. Аурел встретил ее блаженной улыбкой, а Войнягу не упустил случая рассказать о том, как некая девица на ходу трамвая красила губы и при резком торможении привалилась к соседке, основательно разукрасив ей блузку помадой. Рассказ Войнягу завершил тостом:

— Выпьем за девушек, умеющих наводить на себя красоту, не пачкая других!

В пансионе водворилось обычное для такого дня оживление. Однако Вики все еще была сумрачной. Аурел пытался развеселить ее, но сегодня это ему почти не удавалось. Больше, чем кому-либо из присутствующих, ему трудно было скрыть не покидавшую его тревогу.

Ня Георгицэ поднял бокал и приготовился что-то произнести, как в дверях раздался стук, и все снова смолкли, насторожились. Морару побледнел, — мелькнула мысль: «неужели выдал?»

Открывать пошел Войнягу. С порога слышался его голос:

— Ого-о! Господин Лулу?! Какой ветер занес тебя в нашу обитель?

Одетый в помятый, некогда белый плащ и жесткую новую барсолину с круто опущенными впереди полями, Лулу имел весьма жалкий вид, но держался с важностью. Почтительно поклонившись всем и поздравив с наступающим рождеством, он извинился за беспокойство и, как свой человек в доме, направился на кухню. Следом пошла и мадам Филотти.

— Земля треснула, и черт выскочил! — тихо сказал Войнягу.

— Шантрапа паршивая! — пробурчал ня Георгицэ и хо-

тел сказать еще что-то, но Морару одернул его, приложив ко рту палец.

— А я его не боюсь! — задиристо ответил старик. — Плевал я на него и на всю его братию!..

Войнягу шепнул что-то внушительное на ухо ня Георгицэ, и тот побагровел и замолчал.

Вошла мадам Филотти. Оказывается, Лулу пришел за своим пальто, оставленным более двух лет назад в залог за койку и обеды.

— Принес только часть долга, — сказала мадам Филотти и вопросительно посмотрела на мужа. — Обещает после Нового года отдать остальное...

Ня Георгицэ вспылил:

— Ну да, отдаст, когда на моей ладони трава вырастет!

Аурел недобро взглянул на дядюшку: сейчас не время было затевать конфликт с Лулу. Он встал из-за стола и увлек тетушку в большую комнату.

— Верните ему, пожалуйста, пальто и не связывайтесь! Особенно сейчас это ни к чему, — сказал племянник, намекая на что-то недоброе. — Прошу вас!

— А деньги как?

— Я уплачу за него. Завтра же!

Мадам Филотти от удивления открыла рот.

Аурел растолковал тетушке, что после обыска в пансионе от Лулу можно ожидать всякой пакости.

— Что он мне может сделать?

— Да хотя бы учинит ложный донос, и полиция запретит вам держать квартирантов!..

Через несколько минут Лулу вышел из кухни в элегантном темно-синем пальто с черным бархатным воротничком. Теперь ему шла и дорогостоящая барсолина, а сам он вполне мог сойти за весьма состоятельного человека. Собственно, в тот час, когда Лулу Митреску впервые надел на себя это пальто, он был обладателем миллионного состояния, выигранного в течение одной ночи в рулетку... Пальто было последней ставкой вконец проигравшегося помещика, вслед за которой тот пустил себе пулю в лоб. Некоторое время спустя Лулу тем же способом, каким выиграл состояние, промотал его, а пальто отдал под залог хозяйке пансиона, но в отличие от слишком эмоционального помещика, он не отчаялся. Душу бывшего младшего лейтенанта королевской артиллерии с двухнедельным стажем пребывания в армии внезапно всколыхнули возвышенные патриотические чувства: он ощутил личную ответственность за судьбы страны, вступил в ряды зеленорубашечников и очень скоро стал видным легионе-

ром. Лулу точно и преданно выполнял приказания членов «Тайного совета» Думитреску и даже самого Симы. Его не очень огорчало, что сейчас они отсутствовали. Этих «маньяков», как он прозвал обоих вожakov, с успехом заменял непосредственный его шеф — достопочтенный парикмахер Гицэ Заримба. Лулу считал, что этот горбун один стоил всех главарей легионеров вместе взятых. Правда, ему было гораздо легче безропотно стерпеть пощечины самодура Думитреску, ругань и угрозы демагога Симы, чем выслушивать замечания весьма тактичного Заримбы... Улыбка шефа не всегда предвещала хорошее. Лулу Митреску знал об этом. Сколько раз приходилось ему по приказу Заримбы убирать с пути не угодных парикмахеру людей... Им Гицэ тоже улыбался!

Жильцы пансиона терпеливо ждали ухода бывшего квартиранта. Лулу не был расположен задерживаться, но, взглянув на Вики и отметив про себя, как она похорошела, он тотчас же изменил свое решение и завел любезный разговор с Войнягу о его здоровье и делах: не упустил случая похвастаться при этом своей новой службой в «Континен-экспок» — крупной английской фирме по закупке зерна за границей. Однако как Лулу ни изощрялся в стремлении привлечь к себе внимание Вики, это ему не удавалось. Ня Георгицэ демонстративно повернулся к нему спиной. Войнягу отвечал на его вопросы нехотя, односложно, и никто не счел нужным поддержать начатый им разговор, пригласить его за стол.

Лулу не думал, конечно, что здесь его примут с распростертыми объятиями, но не ожидал и такой единокрушной почти откровенной неприязни к себе. Он счел за благо удалиться, но, как говорится, с гордо поднятой головой:

— Сожалею, — сказал он, взглянув на часы, — но должен покинуть своих старых знакомых... Приглашен на этот вечер в одну очень почтенную семью. А в таких случаях опаздывать неприлично... Не правда ли?

Получив утвердительный ответ мадам Филотти, Лулу важно раскланялся и шагнул за порог.

Выйдя из пансиона, он направился к углу улиц Лабиринт и Вэкэрешть. Однако здесь он остановился в раздумье: «Махнуть в отель «Национал», к Мими, или, может быть, лучше к лимонаднице с Северного вокзала?» Прикинув, что вряд ли Мими осталась без «клиента» в рождественский вечер, он направился было к лимонаднице, но вспомнил, как в последний раз столкнулся у нее с одноглазым торговцем подтяжками и корсетами с Липскань, и тотчас передумал... На-

щупав в боковом кармане деньги, отложенные на случай, если хозяйка пансиона откажется вернуть пальто до уплаты всего долга, он повеселел. В это время к остановке подкатил со стороны центра девятнадцатый трамвай.

Новый план созрел моментально. Лулу поспешил к трамваю, но перед самым носом подножка вагона задралась кверху и дверь с треском захлопнулась. Через окно заднего тамбура вагона разукрашенная девица показала ему язык... По неосознанной ассоциации это напомнило Лулу холодный прием жильцов пансиона мадам Филотти. Он натянул глубже барсолину и громко выругался...

Было относительно тепло, слякотно и безлюдно. Бодеги, рестораны и прочие подобного рода заведения,— здесь в этот час обычно кишмя кишел народ,— с окнами и дверьми, затянутыми металлическими гофрированными шторами, придавали улице мрачный вид. Лишь витрины магазинов сверкали световыми рекламными и праздничным убранством. Перед ними Лулу останавливался и любовался своим отражением: «Чисто выбрит, элегантен, строен, как манекен из универсального магазина «Сора»... А шляпа и пальто — полмира позавидует!».

Он свернул за угол и стал подниматься по Дудешть. У стадиона «Маккаби» его внимание привлекли ярко освещенные бензиновыми горелками «петромаксов» большие окна спортивного зала. В них он увидел девушек и парней в белых блузках и рубашках с большими голубыми шестиугольными звездами на нагрудных карманах. Они играли в пинг-понг. Лулу замедлил ход, остановился у одного из окон и, вглядываясь, злобно прошипел: «Палестину устроили на земле румынской жида грязные!— Но погодите! Дайте срок, вернутся Думитреску и Сима, мы с вами не так поиграем...».

Раздумывая о необходимости и неизбежности, как считал Лулу, установления в стране нового порядка, в чем ему, несомненно, придется принять выдающееся участие, он добрал до угла Кручя де пятрэ и только хотел пересечь ее, как из-за угла его окликнул нежный голосок:

— Хел-ло-у, конфет-и-ик!

Лулу оглянулся: у калитки добротного двухэтажного домика с закрытыми ставнями стояла девица. Лулу подошел к ней.

— Закурить найдется?— мягко, детским голосом спросила невысокая девица с рыжей челкой.

— М-да, найдется...— томно произнес Лулу и, прильнув к ней, вожделенно стал разглядывать ее лицо, приподняв указательным пальцем подбородок.

— Прозябаем сегодня...— тоскливо сказала девица.— Кретины рождество справляют с женами, а девчонки в салоне киснут от скуки... Пойдешь ко мне?

Лулу с важностью извлек пачку сигарет и изысканным жестом протянул девице:

— Силь ву пле...³⁴.

— Хи-й, «регале-ремесе»?!³⁵ — взвизгнула рыжеволосая и, взяв сигарету с позолоченным мундштуком, обернулась ко двору, где за большой стеклянной витриной сидели ее «коллеги». — Девчонки-и! Дед мороз принес «регале»!

К калитке шумно хлынули девицы. Лулу стоял напыжившись, словно потомок княжеского рода с поместьями, разбросанными по стране, и солидным текущим счетом в «Банка Националэ Ромынэ». Полуодетые девицы, ежась от холода, облепили джентльмена, как осы банку с вареньем, и наперебой благодарили за сигареты, приглашая зайти в салон, откуда выбегали все новые «дамы». Стоял веселый гомон, смех...

— Лулу?! — удивленно воскликнула подошедшая высокая, хорошо сложенная девица с крупным вытянутым лицом, прозванная своими коллегами «кобылкой».

— О-о, Сузи? Салют! — несколько смущенно ответил Лулу и виноватым голосом добавил: — Ты здесь? А я, чудак, искал тебя на Габровень!

— Будет врать, плут несчастный,— парировала Сузи охрипшим голосом.

— Сузи, пардон!— пытался сконфуженный Лулу осадить девицу.— Даю слово чести офицера, я много раз заходил на Габровень, искал тебя! Спрашивал у Фифи, у Цуги, Лили... Можешь проверить...

— Будет врать, говорю! И Фифи, и Цуги знают, где я, а Лили давно уже нет на Габровень...

— Сна «бай-байет» в больнице уже больше месяца!..— рассмеялась тучная дева с обликом цыганки.

— Погодите, девушки, не трещите!— пытался Лулу вернуться.— Даю слово чести королевского офицера! Я...

— Хватит загигать, говорю, кот драный! Гони долг, не то исцарапаю твою наглую рожу!— угрожающе прохрипела Сузи и схватилась рукой за ворот пальто Лулу.— Выкладывай хотя бы ту сотнягу, что выманил у меня наличными, слышишь?!

Лулу понял, что ему не отвертеться. Неторопливо засу-

³⁴ Пожалуйста (фр.).

³⁵ «Королевская монополия», название сигарет (рум.).

нув руку в карман, он старался нащупать там сотенную монету. Сузи в это время крепко держала его за ворот, а ее подружки безудержно хохотали и, всячески одобряя поведение коллеги, издевались над Лулу, еще минуту назад корчившим из себя вельможу.

Толпа росла. На шум сбегались девицы из соседних публичных домов, которыми была запружена улица Кручая де-пятрэ. Но Лулу Митреску бывал и не в таких переплетах. Он все еще важничал, казался снисходительным и спокойным, тогда как все его мысли были подчинены желанию отомстить Сузи, унижить ее. Нащупав, наконец, нужную монету, он тоном, полным благородства, сказал:

— Пardon, Сузи! Вот мой долг. Пожалуйста, и... мерси! Но, пожалуй, уместно напомнить тебе, как нечестно поступила ты с тем брюхастым бакалейщиком, которого я привел к тебе однажды... Это был мой хороший знакомый...

— Я? Нечестно поступила?— возмутилась Сузи.— Что ты мелешь?

— Ну, ну, Сузи... Вспомни! Под утро ты очистила его карманы, как ветер очищает одуванчик от пушинок с семенами... Если бы ты знала, как он поносил тебя, обшаривая пустые карманы?! Срам. Большой срам! Бедняге пришлось дать на дорогу денег и, конечно, больше сотенной, но не подумай, душечка, будто я прошу вернуть мне этот должок... Боже упаси! Просто мне жаль его и очень кстати напомнить тебе и сообщить твоим коллегам об этом пикантном факте...

Сузи стояла как вкопанная. Девицы из публичных домов, существовавших с соизволения полиции его королевского величества, не без оснований считали себя честными людьми, обреченными на мученичество. В их среде воровство считалось самым омерзительным. Нарушительницу этой неписаной заповеди подвергали суровому бойкоту или просто изгоняли на улицу. Лулу знал это, потому и придумал историю с бакалейщиком, но все время был настороже, ожидая, что Сузи в любой момент может влить ему крепкую пощечину. Однако этого не случилось. С презрительной улыбкой глядя на Лулу, она спокойно выслушала его и, не повышая голоса, неторопливо ответила:

— Ты слишком ничтожен, Лулу, чтобы оскорбить меня. Лгать ты мастер, это я давно знаю. Но на этот раз тебе не повезло. Здесь все знают, что бакалейщик, о которым ты плел всякую чушь, мой постоянный гость... А ты напаял на себя эту барсолину и пальто, по которым, наверно, кто-нибудь плачет, и вообразил, что прикрыл ими свою низость?! Думал, поверят тебе, а не мне? Ты ведь даже не сутенер! У них хоть

какие-то принципы, постоянство, а ты просто мошенник — без совести, без чести. Мокрица! — И тоном, не предвещавшим Лулу ничего доброго, Сузи заключила: — Катись-ка поживее с нашей улицы, пока морда твоя наглая цела!

Лулу невольно сжал кулаки и готов был ударить Сузи, но вовремя сдержался, сообразив, что в противном случае быть ему распластанным на асфальте. Пятясь и с тоской оглядываясь по сторонам, он ушел, сопровождаемый всеобщим хохотом, каскадом самых нелестных прозвищ и замечаний.

Почувствовав себя в безопасности, он дал волю своей мстительной фантазии. «Погодите! Будет и у нас «ночь острых топоров», — шептал он, — и будет похлеще, чем у немцев «ночь длинных ножей!»... Я тебе, гадюка, все припомню! Пусть только вернутся Думитреску и Сима!..»

Не доходя до Нерва-Траян, Лулу завернул в невзрачное кафе своего давнего знакомого, некогда комиссара полиции, господина Вилли. Здесь он был завсегдатаем, как, впрочем, и вся основная клиентура, состоявшая из картежников-профессионалов и фальшивомонетчиков, мастеров спекулятивных махинаций и сутенеров, исключенных из гимназий и университетов прожигателей «готовых денег» с их очередными возлюбленными, девицами и дамами. Бывали здесь, конечно, и сыщики, и legionеры.

Кафе «Ла Вилли» было открыто почти круглосуточно, во всяком случае со двора. Войдя в него, посетитель попадал в узкий и длинный проход, вдоль которого друг за другом тянулись двери номеров. Мужчины входили сюда как на выставку: за большой стеклянкой стеной, в просторной и прокуренной комнате, именовавшейся салоном, в обществе огромного датского дога и откормленного бульдога, восседали в разноцветных купальниках обладательницы желтых билетов.

Когда Лулу Митреску прошел со двора в кафе, из большого «Телефункена» гремел голос диктора:

«Здесь Румыния, радио-пост Бухарест — один!..»

Сегодня в 10 часов утра в королевском дворце его величество король великой Румынии Кароль Второй принял присягу бывшего министра путей сообщения господина Гельмеджану в связи с назначением его министром иностранных дел...

Будапешт. Германский линкор «Адмирал граф фон Шпее» повредил два средних английских броненосца и вывел из строя один тяжелый броненосец.

Лондон. Прибывшие во Францию английские войска раз-

местились на одном из участков неприступной фортификационной линии «Мажино»...

Лулу остановился, чтобы послушать последние известия, но тут кто-то положил ему на плечо тяжелую руку.

— Привет, старина! — обратился к Лулу плотный лысый мужчина с сигарой во рту.

— Салют... — ответил Лулу нехотя. — Что скажешь?

— Партию покера по случаю рождества?

Лулу поморщился, оглядел кафе флегматичным взглядом и вроде бы без всякого желания согласился.

— А монеты есть?

Лулу утвердительно кивнул.

— Покажи, — недоверчиво процедил лысый сквозь зубы с зажатой в них сигарой.

Лулу важно запустил руку в карман и позвякал монетами, но, видя, что и это не производит на лысого должного впечатления, вытащил из кармана полную горсть монет...

«Телефункен» продолжал греметь:

«София. Парижская полиция неожиданно заняла бюро испанских беженцев...

Париж. Экспорт кофе из Голландской Индии катастрофически падает...».

— Ня Георгицэ, скорее! Радио-журнал! — крикнул Войнягу хозяину пансиона, когда тот вернулся из погреба с тарелкой солений. «Под утро, — сказал он, — всем понадобятся...»

— Давно передают? — спросил старик, входя в комнату.

— Только начали, — ответил Морару, оторвавшись от разговора с Вики.

«Берлин. Министр пропаганды «Третьей империи» доктор Геббельс, выступая на собрании переселенцев из балканских стран, посвященном рождественским праздникам, сказал: «Либо мы должны выиграть нынешнюю войну, либо мы перестанем существовать, как великая держава!».

— Не велика потеря, если все сразу подохнете!... — буркнул Войнягу.

Ня Георгицэ раздраженно махнул рукой:

— Не мешай!

— Опять политика? — недовольно произнесла мадам Филотти, покачив головой. — Сегодня рождество! Лучше ешьте сэзмэлуце³⁶. Видите, они с лозовой листвой! Это я на базаре Святого Георгия...

³⁶ Голубцы (рум.).

— Дайте же, люди добрые, послушать журнал! — взмолился ня Георгицэ. — Ну сколько можно просить вас не мешать?!

«Монтевидео. Германский линкор «Адмирал граф фон Шпее», оказавшийся в безвыходном положении, по приказу канцлера рейха Адольфа Гитлера был потоплен своим экипажем в 23.07 часов по Гринвичу...

Осло. Итальянский дуче Бенитто Муссолини выступил с большой речью...

Копенгаген. Французское правительство усилило репрессии против коммунистов. В округе Сен-Дени арестовано 25 человек. Среди них имеются женщины. Эта группа занималась распространением нелегальной газеты «Юманите», которая, несмотря на преследования, продолжает выходить...

Лондон. Землетрясение в Турции. Эпицентр находится в...»

Морару встал из-за стола и, подойдя к приемнику, повернул ручку:

— Хватит политики. Все равно «эпицентр» не там, где его ищут господа... Послушаем-ка лучше музыку!

Аурел пригласил на вальс Вики, потом тетушку, чем доставил ей особое удовольствие.

...Было далеко за полночь, когда в пансионе погас свет. Заснули быстро и крепко. Даже Аурел Морару, который пытался еще раз обдумать события минувшего дня, едва закрыл глаза, погрузился в сон и не услышал, как раздался стук в дверь.

В комнату мужчин вошла перепуганная мадам Филотти и стала будить ня Георгицу. Проснулись и остальные.

— Стучат! — тревожно сказала хозяйка.

Морару накинул пальто и, затаив дыхание, вышел в сени. Спросонья и от волнения он не сразу узнал голос Лулу.

Ня Георгицэ, стоявший позади племянника, скорее догадался, чем узнал по голосу, кого это принесло перед самым рассветом.

— Спроси, чего ему надо? — сердито сказал он.

Но Морару молча открыл дверь. Лулу был в одном джемпере, словно на улице стояла весенняя теплынь.

— Я разбудил? Извините... — едва выговаривая, он шагнул через порог весь посиневший и судорожно потиравший руки. — Вчера я оставил пардесью...³⁷

Морару вопросительно посмотрел на дядюшку, тот на племянника и оба на Лулу.

³⁷ Макинтош (рум.).

— Чего-чего? — раздраженно спросил ня Георгицэ. — Не понимаю я, что говоришь.

— Вечером я оставил на кухне свой пардесью... — повторил Лулу жалким голосом. — Вечером, говорю, когда был у вас.

— Пардесью? — с издевкой спросил ня Георгицэ. — А пиджак, барсолина и пальто — адью?

— Голодранцы красные напали, — нехотя ответил Лулу, — и вот... раздели.

— Ах, напали, раздели беднягу!.. Ай-ай-ай, какие же они поганцы! — продолжал издеваться ня Георгицэ. — Так теперь-то чего надо!

За Лулу ответил Войнягу, просунувший взлохмаченную седую голову в приоткрытую дверь:

— Мусью просит пардесью, ибо шляпа и пальто — адью! Их перехватили братишки в картишки?! Верно?

7

В первый день после кризиса Хаим Волдитер смутно представлял, что с ним случилось, где и у кого находится, кто заботится о нем. То ему казалось, что он дома, в Болграде, то будто еще плывет на «Трансильвании» или уже прибыл на обетованную землю... Когда в памяти восстановились события, забросившие его на Кипр, страшное было позади. Молодость победила болезнь, восстанавливались постепенно силы. Мысли об отце и сестренке, оставленных в Бессарабии, о друге Илье Томове, который скитался в Румынии, вдруг стали казаться не такими безнадежно черными. Радость возвращения к жизни все окрашивала в непривычный для Хаима яркий свет надежды. Он ждал лучших дней, уповал на свои силы, упорство, мечтал, как, устроившись на новом месте, непременно вызовет отца, сестру и как все они славно заживут вместе. В этих розовых и хрупких мечтах всегда почему-то возникал образ Ойи. Хаим закрывал глаза и видел ее нежную, застенчивую улыбку и длинные ресницы, веером лежащие на смуглых щеках. Прошел месяц, и Хаим уже ходил один, без поддержки Ойи, его стриженная голова заросла красновато-рыжими, густыми и жесткими, как щетина, волосами.

— Ну и дела! — шутил он. — Ехал набивать мозоли на ладонях, а вдруг набиваю их на боках... Сколько можно отлеживаться на чужих хлебах?

Ойя вернулась к своим обязанностям по хозяйству, и для

Хаима потянулись скучные дни. Все чаще приходили мысли об отъезде.

— Мои друзья ведь уже в Палестине! И, наверное, полным ходом строят там рай на земле?!— поговаривал он, весело сверкая серыми глазами.

В семье раввина больше не остерегались «тифозного». Сам Бен-Цион Хагера стал часто приглашать его, говорил, что не следует ему стесняться и чуждаться, словом, пора чувствовать себя как дома. Правда, дочь раввина Циля призналась отцу, что далеко не в восторге от холуца с приплюснутым носом и лицом, обильно усеянным веснушками. Не нравилась ей и его сутуловатость, и рыжеватые ресницы, и светлые брови, и припухшие губы. Нет. Хаим не имел ничего общего с образом героя Циля, нарисованным ее воображением до мельчайших подробностей. Высокий, стройный и широкоплечий мужчина с холеным лицом и черными усиками, как у английского офицера, жившего одно время по соседству,— таким представлялся Циле ее избранник.

— А что тифозный, большая находка? Так, кусок мяса на куриных ножках... Умеет говорить, только и всего...— ответила Циля отцу, когда он спросил, нравится ли ей холуц.

И все же девица была равнодушна к «тифозному». Своей непосредственностью, простотой и остроумием Хаим, сам того не желая, завоевал сердце капризной и избалованной дочери раввина. Дородная и красивая Циля казалась Хаиму привлекательной, но постоянное любованье собой, пренебрежение к окружающим, желание повелевать ими, наконец, ее излишняя самоуверенность — все это отталкивало, вызывало раздражение.

Как-то в дождливый вечер раввин завел задушевный разговор с Хаимом. И, как обычно, начал издали:

— Поправились, говорите? И слава богу!..— просиял Бен-Цион. — А теперь пора и в дом перебираться...

Хаим поблагодарил и уклончиво ответил:

— Теперь, надеюсь, недолго придется вас беспокоить... Сколько можно испытывать терпение добрых людей!?

— К чему спешить? Успеете...— снисходительно произнес Бен-Цион. — Мои дети так привыкли к вам, а Цилечка, скажу по секрету — это Лэйя мне рассказала, — хочет даже поставить для вас диван за шкафом...

— Спасибо, реббе...

— Сначала переходите, а потом будете благодарить!

— Да, но я же холуц, и меня в стране предков не станут, наверно, ждать!..

— Станут...

— Кто знает?..— продолжал Хаим не то в шутку, не то всерьез. — Еще могут и без меня построить рай на земле!.. Что ж тогда на мою долю останется?

— Останется...— со значением усмехнулся раввин.— И очень многое останется не только вам, но, бог даст, детям вашим и даже внукам...

Хаим еще раз поблагодарил хозяев и снова отказался. Во флигеле-сарайчике он чувствовал себя свободнее. Да и не только свободой привлекал флигель: туда заходила Ойя. Она привыкла к нему и в короткие минуты отдыха напряженно вглядывалась в его серые с белесыми ресницами умные глаза. Если случалось, что он смущенно отворачивался, Ойя обижалась, обхватывала тонкими руками его голову, поворачивала лицом к себе. Она хотела знать, верен ли он ей, останется ли здесь навсегда или уплывет в пугающе бескрайнее море, укравшее некогда ее отца и мать.

Хаим чувствовал волнение девушки, видел в ее взгляде тревогу, догадывался о ее причине. Их встречи были радостными и печальными. Хаим старался успокоить Ойю, нежно пожимал и гладил ее руки, добродушно улыбался. Обнять и поцеловать девушку он не решался. Боялся обидеть... И все же однажды это произошло! Впервые за время их тихой бессловесной любви он услышал ее голос. Это были глухие, невнятные, но полные страсти и нежности стоны, исходившие из глубины истерзанной души вечно безмолвной девушки. Они преследовали Хаима, особенно когда он оставался один со своими мыслями. Постепенно он начинал понимать, что без Ойи не будет счастлив, что не будет у него без нее настоящей жизни. И он сновал по двору, чтобы еще и еще раз увидеть ее.

В доме раввина никто об этом не знал. Цилья все чаще прихорашивалась и засиживалась у зеркала. Кстати, ее смуглому лицу и большим карим глазам очень шла белоснежная чалма, которую на манер соседок-турчанок она накручивала себе на голову. Девушка заметила, что в этом наряде производит особое впечатление на холуца. И это действительно было так. Хаим сам как-то сказал ей об этом.

Пришедшая проводить Хаима фельдшерница, заметив, как он посмотрел вслед Циле, не преминула подзадорить его: — А хороша-таки Цилька, чтоб я так была здорова! Сияет, как золото!

Хаим лукаво улыбнулся.

— Сиять сияет, однако не всё золото, тетя Бетя, что блестит...

Фельдшерница удивилась, хотела что-то ответить, но во-

шла старшая дочь раввина Лэйя. Тетя Бетя поправила съехавшие на нос очки и мысленно прикинула: «Этот холуц, видать, «перчик»! Уже раскусил ее... Хотя,— спохватилась она,— кто знает? Сказал так для пущей важности, а думает наоборот. Для мужчин ведь всего важнее, чтобы женщина была красивая. Теряют сразу голову! И этот холуц, наверное, тоже размякнет... Уж Циля умеет командовать, ого! Все должно быть только так, как она этого хочет, и ни в коем случае иначе. А он посмотрел ей вслед такими глазами, что не сказать, чтобы парень был после тифа!»

Вернулась Циля. Пришли и остальные дети раввина. Всем им очень хотелось послушать холуца из Бессарабии. Они любили его рассказы.

Хаим действительно был неистощимым рассказчиком разных происшествий и комичных историй. И если прежде во время домашних трапез дети раввина испытывали скуку, то теперь, с его появлением, все изменилось. По настоянию Циля, он начал столоваться за общим столом. Дочь раввина умела настоять на своем. Охотно откликаясь на просьбы детей Бен-Циона, Хаим с увлечением и грустным юмором вспоминал о своем детстве. Разумеется, это происходило в отсутствии раввина.

— Отец непременно хотел, чтобы я учился в талмудтюре!³⁸ — говорил Хаим. — Но поскольку он хотел так, то я хотел наоборот... Таким «хорошим» мальчиком я был! Отведет меня, бывало, покойная мать в школу и скажет: «Иди, Хай-моле, учись хорошо и непременно слушайся меламеда³⁹, слышишь?» «Да, конечно!» — отвечал я, и мама уходила. Бедняжка думала, что ее Хаим уже сидит в классе, ума набирается, а я сразу возвращался к воротам школы, притаившись ждал, пока она свернет за угол, и тут же бросался наутек что было сил...

— Зачем? — удивлялась фельдшерица.

— Как, не в школу?!

— И куда же? — наперебой спрашивали дочери раввина.

— Куда? — весело продолжал Хаим. — О-о, у нас было куда... Городишка — ровным счетом люкс! Во-первых, у нас там озеро, купайся сколько угодно. Во-вторых, можно смотреть на рыбаков, на лодки, можно бродить по казенному саду, валяться в траве — она там по самый пояс, и, вообще, мало ли что еще можно делать. Я, например, любил шляться

³⁸ Начальная еврейская школа, находящаяся на содержании местной общины.

³⁹ Учитель.

по конному базару. Одно удовольствие! Всех мастей рысаки и клячи, тяжеловозы и жеребята. Стоишь и смотришь, как их оглядывают покупатели или как лошади брыкаются: гривы у них взъерошатся, хвостом пушистым крутят... Здорово!.. Еще любил я наблюдать, как лошадям заглядывали в морды, ощупывали зубы. Так определяется их возраст! Ну а если в городе, не дай бог, случался пожар или похороны — первым там был я! И, конечно, в школу уже не ходил...

— Ну, а дома? Дома как? — удивленно спросила старшая дочь Бен-Циона Лэйя. — Отец, мать разве не бранили?

— Дома? Дома никто ровным счетом ничего не знал... Когда все ученики шли из школы, возвращался и я домой. По вечерам притворялся, будто делаю уроки, а сам рисовал горящие домики и лежащих лошадей... Когда отец приходил с работы, я уже спал. А мама, довольная тем, что я учу уроки, умиленно говорила: «Мой сыночек будет доктором! Да, Хаймолэ, ты будешь доктором?» Я отвечал «да» и в школу не ходил...

Девчонки звонко смеялись. Сокрушенно покачивал головой Йойнэ. А Циля поглядывала на себя в зеркало и сдержанно улыбалась, любуясь своей красотой.

— Длилось так ровным счетом до одной прекрасной субботы, — продолжал Хаим. — Утром отец ушел в синагогу. Там ему попался на глаза мой меламед Ицхок. Мы его звали просто Ицек. Злой он был — как полынь! Из-за него я, собственно говоря, и не хотел ходить в школу. Боялся его. На уроках он не выпускал из рук линейки, и стоило кому-нибудь чуть-чуть шевельнуться, как Ицек звонко стучал его по голове. И вот этот меламед спрашивает у отца:

«Что случилось? Ваш мальчишек, не дай бог, захворал?»

«Нет, — отвечает отец, — слава богу, он здоров... А что это вы спрашиваете так?»

«Вы спрашиваете, что я спрашиваю так? Я спрашиваю так, потому что ваш мальчик уже три недели не появляется в школе!».

Поощренный дружным смехом девчонок, Хаим с еще большим азартом продолжал:

— У отца был ремень... Кожаный! И какой это был ремень, и какая на нем была медная пряжка, в тот день почувствовали все мои мягкие места...

— Попало все-таки? — смеясь, спросила тетя Бетя. — Значит, по заслугам!..

— Уй-уй-уй!? — удивленно протянул Йойнэ. — Что значит, ваш отец в самую субботу позволил себе вот такое вот? В субботу бить ребенка?! Как же это можно?

— О-о, именно потому, что была суббота, отец был дома, а не на работе, и всыпал мне так, что ровным счетом целую неделю я ходил как на ходулях... С того дня он сам отводил меня в школу и доводил до самых дверей класса. И представьте, я-таки сидел. Но как сидел, если бы вы только знали?! Больших мук мне не могли придумать! Класс у нас был малюсенький. За каждой партой сидели три и даже четыре ученика, а должно было сидеть ровным счетом два... Так как тут не будет тесно? Каждый раз то один, то другой ставил себе кляксу, а сосед размазывал ее локтем, и раздавался крик нараспев: «Господин мела-ме-эд! Он меня толкну-ул!» А меламед Ицек только этого и ждал. Огреет линейкой так, что потом ровным счетом месяц мерещится, будто она висит над твоей головой! А парты? Они годились только на растопку... Вечно скрипели, шатались, наконец ломались, и мы падали, ушибались, кричали и ревели. И что вы думаете? За это еще получали удары линейкой от меламеда... А разве мы были виноваты? Но не думайте, что он бил всех! Нет, не всех... Детей богатых Ицек не трогал... Это был тот еще меламед! С особым удовольствием он таскал нас за уши. Подойдет сзади, схватит за ухо и заставляет подняться. Вытянешься во весь рост, даже на цыпочки встанешь, а он все тянет — выше и выше, чуть не до потолка. Уже кажется — кожа с черепа сдирается, а этот живодер не отпускает...

Девчонки съежились от страха и слушали холуца с открытым ртом.

— Прямо артист! — сказала тетя Бетя, умиленно поглядывая на Хаима.

— Вот увидите, — вдруг произнесла Циля, — сейчас и немая появится у окна! Стоит нам собраться, и она тут как тут!

Все невольно посмотрели на распахнутое окно. И в самом деле, в темноте его проема показалась Ойя.

— Ну, что я сказала?! — торжествующе воскликнула Циля.

Все рассмеялись. Ойя смущенно опустила глаза, наклонила голову, но от окна не отошла.

Хаим почувствовал, как кровь прилила у него к лицу, словно ему вlepили пощечину. Сдерживая себя, чтобы не сказать резкость, он молча подошел к окну, улыбнулся Ойе, нежно взял ее за руку.

Смех мгновенно оборвался. Лицо Циля покрылось пунцовыми пятнами, глаза зло заискрились. К Ойе подошла и фельдшерица, погладила ее по голове. А когда Хаим, не

произнеся ни слова, вышел во двор и увел девушку от окна, тетя Бетя сказала:

— Не надо смеяться над несчастной... Бог все видит! Она тоже человек...

Поздно вечером, когда раввин вернулся домой и об этом случае ему стало известно, он сделал вид, будто не придает значения поступку Хаима.

— Любовь к кому — к этой нищей? Она ухаживала за ним, стирала ему белье, вот он на минутку и пожалел ее... — сказал раввин. — Так что из этого?

Бен-Цион Хагера, когда это было в его интересах, говорил одно, а думал и делал другое...

Уже на следующий день он вызвал в синагогу фельдшерицу.

— Вы, тетя Бетя, принимали у моей покойной жены Цилечку, — начал он издалека. — Потом, не приведи господь подобное в моем доме, вы ее выходили от скарлатины...

Фельдшерица молча кивнула головой и глубоко вздохнула. Она растрогалась.

— Знаю, вы любите Цилечку. Поэтому-то и прошу вас помочь ей составить партию...

— Вы считаете, реббе, — удивилась старушка, — что я могу быть и свахой?

— Почему бы и нет? — с неменьшим удивлением в голосе спросил Бен-Цион. — Разве это не делает вам чести?

— Я не об этом, реббе... Вы, конечно, имеете в виду Хаима?

— Разумеется!

Фельдшерица помолчала, обдумывая предложение. Она не хотела признаться Бен-Циону, что подобная мысль уже приходила ей в голову, но теперь вкралось сомнение. «Не все золото, что блестит!» — вспомнила она слова Хаима, но тут же спохватилась: — Хотя, кто знает, как все еще может обернуться... Цилька заигрывает с холуцем, а он смотрит ей вслед такими глазами, что все может быть...»

— Что ж, реббе, раз вы так считаете... Можно, конечно, попробовать. Будем надеяться, что бог поможет!..

В пятницу перед заходом солнца к тете Бете зашла старшая дочь Бен-Циона, Лэйя.

— Я пришла пригласить вас к нам завтра на обед, — сказала она. — Специально!

— Меня? На завтра? — спросила фельдшерица, будто не догадываясь о цели приглашения. — Что это вдруг?

— Вы спрашиваете, что это вдруг? Откуда я знаю? Просто так... Слыхала, будто холодец должен скоро уехать... Но вы лучше спросите, что у нас сегодня делалось?

— А что такое?

— Очень просто: Цилия была весь день на кухне... Вы уже можете себе представить, что там творилось! Стоял такой крик, такой бедлам, такое делалось, что не знаю, как это я еще не сошла с ума!

— А что? — допытывалась фельдшерица. — Что все-таки случилось?!

— Что случилось?.. Цилия, дай ей бог здоровья, решила сама, вы же понимаете, одна, без меня, приготовить фаршированную рыбу! Ну-ну... Можно было подумать, небо раскололось пополам! — воскликнула девушка, подняв обе руки вверх. — Вы бы посмотрели, тетя Бетя, что делалось! Повсюду валялись кишки и жабры, летела чешуя и брызгала кровь, падали куски рыбы на пол и гремели кастрюли, звенели сковородки и пригорал лук, черный перец попал всем в нос, и мы уже чихали аж до самых слез... А эта немая прыгала туда и сюда, поверьте мне, быстрее дикой козы! И в конце концов, что вы думаете? — Лэйя не без удовольствия рассмеялась. — Цилия порезала себе палец. Ну-ну... Уж весело было, что до сих пор у меня в ушах звенит! Одним словом, Цилия на кухне!

— Кому же она вдруг захотела угодить своей стряпней? — игривым голосом спросила фельдшерица. — Уж не холоцу ли?

— Вы спрашиваете! Будто я знаю! Слыхала, что он собирается уезжать... А если нет, то мне бы хотелось ошибиться, но у него, кажется, что-то есть с ней...

Фельдшерица удивленно посмотрела на Лэйю, однако ничего в ответ не сказала.

— Вот так! — продолжала Лэйя. — Она немая-немая, а он вроде бы тифозный, а вот так... Но сегодня ночью, кажется, гречанку от нас заберут. Так я слыхала. Только пусть это останется между нами, слышите, тетя Бетя?

Фельдшерица укоризненно взглянула поверх очков на Лэйю.

— А что? Ты думаешь, я побегу им рассказывать? О чем говорить!?

— Кажется, ее отдадут Стефаносу... Куда же еще? Но мне они не говорят. Я, видите ли, убогая, я не умная, я им во всем враг! И мое место у плиты... Что ж делать, если у меня нет счастья?! Наверное, так суждено. А гречанку-таки жалко, вы думаете, нет? Очень! И мне теперь будет еще хуже. Разве я не понимаю? Всю работу и в доме, и по двору уже

свалят на мою голову... Вы же понимаете, тетя Бетя, какой помощи я могу ожидать от Цильки? Ну-ну... Уж будет мне весело, не спрашивайте!

Фельдшерица, грустно покачивая головой, слушала Лэйю. «Ну и реббе!— думала она.— Он таки опутает бедного парня так, что тот забудет, откуда родом! И, чего доброго, еще посадит ему на шею свою Цилечку, без всякого приданого... Этакую, прости господи, дуру».

Дочь Бен-Циона прервала мысли фельдшерицы:

— Но, тетя Бетя, только чтобы все это, не дай бог, не стало им известно, прошу вас! — взмолилась девушка.— Иначе меня дома съедят... У меня и без того нет счастья... А на обед приходите. Слышите? Мы будем вас ждать. Непременно!

Бен-Цион Хагера был не только раввином, но и главой местного «товарищеского» банка. От него зависели выдача ссуды или отсрочка платежей. К нему обращались по спорным вопросам, возникавшим при заключении и выполнении коммерческих сделок; ему же принадлежало последнее слово и при бракоразводных делах.

Человек он был неглупый и образованный. Выходец из Галиции, он объездил многие страны Европы, учился в Афинах, свободно владел не только родным языком «идиш» и древнееврейским, но и греческим, английским, польским, мог объясняться на немецком и арабском.

Он был высокий, узкогрудый, с длинными руками и крепко посаженной большой головой. Густая шевелюра, пышная седая борода, пронизательный взгляд больших карих глаз делали его похожим на библейского пророка.

В Лимасоле раввин Хагера вел добропорядочный образ жизни, однако люди, близко знавшие его, шептались, будто отставной полицейский сержант Стефанос содержит кабак с «девочками» на средства реббе.

Бен-Цион Хагера был властолюбив, не терпел возражений, но прислушивался к голосу рассудительных людей, особенно если их мнения шли ему на пользу. Он не брезговал никакими средствами, чтобы отстоять свои интересы, однако внешне казался добрым и миролюбивым. Неискушенному человеку он порою казался сговорчивым и безобидным, так как людей, пытавшихся причинить ему вред или просто мешавших, он предпочитал убирать со своей дороги осторожно, без шума.

Отставной полицейский сержант Стефанос, работавший с ним на процентах и близко знавший раввина, называл его

не иначе, как «змей Хагера». «Бесшумно подползает,— говорил он,— а ужалит, и все!» Когда в свое время Стефанос решил было жениться на молодой вдове из Фамагусты, Бен-Цион учуял неладное. Женщина показалась ему своенравной и умной. Как такая посмотрит на отношения своего мужа с «компаньоном»? И Хагера тотчас же устранил опасность. Через доверенных людей он распустил порочащие молодую вдовушку слухи, и та вскоре с позором покинула остров...

Раввин Хагера дорожил Стефаносом. И не столько из-за доходов кабака, как думали некоторые, сколько из-за возможности через отставного полицейского сержанта осуществлять связь с миром контрабандистов...

Помимо своих официальных постов, Бен-Циона Хагера был также негласным, но весьма влиятельным деятелем «Акционс-Комитета»⁴⁰, главного штаба сионистского руководящего «Национального центра». Назначение этой богатейшей организации, получавшей, кроме своих непосредственных доходов, субсидии от многих еврейских банкиров и лавочников, фабрикантов и ремесленников со всех концов мира, состояло в создании мощной экономической и военной базы, на основе которой предстояло образовать единое еврейское государство с последующим расширением его жизненных пространств для переселения единоверцев, живущих в диаспоре⁴¹.

Бен-Цион трудился, не жалея сил, хотя в свои пятьдесят четыре года очень дорожил здоровьем. По утрам и вечерам в синагоге он усердно отправлял богослужения, в течение дня выполнял функции арбитра и духовного наставника, судьи и мудреца. Если, случалось, днем не управлялся с делами, ради которых поселился на острове, он вершил их ночью: вел переговоры и заключал сделки, по своим масштабам и беззаконию выходявшие далеко за рамки махинаций самых крупных и ловких мирских дельцов... В делах он был осторожен и предусмотрителен, и, конечно, не случайно прислугой в его доме была глухонемая гречанка; если она и могла что-либо заметить и заподозрить, то рассказать об этом была не в состоянии. И вот неожиданно она стала помехой.

«Плохи дела моей Цилечки, если ее соперницей оказалась эта убогая девка!» — с горечью заключил свои раздумья раввин и пообещал дочери устранить это «незначительное», как он выразился, препятствие с ее пути.

Однако заняться этим ему помешали обстоятельства.

⁴⁰ «Комитет действия».

⁴¹ То есть евреев, живущих за пределами Палестины, в рассеянии.

— Настали жаркие дни...— сказал он, открывая совещание узкого круга людей, прибывших в дом раввина по случаю приезда на Кипр специального курьера от руководящей верхушки «Акционс-Комитета». Представив съехавшимся на Кипр сионистским миссионерам человека в вылинявшей парусиновой рубаше с маленькими погончиками и туго набитыми нагрудными карманами, Бен-Цион Хагера уступил ему председательское место за столом.

Курьер, человек жилистый, чернявый, в больших роговых очках, с курчавой жидкой шевелюрой и просвечивающей сквозь нее плешью, начал с рассказа о том, как счастливо живут и упорно трудятся колонисты на родине, в эрец-Израэле⁴². Он особо подчеркивал значение непрерывно расширяющейся деятельности «Керен-гаисода»⁴³ по покупке новых земель и строительству ряда колоний. С особым пафосом говорил он о больших успехах сионистов в повседневной борьбе с англичанами, препятствующими иммиграции единоверцев, с арабами, оказывающими сопротивление евреям в расширении их жизненного пространства. Но главное внимание посланец сионистского центра уделил характеристике международной ситуации и задачам, которые в связи с этим возникают перед «бейтарцами»⁴⁴.

— Британия поглощена войной с Германией, она принимает отчаянные попытки отвести удар, который готовит ей Гитлер, — говорил курьер, сопровождая свою речь размашистой жестикуляцией. — Конечно, она вывернется. Это же Британия! Однако в данный момент ей приходится довольно туго. Над ней нависает и другая угроза. Это уже со стороны Италии. Муссолини, как вы знаете, объявил Средиземное море «*Mare nostrum*»⁴⁵. Но, как сказал великий римский поэт Гораций, «*Est modus in rebus, sunt certi deniques fines!*»⁴⁶. Пока что он, стремясь выкачать из Абиссинии нужные ресурсы, прежде всего хочет обеспечить своим судам безопасность плавания... А вот тут-то и начинается игра в «кошки-мышки»... Британцы намерены снять блокаду с Италии, установленную в дни вторжения ее в Абиссинию. Они, представьте себе, ведут переговоры с Италией о заключении торгового соглашения!.. Словом, хотят задобрить Муссолини. А дуче

⁴² Страна Израиль.

⁴³ Сионистский трест по покупке земельных участков у арабов.

⁴⁴ Ультраправое крыло сионистов, ставившее своей целью освобождение «земли предков» вооруженным путем.

⁴⁵ «Наше море», т. е. итальянское.

⁴⁶ Есть мера вещей, и существуют известные границы (лат.).

знает цену дружеского расположения Англии. Но и в Лондоне знают, что Италия — их потенциальный противник, и ее стремление создать «*mare clausum*»⁴⁷ — серьезная угроза Египту и Суэцкому каналу.

— Это уже хуже, — протяжно заметил один из доверенных лиц «Акционс-Комитета», адвокат по профессии, человек язвительный и нетерпеливый. Пустой рукав его поношенного пиджака был заправлен в карман.

Вместо ответа курьер усмехнулся, дал понять, что подобный вывод преждевременен, и тут же стал объяснять, как при курсе, который был взят сионистским. «Центром», можно извлечь весьма солидную выгоду из складывающейся международной обстановки.

— Благодаря своему географическому положению, — звенел голос посланца, — Палестина обретает важное стратегическое значение в этой части света. Британцы опасаются, что Муссолини в самое ближайшее время может найти «*casus belli*». И руководство «Акционс-Комитета» всячески поддерживает эти опасения. Вы можете спросить — почему? Ответ очень прост: нам выгодно. Нападения итальянцев, как полагают в Лондоне, следует ожидать скорее всего через Ливию. Тогда Палестина станет главной военной базой, необходимой Англии. Именно через Палестину британцы смогут оказать помощь своим войскам в Египте... — Курьер поправил съехавшие на нос очки, отпил глоток воды из стакана и продолжил: — Лондон уделяет исключительно большое внимание Палестине еще и потому, что территориально она прикрывает Египет с севера. А о том, какую ценность для Британской империи представляет Египет, особенно Суэцкий канал, говорить сейчас нет надобности... Кроме того, вы знаете, что по землям Палестины проложен нефтепровод. По нему доставляется иракская нефть. Без нее британскому флоту в этой части света будет не сладко!

— И все-таки, да простят мне почтеннейшие, — вновь заметил адвокат, поправляя свой пустой рукав, — я не вижу пока ничего такого, из чего мы могли бы извлечь выгоды. Если не ошибаюсь, наш уважаемый курьер сказал даже — «солидные выгоды»? Каким образом мы можем их иметь? И в чем выражаются эти выгоды? Я, простите, не понимаю.

Присутствующие молча посмотрели на своего коллегу и с любопытством стали ожидать ответа посланца «Национального центра». Однако курьер не спешил; воспользовавшись

⁴⁷ «Закрытое море» — юридический термин, относящийся к морю, все берега которого находятся во владении одного государства (лат.).

паузой, он старательно вытирал вспотевшие лицо и шею платком далеко не первой свежести.

Бен-Цион Хагера опустил голову, стараясь скрыть невольную улыбку. Его радовал заданный вопрос. Раввин знал, что адвокат умел логично аргументировать свои суждения, и опаривать его точку зрения было весьма трудно. Бен-Циону Хагера довелось в этом не раз убеждаться. Несколько лет назад между ними возник спор из-за отдельных формулировок, разработанных на встрече вожака сионистов Владимира Жаботинского и главаря итальянских чернорубашечников Бенито Муссолини. Дуче уже в те годы интересовался Ближним Востоком, вынашивал планы распространения сферы своего влияния и на Палестину. Жаботинский заверил его в полной поддержке, предварительно заручившись согласием дуче удовлетворить ряд просьб «Акционс-Комитета». Одна из них состояла в том, чтобы направить в Италию тридцать специально отобранных евреев-добровольцев — холуцев — для обучения мореплаванию. И вскоре в городе Чивитавеккья этих парней стали обучать муссолиниевские инструкторы. По замыслу «Акционс-Комитета», после обучения холуцы должны были приобрести пароход для нелегальной перевозки на «обетованную землю» будущих иммигрантов и некоторых недовольных грузов.

С самого начала адвокат высказался против рискованной затеи.

«Если приобретение парохода не составит труда, — сказал он, — то его эксплуатация с намеченной целью непременно натолкнется на серьезные препятствия и ограничения. В результате время будет потеряно, а желаемого результата мы не достигнем».

Бен-Цион Хагера осудил позицию адвоката. Когда же тот горяча назвал этот план авантюрой, раввин обвинил его в отступничестве и трусости. Адвокат был вынужден пойти на попятную. Больше того, чтобы предупредить возможные последствия конфликта с Бен-Ционом Хагера, он лично отправился с добровольцами-холуцами в Чивитавеккья. И там произошел несчастный случай: на судне возник пожар. Адвокат действовал самоотверженно, он спас от верной гибели двадцать девять холуцев и многих итальянских инструкторов, но сам лишился руки и получил сотрясение мозга. Однако прогноз адвоката о нецелесообразности всей этой затеи впоследствии подтвердился.

После выздоровления на однорукого адвоката была возложена работа, по роду которой он стал еще теснее соприкасаться с Бен-Ционом. Несмотря на прошлую ссору, они не-

плохо сработались, проявляя изрядную изобретательность при исполнении различных махинаций, диктуемых «Акционс-Комитетом». Различие между ними состояло, пожалуй, лишь в том, что Бен-Цион без малейших возражений принимал и выполнял все без исключения указания «свыше», утверждая, что любые средства хороши ради достижения цели. А его коллега почти всегда находил в них какие-то изъяны, неточности в формулировках, сомневался в целесообразности выполнения решений, казавшихся ему слишком рискованными и даже низменными.

Бен-Цион недолюбливал однорукого адвоката, но был вынужден считаться с ним, так как знал, что «Национальный центр» высоко ценит его за исключительную работоспособность и многосторонние связи. Когда адвокат бросил курьеру очередную реплику, раввин злорадно усмехнулся: он заранее знал, как ответит на нее эмиссар «Центра». Бен-Цион был в курсе событий лучше, чем кто-либо из присутствовавших на сборище, больше других знал «тонкости» политики, проводимой «Акционс-Комитетом». Ведь именно он возглавлял на Кипре перевалочную базу, занимавшуюся главным образом тайной закупкой оружия и от случая к случаю — нелегальной переброской на «обетованную землю» иммигрантов...

— Вы не ошиблись,— обращаясь к адвокату, ответил курьер с оттенком раздражения в голосе.— Я сказал именно так! На первый взгляд, международная обстановка крайне трудна и даже угрожающая. И все же мы твердо рассчитываем извлечь из нее крупную выгоду! Столь крупную, что она явится решающей акцией в реализации нашей программы!..— И он стал перечислять новые и новые факторы, в силу которых, по его убеждению, англичане не могут бросить Палестину на произвол судьбы.

— Эта часть подмандатной англичанам территории играет для Британии чрезвычайно важную роль! Одна только Хайфа чего стоит! — гордо произнес курьер.— Британцы имеют здесь не просто порт, но и военно-морскую базу. А это что-то значит! Ну, а дорога, связывающая Палестину с Персидским заливом? Сами понимаете: единственный сухопутный путь для снабжения английских войск в случае, если в Средиземном море обстановка окажется неблагоприятной.

Исчерпав наконец доводы, подтверждающие исключительно важное значение, которое приобретает Палестина для Англии, курьер перешел к изложению «большой политики» «Акционс-Комитета» и «Национального центра».

— Лондону сделано предложение разрешить нам формировать легионы добровольцев, которые могут быть использова-

ны для борьбы с противниками Англии в случае высадки вражеского десанта на север Африки, — отчеканил курьер тоном приказа. — Ведутся переговоры о создании батальонов из сынов нашего народа на самой территории Палестины! Больше того! Мы предлагаем сформировать в Палестине из наших людей полноценную армию, включающую все рода оружия, которая при необходимости может быть использована англичанами на европейском театре военных действий...

Сидевшие, как загипнотизированные, миссионеры робко зашевелились. Адвокат заерзал на своем шатком стуле. Сообщения оратора вызывали у него возражения. И он снова прервал курьера.

— Я слушал вас внимательно, — начал он миролюбиво, — но можно ли узнать, для чего все это делается? К чему, спрашивается, бросать наших сыновей в пекло далекой войны? Или, может быть, почтеннейшие мужи из руководящего «Центра» полагают, что мало крови пролито нашим народом за столетия его пребывания в изгнании?

Курьер «Центра» нахмурил брови, обменялся мимолетным взглядом с раввином, иронически улыбнулся и подчеркнуто укоризненным тоном проговорил:

— Прежде чем ответить на ваш вопрос по существу, я должен сказать, что впервые в нашей среде слышу подобный упрек в адрес нашего руководства, которое будто бы не дорожит жизнями и судьбами сынов своего народа. Я не ошибусь, если скажу, что во всем нашем движении не найдется другого человека, разделяющего такого рода сомнения.

Лицо адвоката потускнело, он молча проглотил «пилюлю», а курьер, дав волю своим чувствам, неожиданно для самого себя и большинства присутствующих сделал признание, отнюдь не свидетельствующее о том, что «руководящий центр» действительно «дорожит жизнями и судьбами своего народа».

— Необходимо раз и навсегда понять, — сказал он, — что до тех пор, пока наш народ не внесет или хотя бы не попытается для видимости внести определенный вклад в укрепление Британской империи, он не сможет с достаточным основанием требовать того, чего так долго добивается... И если даже придется пожертвовать многим ради достижения большего, руководство «Акционс-Комитета» пойдет и на это! Такова тактика в настоящее время...

Адвокат понял, что напрасно поспешил высказать свои соображения: тактика «вносить вклад для видимости» была ему по душе. Он успокоился и стал сосредоточенно слушать.

— Но это только одна сторона вопроса, — продолжал

оратор. — К сожалению, имеются серьезные основания думать, что не все наши предложения будут приняты Лондоном... Почему? Да потому, что в основе этих предложений лежит утверждение, будто назревает военный конфликт, который может распространиться на территорию Палестины и, следовательно, угрожает нашему народу. Но реальная действительность далека от подобного утверждения... И пусть это никого не удивляет... Там, где надо, у нас есть свои люди, и поэтому мы хорошо информированы о действительных планах и возможностях держав оси, есть у нас и достаточные средства, чтобы в нужный момент решающим образом повлиять на ход событий в нашу пользу. Кое-кто из присутствующих здесь мог бы подтвердить все конкретными примерами, но, как вы понимаете, говорить об этом пока не следует. Одно скажу: тысячелетняя борьба нашего народа, обреченного на изгнание, и приобретенный им опыт кое-чему научили нас...

Украдкой наблюдавший за каждым из присутствующих, Бен-Цион отметил, что эта речь произвела на всех благоприятное впечатление. Даже адвокат одобрительно кивнул головой.

— Но! — неожиданно воскликнул представитель «Центра» и после секундной паузы многозначительно добавил: — Мы не говорим открыто о нашей тактике и ее целях. К чему бравировать? Я попрошу всех это запомнить. Наоборот, мы утверждаем во всеуслышание, что опасность со стороны Италии и Германии, как никогда прежде, велика и в полной мере реальна!

И он с увлечением стал разъяснять, какую пользу из этой тактики стремится извлечь «Национальный центр».

— Представим себе на минуту, что наши предложения Лондон примет хотя бы частично... Победа! Вы спросите, почему? Очень просто: формирование батальонов самообороны — это только ширма, которая позволит нам легально, повторяю и подчеркиваю, легально вооружать людей в гораздо большем масштабе, чем это делается сейчас! А это и есть наша перво-степенная задача! — Оратор потряс над головой обоими кулаками. — Это будет решающий шаг к осуществлению генеральной программы: через «аллия»⁴⁸ и поголовное вооружение наших людей к созданию суверенного государства с территорией, способной удовлетворить нужды и потребности всего нашего народа, включая и живущих в диаспоре!

⁴⁸ «Восхождение» — у сионистов демагогический призыв к переселению всех без исключения евреев в «страну отцов».

Пока речь идет лишь о шестидесяти пяти процентах палестинской земли!..

Курьер напоминал бегуна-марафонца. По обеим сторонам пухлых нагрудных карманов его парусиновой рубашки расплывались влажные пятна, с лица градом катился пот. Возбужденный и разгоряченный нарисованной им самим картиной, посланец «Центра», казалось, не замечал ни тошнотворной духоты, ни спертого воздуха, скопившегося в крохотном помещении, закупоренном из соображений предосторожности по указанию раввина.

— Осмелится ли возразить против этой тактики кто-либо из тех, — переводя дух, задиристо подчеркнул курьер, — кто претендует на право именоваться настоящими сынами Израиля, в ком течет кровь избранного народа?!

Шепот одобрения пронесся из угла в угол. Более двух часов миссионеры благоговительно слушали, не нарушая тишины. Возникший шумок тотчас прекратился, как только эмиссар с «широкими полномочиями от высоких руководителей», промочив горло очередным глотком тепловатой воды, с неослабевающей страстью продолжал свою речь. Он утверждал, что именно теперь наступил долгожданный момент, когда иммиграция людей, равно как и накопление оружия, должны приобрести массовый характер.

— Достопочтенные учителя Теодор Герцль и Владимир Жаботинский прозорливо предсказывали нам наступление этого времени! — торжественно прозвучал его заметно охрипший голос. — Вспомните великолепные слова Герцля о том, что чем больше будет погромов, тем скорее наступит подходящий момент для разрешения проблемы иммиграции наших людей в Палестину... Сегодня мы с полным основанием можем сказать, что его предсказание оправдалось! Желанное время пришло! Жаботинский говорил по этому поводу: «Антисемитизм подобен вше, от укуса которой спящий человек может лишь проснуться!» Наш народ начал просыпаться...

Внезапно раздавшийся грохот резко отодвинутого стула заставил всех повернуть головы в сторону вскочившего с места адвоката.

— Вы говорили так красиво, что можно было заслушаться, — раздраженно перебил он распалившегося оратора. — Вы высказали такие ошеломляющие идеи, что я поражаюсь, как это еще никто не прослезился?! Что и говорить, укувши — не велика беда! Суший пустяк! Зато народ просыпается... Но, извините, я бы хотел уточнить: считаете ли вы и достопочтенные руководители из «Национального центра» антисемитизм господина Гитлера и фашистов вообще, их жесто-

чайшие преследования людей нашей национальности всего лишь укусом этого безобидного насекомого? А?

С лица представителя «Центра» мгновенно исчезло выражение уверенности и высокомерия. Даже со стороны этого неуравновешенного критикана он не ожидал столь дерзкого выпада против основоположников сионизма. Эмиссар «Центра» чувствовал себя так, словно ему плюнули в лицо.

— Здесь был упомянут германский канцлер Адольф Гитлер, — произнес он, задыхаясь от нахлынувшего гнева и судорожно, без всякой надобности поправляя оправу очков. — На этот счет у нас имеется особая точка зрения, и я изложу ее с предельной ясностью, дабы впредь избежать недомолвок и кривотолков. Грубо говоря, она состоит в том, что не будь сегодня этого Адольфа Гитлера, нам, сионистам-бейтарцам, следовало бы его придумать! — патетически воскликнул он, и, опасаясь, что однорукий адвокат снова прервет его, заговорил тотчас же, без паузы: — кое-кто, возможно, скажет, что это цинично! Напротив! В отрицании данной точки зрения мы усматриваем гнилой сентиментализм, ложную гуманность, которые приводят только к тому, что тормозят претворение в жизнь тысячелетней мечты всей нации!.. И пусть нас не осуждают за откровенность и, возможно, грубое сравнение, но уж если здесь было сочтено возможным подвергать критике гениальные предвидения Герцля и Жаботинского, то я должен сказать совершенно определенно, что, не будь национал-социалистической теории и их расовой доктрины, являющейся всего лишь одной из разновидностей антисемитизма, подавляющее большинство наших братьев и сестер не вспомнили бы, чьими сынами и дочерьми они являются!.. И это уже, извините, не ссылка на высказывания авторитетных лиц, это констатация прискорбного, но неоспоримого факта: «Argumentum ad rem!»⁴⁹.

Адвокат снова вскочил, но Бен-Цион Хагера опередил его, в деликатной форме попросив не перебивать оратора, соблюдать порядок.

Ободренный поддержкой раввина, представитель «Центра» стал горячо доказывать, что именно в результате притеснений, которые испытывают дети Израиля в изгнании, они вынуждены обращать свой взор к «землям предков».

— Представим себе на мгновение, что Адольф Гитлер и его расовая концепция ликвидированы. И тогда мы с ужасом воскликнули бы: «Шма Исраэль!»⁵⁰. Какая же беда нас вновь

⁴⁹ Аргумент, основанный на подлинных обстоятельствах дела (лат.).

⁵⁰ Слушай, Израиль!

постигла!» Ни один человек из тех, кто сейчас подвергается жестоким преследованиям и потому устремляется в страну своих отцов, ни за какие блага на свете не согласился бы покинуть насиженные места! Поэтому мы, сионисты, заинтересованы в разжигании антисемитизма! Вы скажете, что это печально. Да, печально, но это факт! Ведь большинство евреев, иммигрировавших за последнее время в Палестину, никогда прежде не помышляли об этом! До прихода национал-социалистов к власти им жилось в той же Германии совсем неплохо. Среди них были и банкиры, были и фабриканты, были и владельцы торговых заведений... И никто слушать не хотел о возвращении на обетованную землю... — Представитель «Центра» провел рукой по вспотевшему лбу.

— Вот их-то в первую очередь мы теперь и вывозим! — выкрикнул адвокат, воспользовавшись минутной паузой. И сразу стал обосновывать свое заключение. Он напомнил, что несколько лет назад политика нацистов сводилась в основном к насильственному изгнанию евреев, позже возможность эмигрировать была обусловлена выплатой определенной суммы, которая непрерывно росла и достигла астрономической цифры. Потом нацисты сочли и эти меры недостаточными. Они стали загонять несчастных людей в концентрационные лагеря, обрекая их на тяжкий труд, болезни и лишения.

Слушая адвоката, курьер то и дело вытирал платком влажно блестящую плешь и встревоженно поглядывал на раввина. Но тот ничем не выдавал своего недовольства. Адвокат пренебрег его призывом не прерывать докладчика, и теперь, во избежание инцидента, ему ничего не оставалось, как скрепя сердце дожидаться, когда однорукий остановится. Однако адвокат, словно в забытии, продолжал взволнованно говорить.

— Если прежде наши люди, оказавшиеся под пятой нацизма, исчислялись десятками или сотнями тысяч, то теперь их миллионы! И трагедия этих несчастных заключается еще в том, что никто из нас, в том числе и тех, кто сидит в «Национальном центре», не думает и, да простят меня за прямоту, не желает думать о том, какая уготована им судьба!.. Смогут ли они эмигрировать или же, не приведи бог, окажутся вынужденными остаться в неволе? Что их ждет? Нечеловеческие мучения, а возможно, и смерть... Я хочу верить, что бог все же сбережет их от страшной доли, но это не значит, что мы вправе бездействовать...

Бен-Цион Хагера счел необходимым вмешаться.

— А разве хавэр⁵¹ адвокат не знает, — спросил он, не по-

⁵¹ Товарищ, друг.

вышая голоса, — что нами установлен контакт с влиятельными лицами германского рейха? Разве не хавэр адвокат в марте нынешнего года зафрахтовал пароход «Колорадо», который под Корфой принял на борт лучших наших людей из рейха Адольфа Гитлера?

— Но это же капля в море! Триста человек! — возмущенно воскликнул адвокат.

— Верно! — перебил его курьер. В голосе его отчетливо прозвучали нотки раздражения. — Но не надо забывать, что пароход «Колорадо» — только начало!

— Вы думаете, господин адвокат этого не знает? — с усмешкой неторопливо заметил Бен-Цион Хагера. — Знает! Прекрасно знает, как и то, что в дальнейшем суда будут производить погрузку уже не тайком, как было с «Колорадо», а открыто и вполне законно заходить в немецкие порты Гамбург и Эмден... И знает он еще многое другое, — иронически улыбаясь, заключил раввин, — но уж такой у него беспокойный характер...

— При чем здесь мой характер?! — вспыхнул адвокат. — Все, о чем вы, почтенный реббе, говорили и что я действительно знаю, касается немногих очень состоятельных семей, либо лиц, имеющих особые заслуги перед сионизмом! Но, скажите на милость, как подобный отбор согласуется с нашим программным утверждением, с нашим принципом, согласно которому все люди нашей национальности, независимо от их имущественного, сословного и социального положения, должны сотрудничать как единая еврейская нация? Какое же это сотрудничество, если мы заботимся о немногих избранных и ничего не делаем для спасения миллионов тех, у кого нет капиталов и, представьте себе, нет «особых» заслуг перед сионизмом! Эти обыкновенные люди, так же как миллионеры и прочие знаменитости, там, в царстве нацизма, отмечены клеймом «Могэн Довэда»⁵², отличающим их от людей других национальностей! Ведь это клеймо означает, что они обречены!..

Выкрикнув эту фразу, адвокат схватился рукой за сердце и, тяжело дыша, медленно опустился на стул.

Воцарилась гнетущая тишина. Молчал и курьер. Злоба перекосила его лицо, темные глаза за толстыми стеклами очков презрительно сощурились. Молчание становилось опасным. И, почувствовав это, курьер прервал его дрожащим от гнева голосом:

— Чтобы в столь ответственное время никто из присутст-

⁵² Шестиугольная звезда «Щит Давида».

вующих не впал в заблуждение и не проявил малодушия, я отвечу на необоснованные обвинения в адрес «Центра» словами достопочтенного Вейцмана... Недавно в Лондоне на заседании королевской комиссии его спросили: как намечается организовать эмиграцию нескольких миллионов евреев из стран, захваченных нацистами? Вейцман ответил коротко и четко: «Старые уйдут... Они пыль, экономическая и моральная пыль большого света... Останется лишь ветвь!..»

Бен-Цион взглянул на однорукого адвоката. На этот раз раввин решил вмешаться, если адвокат вновь прервет оратора. Однако адвокат сидел, печально склонив голову, и молчал. Конечно, ему хотелось бы вновь возразить посланцу «Центра», сказать, что изречение идеолога сионизма Вейцмана цинично, жестоко по существу и лишний раз подтверждает правоту его, адвоката, позиции. Но сил не было даже на то, чтобы подняться со стула: сердце отчаянно колотилось, от резкой боли в груди темнело в глазах. И потому он молчал.

— Но в это великолепное изречение, — продолжал курьер, снова повысив голос, — пусть суровое, но основанное на анализе реальной действительности, а не на бесплодных благих пожеланиях, необходимо внести поправку. Ни для кого не секрет, что родные нам по крови финансовые магнаты подчас являются вершителями судеб других народов. Во всяком случае, влияя на политику правителей этих народов колоссально! Вот почему, оставаясь в странах изгнания, они могут принести и приносят неоценимую помощь нашему делу. Исключением ныне являются нацистская Германия и страны, находящиеся в сфере ее влияния. В этих странах евреи, в том числе и банкиры, бесправны и бессильны. И наша задача состоит в том, чтобы в первую очередь вызволить именно этих состоятельных и влиятельных людей, уберечь их до того времени, когда они в той же Германии смогут вновь сказать свое веское слово... И напрасно здесь пытались уличить нас в том, будто такой отбор противоречит программному принципу сионизма о сотрудничестве всех сынов народа независимо от их имущественного положения. Сотрудничество на данном этапе в том и состоит, чтобы в первую очередь переселить на родину предков тех, кто принесет всему нашему народу-мученику, всей нашей многострадальной нации наибольшую пользу. Можете поверить мне, что руководящие деятели «Центра», как и все мы, глубоко скорбят о каждой утрате, понесенной нашим народом, но жертв, видимо, не избежать... Недаром в торе записано, что «по-настоящему светло и доподлинно хорошо не становится, пока не бывает слишком темно...».

Потный, разгоряченный, с всклокоченными волосами оратор на мгновение замолчал, испытующе поглядывая на своих слушателей, которые, затаив дыхание, не спускали с него глаз, только адвокат сидел, понурия голову. И курьер «Центра» уже спокойно продолжил свой официальный инструктаж. Он подверг критике вышедшую недавно в Лондоне «Белую книгу», в которой объявлялось о строгом ограничении иммиграции в Палестину — не свыше пятнадцати тысяч человек в год, — и со злорадным восторгом отметил, что это ограничение в скором времени лопнет как мыльный пузырь в результате войны, навязанной Гитлером Британии.

В заключение он горячо призвал собравшихся всесторонне использовать возникшую в мире обстановку, благоприятную для осуществления намеченной «Центром» программы, и действовать, ни перед чем не останавливаясь, ничем не пренебрегая, не брезгуя никакими средствами.

— Как никогда прежде, сионисты-бейтарцы должны изыскать возможности для сосредоточения максимума оружия и непрерывного увеличения иммиграции на земли предков наших лучших людей из диаспоры, — заключил курьер осыпшим голосом. — И эту священную миссию с помощью всевышнего мы любой ценой выполним, ибо воля у нас твердая, разум ясный, энергия в избытке!

Бен-Цион Хагера с головой окунулся в хлопотливые дела по закупке оружия. «Национальный центр» требовал от него расширения масштабов этой деятельности. Надо было использовать момент. И не удивительно, что порою он забывал о своем обещании дочери удалить из дома Ойю, — он согласился на предложение Стефаноса. Однако не было свободной минуты, чтобы не только выполнить свое обещание, но даже увидеться со своим компаньоном. Стефанос уже увяз по горло в делах: именно он устанавливал контакты с торговцами оружием, вел с ними предварительные переговоры. Но Циле до всего этого не было дела!

«Мой характер!» — с удовольствием отметил Бен-Цион, вспомнив утренний разговор с дочерью. Раввин собирался отбыть по срочным делам с курьером «Национального центра» на весь день и сказал Циле, что к вечеру непременно исполнит ее желание, но домой в этот день он не вернулся. Такое бывало с ним нечасто, тем не менее особой тревоги в семье его отсутствие не вызвало. Не явился раввин и в синагогу на предсубботнее вечернее моление, но богомольцев это не особенно удивило: мало ли какие дела могли быть у

раввина. Одна Циля не скрывала своего раздражения. Злило ее не отсутствие отца, а присутствие во дворе этой убогой девчонки Ойи. «Завтра суббота, а она еще тут!» — думала Циля, с ненавистью поглядывая во двор, где работала гречанка. В субботу намечался званый обед, к которому она старательно готовилась. «Придет же и наша тетя Бетя! И, наверное, как положено в таких случаях, заведет разговор с Хаимом. И кто знает, может состояться и помолвка!» — Циля, взглянув на себя в зеркало, осталась довольна собой.

В прихожую вошел Хаим, взял щетку и стал стряхивать пыль с одежды и обуви. Он ходил в порт, наведывался в агентство, узнавал, какие формальности надлежит выполнить перед отъездом. К счастью, чиновники английской администрации признали судовой билет действительным, надо было только доплатить незначительную сумму. Хаим надеялся на помощь раввина. «Заработаю, вышлю долг немедленно», — думал он.

С этими мыслями Хаим постучал в дверь. Увидев его, Циля быстро поправила прическу и, улыбаясь, пригласила войти. Хаим прошел в столовую. Настроение у него было отличное, хотя, отвыкнув от длительной ходьбы, он сильно устал и основательно проголодался.

Завидев стол, накрытый белой скатертью вместо обычной клеенки, и особо тщательно убранную комнату, он шутя заметил:

— О-о! Уж не сватов ли ждете?

Циля покраснела и не нашлась, что ответить. Ей показалось, что Хаим не случайно заговорил об этом. Когда же в столовую вошла Лэйя и Хаим повторил свою шутку, та, равнодушно пожав плечами, проговорила:

— С чего вы взяли? Просто сегодня канун субботы, вот и в доме, как водится у порядочных евреев, прибрано по-праздничному.

Но Циля тут же прикрикнула на сестру:

— Когда человек приходит с улицы и хочет кушать, ему подают обед, а не занимаются разговорами. На окно я поставила запеканку. В кухне на столе покрытая тарелкой бабка из лапши, принеси-ка... Человек не кушал бог знает с каких гор!

Циля суетилась, часто выходила в прихожую и о чем-то шепталась с сестрой. Все это испортило Хаиму настроение, насторожило. Не прикоснувшись к еде, он поблагодарил и вышел. К его удивлению, Циля не настаивала, как обычно, чтобы он остался.

Во дворе его поджидала Ойя. Он улыбнулся девушке,

объяснил, что очень устал за день и хочет отдохнуть. Ойя проводила его до флигеля.

Хаим прилег на постель не раздеваясь, стал думать о том, как его встретят на обещанной земле друзья из «квуца»⁵³, вместе с которыми он проходил стажировку, как он начнет работать, накопит деньги и вызовет оставшихся в Болграде отца и сестренку. А Ойя? Что будет с Ойей? Он же не сможет расстаться с ней. Она дорога ему, как дороги отец и сестра. Нет, без нее он жить не сможет... Завтра он скажет ей об этом. И они уедут вместе.

Проснулся Хаим от сильного шума. Взревев мотором, во двор въехала машина. Хлопнула дверца автомобиля, послышались шаги, потом шуршание шин отъехавшей машины. Хаим поднялся, выглянул во двор и с изумлением увидел, что все окна в доме раввина освещены. «Поздно, а они почему-то не спят, — подумал он. — Не случилась ли беда?»

Тревога охватила парня, и он поспешил к дому. Заглянув в окно столовой, Хаим увидел, как, стоя посередине комнаты, Циля зло топала ногами на горько плачущую горбатую сестру.

Хаим вошел в дом, и тотчас же обе девушки испуганно смолкли.

— Случилось что-нибудь? — тревожно спросил Хаим. — Я слышал вроде бы шум автомобиля!..

Лэйя виновато отвернулась и будто вот-вот была готова снова расплакаться, а Циля, запинаясь, промолвила:

— К-какой автомобиль? Где? Ведь... суббота!

— Значит, мне приснилось... — смущенно оправдывался Хаим. — Извините!.. Совсем забыл, что с вечера — суббота и ездить на машине грешно...

— Нет у нас больше гречанки! — сдерживая рыдания, проговорила Лэйя и выбежала из комнаты.

Ошеломленный Хаим в растерянности спросил:

— Ойи нет?!

— Исчезла куда-то... — неохотно процедила сквозь зубы Циля.

— Как это исчезла?

— Откуда я знаю? — раздраженно ответила Циля. — И почему вы меня спрашиваете?! Я не сторож!..

— Когда это произошло? — спросил Хаим и, не дожидаясь ответа, бросился к сараю, заглянул на кухню, во флигель, на улицу. Всюду — ни души. Было за полночь. Он вернулся в дом, спросил Цилю, когда именно она заметила отсут-

⁵³ Трудовая военизированная группа.

ствие Ойи, но дочь раввина на все вопросы отвечала как пугай:

— Откуда я знаю?!

Расстроенный Хаим еще раз обошел весь двор, вышел на улицу, прислушался. Со стороны порта порою доносился лязг цепей и грохот, которые тотчас же тонули в мягкой ночной тишине. Глядя на беспредельный небосвод, усеянный безучастно-спокойно мерцавшими яркими звездами, Хаим почувствовал себя одиноким, несчастным и совершенно беспомощным существом, заброшенным куда-то очень далеко.

От грустных мыслей его отвлек послышавшийся со стороны порта шум мотора. Он насторожился, прислушался. Машина с воем одолевала крутой подъем. Вскоре из-за угла улицы широкий луч света прорезал темноту. Автомобиль остановился на углу, хлопнула дверца, и машина стала разворачиваться в обратный путь. Сноп яркого света фар скользнул по заборам, стенам домов и на секунду внезапно выхватил из темноты рослую фигуру раввина, только что вышедшего из машины. Хаим обомлел от неожиданности и удивления. «Вот это да! — подумал он. — В субботнюю ночь реббе на машине? — Ничего себе...»

Обеспокоенный Хаим поспешил к дому. В столовой, несмотря на позднее время, Циля вышивала толстыми цветными нитками подушечку. Быстро взглянув на него, она тут же молча склонила голову над вышивкой.

— Да будет благословенной суббота! — произнес традиционную фразу Бен-Цион Хагера, входя в комнату.

Хаим сдержанно ответил на приветствие. Помогая раввину снять верхнюю одежду, он почувствовал, как что-то тяжелое ударило его по колену: из-под откинувшейся полы капота раввина перед глазами Хаима мелькнул свисавший на ремне автоматический пистолет, какие доводилось ему видеть лишь в кинофильмах. Он прикинулся, будто ничего не заметил, и, держа одежду раввина на весу, направился к вешалке.

Бен-Цион Хагера прошел в свою комнату. За ним последовала и Циля. Вскоре раввин вернулся в столовую и огорченно спросил:

— Цилечка мне сказала, что сбежала гречанка. Это правда?

Хаим промолчал. Он не понимал, что происходило. Может, перед ним был вовсе не раввин, а главарь какой-нибудь шайки бандитов?

— Жалко? — сочувственно продолжал раввин, глядя в упор на Хаима. — Но потеря невелика... Найдется. Не первый случай. Однажды перед пасхой она тоже сбежала. Иска-

ли целую неделю, не нашли, вдруг сама заявила. И, знаете, где эта идиотка скрывалась? В сарае, рядом с флигелем! Находит на нее иногда...

Разум твердил Хаиму, что, хотя раввин возводит напраслину на девушку, обижаться на него он, Хаим, не имеет права. Реббе был человеком, который приютил его, неизвестного холуца, выручил из беды, помог на чужбине. И потому Хаим лишь робко заметил, что пропавшего человека следовало бы поискать, курицу и ту ищут. А тут пропала девушка. Может, с ней случилось несчастье? Тогда что?

Бен-Цион Хагера холодно бросил:

— Нечего шум поднимать. Тоже мне добро! Отыщется... Лучше скажите, почему вы входите в дом с непокрытой головой? Ведь уже суббота!

Расстроенный Хаим ушел к себе во флигель. Было не до сна. Перед глазами стояла Ойя. Она стала ему еще дороже, ближе, роднее. В голове его роились страшные предположения. Они мучили его, терзали.

Обессиленный, он задремал лишь под утро, и почти тут же его разбудили. Ему показалось, что тормозит его Ойя. Хаим вскочил. Перед ним с гордой осанкой и надменным выражением на слегка опухшем заспанном лице стояла Циля. Она сухо сказала, чтобы он шел в дом, и тотчас же удалась.

Хаима поразило ее появление во флигеле. Это было впервые за время его пребывания в доме раввина, и Хаим решил, что этот внезапный визит гордячки Циля вызван каким-то несчастьем, происшедшим с Ойей. Он торопливо оделся и поспешил в дом. В столовой раввин Бен-Цион Хагера, облаченный в капот, встретил его замечанием — почему холуц изволил снова явиться без шапки? Хаим безразличным тоном извинился и тут же спросил реббе, не вернулась ли Ойя. Бен-Цион Хагера не нашел нужным ответить. Тонком, не терпящим возражений, он сказал:

— Бог помог, вы выздоровели, а сегодня у нас суббота! Все евреи в этот день должны идти в синагогу молиться... Вы сейчас пойдете со мной... И возьмите сиддур⁵⁴. Вот этот, со стола. Теперь он будет ваш...

В синагоге Хаим читал молитвенник, не понимая смысла молитвы: все его мысли были об Ойе. Где она? Что с ней? Почему вчера вечером он не остался с ней подольше? Не признался, что любит, что не может жить без нее! Стеснялся, робел...

⁵⁴ Молитвенник.

Богомольцы вслед за раввином вразнобой жужжали молитвы, не обращая внимания на Хаима. Он был здесь чужой. Им всем нет дела до его горестей, им безразличны его боль и судьба. С кем он может поделиться своим несчастьем, утратой? От кого услышит слова утешения, кто поможет ему? С грустью вспомнил он своего друга, Илюшку Томова. Конечно, тот сейчас по-прежнему работает в гараже и живет хоть и не богато, зато спокойно, и фашистов ему нечего бояться, нечего бежать к черту на кулички в погоне за счастьем... А вот Хаиму пришлось спутаться черт знает с кем, и теперь несчастья валятся на него одно за другим.

Раввин Бен-Цион Хагера тем временем продолжал благочинно читать молитву «модин», и, поскольку этот субботний день совпадал с новолунием, он перешел к молитве «атта-язарта». Верующие дружно забубнили непонятные Хаиму слова молитвы...

И только когда Бен-Цион Хагера закончил наконец-то монотонное чтение и громко хлопнул тяжелой ладонью по молитвеннику, Хаим очнулся от горьких раздумий и только сейчас заметил, что держал свой «сиддур» вверх ногами. Он уже пошел было к выходу, но тут выяснилось, что еще предстоит церемония «бар-мицва»⁵⁵.

Объявили короткий перерыв. Точно школьники в перемену, обгоняя друг друга, богомольцы ринулись во двор... К Хаиму подошел степенной походкой Бен-Цион.

— Мы пришли сюда вместе, — сказал он тихим, но повелительным голосом, — вместе и уйдем отсюда.

После перерыва Хаим, потупившись, наблюдал, как паренек поцеловал обтянутые тонкой черной кожей квадратные кубики — «тфиллен», как накинул первый филактерий⁵⁶ на оголенную по самое плечо левую руку и накручивал на нее, продолжая произносить молитву, семь колец сверху вниз вплоть до среднего пальца, вокруг которого также обвел три витка тянувшейся от кубика узкой тесемки ремешка; как он довольно ловко, — в синагоге ни на мгновение нельзя оставлять голову непокрытой, — накинул на затылок кожаный ремешок, образовавший узел, и прикрепил второй филактерий к верхней части лба. Тут юноша начал читать фрагменты из торы. Делал он это с большим чувством, трепетом и, как положено, нараспев. Иногда он искоса, с благоговением поглядывал на раввина. Бен-Цион стоял как скала.

⁵⁵ Обряд религиозного приобщения к вере мальчиков, достигших тринадцати лет, т. е. совершеннолетия.

⁵⁶ Филактерий состоит из кубиков, покрытых черной кожей; внутри кубика находятся написанные на пергаменте отрывки из библии.

Завершал церемонию совершеннолетия своего рода экзамен имениннику. На вопросы Бен-Циона паренек отвечал быстро, четко и мелодично: что филактерий, накладываемый на руку, называется «шел-яад» или «шел-зероа», а второй — на голову, «шел-рош», и оба содержат пергаментные полоски с четырьмя цитатами из библии; что наручный филактерий имеет внутри одно отделение и каждому параграфу там уделяется семь строчек, а головной отличается тем, что содержит четыре отделения по четыре строчки; что в обоих филактериях пергамент скручен в трубку, которая перевязана узкой полоской из пергамента же и тщательно вымытым волосом «чистого животного», то есть теленка... Затем парень ответил, что снятие филактерий с руки и головы, если это происходит в день новолуния, сопровождается чтением молитвы «мусаф».

Созерцая эту довольно нудную церемонию, Хаим поражался, как это юноша не запутывается в дебрях древности, насколько он все зазубрил. Невольно вспомнилось, как в день его, Хаима, совершеннолетия он точно так же старался четко отвечать, восторженно смотрел на раввина, почитая его чуть ли не за самого бога!.. «Знал бы этот юнец,— думал Хаим,— что это его «божество» приехало в ночь на субботу в автомобиле черт знает откуда, да еще с револьвером не меньше, чем у чикагских гангстеров!.. Что бы он тогда сказал?!»

Хаим не заметил, как церемония подошла к концу. Он понял это, увидев, что хромой шамес складывает свой талес в потертую бархатную сумку. Но раввин оставался на месте. Тем временем отец паренька достал сверток, извлек из него один песочный, а другой медовый «лэйкех»⁵⁷, затем в заранее припасенные рюмки величиной с наперсток разлил мутную инжирную настойку.

Первым поднял рюмку раввин. Закатив большие глаза, он произнес положенную в таких случаях «бруху»⁵⁸, благословляя плоды, из которых делается этот винный напиток.

— Барух ато Адонай... барей при агуфен!⁵⁹ — протянул он нараспев и опрокинул содержимое рюмки в рот. Закусывая лейкехом, раввин выразил пожелание свидеться всем в самом скором времени на обетованной земле.

— Омейн!⁶⁰

— Омейн! — ответили в тон раввину верующие.

⁵⁷ Мягкий пряник.

⁵⁸ Благословение.

⁵⁹ Благослови, господь... плоды винограда.

⁶⁰ Аминь!

В полдень Бен-Цион Хагера и Хаим вернулись домой. Пожалуй, никогда прежде Хаиму не доводилось видеть такого изобилия яств, какое красовалось на праздничном столе раввина. Тут были рубленая сельдь с грецкими орехами, мятые крутые яйца с куриным жиром и шкварками, паштет из печенки с зарумяненным луком, «пецэ» из куриных ножек, горлышек, крылышек, пупочков и прочих потрохов, залитых соусом из взбитых желтков, растертого миндаля и вина и разукрашенного кусочками лимона. В центре стола возвышалась внушительного размера ваза с тертой редькой, пропитанной гусиным жиром и корицей. Без этого любимого Бен-Ционом блюда не обходился ни один субботний обед. В глубокой тарелке были знаменитые кипрские пельмени, начиненные дважды пропущенным через мясорубку куриным филе. И, наконец, фаршированная рыба с застывшей темно-бордовой от свеклы юшкой! Коронное кушанье праздничного обеда приготовила сама Циля, об этом свидетельствовал забинтованный палец на ее руке.

Все были в сборе. Улучив момент, когда тетя Бетя остановилась одна у окна, Хаим подошел к ней и сообщил об исчезновении Ойи. Оказалось, что фельдшерица знает о случившемся. Хаим поразился спокойствию, с которым старушка встретила его сообщение. «Неужели и у нее нет сердца!» — с горечью подумал Хаим, отойдя от фельдшерицы.

Все разместились, но к трапезе не приступали: ждали, когда раввин усядется в свое огромное потертое кресло.

Хаим взглянул на самодовольное лицо Бен-Циона и вспомнил лубочную картину, найденную им несколько лет назад на чердаке дома. «Снять бы с реббе его «штраймел»⁶¹! — подумал он, — и как две капли воды Гришка Распутин!»

Бен-Цион Хагера был доволен — все шло как по-писанному: Ойя исчезла, Хаим, как видно, смирился с этой утратой, и обед был приготовлен на славу. Чуть слышно реббе напевал подходящую для субботней трапезы мелодию «Змирес», но едва он успел положить себе ложку редьки, как в распахнутом окне показалась черноволосая головка мальчика-слуги Стефаноса.

— Кали мэра!⁶² — громко произнес мальчик, переступив порог. Он хотел было что-то сообщить, но раввин остановил его и, медленно поднявшись, удалился в прихожую. Тотчас за ним вышла и Циля. В столовой наступила тишина.

Хаим взглянул в окно, увидел, что Циля побежала в ко-

⁶¹ Обшитая мехом бархатная ермолка.

⁶² Добрый день! (греч.).

нец двора, где стоял флигель, юркнула в дверь, выскочила и тотчас же скрылась за дверью сарая.

«Что ей там нужно?» — удивился Хаим. Подойдя к окну, он услышал приглушенный голос Цили:

— Там ее нет! Я все облазила...

Хаима поразила догадка: ищут Ойю.

В столовую вернулись Бен-Цион и Циля. Оба были явно расстроены, хотя всячески старались скрыть это. Сели за стол. Вдруг одна за другой младшие дочери раввина стали прыскать от смеха. Бен-Цион окинул их свирепым взглядом. Девчонки затихли и не отрывали глаз от тарелок. Старшая дочь, как бы в защиту сестренки, после некоторого колебания робко сказала:

— У Цилечки чалма в паутине...

Девчонки не выдержали и снова рассмеялись, на этот раз уже во весь голос. Циля моментально глянула в зеркало. Лицо ее побледнело. Сконфуженная, будто кипятком ошпаренная, она убежала в соседнюю комнату.

— Паутина на голове — хорошая примета! — сказала в угоду раввину фельдшерица. — Быть мне так здоровой, как я говорю сущую правду...

Раввин одобрительно кивнул головой, и его пышная борода, словно метла, поднялась вверх и опустилась. Но и он встал из-за стола и прошел в комнату Цили. Бен-Цион опасался, как бы любимая дочь не разревелась от обиды: «паршивые девчонки посмели смеяться над ней!»

— Вы вот смеялись, а паутина на голове знаете что означает? — продолжала фельдшерица: — Не знаете, а я скажу: это венец!

Девчонки замерли.

— Увидите! Мы еще так топнем у Цилечки на «хипэ»⁶³, что земля затрясется! — с задором произнесла тетя Бетя и многозначительно толкнула локтем сидевшего рядом холуца. — Правду я говорю, нет?

Хаим не выдержал и тихо шепнул старушке на ухо:

— Держите крепче, не то ее могут выхватить...

Фельдшерица поперхнулась и ничего не ответила. Вернулся раввин и следом за ним Циля. Все, кроме холуца, набросились на еду. Бен-Цион стал перебрасываться шуточными замечаниями с фельдшерицей, пытаясь втянуть в разговор холуца, но тот отвечал сухо или, пожимая плечами, отмалчивался. Наконец он встал, поблагодарил за обед и хотел выйти. Раввин остановил его и с недовольным видом ска-

⁶³ Религиозный свадебный обряд.

зал, что в доме заведен порядок, по которому все обязаны оставаться на местах до тех пор, пока старший не выйдет из-за стола.

Хаим послушно опустился на стул. Цили положила на его тарелку фаршированную рыбу, но он не дотронулся до нее. Ему вспомнились слова из песенки, которую распевали еще в лицее:

За столом у чужих
ел и пил,
Вспоминая край родной,
слезы горькие лил...

Из задумчивости его вывело обращение фельдшерицы: — Ну, кушайте же, Хаим! — пыталась женщина расшевелить его. — Вы — холуц и должны быть крепким... Вам же ехать в страну предков!

— Никуда я не поеду, пока не найду Ойю! — неожиданно резко ответил Хаим и сам удивился своей храбрости.

Категоричность ответа обычно робкого парня огорошила всех. По лицу раввина пробежала злая усмешка. Медленно дожевывая, он нарочито спокойно обратился к фельдшерице:

— Не случайно, видимо, говорят, что чудак хуже выкреста... Выходит, правы люди... Ну, а если, скажем, это «добро» не отыщется? — Раввин повернулся к Хаиму. — Тогда что? Останетесь на Кипре? Глупости! Разумеется, не потому, что живете у нас или мешаете нам... Боже упаси! Но вы холуц, мой дорогой мальчик, прошли «акшару», и ваше место теперь только в Эрец-Исраэле! И потом, скажите на милость, что вы нашли в этой глухонемой шиксе⁶⁴? К тому же вы — сын избранного богом народа, а она гречанка... Какой тут может быть разговор?!

— Она ухаживала за мной... Ей и, конечно, тете Бете я обязан жизнью!

— Скажите, пожалуйста! Оказывается, его спасла гречанка!.. — с издевкой произнес раввин. — А кто каждый день и час молил бога за вас, не знаете?.. А кто пригласил ухаживать за вами фельдшерицу тетю Бетю? И, наконец, можете сообразить, что если у нас нет козы, то козье молоко для вас не с неба лилось!? За ним Цилечка бегала к грекам и каждый раз умирала от страха... Хоть раз вы спросили, какие у них собаки?! Иметь мне столько счастливых лет, сколько раз моя бедная девочка возвращалась с молоком

⁶⁴ «Девка» — нееврейка.

перепуганная и бледная, как мел! По-вашему, это ничего не значит?

— За все, что вы сделали для меня,— большое спасибо,— холодно ответил Хаим. — Я перед вами в долгу и при первой же возможности расплачусь. Но Ойя...

— Посмотрите на этого миллионера!— прервал его раввин. — Он расплатится!.. У вас что — есть прейскурант цен на оплату доброго отношения к человеку? И молитв, обращенных к господу-богу?! Ну, а на какие доходы вы рассчитываете? Вы всего-навсего холуц...

Праздничный обед был испорчен. О помолвке не могло быть и речи. Бен-Цион это понял. Он встал. Вслед за ним поднялись из-за стола и удалились в соседнюю комнату дети раввина.

Последним поднялся Хаим. Он поблагодарил реббе за обед и направился было к двери, но его остановила фельдшерца. Она тихо спросила:

— Вы не проводите меня, Хаим?

— Пожалуйста, — неохотно ответил Хаим. — Я подожду вас во дворе.

Оставшись наедине с фельдшерцей, Бен-Цион подошел к ней и не без горечи в голосе сказал:

— Вдолбите этому тифозному, что на имя моей Цилечки в иерусалимском «Империал бэнк оф Бритиш» лежит довольно кругленькая сумма... Вы слышите, тетя Бетя!? Рас толкуйте ему, что́ это означает! Не то, я вижу, он не очень большой умник и не слишком маленький дурак... Ходит в драных портках, а корчит из себя вельможу...

— Я знаю, реббе... Знаю, — ответила фельдшерца. — Вы же сами видите, парень, оказывается, с фантазией!

— Не с фантазией он, а с мухами...

— К сожалению... Но можете не сомневаться, реббе, я постараюсь... Какой еще может быть разговор!.. Растолкую ему...

Когда Хаим и тетя Бетя подошли к ее дому, она вдруг спросила его, сверкнув толстыми стеклами очков:

— Вы любите Ойю?

— Да! — не задумываясь, ответил Хаим.

— Я поняла это лишь сегодня... И вижу, вы не доверяете мне. Напрасно. Не меряйте всех одной меркой... Даже пальцы на одной руке и то разные... Слышите?

Хаим пожал плечами. Он был огорчен поведением фельдшерцы за столом у Бен-Циона и ее спокойным отношением к исчезновению Ойи.

Фельдшерица пригласила его зайти к ней на минутку.

— Идемте же! — настаивала женщина. — Или я не заслужила у вас доверия? Я же вам не враг!..

Переступив порог, Хаим нерешительно остановился. Чистенькая комнатка, тюлевые занавески, стол под белой скатертью. Закрытая дверь, видимо, вела в другую комнату или кухню.

— Откройте эту дверь, — ласково проговорила тетя Бетя, с грустной улыбкой глядя на Хаима.

Хаим смотрел на фельдшерицу, желая понять, почему именно он должен открыть дверь, около которой она сама стоит.

— Что же вы остановились? — с деланным возмущением проговорила женщина. — Ой, нелегко вам будет жить!.. Робость — не самое лучшее качество для мужчины!.. — И, видя, что Хаим по-прежнему стоит в нерешительности, сама толкнула дверь... В маленькой слабо освещенной комнатке, забившись в угол, стояла испуганная Ойя.

Хаим и Ойя бросились друг к другу...

— Ну вот, видите? Не все люди сделаны на одну колодку. Они разные... Запомните это! — сказала тетя Бетя. — Бедняжка прибежала ко мне на рассвете в рваном платье, босая, в синяках. Я ничего не могла понять! Что случилось?.. Видите, какой ценой она отстояла свою честь!

Хаим гладил исцарапанные руки Ойи, нежно обнимал ее, а девушка от испуга и радости вздрагивала, словно в ознобе.

— Она была у знаменитого здесь Стефаноса, — продолжала тетя Бетя. — Вы его, конечно, не знаете, чтоб он сгорел. А теперь вам надо поскорее уходить, и упаси вас бог проговориться, что она у меня... Слышите? Вы отсюда уедете, а я останусь доживать свои дни... У меня, как вы понимаете, в банке нет капиталов.. Но я не жалеюсь. Много ли мне нужно!.. Всю жизнь я помогала людям, помогу и вам...

Хаим хотел сказать фельдшерице, что она дважды вернула ему жизнь: и тогда, когда помогла побороть тяжкую болезнь, и теперь, когда приютила его любимую девушку. Хаим хотел сказать это старой доброй женщине, вернувшей его к жизни и теперь дарившей ему счастье, но тетя Бетя прервала его на первом же слове.

— Прошу вас, уходите, — сказала она. — С нашим реббе будьте осторожны! Вы еще не знаете его! И не надо вам знать... Жили у него? Поправились? И слава богу... А вас я понимаю! Думаете, нет? Любите! Что ж, и это богом дано. Но сказать вам правду, как сыну своему, ума не приложу,

как вы будете жить вместе?! Вы же едете туда! Дай бог, чтоб вам обоим было хорошо! Но жизнь скверная... Ой, какая это скверная жизнь, чтобы вы ее лучше не знали!..

8

Было уже достаточно темно, когда штандартенфюрер СС Пуци Штольд и вожак румынских легионеров Хория Сима на автомашине подъехали к большой каменной арке с тяжелыми железными воротами. Тотчас же к обеим сторонам машины устремились дюжие эсэсовцы; один из них открыл переднюю дверцу и лучом карманного фонарика осветил сидящего рядом с шофером человека в кожаном реглане. Узнав в нем начальника, недавно выехавшего на аэродром для встречи тех, кто расположился позади него, эсэсовец в знак приветствия вскинул руку и отпрянул; второй — подал команду, и тяжелые створки железных ворот с грохотом покатались в разные стороны внутрь высокого каменного забора.

Машина въехала во двор. Тусклый свет синих фар скользнул по массивному трехэтажному зданию готического стиля. По официальной версии, в этом мрачном доме на северо-восточной окраине Гамбурга, у самой реки Альстер, размещена школа национал-социалистской германской рабочей партии. В действительности же это была главная кузница кадров шпионов и диверсантов, подчиненная непосредственно рейхсфюреру СС Гиммлеру и начальнику абвера адмиралу Канарису.

Круг изучаемых здесь предметов был весьма обширен: история и география, экономика и государственное устройство, внешняя политика определенных стран, языки и обычаи народов, населяющих эти страны. Почетное место в программе было отведено изучению истории и методов деятельности разведывательно-диверсионных органов разных стран, анализу наиболее характерных случаев провалов, происшедших в разное время вплоть до самых последних дней. В особых классах-лабораториях осваивали изготовление сильно действующих отравляющих и снотворных препаратов из свободно продающихся в аптеках любой страны медикаментов, азбуку и телеграфный аппарат Морзе, малогабаритные рации, портативные радиоприемники и карманные передатчики различных конструкций. Большое внимание уделялось при этом ремонту и сборке аппаратуры по наиболее простой схеме с применением имеющихся в продаже деталей.

Начальник школы, сухощавый и уже не молодой эсэсовец с бельмом в глазу, был известен своим воспитанникам

как «герр Доктор»... Он лично читал курс по конспирации и руководил практическими занятиями по борьбе нелегальной рации с современными пеленгаторными установками. Герр Доктор вел также занятия по изобретенному им способу настройки передатчика в случае, если в рации выйдет из строя «кварц». В среде преподавателей поговаривали, будто безмянный для слушателей начальник школы до недавнего времени был одним из абверовских резидентов в Соединенных Штатах Америки. Отлично знающие свое ремесло преподаватели обучали будущих шпионов тайнописи и приготовлению в домашних условиях симпатических чернил, чтению карт и ориентировке на местности, фотографированию из обычных и не видимых для стороннего глаза аппаратов, превращению любого фотоизображения в микроскопический кадр, размер которого едва ли превышает головку булавки, технике безукоризненного изготовления подложных документов и печатей, а также ключей от несгораемых шкафов и подобных хранилищ, владению самым различным огнестрельным и холодным оружием, наконец, умению прыгать с парашютом.

Для пополнения своих знаний, получения новых шифров и кодов еще недавно сюда наезжали главари пятой колонны: Зейсс-Инкварт из Австрии, Генлейн из Чехословакии, Фостер из Польши, Квислинг из Норвегии, Клайзен из Дании, из Франции вожак «Огненных стрел» полковник де ла Рокк. С подобными персонами занимались индивидуально по сокращенной программе, а жили они изолированно друг от друга и от слушателей школы. Как в зверинце: у каждого своя комната-клетка, отгораживавшая от общения с кем-либо.

Настал черед посетить это учебное заведение и подучиться и румынским лидерам — Хории Симе и Николае Думитреску. Впрочем, Думитреску несколько лет назад прошел здесь краткосрочную подготовку со специальным «уклоном», результаты которой вскоре стали известны всему миру...

Первое, что бросилось в глаза Хории Симе, едва он вступил в просторный зал школы, была гигантского размера карта с двумя полушариями, скowanными между собой огромной черной свастикой, сквозь которую мир проглядывал точно через тюремную решетку. Необычайное впечатление произвело на Симу столь наглядное изображение устремлений национал-социализма к мировому господству. Постепенно командующий легионерами начинал иначе расценивать бесцеремонное обращение с ним рейхсфюрера СС Гиммлера, придя к заключению, что будущее, по всей вероятности, все же принадлежит немецкому новому порядку...

Остановив свой взгляд на повисшей поверх свастики надписи «Гуманность — признак слабости!», Хория Сима на мгновение задумался, затем твердым шагом подошел к огромному портрету германского фюрера и вскинул руку вперед:

— Хайль Гитлер!

Замедливший шаг позади Симы штандартенфюрер СС Штольц был доволен реакцией румына.

Изредка в школу на окраине Гамбурга приезжал начальник абвера. Он останавливался в комфортабельном домике, расположенном в роскошном саду, отгороженном от территории школы. Одна-две лекции для преподавателей и инструкторов школы, которые он прочитывал в каждый свой приезд, всегда были насыщены очень ценными советами и сведениями обо всех новинках в области разведывательной и диверсионной деятельности. Опыта и конкретных фактов у главы абвера для этого было более чем достаточно. За всю свою сознательную жизнь он только и делал, что ревностно шпионил в пользу тех, от кого получал звания и щедрые награды, и столь же ревностно предавал их тем, с кем призван был скрытно вести беспощадную борьбу.

Эту особенность Вильгельма Канариса давно заприметила английская разведывательная служба. За деятельностью узкоплечего и смуглолицего с прилизанной на пробор прической офицера германского флота Интеллидженс сикрет сервис следила еще с начала первой мировой войны... Были на то определенные причины, были и соответствующие расчеты. Свое начало они берут с декабря тысяча девятьсот четырнадцатого года. Канарис служил в чине старшего лейтенанта на немецком крейсере «Дрезден», из состава потопленной англичанами у южного стыка Атлантического и Тихого океанов эскадры адмирала графа Шпее. Лишь одному быстроходному «Дрездену» тогда чудом удалось ретироваться в территориальные воды нейтрального Чили. Здесь, благодаря старшему лейтенанту Вильгельму Канарису, ведавшему на корабле разведкой и уже располагавшему к тому времени обширными связями с определенными кругами в этой части света, «Дрезден» мог регулярно получать необходимый для личного состава запас провианта и укрываться в многочисленных заливах и фиордах Огненной Земли. И только через четыре месяца, когда англичанам казалось уже, что поиски немецкого корабля безнадежны, он был обнаружен британским крейсером «Глазго», командир которого решил потопить

«Дрезден», невзирая на то, что он находится в водах нейтральной страны. Переговоры, затеянные протестовавшими немцами, в которых принимал участие и старший лейтенант Канарис, ни к чему не привели. Девятого марта тысяча девятьсот пятнадцатого года «Дрезден» пошел ко дну, а высаженная на берег команда была тотчас же препровождена на небольшой прибрежный остров Кюрикюн. Однако среди покорно подчинившихся чилийским властям матросов и офицеров германского крейсера почему-то не оказалось старшего лейтенанта Канариса...

Когда местные власти спохватились, низкорослый и малоприметный офицерик с поддельными документами на имя Лазаря Захариадиса преспокойно переезжал уже из Сантьяго в Буэнос-Айрес... Но и здесь он не стал задерживаться. С помощью местных агентов-соотечественников Канарис покинул пределы Аргентины, став на сей раз уже чилийцем Редом Розасом. А спустя месяца два бывший грек и затем чилиец превратился вновь в немца-вожера, проживающего в Нью-Йорке под именем Отто Зелигера...

Новоявленный делец быстро установил контакт с деловыми кругами, частенько посещал оживленные кафе и рестораны, наезжал в Вашингтон, рыскал по грязным улицам юго-западной части столицы, заезжал и в аристократическую часть города, прогуливался по извилистым аллеям, заводил знакомства со служащими госдепартамента, но чаще всего появлялся неподалеку от грузового порта Нью-Йорка, проявляя особый интерес к чиновникам таможни, а нередко даже к рядовым грузчикам. Вскоре на судах стран Антанты, получавших грузы в американском порту, зачастили взрывы. Это привело к тому, что из ряда стран прибыло несколько сыщиков. В частности, Лондон прислал двух своих опытных детективов. Но немецкий «вожера» к тому времени уже успел «обернуться» в еврея Мойше Мейербера, эмигрировавшего из Варшавы.

— В Польше свирепствует антисемитизм, бывают погромы, — жаловался он, устроиваясь представителем небольшой фабрики «эластичных изделий» — ходового товара аптекарских магазинов и киосков ночных профилакториев, располагавшихся на скудно освещенных припортовых улицах.

— Это превосходно, Вильгельм! — похвалил его главный резидент германского шпионского центра в Америке военный атташе Франц фон Папен. — Теперь снова за дело!

Но «дело», вылившееся в новую вереницу взрывов на транспорте, подняло на ноги полицию и контрразведку

многих государств, и эмигрант Мойше Мейербер был все же арестован.

Разумеется, Канарис понимал, что веревочке, которую он столь старательно вил некоторое время, пришел конец... Но бывают же на свете чудеса! Начальник бруклинского полицейского участка оказался настолько любезным человеком, что еще до начала следствия допустил к несчастному эмигранту адвоката некоей «ювелирной фирмы»... Этот прекрасно воспитанный джентльмен был предельно чуток и внимателен к человеку, по недоразумению оказавшемуся в крайне затруднительном положении...

— Бежал от польских антисемитов, — жаловался Мойше Мейербер, — и угодил к американским бандитам...

Представитель всемирно известной ювелирной фирмы вполне разделял обиду и возмущение бедного эмигранта, горячо осуждал существующие в этой стране порядки, по зову совести изъявил желание помочь страдальцу, категорически отказавшись от какой-либо платы за это, и твердо пообещал коммивояжеру фабрики эластичных изделий добиться его освобождения!

Все было как во сне! Речи этого ангела-спасителя, словно ослепительные солнечные лучи, проникшие на мгновение сквозь разрыв в грозовых тучах, озарили душу Канариса надеждой. Он совсем было уверовал в искренность и бескорыстие нежданного посланца «ювелирной фирмы», как вдруг тучи вновь сомкнулись, разрыв исчез и солнце померкло...

Выждав несколько секунд, чтобы дать возможность обреченному на смерть пленнику глубже почувствовать сладость предстоящего возврата к жизни, адвокат, таинственно улыбаясь, продолжил скороговоркой:

— Но, разумеется, при условии небольшой взаимности... Не беспокойтесь, сэр! Всего лишь одно условие... Надо назвать десять цифр первоначального «ключа от сетки шифра» германского флота и, естественно, фразу из закодированной «гаммы»... Вот, пожалуй, и все, сэр!

Канарис понял, что он опознан и что перед ним дилемма — либо за совершенные «дела» на американском континенте сесть на электрический стул, либо сохранить жизнь ценою сделки с врагами фатерланда.

— Решать надо сейчас же, — сухо произнес адвокат, — Завтра, к сожалению, будет поздно. Начнется следствие. Да, сэр, это действительно так!

Мойше Мейербер понял, что из создавшегося катастрофического положения это последний, чудом предоставившийся «дополнительный» выход...

И старший лейтенант Канарис сдался. Пришлось ему здесь же выполнить любезную просьбу «адвоката», расшифровав, в порядке проверки правильности сообщенного шифра, одну из депеш его соотечественников, перехваченную англичанами.

Условившись о сотрудничестве старшего лейтенанта Вильгельма Канариса с «ювелирной фирмой» и о дальнейших встречах, «адвокат» покинул арестованного. В тот же день ночью, к великому своему удовольствию, «эмигрант из Польши» получил возможность совершить побег...

Оказавшись на свободе, он, однако, не торопился продолжать контакты с «ювелирной фирмой». Напротив, по многим вполне обоснованным соображениям, Канарис срочно покинул землю Нового Света и надолго исчез из поля зрения Интеллидженс сикрет сервиса, словно канул вслед за крейсером «Дрезден» в пучину океанских вод.

Но вот спустя некоторое время в Испании появилась личность, весьма схожая с бесследно исчезнувшим после освобождения из бруклинского полицейского участка Нью-Йорка Мойше Мейербером. Человек этот привлек пристальное внимание агентов английской разведки и вскоре выяснилось, что под личиной коммерсанта, выдающего себя в Мадриде за чилийца Реда Розаса, скрывается тот же «несчастный еврей-эмигрант из Польши», то бишь обер-лейтенант германского флота Вильгельм Канарис... Но он буквально неуловим! В своей новой роли Канарис оказывается совершенно недоступен для конфиденциального разговора. Многократные попытки деятелей «ювелирной фирмы» встретиться с ним с глазу на глаз не увенчались успехом... «Чуяла кошка, чье мясо съела», и теперь всячески старалась замести следы, придать забвению дела минувших дней...

Война еще продолжалась, и нейтральная Испания к тому времени превратилась в центр бурной деятельности разведок воюющих сторон. Через свою агентуру в испанских портах Канарис тайно снабжал немецкие подводные лодки провиантом и топливом, вел неослабное наблюдение за транспортом противника в средиземноморском бассейне и особенно в районе Гибралтара. Почувяв, что английская разведка ведет за ним усиленную слежку, Канарис был вынужден искать пути к возвращению в фатерланд. Однако ему не удалось миновать встречи tête-à-tête с теми, кому помогал неустанно следить за ним чиновник германского военно-морского атташе в Испании Фердинанд Мюллер, кстати, давний друг Вильгельма Канариса еще по совместной учебе в Кильском кадетском училище, а затем и по службе на флоте. С его помощью

англичане установили, каким именно пароходом отплыл сеньор Ред Розас и что сопровождает его один из опытных помощников — испанский патер. В итальянском порту, куда зашел пароход и откуда Канарис со священником намеревались добратся через Швейцарию до Германии, они были взяты под стражу. Вильгельм Канарис оказался за решеткой итальянской тюрьмы. Теперь он прекрасно понимал, что «чудо», которое произошло однажды в бруклинском полицейском участке Нью-Йорка, не повторится. И вдруг в камере чилийца Розаса ранним утром появился тот же ангел-спаситель, который некогда вернул к жизни готовившегося распротиться с ней Мойше Мейербера, только теперь не в облике адвоката «ювелирной фирмы», а в форме полковника английской королевской армии.

— Я сдержал свое слово, а вы, сэр, прямо-таки испарились тогда! — напомнил полковник, любезно улыбаясь. — Кстати, высший совет британской короны чрезвычайно признателен вам... Да, сэр! Смею надеяться, вы догадываетесь о подлинных причинах тяжкого поражения немецкого флота в ютландском сражении? Сообщенный вами «ключ» к шифру позволил моим коллегам перехватить радио-депешу с приказом адмирала Шпеера и разгадать планы германского флота. Тем самым исход сражения, которое обязательно войдет в историю, был предreshен! И в этом ваша несомненная заслуга перед британской короной! Я уполномочен предложить вам возобновить и продолжить столь плодотворно начатое сотрудничество... Да, сэр!

И снова Канарис вынужден был сдаться. Но на этот раз он постарался поддержать, насколько возможно, свой престиж, придав тривиальной сделке благородный характер.

— Полноте, мистер! Вы преувеличиваете значение оказанной мною услуги, — скромно ответил Канарис. — Еще продолжающаяся война была проиграна Германией с самого начала в силу недальновидной политики ее правительства. В этом я твердо убежден! И в немалой степени именно это обстоятельство побудило меня пойти навстречу вашему предложению в Нью-Йорке... Не скрою также, что как прежде, так и теперь я с особой симпатией отношусь к Соединенному Королевству, уважаю его государственных деятелей за мудрость и проницательность... Поверьте, мистер, я буду искренне рад содействовать скорейшему завершению теперь уже явно бессмысленного кровопролития...

Слушая Канариса, англичанин делал вид, будто тому и в самом деле предстоит выполнить весьма благородную миссию. Но коллеги по профессии слишком хорошо понимали

друг друга, чтобы ограничиться ни к чему не обязывающими речами.

Вскоре после этой встречи Канарис вернулся в Берлин. Много позже туда же прибыл и Фердинанд Мюллер. Ненароком они встретились однажды, когда Канарис стал уже весьма важной персоной — адъютантом военного министра для особых поручений, а Мюллер — человеком без определенных занятий, как и многие бывшие офицеры, вынужденные покинуть военную службу после поражения Германии. К бедственному положению дружка Канарис не остался безучастным, он дал ему добрый совет — примкнуть к нацистскому движению.

Но в ту пору нацисты еще не располагали сколько-нибудь значительными средствами. Лишь жалкие гроши перепадали Мюллеру от шефа охранного отряда. И снова Канарис помог приятелю.

— Слушай-ка, Фери! Есть одно дельце... Правда, чуть щепетильное, но в сущности пустяковое. А главное — приличная сумма ассигнована!

— Я готов хоть самого господ-бога турнуть с неба, только бы иметь за это что-то солидное, — ответил Мюллер, пошуршав пальцами. — Кругом ведь сейчас одна болтовня!

После убийства вождей немецкого пролетариата Карла Либкнехта и Розы Люксембург Мюллер получил обещанную крупную сумму, но все же остался в дураках. Инфляция достигла апогея, и денег, которыми он рассчитывал обеспечить себе привольную жизнь, теперь едва хватило на пару подштанников... А Канарис, как и следовало ожидать, побеспокоился прежде всего о том, чтобы понадежнее скрыть свою причастность к злодейскому акту. Именно в день убийства тысяча девятьсот девятнадцатого года в Пфорцхейме, небольшом городке на юге Германии, разумеется при свидетелях, состоялась его помолвка с Эрикой Вагг...

Несколько позже дружки участвовали в «пивном путче», организованном Адольфом Гитлером. Но утро девятого ноября не принесло ему победы: при столкновении с полицией у «Фельдберрихалле»⁶⁵ шестнадцать национал-социалистов были убиты, остальные разбежались кто куда: легко раненный Герман Геринг добрал до Австрии, насмерть перепуганный Иозеф Геббельс проковылял в Саксонию и укрылся в каком-то притоне в должности подметалы; Генрих Гиммлер предпочел дальним странствиям хлебный подвал своей фермы... Не удалось скрыться лишь самому фюреру. Его

⁶⁵ Галерея полевых командиров (нем.).

эскортировали за решетку ландсбергской тюрьмы сроком на пять лет с последующим поражением в правах на четыре года...

Канарис снова вышел сухим из воды! Больше того! Он предстал перед начальством человеком, ничего общего не имеющим с нацистами, и был назначен на солидную должность в отделе транспорта военного министерства, где вскоре получил чин капитана первого ранга.

Невезучий, обиженный и всеми покинутый Мюллер бежал в Швейцарию в надежде перебраться в Англию с помощью влиятельных джентльменов, от которых в свое время в Мадриде получал вознаграждения за «услуги». Но в Берне чопорные сотрудники английского посольства отказались помочь ему. Бывший немецкий агент, находящийся не у дел, не представлял для них интереса.

Мюллер оказался на мели. Голод принудил его вступить в брак с некрасивой, старшей по возрасту дочерью бернского часовщика, к которому он нанялся учеником. Овладев ремеслом, он уже не нуждался ни в помощи тестя, ни тем более своей покладистой женушки, спасшей его от верной гибели.

Щуплый и малоразговорчивый часовых дел мастер Фери Мюллер вновь стал холостяком. И, возможно, коротал бы свой век в Швейцарии, если бы не возникли обстоятельства, напомнившие о нем деятелям «фирмы», хранившей в нескороаемых шкафах его расписки в получении вознаграждения «за услуги перед Короной Его Величества».

В ту пору в Германии к власти пришли нацисты, которым Фердинанд Мюллер одно время служил верой и правдой, а его мадридский приятель стал комендантом береговой службы в Свинемюнде. Частенько наезжая в столицу возрождавшегося рейха, он заглядывал на Хедейман-штрассе. Там помещалась берлинская организация национал-социалистов, возглавляемая доктором Геббельсом. Известно было англичанам и то, что Канарис был частым и желанным гостем вице-канцлера Франца фон Папена, под началом которого весьма плодотворно действовал в дни пребывания в Нью-Йорке.

Мюллер был единственным «посторонним» лицом, знавшим о заинтересованности своих бывших хозяев в Канарисе в бытность его в Мадриде. В связи с этим персона Мюллера стала для Интеллидженс сикрет сервис опасной и одновременно ценной. Опасной потому, что возникали подозрения, не взбредет ли ему в голову почему-либо донести нацистам на старого приятеля; ценной потому, что при надобности его

можно было бы использовать для шантажирования Канариса, который и после встречи в Италии увиливал от полного восстановления связей с «ювелирной фирмой».

Мюллера нашли и тотчас же перебросили в Голландию. В Гааге, при участии высокопоставленных нацистских дипломатов, оказывавших «услуги» британской короне, его ловко подсунили германской военной разведке в качестве агента, вполне подходящего для работы на территории... Соединенного Королевства!

Руководителям нацистской разведки во главе с капитаном первого ранга Конрадом Патцигом Мюллер представлялся ценнейшей находкой. Как-никак, его лично знали Гиммлер и Геббельс, а однажды, накануне «пивного путча», ему выпало встретиться с самим фюрером!

Подготовкой Мюллера занялись высшие чины германской военной разведки. Вскоре он превратился в голландца и прибыл в Дувр. Учитывая, что часовщик-голландец должен находиться под неослабным наблюдением и вместе с тем своей работой оправдать доверие тех, кто в Берлине возлагает на него большие надежды, англичане сочли за благо поселить его в Шотландии, поблизости от Оркнейских островов, где располагалась крупнейшая военно-морская база британского флота. Здесь еще недавно весьма деятельный бернский часовщик, превратившийся во флегматичного голландца, на деньги немецкой разведки и при тщательно продуманном содействии ее противников открыл скромную мастерскую по ремонту часов.

Берлинское начальство Мюллера было очень довольно им. Агент жил скромно, чинил часы и время от времени передавал информацию, точнее дезинформацию, которую ему заботливо готовило лондонское начальство.

Тем временем Канарис в фатерланде шел в гору. Гитлер и его ближайшее окружение по достоинству оценили его способности и опыт диверсанта. Спрос на людей, доказавших на деле свою преданность нацизму и вместе с тем обладающих такими качествами, резко возрос после того, как правителями «третьего рейха» был взят курс на физическое устранение неугодных Гитлеру государственных деятелей других стран.

Уже в конце тысяча девятьсот тридцать третьего года выстрелом в затылок гитлеровские агенты убили на перроне станции Синайя премьер-министра Румынии Иона Георге Дука. Полгода спустя в Вене от рук нацистских агентов Отто Планеты и Карла Холцвебера погиб австрийский канцлер Энгельберт Дольфус...

Однако угроза расправы не остановила наиболее проницательных политиков европейских стран от попыток обуздать аппетиты фюрера. Среди них наиболее крупной фигурой был тогда министр иностранных дел Франции Луи Барту, открыто призывавший к объединению Франции с другими государствами, граничащими с Германией. К вступлению в такой союз активно тяготела и Югославия. И когда в Берлине стало известно о приглашении в Париж короля Югославии Александра, игравшего весьма заметную роль в сколачивании антигитлеровского фронта, нацистский синклит принял решение о подготовке очередного террористического акта, от успешного выполнения которого, как истерически вещал Гитлер в кругу приближенных, зависело, быть или не быть в центре загнивающей Европы твердому, как сталь, ядру из ста миллионов постоянно проживающих на своей земле немцев.

Координировать выполнение этой крайне сложной и ответственной операции был призван капитан первого ранга Вильгельм Канарис. Сам фюрер принял его поздно ночью в своей загородной резиденции Оберзальцберге, чтобы, минуя непосредственных руководителей военной разведки Германии, возложить на него персональную ответственность за подготовку и осуществление операции по ликвидации лидеров возникающей антигитлеровской коалиции.

Незаурядный талант и богатый опыт организатора диверсий позволили Канарису преодолеть множество неожиданно возникавших трудностей на пути подготовки покушения, предусмотреть все, казалось бы, ничего не значащие детали, связанные с выполнением этого акта.

Для окончательной координации и осуществления этой операции, по настоянию генерал-полковника авиации Германа Геринга, Канарис вылетел через Женеву в Лион. Сюда же прибыл из Марселя резидент немецкой секретной агентуры во Франции доктор Хаак. Посланец фюрера остановился в фешенебельном «Гранд-Отеле» под видом швейцарского коммерсанта. Из окна его номера виднелась площадь Белькур с аллеями пушистых каштанов и возвышающийся посреди нее отлитый из бронзы Людовик XIV, величественно восседающий на коне.

Соблюдая профессиональную настороженность, доктор Хаак шепотом, на почтительном расстоянии от стен и мебели, доложил Канарису о положении дел.

— Вы не находите, — таинственно заключил он, — что сам факт проведения в ближайшие дни «спектакля», детали

которого окончательно утрясаются в Лионе, весьма знаменателен?

Канарис вопросительно посмотрел на криволицего и болезненного на вид резидента.

— Здесь, в Лионе, — пояснил Хаак, — ровно сорок лет назад, также в связи с какими-то торжествами, итальянский анархист Казеро убил президента Франции Карно! Недалеко отсюда есть площадь его имени, и там установлен в его честь памятник...

По лицу Канариса пробежала едва заметная улыбка. Он тоже верил в приметы, но не всегда сознавался в этом.

— Что ж! Я ничего не имею против того, чтобы французы и югославы получили в ближайшие дни повод переименовать еще две площади...

Через два дня после этой беседы, девятого октября тысяча девятьсот тридцать четвертого года, король Югославии Александр первый и министр иностранных дел Франции Луи Барту были убиты в Марселе, а спустя три месяца после «марсельской операции», в день своего рождения, Вильгельм Канарис официально вззошел на «трон» начальника абвера.

Находясь на этом посту, Канарис по-прежнему не спешил «отблагодарить» Интеллидженс сервис. Он не без основания полагал, что рано или поздно возникнет такая ситуация, при которой его связь с английской разведкой можно будет использовать в интересах, обоюдных для Англии и Германии. И он не ошибся. Такая ситуация возникла. Реакционер до мозга костей, с молоком матери всосавший в себя презрение к простонародью, к так называемой «черни», и ненависть ко всему революционному, Вильгельм Канарис упорно стремился направить экспансию правителей «третьего рейха» на Восток, против Советской России. Когда ему стали известны намерения Гитлера осуществить вторжение в Великобританию, он тотчас же поставил в известность об этом Лондон.

В ряду предпринятых тогда англичанами экстренных мер, направленных на предотвращение возможного немецкого вторжения, не последнее место принадлежало решению принудить главу германского абвера впредь еще более действенно сотрудничать с Интеллидженс секрет сервис, выполнять все ее указания, как и полагается секретному агенту. Англичане не могли больше идти на поводу у Канариса. Поэтому он был поставлен перед выбором: либо всестороннее сотрудничество, либо полное разоблачение!

На начальника абвера это предупреждение подействовало не более, чем булавочный укол. Тогда руководители «юве-

фирмы» перешли к осуществлению мер, которые в очень скором времени убедили Вильгельма Канариса в том, что с ним не шутят. Многочисленные агенты абвера, засланные в Великобританию его стараниями и давно уже выслеженные англичанами, один за другим следовали за тюремные решетки. Волна провалов изо дня в день нарастала по всей империи. Радио и пресса разносили по всему миру весть о разоблачениях, арестах и процессах над немецкими шпионами, засланными абвером... Сенсация следовала за сенсацией.

Для Канариса миновала пора, когда фюрер был чрезвычайно благосклонен к начальнику Управления разведки и диверсий Генерального штаба вермахта и пожаловал ему чин адмирала за исключительно успешное развертывание шпионской сети во всем мире и в Англии особенно. Англия являлась одним из наиболее значимых объектов. Поэтому начальник службы безопасности германского рейха Рейнгардт Гейдрих не преминул воспользоваться этой из ряда вон выходящей ситуацией для того, чтобы подорвать доверие фюрера к главе абвера или хотя бы поколебать его авторитет.

— Странно это, мой фюрер, — нашептывал Гейдрих. — В самый ответственный момент, когда с невероятным трудом насажденная агентура должна была наконец-то во всю ширь развернуть свою деятельность, англичане, которых нам настойчиво изображали тупоголовыми, вдруг оказались способными парализовать эту сеть! Странно! Очень странно...

Гитлер неистовствовал. Его не успокоили ссылки Канариса на второстепенное значение уже разоблаченных англичанами агентов и на наличие других, надежно укрытых от Скотланд Ярда, агентов, к тому же располагающих несравненно большими возможностями.

Гитлер приходил в бешенство при мысли, что непрекращающиеся провалы могут лишить его последней надежды на скорейшее получение конкретных данных о сконструированной англичанами новой, очень мощной глубинной мины. Он опасался, не готовят ли они мину, аналогичную уже разработанной немецкими конструкторами? Раскрытие англичанами секрета этой совершенно необычной мины, самостоятельно устремляющейся из глубины к корпусу проходящего поблизости судна, опрокинуло бы все его расчеты на быстрое, достигнутое сравнительно небольшой ценой, уничтожение английского флота.

Канарис понимал, что, нанося удары по агентуре абвера, англичане хотят принудить его подчиниться требованию Интеллидженс сикрет сервис прежде, чем его авторитет в

глазах фюрера не будет окончательно подорван. Но его совсем не прельщала перспектива превратиться в заурядного агента Великобритании, хотя бы и находясь при этом на высоком посту в «третьем рейхе». Поэтому он все еще игнорировал двукратное требование «ювелирной фирмы» установить с ней более действенный контакт. Не мог он не принять во внимание и тот факт, что действия англичан подрывают его авторитет в глазах Гитлера и всей нацистской верхушки.

Канарис оказался в очень затруднительном положении, что называется «между молотом и наковальней». Перед ним возникла сложная задача — разработать эффективные мероприятия, осуществление которых позволило бы ему, не влезая в петлю рядового агента Интеллидженс секрет сервис, заставить своих британских коллег прекратить атаки на него и вместе с тем укрепить поколебленную веру фюрера если не в его преданность, сомневаться в которой у Гитлера пока еще не было оснований, то в его способность плодотворно руководить абвером.

В изобретательной голове Канариса зародилась идея очень смелой и очень рискованной лично для него операции, успешное выполнение которой вполне удовлетворило бы и англичан, и фюрера, и самого автора этой идеи. Но это было более года тому назад...

Теперь же его визит в школу на окраине Гамбурга был связан с подготовкой другой эффективной операции, выполнение которой, по расчетам Канариса, еще больше укрепило бы его положение и, вместе с тем, создало благоприятные условия для переключения экспансии Гитлера с Запада на Восток. К этой цели он упорно стремился с первого дня своего прихода в абвер. Успехами в этом направлении он и хотел рассчитывать со своими английскими коллегами, в кредит даровавшими ему жизнь...

И приезд адмирала в школу не случайно совпал с пребыванием здесь Хории Симы и Николае Думитреску. Подготавливаемая абвером операция состояла в использовании румынских легионеров для создания сети шпионов и диверсантов на территории Бессарабии, присоединенной к Румынии в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Канарис был твердо убежден, что и эта земля, ранее входившая в состав Российской империи, так же как Прибалтика, в скором времени окажется в пределах границ Советской России. Заблаговременно созданная в городах и селах Бессарабии сеть абверовской агентуры была призвана с приходом сюда Красной Ар-

мии превратиться в «пятую колонну». Главными исполнителями этой операции, которую Канарис не без основания окрестил названием «тройанский конь», должны были быть румынские legionеры, их вожаки Хория Сима и Николае Думитреску.

В связи с этим руководители legionеров должны были в самом срочном порядке ознакомиться с работой и структурой школы, получить представление о том, чему и как обучаются будущие мастера разведки и диверсий. Подобную же школу абвер намеревался создать в Румынии, и вожакам legionеров предстояло организовать обучение в ней тщательно отобранных зеленорубашечников. Питомцы этих школ в ближайшее время должны были поступить в их распоряжение для расселения в Бессарабии и последующего переселения в глубь большевистской России.

9

Подкомиссар Стырча с недовольным видом опустил в просиженное кресло с прожженными подлокотниками. Его маленькие вечно злые глаза настороженно косились на шефа, долговязого комиссара из особой секции по борьбе с коммунистами — генеральной дирекции сигуранцы. Этот костлявый служака сидел за письменным столом в парадной форме с чисто выбритым, изрядно припудренным мрачным лицом. Щурясь от подступавшего к глазам дыма сигареты, зажатой в губах, он задумчиво барабанил пожелтевшими от никотина пальцами по стеклу, лежавшему поверх запачканного чернильными пятнами облезлого стола. Иногда он обращал свой взор на окно, выходившее во двор сигуранцы, и наблюдал за черно-серыми клубами дыма, густо валившего из высокой трубы котельни.

Грустные мысли роились в голове преданного престолу комиссара Ионеску. «Точно так, вероятно; — думал он, глядя на дым, — безудержно бурлит и нарастает в недрах людских масс недовольство, как в глубинах земли клокочет расплавленная масса... И кому под силу справиться с этой стихией?!» Но, тут же поймав себя на столь неподобающих его высокому положению мыслях, долговязый комиссар встряхнулся и, как бы извиняясь перед самим собой, уверенно произнес, обращаясь к насупившемуся Стырче:

— Так или иначе, мы наложим руку на Илиеску! Тогда и руснак раздвоится как орех... Если только он действительно тот, за кого выдает его ваш дурень...

Подкомиссар Стырча с недовольным видом взглянул на

шефа, но, уловив его встречный насмешливый взгляд, притворился, будто заметил грязь на манжете штанины, и стал старательно счищать ее.

— Персонально я, господин шеф, — ответил он, — не думаю, чтобы мой парень мог так ошибиться. Скорее всего, бессарабская бестия водит нас за нос... Вы бы не сомневались в этом, если бы видели его глаза в тот вечер, когда он схватил меня за руку... Бунтарь!

Комиссар Ионеску прервал своего подчиненного:

— Во-первых, Стырча, это не аргумент. Во-вторых, наступило время, когда мы должны решать, что будем с ним дальше делать...

С этими словами долговязый комиссар в упор посмотрел на низенького и, встав из-за стола, не торопясь прошелся по комнате. Остановившись перед продолжавшим сидеть Стырчей, Ионеску начальственным тоном повторил вопрос.

Подкомиссар вскочил и поспешно ответил:

— Персонально я считаю, что надо повторить «обработку»... Должен согнуться... Душу из него вытрясу!

— Не кажется ли «персонально тебе», Стырча, что достаточно нам попусту терять время? И что вся наша возня с ним выглядит уже глупо?

Мрачное лицо подкомиссара еще больше потускнело. Теперь ему стало совершенно ясно, что вину за поспешность ареста и безрезультатность допросов бессарабца комиссар Ионеску намерен свалить полностью на него одного. Это выводило Стырчу из равновесия.

— Как прикажете понимать вас, господин шеф? Быть может, порекомендуете, прежде чем брать за жабры того или иного заподозренного в коммунистической деятельности, молиться на него?..

Подкомиссар смолк. Ионеску спокойно прошел к столу, равнодушно оглядел лежавшие на нем бумаги, полистал и снова молча стал прохаживаться по кабинету.

Пауза затянулась.

— Что ж, ответ твой, Стырча, вполне естественен... — не спеша произнес комиссар Ионеску. — Молиться, бесспорно, надо, но только в храме! А в сигуранце его величества, многоуважаемый подкомиссар, надо все же работать с умом...

— Прошу извинить меня, господин шеф, если я сказал что-то не так, как следует... Но и вы, и господин инспектор Солокану были уверены, что после первой же «обработки» бессарабец не только вскинет лапки и заговорит, но чуть ли не запоем как по нотам!.. Кроме того, в резерве у нас была очная ставка...

— Правильно, — перебил его комиссар. — Очная ставка — надежное средство. Но только в том случае, если ее только подготовить. Тем более когда имеешь дело с предполагаемым коммунистом! Я, например, на это и надеялся, а ты не информировал меня, что твой осёл видел руснака всего однажды, к тому же ночью, мимолетно... И потому — хочешь или не хочешь — твердой уверенности теперь нет в том, что твой оболтус в самом деле не ошибся. Особенно после того, как он здесь ляпнул, будто бы узнал его по голосу...

Стырча опустил голову. Ему нечего было возразить, хотя доводы шефа его не убедили.

— Руснака придется отправить в Вэкэрешть, — решительно заключил комиссар. — Пусть посидит там, пока мы не нащупаем след Илиеску...

— Ваше право, господин шеф, — пожав плечами, нехотя ответил подкомиссар Стырча. — Но была б персонально моя воля, я б ему душу и мозги вывернул наизнанку!..

— Если у тебя нет других дел, забавляйся, — с недовольной усмешкой произнес долговязый. — От нас он никуда не уйдет... А пока что оформляй его как подследственного коммуниста и отправляй. Выдержит там — его счастье. Нет? Бог с ним. Не нам тогда придется объясняться. Я имею в виду, перед его родными...

Комиссар зевнул, тоскливо глянул на часы, достал сигарету и, прикурив от тлеющего в пепельнице окурка, добавил:

— Так что не задерживай. Надо хотя б на Новый год прийти домой пораньше. Готовь документацию — подпишу... И на этом закончим нынешний год. Пускай уходит ко всем чертям... Сколько помню, — он вновь зевнул и весь передернулся, — со времени забастовки железнодорожников на Гривице в тридцать третьем коммунисты не поднимали так голову. Обнаглели! Так что в новом году дел будет у нас не впроворот. Засучив рукава придется выполнять постановления его величества... Читал? Каленым железом приказано очищать страну от красных. Как Гитлер в Германии и Муссолини в Италии! Иначе в самом деле нам не справиться. Вот так-то, Стырча... А сейчас надо кончать. Оформляй!

После полудня со звоном защелкал дверной замок камеры. Томов поднялся с откидных досчатых нар и выжидательно посмотрел на вошедшего полицейского с розовым, как у молочного поросенка, лицом.

— Эй, шпион, вставай! — насмешливо произнес полицейский с замусоленной сержантской нашивкой поперек смор-

щенного, как высохшая арбузная корка, погончика. — Одевайся поживей, слышь?! На новую фатеру поедешь!..

Томов решил, что его переводят в другую камеру. С трудом натянул он ботинки на распухшие от побоев ноги, сгреб в охапку изодранную на допросах фельдфебельскую куртку, заменявшую ему пиджак и пальто, и, стиснув зубы от нестерпимой боли в ступнях, шатаясь направился к двери.

— Постой, постой! — остановил его сержант. Осмотрев камеру, он вперил в Томова насмешливый взгляд. — Ничего больше у тебя нет, что ли?

— Нет.

— Какой же ты, чертов пуп, важный шпион, если на тебе одна рвань? — полицейский вновь оглядел арестованного. — Вон сидит тут еще один шпион, так тот одетый как туз! Пьет кофе с ромом, кушать изволит «костицу с гратаря»⁶⁶ да в потолок поплевывает! Ему все из ресторана подай! Вот это шпион, так шпион, а ты что?!

— Я не шпион, — буркнул Илья.

— Ишь ты! «Не шпион!» Так я тебе и поверил... Давай, «не шпион», топай. Там разберутся, кто ты есть... «Я не шпион!»

Каждый шаг по длинным коридорам отдавался острой болью во всем теле, и Илья думал только о том, чтобы не упасть. От резкого запаха карболки и керосина, которыми здесь все было пропитано, кружилась голова.

В просторное и мрачное помещение он вошел, едва держась на ногах; не подымая головы дошел до невысокой деревянной перегородки, оперся на нее обеими руками, окинул взглядом все помещение и... вздрогнул. В дальнем углу за маленьким столом сидел и что-то сосредоточенно писал Лулу Митреску. Илья сразу вспомнил памятный вечер своего ранения и охмелевшую девицу из какого-то притона, с которой волею судьбы ему довелось ехать в такси. Оказывается, попутчица вовсе не фантазировала, жалуясь на своего «экс-любовника», будто бы пошедшего на службу в сигуранцу. Томов теперь воочью мог убедиться, что бывший квартирант пансиона мадам Филотти совершенно законно представляет власти...

Томов изредка бросал короткие взгляды на «покорителя сердца». Он был все такой же: та же блестящая, как смола, закинутая на затылок и хорошо уложенная шевелюра; длинные, достигавшие середины щек острые, как пики, виски и отращенные на английский манер узенькие усики; атлетическое сложение и важная поза придавали ему вид знатного

⁶⁶ Антрекот, приготовленный на гратаре (рум.).

человека. Ему, как оказалось, повезло. Когда поздно ночью он направлялся к своей новой содержанке из отеля «Роял», его внимание неожиданно привлекло какое-то белое пятно на дворцовой ограде. Подойдя ближе, он обнаружил листовку. При свете зажигалки тут же пробежал несколько строк, убедился в крамольном содержании листовки и моментально побежал в сигуранцу. Он был бесконечно рад, что первым оповестил охранку, и теперь усердно трудился, сочиняя, как выглядели «неопознанные лица», за которыми, рискуя собственной жизнью, ему будто бы пришлось долго гнаться, так как преступникам все же удалось скрыться в парке Чишмиджиу.

Лулу настолько углубился в сочинение рапорта, что, к счастью Томова, не поднимал от бумаги глаз, пока дежурный комиссар вносил в объемистый журнал данные об арестованном бессарабце и заполнял голубую карточку — на лиц, находящихся на учете в Генеральной дирекции сигуранцы.

Встреча с бывшим сублокотенентом⁶⁷ армии его величества Томову не предвещала ничего хорошего. Он вздохнул с облегчением, когда его наконец провели в соседнее помещение. Здесь им занялись всерьез: наголо остригли, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в нескольких ракурсах, описали приметы, заковали ноги и руки в кандалы. Все это делалось торопливо, и Илья никак не мог понять, чем вызвана такая спешка... Наконец его передали в распоряжение рослого пожилого полицейского, вооруженного помимо пистолета еще и карабином.

Распившись в приеме арестованного и находящегося при нем казенного имущества — двух пар кандалов с тремя замками, а также большого желтого конверта в сургучных печатях с оттисками королевской короны, полицейский проверил, прочно ли прилегают кандалы к ногам и рукам арестованного.

Закончив осмотр, он зарядил карабин полной обоймой и один патрон вогнал в ствол. Потом поставил затвор на предохранитель и деловито сказал:

— Поедешь Новый год встречать! Но пусть упасут тебя, парень, святые апостолы шалить дорогой... Так и знай: на месте, без предупреждения...

Полицейский выразительно похлопал ладонью по затвору карабина. Сержант, сопровождавший Томова из камеры, ткнул локтем своего напарника, пожилого полицейского.

— Силен бродяга! Рубанет так рубанет, аж мурашки по телу бегут... Слыхал? Без предупреждения!..

⁶⁷ Младший лейтенант (рум.).

Пожилой полицейский поддакнул, а конвоир, услышав одобрительные отзывы о себе коллег, весело подмигнул им, ухарски закинул на затылок облезлую черную качулу⁶⁸ с огромной кокардой, увенчанной засаленной королевской короной, выругался достойным его величества образом, приоткрыл дверь и гаркнул:

— Валяй вперед и без всяких мне дискуссий!

Лязг кандалных цепей подействовал на Илью, как неожиданный удар. Сердце его сжалось, на душе возникла какая-то не испытанная еще тревога. Звон кандалов чем-то напомнил ему удары надтреснутого колокола заброшенной кладбищенской церквушки. Илью охватило странное ощущение, будто его, еще живого, провожают в последний путь.

Резко заскрипели тяжелые двери, с трудом открытые при-
вратником, скорбно завывала ржавая пружина, и под дулом наставленного в спину карабина Томов вышел во двор. Он вдохнул морозный с запахом гари воздух, взглянул на затянутое облаками небо и тотчас почувствовал сильное головокружение. Тщетны были его попытки влезть в крытую автомашину без посторонней помощи. С минуту конвоир недоверчиво наблюдал за ним, потом с бранью поддержал одной рукой и, грубо втолкнув в «черный ворон», прочно запер двери.

Задребезжал мотор. Машина тронулась. В пустом, обитом изнутри железом кузове было намного холоднее, чем под открытым небом. Стенки и потолок покрылись толстым слоем снежного мха, в квадратное зарешеченное оконце без стекла резко дул ветер. И все же Илья подошел к оконцу и жадно стал всматриваться в мелькавшие дома, вывески, витрины и особенно в прохожих. Он вспомнил, как в первые дни по приезде в Бухарест так же жадно, с безотчетной радостью всматривался в окружающее. Все было для него тогда ново, и в затуманенной голове витали заманчивые надежды. Теперь он с тоскою прощался с этим городом, не оправдавшим его ребячьих надежд, но ставшим для него еще более дорогим и любимым...

В стороне виднелся небольшой мост с грязными арками, из-под него клубился пар: протекавшая через весь Бухарест речушка Дымбовица лениво выливалась из бетонных труб в свое естественное русло, неся в водах нечистоты города.

«Черный ворон» катил по булыжнику и то резко тормозил, то быстро ускорял ход. В обледеневшем кузове Илья стоял чуть живой, держась изо всех сил за прутья оконной решетки. Его бросало из стороны в сторону, словно он был на

⁶⁸ Овчинная высокая шапка (рум.).

крохотном суденышке, захваченном в открытом море разбушевавшейся стихией. Машина догнала трамвай, спускавшийся со стороны Шербан Водэ, и, поравнявшись с ним, некоторое время ехала вровень. С открытой площадки прицепа трамвая пассажиры с любопытством смотрели на осунувшееся и почерневшее от кровоподтеков лицо молодого парня, выглядывавшего в зарешеченное оконце автомобиля, прозванного в народе «дуба регалэ»⁶⁹. Вскоре трамвай сбавил ход, остался позади, и Илья подумал, что там, наверное, остановка — люди будут входить и выходить из вагона, — кому как захочется, а он закован и заперт в этом тюремном холодильнике и никуда по своей воле не может пойти.

От этих мыслей его отвлекла ярко раскрашенная афиша. Илья успел увидеть на ней богато сервированные, заставленные бутылками, бокалами и всякими яствами столики, а на этом фоне по диагонали разноцветную надпись — «Ревеллион-бал 1940». Еще грустнее стало Томову. «Люди празднуют, веселятся, — подумал он, — а я сорвал Вики рождество... Если бы в тот день предатель не опознал меня, был бы я коммунистом. Всего два дня не дотянул! Обещали принять в первый день рождества... Помешали, сволочи. И куда это меня везут?..»

Машина резко остановилась. Илья едва удержался на ногах. Он прижался к оконцу, пытаясь заглянуть вперед и узнать, что заставило шофера так круто затормозить. До него донеслась отборная брань не то шофера, не то конвоира, и из-за правого крыла машины вышла бедно одетая женщина. Она шла мелкими шажками, стараясь не расплескать воду из доверху наполненных ведер.

Илья приободрился. Он вспомнил примету, в которую непоколебимо верила его бабушка: если переходят дорогу с полными ведрами накануне Нового года — быть году удачным! Илья, конечно, понимал, что приметы эти ни на чем не основаны, и все-же в нем затеплился огонек надежды. Он снова прильнул к оконцу и заметил, что машина едет по направлению к улице Вэкэрешть, поблизости от которой находился пансион мадам Филотти. Почему-то это его обрадовало, но тут же мелькнула догадка, что везут, наверное, в тюрьму Вэкэрешть... На углу улиц Лабиринт и Вэкэрешть Илья узнал бodeгу, в которой в день приезда в Бухарест ужинал вместе с Женей Табакаревым, и мысль о том, что, может быть, он никогда больше не увидит своего друга, показалась ему невероятной.

⁶⁹ Королевский черный ворон (рум.).

Машина остановилась перед светофором. С улицы Вэк-решть выползал трамвай. Это был девятнадцатый номер, на котором Илья ездил на работу в гараж «Леонида и К°». Все здесь было Томову знакомо, однако раньше он и не подозревал, как люб и дорог ему каждый уголок этого района столичного города. «Милый там старикан, — подумал Илья, взглянув на табачный киоск. — А рядом мы с Женей Табакаревым часто покупали горячие початки кукурузы; через дорогу, прямо на тротуаре, рыжий торговец назойливо выкрикивал: «Алуне американе! Алуне американе!»⁷⁰ Особенно вкусными казались горячие каштаны в осенние вечера... А вон чуть виден и магазин одноглазого старьевщика-миллионера, к удивлению несведущих, торгующего не столько подержанными вещами, сколько контрабандными маслинами, лимонами и лаковой кожей из заморских стран... По соседству — еще одна лавчонка вечно засаленного не то турка, не то грека, вдохновенно расхваливающего покупателям сорта качкавалов из собственной сыроварни.

Илья судорожно проглотил холодную слюну. Ему стало го-детски обидно, что спящие по тротуару люди погружены в свои мысли и заботы, куда-то спешат, не замечают стоящей у перекрестка столь примечательной машины или равнодушно скользят по ней взглядом, и никто не остановится, чтобы сочувственно ответить на его тоскливый взгляд.

Все эти торопливо снующие люди казались ему счастливыми хотя бы потому, что были свободны от эдакого вот «почета», какого удостоился он... «Отдельную машину подали и даже вооруженную охрану предоставили! Можно подумать, что господа из сигуранцы дорожат моей жизнью, — мрачно шутил Томов. — Настолько дорожат, что в кандалы заковали... Впрочем, — подумал он, — незримые кандалы висят на очень многих из тех, что там, на тротуарах. И многие уже начинают понимать это, но еще не знают, как сбросить их... Женька Табакарев говорит, что не приспособлен для революционной борьбы. Сережка Рабчев воображает, будто на нем не оковы, а «браслеты», без которых не установить «новый порядок». Лика? Этот выслуживается перед теми, кто накидывает кандалы на народ и на него в том числе, а ему кажется, что, прислужничая властям, он спасает свою шкуру...»

На светофоре загорелся зеленый свет. Машина судорожно затряслась и тронулась. Долго провожал Илья прощальным взглядом перекресток, казавшийся ему частицей его самого, наконец отвернулся, рассеянно устремил взор вперед и от не-

⁷⁰ Каштаны (рум.).

ожиданности замер. Навстречу шел пожилой человек с рогозной корзинкой в руке. Все в нем было хорошо знакомо Илье еще с детских лет: и легкая сутуловатость, и темно-коричневый полушубок, и овчинная шапка, и как она заломлена! Илья рывком вцепился в решетку скованными цепью руками, плотно прильнул лицом к оконцу и изо всей силы хрипло закричал:

— Папа-а-а! Па-ап...

Илья успел увидеть, как человек оглянулся на окрик. Это был он, отец... Нежданная встреча после многолетней разлуки ошеломила Илью. «Неужели отец живет где-то здесь, в Бухаресте? — с горечью подумал он и предался нерадостным мыслям о распавшейся семье. «Отец где-то скитается, ходит в том же стареньком полушубке, значит дела у него неважные... А мама? Может быть, из-за меня сидит в полиции. Бедная моя, сколько горя выпало на ее долю! В молодости, когда дедушку пересылали из одной тюрьмы в другую, она вечно разыскивала его, терпела всяческие оскорбления от полицейских чинов, отказывала себе во всем, чтобы поддержать отца. А потом новый удар! Мой отец покинул и меня и маму, увез с собой сестренку Лиду. Досталось маме и от сына. Тоже уехал... Захотел стать летчиком! Династию Гогенцолернов защищать! И вот он, результат...»

Томов посмотрел на свои распухшие от побоев, покрытые царапинами и синяками руки. К горлу подступил комок не то жалости к себе, не то злобы на самого себя. «Ничего хорошего еще не видел и не сделал, а уже изолирован от людей, закован в кандалы... — подумал он. — Но разве я в этом виноват?»

И вместо ответа в его памяти всплыли надменные лица наследника престола — воеводы Михая с золотой свастикой на галстук и холеных сынков богачей из его пьяной компании, приезжавшей в аэропорт Бэняса с захмелевшими девицами. Вспомнил он и желчную с синевой физиономию принца Николая, прикуривающего очередную сигарету не иначе, как от подожженной тысячелной купюры...

— Кровопийцы! — вдруг закричал Илья истощенным голосом. — Мучители! За все ответите...

В оконце между кабиной и кузовом появилась испуганная рожа конвоира. Услышав крик и не разобрав слов, он подумал, что с арестантом что-то случилось, но, увидев его на ногах, зло выругался и показал кулак. С ненавистью посмотрев на стражника, Илья хотел плюнуть ему в лицо, но вовремя сдержался, опять придвинулся к боковому оконцу. Проплывавшие мимо дома и люди как-то странно вытягивались, мут-

нели, расплзались, будто в туманной дымке. По щекам Ильи текли слезы, а мысли его вновь вернулись к прошлому. Он вспоминал, как в Болграде, в такую же холодную зиму, отец остался без работы, а через несколько дней они подобрали в сарае последние кукурузные кочаны, которыми топили печку. День ото дня становилось все хуже. Жили впроголодь, спали не снимая верхней одежды, а тут еще совсем некстати пожаловал дядька матери, хозяин квартиры. Приехал он под звон бубенцов на роскошных санях с впряженным в них чистокровным рысаком и важно восседавшим на козлах здоровяком-кучером в темно-зеленом тулупе. Дядька тогда кричал на всю улицу, попрекая родителей за неуплату квартирных, и под конец пригрозил вышвырнуть всех из дома, если в двухдневный срок не будут принесены деньги и если и впредь будут разводить в доме сырость.

Провожая его, мать плакала, упрашивая сжалиться, подождать немного, но тщеславный дядюшка любил, чтобы его слезно умоляли при людях и за оказанную милость называли «благодетелем». В тот день мать Ильи унизилась до того, что пала на колени перед ним, когда он, напыжившись, уселся в сани.

Должно быть, тогда именно, при виде этой сцены, отец Ильи, отчаявшись найти работу в Болграде, решил попытаться счастья в Кишиневе. Мать возражала. Илья тоже упрашивал отца не уезжать. Просил, хоти и не верил, что он в самом деле может уехать. Надеялся, что все же передумает. Но на другой день отец продал косому часовщику обручальное кольцо и золотые часы, купленные вкладчину всеми родственниками ко дню его свадьбы, расплатился за квартиру и стал готовиться к отъезду. Лида заплакала. Она очень любила отца, и он в ней души не чаял, баловал, приносил ей то молочную помадку, то пряник или маковку. Далеко за полночь спорили и рядили, наконец отец решительно заявил, что берет с собой Лиду и завтра же уезжает. Тут-то Илья вспылил и выпалил: «Не отец ты, если бросаешь меня и маму. Уезжай и не возвращайся... И вообще, такого отца, который бросает семью, я бы... я бы... застрелил!» Отец смерил сына с ног до головы укоризненно суровым взглядом и, не проронив больше ни слова, вышел из комнаты.

Отец уехал вместе с Лидой, так и не сказав Илье ни слова и не простившись с ним. Первое время писал матери. Об Илье не упоминал. С давних пор он мечтал переехать с семьей к свекру в Татарбунары. Во дворе домика бабушки

⁷¹ Самодельные кирпичи из глины и соломы.

имелся небольшой не то сарай, не то амбар из ломпачей⁷¹. Его-то отец и замышлял постепенно перестроить в жилье для семьи. Но и эта мечта не сбылась. Отбыв срок на каторге за участие в восстании, дедушка вернулся в Татарбунары и продал свой домик, чтобы сколотить приданое и выдать замуж младшую дочь. Узнав об этом, отец обиделся на свекра: ради младшей дочери он не посчитался с острой нуждой его семьи, обиделся и на жену за то, что она горячо оправдывала поступок старика, и перестал писать и отвечать на письма. Попытки матери разыскать мужа и дочь ни к чему не привели.

Наступили летние каникулы. Илья подрабатывал, таская от станции автобусной концессии в гостиницы объемистые чемоданы приезжих вояжеров. Как-то в очень жаркий день он сидел в тени, прижавшись к дверям винного погреба, и ждал рейсовый автобус из Измаила. «Авось зайвится какой-нибудь блудный вояжер с чемоданами!» — надеялся Илья.

Из погреба слегка веяло прохладой, запахами уксуса и сырости. Время было обеденное. Улицы и бульвары опустели. Магазины, мастерские, лавчонки, даже балаганы с прохладительными напитками и табачные киоски были закрыты. Хозяева и приказчики, мастера и подмастерья, каждый по своему достатку, справлял этот час трапезы. А Илья печально прислушивался к назойливому урчанию в животе и глотал слюну.

В тот день его мать с утра ушла к каким-то богачам стирать белье. Последние крошки были доедены еще с вечера.

Из-за угла с неизменным сундучком показался чистильщик обуви. Обменявшись несколькими словами с Ильей по поводу одуряющей жары, он уселся рядом и принялся сосредоточенно крошить окурки, подобранные на раскаленных и пыльных тротуарах. Илья пристально наблюдал, как бережно отбирал он, крошку за крошкой, еще не прихваченный огнем табак, подумал, что вот так же мать подобрала вчера все до последней крупинки, чтобы дать ему поесть, и так углубился в эти мысли, что не заметил, как к аптеке на противоположной стороне бульвара подъехала красивая легковая автомашина, и только стук дверей, захлопнутых вышедшими из автомашины пассажирами, заставил Илью вскинуть голову. Увидев привязанные к багажнику чемоданы, он опрометью бросился через бульвар, дважды перемахнул через его сетчатые ограды, запыхавшись подбежал к группе пассажиров роскошного автомобиля и остолбенел... Среди прекрасно одетых не знакомых ему то ли коммерсантов, то ли помещиков, был и его отец. Минутная растерян-

ность сменилась чувством безудержной радости. Совсем забыв о конфликте с отцом накануне его отъезда и вообразив, что он наконец-то вернулся домой навсегда или приехал за ним и матерью, как обещал перед отъездом, Илья шагнул к нему:

— Папочка, дорогой, здравствуй!

Но отец, сурово взглянув на Илью, отвернулся к своим спутникам и пожал плечами, давая понять им, что этот худощавый мальчуган обозначался.

Илья так и застыл с вытянутыми руками. Волна жара прилила к его голове, неровно и гулко забилося сердце. Он почувствовал себя маленьким беспомощным существом. Голова его с вздохмаченной шевелюрой медленно сникла, опустились руки, съезжились костлявые плечи, а на смуглом лице выражение недоумения и растерянности сменилось гримасой искренне раскаявшегося и жаждущего прощения ребенка. Он хотел уйти, бежать, скорее скрыться от стыда, но не мог сдвинуться с места, чего-то ждал, на что-то надеялся.

В надежде на заработок подошел чистильщик обуви, потоптался возле комфортабельной машины, разглядывая ее с любопытством провинциала, а признав в одном из приезжих отца Илья, приблизился к окаменевшему парню и с завистью сказал:

— Видал, на каком шикарном лимузине батя твой прикатил? А ты шляешься тут... Поди к нему, олух!

Илья встрепнулся и, как ужаленный, сорвался с места. Он бежал, не чувствуя, как обжигают босые ноги раскаленные камни тротуара, не помнил, как вытащил во дворе из-под корыта с дождевой водой ключ от квартиры, как оказался на диване.

Вскоре пришла мать. Обрадовалась, что сын дома, позвала его на кухню:

— Иди, сынок, я оладьи принесла!

Илья не ответил. Обеспокоенная мать вошла в его темную комнатку, спросила, здоров ли он, и в ответ услышала заглушаемое подушкой рыданье. Из его бессвязных, прерываемых слезами слов мать с трудом поняла, что произошло, но утешить сына ей было нечем.

Как выяснилось, отец приехал с вояжерами крупной обувной фабрики в качестве проводника по Бессарабии. Местность он знал отлично. С неделю они прожили в гостинице, уезжая каждое утро в окрестные села и возвращаясь к вечеру в город.

За это время отец побывал у своих родственников, разговаривал со знакомыми. Домой он не заходил. А его

ждали... Как его ждали! Все дни напролет! Вначале матери показалось, что муж, возможно, отвернулся от сына оттого, что тот предстал перед ним босым и не совсем опрятным. Она достала праздничную рубашу, отутюжила ему брюки, велела сходить к парикмахеру. А сам Илья с какой тщательностью начистил свои не по сезону большие солдатские ботинки и с какой надеждой вновь побежал к гостинице, где остановились вояжеры с отцом! Войти Илья не осмелился и лишь ходил поблизости, подглядывая украдкой в щелку забора, за которым стоял во дворе автомобиль. Продолжалось так несколько дней, пока как-то перед вечером он не заметил, что ворота двора гостиницы открылись. Илья спрятался. Машина выехала, свернув к бульвару.

Изо всех сил Илья побежал вслед. На бульваре он заметил машину около кофейни. Немного спустя Илья решился войти туда. Он постарался сделать так, чтобы отец его заметил. И когда наконец-то они встретились взглядами и у Ильи замерло сердце, отец прошел мимо, как совершенно чужой, незнакомый человек...

Тяжело перенес Илья ту ночь. Матери было вдвое тяжелее. Кое-кто из родственников пытался уговорить отца помириться с женой, простить сына — он же поступил необдуманно, вспылил и теперь уже осознал свою ошибку. Но отец и слушать не хотел. И только накануне отъезда из Болграда он передал через своего родственника, что Лида здорова, учится... С тех пор ни Илья, ни его мать ничего не знали о нем и о Лидочке. Порою доходили слухи: кто-то кому-то сказал, что видел отца в каком-то городе, но всякий раз оказывалось невозможным доискаться того человека, который сам, своими глазами видел его. Скорее всего, эти слухи были плодом досужих выдумок, без которых жизнь обывателей в этом городишке была бы даже для них несносно скучной.

Нерадостные события жизни семьи Томовых еще долго служили пищей для злых и добрых языков, одинаково падких на житейские сенсации. Бестактное, неумеренное проявление сочувствия жалило Илью так же больно, как и выходки злорадствующих кумушек, окликавших его на улице чуть ли не за версту, чтобы еще и еще раз задать набившие оскомину вопросы:

— Отец-то так и не объявился?

— Ни денег не шлет, ни писем и нос свой не кажет, говорят! Ай-яй-яй... Хорош батя, да-а!

— Сказывают, будто отец заявлялся?.. Неужто и поглядеть на тебя с матерью не захотел?

И даже главный сыщик болгарской сигуранцы господин Статеску при встрече с Ильей ядовито заметил:

— Отец твой человек солидный, работает с вояжерами известной фирмы «Дермата»! Так что можешь им гордиться...

И вот теперь снова, как в то памятное лето, когда отец приезжал в Болград и не захотел повидать семью, обмолвиться с ними хоть словом, Илья видел его всего лишь считанные секунды...

«Черный ворон» скрипел и трясся, скользя по мерзлому булыжнику. Глухо позванивали цепи кандалов. И вновь, как тогда, Илья почувствовал себя маленьким беспомощным существом. Не было сил поднять окоченевшие руки, чтобы вытереть обильные слезы. Он едва удержался на ногах, когда машина, круто свернув вправо, затормозила и, медленно въехав в небольшой двор, остановилась. Мотор заглох. В оконце Илья увидел заключенных в полосатых спецовках, натужно толкавших двуколку, доверху нагруженную углем. Да, догадка его была верна. Его привезли в тюрьму Вэкэ-решть.

Открылись дверцы кузова. Не чувствуя ног, Илья с трудом сошел с машины и предстал перед пузатым краснощеким тюремщиком с длинными седеющими усами. Рядом с ним стоял другой в такой же черной форме с изрытым оспой лицом. Оба сосредоточенно разглядывали сопроводительный пакет с сургучными печатями и небольшой листок, врученный им конвоиром.

— Томов? — грозно спросил усач.

— Да, Томов... — стуча зубами, едва произнес Илья.

— Коммунист?

Илья пожал плечами и отрицательно покачал головой.

— Язык примерз? — рывкнул тюремщик.

— Я не коммунист... — поспешил ответить Илья.

— Кто же ты?

— Я... человек!

Рябой тюремщик с птичьим носом не спеша приблизился к Томову и со всего размаха ударил его по лицу. В глазах у Ильи блеснули серебристые звездочки, и он грузно повалился на землю.

— Ко мне поступаешь... — назидательно произнес тюремщик и нарочито шмыгнул носом. — Разве не знаешь?

Усач и конвоир одобрительно заржали.

— За что бьете? — прохрипел Илья, сясь подняться.

— Так, ваабче... Для знакомства!

Обшарпанный и неуклюжий трансатлантический пароход, некогда славившийся своей скоростью, медленно выходил из бухты, оставляя позади замызганные торговые суденышки, причудливые рыболовецкие баркасы, стоявшие в стороне грозные сторожевые суда британского флота и вытянувшиеся вдоль берега убогие киприотские строения. Широкий шлейф дыма, густыми клубами валивший из двух больших труб, словно черным занавесом заслонял остров.

В каютах, на палубах судна — всюду чемоданы, саквояжи, тюки и люди, люди, люди. Уставшие, возбужденные, встревоженные: впереди, там, где-то за этим синим маревом, их ждала новая жизнь. Какая будет она? Лучше ли той, что они сейчас оставляли?

Молодая женщина с гладко зачесанными, собранными в пышный узел черными волосами, увидев стоявшую поблизости испуганную хрупкую девушку в легкой платице, пригласила ее присесть рядом с собой на ящик.

— Битте! Битте, немен зи плац...⁷², — сказала она приветливо, взяв на руки своего мальчика, лет четырех-пяти.

Ойя вопросительно взглянула на Хаима и, когда тот, улыбнувшись, ласково подтолкнул ее к черноволосой женщине, робко присела на край ящика. Ей чудом удалось вырваться из притона Стефаноса, скрыться от преследования мстительного и безжалостного Бен-Циона Хагеры, но страх еще не прошел и не было ощущения счастья. Наоборот, она с тоской смотрела на море, принесшее ей столько бед. Ей казалось, что и сейчас море, яркое и спокойное, принесет ей несчастье.

Хаим тоже с трудом верил в то, что свершилось: вместе с Ойей он на палубе корабля! Это походило на чудо! И он, не отрываясь, смотрел на нежное лицо Ойи, гладил ее руку, дотрагивался до плеча, будто стараясь убедиться, что это не сон. Да, мир не без добрых людей. Если бы не тетя Бетя, не быть бы им вместе. Помог им и моторист-грек: фельдшерница когда-то спасла от верной смерти его больного ребенка. Он тайком доставил Ойю на пароход. Риск был велик, но одно обстоятельство, оставшееся и для моториста и для фельдшерницы загадкой, помогло осуществить задуманное. К тому времени, когда маленький катерок с гречанкой подошел к пароходу, царившая на нем суматоха улеглась. «Особо важный» груз, доставленный с берега людьми Бен-Циона Хаге-

⁷² Пожалуйста! Пожалуйста, садитесь (нем.).

ра и Стефаноса, уже лежал в двух основных трюмах. Изрядно уставшие матросы отдыхали, и никто из команды не заметил, как девушка, встреченная Хаимом, поднялась на борт судна.

Уступившая Ойе место молодая женщина и ее пожилая мать, любуясь красотой немой девушки, обменивались мнениями. Они полагали, что их разговор на немецком языке непонятен парню с Кипра. Но Хаим понял, о чем идет речь. Женщины принимали Ойю за его сестру — родную или двоюродную, хотя ни малейшего сходства в их внешности не находили. «А что ответить, если они спросят об этом у меня? — подумал Хаим. — Как назвать Ойю: невестой или женой?» С помощью все той же фельдшерицы ему удалось вписать Ойю в «сертификат» как жену, но свидетельства о браке, зарегистрированного в соответствии с законом и обычаями, даже тетя Бетя не бралась выхлопотать.

— Сложная формальность, — ответила она туманно. — Но я думаю, бог поможет, и это тоже вам удастся потом как-то уладить...

Но сейчас ничто не могло омрачить радости Хаима. По-думаешь, формальности! Все будет хорошо, самое страшное осталось позади. Они уже на пароходе, плывут!

С трудом подбирая немецкие слова, Хаим спросил черно-волосую женщину:

— Вы из Германии?

— Нет, из Австрии, — тихо ответила она, с опаской по-сматривая на мать, молча и неподвижно сидящую с потускневшим, отрешенным взглядом на краю ящика. Подле нее — футляр от скрипки. — А вы говорите по-немецки?

— Совсем немного, но понимаю, кажется, неплохо... — ответил Хаим. — Изучал в лицее...

— Да-а?! Где?

— В Румынии. Точнее, в Бессарабии...

Женщина отвернулась от своей матери, очевидно, для того, чтобы не расстраивать ее печальными воспоминаниями. Стараясь говорить как можно тише, она рассказала, что их семья жила в Вене, отец был зубным врачом, а муж — скрипачом, как и мать; сама она пианистка, давала уроки музыки...

— Все было хорошо, пока не вторглись нацисты... — говорила женщина. — Они убили отца и мужа у матери на глазах... а её, — кивнула она на мать, — отправили в лагерь... Меня с сыном в тот день не было дома.

— В лагерь?! — взволнованно спросил Хаим. — Как же ей удалось выбраться?

— Нашлись хорошие люди... Даже среди немцев!.. Правда, это были первые концентрационные лагеря... — полупшепотом добавила женщина. — История долгая... Сейчас едем к дяде, брату моей мамы. Он — в Яффе, инженер-строитель. Бетонщик. На него теперь вся надежда...

Хаим уже не удивлялся тому, что у этой молодой женщины под глазами синие тени, что ютится она с маленьким сыном на открытой палубе и что у ее матери осунувшееся лицо, и весь ее облик свидетельствует лишь о бывшей красоте и безысходности страданий. Хаим вспомнил свою мать, скорострительно скончавшуюся после погрома, учиненного молодчиками главаря легионеров Хории Симы.

— Завтра кончатся все наши страдания... — Пианистка улыбнулась. Ее светлые глаза наполнились слезами. — Слава богу, теперь мы спасены!..

Хаим охотно подхватил эту тему и стал объяснять Ойе, что на пароходе им придется провести только одну ночь.

Женщина догадалась, о чем он толкует «сестре». Жестами и мимикой она тоже принялась разяснять девушке, что с завтрашнего дня у всех пассажиров жизнь пойдет по-новому, станет по-настоящему хорошей и радостной.

— Да, да! — уверенно произнесла пианистка и, тепло улыбаясь, обняла Ойю. — Так будет, увидите!

Ойя смотрела широко открытыми глазами то на удивительно ласковую женщину, то на Хаима, и было непонятно, верит ли она тому, что ей пытаются внушить, или же страх и недоверие по-прежнему довлеют над нею.

Пианистка извлекла из большого коричневого ридикюля старый конверт и протянула его Хаиму. На нем был указан адрес ее дяди, инженера-строителя из Яффы, и фамилия пианистки. Звали ее Шелли. Шелли Беккер...

Солнце клонилось к закату, и спокойное зеркально-ослепительное море потускнело, словно покрылось ржавчиной. Многие пассажиры успели перезнакомиться, рассказывали друг другу, откуда они родом, есть ли у них родственники на «обетованной земле», чем те занимаются и каково их финансовое положение. Всех занимал один вопрос: будут ли они, приезжающие в Палестину, обеспечены работой, жильем или обо всем этом еще придется хлопотать?

В торопливых вопросах и таких же торопливых ответах чувствовалась тревога людей, их неуверенность в завтрашнем дне, желание найти поддержку, успокоение, надежду на лучшее.

Рядом с Хаимом расположилась небольшая группа оживленно беседовавших мужчин. Речь шла о военных событиях:

об участии бывших польских воинов в сражениях на французской оборонительной линии «Мажино», о потоплении английского торгового судна где-то в Атлантическом океане, потом заспорили о возможности проникновения германских подводных лодок в Средиземное море и нападения их на пассажирские суда.

— Нам повезло, — заметил по этому поводу молодой человек с жиденькой и коротко остриженной бородкой. — Пароход идет под флагом нейтральной страны!

— Об этом кое-где своевременно позаботились, — тоном хорошо осведомленного человека проговорил худощавый мужчина в темных очках. — В такое отчаянное время нелегко заполучить пароход, но... удалось! А как и почему? Потому что этому транспорту там, в верхах, придают большое значение...

— П-с-с! Такие уж мы важные птицы?! — прервал его маленький толстый человек в соломенной шляпе и светлом клетчатом пиджаке. Массивная золотая цепочка, продетая в петлю на лацкане пиджака, тяжело свисала в боковой кармашек. — Или вы думаете, что трюмы этой старой галоши завалены золотом?

— Важные мы или неважные и золото в трюмах или нет, но именно этому пароходу, к вашему сведению, кое-где придают большое значение! — поддержал мужчину в темных очках молодой человек с бородкой. — И только благодаря этому ваш животик с золотой цепочкой будет благополучно доставлен в Эрец-Исраэль..

— И вообще, я бы не советовал задавать праздные вопросы, — в упор глядя на толстяка, внушительно произнес человек в темных очках.

— А что такое? — толстяк обиделся. — Что я спросил? Что?! Это же не какой-нибудь военный крейсер?! Подумаешь! — Он небрежно махнул рукой. — Умеем мы пускать пузыри из носа и кричать на весь мир, уверяя, что это дирижабли. Оставьте меня в покое... Я не мальчик, и эти холуцские фокусы-мокусы знаю не первый день! Да, да... И не смотрите на меня так... Мы тоже кое-что соображаем, не беспokoйтесь!..

Хаим не придал значения этой перепалке: мир полон болтунов. И все же он подумал, что совсем не плохо, если действительно по какой-то причине «в верхах» особо позаботились о безопасности рейса этого парохода.

Солнце скрылось за горизонтом, оставив на краю небосвода багровые полосы. Слабый ветерок разносил по судну аппетитные запахи из камбуза. Из кают первого и второго

классов выходили на палубы пассажиры, принадлежавшие к высшему свету, те самые влиятельные и имеющие «особые заслуги» перед сионизмом господ, иммиграцию которых «Национальный центр» считал первостепенной задачей.

Сонные обитатели палуб встречали их по-разному: кто с откровенным любопытством и завистью, кто презрительно отворачиваясь, а кто созерцая равнодушно. Провожая эту публику взглядом, бескаютные пассажиры высказывали различные догадки и предположения об имущественном положении этих важных персон, на ходу рождались всяческие слухи и сплетни.

В полукруглом застекленном салоне, завешанном выгоревшими на солнце портьерами, собрались мужчины. Здесь полным ходом шла подготовка к вечерней молитве. Уже горело несколько свечей, их зажгли пассажиры, отмечавшие в этот день годовщину смерти близких. Предстояло проникновенно произнести достойную благочестивого покойника молитву «кадешь». И мужчины сосредоточенно собирались на «миньен» — обряд, согласно которому на молитве должно присутствовать не менее десяти мужчин, достигших тринадцатилетнего возраста.

Хаим загнул в приоткрытую дверь салона. Увидев мужчин с молитвенниками в руках, разочарованно отвернулся и поплелся дальше. Они с Ойей основательно проголодались. Наконец им удалось, предъявив талоны от «шифс-карты», протиснуться в переполненный зал ресторана. Впервые в жизни Ойя сидела рядом с незнакомыми, хорошо одетыми людьми за столом, накрытым белоснежной скатертью. Сердце ее всполошенно колотилось, на смуглом лице проступил румянец.

Принесли ужин. Ойя ни к чему не притронулась, она украдкой озиралась по сторонам, словно опасаясь, что ее вот-вот прогонят. Все усилия Хаима успокоить девушку, заставить поесть были безуспешными. Тогда он достал из кармана газету и, не обращая внимания на удивленные взгляды сидевших за столом людей, завернул пирожки и сыр.

Когда они вышли на палубу, Ойя, виновато улыбаясь, потянулась к свертку и с аппетитом принялась за пирожки. Едва сдерживая подступавшие к горлу спазмы, Хаим улыбался.

На палубе царило оживление. Освежающая вечерняя прохлада, обильная, вкусная еда приободрили пассажиров. С кормы парохода доносилась веселая песня.

— Последняя ночь плавания! — сказала Шелли, обра-

щаяся к подошедшим Хаиму и Ойе. — Проснемся утром, и будут видны берега Палестины...

— Уж поскорей бы!.. — Мать Шелли вздохнула. — Никогда не думала, что человек может испытать столько горя и не умереть.

Взяв на руки маленького Доди, сына пианистки, Хаим вместе с Ойей поспешили туда, откуда под аккомпанемент рояля доносилась песня.

На корме, около музыкального салона, к дверям которого был придвинут рояль, огромная толпа холуцев слаженно пела:

Куму-куму холуцим,
Куму-куму гардоним!
Кадима мизраха!
Мизраха а Кадима!⁷³

Песня была знакома Хаиму. Он пел ее по вечерам на «акшаре». Теперь, охотно подпевая, он стал пританцовывать в такт песне. Сидя на руках Хаима, малыш звонко смеялся.

Не сразу Хаим почувствовал, что Ойя тормозит его. Он оглянулся: Шелли обеспокоенно всматривалась в толпу. Хаим поднял руку, и Шелли стала поспешно пробираться к ним. Подойдя вплотную, она прошептала Хаиму, что на пароходе происходит что-то странное. Холуцы азартно продолжали петь:

Пану-пану бадерех!
Пану-пану бадерех!
Ки холуцим — иврим
Омирим-акшем!⁷⁴

Песня закончилась, но запевалы сразу затянули новую, воинственную. А Шелли указала на холуца в форменной рубашке с погончиками, с закатанными по локоть рукавами и большой голубой шестиугольной звездой на нагрудном кармашке. Пробираясь сквозь толпу, он на ходу отдавал какие-то распоряжения, парни и девушки в форме холуцев послушно срывались с места. Хор голосов становился все слабее и слабее, наконец пение оборвалось. Среди холуцев возникло замешательство. Послышалась команда: «Всем холу-

⁷³ Вставайте-вставайте, холуцы, вставайте-вставайте, гардонисты! (Гардонисты — члены «Гардони» — филиала сионистской организации, занимающейся вербовкой молодежи для переселения в Палестину.) Вперед на Восток! Восток впереди!

⁷⁴ Собирайтесь, собирайтесь в путь! Собирайтесь, собирайтесь в путь! Холуцы еврейские шлют вам привет!

цам немедленно собраться по своим группам, а пассажирам освободить кормовую часть палубы, разойтись по каютам и своим местам.

Никто не знал, чем все это вызвано, что задумали холуцы: одни подшучивали над ними, другие бранились, третьи покорно молча шли в свои каюты, но все были встревожены.

Хаим, Ойя и Шелли вернулись к своему месту на палубе. У ящика с противопожарными инструментами стоял толстый человек в клетчатом пиджаке. Держа в руке золотые часы с цепочкой, он с возмущением говорил:

— Суматоху затеяли, п-с-с!.. К чему? Зачем? И, главное, где?! Посреди моря. А что такое? Сионистики-холуцики, видите ли, решили устроить завтра парад по случаю прибытия в Палестину! Как будто эту репетицию нельзя провести тихо, спокойно, солидно, без шума, без крика и гвалта?! Так нет, им же нужно, чтобы люди как следует перепугались и получили на минутку разрыв сердца...

Хаиму хотелось рассеять возникшую тревогу, и потому он, сделав вид, что поверил толстяку, рассмеялся. Шелли сидела бледная, напуганная, прижав к себе мальчика. Она напоминала квочку, оберегающую своего цыпленка.

Глядя на нее, насторожилась и Ойя, стараясь понять причины возникшего волнения. Смех Хаима несколько ее не успокоил. Глядя ему в глаза, она чутко улавливала в них какую-то озабоченность.

— Вы поняли, о чем говорил этот симпатичный толстячок? — спросил Хаим пианистку.

— Готовятся к параду. Но странно...

— Что странно? — мягко перебил ее Хаим и, смеясь, добавил: — Это ведь холуцы! Их муштруют, как солдат... Вы знаете, кто такие «холуцы»?

Шелли пожала плечами, неуверенно сказала:

— Что-то вроде штурмовиков. Не так ли? Разумеется, вы знаете, кто такие «штурмовики»?

Серые глаза Хаима округлились. Он лишь покачал головой: тема была весьма щекотливая, кругом шныряли холуцы, и потому разумнее было помолчать.

Внимание Хаима привлекла девушка в форме холуца. Она что-то возбужденно рассказывала окружившим ее пассажирам. Хаим прислушался. Речь шла о каком-то военном корабле, который преследует их пароход и будто бы требует его остановки.

Слух об этом, видимо, уже распространился среди пассажиров, многие из них бросились к противоположному борту

судна, надеясь увидеть военный корабль. Вдруг мирную тишину моря разорвал гром орудийного выстрела.

На пароходе поднялась паника. Как штормовая волна, она обрушилась на людей.

— Торпеда!

— Тонем!..

Пассажиры из кают, трюмов хлынули на палубы, устремляясь к шлюпкам, вырывая друг у друга спасательные круги, пробковые пояса. Бледные, потные лица, вытаращенные от ужаса глаза, перекошенные в истерическом крике рты... У Хаима похолодело сердце: страшнее он не видел ничего в жизни — перила, опоясывающие палубы судна, под напором обезумевшей толпы выгнулись наружу и могли вот-вот сорваться. Душераздирающие крики впавших в истерику людей заглушили все вокруг...

В этот момент на палубе появились матросы и группа холуцев. Без стеснения действуя кулаками, они оттесняли пассажиров от перил, не щадя ни женщин, ни детей, не обращая внимания на отчаянные вопли и плач.

С верхней палубы мужчина с коротко остриженной бородкой в жестяной рупор призывал обезумевших людей к спокойствию, объясняя, что нет причин для паники.

Хаим узнал его: это был тот самый молодой человек с бородкой, который недавно высокомерно разговаривал с толстяком в клетчатом пиджаке с золотой цепью.

«Этот тип,— подумал Хаим, — пожалуй, здесь заправила...»

— Внимание! Внимание! Шум прекратить! Всем замолчать! — повторял повелительный голос радиодиктора, транслировавшийся через усилители по всему судну. По голосу Хаим узнал, что это говорит тот же молодой человек с бородкой. Сначала на жаргоне⁷⁵, потом на древнееврейском, а затем на английском языках он требовал сохранять спокойствие и беспрекословно повиноваться холуцам, которым вменяется в обязанность навести порядок на пароходе.

Паника постепенно стихла. Тот же голос через усилители довел до сведения пассажиров, что на судне образован специальный штаб Хаганы⁷⁶, который взял на себя ответственность за доставку людей на «обетованную землю». На судне погас свет, и диктор точас же сообщил, что категорически запрещается всем без исключения пользоваться электриче-

⁷⁵ Еврейский язык, так называемый «идиш».

⁷⁶ Буквально: защита, оборона; тайные военизированные отряды сионистов.

ским светом, зажигать спички и курить... Виновные в нарушении этого требования будут привлекаться к суровой ответственности.

— Мы выражаем уверенность, — выкрикнул диктор бодрым голосом, — что своим образцовым поведением пассажиры докажут, что они достойны поселения на священной земле предков, время прибытия на которую исчисляется несколькими часами! И этим еще раз будет продемонстрировано величие всей нации!

Это обращение непрерывно передавалось на разных языках и всякий раз заканчивалось традиционным словом — «шолом»⁷⁷.

Призыв судового штаба Хаганы возымел действие: установились спокойствие и порядок... Группы холуцев непрерывно патрулировали по судну, бесцеремонно заглядывая в каюты. Каждый уголок парохода был взят ими под контроль. Они предупреждали пассажиров, что малейшее нарушение дисциплины повлечет за собой заключение в «бокс» или даже выброску за борт...

Но никакие строгие меры не могли предотвратить распространения тревожных домыслов и слухов. Упорно поговаривали, будто военный корабль, преследовавший пароход, — немецкий, но скрывается под чужим флагом. По другой версии, это был итальянский линкор, сопровождающий из Абиссинии караван судов...

И снова воздух потряс оружейный выстрел. Капитану парохода после упорного молчания пришлось ответить на многократные запросы сторожевого военного корабля. Капитан сообщил, что управляемое им судно — исключительно пассажирское, следует своим курсом согласно расписанию и графику... В радиোগрамме были указаны и другие подробности: какой стране принадлежит пароход и его водоизмещение.

Несмотря на более или менее вразумительный ответ, с военного корабля вновь последовало требование остановить пароход. Капитан пассажирского лайнера ответил отказом, мотивируя тем, что на борту находятся преимущественно женщины с детьми и во избежание нарастания паники, уже возникшей из-за произведенных кораблем предупредительных выстрелов, он, капитан, вынужден продолжать плавание. Капитан выразил готовность выполнить любое требование сторожевого судна, но только с наступлением рассвета или в порту назначения, то есть в Бейруте.

С военного корабля последовал приказ капитану парохо-

⁷⁷ Мир (приветствие).

да зажечь огни. Представители штаба Хаганы, которые с самого начала плавания действовали в тесном контакте с капитаном парохода, рекомендовали ему повременить с ответом. Во что бы то ни стало нужно было дотянуть до наступления полной темноты и под прикрытием ночи попытаться уйти от преследователя.

Между тем расстояние между сторожевым кораблем и пассажирским судном значительно сократилось, и снова последовал приказ немедленно зажечь огни и впредь двигаться в соответствии с установленными правилами международного мореплавания для пассажирских судов, то есть держать курс строго на порт Бейрут.

Капитан разгадал замысел командования военного корабля. Он ответил, что полностью согласен с предложением, однако глубоко сожалеет, что не может тотчас же выполнить его, так как световые динамо-машины повреждены. Сейчас они ремонтируются и с минуты на минуту дадут свет, а пока он вынужден ограничиться лишь сигнальным освещением.

Как только эта депеша была передана в эфир, на пароходе погасли и сигнальные лампы, а судно резко изменило курс.

Вскоре пароход окончательно оторвался от преследования. Стемнело. Радиосигналы, все еще поступавшие со сторожевого корабля, оставались без ответа. Наконец, умолкло и радио... Никто теперь не знал, отказался ли сторожевой корабль от преследования, или только потерял след пассажирского парохода.

Лишь часа через два капитан вновь вернулся на прежний курс.

Глубокая черная ночь, как плотным покрывалом, прикрыла пароход, усиливая тревогу испуганных людей. Всех занимал один вопрос: почему капитан не выполнил приказа военного корабля, почему не остановился, если корабль, как все утверждают, был действительно английским?

Догадок и объяснений по этому поводу было много: одни говорили, что некоторые пассажиры якобы не имеют виз английского консульства на право въезда на подмандатную Британской империи территорию Палестины; другие утверждали, что среди пассажиров находятся какие-то очень важные персоны из сионистской верхушки, имена которых держатся в строгом секрете; третьи видели причину в том, что на рассвете минувшего дня, когда пассажиры еще крепко спали, пароход остановился вблизи Кипра и принял в свои трюмы с подошедшего к нему судна большую партию бочек с цементом... И люди гадали:

— Цемент, наверное, контрабандный?
— Или не оплачена пошлина?
— Оттого и грузили на рассвете...
— И в открытом море... Тайком!
— Вы сами это видели?
— Нет, но так говорят...
— Из-за каких-то паршивых бочек с цементом? — удивлялся толстяк с золотой цепочкой в отвороте пиджака. — То же мне контрабанда! Из-за такого пустяка не станут палить из пушек! Тем более если это англичане. Я их знаю. Джентльмены! Люди интеллигентные, тонкие, никогда человека не обидят... Уж кому-кому, а мне приходилось с ними иметь дело. Я же ювелир... Вот если бы тут, скажем, пахло золотом или какой-нибудь там валютой!.. А так что? Кого везет эта галоша? Несколько сот несчастных евреев, удравших от Гитлера, чтоб он сдох, и вот этих фанфаронщиков холуциков-шмолуциков?! Пустые басни! И разговор о цементе — тоже сущая басня...

Напуганные и уставшие люди постепенно расходились по своим местам и укладывались на покой...

Засыпая, они думали о завтрашнем дне, о предстоящей встрече с родными и близкими, о конце странствий и начале новой жизни в желанном и благословенном Эрец-Исраэле!

После долгих мытарств и для Хаима «обетованная земля» стала сокровенной мечтой. «Добраться бы уж поскорей до нее...» — с этой мыслью уснул и он. Но когда рано утром Шелли разбудила его, он не сразу сообразил, что происходит. Палуба была заполнена почти одними женщинами и детьми. Не спала и Ойя. Хаим смутился, поднялся и... обомлел: на небольшом расстоянии от парохода вровень с ним шел грозный темно-серый военный корабль.

— Это английский. Так говорят, — пояснила Шелли. — Чем все это кончится?

Оказалось, что по другую сторону парохода происходило то же самое: неподалеку от «трансатлантика» шел такой же английский эсминец и на палубах парохода толпились женщины и дети. Их вывели сюда из нижних кают и трюмов по распоряжению штаба Хаганы: пусть, дескать, англичане посмотрят, кого везут на пароходе.

С ужасом смотрели люди на стремительные и грозные контуры эсминцев. Хождения по судну запрещались. Около каждого выхода и перед каждой спасательной шлюпкой дежурили парни и девушки в форменных рубашках с погончиками и большой шестиугольной звездой на кармашке. По указанию штаба Хаганы, на кормовой части судна собра-

лись мужчины с накинутыми на плечи «талесами» и на виду у всех возносили молитвы... Было жутко.

С военных кораблей поступило категорическое приказание: «Немедленно остановить судно, в противном случае ответственность за последствия ляжет целиком на капитана!»

С парохода ответили, что остановка возможна только в порту назначения, до которого осталось не более шестидесяти пяти миль. Портом на этот раз была названа Хайфа.

Эсминцы пошли на сближение с пароходом.

Пассажиры замерли в мучительном ожидании неизбежной, как им казалось, катастрофы. Напряжение росло с каждой секундой и, несмотря на строжайшее предупреждение, то тут, то там раздавался женский крик и плач детей. Люди были готовы вот-вот отпрянуть от перил и разбежаться. Но скрывавшиеся позади них холуцы силой удерживали их и подбадривали:

— Ничего не сделают!

— Гусей пугают...

— Никому ни с места!

— Спокойно...

Тем временем эсминцы с двух сторон вплотную подошли к пароходу... Раздался сильный грохот и скрежет, от толчка некоторые пассажиры попадали. Одновременно с бокового крыла мостика эсминца, подошедшего к левому борту парохода, два английских матроса прыгнули на натянутую брезентом спасательную шлюпку, висевшую над палубой пассажирского судна напротив ящика с противопожарным инвентарем... Однако в это же время дежуривший у шлюпбалки холуц дернул спусковой рычаг, и шлюпка вместе с английскими матросами рухнула в образовавшуюся от толчка между эсминцем и пароходом узкую щель...

Едва шлюпка на тросах плюхнулась в воду, высокие корпуса судов по инерции вновь начали сближаться... Ошеломленные неотвратимостью гибели моряков, пассажиры с криками отпрянули от перил... Все это произошло молниеносно: сманеврировать эсминец уже не успел, и на виду у матросов, стоявших на палубе корабля, шлюпку, как яичную скорлупу, раздавили металлические корпуса обоих судов. Донесся страшный треск и отчаянные крики людей...

Тотчас же на эсминце один из матросов, на глазах которого все это произошло, вскинул винтовку... На пароходе тем временем пассажиры в полном замешательстве прижались к стенам судна, а холуцы оказались на виду у англичан.

Прогремел выстрел. Затем второй, третий... Как ураганом,

людей смело с палубы. Все с криками и воплями хлынули в каюты, давая в дверях друг друга... Хаим успел заметить, как упал стоявший у шлюпбалки холуц, а напарник его скорчился и тоже свалился, потом как Шелли почему-то закричала диким голосом, схватив мальчика... Потом Хаим заметил, что пианистка прижимает к груди окровавленного ребенка!..

— Врача! — закричал Хаим, обращаясь к пассажирам, рвущимся внутрь судна. — Есть здесь врач?! Помогите! Скорее! Мальчик ранен!..

— Убили! — билась в истерике Шелли. — Сыночка моего убили!..

Мать Шелли сидела рядом на краю ящика, мертвенно бледная, словно окаменелая, и, не моргая, смотрела на безжизненное лицо внука. Вдруг веки ее глаз сомкнулись, голова склонилась на грудь, затем медленно отвернулась в прежнее положение...

Подбежала Ойя. Увидев, что произошло, она схватилась за голову и, будто силясь что-то произнести, застыла с судорожно открытым ртом. В это время к Хаиму подошли холуцы, отозвали в сторону и сообщили, что штаб Хаганы постановил всем без исключения пассажирам в знак протеста против действий англичан разорвать свои «сертификаты» и «шифс-карты», причем половину обрывков передать холуцам как доказательство исполнения приказа штаба. Хаим молча выслушал парней и молча отошел к ящичку, на котором теперь лежал Доди.

Все, что произошло потом на пароходе, Хаим Волдитер воспринимал, как во сне: и как пришвартовались эсминцы к пароходу, и как высаживались английские матросы, встреченные холуцами банками из-под консервов, бутылками, тарелками... Равнодушно смотрел он и на матросов в малиновых беретах, постепенно занимавших одну палубу за другой, а потом ринувшихся к капитанскому мостику...

Ни капитана, ни его помощников, ни членов судовой команды там не оказалось. Все они, переодевшись, затерялись среди пассажиров. Вместо документов каждый из них, как и большинство пассажиров, имел всего лишь клочки разорванных пассажирами «сертификатов» и «шифс-карт». Об этом позаботился штаб Хаганы, призвавший пассажиров выразить «протест» столь необычным образом, а в действительности преследовавший единственную цель: спасти себя и многих других лиц, у которых не было документов на въезд в Палестину, а также судовую команду, с которой была заключена соответствующая сделка. Именно ее теперь и надлежало в обязательном порядке успокоить, заверить каждого,

что он сойдет наравне с остальными на берег... Этот план преследовал далеко идущие цели, имел и свою особую, «на всякий случай», подоплеку...

Поэтому на судне из уст в уста передавалось распоряжение штаба: «Ни при каких обстоятельствах не выдавать англичанам экипаж парохода! В противном случае...»

Особенно упорное сопротивление англичанам оказали холуцы на подступах к одному из трюмов. Здесь завязалась отчаянная схватка. Англичане были многоопытны в подобных делах. У них была специальная экипировка: резиновые манишки и нарукавники, предохранявшие от ударов, а также каучуковые дубинки... Появились раненые с обеих сторон: матросы переносили своих на эсминцы, холуцы — в свой наскоро созданный «лазарет».

Две лестницы, которые вели в трюм, при появлении малиновых беретов тотчас же были сбиты холуцами. С эсминцев принесли сборные лестницы, но как только англичане попытались спуститься по ним в трюм, в них полетели кружки, стаканы, банки — все, что попадало под руку холуцам.

Матросы отступили. Однако вскоре они перекинули с эсминцев шланги. Мощная струя воды сбивала с ног сопротивлявшихся, но они все же сумели овладеть сборными лестницами и спустить их в трюм...

Рассвирепев, командование эсминцев пустило в ход гранаты со слезоточивым газом. Сопротивление было сломлено. Избитых, в разодранной мокрой одежде, с воспаленными от слезоточивых бомб глазами холуцев выпроводили из трюма. Под усиленной охраной матросов туда спустилась группа британских офицеров. Подстрекаемые штабом, переодетые холуцы, затерявшись в толпе пассажиров, сопровождали офицеров оскорбительными выкриками, угрозами, плевками.

Но вот из трюма на палубу, где все еще возносилась молитва богу, матросы выволокли обычную продолговатую, лимонообразную бочку, на дощатых доньшках которой жирными маркировочными буквами было написано «Цемент», а на клепках — название фирмы, вес brutto и нетто год выпуска — 1939. На виду у богомольцев, проклинавших англичан за то, что из-за какого-то контрабандного цемента они довели дело до кровавого инцидента, матросы в малиновых беретах приготовились сбивать с бочки металлические обручи. Богомольцы в «талесах» с молитвенниками в руках замерли... Вдруг один из них — пожилой с пушистой бородой старик — подбежал к матросам, растолкал их и, сняв с себя талес, накрыл им бочку.

— Не смеее! — истощно закричал богомолец. — Это священный цемент! Он как воздух нужен для восстановления государства иудеев!..

Матросы не понимали, что говорит старик, и в нерешительности остановились.

Подошедший офицер скомандовал:

— Сбить обручи!

Оттолкнув богомольца, матросы принялись сбивать обручи с бочки.

— Господь покарает каждого, кто прикоснется к... — истерически закричал старик, но вдруг смолк...

Ошеломлены были и остальные богомольцы... Из бочки вываливались на упавший талес пулеметные стволы, кожухи, логи, патронные кассеты, треножники, затворы...

Старик-богомолец обомлел. Он таращил полные изумления глазами, затем подошел к лежащим на его талесе металлическим частям и трясушимися руками поднял ствол. На нем стояло клеймо чехословацкого завода «Шкода» — 1938.

— Шко-да... — прочел вслух старик, низко наклонив голову. — Одна тысяча... девятьсот тридцать... восьмой!? — закончил он угасающим голосом, затем медленно поднял голову, растерянно обернулся к офицеру и беспомощно развел руками.

— Йес! Йес!.. — подтвердил англичанин. — Тшехословакия!..

В кругу остолбеневших богомольцев прокатилась волна возбужденного шепота:

— Чехословацкое?! Как это возможно? Там же давно хозяйничают нацисты!

— Таки что-то не верится... — произнес кто-то из богомольцев.

— Не верится?! — отозвался другой. — Вы что, родом из Порт-Саида?.. Наивный какой нашелся!..

— А что?! Почему вы меня оскорбляете?

— Потому что не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что Англия воюет с Германией, а Германия заинтересована, чтобы Англии было кисло... Трудно догадаться, скажите пожалуйста!

— Так вы хотите сказать, что наши сионисты получают вот это от нацистов? — не веря своей догадке, говорил еще кто-то, кивая на оружие. — Неужели настолько?..

— Э, Порт-Саид или шморт-саид, умный или шумный, — возбужденно заговорил оказавшийся среди богомольцев ювелир в клетчатом пиджаке с золотой цепочкой в отвороте. — Поди знай, с кем едешь, что за пароход и чем занимаются эти

холуцки!.. И спрашивается, вообще, кто они? Откуда у этих сморкачей пулеметы в такое суматошное время!..

Бесть о том, что в бочках из-под цемента обнаружено оружие чехословацкого производства, которое, видимо, было захвачено Гитлером, а теперь, по всей вероятности, получено сионистами для борьбы с арабами, разнеслась по всему судну. Люди ругали и Гитлера и англичан, поносили холуцев, проклинали и пароход, и его капитана, и тот день и час, когда они согласились ехать.

Матросы обыскивали пассажиров, рылись в их чемоданах и тюках, искали оружие, изымали острые предметы, начиная с кухонных и перочинных ножей и кончая лезвиями для бритья.

К полудню «трансатлантик» был взят на буксир одним из эсминцев. На пароходе прекратилась подача питьевой воды, остановилась работа на кухне, закрылись ресторан, буфеты и бар... Повсюду видны были следы столкновения холуцев с англичанами — осколки стекла, банки из-под консервов, битая посуда, мусор...

Когда стемнело, вдали мерцали одиночные огоньки. Один за другим пассажиры поднялись со своих мест и бросились к перилам борта парохода. Раздались радостные возгласы:

— Хайфа!

— Порт Хайфа!..

С каждой минутой огоньки мерцали все ярче и ярче, и становилось их все больше и больше. На палубах росло оживление. Люди точно забыли о том, что было накануне. Со всех сторон только и слышалось:

— Конечно, Хайфа!

— Уже Эрец-Исраэль!

— Земля предков!..

Пассажиры обнимались, целовались и плакали от счастья.

— Теперь уже всё! Конец страданиям...

— Слава богу!

До пристани оставалось не более полумили, как вдруг с буксировавшего эсминца прозвучал сигнал, и на пароходе загремели тяжелые цепи якорей. Пассажирам объявили, что до утра высадки на берег не будет...

Сообщение взбудоражило людей. Вновь возникли всяческие толки, поползли слухи.

— Новые фокусы-шмокусы!.. Благодарите бога, если эти сионистики не выкинут еще какой-нибудь номер!.. — ворчал толстяк-ювелир.

Пассажиры снова стали поносить и холуцев, и англичан,

и тот час, когда сели на это судно... Отведя душу, они стали расходиться по местам, однако никто не спешил укладываться на ночлег. Когда совсем стемнело, а гирлянды огоньков на берегу заблестели особенно маняще, люди погрузились в созерцание этого зрелища и в грустные размышления. Установилась гнетущая тишина.

Вторая ночь на лишенном воды и света судне была для пассажиров еще мучительнее. Терзали жажда, голод и все усиливающееся тошнотворное зловонье...

Еще с вечера Доди перенесли в музыкальный салон, где находились трупы убитого холоуца и его напарника, скончавшегося от ран. Мальчика положили с ними рядом на полу и также накрыли черным покрывалом с вышитой на скорую руку белой шестиугольной звездой. У изголовья сына, возле трех копящих свечей, воткнутых в грубо смастеренный из жестяной банки подсвечник, опустилась на колени в полубоморочном состоянии Шелли Беккер.

В сторонке стояли Хаим и толстяк-ювелир, который все еще не мог уgomониться:

— Что только они натворили, эти сморкачи-холоуцики!..

— Не вздумайте послушаться их приказа! — шепнул ему Хаим. — Свои документы на въезд в Палестину не рвите!..

— Чтобы я рвал свои документы?! — возмутился ювелир. — Пускай эти сморкачи вырвут сначала себе языки!..

— Тс-с, ... — остановил его Хаим, кивая на группу богомольцев в глубине музыкального салона.

Там столпились люди. Они беззвучно шевелили губами и в такт молитве слегка раскачивались. То один, то другой вдруг всхлипывал, но тут же замолкал, и снова становилось тихо... Незаметно в эту тревожную тишину вползали доносившиеся издали звуки скорбной мелодии, исполняемой на скрипке... Шелли Беккер встрепенулась, подняла голову. Огненные блики от свечей осветили ее глаза, полные слез... В памяти женщины ожило ее недавнее прошлое, отец, муж, муки матери в концлагере и ее бегство из него...

...Заключенные в арестантской одежде прикатили к воротам с вывеской «Арбайт махт фрай» телегу, загруженную трупами женщин, на руке каждой были вытатуированы номер и буква, руки были так вывернуты, что сразу был виден номер.

Из домика у ворот вышли два эсэсовца: один с тонким металлическим прутом. Проходя мимо кустарника и насвистывая веселую мелодию, он лихо срубал прутиком зеленые

ветки... Второй следовал за ним с листом бумаги в руке и висевшим на груди автоматом. Оба подошли к телеге, и эсэсовец с прутом принялся считать трупы:

— Один, два, три... — звонко произносил он, тыкая прутом в безжизненно свисающие руки.

Эсэсовец с листом бумаги между тем украдкой переглядывался с заключенными, притаившимися телегу.

Те в свою очередь с опаской наблюдали за эсэсовцем с прутом, продолжавшим считать:

— ...пять, шесть, семь, восемь...

На слове «шесть» он ткнул прутом руку женщины, лица которой совсем не было видно. Через мгновение на руке появилась кровь, узким ручейком потекла к татуированному номеру 231088...

Первым заметил это эсэсовец с листом бумаги. На мгновение он обомлел от испуга, однако тут же спохватился и лишь взглядом обратил внимание стоявшего у телеги заключенного на струйку крови.

Эсэсовец с прутом тем временем продолжал считать:

— ...девять, десять, одиннадцать...

В эти секунды один из заключенных быстро вытер со свисающей руки кровь... Но эсэсовец с прутом все же заметил какое-то движение позади себя и резко обернулся. Он увидел, как заключенный отпрянул от телеги...

— Ты что там делаешь, грязная свинья?! — зычно крикнул эсэсовец.

— Я, господин обершарфюрер... — запинаясь, ответил заключенный, — поцеловал даме руку... На прощанье...

— Гм-м... Ты был близко знаком с ней?

— Так точно, господин обершарфюрер!

— В таком случае... кру-у-гом! — скомандовал эсэсовец, и когда заключенный повернулся к нему спиной, достал из кобуры пистолет.

— Сопровождай свою даму и дальше... — он выстрелил заключенному в затылок.

...Узники молча положили труп собрата поверх остальных мертвецов и в сопровождении эсэсовца с автоматом выволокли телегу за ворота лагеря...

Вскоре они добрались до края заросшего кустарником оврага, по ту сторону которого виднелся лес. Телегу быстро разгрузили. Последним заключенные понесли к глубокому, извилистому оврагу тело убитого эсэсовцем узника, мужа той женщины в телеге. Все это происходило в присутствии эсэсовца с автоматом.

А по дну оврага уже пробиралась, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, женщина. Она пыталась остановить кровь на руке с номером 231088...

С тревогой вслушиваясь в знакомую с детства скорбную мелодию, Шелли вспомнила встречу с мамой и произнесенные ею тогда слова: «В концлагере смерть отступила. Ее другие приняли за меня... Но жизнь иногда бывает хуже смерти...»

Сидя на ящике с противопожарным инвентарем, мать Шелли играла с таким чувством, словно бросала вызов всему ужасному, жестокому. То с плотно закрытыми глазами и сжатыми губами, точно испытывая жгучую боль, то встряхнув головой и широко раскрыв глаза, она резким движением прижимала подбородком скрипку и продолжала играть все яростнее.

На пароходе никто не спал. Молчаливо слушали музыку люди и вспоминали все постигшие их несчастья, оплакивали безвременно погибших родных и близких, свою горькую участь...

Слезы катились и по щекам Шелли, сидевшей в музыкальном салоне у изголовья трупов. И со свечей, словно слезы, ползли капли растопленного воска... А в стороне, в темном углу салона, все еще раскачивались в такт молитве богомольцы и все чаще раздавались всхлипывания, порою переходящие в приглушенное рыдание.

Уже наметился рассвет, стал вырисовываться английский эсминец с грозно направленными на пароход пушками и часовой на нем, а на палубе трансатлантика старуха с взлохмаченной седой головой все не переставала играть. Безумные глаза, белое, как полотно, испещренное морщинами лицо, заостренный, с горбинкой, нос, оскал плотно сжатых зубов и морщинистый подбородок, который то резко отрывался от скрипки, то с остервенением прижимался к ней, делали ее похожей на выходца из другого мира, вещающего людям нечто неизбежное, неотвратимое...

...Смычок молниеносно взлетел вверх и... на секунду судорожно задержался на месте. Мелодия внезапно оборвалась. Высохшие жилистые пальцы скрипачки разжались, и смычок, со стоном скользнув по струнам, упал... Вслед за ним звонко ударилась об пол и скрипка. Оборвалась струна... С помутневшими глазами и полуоткрытым ртом старуха опрокинулась навзничь...

Сбежавшиеся люди увидели на безжизненно повисшей с ящика руке татуировку — 231088...

Один за другим люди отходили с безнадежным, огорченным видом. Кто-то спросил:

— Умерла?

— Хуже. Паралич...

От Шелли это пытались скрыть. Сказали, что мать почувствовала себя плохо, но ей непременно станет лучше...

Хаим и Ойя валились с ног от усталости. Они не отходили от пианистки, ухаживали за ее матерью. Тем временем с парохода исчезли матросы в малиновых беретах. Оба эсминца снялись с якоря. Хаим заметил это, когда совсем рассвело и неподалеку от парохода вместо эсминцев показалась канонерская лодка британской береговой охраны.

Едва взойшло солнце, как измученные, помнящие пассажиры засуетились, торопливо стали куда-то ходить, на ходу о чем-то говоря, словно дел у них было по горло, а до высадки оставались считанные минуты. Переодетые холуцы опять сновавали по палубам. Штаб Хаганы после ухода эсминцев снова что-то затевал.

Лишь немногие пассажиры спокойно стояли у перил и подолгу рассматривали видневшиеся вдали причалы, пристань и еще погруженный в сон город.

Но вот со стороны порта показался быстроходный катер. Приблизившись к пароходу, он описал широкий круг, сбавил ход и остановился между пароходом и канонерской лодкой. На борту стоял человек в белой блузе, он крикнул в рупор:

— Шолом, иудеи! Да будет счастливым ваше прибытие на обетованную землю, родственники желанные!

Со всего судна люди устремились на палубы, словно наконец-то с неба снизошел ожидаемый тысячелетиями мессия. Каждый хотел поскорее увидеть и услышать первого человека с легендарной «земли предков». Многие женщины плакали от умиления, приветствовали посланца, размахивая платочками, шляпами... Минуту или две столпившиеся на палубах пассажиры с воодушевлением слушали обращенные к ним медоречивые приветствия. Но вот кто-то выкрикнул:

— Нам здесь плохо!

И хотя было очевидно, что человек на катере не услышит голоса пассажиров, вслед за первым криком взметнулась многоголосая волна выкриков:

— У нас есть больные!

— Сидим без пищи!

А человек с катера продолжал славословить:

— Здесь земля манная, реки молочные, берега кисельные. Добро пожаловать в дом родной, иудеи!

- Сидим без хлеба!
- Умираем от жажды!
- У нас есть убитые!

С канонерской лодки взлетела красная ракета.

Человек в белой блузе понял предупреждение. Помахав на прощание рупором, он опустился в катер, который, быстро набрав скорость, умчался в сторону порта.

Пассажиры, убедившись в том, что «там уже знают» о прибытии корабля, облегченно вздыхали и не сомневались, что «там, конечно, позаботятся»... Никто из них не видел, как в то время, когда все они хлынули на палубы одной стороны парохода и с волнением слушали приветствия человека в белой блузе, к противоположной стороне судна, почти невидимый в ярких лучах восходящего солнца, подошел небольшой катерок. И только Ойя, оставшаяся с больной матерью Шелли, видела, как с катерка в нижний грузовой трюм высадился человек с объемистым чемоданом. Она ничего не заподозрила и наблюдала за происходящим просто из любопытства. Но когда высадившийся человек вернулся на катерок за вторым чемоданом и, запрокинув голову, воровато оглядел палубу, Ойя вздрогнула. Она узнала этого человека: он был на Кипре с раввином Бен-Ционом Хагера в канун того памятного дня, когда глубокой ночью Стефанос увез ее в свой притон. Да, это был он: небольшого роста, худощавый, с плешинкой, в больших очках. Почти исчезнувший страх преследования, мучивший ее в первые часы пребывания на пароходе, нахлынул с новой силой.

Когда Хаим вернулся, Ойя стала взволнованно объяснять ему что-то, но понял он немного, и причина тревожного состояния девушки осталась ему неясной.

Часам к десяти утра к пароходу причалило комфортабельное судно. Оно доставило чиновников портовой администрации, таможенников, детективов британской колониальной полиции, врача и санитаров. Следом подошло еще одно судно, доставившее представителей англо-арабо-еврейского муниципалитета. Они привезли пассажирам подарки от местного благотворительного общества «Джойнт»: пакеты с пресными галетами и мятными лепешками, апельсинами и миниатюрными сэндвичами с плавленым сыром, а также ящики с маленькими бутылками какого-то напитка типа лимонада. Это же судно предназначалось для перевозки пассажиров с парохода в порт.

Таможенные чины объявили, что в первую очередь будут вывезены раненые и больные. Одновременно было сообщено, что покинуть пароход можно только по предъявлении загра-

ничного паспорта или «сертификата» с визой английского консульства на право поселения в Палестине.

И снова на пароходе возникла буря негодования. Люди кричали, спорили, плакали, проклинали Чемберлена и Гитлера, а заодно с ними и холоуцев, повинных в том, что вместо требуемых документов у них остались жалкие обрывки бумаги.

Неистовствовали и холоуцы. Одни из них убеждали сбитых с толку пассажиров не сдаваться, бойкотировать решение портовой администрации, другие пытались воздействовать на представителей власти:

— Надо понимать состояние людей, доведенных до отчаяния убийством своих братьев!

Порыв протеста охватил всех пассажиров.

— Кошунство говорить людям о каких-то документах, когда рядом лежат еще не остывшие трупы братьев! Четырехлетний ребенок убит!

— Это неслыханно! Посреди моря остановить пароход, убивать и избивать безвинных пассажиров!

Портовые власти, чтобы выйти из затруднительного положения, решили провести сортировку людей. Выразив сожаление по поводу случившегося и будто несколько уже не интересуясь ни оружием, лежащим в трюмах, ни тем, кто повинен в его доставке, а лишь желая замять инцидент, они обратились к членам команды «трансатлантика» с просьбой «занять места по швартовому расписанию» и содействовать скорейшей отправке пассажиров на берег.

Маневр не привел к желаемому результату: объявились лишь рядовые матросы и прочий обслуживающий персонал. Капитан и его помощники не явились, и обнаружить их среди пассажиров не удалось.

Тем временем приготовились к высадке на берег раненые. Их оказалось так много, что англичане заподозрили обман и, прежде чем начать отправку раненых, решили устроить проверочный осмотр. Но первый же раненый холоуц с забинтованной головой и глазом наотрез отказался подчиниться. Остальные поддержали его, с возмущением осуждая представителей властей за ничем не оправданное недоверие к жертвам произвола.

Страсти разгорелись. Вмешались представители муниципалитета, полиция, и холоуца все же увели на осмотр. Осторожно и долго разбинтовывали ему голову, наконец сняли повязки, сняли ватную «подушку» и... одноглазый холоуц обрел второй, совершенно здоровый глаз и голову без единой царапины.

Задуманный судовым штабом Хаганы трюк с целью протащить на берег холуцев, не имеющих документов на въезд в Палестину, закончился провалом. Однако холуцы не пали духом. Подстрекаемые штабом Хаганы, они заявили:

— Или все сойдут на берег, или никто!

Представители портовых властей обещали проконсультироваться с вышестоящими инстанциями о том, как поступить с обладателями разрозненных клочков документов, а пока разрешили доставить на берег трупы убитых и предложили сойти тем, у кого сохранились документы на право поселения в Палестине.

К удивлению холуцев, такие нашлись. И холуцы обрушились на них поток отборной брани и угроз.

— Штрейкбрехеры!

— Вас Гитлер подкупил!

— Предатели нации!

— Обетованная земля не для таких!..

— Мы еще найдем вас, не уйдете!

— Мешуметы!⁷⁸

В числе «мешуметов» оказался и толстяк-ювелир в клетчатом пиджаке с широкой золотой цепочкой в лацкане. Он, видимо, не представлял, с кем имеет дело и как накалена обстановка, и потому крикнул ораве холуцев:

— Посмотрите на этих молокососов! Они хотят меня учить! Утрите сначала сопли...

Договорить ему не удалось. Ювелира оттеснили от пасажира, прижали к борту с явным намерением сбросить в море. Не подоспей таможенники и полиция, толстяку бы несдобровать. Уже сидя на судне, увозившем его вместе с другими обладателями документов на берег, ювелир вдруг схватился за отворот пиджака, ощупал карман и вскрикнул:

— Пс-с-я! Паршивые собаки, вырвали часы! Последняя модель «Лонжина» с девяносто шестой пробой... Вы знаете, какое это золото? А цепочка сколько весила!

Ойя снова пыталась объяснить Хаиму что-то, как ему казалось, весьма серьезное: он видел ее встревоженные глаза. Но почему? Этого Хаим так и не понял. Да и некогда было особенно задумываться — Шелли, совсем обессилев, то и дело теряла сознание.

Трупы холуцев и Доди были перенесены на транспортное судно, а мать Шелли Беккер осталась на пароходе. За ней, как и за другими больными, должно было подойти специальное судно с медиками.

⁷⁸ Мешумет — выкrest; изменник, осквернивший чистоту иудейской веры.

Вдруг Ойя, схватив Хаима за руку, указала на появившегося в конце узкого прохода судна сухощавого человека в очках. Обознаться Хаим не мог. Этого человека он тоже видел однажды вместе с Бен-Ционом Хагерой. Горбатая дочь раввина Лэя назвала его каким-то «курьером» и «важным человеком». Она туманно тогда пояснила, что прибыл он «оттуда»... Теперь Хаима поразило, что вместе с очкастым курьером шел заправила штаба Хаганы, главарь холоуцев — молодой человек с коротко остриженной бородкой.

«Тайны мадридского двора! — подумал Хаим. — Холоуцы орали, чтобы никто не смел покидать пароход, обзывали «штрейкбрехерами» и «предателями», а их вожачок смывается почему-то первым!.. И откуда у него документы? Говорили же, что все холоуцы в знак протеста порвали их?!»

Судно причалило к пристани. Пассажирам предложили пройти в невзрачный домик рядом с главным зданием порта. Здесь мужчин и женщин направили в разные помещения. Им предстояло пройти санитарную обработку. В заключение беглого медицинского осмотра каждый пассажир получал порцию противохолерной вакцины и изрядную дозу белого порошка за пазуху и за ворот. Откашливаясь, сморкаясь и чихая, они один за другим выходили из помещения. Толстяк-ювелир, как всегда, ворчал:

— Придумали какие-то прививки, дезинфекции!.. Смотрели бы лучше, чтобы средь бела дня не грабили, как... — Он чихнул и с отвращением сплюнул. — Кому это нужно? Зачем?

Хаим вышел во двор, походивший на большой теннисный корт, обнесенный высокой оградой из плетеной проволоки. По другую сторону ограды толпились празднично одетые люди: обособленно стояла группа молодых парней и девушек. Каждого выходившего во двор после санитарной обработки они приветствовали шумными возгласами:

— Брухим абаим!⁷⁹

— Брухим абаим ше-игатем ла-а-Эрец!⁸⁰

Хор девочек в белых блузках с веточками маслин в руках запел боевую песню:

Эр гейт цум бафрайюнг

фун энглянд,

цум брэг.

К'айн Эрец-Исраэль

цу лихтиге тег⁸¹...

⁷⁹ С благословенным приездом!

⁸⁰ С благословенным приездом, поселяющиеся в своей стране!

⁸¹ Он идет к берегам страны Израиль, неся ей освобождение от англичан и светлые дни.

Кое-кто из стариков, едва переступив порог здания и услышав приветствия встречающих, опускался на колени и со слезами на глазах благоговейно целовал землю... Одни тихо нашептывали, другие звонко, нараспев воздавали всевышнему молитву за избавление от ужасов минувшего.

Двор постепенно заполнялся гулом голосов. С обеих сторон ограды люди выкрикивали фамилии и имена родных или знакомых, которых надеялись встретить.

— Гутвар Фроим! Гутвар Фроим!.. Держит мучную лавку в Натании! Фроим Гутвар!.. — кричал охрипшим голосом старик, уже не первый раз проходя вдоль ограды.

— Тойви Гриншпун из киббуца Квар-шале!.. Гриншпун! Тойви Гриншпун!.. — звонко вторила старику обливавшаяся потом тучная женщина.

Хаим сиротливо стоял в сторонке, смотрел на взволнованные лица людей, ожидавших родственников, оставшихся на пароходе, и с тревогой думал об отце и сестренке. Доберутся ли они до него и когда это будет? Сможет ли он обеспечить им кров и хлеб насущный? В раздумье побрел он к решетчатым воротам, по другую сторону которых на вышке с «грибком» стоял английский часовой. Внимание Хаима привлекла невысокая эстрада под большим полосатым тентом, увенчанная белым панно, на котором огромными синими буквами было выведено:

ЭРЕЦ ХАЛАВ УДВАШ⁸²

На эстраде сутились юноши и подростки в голубых рубашках и светлых шортах; с деловым видом они расставляли пюпитры, раскладывали ноты, усаживались на свои места с начищенными до зеркального блеска медными инструментами.

Сквозь шум разногласного говора, пение и приветственные возгласы до Хаима донеслись слова, заставившие его насторожиться:

— ...из Вены... с мальчиком.

Он оглянулся: по другую сторону ворот, рядом с невысокой женщиной и полной девушкой, стоял рослый мужчина. Он кричал в сложенные рупором ладони:

— Фейга Штейнхауз и Шелли Беккер с мальчиком! Из Вены!..

⁸² Страна молока и меда

Хаим понял, что этот человек и есть дядя Шелли Беккер — инженер-бетонщик из Яффы.

У выхода из здания он увидел Ойю и рядом с ней Шелли. Яркое солнце особенно отчетливо выделяло снежно-белую поседевшую голову пианистки.

— Шелли Беккер! — крикнул Хаим стоявшему у ворот инженеру из Яффы. — Вот Шелли Беккер из Вены!

Инженер не понимал, на кого указывал ему чудаковатый парень. Он знал племянницу по фотографиям и ожидал, что она придет с сынишкой и матерью...

— Ваш дядя, Шелли! — Хаим подбежал к Шелли. — Вот он стоит с женой и дочерью, ищет вас!

Шелли со стоном бросилась к воротам.

— Дядя Бэрл! Это я, несчастная Шелли Беккер. Это я, дядя Бэрл, Шелли Штейнхауз!

— Шелли? Шейнделэ?! Что с тобой? Где мама, Доди?

— Шейнделэ! Милая! Что случилось?

— Это я, дядя Бэрл, я! Горе, ой, какое большое горе! Убили нашего Доди! Они его убили! Они... — указывая на часового, стоявшего на вышке, кричала Шелли. Силы изменяли ей. Цепляясь руками за решетку, она повисла на ней, опустилась на колени. — Ой, за что такое горе! — причитала она. — Убили папу и мужа нацисты... Убили моего бедного мальчика англичане... Моего Доди-и уже нет! И мама там, дядя Бэрл! Она больна, осталась там, на пароходе...

На эстраде загремел духовой оркестр, исполнявший «Атикву»⁸³. Пережитые тревоги, радость прибытия, надежды на будущее — все это вызывало у измученных людей слезы умиления. И вдруг воздух потряс взрыв, земля содрогнулась под ногами, с грохотом распахнулись двери и окна портового здания, со звоном посыпались стекла, на эстраде разбросало пюпитры, ноты, медные трубы. Слетел с вышки «грибок», укрывавший часового от палящего солнца. На мгновение все стихло, замерло...

— Пароход взорвался! То-онет! — вдруг крикнул часовой с вышки. И, словно эхо, со всех концов раздалось полное ужаса голоса:

— Взорвался пароход!

— Он тонет!

— Там люди!..

В нарастающий шум встревоженных голосов ворвался пронзительный вопль, прерываемый хохотом. Это Шелли Беккер, повиснув на решетке ограды, забилась в истерику...

⁸³ Буквально: надежда; сионистский гимн.

Хаим инстинктивно сжимал трясущуюся руку Ойи и не мог оторвать взгляд от сорванного взрывной волной и повисшего на одном конце огромного белого панно. Тупо уставившись в его ярко-синие буквы, он никак не мог разобрать перевернутую надпись:

ШВАУА ЯУУАХ ПЛЕ

11

Авторитет адмирала Канариса в среде национал-социалистской верхушки неожиданно пошатнулся. Было это ровно два года тому назад. И, возможно, окончательное решение, которое он тогда принял, не пришло бы ему в голову, если бы в тот солнечный воскресный день не довелось встретить соседа по вилле на узкой улице Зюденде — пригорода Берлина.

Проезжая в машине, глава имперской полиции безопасности весьма холодно обменялся приветствием с начальником абвера, который в этот час совершал обычную прогулку с любимцей таксой по кличке Сабина.

Канарис давно понял, что ультранацизм Гейдриха, его чрезмерная жестокость, порою переходящая в оголтелый садизм, — качества в значительной мере напускные и что глава имперской полиции безопасности взял их на вооружение не только ради сугубо карьеристских целей, но и как своего рода «алиби», которым в нужный момент он мог бы оперировать... Вместе с тем начальник абвера прекрасно знал, что, каким бы безгранично преданным национал-социализму не казался Гейдрих, какими бы доводами и измышлениями он не пытался очернить абвер и его главу и как бы ни благоволил к нему Генрих Гиммлер и даже сам фюрер, он очень быстро может лишиться доверия, почестей, славы и власти... Для этого адмиралу потребуется немного — извлечь из потайного сейфа соответствующее досье, из которого всем станет известно, что отец матери Рейнгардта Гейдриха был сыном актера-немца и его жены еврейки.

Однако начальник абвера пока не решался пустить в ход этот козырь. К тому были особые причины. Некоторое время назад Канарис обнаружил, что в одном из его тайных сейфов кто-то рылся. И он не исключал, что этот «кто-то» — лицо, подосланное Гейдрихом с целью выкрасть досье, о существовании которого он, по всей вероятности, пронюхал или во всяком случае догадывался. Правда, в том сейфе не было досье Гейдриха, но именно там хранилась папка с документами, характеризующими личность самого фюрера... Среди

них была и история перенесенной и запущенной Адольфом Гитлером в молодости «неприличной» болезни и возникших впоследствии в связи с нею невралгических, психических и других патологических осложнений.

Гитлер долго и тщательно разыскивал эти документы, но, потеряв их след, пришел к заключению, что они окончательно затеряны и, следовательно, уничтожены. И вот теперь, если фотокопии с них находятся у Гейдриха, то в нужный момент он укажет, где хранились оригиналы и кто осмелился столь длительное время скрывать их от самого фюрера. И, главное, для какой цели все это делалось?

Не сомневался Канарис, что в этом случае фюрер станет отрицать подлинность документов и, естественно, обрушится с обвинениями в попытке оклеветать его, опорочить, дискредитировать... Не исключено также, что при создавшейся ситуации даже непреложные доказательства о подлинном происхождении Рейнгардта Гейдриха могут быть признаны фиктивными... Однако адмирал был обладателем еще одного, не менее важного досье, содержащего такие же данные о происхождении Адольфа Гитлера, обнародование которых, как полагал Канарис, способно потрясти самые основы национал-социализма... Эта объемистая и, как полагал адмирал, бесценная папка с неопровержимыми документами хранилась им в другом тайнике, не имеющем ничего общего с ведомством абвера.

Канарис шел, погруженный в эти мысли, обдумывая и отбрасывая один за другим различные варианты действий, которые позволили бы ему укрепить свое положение, успешно парировать возможные уколы и удары завистливых недругов. При этом он, как всегда, руководствовался своей не однажды проверенной теорией, согласно которой «в запасном выходе надо найти дополнительный выход»... И тем не менее, какие бы варианты он не придумывал, в конечном итоге приходил к одному и тому же: выжидать больше нельзя, дальнейшие провалы немецкой агентуры в Англии могут привести к непоправимым последствиям как для него лично, так и для самой Великобритании... И Вильгельм Канарис решил на самую крайнюю меру. Между прочим, это было в его характере...

Уже на следующий день он обратился к статс-секретарю канцелярии фюрера обергруппенфюреру СС Гансу Ламмерсу. С ним он был в дружеских отношениях еще со времени совместной работы в отделе морского транспорта. Ламмерс обещал в ближайшие дни устроить ему аудиенцию у фюрера.

Через два дня, зная, что Гитлер находится в имперской

канцелярии, Вильгельм Канарис без предварительного звонка явился в полной адмиральской форме.

Удивленный неожиданным визитом начальника абвера, статс-секретарь канцелярии дружески поведаль ему, что фюрер второй день пребывает в плохом расположении духа, не выходит из кабинета, никого не принимает, ни с кем не желает разговаривать.

— Вчера он отказался от обеда... — почтительным шепотом сообщил он. — Сегодня не принял завтрак и с утра один в кабинете!...

Канарис знал, что периоды безудержно бурной деятельности сменяются у Гитлера приступами полной отчужденности и замкнутости. В подобных случаях он обычно уединяется в свою горную резиденцию Оберзальцберг.

— Мне кажется, момент — подходящий для аудиенции!

— Сейчас?! — удивился Ламмерс. — Сомневаюсь...

— У меня важный, неотложный разговор... И я уверен, что разговор этот выведет фюрера из депрессии...

Обергруппенфюрер СС, прикусив губу, помедлил с ответом.

— В лучшем случае, — предостерегающе сказал он, — следует отказ... Вторично обращаться по этому вопросу будет гораздо сложнее...

Доводы обергруппенфюрера СС при других обстоятельствах заслуживали внимания, но чутье подсказывало Канарису, что надо действовать именно сейчас, когда Гитлер находится в подавленном состоянии. В подобных случаях Вильгельм Канарис шел к намеченной цели, взламывая, как ледокол, все преграды на своем пути и одновременно лавируя среди подстерегавших его на каждом шагу препятствий, чинимых завистливыми недругами.

— И все же прошу вас, Ганс... Дело не терпит отлагательства!

На холеном лице обергруппенфюрера СС мелькнула гримаса, означавшая, что он готов выполнить просьбу, однако за последствия не ручается.

Канарис ответил на нее, дважды утвердительно кивнув головой.

Обергруппенфюрер СС одернул мундир, поправил ремень с портупеей, привычным жестом ощупал галстук и железный крест, выпрямился и шагнул к дверям кабинета Гитлера.

Канарис почувствовал, как учащенно забилось его сердце. Подобного с ним давно не случалось. Он нервничал, но, как

всегда, внешне казался спокойным. И когда двери кабинета Гитлера широко распахнулись, адмирал встретил статс-секретаря взглядом, не выдавшим его волнения.

Как это было принято, Ламмерс звонко произнес:

— Фюрер и германский канцлер готов принять вас, господин адмирал. Хайль Гитлер!

За спиной начальника абвера бесшумно закрылись массивные двери. Вскинув руку, Канарис одновременно произнес магические слова приветствия. Погруженный в свои мысли, Гитлер стоял перед огромным гипсометрическим глобусом, заполнявшим почти весь промежуток между двумя окнами кабинета. Он не удостоил адмирала ответом на приветствие. Это был плохой признак. Но Канарис не стал вторично произносить приветствие. И не потому, что этим он принизил бы чувство собственного достоинства, а главным образом потому, что мог навести Гитлера на мысль, будто он, начальник абвера, заискивает, лебезит. К такому тону общения с ним нацистский фюрер относился нетерпимо, не без основания усматривая в нем стремление собеседника завуалировать свои истинные взгляды, намерения и цели.

Канарис решил держаться с достоинством, не давать повода фюреру для каких-либо подозрений. Он терпеливо ждал. И вдруг Гитлер, как бы сам с собою, заговорил:

— Я преодолел невероятные трудности на своем пути. И я открою немецкой нации такие возможности расширения жизненного пространства, о каких не смел помышлять ни один государственный деятель! Эту священную миссию я выполняю в самый кратчайший отрезок времени вопреки всем козням кучки узкогрудых ничтожеств. Но для этого мне нужны люди особого склада!— продолжал Гитлер, повышая голос. — Люди, безоговорочно разделяющие мое мировоззрение, безгранично преданные мне и только мне, а не жалкие существа с потребностями, ограниченными плотскими наслаждениями... Мне нужны люди, способные дерзновенно мыслить и действовать без малейших колебаний!

Канарис не знал, обращает ли Гитлер эти слова к нему или, не заметив его присутствия, разговаривает сам с собой. У начальника абвера перехватило дыхание при мысли, что его пребывание в кабинете может явиться полной неожиданностью для фюрера... А Гитлер, по-прежнему обращаясь к глобусу и все больше впадая в обычный для него патетический тон, продолжал:

— Да! Люди, идущие к заветной цели, сметая на своем пути все преграды, не гнушающиеся никакими средствами, не стесненные никакими нормами так называемой общече-

ловеческой морали!.. Я сам иду к цели именно так, и я требую от тех, кто идет со мной, неукоснительно следовать моему примеру! — обернувшись наконец к Канарису, уже кричал Гитлер. — Я величайший вождь, которого когда-либо имел немецкий народ! И если две тысячи лет назад римский император сказал: «Я Кай-Юлий Цезарь акеменитос!»⁸⁴, то меня, германского рейхсканцлера и фюрера своего народа, мир познает и запомнит на вечные времена как самого жестокого завоевателя!

Он умолк. Канарис сделал несколько шагов к глобусу, перед которым, как гном у подножия гигантской скалы, все еще стоял Гитлер, и, в знак полного согласия с мыслями фюрера о его собственном историческом предназначении, энергично вскинул руку и четко произнес:

— Хайль Гитлер!

Вместо ответа Гитлер небрежно вскинул к уху свою длинную кисть руки и вновь заговорил:

— Мне нужны люди. Доктор Геббельс говорит: «позовите их, и они придут!» Но я не верю людям из массы, они могут пойти с кем угодно и куда угодно. Надо только вовремя бросить им лакомую приманку. И они пойдут... Люди из толпы сегодня идут за мной, а завтра они могут потянуться за новой приманкой, брошенной моими врагами... Людьюми надо искусно овладевать и твердо управлять! Потому что человек из толпы — обыкновенный механизм. И, как всякий механизм, он нуждается в постоянном управлении. Мне нужны миллионы таких безотказно действующих механизмов! Нужны мне и тысячи ревностных единомышленников, способных четко, надежно управлять миллионами человеческих механизмов!..

Почтительно слушая фюрера, начальник абвера вновь и вновь мысленно вопрошал, как могло случиться, что во главе государства и нации оказался этот жалкий маньяк. Вспомнив строчку из истории болезни Гитлера о невралгических, психических и прочих патологических осложнениях, Канарис, сам того не желая, пристально глянул на его бескровное, как у скопца, лицо с бешено блуждающими глазами, прямым большим носом и словно приклеенными для потехи топорщащимися черными усами, мельком окинул взглядом его низкую, с впалой грудью фигуру, неистово жестикулирующие длинные руки, тонкие и очень короткие ноги... И вдруг Гитлер, как выключенный радиоприемник, оборвал на полу-

⁸⁴ Победитель (лат.).

слове свою речь. Полным безумия взором он уставился на адмирала, словно догадывался о его крамольных мыслях.

Но Канарис не смутился. Будто не замечая резкой перемены в состоянии фюрера, он спокойно, в унисон только что высказанным соображениям, сказал:

— Я хорошо понимаю вас, фюрер. Безотказно действующий механизм во всех сферах государственной жизни — неперемненное условие торжества величественных идей национал-социализма. Но, фюрер, как это ни печально, нередко приходится сталкиваться со злоумышленниками, ухитряющимися подсыпать песок в хорошо налаженный механизм...

— Это должно быть исключено полностью! Тем более в вашем, адмирал, ведомстве, действующем за пределами рейха! — резко возразил Гитлер, впиваясь остекленевшими глазами в белокожее, предельно спокойное лицо начальника абвера. И, точно сорвавшаяся с цепи овчарка, он вдруг ринулся к нему вплотную, все так же пристально всматриваясь в его глаза, словно желая проникнуть в самые извилины мозга своего начальника разведки.

А Канарис, по какой-то неуловимой ассоциации, вспомнил в эти секунды одного тюремного патера, к вороту мантии которого он «припал» много лет назад во имя спасения собственной жизни. ...И вдруг ему захотелось так же, как тогда, вцепиться обеими руками в худосочную шею, на которой держалась голова этого безумца со спадающей прядью жидких волос, и душить... Душить крепко, долго.

С трудом, напрягая силу своей воли, Вильгельм Канарис заставил себя не сдвинуться с места, удержаться от соблазна, не шевелиться и продолжать разговор в спокойном деловом тоне.

— Если позволите, фюрер, я доложу о мерах, предпринятых абвером для упрочения нашей агентуры в Великобритании...

— Опять эти англо-саксы подложили нам свинью?

— К сожалению, фюрер, это так. Но мы покончим с этим!

— Хочу верить... — скептически заметил Гитлер и, круто повернувшись, направился к креслу за своим столом.

Канарис облегченно вздохнул.

— Позвольте вкратце изложить суть наших контрмер и...

— Я слушаю, слушаю... — нетерпеливо прервал Гитлер, — но хочу прежде всего, чтобы вы уяснили, адмирал, что незаменимых людей в рейхе нет... Кто не способен работать со мной, кто не дорожит честью партии, не предан до конца немецкой нации — пусть убирается! Я поставлю молодых,

энергичных, крепких, жестких людей. Таких, например, как Гейдрих... Он молод, а как плодотворна его кипучая деятельность! Почему же люди, подобные ему, должны оставаться на второстепенных ролях?! Это не только несправедливо по отношению к человеку, преданному мне всем своим существом, но еще и преступно по отношению к германской империи, вступившей на путь величайших исторических свершений!

Для Канариса не был новостью излюбленный фюрером прием — расхваливать человека, антипатичного собеседнику. В таких случаях Гитлер с особым усердием превозносил эсэсовцев.

— Совершенно справедливо, — сдержанно, будто не к нему относилось предупреждение, ответил Канарис и, спокойно рассказав о мерах, принятых абвером против действий английской контрразведки, коснулся вопроса об оценке информации, поступающей из-за границы. Этим начальник абвера в самой категорической форме выразил свою неудовлетворенность.

— Эффективность использования Верховным командованием сухопутных сил империи ценнейших сведений, — заявил Канарис, — равна подчас нулю.

Гитлер порывисто переменил позу, но начальник абвера, как бы не замечая его реакции на столь категоричное и нелестное замечание в адрес ближайших сподвижников фюрера, настойчиво продолжал:

— Основная причина этого вопиющего явления состоит в том, что отдельные лица, облеченные властью в Генштабе, все еще пребывают в плену версальских ограничений, практикуют давно отжившие методы использования сведений, которые абвер добывает по вашему приказанию, фюрер...

Наступила пауза. Канарис хотел проверить, какое впечатление произвели его слова на Гитлера. Это был первый зонд, запущенный начальником абвера перед тем, как окончательно решить, следует ли ему и дальше развивать «наступление» или благоразумнее пока воздержаться?

Гитлер уставился в сине-голубые хитрые глаза адмирала и, не меняя позы, вполне умеренным тоном предложил Канарису продолжать.

— Я твердо убежден, что ныне, когда германская нация стоит перед грандиозными свершениями, возглавлять вермахт следует вам, фюрер...

Заявление начальника абвера несколько озадачило Гитлера. Однако он не пустился в рассуждения, как ожидал Канарис, а лишь спросил:

— У вас есть основания считать Главнокомандующего сухопутными силами несостоятельным?

Вопрос был задан в лоб, и Канарис еще не улавливал преследуемую Гитлером цель. Но он все же догадывался, что в отношениях между фюрером и главнокомандующим сухопутными силами генералом фон Фричем не все обстоит благополучно. Канарис утвердился в этой догадке, когда Гитлер упомянул об «узкогрудых ничтожествах». Так бывший ефрейтор кайзеровской армии порою именовал некоторых деятелей из Генерального штаба, не одобрявших «концепции» его новой стратегии.

Искушенный в интригах адмирал без флота ответил:

— Я прошу, фюрер, быть снисходительным к тому, что я скажу, и не принимать за лесть то, что, к счастью для немецкой нации, является непреложным фактом. Вы являетесь инициатором, творцом и душой всех планов и начинаний рейха. В своих замыслах вы исходите из принципов совершенно новой стратегии, и я убежден, что никто из тех, кто возглавляет вермахт, при всей преданности идеалам национал-социализма, не в состоянии до конца ощутить или хотя бы понять широту и историческое значение ваших замыслов! Поэтому вполне закономерно, что никто из них не в состоянии неотступно, без малейших промахов и колебаний осуществить эти грандиозные планы...

Гитлер слушал, приняв излюбленную позу — сложив руки на груди, склонив на бок голову со свисающей прядью волос, сквозь которую исподлбья рассматривал маленького адмирала.

— Как я доложил вам, — продолжал Канарис, — для предупреждения дальнейших провалов в Великобритании, занимающей в планах рейха немаловажное место...

Гитлер раздраженно перебил:

— «Немаловажное место»? Это не те слова, адмирал. Британия — один из наиболее первостепенных объектов в наших стратегических планах! И в самое ближайшее время мы основательно займемся ею. План «Смикер» я не намерен откладывать в долгий ящик, как бы этого ни добивались некоторые недоросли, возомнившие себя полководцами... Недооценка информации из-за рубежа — явление преступное! Однако и абвер, как я вижу, не преуспевает в вопросах, касающихся Британии? Это совершенно очевидно!.. Почему, например, до сих пор мы не имеем ясного представления о конструкции новой глубинной мины англичан?!

— Я докладывал вам, — робко ответил Канарис, — что чертежи...

— К черту чертежи! Мне нужно знать хотя бы в общих чертах, что представляет собой эта мина... Не понимаю, что мешает узнать это, если там действительно имеются верные нам люди?!

— Справедливо, фюрер. Мы имеем в лабораториях арсенала целую сеть агентов. Возглавляет ее наш человек — англичанин инженер Глейдинг...

— В таком случае он водит вас за нос!

— Позвольте заверить вас, фюрер, что этот англичанин — серьезный и заслуживающий полного доверия агент! Ему мы обязаны получением своевременной информации о четырнадцатидюймовой английской пушке. Кстати, фотокопии чертежей этой пушки были им присланы... Он же информировал нас и о новой глубинной мине...

— В таком случае заставьте его не валять дурака! Дайте понять ему, что когда мы вступим на остров, он сможет рассчитывать на нашу поддержку...

— Полностью понял вас, фюрер! Именно из этих соображений я намерен установить с ним непосредственный контакт. Возникла необходимость в самом срочном порядке направить в Великобританию человека...

— Посылайте.

— Понял вас, фюрер!.. Поездка эта сейчас, когда англичане развили бурную антигерманскую истерию, весьма рискованна, но крайне необходима...

— Посылайте! Кто вам мешает? — буркнул Гитлер, думая в это время о чем-то другом. — Не понимаю...

— Я имею в виду себя, фюрер.

Гитлер встрепнулся, словно проснулся ото сна.

— Есть такая необходимость, — поспешил продолжить начальник абвера. — Нужно на месте разобраться в том, что там происходит, а главное — надо перестроить работу агентуры, ее структуру, чтобы покончить с провалами. В противном случае проникновение агентов Скотланд-Ярда в нашу сеть может принять характер метастазы...

Гитлер долго сосредоточенно думал, прежде чем ответить. У него не было сколько-нибудь осязаемых, убедительных причин сомневаться в преданности Канариса рейху и лично ему — Гитлеру, и все же он интуитивно остерегался его. Пытаясь докопаться до источника этой двойственности своего отношения к начальнику абвера, Гитлер вспомнил, как некоторое время назад адмирал точно так же неожиданно явился с предложением поддержать высланного на Канарские острова бывшего начальника генерального штаба испанской армии генерала Франко, которого мало еще кто знал.

Тогда и он, и Геринг сомневались в успехе затеи Канариса. Однако он, развив бурную деятельность, вскоре рассеял скептицизм фюрера. Адмирал лично и многократно вылетал на транспортных самолетах без опознавательных знаков в Испанию, в Испанское Марокко и еще куда-то, повсюду вел переговоры с будущими мятежниками, создавал базы для снабжения их войск. Особенно запомнились Гитлеру ловкие махинации Канариса с куплей и продажей оружия. Он организовал закупку в ряде европейских стран оставшегося со времен мировой войны устаревшего оружия, большими партиями отправлял его в Германию, а здесь люди абвера приводили этот хлам «в порядок»: портили затворы, подпиливали бойки, перекаливали стволы винтовок, карабинов, пулеметов. «Обновленное» таким образом оружие доверенными эмиссарами Канариса перепродавалось испанским республиканцам. На вырученное золото они же скупали уже вполне пригодное оружие для войск Франко...

Не забыл фюрер, что именно Вильгельм Канарис с помощью своего давнего друга — начальника итальянской военной разведки генерала Роатта, убедил Муссолини оказать поддержку испанским фалангистам. Это был первый шаг, придавший союзу Германии и Италии подлинно действенный характер!.. Знал Гитлер и о том, что только Канарису рейх был обязан размещением за границей заказов на постройку подводных лодок в обход ограничений, установленных Версальским договором.

Эти и другие подобные факты убеждали Гитлера в том, что Вильгельм Канарис всегда лично брался за решение наиболее сложных задач и добивался успеха. Вот и теперь очевидна необходимость коренным образом исправить положение дел с агентурой абвера в Англии. И кто же, как не Канарис, с наибольшими шансами на успех может выполнить эту незаурядную по сложности задачу? Отбросив сомнения, Гитлер вскочил и, прижав к груди подбородок, быстро направился к глобусу, словно намеревался его таранить.

По лицу Канариса пробежала злая усмешка, он подумал: «Жажда власти влечет его к изображению Земли, но придет день, и он расшибет себе голову о твердь натуральной земли...»

Внезапно Гитлер обернулся, пронзительным взором оглядел с ног до головы Канариса, словно не верил, что все услышанное было произнесено начальником абвера, затем тихо сказал:

— Хотите лично отправиться в Британию? Что ж!

...В невзрачном здании аэропорта вблизи Амстердама в те дни было необычно многолюдно. Рождественские каникулы подошли к концу, гостившие в столице Нидерландов голландцы и датчане, бельгийцы и англичане, немцы и французы спешили вернуться к родным очагам, а бушевавшая несколько дней кряду метель нарушила движение поездов. Многие гости столицы устремились к кассам авиакомпаний.

Вместе с пассажирами, дожидавшимися посадки на самолеты, у горячих калориферов мрачного холла аэропорта толпились и пришедшие встретить близких, уехавших на каникулы за границу. В накуренный холл аэропорта январский мороз загнал и элегантного, лет сорока пяти человека с проглядывавшими из-под меховой «шведки» посеребренными висками. Это был господин Фриц Бюллер — резидент германского абвера в Нидерландах. В аэропорт его привела шифровка, полученная ночью из Берлина. В ней говорилось о необходимости встретить некоего Герхардта Вольмана...

Когда же к зданию аэропорта подрулил трехмоторный самолет немецкой гражданской авиакомпании «Люфтганза», то господин Бюллер без труда признал в одном из пассажиров, человеке небольшого роста в синем пальто, — самого руководителя абвера.

В сопровождении своего заместителя в Нидерландах адмирал Канарис ехал в комфортабельном форде по узкой асфальтовой дороге, по обеим сторонам которой искрились на солнце заснеженные дюны. Впервые за многие месяцы он не испытывал неотступного, гнетущего чувства тревоги. Фюрер не только санкционировал его поездку в Британию, но дал согласие сохранить этот вояж в строгом секрете от высших чинов министерства иностранных дел и службы безопасности рейха.

С наслаждением Канарис всматривался в своеобразный ландшафт, в мелькавшие по сторонам дороги ветряные мельницы, как по линейке выстроившиеся аккуратные сельские домики, видневшиеся вдали таинственные древние замки с красными кирпичными башнями и высокими черепичными крышами. И не раз все это внезапно возрождало в нем, казалось бы, давно забытые ощущения, испытанные в годы детства и отрочества при чтении сказок, приключенческих и исторических романов. За все время езды от Амстердама до Гааги Канарис не сказал своему спутнику ни слова и только теперь, стараясь смягчить тон, он предупредил Бюллера:

— Вы, надеюсь, понимаете, что ни одна живая душа не должна знать о моем прибытии сюда. В том числе, — под-

черкнул многозначительно начальник абвера,— и Его Превосходительство германский посланник граф Цех-Беркерсрод...

Еще раз он напомнил об этом Бюллеру, когда машина, плавно замедлив ход, притормозила у подъезда добротного особняка на улице Ян-де-Витт-Лаан.

Всего девять дней потребовалось Канарису задержаться в Гааге, чтобы обзавестись всеми необходимыми документами и превратиться из немца Герхардта Вольмана в голландца Георга де-Винд... Эту метаморфозу Бюллер осуществил весьма ловко при помощи «Имперского немецкого сообщества», установившего через своего голландского агента Андриана Муссерта связь с некоторыми правительственными учреждениями, полицией и придворными королевы Вильгельмины. Многие лица, занимавшие видные посты в этом государстве, получали через Фрица Бюллера «за благотворную деятельность» крупные суммы денег и нередко, по рекомендации резидента абвера, от имени самого фюрера удостоивались высоких орденов Третьей империи.

Георг де-Винд в качестве коммерсанта известной антикварно-ювелирной фирмы «С. Дж. Филлипе», имевшей в Лондоне, на Нью-Бондстрит, 113, огромный магазин и представительство, на самолете авиакомпании «Бритиш Еуропен Айрвайс» благополучно прибыл в Великобританию и с крайдонского аэровокзала в предместьях столицы, как обыкновенный смертный, уехал на первом же попавшемся такси.

Английским языком новоявленный голландский коммерсант владел неплохо. Назвав шоферу адрес, он стал с интересом озираться по сторонам. Это был один из немногих столичных городов мира, в который нога Вильгельма Канариса еще не ступала. Слякоть на тротуарах и дорогах, пронизывающая сырость в воздухе, непривычный запах гари, бесчисленное множество дымящихся труб, проглядывавших сквозь густое марево тумана, окрашенного в желто-коричневые тона светом включенных днем и ночью автомобильных фар с желтыми фильтрами, убожество жилых домов в рабочем предместье, мрачность старинных зданий,— все это не порождало приятных ощущений. Канарис морщился, порицая неведомо кого за доведенный до уродства урбанизм. Лабиринт ряда улиц, по которым проезжал таксомотор, напоминал ему кое-какие кварталы Нью-Йорка, но со столицей рейха ни малейшего сходства он не находил.

Остановился представитель антикварно-ювелирной фирмы «С. Дж. Филлипе» в роскошной квартире абверовского резидента по связи на Редклиф-гарденс, одной из респектабельных улиц лондонского района Челси. Получив от резидента ис-

черпывающие сведения о положении дел с агентурой абвера, Канарис под вечер следующего дня отправился на такси за Кингс Кросс.

Недалеко от Каледонского базара, где днем среди моря палаток с хламом бродят любители старинных вещей, де-Винд остановил такси. Дальше он предпочел идти пешком. Ничем не выделяясь среди прохожих, он направился вдоль высокого забора, из-за которого выглядывало старинное облезлое здание. Невольная усмешка скользнула по лицу человека, подходящим местом жительства для которого было именно подобное здание: это была Пентонвильская тюрьма.

Однако начальнику германского абвера пока не приходилось опасаться попасть в это заведение. Он прибыл в страну, против которой вел подрывную деятельность только в силу положения, занимаемого в Третьем рейхе, но именно он не раз оказывал этому государству услуги и знал, что, несмотря ни на что, здесь продолжают возлагать на него весьма большие надежды.

Не доходя до Каледонской дороги, по-прежнему не оборачиваясь и не оглядываясь, словно всю жизнь прожил в этом районе, Вильгельм Канарис свернул в подъезд старинного дома. Здесь он встретился с одним из главных агентов абвера в Англии. Выслушав подробный доклад о деятельности группы, знакомствах и связях, начальник германской разведки рекомендовал уделить особое внимание соблюдению мер предосторожности, с этой целью внес ряд изменений в структуру и методы работы агентуры, потребовал регулярно отправлять в рейх четкую информацию.

В тот же вечер он вернулся в квартиру резидента по связи. И в следующие два дня голландский гость занимался тщательной проверкой различных звеньев абверовской сети. Некоторые группы он полностью реорганизовал, другие объединил, а две группы «законсервировал» до особого распоряжения.

На пятый день своего пребывания в Лондоне Канарис неожиданно для немецкого резидента по связи простился с ним и поехал в порт. Гостеприимный хозяин квартиры не знал, что в порту Канарис пересел в другую машину и отправился на Боу-стрит. Здесь для него уже была подготовлена квартира и его ожидал многообещающий агент с Вульвичского арсенала мистер Перси Плейдинг...

Руководитель одного из отделов Интеллидженс сикрет сервис, разработавший внедрение английского инженера Глей-

динга в шпионскую группу, работавшую на немцев в Вульвичском арсенале, был крайне удивлен, получив известие о пребывании в Лондоне человека, внешне очень схожего с начальником германского абвера...

Влиятельные лица, которым он немедленно доложил об этом, заподозрили очередную провокацию, сфабрикованную главой полиции безопасности Германии... Гейдрих слыл большим любителем и весьма искусным мастером подобных дел. Не раз уже он закидывал свои сети, и не раз ему удавалось провести англичан, выудить нужную «рыбку». Оттого теперь англичане действовали крайне осмотрительно. «Голландскому коммерсанту» от этого было, однако, не легче. Он проклинал на чем свет стоит медлительность своих партнеров, ради установления контакта с которыми приехал в Лондон.

Лишь к исходу дня англичане разобрались. В сопровождении присланного на роллс-ройсе широко улыбавшегося, но не проронившего ни слова тощего джентльмена Канарис укатил в Кент — аристократический пригородный район британской столицы.

Перси Глейдинг, разумеется, не был посвящен в планы своего шефа и не понимал, что немецкая и английская разведки ведут за его спиной сложную игру. Английский инженер был чем-то вроде футбольного мяча, который «соперничающие» команды все время пытались заслать друг другу в ворота, «футболили» с одного конца «поля» в другой...

Теперь «мяч» угодил в ворота, но пока трудно было определить, в чьи... Состязание приостановилось: инженер Перси Глейдинг на время был выключен из игры. Совещались «капитаны» команд...

Черный роллс-ройс с приспущенными шторками, проехав по аллее, окаймленной вековыми деревьями, доставил голландского коммерсанта и молчаливого англичанина к подъезду старинной виллы в Чартвэлле.

Статный дворецкий в яркой ливрее с позолоченной монограммой, поблескивавшей на груди, проводил гостей в громадный и угрюмый зал. Монограмма тотчас же привлекла внимание Канариса, он попытался ее расшифровать, чтобы установить, кто хозяин виллы, но тщетно. Буквы были настолько замысловато выполнены, что он не успел их распознать. Равнодушно рассматривая портреты, которыми сплошь были завешаны высокие стены зала, Канарис надеялся обнаружить знакомое по истории лицо и таким образом хотя бы приблизительно установить имя владельца виллы. Но чванливые физиономии герцогов и лордов, олицетворявшие многовековую фамильную историю, холодно смотрели на инозем-

ца, и ни одно из них не дало ответа на отнюдь не праздный вопрос, волновавший главу германского абвера.

Англичане в свою очередь тщетно пытались угадать причину столь неожиданного приезда адмирала Канариса. Впрочем, они были недалеки от истины, оценивая этот визит как шаг отчаяния. Сам Вильгельм Канарис считал свое путешествие «прыжком в прорубь за кислородом...»

Когда гость и неотступно следовавший за ним молчаливый англичанин миновали середину зала, навстречу им вышел среднего роста человек с бледным холеным лицом и гладко прилизанными на пробор жидкими волосами.

Он приближался к гостю, сдержанно улыбаясь. Канарис сразу узнал в нем своего давнего знакомого, обаятельного «адвоката», который много лет назад в бруклинском полицейском участке Нью-Йорка предложил «бескорыстные» услуги польскому эмигранту Мойше Мейерберу.

Оба джентльмена, занимавшие почти равнозначные должности в разведывательных органах своих стран, весьма холодно обменялись поклонами и не торопясь прошли в небольшую гостиную. Молчаливый англичанин, что доставил сюда гостя, остался по ту сторону дверей, которые он тотчас же тихо закрыл.

Перед роскошным старинным камином с потрескивавшими в огне деревянными брикетами они опустились в кресла.

Два матерых разведчика, один из которых давно и безуспешно стремился к подобной встрече, а другой, упорно избегавший ее и неожиданно по доброй воле явившийся к тем, кто с полным основанием считали его своим пожизненным должником, теперь не могли найти общего языка.

С первой минуты встречи англичанин был шокирован вызывающе независимым тоном и поведением немецкого партнера. Канарис явно стремился вести разговор не только как равный с равным, но и с заметным превосходством. Он не хотел дать англичанину ни малейшего повода думать, что рискованное путешествие совершено им из-за безвыходности положения, создавшегося для него в рейхе. Напротив, он достаточно откровенно дал понять собеседнику, что англичане должны быть признательны ему за этот визит, цель которого — отвести смертельный удар, нависающий над Британией. Без обиняков немец говорил о безусловном превосходстве вооруженных сил Германии и о том, что предотвратить грозящую Великобритании катастрофу чрезвычайными усилиями сможет только он — начальник абвера, хотя тоже до конца не уверен в успехе.

— Известно ли вам, сэръ, — возразил холодным тоном ос-

корбленный англичанин, — что на протяжении всей своей истории Соединенное Королевство не знало поражений, чего никак нельзя сказать о Германии?

— Разумеется, известно, — снисходительно ответил гость. — Однако истории известно и то, что всякий раз после поражения Германия быстро вновь поднималась и вновь угрожала своей военной мощью!.. К тому же, не всегда история повторяется, а поражения, в конечном итоге, чему-то учат... Для Великобритании, например, были времена, когда она твердо стояла на ногах и без особых усилий создавала удобную ей политическую погоду на континенте и далеко за его пределами. Она была, так сказать, «первой скрипкой», к которой остальные, хотели этого или не хотели, но должны были прилаживаться... Теперь на авансцену неожиданно вышел «контрабасист»! Его грубые, порою совсем не музыкальные аккорды все настойчивее и бесцеремоннее заглушают «скрипку». И надо признать, что уже теперь «скрипка» во многом подыгрывает «контрабасисту»... Зрителям это совершенно очевидно...

— Позвольте, сэр, спросить: под «контрабасистом» вы, по всей вероятности, имеете в виду Германию?

— Нет! — решительно возразил гость. — Только Адольфа Гитлера. И ни при каких обстоятельствах Германию.

— В таком случае, сэр, не слишком ли рано вы готовите сольную партию «контрабасисту»?! Стратегическое положение Соединенного Королевства далеко не так шатко, как вы его представляете. И если продолжить ваше сравнение с музыкальными инструментами, то смею вас заверить, сэр, что именно «контрабасисту», больше, чем кому-либо, грозит быть заглушенным «целым оркестром», который может быть очень быстро сколочен!..

— И на пост «дирижера» этого наскоро сколоченного «оркестра» придется призывать Кремль?! Не так ли?

— Будем надеяться, что не в качестве «дирижера»... Однако прежде всего отсюда исходит угроза для «контрабасиста» и для Германии в целом!

— Впрочем, и для «скрипки» также...

— Это вопрос спорный.. Во всяком случае несомненно, что непосредственная и реальная угроза моей стране может возникнуть только после поражения Германии, — неохотно заметил англичанин. — Что касается военной мощи, которой Соединенное Королевство...

Договорить англичанин не успел. Настежь распахнулась дверь, и в гостиную энергичной походкой вошел человек с длинной сигарой, зажатой в углу рта толстыми губами, с

большой, почти лысой головой и широким свекольного цвета лицом. Его мощная, немного сутуловатая фигура, облаченная в черный, свободно сидящий костюм и плотно облегающую грудь полосатую жилетку, казалось, сразу заполнила собой все свободное пространство гостиной.

В упитанном и далеко не молодом англичанине немец узнал одного из лордов. Встреча с ним вполне устраивала его. Уже после нескольких фраз разговор принял более деловой характер.

— Несмотря на угрожающе растущую военную мощь Германии,— сказал немец,— ее нынешние правители могут оказаться недолговечными, но это отнюдь не означает, что еще до того, как они сойдут со сцены, эта всеокрушающая сила не обрушится на вашу страну...

Лицо лорда побагровело. Он с трудом сдержал гнев, вызванный грубоватой откровенностью немца, граничащей с попыткой шантажа. Однако, как это было ни прискорбно, предупреждение Канариса имело под собой почву, и лорд это понимал. Тем не менее он возразил.

— Нет! Образовать всемирную германскую империю, установить «новый порядок» путем насильственного подчинения немцам других народов нацизму не удастся! Затея господина Гитлера и его коллег не реальна и, несомненно, потерпит крах...

— Не исключено,— сухо ответил гость,— но прежде, чем это произойдет...

— Прежде, чем это произойдет,— прервал его лорд,— ваши соотечественники должны понять, в каком положении они могут оказаться...

Немец хладнокровно выслушал англичанина. Он и сам понимал всю беспочвенность планов фюрера «создать всемирную германскую империю», но с сожалением все больше приходил к заключению, что английские партнеры, на которых он собирался делать главную ставку, и впредь будут беспомощны перед лицом назревающих роковых событий. «Однако в своем бессилии,— подумал он,— они не хотят признаваться даже самим себе!» Немец посмотрел в раскрасневшееся лицо лорда и, не реагируя на его последние слова, произнесенные менторским тоном, спокойно спросил:

— Любопытно знать, задумываются ли distinguished gentlemen с Даунинг Стрит⁸⁵ о том, что при складывающейся обстановке победу может одержать третья сторона?

⁸⁵ Местопребывание правительства в Лондоне.

Англичане переглянулись, толстяк извлек изо рта сигару, насупилсья.

— Разделяю ваше опасение,— ответил он.— И вы это прекрасно знаете. Однако Россия сегодня способна быть только угрозой, но не силой, могущей одержать победу. Я подчеркиваю: сегодня, но не завтра!.. Происходящие там события свидетельствуют о внутренних противоречиях, основательно ослабляющих военную мощь большевиков.

— Каждый день там редуют ряды военных и партийных руководителей! — самодовольно отметил бывший «адвокат». — Немаловажное обстоятельство...

— Надо полагать, не без «содействия» извне,— многозначительно заметил немец.— Фактор тоже немаловажный!.. Не правда ли?

— Разумеется, сэр! — ответил «адвокат» тоном, дающим понять немецкому партнеру, что вклад в этот «фактор» вносит не только возглавляемый им абвер.

— Вашему фюреру,— резко сказал толстяк, не выпуская изо рта сигары,— следовало бы использовать эту благоприятную ситуацию!

— У фюрера есть по этому поводу своя точка зрения...

— Вероятно! — злобно буркнул англичанин, и сигара перекочевала из одного угла рта в другой.— Какая-то «точка» у него, безусловно, есть, однако он забывает, что большевики все настойчивее зондируют почву для совместного с нами отпора его растущим аппетитам?

— Не думаю, милорд! Ему повседневно напоминают об этом пресса и радио.

— И все же нам кажется, что он забывает или делает вид, будто забывает об этом,— настойчиво подчеркивал англичанин.— Правительство Его Величества пока еще придерживается в отношении русских жесткой политики, но при известных условиях она может коренным образом измениться... И это мистер Гитлер, очевидно, забывает, как, впрочем, и многократные заверения «обратить свой взор на Восток!» Ребенку, кажется, ясно, что если бы он сдержал свое слово — всесторонняя поддержка была бы ему обеспечена!

— Прошу извинить, джентльмены,— резко произнес гость,— но я прибыл сюда не в качестве уполномоченного фюрера, а как патриот своей страны...

Тучный англичанин, переглянувшись со своим соотечественником, с недовольной миной ответил:

— И мы говорим с вами, сэр, как патриоты своей страны...

— В таком случае, вы недооцениваете позицию патрио-

тов моей страны и их возможности в решении затронутого вопроса...

Англичане насторожились. После этой туманной реплики немец заговорил с жаром, без стеснения называя вещи своими именами. С полной откровенностью он говорил о положении, в котором может в самое ближайшее время оказаться Британия.

— Вместе с тем,— подчеркнул гость,— следует отметить, что при всей неразберихе, царящей в стране большевиков, только они пока в состоянии противостоять новому вермахту. И, мне думается, Сталин это понимает. Поэтому трудно предсказать, как они поведут себя в случае возникновения военного конфликта между Германией и Чехословакией...

Плотный англичанин заворочался в кресле и решительно заявил:

— Альянс между чехословаками и большевиками исключается! Как бы этого ни добивался Сталин и некоторые слои населения Чехословакии! Это совершенно определено! Но я хочу напомнить, что так будет при условии, если нынешняя политика западных стран останется неизменной...

— Предположим, что будет именно так,— начал было немец, но англичанину не терпелось, и он вновь перебил его.

— Извините! Хочу внести ясность. Если поход Германии против русских станет фактом, правительства западных стран, вне всякого сомнения, учтут, что без австрийских «собратьев», без чехословацких военных заводов, расположенных, к счастью, в основном на территории Судетской области, Гитлеру будет трудно... Не исключено, что трудности в подобной обстановке будут и у нас: я имею в виду западные страны. К сожалению, не так просто в наше время поладить с общественностью... Но все же это второстепенный вопрос, хотя и весьма щекотливый при существующих в этих странах парламентских традициях...

В знак согласия немец слегка кивнул.

— Предположим,— сказал он,— что будет именно так. Но если в конечном итоге Гитлер решится на войну с Россией, как вы, джентльмены, представляете себе он бы мог ее начать?

— В Германии достаточно квалифицированный генеральный штаб с опытными генералами!..— с невинным видом ответил лорд.— Надо полагать, они сами решат, как лучше это сделать... Не сомневаюсь.

По лицу немца скользнула едва заметная улыбка.

— Прошу извинить, милорд, но я не об этом... Меня интересует позиция правительств западных стран в отношении

Польша, которая, как это очевидно, стоит на пути к конфликту с Россией?

— Сейчас трудно выдать какой-либо вексель... Но я не ошибусь, если скажу, что когда неизбежность конфликта Германии с большевиками станет очевидной, вопрос этот упадет сам по себе! Или вы полагаете, что случайно еще в ноябре восемнадцатого года, в день, кстати, капитуляции Германии, вместе с сэром Ллойд-Джорджем мы ставили вопрос о сохранении сильной германской империи?!

Немец искоса посмотрел на жирную шею лорда, на его малиново-красное лицо и неторопливо ответил:

— Это естественно... Однако здесь, как это совершенно очевидно, не принимают всерьез намерение Адольфа Гитлера осуществить план «Смистер» прежде, чем он развяжет военный конфликт с русскими...

— Абсурд! — воскликнул англичанин, и его сигара чуть не вывалилась изо рта. — Для него это равносильно самоубийству!

Гость горько усмехнулся. Он вновь констатировал, что его собеседники не понимают, сколь трагична их самоуверенность. Так ему казалось. Но он ошибался. Англичане отлично понимали истинное положение своей страны и учитывали серьезность нависшей над ней угрозы вторжения. Но признаться в этом сейчас — значило бы еще больше ослабить свои позиции, придать потенциальному противнику больше уверенности и решительности. И потому они лавировали, упорно отрицали то, что было очевидно для обеих сторон.

Немец молчал. Неловкую паузу нарушил тощий англичанин.

— У нас, сэр, — сказал он, — нет вечных врагов, как нет и вечных союзников... Вечны только наши интересы и наш долг их защищать!

Напоминанием этой пресловутой формулы английского премьера прошлого столетия виконта Пальмерстона завершилась первая часть конфиденциальной встречи.

После основательно затянувшегося ужина, во время которого продолжался обмен мнениями и стороны гораздо ближе подошли к взаимопониманию, беседа была отложена до следующего дня. За завтраком она возобновилась и сразу же приняла совершенно конкретный характер, к которому, уже не скрывая ничего, стремились обе стороны...

И снова, теперь уже безотказно, без «пробуксовки», завертели «шестерни» абверовских «механизмов» на британской земле, возобновилась игра «команд» и полетели «мячи» в сетки «ворот»...

В игру вновь был введен инженер Перси Глейдинг, работавший в лаборатории Вульвичского арсенала... И в чьи бы «ворота» ни залетал «мяч», оба «капитана» засчитывали очки в свою пользу. Цель у них была одна — спасение острова от готовой захлестнуть его коричневой волны за счет подрыва «красной» дамбы...

Вильгельм Канарис тогда благополучно возвратился в Берлин. За два дня до этого здесь произошли изменения: главнокомандующий сухопутными силами генерал Вернер фон Фрич был отстранен от занимаемой должности и отдан под суд... за гомосексуализм.

Начальник абвера справедливо заключил, что фюрер охотно внял его совету, а услужливый Гейдрих, после первого же намека фюрера на неугодность главнокомандующего, состряпал против него «дело». «Акции» адмирала Канариса вновь пошли в гору, вновь он получил возможность занять положение приближенного к нацистскому трону советчика.

Фюрер внимательно выслушал его доклад о состоянии и перспективах немецкой агентуры в Англии, одобрил принятые на месте меры и был очень доволен тем, что адмирал вернулся не с пустыми руками: чертежи новой английской глубинной мины подлинные хозяева начальника абвера вынуждены были пожертвовать ради укрепления доверия к нему нацистской верхушки.

Однако повышенный интерес немецкого генштаба к конструкции этой мины объяснялся не столько необходимостью найти средство защиты от нее, сколько желанием убедиться в том, что англичанам остается неизвестна конструкция немецкой, тоже новой, глубинной мины, на массовое применение которой Гитлер возлагал поистине грандиозные надежды. Производство ее уже вошло в фазу освоения, но ни Канарис, ни его английские партнеры ничего не знали о существовании нового грозного оружия. Это была «магнитная морская мина»...

Рейхсфюрер СС Гиммлер, чутко уловив дух благодарности, которым воспылал фюрер к главе абвера, восстановил с Канарисом полный контакт и не упускал случая проявить к нему свою благосклонность. И лишь один из бонз национал-социалистов — глава полиции безопасности Рейнгардт Гейдрих по-прежнему весьма сдержанно реагировал на успехи смуглолицего адмирала и подведомственного ему управления. Многие детали из жизни и деятельности этого великого махина-

тора настораживали Гейдриха, а успехи вызывали зависть и раздражение.

Канарис знал об этом, и ему было нелегко противостоять влиянию Гейдриха. Скрупулезно, гомеопатическими дозами он тем не менее настойчиво подтачивал авторитет главы имперской полиции безопасности. Так, во время доклада Гитлеру он не преминул вскользь отметить, что и поныне его поездка в Лондон остается тайной для имперской полиции безопасности...

— Да, да! — озадаченно произнес тогда Гитлер. — По-видимому, «глаза и уши» рейха тоже нуждаются в некотором лечении...

Но день спустя из канцелярии шефа имперской полиции безопасности в абвер поступило тревожное сообщение как раз о том, что «какой-то высокопоставленный в рейхе человек в течение нескольких дней находился в Лондоне и, по-видимому, имел встречи с какими-то влиятельными лицами». Это встревожило начальника абвера, он нервничал и клял на чем свет стоит своих партнеров.

В Лондоне в этот тревожный для Канариса день вся элита британской столицы во главе с премьером Невиллем Чемберленом готовилась к грандиозному банкету по случаю отъезда в Берлин германского посла Иоахима фон Риббентропа, назначенного на пост рейхсминистра иностранных дел. Было ровно 20 часов 45 минут, когда в холле Карлтон-хаус-террас Риббентроп встретил английского премьер-министра. Обмениваясь любезностями, они долго жали друг другу руки в тот самый момент, когда рука Гитлера подписала директиву к строго секретному плану «Отто», согласно которому на рассвете следующего дня германские вооруженные силы должны были вторгнуться в пределы Австрии и аннексировать ее.

Канарис почувствовал некоторое облегчение. Он знал, что куча новых забот на время, несомненно, отвлечет главу имперской полиции безопасности и его управление, которым в Австрии отводилась не последняя роль в наведении «нового порядка». Канарис тоже не дремал. Вслед за немецкими танками он появился в Вене со специальным отрядом и с ходу устремился к зданию военной разведки. Адмирал горел желанием как можно скорее захватить ее архивы. Официальный мотив был вполне убедительным — обнаружить и подчинить абверу зарубежную агентуру австрийцев. Однако Вильгельм Канарис преследовал и другую цель: он опасался, как бы в австрийских архивах не оказались уличающие его сведения о переговорах в Лондоне. Поэтому, еще не вступив на порог

здания разведки, он приказал незамедлительно отправить в абвер все секретные документы и без личного его распоряжения никому не выдавать.

Адмирал поспешил задобрить начальника австрийской военной разведки полковника Эрвина Лахузена, пообещав ему не только свободу, но и солидный пост в управлении военной разведки Третьего рейха. Это не был экспромт. Личные качества австрийца были давно и хорошо известны Канарису. И он был уверен в том, что если Лахузен что-либо пронюхал, то теперь уже не подведет. К тому же, они были давние друзья, немало тайных операций проделали сообща...

Когда аншлюс был завершен, Гейдрих вновь стал назойливо высказывать рейхсфюреру СС Гиммлеру опасения по поводу поездки в Лондон «какого-то высокопоставленного в рейхе человека». Время шло, а ведомству Гейдриха не удавалось установить, кто и зачем был в Лондоне. Не решаясь и дальше держать фюрера в неведении о столь важном сигнале, Гейдрих сообщил о нем при очередном докладе.

— Скажите, какая новость! — иронически отозвался Гитлер. — Ваша осведомленность и оперативность выше всяких похвал! В знак благодарности за столь ревностную службу готов помочь вам, обергруппенфюрер, установить имя этой «таинственной» личности...

И Гитлер сообщил обескураженному начальнику имперской полиции безопасности, кто, когда и зачем посетил Лондон.

Прошло еще несколько дней, и посрамленный Гейдрих воспрял духом. Ему стало известно, что упомянутое агентами «высокопоставленное лицо» встречалось с Уинстоном Черчиллем и другими близкими к правительству Великобритании людьми. Но Канарис не имел полномочий на такие переговоры. Случайно ли совпадение во времени его поездки и агентурных сведений о переговорах с Черчиллем? Этот вопрос не давал теперь покоя Гейдриху.

Обо всем этом тотчас же узнал Канарис. Его информировал до мельчайших подробностей группенфюрер СС Артур Нёбе, работавший в имперской службе безопасности и тайно поддерживавший тесный контакт с главой абвера. Кораблю адмирала вновь грозил шторм... При таких обстоятельствах приступить к выполнению разработанного совместно с английскими коллегами плана становилось вдвойне рискованно. Прежде всего надо было в самом срочном порядке укрепить свое положение. Но как это сделать? Начальник абвера отчетливо понимал, что никакие ухищрения не спасут его от расправы, если Гейдриху наконец-то удастся установить, кто именно

встречался с английскими высокопоставленными лицами. Единственный и кардинальный выход из этого положения состоял в том, чтобы устранить Гитлера и всех его ближайших сподвижников. И Канарис твердо вступил на путь организации государственного переворота.

План действий был разработан совместно с командующим берлинским военным округом генералом фон Вицлебенем. По договоренности с командиром 3-й танковой дивизии генералом Гёппнером, было решено ввести в столицу расположенные поблизости танковые полки. Одновременно начальнику берлинской полиции графу Гельдорфу предстояло арестовать нацистских заправил и прежде всего перехватить Гитлера во время его возвращения в Берлин из загородной резиденции в Берхтесгадене. Во все это был посвящен также начальник генерального штаба вооруженных сил Германии генерал-полковник Людвиг Бек.

Чтобы заблаговременно заручиться поддержкой Англии, Канарис решил информировать своих партнеров о возникшей ситуации и о готовящемся перевороте. Но посланный в Лондон доверенный человек вернулся неожиданно быстро и доложил шефу:

— Там пришли в ужас, узнав, что рейх может лишиться фюрера... В этом случае, сказали они, будет похоронена возможность направить вермахт на Восток!

Разговор этот происходил за обеденным столом. Адмирал застыл с вилкой у рта. Опомившись, он тихо и злобно сказал:

— Иуды!

Определение было точным и сказано искренне, от всего сердца. Ему было горько сознавать, что англичане все еще не верят в реальность намерения Гитлера осуществить вторжение на британский остров и полагают почему-то, что устранение фюрера не увеличивает, а, наоборот, сводит на нет шансы столкнуть Германию с Россией... «Эти джентльмены, — подумал Канарис, — считают Адольфа Гитлера фигурой, наиболее способной повести вермахт против большевиков!.. И ради этого они готовы не только сохранить его, но идти также на уступки и, что страшнее, — это готовность пожертвовать им, Вильгельмом Канарисом!..»

Начальник абвера все больше и больше приходил в ярость. Он чувствовал, что у него земля горит под ногами. Рейнгардт Гейдрих упорно продолжал рыскать повсюду в надежде докопаться до истины, и не было уверенности в том, что он не заручится каким-либо веским доказательством, обличающим начальника абвера в предательских переговорах в Лондоне.

В конце концов Канарис решил не информировать своих единомышленников-немцев о позиции англичан и все же совершить намеченный переворот.

Но об этом догадались в Лондоне. Канариса запросили срочно подтвердить свое согласие с ними.

Этого он не сделал. Решил отмолчаться, надеясь, что англичане не предпримут ничего, что могло бы помешать ему осуществить задуманное. Он хотел поставить их перед совершившимся фактом, но... не учел того, что иуды до конца остаются иудами...

Менее чем за двадцать четыре часа до возвращения Гитлера в Берлин, когда здесь все уже было подготовлено для его ареста, лондонское радио корпорации Би-би-си передало сообщение о срочном отъезде премьер-министра Соединенного Королевства Невилля Чемберлена в Берлин.

— Я отправляюсь на свидание с германским канцлером потому, — сказал британский премьер-министр журналистам, обступившим его у трапа самолета на Истонском аэродроме, — что в столь напряженный момент обмен мнениями между нами может иметь полезные последствия...

В тот же день радиоприемники донесли эту весть до заговорщиков и внесли в их ряды замешательство. Заверенные Канарисом, будто их выступление поддержат некоторые великие державы, теперь они поняли, что прежде всего англичане отнюдь не стараются устранить Гитлера, а, напротив, нуждаются в нем!

В угоду Лондону Адольф Гитлер остался невредим. Продолжали действовать и его сподвижники. А Канарису пришлось принять экстренные меры, чтобы уцелеть. Он тотчас же оповестил лондонских партнеров о своих опасениях и со знанием дела подсказал им, что следует незамедлительно предпринять.

Вскоре после визита Чемберлена, когда Гейдрих в очередной раз завел разговор в кабинете Гиммлера о признаках неблагонадежности начальника абвера, рейхсфюреру СС доложили только что полученную шифровку из Лондона. В депеше сообщалось, что резидентура в лаборатории Вульвичского арсенала во главе с агентом Перси Глейдингом арестована...

Весть весьма неприятная. Тем не менее Гиммлер, подав радиограмму Гейдриху, разразился истерическим смехом. Всего несколько минут назад начальник полиции безопасности, всячески убеждая его, отмечал как крайне подозрительное обстоятельство, что продолжительная работа английского агента Глейдинга, его встреча с Канарисом и сам факт пребы-

вания начальника абвера в Лондоне до сих пор остаются тайной для англичан.

Чтобы спасти своего ценнейшего агента, лондонские джен-тльмены из М.И.-5⁸⁶ мастерски инсценировали провал немецкой агентуры в Вульвичском арсенале, а затем и начавшийся процесс над группой «шпионов» во главе с инженером Перси Глейдингом.

Английская пресса сначала очень скупо, но весьма тонко освещала деятельность и провал «шпионов, работавших на Германию». Читателям в деликатной форме сообщалось, как любовница инженера Глейдинга, некая «мисс Икс, заметила, что по ночам он иногда проявляет фотопленки с изображением каких-то чертежей» и что вскоре после этого у него появляются крупные суммы денег. Это показалось ей подозрительным и, несмотря на теплые чувства к этому человеку, «истинная патриотка короны Его Величества сообщила о своих подозрениях в Скотланд-Ярд...».

И процесс, и освещение его в прессе от начала до конца были предопределены сценарием, детально разработанным в стенах той самой организации, которой начальник германского абвера служил столь длительное время... По этому же сценарию на самом процессе «неожиданно» выяснилось, что инженер Глейдинг встречался с тайно прибывшим в Лондон начальником абвера... Вот тут-то английской прессе была предоставлена полная свобода слова. И она не поскупилась на оскорбления в адрес злодея адмирала, чудом избежавшего еще в 1916 году электрического стула в Нью-Йорке.

А вслед за процессом последовали смещения с постов отдельных руководителей Скотланд-Ярда, которые-де «прошляпили» пребывание в столице Великобритании «абверского кита».

Позаботились в Лондоне и о том, чтобы в зарубежной прессе появились сенсационные сообщения о подрывной деятельности агентуры германского абвера и его главы, «столь много сделавшего для укрепления национал-социалистского режима в Германии».

Что же касается Перси Глейдинга, то он, будучи завербован немецкой агентурой, действительно понятия не имел о том, что всей его шпионской деятельностью руководят его соотечественники. Чистосердечное признание, сделанное им на суде, английские служители Фемиды на этот раз сочли достаточным основанием для вынесения весьма мягкого приговора — шесть лет тюремного заключения...

⁸⁶ М.И. — «Military intelligence» — служба контршпионажа, подчиняющаяся формально Министерству внутренних дел Англии.

Канарис не ошибся, выбрав для самосохранения именно такой вариант контратаки. Козырь из рук Рейнгардта Гейдриха был окончательно выбит. Теперь если бы даже Гейдрих получил сведения, что именно Канарис, находясь в Лондоне, вел «предательские переговоры», то они были бы восприняты как ложная версия, пущенная обозленными англичанами, чтобы очернить злодея адмирала.

Позиции начальника абвера стали крепче прежних, особенно после того, как фюрер в назидание своим сподвижникам оценил поношения англичан в адрес адмирала лучшим свидетельством его верности национал-социализму.

С удвоенным рвением глава абвера стал забрасывать агентов в Англию, лично участвуя в разработке вариантов их легализации в чужой стране. В высших сферах генерального штаба и близких к нему органах не переставали удивляться оперативности и изобретательности, с какой абвер добывал нужную информацию. Всякие инсинуации в адрес адмирала Канариса прекратились. Все это и, прежде всего растущее доверие фюрера и его приближенных, были необходимы Канарису особенно теперь, когда на одном из последних секретных совещаний Гитлер произнес многообещающую фразу.

— Я буду вести войну против Чехословакии со своими старыми генералами, — сказал он, — но когда я начну кампанию против Англии и Франции, у меня появятся новые командиры...

К тому времени Германия уже предъявила требование о передаче ей Судетской области, имея в виду вслед за этим захватить всю Чехословакию. Соответствующий план уже лежал в сейфах генерального штаба вермахта под кодовым названием «Грюн». Когда же правители Чехословакии под давлением народных масс в ответ на домогательства Германии провели мобилизацию, а Москва протянула руку помощи чехословацкому народу, воинственный пыл фюрера умерился. В Лондоне и Париже забеспокоились. Там понимали, что вермахт Гитлера еще слаб для осуществления заветного «Дранг нах Остен»⁸⁷. И они тотчас же поспешили ему на помощь. В конце сентября того же тысяча девятьсот тридцать восьмого года в Мюнхене разыгралась очередная трагикомедия, злыми клоунами в которой явились премьеры Англии и Франции; роль посредника-конферансье взял на себя итальянский дуче Бенито Муссолини. Зрителем, в угоду которому инсценировался спектакль, был Адольф Гитлер. С руками,

⁸⁷ Поход на Восток (нем.).

скрещенными на груди, как Бонапарт в свои лучшие времена, он восседал в широком кресле с высокой прямой спинкой. Рядом, на обычном стульчике, как бедный родственник, пришедший за подаванием к богатому дядюшке, робко сидел тощий и длинный Невилль Чемберлен. Судьба Чехословакии по существу уже была решена, и в знак этого на большом круглом столе в огромной плоской саксонской вазе громоздились, точно на могильном холме, осыпавшиеся белые хризантемы.

— Никто и никогда не сможет меня упрекнуть в том, что мы взяли Чехословакию силой, — говорил Гитлер в узком кругу своих приверженцев. — Чемберлен и Даладье милейшие люди! Они просто преподнесли нам эту страну как подарок за нашу подготовку к решающей схватке с коммунизмом. И уж если обижаться за наше вступление в Чехословакию, то прежде всего на англичан и французов, сделавших нам этот бесценный подарок. А Чемберлен для нас лучший помощник... Не будь его, нам бы следовало многим пожертвовать, лишь бы заполучить такого Чемберлена во главе правительства Британской империи... И я уверен, что этот англичанин нам еще не раз послужит!..

— Будем надеяться, — сказал Канарис, — что Чехословакия лишь задаток платежа за расширение нашего жизненного пространства на Восток...

Гитлер внимательно взглянул на начальника абвера, но ничего не ответил. Эта реакция вскоре вызвала тревогу у некоторых государственных деятелей Запада, у других, напротив, полное удовлетворение. Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» с циничной откровенностью зывала: «Дайте мистеру Гитлеру воевать с русскими! Германии пора наконец образовать свою империю на просторах России...»

Ответом на тревогу одних и надежду других была оккупация всей Чехословакии и вступление немецких войск в Мемель — крупный военно-морской порт в Литве.

В Лондоне и Париже политиканы радостно воскликнули: — Наконец-то!..

Впрочем, оказалось, что там рано захлопали в ладоши. Именно в эти дни германский рейхсканцлер подписал секретный документ, копию которого глава абвера позаботился тотчас же тайно переправить в Лондон. Среди прочего, в этом документе говорилось следующее:

«Если мы полностью оккупируем Голландию и Бельгию и прочно обоснуемся на их территории, а также нанесем поражение Франции, то тем самым обеспечим основные условия для успешного ведения войны против Британии...»

С ужасом поняли в Лондоне, что если Гитлер и выполнит свои обещания «расширить жизненные пространства германскому народу за счет восточных земель и прежде всего за счет России», то не раньше, чем осуществит план оккупации рья стран Европы, а затем и Великобритании.

Но Великобритания была явно не готова к тому, чтобы отразить нашествие германских войск. Ее военная мощь во много раз уступала вермахту. На срочно созванном заседании Комитета имперской обороны выяснилось, что армия испытывает острую нужду в самолетах, танках, орудиях и даже в ружьях.

На заседании этого Комитета лорды вопрошали:

— Если предположить, что у нас все же будет хорошо вооруженная армия?

Эксперты отвечали:

— Предполагать не приходится, так как наша армия может быть оснащена современной боевой техникой не раньше середины 1942 года!

В свою очередь эксперты спросили:

— А если предположить, что английская армия будет все же вынуждена вступить в единоборство с немецкими вооруженными силами, то следует ли ожидать, что курс политики правительства Его Величества изменится?

Лорды отвечали:

— Зачем делать нереальные предположения, если победа кажется настолько сомнительной? Защищать свои интересы Соединенное Королевство может пока только силами других стран и народов!..

И тогда англичане вновь пришли к заключению, что избежать прямого столкновения с Германией они смогут только в том случае, если сумеют направить экспансию Гитлера на восток, против СССР. С этой целью предстояло основательно перетасовать карты фюрера и его генерального штаба.

С благословения и при полной поддержке англичан за решение этой трудной задачи принялся германский абвер. День за днем, при содействии своих единомышленников-генералов, Вильгельм Канарис внушал фюреру, будто масштабы и темпы перевооружения английской армии резко возросли. И когда после длительной подготовки на «военной игре» начальник абвера снова подчеркнул, что Британия усиленно наращивает боевую мощь, Гитлер спокойно и уверенно ответил:

— Ошибаетесь. Такое впечатление они стремятся создать своей пропагандой. В действительности же модернизация военно-морского флота, строительство новых современных судов осуществляется крайне медленно, как, впрочем, и разверты-

вание сухопутных войск. С воздуха, как вам хорошо известно, Британия весьма уязвима, и лишь через два-три года это положение может существенно измениться...

Начальник абвера понимал, что Гитлер прав, и все же он считал нужным защитить «честь мундира» своего ведомства и вместе с тем ослабить доводы фюрера в пользу первоочередного выполнения плана «Смикер». Сославшись на авторитетный источник, из которого поступила информация, Канарис сообщил, что 29 марта Британское правительство приняло секретное решение, обязывающее военное министерство в самом срочном порядке довести состав территориальных вооруженных сил до тридцати двух дивизий...

— До скольких? — переспросил Гитлер, словно ослышался.

— До тридцати двух, фюрер.

— Да. Это верно, — после секундного раздумья подтвердил Гитлер. — Продолжайте!

Канарис, однако, утаил, что располагает дополнительной информацией, согласно которой практически англичане способны довести в ближайшее время число своих дивизий только до двадцати четырех.

— Из того же источника, — продолжал невозмутимо Канарис, — нам стало известно, что в мае текущего тридцать девятого года на рассмотрение британского парламента будет представлен «Закон об обязательном военном обучении». Надо полагать, он будет одобрен парламентом, а вслед за тем, как это установлено нашей агентурой, последует принятие «Закона о всеобщей воинской повинности». Таким образом, мы стоим перед фактом форсированного осуществления Британией комплекса мероприятий, имеющих конечной целью многократное усиление ее боевой мощи. С этим, на мой взгляд, нельзя не считаться.

— Верно! — резко оборвал его фюрер. — Но нельзя не считаться и с другими факторами, которые вам, господин адмирал, очевидно, неизвестны...

Гитлер сказал что-то военному адъютанту, подполковнику Шмундту, и тот быстро извлек из папки несколько скрепленных листов бумаги, которые показал фюреру.

— Да, да, — подтвердил Гитлер. — Читайте.

Адъютант начал: «На состоявшемся на днях заседании Комитета имперской обороны один из представителей Военного кабинета заявил буквально следующее: «Войска оснащаются оружием и техникой крайне неудовлетворительно. Предусмотренные для укомплектования тридцати двух дивизий 87-миллиметровые пушки-гаубицы при нынешних темпах

их производства мы сможем получить не раньше середины 1942 года. В качестве средств усиления пехоты нам необходимо иметь 1646 танков, а располагаем мы в настоящее время лишь 62 танками. С авиацией дело обстоит не лучше. В метрополии должно быть сформировано 163 эскадрильи в составе 2549 самолетов, имеем же мы пока только 1456 боевых машин, из которых 536 бомбардировщиков, 608 истребителей, 96, предназначенных для прикрытия наземных войск, и 216 самолетов береговой разведки. Не менее острый недостаток мы ощущаем...»

Поддав знак рукой, Гитлер прервал чтение документа.

— Источник данной информации, — сказал он подчеркнуто недовольным тоном, — заслуживает не меньшего доверия, чем тот, на который ссылались вы, господин адмирал... Могу вас заверить в этом.

Присутствовавшие на «игре» генералы и особенно единомышленники Канариса затаили дыхание, стараясь не смотреть ему в глаза. Они понимали, в какое трудное положение попал адмирал. Не подлежала сомнению достоверность сведений, которые Гитлер демонстративно противопоставил информации Канариса.

Но начальник абвера предвидел возможность возникновения такой ситуации. Он знал, что Гитлер получает агентурные сведения из-за рубежа не только от абвера, но и от ведомства Гейдриха. Адмирал всегда был готов к ответу в случае, если выявится резкое расхождение между данными обеих агентурных разведок. Хладнокровно выслушав то, что зачитал адъютант, Канарис очень спокойно сказал:

— По-видимому, есть необходимость несколько обстоятельнее обсудить оглашенные здесь данные и пояснить точку зрения абвера по этому вопросу.

— Это действительно необходимо! — подхватил Гитлер тем же подчеркнуто недовольным тоном. — Мы слушаем, продолжайте.

— Отрицать, что Британия испытывает в данный момент значительные трудности в оснащении оружием и боевой техникой новых воинских формирований, ни один здравомыслящий человек не станет. Оглашенные здесь цифры известны абверу, но именно эти цифры вынуждают правительство Чемберлена предпринимать экстренные меры для скорейшего преодоления возникших трудностей. Учитывая колоссальные людские и материальные ресурсы обширной Британской империи, у нас нет оснований считать, что они будут преодолеваются слишком медленно. Думать иначе значило бы принимать желаемое за действительное. Разумеется, англичанам

потребуется время, и не малое, для того, чтобы выполнить разработанный ими план наращивания вооруженных сил. Но ведь и мы не завтра сможем скрестить мечи с островитянами. За время, пока вермахт оккупирует Бельгию и Голландию, а затем и Францию, Англия успеет много сделать для усиления своей боевой мощи. Вот почему я полагаю, что было бы неосмотрительно строить стратегические планы, исходя из оценки вооруженных сил противника только в данный момент.

— И все же, адмирал, — подал реплику Гитлер, — вы преувеличиваете возможности Англии отмотилизовать свои ресурсы в те сроки, которые дадим им мы!

— Возможно, фюрер, что в какой-то мере и преувеличиваю. Но я вообще придерживаюсь той точки зрения, что несколько переоценить силы противника прежде, чем столкнуться с ним, значит увеличить шансы нашей победы, и, наоборот, недооценка его сил в лучшем случае повлечет за собой лишние людские и материальные потери, а в худшем — поражение... Кстати, поступающая извне информация о катастрофической слабости наших потенциальных противников, как и информация об угрожающей их силе, нуждается в тщательной проверке и исследовании. Ведь именно англичане всегда были мастерами тонкой дезинформации. При этом они не прочь руководствоваться умным советом нашего соотечественника Мольтке: «быть больше, казаться меньше...»

Гитлер не стал и далее полемизировать с Канарисом. Отметив, что мысли, высказанные адмиралом, безусловно правильны, но тем не менее они не на йоту не поколебали его намерения осуществить план «Смистер», Гитлер перешел к обсуждению других вопросов.

После этой стычки с фюрером Канарис начал усиленно пичкать его и генеральный штаб обширными докладами о готовящихся для засылки в Советскую Россию агентах абвера, об их способности образовать в нужный момент вполне реальную «пятую колонну», которая «подготовит благоприятную почву и расчистит путь остальным четырем колоннам вермахта...»

Канарис и его единомышленники были, конечно, не одиноки в желании направить экспансию Гитлера на Восток. К этой же цели стремились правящие круги многих западноевропейских стран, оккупацию и порабощение которых Гитлер планировал осуществить в первую очередь. В ход были пущены все средства. Буржуазная пресса не упускала случая изобразить Советскую Россию, как «колосса на глиняных ногах». Изоциренно усердствовали аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты, некоторые из них, вопреки очевидным фак-

там, например, утверждали, будто в районе реки Халхин-Гол «при столкновении с большевистскими самолетами японская авиация продемонстрировала свое полное превосходство!»

Не случайно в те дни в Европу прилетел известный своими прогитлеровскими настроениями американский летчик — полковник Чарльз Линдберг. В Берлине нацистские руководители устроили ему помпезную встречу и пожаловали высший военный орден «Третьего рейха». Был американский летчик гостем и в Москве, присутствовал на воздушном параде. А затем в Париже и Лондоне, захлебываясь от восторга, возносил мощь немецкой авиации, «сопротивление которой, — как он утверждал, — для русских задача непосильная...»

Параллельно с этим в Париже начали рыть бомбоубежища. В Лондоне открыли пункты для раздачи населению противогазов. Премьер-министр Англии Невилль Чемберлен и его супруга выходили на утреннюю прогулку вблизи Уайтхолла с перекинутыми через плечи противогазами... Делалось все возможное, чтобы дезориентировать Гитлера и его генеральный штаб, преувеличить степень боеготовности стран Запада и, наоборот, представить Советский Союз совершенно неспособным оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление.

Все шло своим чередом... Завершив аннексию Австрии и оккупацию Чехословакии, предпринятые с одобрения Англии и Франции, Гитлер уже требовал возвращения Германии Данцига и принадлежащего Польше так называемого Данцигского коридора. Было совершенно очевидно, что это требование являлось всего лишь поводом для захвата всей Польши.

Вновь прозвучал на весь мир предостерегающий голос Советского Союза. В Лондоне и Париже на этот раз вдруг откликнулись, прислали своих представителей в Москву. Но это был всего лишь маневр англо-французской дипломатии: цель его состояла в том, чтобы успокоить народные массы своих стран, проявлявшие недовольство политикой бесконечных уступок фашизму, и заодно припугнуть Гитлера возможностью создания мощной антигерманской коалиции великих держав, если... вслед за Польшей не последует продвижение на Восток. Одновременно англичане вели тайные переговоры с немцами, в ходе которых дали им понять, что не может быть и речи о союзе Англии и Франции с Советской Россией в случае возникновения войны между нею и Германией.

И Гитлер не замедлил воспользоваться благоприятной обстановкой, столь усердно создаваемой ему западными державами. Зная о намерении фюрера захватить Польшу, Канарис не знал доподлинно, направит ли Гитлер после этого железный кулак вермахта на Восток или, увеличив за счет Польши

экономический потенциал рейха, с еще большей одержимостью приступит к осуществлению своего плана разгрома и порабощения западноевропейских стран. Последнее казалось Канарису наиболее вероятным. В этом предположении начальник абвера утвердился еще двадцать второго августа тысяча девятьсот тридцать девятого года, когда на строго секретном совещании с высшим командным составом вермахта Гитлер сказал:

— Прежде всего будет разгромлена Польша. Я дам пропагандистский повод для начала войны. Неважно, будет он правдоподобным или нет. Начиная и ведя войну, нужно иметь в виду, что не право, а победа имеет значение...

В узком кругу в тот же вечер Канарис сказал своим единомышленникам:

— Итак, на очереди Польша. Англичане связаны с ней договором о взаимопомощи. Впрочем, договор до сих пор не ратифицирован, но я все же не сомневаюсь, что англичане будут его выполнять. Ведь Гитлер так и не дал Лондону и Парижу конкретных заверений в отношении России. И сегодня на секретном совещании он не обмолвился ни единым намеком о том, в каком направлении после разгрома Польши будет происходить расширение жизненного пространства рейха. Больше того, имеются сведения, что по дипломатическим каналам предпринимаются какие-то шаги с целью нормализации наших отношений с большевиками! При такой ситуации Лондон, надо полагать, не позволит нам безнаказанно проглотить и Польшу.

Канарис считал тогда, что вновь назревает необходимость незамедлительно устранить Адольфа Гитлера и его приближенных. Он был уверен, что на этот раз англичане окажут ему поддержку. Тотчас же в Лондон был направлен доверенный офицер. Его принял один из заместителей военного министра. Немец сообщил, что фюрер твердо решил напасть на Польшу и что этого следует ожидать в ближайшие дни, начиная с двадцать шестого августа. Говорил он и о возможности устранить рейхсканцлера без какой-либо помощи извне...

К своему удивлению, немец не получил одобрения. В Берлин посланец Канариса вернулся с отрицательным ответом.

— Неужели там полагают, — недоумевая, спрашивал себя начальник абвера, — что, отдав Польшу, они все же столкнут лбами Гитлера со Сталиным, прежде чем сами подвергнутся нападению?

Никто из пассажиров, высадившихся с злополучного «трансатлантика» не знал, куда и зачем их везут на бешено мчавшемся крытом брезентом грузовике. Измученных людей швыряло на крутых поворотах из стороны в сторону, они судорожно хватались друг за друга, настойчиво стучали кулаками в стенку кабины, требуя и умоляя шофера остановиться хотя бы на минутку.

Наконец шофер резко затормозил, выскочил из кабины и, злобно выкрикивая бранные слова, заявил, что ему строго-настрого запрещено останавливаться в пути.

Тогда один из пассажиров отважился сказать сидевшей в кабине рослой девице в полувоенной форме:

— Людей же выворачивает наизнанку! Неужели нельзя набраться немного терпения? Мы что, на пожар едем? Хватит с нас, пожар мы уже видели...

— Вы думаете, это его прихоть? Ошибаетесь, здесь порядки не те, что у вас где-то там! — ответила она. — У нас приказы выполняются четко!

Толстяк-ювелир едва слышно пробурчал что-то невнятное, его сосед тяжело вздохнул и тихо промолвил:

— Видимо, так надо...

Грузовик тронулся. Вновь трясло и подбрасывало на выбоинах, но люди терпели. «Видимо, так надо...»

Около полуночи машина ткнулась радиатором в проволочные ворота. Водитель выключил мотор, погасил фары. Девушка спрыгнула с подножки кабины и скрылась в темноте. Тишина вокруг была такая, словно все вдруг вымерло. Люди выглядывали из-под брезента, с тревогой всматривались в темноту, в равнодушное, осыпанное непривычно яркими и крупными звездами южное небо.

Наконец послышались торопливые шаги, и к грузовику подошел мужчина. Осветив прибывших длинным, как полицейская дубинка, электрическим фонариком, он радостно приветствовал их традиционным: «Шолом, хавэрим!»⁸⁸ — пожелал всем крепкого здоровья и долгой счастливой жизни на «земле обетованной». Потом так же доброжелательно попросил внимательно выслушать и принять к руководству небольшой, но весьма важный совет местной администрации: помалкивать о несчастье с «трансатлантиком».

— Конечно, случившегося не утаишь, — заметил человек с фонариком, — но не следует вдаваться в подробности и стро-

⁸⁸ Мир вам, друзья! Здравствуйте (приветствие).

ить всякие догадки... Лучше помолчать до поры до времени, во всяком случае, до официального сообщения. И вообще, молчание золото. Так вам советуют. Здесь процветает мир, порядок и согласие между людьми, живущими в духе послушания обетам наших благочестивых предков. Между прочим, следует учесть, что обетованная земля пока, к сожалению, не освобождена от врагов. Это, конечно, уже другой вопрос, но об этом не следует забывать. И мы не перестаем напоминать и утверждать во всеуслышание, что враги за все содеянное против нашего народа еще изопьют горькую чашу...

С этими словами мужчина с фонариком встал на подножку кабины, и грузовик въехал на территорию, именуемую «пунктом сбора».

Перед длинным приземистым зданием барачного типа Хаим и Ойя в числе четырнадцати человек получили долгожданную возможность сойти на землю.

Несмотря на поздний час, встретить новичков пришло много ранее прибывших иммигрантов, все еще проживающих на территории «пункта сбора». О случившемся в порту никто из них еще не слышал, но всем хотелось узнать, кто приехал, откуда, какие новости привез и, главное, нет ли среди вновь прибывших знакомых, родственников.

Новичкам предложили поужинать. Большинство, однако, отказалось. Лишь кое-кто изъявил желание утолить жажду. Моментально появился огромнейшего размера подойник, сверкавший белоснежной эмалью. Упитанная молодая женщина черпала большим глиняным кувшином молоко и приговаривала:

— Попробуйте наше молоко! Вы знаете, какое это молоко?.. Попробуйте!

Кто-то из прибывших взял кружку, отпил несколько глотков и растрогался:

— М-мм-м! Никогда не пил такое, чтоб я так был здоров... Не молоко, а чистейшая сметана!

В первые же дни Хаим Волдитер понял, что «пункт сбора» создан для тех иммигрантов, кто не имел в Палестине родственников, а следовательно, и жилья.

«Пункт сбора» представлял собой обыкновенный лагерь. Множество брезентовых палаток раскинулось на голом клочке песчано-глинистой земли. В стороне от них расположились длинное здание столовой и десятка два стандартных низких квадратных домиков из фанеры и прессованного картона, предназначенных для престарелых и семейных иммигрантов и для миссионеров сионистского движения.

Хаим Волдитер и Ойя, значившаяся здесь по личному его

заявлению законной женой, были поселены в остроконечную, державшуюся на единственной подпорке палатку.

В отличие от Ойи, все еще не переборовавшей чувства страха и продолжавшей чуждаться людей, Хаим легко осваивался с местными порядками, быстро перезнакомился с иммигрантами, внимательно слушал их рассказы о здешней жизни. Обретенный покой казался ему вершиной счастья. Когда администрация узнала, что он холуц, прошел в Румынии «акшару» и отстал от своей квуца из-за болезни, ему посочувствовали, обещали помочь. И он терпеливо ожидал указаний своей квуца, которая по существующему порядку должна была распорядиться его дальнейшей судьбой. Правда, Хаим не исключал, что его приезд с женой мог явиться для руководителей квуца некоторой неожиданностью, но не придавал этому особого значения и был доволен уже достигнутым. Даже свою жалкую палатку, где, кроме тонких тюфяков поверх досок от старых ящиков, уложенных на голую землю, легкого одеяльца и глиняной посуды для воды, ничего не было, он ласково прозвал «кибиточкой».

Услышав, каким эпитетом Хаим награждает предоставленное иммигрантам жилье, толстяк-ювелир в клетчатом пиджаке, уже успевший прожужжать всем уши, утверждая, что попал сюда по недоразумению, вдруг вскипел:

— Какая это кибиточка? Негры не валяются так, как мы!

Хаим старался обратить разговор в шутку:

— Не страшно. На безрыбье, говорят, и рак рыба...

— При чем тут рак и рыба? Вы когда-нибудь, молодой человек, были в Америке? Нет?

Хаим виновато улыбнулся и пожал плечами.

— Я так и знал! Но вы слышали хотя бы, что такое Гарлем? Не-ет? Тогда вам, молодой человек, вообще надо молчать. Лачуги, в которых ютятся нищие и дряхлые негры, ни чуточки не отличаются от вашей «кибиточки-шмибиточки»!

Хаим слушал спокойно, а толстяк все больше горячился. Подходили люди, привлеченные шумным разговором. А любопытству людей здесь не было границ: для иммигрантов из европейских стран все здесь было ново, непонятно и загадочно — и странные, забытые обычаи, и допотопные, много столетий назад утратившие свой смысл ритуалы, и древний, как мир, язык иерит, на котором разговаривали местные жители и некоторые из прибывших. Особый интерес, естественно, вызывали перспективы жизни на «земле обетованной». Об этом толковали с утра до ночи.

— Посмотрите на этого холуца, — обратился к собравшимся вокруг него людям толстяк-ювелир. — Фантазер! Иде-

алист! «Кибиточку» придумал... Один сортир в моем доме в Варшаве я бы не отдал за все эти вместе взятые дырявые ла-чуги и вон те карточные балаганы! Но теперь в Варшаву пришел Гитлер, чтоб он уже один раз окошел, и потсму я должен ютиться в этой поганой кибиточке!

Сйя с тревогой следила за каждым движением толстяка. Ее беспокоило, что человек, который до сих пор неплохо относился к ним, почему-то насккивает теперь на Хаима, как петух, и о чем-то возбужденно говорит. Хаим заметил это и, встречаясь с Ойей взглядом, всякий раз улыбался, давая понять, что ничего дурного не происходит. Однако улыбки Хаима выводили из себя толстяка, и он ожесточенно продолжал размахивать руками, с пеной у рта доказывая правоту своих суждений.

Его прервал какой-то паренек, облаченный во все черное: блестящий кафтан и большую круглополую изрядно вылинявшую шляпу, из-под которой, точно растянута пружина, свисали масляные пейсы.

— Благоверный еврей должен все воспринимать терпеливо... На все ведь божья воля!

Прищутив глаза, толстяк искоса презрительно глянул на бледно-восковое лицо парня.

— И это вы мне даете такой вот умный совет? Я вам просто благодарен... Что и говорить! Но должен заметить, что вы чуточку опоздали, молодой человек... Да! Я, можно сказать, всю жизнь только и делал, что «воспринимал все терпеливо». Божья воля! Ломал себе голову над тем, как бы выкрутиться с налогами, с уплатой по векселям, убережться от погромов, от черт знает чего еще... И начал с того, что днем и ночью, в тысячу раз хуже каторжника, работал в холодной и сырой, как погреб, мастерской: делал какие-то кольца, крестики, браслеты и перстни, чинил часы и всякие штучки-шмучки, словом пыхтел, как сифон, лишь бы капля за каплей, правдой и неправдой скопить хоть мало-мальский капитал. А в конечном итоге, когда, слава богу, уже встал на ноги, когда уже представилась возможность открыть собственный ювелирный магазин в таком городе, как Варшава — второй Париж! — и не где-нибудь на вонючей окраине, а на углу главнейших улиц Новы Свят и Маршалковской, когда наконец-то деловой мир начал принимать меня за солидного человека, начал доверять крупные суммы, а я продолжал понемногу копить и, как нищий, во всем себе отказывал, вот тогда нежданно-негаданно на мою голову обрушился Адольф Гитлер... В один миг, вы слышите?

— Знаем...

— А что, думаете, мы не испытали такое? — отвечали люди, окружившие толстяка.

— Так вот! В одно мгновение все, годами собранное, накопленное по ниточке, по крупинке построенное, вдруг лопается, как мыльный пузырь! На все ведь «божья воля», и тебе говорят, как сейчас этот вот молодой «хасидел»⁸⁹, что «благочестивый еврей должен все воспринимать терпеливо...» И ты воспринимаешь! Терпишь... Что остается делать? Какой у тебя еще выход, я вас спрашиваю? И вскоре уже радуешься, что успел хотя бы унести свои больные ревматизмом ноги... Ты в самом деле счастливый человек, если удалось прихватить с собой заработанные горбом золотые часы! Я уже не говорю, какой они пробы, какой фирмы и какие у них на крышках алмазы... А какая при них была цепь! Не цепочка, как может кто-нибудь нечаянно подумать, а именно цепь! Золотая и тяжелая, с такими бриллиантами, которым просто нет цены! Вы слышите, что я говорю? Стал бы я вкладывать свое состояние в какое-нибудь там дерьмо!.. И вот ты спокойно едешь себе на пароходе. «Трансатлантик»! Лучше бы его не знать...

— Тот самый? — спросил кто-то. — Неужели?

— Тот самый и, пожалуйста, без «неужели»... — тяжело вздохнул толстяк и, понизив тон, добавил: — Да. Но об этом теперь: ша!

Среди людей, слушавших ювелира, прокатилась волна возбужденного шепота. Раздались голоса:

— Тише!

— Не мешайте!

— Дайте человеку говорить!

— Так это же очень интересно-о! Оттуда — и живой?!

— Живой? Интересно?! — в тон переспросил ювелир. — Так «интересно», что не приведи господь кому-либо и когда-либо испытать подобное... И уж если что интересно, так это как раз то, что едешь себе тихо, спокойно, солидно и, главное, законно, не как контрабандист или фанфаронщик какой-нибудь с завихрениями в голове, а со всякими шифс-картами, талонами, купонами-шмалонами, с паспортом, с визой и всем, что должно быть в кармане порядочного человека. И тут вдруг появляются уже не «прелестные» молодцы Адольфа Гитлера, чтоб их хватил кондрашка, и даже не твои конкуренты, — они тоже неплохо умели выпускать кишки, — а самые близкие, самые родные по крови люди и среди бела дня, среди синего моря и ясного неба сдирают с тебя те самые золотые ча-

⁸⁹ Набожный, «благочестивый».

сы с алмазами и ту самую золотую цепь с бриллиантами!.. Так как, нравится вам это?

Со всех сторон слышались восклицания:

— Что значит «сдирают»?

— Просто так? Ни с того, ни с сего?

— Свои? Неужели?

— Неужели сюда, неужели туда, — раздраженно ответил толстяк, — а содрали, не сказав даже «будьте здоровы»! Содрали, как с овцы шкуру, вместе с мясом... Вот, полюбуйтесь! — и он обошел круг слушателей, потрясая оторванным куском лацкана, свисавшим с отворота пиджака.

— Вэй-эй-й! — воскликнул кто-то. — Похоже, что это таки так!

— И, конечно, опять терпишь! — продолжал ювелир. — А какой, скажите на милость, выход? Ты ведь благоверный человек и обязан покорно воспринимать «божью волю»... Но если ты все же надеешься, что на этом мытарства окончены, то ты такой же идиот, каким был в Варшаве, когда имел богатейший, битком набитый товаром магазин и во всем себе откачивал... Выясняется, что тебе еще суждено, как благоверному и терпеливому еврею, чудом быть спасенным от того, чтобы не уйти на дно моря! Это тоже, должен вам сказать, удовольствие не из великих... Однако вы же можете спросить, где и как все это случилось? Так я не открою вам большого секрета, если скажу, что было это не в открытом море, не в бурю или шторм, а почти у самого берега, в тихую и ясную погоду!.. Вы понимаете, что это значит?

Ювелир перевел дыхание, оглядел застывших в изумлении людей и с еще большим жаром продолжал:

— И все это, когда ты уже проплыл целое море, где качало и тошнило, воняло и коптило, где рекой лились слезы и даже кровь, а кругом стоял стон и ужас!? Казалось бы, хватит! Так нет. Надо, чтобы еще и стреляло... А как стреляло, люди благоверные! В тысячу раз хуже, чем на самой настоящей войне... Я видел, что творилось в Польше. Но там хоть ты был на суше, мог как-то выкрутиться, если у тебя работали мозги, мог что-нибудь кричать... На худой конец мог куда-то бежать — на то у тебя имеются ноги. А тут что? Бездонное море и бескрайнее небо. Можешь сколько угодно кричать, даже вопить «ацилу»!⁹⁰ Можешь сколько сил есть бежать, но все равно останешься на месте и никому нет дела до тебя... Как до лампочки!

Люди сочувствовали толстяку, переглядывались, иногда

⁹⁰ Спасите!

шептались, но тишина быстро восстанавливалась, как только он снова начинал говорить.

— Однако и это, оказывается, еще не самое страшное. Тебя поджидает взрыв... И пароход тонет. С людьми, конечно! В живых, между прочим, там никто не остался... Прелестно, нет? И как получилось, как случилось, что ты в конечном счете опять уцелел, сейчас не будем выяснять... Это долгая история, да и ни к чему... Одно скажу: заварилась каша. Чтоб она уже застряла в глотке у тех, кто ее задумал заварить!.. Да, да. Спасители нации!.. Такие спасители, что не знаешь, кого больше проклинать: их или гитлеровцев... Дожили!

— Вэ-эй-ей-ей! — с ужасом воскликнул кто-то в кругу. — С ума же можно сойти!

— А вы думаете, что?! И сходили-таки с ума!.. Но ни к чему сейчас об этом... Как бы то ни было, а ты уже снова рад, что успел унести ноги, дай бог им здоровья! Не первый раз выручают... И вот тут-то, слышите, люди?! — воскликнул он неожиданно и притопнул ногой. — Именно тут, где повсюду, можно сказать, текут молочные реки в кисельных берегах, где земля от края до края медом пропитана, где небо днем и ночью ниспосылает людям манну, тебя хватают, да так, будто ты кого-то обворовал, и впикивают в автомобиль, в котором впору возить скот, чтоб он уже горел в огне вместе с шофером, как он хорошо возит людей!.. А куда? Зачем? Для чего? Никто ничего не знает! Опять как на пароходе: едешь ни живой ни мертвый... Наконец-то среди ночи куда-то, слава богу, приехали. Темно так, будто в глаза чернила налили. И вдруг в лицо тебе ударяет такой луч света, что можно ослепнуть! От неожиданности ты уже думаешь, что либо земля треснула и черт выскочил из бездны, либо небо расколосось и сам великий Моисей снизошел к людям! Ты уже не шевелишься, не дышишь и никого не видишь. Перед тобой луч света и больше ничего! Но зато ты слышишь голос... А какой это голос, пс-с-с-с, люди-и! Заслушаешься... Сладкий, мягкий, нараспев, как кантор в синагоге на «симхат-тора»⁹¹, он сообщает, что ты, хавэр, уже находишься в раю... Мазелтоф!⁹² — говоришь ты себе, — наконец-то всевышний образумился и сделал тебя счастливым... А голос все еще продолжает вещать, убеждая, что о всех твоих бедах и муках, переживаниях и страданиях ты уже можешь больше не вспоминать, так как всевышнему и еще кое-кому из «спасителей нации» обо

⁹¹ «Радость о торе» — последний день праздника Кушей.

⁹² Поздравление с пожеланием счастья.

всем известно... Правда, тебе от этого пока ничуть не легче, но сказать нельзя, и ты молчишь, как рыба... На тебя направлен луч света, а голос сообщает, что отныне ты обязан безропотно выполнять «обеты твоих благочестивых предков...» Что ж, — думаешь ты, — безропотно, так безропотно... Повиноваться тебе не привыкать. Но и этого, оказывается, мало. Самое замечательное из того, что изрек голос человека-невидимки, это утверждение, будто золото — вовсе не содранные с тебя часы со знаменитой цепью, а всего-навсего молчание!.. Вот так, благоверные евреи, молчание — золото, а часы и цепь — пустяк... Так как? Нравятся вам такие вот штучки?!

— Вот именно, молчание — золото, а вы тут распускаете язык! — послышался из толпы шепелявый голос. — Здесь вам не Польша!

Только что сиявшее холеное лицо толстяка стало вдруг жалким, как у провинившегося шалуна-мальчишки. Он вытянул короткую шею, оглянулся, надеясь увидеть того, кто произнес эти слова укоризненно-угрожающим тоном. В толпе зашевелились, о чем-то оживленно зашептались.

— При чем тут Польша? — подавленным голосом промолвил ювелир, так и не узнав того, кто бесцеремонно и резко оборвал его. — Гитлер ее слопал. И потом, приятно слышать такие слова! ...В Польше фашисты тыкали тебе в нос твою нацию и кричали, что тут не Палестина, а в Палестине свои, евреи-таки, вежливо и ласково напоминают, что здесь не Польша! Очень любезно, что и говорить... — толстяк растерянно скользил взглядом по лицам застывших в тревожном молчании людей. Едва слышно он спросил: — Ну, а потом, кто распускает язык? И, главное, где распускает язык? Или это не Эрец-Исраэль? Я что-то не понимаю. Где я? Что, собственно, сказал такого? Выдумал, что ли? Клевету? И в конце концов, скажите на милость, что мне за это делают? Что?!

— Возможно, ничего, а может... — угрожающе произнес бледнолицый парень в черном кафтане. — Поживем — увидим...

Ювелир окинул его с головы до ног пренебрежительным взглядом.

— Знаете что, молодой человек? — взволнованно сказал он. — Не пугайте. Я не знаю, кто вы и откуда, что в жизни видели и что пережили... Но отвечу вам: уже сделано более чем достаточно! Да... Где, скажите мне, пароход? Где несколько сот людей, которые были на нем? И, представьте се-

бе, только наши, евреи! Несчастные убежали от Гитлера, а погибли от чьих рук? Или вы полагаете, что кругом олухи?

Глаза толстяка беспокойно бегали по лицам окруживших его людей. Он ждал поддержки или хотя бы сочувствия. Однако все молчали, словно окаменели. Толстяк съежился, испарина выступила на его лбу. Он понял, что сболтнул лишнее, и постарался загладить допущенную оплошность.

— Но кто об этом говорит хоть слово? Тогда, ночью, тот, что был с фонариком, сказал: «Божья воля! Надо помалкивать...» Мы и помалкиваем. Достаточно уже, кажется, помалкиваем... Гори они все в огне днем и ночью... Иметь дело со своими, — я знаю это еще по Варшаве, — самое паскудное дело, какое только может быть!.. В гости к тебе приходит, на улице вежливо раскланивается, желает тебе всяческого добра, в синагоге молится с тобой рядом, как самый благоверный, как самый честный и порядочный, но стоит ему пронюхать, что ты можешь чуточку больше его заработать, как он уже готов утопить тебя в чайной ложке... Не ново это. Но кому они нужны, эти наши хавэрим? Кто с ними вообще связывается? Мы тут просто говорили о том, что вот эти кибитки хуже сортиров. Вот и все! А почему, думаете, возник у нас этот разговор? Даю честное слово, что все ночи напролет ни я, ни мой сосед, который не даст соврать, глаз не могли сомкнуть! Быть мне так здоровым!..

— Кусают? — хихикнул кто-то.

Толстяк оживился:

— Мало сказать кусают! Рвут куски мяса, быть мне так счастливым!

Дружный смех окруживших ювелира людей был вызван не столько словами толстяка, сколько желанием замять назревавший конфликт.

Смеялся и Хаим. Ему очень хотелось убедить Ойю, что никто о них не говорит плохо.

— А этот молодой человек, — вдруг кивнул ювелир на Хаима, — может, конечно, нежно называть свое жилье «кибиточкой»... Почему бы и нет! Кусают насекомые или не кусают, ему наплевать. Он с молодой женой... Медовый месяц! Мне бы их заботы!..

Вновь все рассмеялись. Хаим оказался в центре внимания. Он покраснел, смутился, но не переставал смеяться.

— В их возрасте, — продолжал ювелир, — было бы куда голову положить, а остальное... пс-с-с! К тому же, если хотите знать, так вот этот молодой человек самый счастливый супруг на свете! Вы спросите, почему? Очень просто: жена у него

немая и потому никогда не будет его пилить... Представляете? Это же просто мечта, нет?!

Слова толстяка вызвали и взрыв смеха и шиканье. Не все знали о недуге Ойи.

Хаим сконфуженно взглянул на ювелира. Не хотелось в присутствии Ойи одергивать человека, объяснять, что не все шутки хороши. Смущенно улыбаясь, он топтался на месте, не зная, что предпринять. На его счастье, какой-то мужчина, проходивший стороной, довольно громко крикнул:

— Эй вы, парламентщики! Сколько можно языком работать? Шли бы в столовую. Там два «пурица»⁹³ из Хайфы набирают охотников мозоли набивать... Меня уже ошастливили! На стройку под Натаньей посылают...

Все ринулись к столовой, как голодные за хлебом. Хаим стоял в раздумье. Он твердо знал, что до распоряжения от квуца его никуда не пошлют. И все же, направив Ойю в палатку, поспешил к столовой.

Когда Хаим завернул за угол здания, он увидел на обочине дороги открытый легковой автомобиль и группы оживленно беседующих иммигрантов. Каждого выходящего из столовой они забрасывали вопросами, пытаясь узнать, о чем спрашивают прибывшие из Хайфы вербовщики, какую работу предлагают, на каких условиях и куда направляют, обещают ли жилье...

Стараясь не привлекать к себе внимания, Хаим неторопливо переходил от одной группы к другой и молча слушал, о чем толкуют люди. Он завидовал тем, кто уже получил назначение, хотя мало кто из них был доволен предстоящей работой. Из разговоров Хаим узнал, что пожилых людей даже с семьями, если в их составе есть трудоспособные, направляют в колонии, для которых «Керен-гаисод» якобы скупил у местных феодалов земельные участки. Услышал он также о том, будто парней и девушек, достигших восемнадцати лет, направляют в Сарофент — небольшой городок около Рамлы.

— Это где-то между Тель-Авивом и Иерусалимом, — пояснил какой-то сведущий парень. — Место ничего себе... Там у англичан военный лагерь, укрепленный по последнему слову техники. Вы же понимаете, они не выберут себе плохое место! И вот где-то там, очевидно, поселят и нас. Будут обучать на шоферов и слесарей, токарей и электромонтеров, механиков и как будто на трактористов тоже!

— А вам не кажется, что нас вообще станут обучать на

⁹³ Важная личность, вельможа.

поваров и пекарей, судомоек или прачек? — иронически улыбаясь, сказала девушка.

— И в этом ничего зазорного нет, — поучающе назидательно ответил ей крепко сложенный мужчина лет сорока. — Вы можете быть инженерами или, допустим, врачами, но здесь, если вы настоящие холуцы и понимаете задачи, стоящие перед всей нацией, обязаны уметь делать все! И трактор водить, и хлеб выпекать, и, конечно, пищу готовить... Стыда в этом нет никакого. Сегодня в ваших руках трактор, а завтра — танк! Обстановка и наши цели обязывают поступать именно так...

Судя по голубоватой рубашке из грубого полотна и маленьким погончикам, из-под одного из которых свисал толстозаплетенный защитного цвета шнур с торчавшим из нагрудного кармана широким свистком, Хаим определил, что этот человек, по всей вероятности, инструктор военной подготовки. С людьми в подобном одеянии ему приходилось встречаться во время стажировки перед отъездом в Палестину. И все они чем-то напоминали Хаиму преподавателя гимнастики в королевском лицее. У того рубашка была ярко-зеленого цвета, а на рукаве красовалась белая лента со свастикой и буквами «L.A.N.C.»⁹⁴. Зеленорубашечника в лицее остерегались.

Хаим и сейчас решил было отойти от греха подальше, как вдруг увидел, что из столовой вышло несколько человек, один из которых, широкоплечий, высокий, показался ему знакомым. Хаим обошел машину, к которой приближалась группа людей, присмотрелся... Да, это был Нуци Ионас! Они вместе проходили «акшару» вблизи румынского города Тыргу-Жиу. Хаим не осмелился сам обратиться к Нуци, но тот его заметил и, всплеснув руками, радостно приветствовал.

— Хаймолэ Волдитер?! — крикнул он в полном изумлении. — Слушай! Мы думали, что тебя давно нет в живых!

Они обнялись, как родные. Хаим смущенно улыбался, словно был виноват перед коллегами по «акшаре». Нуци взял Хаима под руку и энергично протиснулся с ним сквозь толпу на дорогу.

Хаим понял, что Нуци занимает высокое положение, но все же спросил дружка:

— Ты, Нуцик, как я вижу, большим человеком стал? Это очень хорошо. Я рад за тебя, ей-богу!

— Дел по горло, а забот еще больше, — уклончиво отве-

⁹⁴ Лига защиты христианской нации (рум.).

тил Ионас. — Ты лучше Расскажи о себе. Это правда, что болел тифом? Как это случилось? Кто лечил?

Хаим коротко поведал о своих злоключениях. Смущаясь, сообщил он и о своей женитьбе на той самой девушке, которая спасла его от смерти.

— Так это отлично! — искренне обрадовался Нуци. — Молодец! А где она? Покажи, не прячь!

— Да нет, не прячу... Но она, понимаешь... — запнулся Хаим. Он не хотел, не мог произнести слово «глухонемая», хотя не умел и подобрать другое, которое сразу позволило бы собеседнику все правильно понять.

Нуци же был в хорошем расположении духа и, не задумываясь, сказал первое, что пришло в голову:

— Ребенка уже ждете, а, Хаймолэ? Признавайся!

Хаим еще больше смутился, опустил глаза.

— Нет, Нуцик... — сдержанно ответил он. — Она просто не может говорить... От рождения. Совершенно... Теперь ты понимаешь?

Ответ был настолько неожиданным, что Нуци остановился, словно налетел на стену.

— Серьезно-о? — едва прошептал Нуци. Лицо его выражало крайнее удивление, но, спохватившись, он заставил себя улыбнуться и преувеличенно бодрым голосом добавил: — Ну и что?! Какое это в конце концов имеет значение! Ведь ты ее любишь?

— Больше жизни, — тихо, но твердо ответил Хаим, глядя Нуци в глаза. — А жизнью, как тебе уже говорил, я обязан в очень большой мере именно ей.

— Так это же отлично, Хаймолэ! — Нуци потрянул руку друга. — Это же главное!.. Ты извини. Сначала я не понял тебя...

Сия встретила Нуци очень настороженно. Скрыть испуг, вызванный неожиданным приходом незнакомого человека, она не могла. Когда же поняла, что гость — добрый друг Хаима, будто засветилась вся; улыбаясь, торопливо смахнула пыль с табуреток и подала одну гостю, другую — Хаиму.

Красота Сии поразила Нуци, однако, рассуждал он про себя, Хаим, видимо, честный и в то же время чудаковатый парень. Ведь одной красотой счастлив не будешь... А рабское повиновение можно получить и от прислуги...

Выйдя из палатки вместе с Нуци, Хаим с сожалением заметил:

— Спешить? Я понимаю, много дел... А мы так ни о чем и не успели поговорить...

Нуци насторожился. Он подумал, что Хаим собирается его

о чем-то попросить. Он же, Нуци Ионас, не любил оказывать помощь тем, кто вряд ли мог быть полезным ему самому. Поэтому равнодушно, не глядя на Хаима, он спросил:

— Тебе что-нибудь надо?

— Не-ет! — протянул Хаим. — Просто хотелось узнать, как наши друзья по квуцá поживают. Где они? Кто чем занимается?

Нуци облегченно вздохнул. И все же, стараясь поскорее отделаться от Хаима и тем самым предупредить его возможные просьбы, он небрежно заметил:

— А что, собственно, здесь можно делать? Сам видишь: все трудятся, вкалывают и пока что живут не жирно...

Нуци рассказал коротко об их руководителях — хаверим. И когда дошел до Симона Соломонзона, вспомнил, что трудовую стажировку за него проходил Хаим Волдитер, что Симон сожалел, узнав о его болезни, и не раз вспоминал случай, свидетельствующий об исключительной честности холуца Волдитера, и что именно его, Ионаса, Симон намеревался послать на Кипр, чтобы узнать, жив ли Хаим, и если жив, то привезти его. Но кто-то пустил слух, будто холуц Хаим бен-Исраэль Волдитер скончался от тифа, и поездка не состоялась...

Нуци был практичным человеком, и сразу в его мозгу начал созревать план отнюдь не бескорыстного использования этого, как ему казалось, чудаковатого человека.

— Слушай, Хаим! А что если я сейчас переговорю с хаверим из местной администрации, чтобы тебя с женой отпустили из лагеря?

— Куда? — не понял Хаим.

— Ну как «куда»? Поедете со мной в Тель-Авив! Я ведь там работаю в Экспортно-импортном бюро у Симона Соломонзона. Он развернул тут такую деятельность, что в двух словах не объяснишь! Словом, он очень влиятельная личность!

— Вот как! — Хаим усмехнулся. — Впрочем, это понятно: он сын фабриканта! А фабрика, как известно, денежки печатает... Можно развить и очень бурную деятельность и стать даже видной фигурой! Почему бы и нет?..

— Нет, Хаймолэ, ты не так меня понял, — несколько раздраженно ответил Нуци. — Хозяином всего является не столько его папаша и, разумеется, не сам Симон, сколько его дядька по матери. Живет этот дядя за границей. Симон его только представляет. А тот — персона крупная... Мультимиллионер! Личный друг Муссолини... Представляешь?

— Ровным счетом ничего не понимаю... — Хаим развел

руками. — Личный друг Муссолини? Ты понимаешь, Нуцик, что говоришь? Какого Муссолини?

Нуци рассмеялся.

— А какого Муссолини ты еще знаешь? — И подчеркнуто серьезно добавил: — Как-нибудь я не один год состоял в «Гардонии», а до этого был «маккабистом»⁹⁵ и в международных делах научился кое-что смыслить... Я работаю в Экспортно-импортном бюро Симона, но здесь выполняю совершенно другие функции... Ты, наверное, думаешь, что мы просто отбирали молодых парней и девушек? Представь себе, не все так, как может показаться... Не всех же молодых направляют в так называемый «Бат-арба»⁹⁶. Что это такое и каково его назначение, ты, возможно, еще узнаешь, но пока — между нами!.. И уж если я говорю, то не надо спорить. Условились?

— Я не спорю, боже сохрани! — согласился Хаим. — Но у меня не укладывается в голове, ей-богу!.. Или я ровным счетом ни черта не смыслю. Ты не обижайся, Нуцик! Но как могут быть друзьями главарь итальянской шайки чернорубашечников и еврей Соломонзон, пусть он даже архимиллиардер?!

— Представь себе!.. Кстати, его фамилия не Соломонзон. Он дядька Симона по матери. Но не в этом дело... Как-нибудь в другой раз расскажу тебе кое-что, и ты ахнешь! Но, повторяю, только между нами! А сейчас я сбегаю к местным властям, скажу, что забираю вас с собой.

— Обожди, Нуци! Надо хорошенько подумать...

— Чего думать? — удивленно переспросил Нуци.

— Понимаешь... — замялся Хаим. — Я же не знаю, как на это посмотрит руководство нашего квуца?!

— Вот это, между прочим, пусть тебя меньше всего беспокоит. Они все зависят от Симона. А он хорошо относится к тебе. Это важно! Ведь ты за него «акшару» отбивал, вкалывал дай бог! Я же помню! Чудак ты...

— Ничего это ровным счетом не значит, — уныло сказал Хаим. — Тем более, когда он стал, как ты говоришь, фигурой. И, кроме того, его отец за все, что я выполнял, денежки в кассу квуца внес. Ты же знаешь!

— Все знаю... Все! И тем не менее не говори глупостей!

Нуци отмахнулся и ушел, оставив Хаима в растерянности. Прошло совсем немного времени, когда из-за угла столовой показался Нуци. Еще издали он крикнул:

⁹⁵ Член полуспортивной, но с военной направленностью организации, находящейся под непосредственным контролем всемирной сионистской организации.

⁹⁶ Четвертое отделение, занимающееся военной подготовкой.

— Собирайтесь! Едете со мной!

Когда допотопный автомобиль остановился у палатки и Хаим с Ойей вышли с узелками, к ним подошел толстяк-ювелир. Тут же прибежали и другие иммигранты из соседних палаток. Все были поражены неожиданным отъездом молодой пары.

— Посмотрите на них! — громко обратился толстяк к людям, которые не без зависти смотрели на Хаима и Ойю. — Он все время разыгрывал из себя тихоню, она вообще ни гугу, а им подают легковой автомобиль!.. Скажите, пожалуйста, какие знатные персоны! Можно подумать, что иначе они не привыкли ездить у своих родителей?! Черт их поberi вместе с их родителями и прародителями!..

Симон Соломонзон был не столько обрадован, сколько поражен неожиданным сообщением Нуци о том, что Хаим Волдтер жив, здоров и вместе с молодой женой ждет в машине у подъезда дома.

— Красотка! — заискивающе говорил Нуци. — Но молчит, как рыба... Немая.

— Вот как?! — удивился Симон и, помедлив, стал размышлять вслух: — Как это понимать? Богатое приданое соблазнило? Видимо, Хаим не такой уж простак?

— Откуда приданое? — перебил Симона Нуци. — Нищая! А Хаим действительно неглупый парень, но провинциал и чудак... Сам надел на себя этот хомут потому, что она будто бы спасла ему жизнь...

— Серьезно? — Симон еще больше удивился. — Тогда он и в самом деле простак, не в меру порядочный простак...

— Да, честный бессарабский дурак! — Нуци рассмеялся.. — Провинциал...

— Ну, что ж! Посмотрим, на что он годится...

Вместе с Нуци он вышел встретить нежданных гостей. Симон крепко пожал руку Хаима, дружески похлопал его по плечу, вежливо поздоровался со смущенной Ойей, пригласил их в дом.

Хаим заметил, что Нуци держится на весьма почтительном расстоянии от Симона. Робкий по натуре, Хаим сейчас совсем ступсевался. Когда же хозяин дома, усадив гостей за стол, попросил Хаима рассказать о его странствиях, тот почувствовал себя, как школьник перед лицом строгого экзаменатора: он знал Симона, человека черствого и скрытного. Какие уж тут откровенности! Заикаясь, он в нескольких словах рассказал о том, как болел на Кипре и как после выздо-

рождения добрался до Палестины. Вспомнив недвусмысленный «совет» человека с фонариком и инцидент с толстяком-ювелиром, Хаим ни словом не обмолвился о том, что произошло с «трансатлантиком». Постарался отделаться шуткой:

— Несмотря на помощь медицины, я все же поправился и вот... прикатил! — закончил он свой рассказ.

В комнату вошла породная женщина. Поднос в ее руках был тесно заставлен посудой и угощениями. Расставив на столе чашки с чаем, розетки с вареньем, разрезанный на куски торт и печенье, женщина молча и бесшумно удалилась.

Предложив Хаиму и его супруге угоститься с дороги чем бог послал, Симон сказал, что дела вынуждают его ненадолго покинуть гостей, и тотчас вышел из гостиной. Вслед за ним вышел и Ионас.

Хаим окинул взглядом гостиную. Все здесь свидетельствовало о богатстве обитателей дома и вместе с тем подавляло мрачностью, вычурностью и тяжеловесностью — и хрустальная люстра с массивными черными цепями, и стены, сплошь завешанные дорогими коврами темно-бордовых тонов, и вишневые с золотистым орнаментом плюшевые портьеры, и висевшие между ними три овальные портрета в тяжелых бронзовых рамах. В центре висел большой портрет мужчины с пышной бородой и большими суровыми глазами. В нем Хаим без труда узнал основоположника сионистской теории Теодора Герцля. Подобный портрет он уже видел в столовой «пункта сбора».

Хаим прислушался к мягкому ходу больших часов в оправе из саксонского фарфора, стоявших на мраморной крышке многоярусного, как буддийская пагода, обильно инкрустированного буфета-серванта. За его толстыми зеркальными стеклами сверкал хрусталь ваз, графинов, блюд и бокалов.

«Да, — с горькой покорностью подумал Хаим, — богатым всюду рай, не то что нам, бедным иммигрантам. Пусть томятся на «пунктах сбора», голодают, болеют. Кому они нужны...»

Нерадостное раздумье Хаима прервал приход Соломонзона и Нуци.

— Ионас разумно поступил, забрав вас сюда, — проговорил хозяин дома. — Нам нужны честные труженики. Но прежде всего надо решить, где вы будете жить.

Нуци будто ожидал этого вопроса. Он сразу предложил остановиться у него.

— Я живу с женой и тещей в доме хавэра Симона, — пояснил он Хаиму. — Недалеко отсюда поселок Бней-Берак...

А во дворе у нас флигель. Правда, его надо немного привести в порядок...

— Вот и отлично! — перебив Нуци, тотчас же согласился Соломонзон.

Хаим поблагодарил и робко спросил:

— А как вы думаете, не будут ли у меня неприятности от руководства нашей квуча за то, что я самовольно покинул «пункт сбора»? Может, поставить их в известность?

— Мелочи! — уверенно ответил Соломонзон. — Устраивайтесь, приводите в порядок жилье, а потом потолкуем и о другом... Главное — работать! Вы поняли меня, хавэр Хаим? Работать!

13

Дед Ильи Томова сидел на излюбленной низенькой табулетке, упиравшись костлявым плечом в подоконник, и, задумавшись, время от времени подбрасывал в печку горсти шелухи от семечек подсолнуха. В топке вспыхивало пламя и ярко освещало крупное изборожденное морщинами лицо, обрамленное густой рыжевато-белесой бородой. Из-под мохнатых бровей серые его глаза смотрели на огонь то сурово, то ласково. Старик был удручен. Вспоминал, как останавливался здесь же, когда возвращался с каторги Тыргу-Окна, а на этом самом месте сидел внук, названный в его честь Ильей, и точно так же топил печку.

Дед недолго тогда задержался в Болграде, вскоре уехал в Татарбунары к младшей дочери. Там у него был небольшой домик. Продав его, он выдал замуж дочь. И опять старика потянуло в родной Болград. Здесь он родился, еще при царе вместе с отцом и братьями рыбачил на сорокаверстном местном озере Ялпух. Каждую весну они натягивали на свои свежепокрытые смолой «каюки» большие с множеством заплат паруса и выходили на лов сельдей на Дунай. В ту пору «дунайка» шла крупная, жирная, спрос на нее был велик. Когда же в эти края вторглись иноземные войска, он, вместе с несколькими друзьями, оказавшими сопротивление захватчикам, вынужден был уйти на северо-восток. Все они влились в немногочисленный отряд самооборонцев и намеревались переправиться через Днестр на охваченную бурей революции Сдессцину.

В морозные январские ночи тысяча девятьсот восемнадцатого года множество отрядов бессарабцев отступали под натиском отборных войск румынских бояр. Недалеко от Татар-

бунар отряд, в котором был и дед, ввязался в бой с жандармерией оккупантов. Дед был ранен и оставлен на попечение местных жителей. Его приютили, как родного, и выходили. Но Бессарабия к тому времени уже была отторгнута от Советской России. Вдоль всего Днестровского лимана и выше по всему течению Днестра плотно встали румынские пограничники. Установилась новая граница... Возвращаться в Болград деду не было смысла: здесь его наверняка бы арестовали и заточили в тюрьму. Так и остался Илья Ильич Липатов в Татарбунарах. Туда же впоследствии переехала и его семья.

Поначалу работал он чернорабочим, потом снова занялся рыболовством на местном озере. Бывая в близлежащих селах, он не упускал случая по душам поговорить с бедняками-крестьянами. Так проходили месяцы и годы вплоть до сентября двадцать четвертого года, когда уборка урожая была завершена, а крестьяне, работавшие все лето от темна до темна у новоявленных кулаков и понаехавших из старого королевства помещиков, остались без грамма зерна и без крупы-цы муки.

...Терпению народа пришел конец. В обширном Татарбунарском районе вспыхнуло восстание бедноты....

Целый месяц королевские войска и прибывшие с Черного моря военные корабли подавляли восстание, сжигали села и расстреливали татарбунарцев. Более тысячи их было убито, а над пятьюстами повстанцами оккупационные власти инсценировали процесс. Со всех концов земного шара раздалися тогда голоса протеста трудящихся против королевско-боярского произвола, в защиту народа Бессарабии. Из Парижа прибыл на процесс известный французский писатель Анри Барбюс. Страстно и мужественно разоблачал он перед всем миром подоплеку буржуазного судилища.

К десяти годам каторжных работ был приговорен тогда дед Ильи. А во время отбывания этого срока за неподчинение администрации и за попытку совершить побег ему прибили еще год.

И вот, вернувшись наконец в Татарбунары, дед, возможно, жил бы там и по сей день, если бы не внезапная смерть дочери. Детей у нее не было, и не прошло года, как зять вторично женился. Старик почувствовал себя чужим в этой семье, и минувшим летом, вскоре после отъезда внука в Бухарест, вернулся к старшей дочери в родной Болград.

Илья Ильич очень огорчился, узнав, что внук не смог продолжить учебу в лицее, и еще больше расстроился, когда дочь рассказала ему о стремлении сына стать авиатором.

— Видал его в прошлый раз, вымахал парень, дай бог!..

А ума, видать, не шибко... — с горечью констатировал старик. — Аэропланы...

Когда же стало известно, что Илью не приняли в авиационную школу, дед сказал, что ничего другого и нельзя было ожидать от боярских властей. Однако вскоре пришло письмо от внука, в котором он подробно рассказывал о своей работе в автомобильном гараже, а некоторое время спустя сообщил о знакомстве с «настоящими людьми, правильно понимающими причины всех наших невзгод...» Старик сразу понял намек внука.

— Тут Илюха скорее станет человеком, нежели в должности холуя у шкуродеров... — сказал он дочери, огорченной тем, что сын, имея почти законченное лицейское образование, вынужден работать в гараже.

Не прошло и недели после получения этого письма, как под вечер в дом ввалилась полиция. Учинили обыск, перевернули все вверх дном: распорол матрасы, облазили весь чердак, рылись в комод, оторвали несколько половиц, шарили в дымоходе, вырвали духовку, сломали днище шкафа. Главный сыщик сигуранцы, брюхастый Статеску, появившийся в Болграде вместе с первыми оккупационными частями и знавший лично старика Липатова как «татарбунарского бунтаря», прохаживался по комнате и ехидно брюзжал:

— Яблоко от яблоньки не далеко падает...

— Известное дело, — в тон ему ответил дед. — Яблоки с чужого сада всегда застревают в глотке вора...

Статеску злобно покосился на старика.

— Если ты, бородатый большевистский дьявол, гнил одиннадцать лет в Тыргу-Окненской каторге и выжил все же, то внук и полгода не протянет... С вашим братом сейчас раздвигаются по-германски!..

Сыщик прищурил левый глаз и, нажав указательным пальцем воображаемый курок, щелкнул языком.

Дед махнул рукой — дескать, не из пугливых.

— Ежели за двадцать один год не справились, хотя народ в крови топили, то нынче, господин Статеску, дела ваши и подавно дрянь...

Полемика кончилась тем, что Статеску рукояткой револьвера ударил старика по лицу. Дед медленно поднялся и, не спуская прищуренных глаз с сыщика, шагнул к нему. Статеску попятился, а мать Ильи заголосила, бросилась к старику и силой заставила его вернуться, сесть на свой табурет. Она хорошо знала его буйный, не терпящий унижений и несправедливости характер, знала, что и теперь еще, несмотря на шестьдесят восемь тяжело прожитых лет, силы ему не занимать...

Сидя теперь перед печкой с накинутым на сутулую спину пальто, не раз перелицованным и подбитым протертой до плешин овчиной, он не торопясь подбрасывал в огонь шелуху и думал о внуке. Как же случилось, спрашивал себя старик, что Илюха так быстро попал в лапы сигуранцы? То ли по неопытности — молодозелено, — то ли «сверчок» какой втерся к его дружкам? М-да! Однако ж, беда! Псы из сигуранцы умеют спускать шкуру... Выдержит ли теперь Илюха, не подведет ли своих корешков?! Иначе срам великий падет на него до самого гроба...

Старик поправил сползавшее с плеч тяжелое пальто и принялся свертывать толстую сигарку. Вспомнилось ему, как еще в шестнадцатом году за выступление на кирхане против царского самодержавия он впервые был заключен в одесскую губернскую тюрьму и познакомился там с грозой помещиков Бессарабии Григорием Котовским. «На смертную его осудили, — вспоминал старик, — а держался крепко, дай бог нашему Илюхе хоть наполовину так-то... Пощады не просил и врагам своим спуску не давал. Не терпел он, когда стражники оскорбляли его достоинство, и до того однажды разбушевался, что тюремщики поспешили вызвать прокурора. Заявился в камеру очкастый, с козлиной бородкой и стал выговаривать Григорию строго. Я, говорит, за такое поведение потребую немедленного приведения в исполнение приговора!.. А Григорий слушал-слушал, да как сунет ему под самый нос кукиш, с прокурора и очки слетели...»

Старику было о чем вспомнить. Вскоре ураган февральской революции сверг самодержавие, снял с Котовского кандалы, освободил Липатова и многих других невольников. Бывшие заключенные нуждались в помощи, и в одесском оперном театре с аукциона продавались кандалы Григория Котовского. Не дешево заплатил за них крупный мануфактурщик Пташников...

Липатов расстался с Котовским в Одессе, ушел домой пешком. Судьба, однако, их вновь свела. В первых числах декабря Котовский возвращался из Галаца, где принимал участие в съезде солдатских депутатов шестой царской армии, застрявшей в Румынии. Большевики поручили Григорию Котовскому срочно отправиться в Измаильский уезд и помочь местным товарищам прекратить погромы, чинимые некоторой частью солдат при умышленном попустительстве командующего шестой армией генерала Щербачева.

Когда Котовский с несколькими товарищами прибыл в Болград, на базарной площади выступал приехавший из Ки-

шинева уполномоченный «Сфатул цэрий»⁹⁷. Оставаясь в столице, Котовский внимательно слушал оратора и все больше убеждался в том, что заправилы из «Краевого совета» нарочно разжигают страсти пьяных солдат, провоцируют беспорядки, чтобы создать предлог для приглашения румынских войск...

«Уполномоченный» еще продолжал распинаться, когда Котовский энергично протиснулся к трибуне и на месте расстрелял этого провокатора. Толпа разом ахнула, на мгновение затихла и разразилась многолюдным хором возбужденных голосов. В толпе солдат был и Илья Липатов. Он сразу узнал Григория Ивановича, стал пробираться поближе и почти у самой трибуны столкнулся с окосевшим солдатом, из-за спины другого солдата целившимся в Котовского из нагана. Не раздумывая, Илья Липатов свалил ударом кулака покушавшегося и обезоружил его. Котовский видел все это, узнал старого знакомого по одесской тюрьме и встретил его крепкими объятиями.

В тот день в Болграде был наведен порядок. Уезжая, Григорий Иванович подарил Липатову наган, из которого пьяный солдат хотел застрелить его. Пять недель спустя из этого нагана Илья Липатов стрелял по перешедшим границу на Дунае оккупантам, а позже — по жандармам в Татарбунарах...

Остаток погасшей сигарки прилип к губе. Дед забыл о нем, подбросил в печку горсть шелухи и стал сворачивать новую сигарку.

В сенях послышались шаги. Вошла дочь, молча скинула с головы старую клетчатую шаль, кончиком ее вытерла покрасневшие от слез глаза и устало опустилась на стул.

Дед выжидательно смотрел на нее.

— Гори оно все пропадом! — тяжело вздохнув, тихо произнесла Мария Ильинична.

— Не застала? — спросил дед, хотя догадывался, что не в том причина неудачи.

— Застала! Дома они все... Но богатый дядя любит богатую племянницу...

— Отказал?

— Сначала не могла даже во двор войти. Собак спустили с цепей, чтоб никто их не беспокоил. А то заявятся, не дай бог, почтальон или пожарник с рождественским поздравлением, вот и придется раскошелиться... Обеднеть бояться. Ну, и стояла я, как за подаением, стучала все в калитку... Наконец

⁹⁷ «Краевой совет» (рум.) — группа буржуазных штепенцев, по инициативе которых были введены иностранные войска в Бессарабию.

вышла прислуга. Какая-то новенькая, из деревни, наверное. Меня не знает. Пошла спрашивать, можно ли впустить... Правда, вернулась скоро и проводила меня в сенцы. Вышел сам дядя Ефим. Стала я рассказывать ему про свою горе, а он сразу — с упреками да попреками, зачем, говорит, пустила сына в Бухарест, не зря, говорит, и посадили его, — дескать, спутался там с какой-нибудь шайкой... Промолчала я, ничего ему на это не ответила. Потом сказала, что ты живешь теперь у меня. А он на это хоть бы слово! Брат, называется... Да еще родной!

Дед передернул плечом, но лицо его выражало полное безразличие.

— О смерти Софьи, — продолжала Мария Ильинична, — говорит, будто первый раз слышит. Врет, конечно. Когда я сказала, зачем пришла, он не ответил ни да, ни нет. Велел обождать и ушел.

— И в дом не позвал?

— Какое?! Гулянье у них, гости... Патефон, слышно было, играл, да прислуга летала взад-вперед с посудой... Вышла его мадам. Поклонилась я ей, а она в ответ и глазом не моргнула. Только сказала: так уж и быть, позычит мне сто лей, если оставлю что-нибудь ценное в залог.

Дед со злостью сплюнул.

— Пусть, думаю, так. Хотела уж сбегать домой за летним пальто, да вспомнила про обручальное кольцо, сняла его и отдала.

— Ох и шкуродеры!

— Подожди, отец, это еще не все... Повертела она кольцо, поморщилась, спрашивает, из чистого ли оно золота? Как же, говорю, к свадьбе заказывали, из червонного... А она говорит: все равно сегодня не смогу позычить — не помню, куда ключи девала... Так я ни с чем и ушла.

— Не я ли утром сказывал тебе, да и раньше сколько раз говорил — забудь ты их!? Не хочешь понять. Нет у меня брата, нет и у тебя дядьки... Наши стежки разошлись еще в революцию, когда народ голодал и кровь проливал, а он на горе людском мошну набивал. Сама знаешь, а ходишь к ним, кланяешься...

— Ох, не пойду больше!.. Но я ж тебе не все рассказала! Иду домой и горько плачу. К кому, думаю, теперь обратиться? И тут чувствую: кто-то берет меня под руку. Испугалась я, оглянулась, а это, оказывается, докторша из женской гимназии. Ты знаешь ее. Она с дочерью и внучкой живет у Николаевской церкви, около трактира...

— Постой, постой, — перебил дочь старик, припоминая

что-то из далекого прошлого. — Не та ли это, что отказалась когда-то принять румынское подданство?

— Она самая. И до сих пор осталась подданной России...

— Так-так...

— Взяла меня под руку и сует деньги.

— С чего это?

— И я вначале-то испугалась, отказываюсь, а она слышать не хочет, кладет мне в карман, говорит, от МОПРа это!

— Вот так штука! — удивился старик, и глаза его заблестели. — Выходит, знают уже кое-где... Это неспроста, Маруся! Видать, Илюха наш заслуживает, ежели так... Неспроста это, нет!

— Вот и воспрянула я духом, триста лей как с неба свалились! Побежала сразу к адвокату...

— Уж и к Банкову поспела?

— К кому же еще? У него, сам знаешь, связи хорошие с полицией. Принял вежливо, пригласил сесть, но как услышал, что я о сыне, арестованном в Бухаресте будто бы за связь с коммунистами, переменялся в лице и стал поучать: «К чему детей рождаете, говорит, если не умеете их воспитывать?» Что ему ответишь? Замолвила я, чтобы взялся похлопотать, а он в ответ твердит: «Дорого будет стоить». Хочу уходить, а не знаю, как быть, сколько ему дать? Совета не давал, ничем не помог... Положила ему пятьдесят лей. Так он тут же вернул. За визит, говорит, меньше ста лей мне не платят!

— И ты ему отвалила сотню?

— Не торговаться ж мне с адвокатом?! Лучше бы Илюшке на эти деньги передачу отправила, — наверное, голодает там сыночек мой... Да и самим подводу топлива надо купить, семечек осталось — дай бог на два раза... И пятнадцатое число, вон, не за горами, за квартиру надо вносить...

Илья Ильич засел с дочерью распределять оставшиеся двести лей. Подсчитал, и немного отлегло от сердца. Мария Ильинична принесла примус.

— Отварю-ка американки да чаю вскипячу. Пусть тут горит, теплее чуть станет. От шелухи этой толку...

Зашумел примус, забулькала вода в кастрюле, наполненной доверху картошкой «в мундире». Дед деловито заходил взад-вперед, поправляя сползавшее с плеч пальто и поглядывая на крышку кастрюли, трясущуюся под напором пара.

— Так вот и народ, — кивнул он на кастрюлю, — вскипит у него душа, станет ломиться, как этот пар, на волю... Ежели будут повсюду дружно кипеть, скинут к чертовой ма-

тери все крышки железные! Никакие решетки не помогут! Дожить бы только...

Мария Ильинична не слышала, о чем говорит отец. Она хлопотала у печи, подметала остатки шелухи, закрыла вьюшку в дымоходе, чтобы тепло не уходило, и все думала о сыне.

Сели за стол, дед принялся счищать «мундир» с картошки. Ел, густо посыпая ее солью, смешанной с красным перцем. Перчил так, что в глазах слезы не просыхали. И у дочери медленно вспухали слезинки, стекали по щекам... Но виной тому был не перец. Ее душили спазмы.

Не допив чая, она снова принялась за уборку и вдруг застыла с веником в руке.

— Стучат, вроде? Или почудилось?

Снова раздался стук. Дед сморщился, насунился и решительно кивнул на дверь.

— Спать, небось, пожаловали слуги королевские. Отворяй! Чего же ты?

Дрожащими руками дочь открыла дверь. На пороге стояла молодая краснощекая девушка. Голова ее была укутана большим грубошерстным платком, и Мария Ильинична не сразу узнала Нелю, всегда носившую гимназическую шляпку. А в стороне стоял бывший соученик Ильи Валя Цолев. Мария Ильинична засуетилась, пригласила их зайти в дом, извинялась, что не успела прибрать в комнате.

Они вошли, настороженно оглядываясь, но, убедившись, что посторонних в доме нет, с облегчением вздохнули и смущенно заулыбались, слушая, как Мария Ильинична, волнуясь, рассказывает отцу, что Валя — давний приятель Илюши, вместе учились в начальной школе, а потом в лицее, и что Неля — дочь той самой «докторши» из женской гимназии!

— Не обижайтесь, пожалуйста, мадам Томова, — краснея, сказала Неля. — Это вам, от друзей Илюши...

Она указала на большую корзину, которую держал Валя, никак не решавшийся сказать Марии Ильиничне, что ее надо освободить.

— Мы одолжили корзину в одном доме, — выдавил, наконец, он. — Обещали вернуть...

И приятно, и неловко было Марии Ильиничне, а дед не скрывал радости, даже прослезился, чего с ним никогда прежде не бывало. Принялись выгружать все на стол, и вскоре весь он был заставлен пакетами и кулками с мукой и сахаром, крупами и макаронами, пачками печенья и чая, риса и цикория, бутылкой с подсолнечным маслом и банкой с повидлом. Не забыли молодые люди положить и десяток коробков

спичек. По стоимости — это было все равно что килограмм говядины! Казенная монополия... А Валя Цолев протянул старику пачку хорошего табака.

— Это лично вам, — запинаясь, сказал он, — наши товарищи просили передать вам лично...

Дед растрогался:

— Спасибо, голубчики, спасибо! Человек я не верующий, не суеверный, а вот поди ж ты, подумалось, что коли перед Новым годом такое счастье привалило, выходит, судьба нам много хорошего обещает... Есть у меня такая примета!

— Может быть, наши из-за Днестра придут? — пригнувшись к старику, с жаром прошептала Неля. — Как вы считаете?

Старик задумался, немного выждал и, хитро улыбаясь, ответил:

— А что? Пора бы уж им зашевелиться... Западную Украину-то освободили?!

Слово за слово, завязалась беседа. Молодые люди, собиравшиеся было уйти, охотно согласились выпить чашку чая, подсели к старику и стали жадно слушать его рассказы — сначала о восстании в Татарбунарах, о тяжелых условиях жизни сосланных на каторгу, о Григории Котовском и о каком-то необыкновенном человеке, которого он называл «товарищем Максом».

— То был редкостный человек! — говорил Илья Ильич. — Родом из Румынии. Еще мальчиком пошел работать на хозяйина, с ранних лет стал бороться за справедливость. А как только из России подул свежий ветерок, задумал туда податься. Собрал вокруг себя нескольких корешков и двинулся с ними в поход через Прут. Там проходила тогда граница. Наша братва солдатская, что находилась в те дни на румынском фронте, помогла им переправиться. Заявились они в Одессу, там-то мы и познакомились, но вскорости расстались. Время было горячее, царя-батюшку уже турнули, а легче от этого народу вроде и не стало... И война не кончилась, и помещики с купцами да фабрикантами как были, так и остались. Вот, значит, и подался товарищ Макс со своими румынцами в Красную гвардию, чтобы доводить дело до конца...

— Значит, и румыны воевали за Советскую власть? — удивился Валя.

— А как же! Батальон целый был. Сражались дружно, и многие жизнь отдали, а товарищ Макс был ранен. Аккурат в это время и в меня тут, в Бессарабии, жандармы угодили... Вот так-то оно и получается: румынцу где-то под Херсоном пуля досталась от русских беляков, а мне, русскому, тут от

румынцев... Борьба-то не национальная, а классовая! Ну, ранение, известное дело, — штука хоть и бедовая, да не великая, ежели проходит гладко... А вот с товарищем Максом тогда беда стряслась! Приговорили его к расстрелу...

— Как так к расстрелу?

— За что? — забросали старика вопросами молодые люди.

— Раненый, он попал в плен к австро-германцам! Они и приговорили его за измену их буржуйскому делу. Но товарищ Макс не овечка, парень башковитый, решительный. Не дался в руки палачам.

— Убежал? — нетерпеливо спросила Неля.

— А как же! Сызнова появился в Одессу и давай там солить австриякам и германцам. Из-под носу у них таскал оружие для большевиков. А землячки его к тому времени весь наш край уже прибрали к рукам... Все норовили тогда Россию обкорнать, да не по-ихнему вышло. Только Бессарабию нашу все же отхватили...

В то время со всех сторон напирала на Советскую власть. И землячки его тоже хорохорились: дескать, Россия им ни почем! Все шумели, галдели, в драку бы вроде готовы были лезть... Чудилось им, будто за Днестром еще не совсем крепко держится новая власть, и давай кулаками размахивать. А того не понимали, что это все одно, как таракану замахиваться на медведя... Шуму было куда-а там! Казармы строили, маневры проводили, войска ходили вдоль границы, артиллерию стягивали... И вдруг все газеты загалдели о взрыве и пожаре на одном большом военном складе, и все в один голос называли товарища Макса виновником в этом деле.

— Опять поймали? — с тревогой спросила Неля.

— Нет! — твердо произнес старик. — Через некоторое время ко мне заезжал. Но это уже на обратном пути. Оставил тут кое-что и двинулся к себе на родину. До самого Букурешта допер! Снял себе там комнатку и занялся положенной работой... Подпольной, значит. Но только-только все наладил, как хозяйка его возьми да настрочи донос в полицию: мол, квартирант больно подозрительный... И заграбастали! Судили. Десять годов всучили.

— Гадюка! — с возмущением произнес Валя. — Такого человека погубила...

— Да не совсем так, — усмехнувшись, перебил старик. — Напакостить она напакостила, а сгубить — руки коротки. Такого, милый мой, погубить не так просто. Это ж товарищ Макс!

— Неужели убежал?!

— Да еще как! — задорно произнес Илья Ильич. — Ни один циркач такого не выкинет! Со двора тюрьмы высоко поднялся по водосточной трубе до карниза тюремного здания и тихонько стал пробираться по нему... Стража спохватилась, когда его и след простыл... А ведь у товарища Макса не было правой руки! Оторвало ему руку, еще когда он в Одессе был, мастерил там какие-то «адские машины» и, должно быть, недоглядел чего-то...

Мария Ильинична, слушая рассказ, убрала со стола кульки, расставила чашки, разлила в них свежезаваренный ароматный чай.

— Пожалуйста, Неля! Валя! Пейте, пока чай горячий, — приглашала она, но гости, поблагодарив, увлеченные рассказом деда, и не притронулись к угощению.

— Выкарабкался он из тюрьмы, добрался до болгарской границы, а дальше не повезло все же. Наложили там на него руку. Воротили и сызнова посадили. С год, примерно, держали в тюрьме, а потом повезли в суд. Заседали-заседали и, как водится, перерыв объявили. Товарищ Макс попросился по своей нужде. Жандармы отвели его куда следует и стоят с карабинами, карают, разговаривают меж собой... Подошел к ним жандармский плутоньер⁹⁸, говорит, пора, мол, вести заключенного в зал; тогда курканы⁹⁹ постучали в дверь, окликнули, а оттуда — ни ответа, ни привета! Еще постучали, опять молчок... Взломали дверь, а там — одна только полосатая каторжанка...

— Убежал?! — радостно воскликнула Неля. — В самом деле?!

— Утек... На этот раз подался в Москву. Однако и там про свою страну ни на минуту не забывал. Румынцам тогда крепко доставалось. Правил тогда страной генерал Авереску. Зверь, а не человек! Подстать ему и другой был — министр внутренних дел генерал Арджетояну. Грабили они наш край, насильничали, расстреливали без оглядки, страшно вспомнить! Век их не забудут что сами румынцы, что наши бессарабцы... Про все это товарищ Макс знал, переживал за свой народ, за горе его. И как малость поправился, опять заявился в родные края. Чувал я, что задаст он палачам перцу.

Было это перед рождеством в двадцатом году. Узнал я из газет, что в Букуреште, и не где-нибудь там на задворках столицы, а в самом Сенате, произошел сильный взрыв. В тот день Авереску должен был там выступать, но повезло мерзавцу.

⁹⁸ Фельдфебель (рум.).

⁹⁹ Индюк; перен. — жандарм, полицейский (рум.).

Уцелел. Убиты были министр юстиции — тоже порядочный подлец, архиепископ какой-то и еще кто-то из сенаторов. Читаю я газету и думаю, не товарищ ли Макс это сотворил? А через несколько дней в газетах портрет его уже поместили, ищут, значит!.. Потом объявления повсюду расклеили, сулили сто тысяч лей тому, кто выдаст его. Большие деньги, по тем временам! Самая лучшая корова — «голландка» — стояла от силы три тысячи... Эх, думаю, удастся ли на сей раз нашему Максиму вывернуться? Как ни говорите, а ведь много есть людшек, падких до денег...

— Неужели выдали? — нетерпеливо спросила Неля.

— Не мешай... — тихо произнес Валя.

— Не-е! Вскоре ко мне пожаловал. Пришел поздно ночью, стучит в окно. Гляжу на него и дивлюсь — цел и невредим!

— Молодец! — воскликнула Неля и виновато посмотрела на Валу.

Дед продолжал:

— Пробыл он в тот раз у меня, должно быть, с недельку. Все ждали непогоды, чтобы скрытнее было проводить его к Днестру. Обо всем тогда наговорились. Настроение у него было хорошее, только иногда с обидой вспоминал, что кто-то в Букуреште ему строго наказал прекратить такую работенку, — дескать, нет от нее пользы, а один только вред: народ, говорит, надо подымать, а не в одиночку геройствовать... Да! Может, оно так и есть, только такой уж у него характер был нетерпеливый, горячий... Ну, проводил я его, и с тех пор не пришлось больше встречаться...

— И вы не знаете, Илья Ильич, что с ним дальше было? — спросил Валя.

Дед поправил привычным движением съехавшее с плеч пальто.

— Слышал, будто он учился где-то в России, потом опять попытался вернуться на родину, но уже не через наш край, а не то через Турцию, не то еще откуда-то. Знаю только, что прибыл он на маленькой лодке с парусом по Черному морю. Это с одной-то рукой! Не каждый рыбак выдержит такое путешествие по Черному морю! С ним шутки плохи! А товарищ Макс доплыл благополучно, но только ступил ногой на землю румынскую, как к нему два пограничника подступили... Как быть? Сказал он им, будто имеет разрешение властей на то, чтобы тут высадиться, и полез в свой чемоданчик — буд-то за документом. А вместо документа выхватил из чемоданчика револьвер, цыкнул на солдат, приказал им лечь лицом к земле и не шевелиться. Пограничники растерялись, исполнили его приказ. А он вытащил из их карабинов затворы,

чтобы, значит, не могли они поднять тревогу. И быстренько стал удаляться со своим чемоданчиком. Вскорости солдаты опомнились. Где-то у них поблизости был секретный звонок. Поднялась тревога!.. Товарищ Макс, хоть и успел скрыться в лесочке, неподалеку, но что ни говорите — граница... По всему тамошнему участку лесочек обложили, стали прочесывать... Оказался бедняга окруженный, одной рукой отстреливался. Должно быть, в горячке не заметил, как кончились патроны, не то живым не сдался бы... Схватили его, отвезли в Букурешт. Тут ему особый карцер построили, такой, что ни лечь, ни сесть в нем нельзя. Сами полицейские прозвали этот карцер «стоячим гробом».

Неля и Валя слушали, затаив дыхание...

— Судил его военный трибунал... — грустно произнес старик. — Сказывали, будто он сразу же заявил, что коммунисты к его делам не причастны... А потом потребовал, чтобы в суд вызвали в качестве свидетеля министра внутренних дел Арджетоюну. И, знаете, добился своего: пришел министр.

И вот, значит, председатель трибунала спрашивает Макса: «Кто подложил бомбу под трибуну Сената»? Товарищ Макс встает и рукой указывает на генерала Арджетоюну: «Вот кто устроил взрыв в Сенате! Расправа над беззащитными рабочими и крестьянами требовала мщения. Я только выполнил их волю». Еще председатель допытывался, чем товарищ Макс начинил бомбу, а тот ему: «Она начинена слезами и страданиями румынских рабочих и крестьян; она начинена гневом десятков и сотен тысяч матерей, жен и детей, у которых правители моей страны расстреляли сыновей и мужей, отцов и братьев...» Эти его слова все мы, кто сиживал в ту пору в тюрьмах, повторяли, словно молитву. Тогда ему не дали договорить. Выволокли с заседания, загнали в тюрьму Дофтану, в одиночку, да еще приковали цепями к стене. Всё боялись, как бы он сызнова не утек. А он и в самом деле не унимался, опять повел с ними войну: требовал для себя режима политического заключенного. Начальство не соглашалось. Тогда товарищ Макс голодовку объявил. Голодал день, другой, третий... Да что там дни считать. Два месяца не принимал пищи. Во всей истории еще такого не бывало! На шестьдесят третий день голодухи сердце не выдержало... И было то ему отроду всего двадцать восемь годов... Вот какой был товарищ Макс!.. А фамилию его настоящую мы узнали только после смерти: Гольдштейн... Макс Гольдштейн. Румынцы его знают. Простой народ гордится им...

Наступила тишина; лишь чуть слышно, с убавленным

огоньком, жалобно пыхтел на подоконнике примус. Над нетронутыми чашками с чаем давно уже не вился парок. А с оттаивших стекол окна медленно, как слезы, текли прозрачные ручейки...

14

День был на исходе, когда автомобиль с важно восседавшим Нуци Ионасом, его напарником-шофером и прижавшимся друг к другу на заднем сиденье Хаймом и Ойей остановился у ворот приземистого, слегка покосившегося четырехоконного дома. Решетчатые ставни с облезлыми, деревянными, местами выломленными поперечными планками придавали ему унылый, заброшенный вид.

Тотчас же машину окружила орава ребятишек, вынырнувших со дворов соседних домов. Наперебой они стали здороваться:

— Шолом, хавэрим!

— Шолом!

Напарник Нуци выключил мотор, намереваясь вместе с хозяином войти в дом, но тут один из мальчуганов, загорелый, в брючках чуть ниже колен и в маленьком, точно блюде, сатиновом берете, едва прикрывавшем курчавые волосы, подошел к нему и вызывающе заявил:

— Вы, шаббат-гой!¹⁰⁰ Скоро суббота, а все катаетесь!

— Рано еще, — ответил ему Нуци, взглянув на позолоченное закатом небо. — До вечера знаешь сколько? А ты орешь «суббота»! Иди-ка отсюда, слышишь?!

— Сам иди! — нехотя пятясь, огрызнулся мальчуган. — Вот пусть только взойдет первая звезда, мы тогда проткнем все шины вашему проклятому автомобилю... Увидите!

Нуци пригрозил мальчугану, а явно встревожившийся шофер поспешно включил мотор и тут же уехал, напутствуемый криками ребят:

— Шаббат-гой! Шаббат-гой!

Вдгонку автомобилю полетели камни.

Нуци натянуто рассмеялся:

— Видал, Хаймолэ, какие здесь растут парни?! Это не то, что мы с тобой, а? Геройские! Первые помощники раввината!

Хаим улыбнулся, но ничего не ответил. Он не понимал, чем вызвана дерзость ребят и почему Нуци, явно смущенный, все же одобрительно отзывался о них.

Едва открыв калитку, Нуци принялся кричать по-румынски:

¹⁰⁰ Шаббат-гой — еврей, не чтящий праздника субботы.

— Этти! Мамико! Где вы? Гостей принимайте!

На пороге открытой двери показалась молодая женщина в ярко-голубом атласном халате, расписанном большими линиями. По выражению ее лица нетрудно было заключить, что она далеко не в восторге от того, что муж приволок с собой гостей с жалкими узелками.

— Мой друг! — поспешно и весело представил Хаима Нуци, желая предупредить жену от неуместных реплик на румынском языке. — Холуц из Румынии! И его жена...

— Очень приятно, что из Румынии, — сухо ответила Эттиля и, осуждающе взглянув на мужа, иронически добавила: — Мне это доставляет большое удовольствие...

Хаим смущенно поклонился, назвал свою фамилию и, осторожно дотронувшись до локтя Ойи, робко представил и ее:

— Моя жена... Ойя.

— Ойя? — рассмеявшись, переспросила Эттиля. — Что это: имя или ваше ласковое прозвище? Ойя!..¹⁰¹

— Нет, Этти! — опережая Хаима, постарался быстро ответить Нуци. — Это действительно ее имя! Она и в самом деле такая милая и такая тихая, как овечка... — Довольный тем, что удалось обратить в шутку язвительно-насмешливый вопрос жены, Нуци поспешно добавил: — А ты знаешь, Этти, мой товарищ — большой друг нашего Симона! Да, моя дорогая! Соломонзон так радушно нас принял... Мы сейчас от него, честное слово!

Эттиля выпучила глаза, лицо ее внезапно вытянулось, губа отвисла: она была поражена.

— Вы все вместе были у Симона? — обратилась она к ссутулившемуся Хаиму, точно не поверила словам мужа. — Вы его знаете?

Хаим кивнул, еще не понимая, сколь магически подействовал на женщину рассказ о визите к Соломонзону.

— Я же тебе говорю, Эттилэ! Мы были у него дома! — раздраженно ответил Нуци. — Сидели в гостиной, нас угощали чаем, вареньем, печеньем, тортом и еще чем-то... Полный стол, честное слово! И сам Симон просил меня помочь им временно устроиться здесь, во флигеле...

— Эттилэ! Нуцилэ! Почему вы не приглашаете людей в дом? — послышался трескучий женский голос. — Что вы стоите во дворе?

Хаим обернулся. В дверях стояла полная низенькая коротко подстриженная седая женщина. Он виновато поклонился ей.

¹⁰¹ По-румынски ойя — овечка.

— Люди с дороги, наверное, устали, — продолжала старушка отчитывать дочь и зятя, — а они держат их во дворе, как будто для этого нет дома!? Кошмар! Кто так принимает гостей, Эттильз?!

Грозная теща Нуци, разумеется, услышала, что бедно одетые молодые люди были приняты самим Симоном Соломоном...

Нуци что-то шепнул жене, она удивленно взглянула на Сью и, обращаясь к ней, несколько нерешительно сказала:

— Входите, конечно... Вот сюда! Сюда, сюда проходите... Пожалуйста!

Ойя и Хаим вошли в маленькую, чисто выбеленную переднюю, заставленную сундуками и коробками, на которых виднелась жирная надпись «Джойнт дистрибьюшн Комити» U. S. A.»¹⁰². Хаим помнил, что в таких же коробках и с такой же точно маркировкой в тот страшный день им доставляли на «трансатлантик» пакеты с едой. Наличие таких же коробок в доме Ионасов его удивило, но он не подал вида.

— Здесь можно оставить? — спросил Хаим, указывая на свои пожитки.

— Что за вопрос?! — Эттиля фыркнула, как рассерженная кошка. — Если ваши узлы даже набиты золотом, то и в этом случае их никто не тронет!

Хаим покраснел, робко сказал, что его не так поняли, он лишь боялся, не побрезгуют ли хозяева невзрачным на вид багажом.

— Ну! Что же вы стоите здесь? — выйдя в переднюю, заступилась старушка. — Проходите!

Хаим поблагодарил, осторожно положил узелки на пол, снял свои поношенные ботинки и быстро, стыдясь их жалкого вида, сунул под узел. Ойя последовала его примеру, и они вместе на цыпочках прошли в большую комнату.

— Вот стулья, тахта, кресло, садитесь, где вам будет удобно, — предложил Нуци и вышел в прихожую.

— Пусть она снимет кофточку, — указывая на Ойю, посоветовала Эттиля. — Объясните ей, что у нас тепло.

Хаим помог Ойе снять шерстяную кофточку. Сняла она и косынку и сразу преобразилась. Хаим умиленно смотрел на нее и, когда Эттиля вышла из комнаты, нежно поцеловал. Ойя просияла и, в свою очередь, кивнула на его помятый и потерянный пиджак.

Хаим подошел к зеркалу, взглянул на себя: щеки впали,

¹⁰² Сионистское благотворительное общество, субсидируемое американскими евреями.

под глазами темные круги, а веснушки, казалось, никогда еще не были такими яркими.

— О, правильно! — одобрила старушка, войдя в комнату и увидев, что Хаим снимает пиджак. — Чувствуйте себя как дома! Мы сами испытали, что значит приехать в страну, где никого не знаешь и тебя никто не знает. Кошмар! Но... как-нибудь! Не умерли, слава богу... Нуцилэ работает у Соломонзона — это вы знаете. А Эттилэ? Она тоже устроена. Не очень хорошо, но ничего... Учит детей музыке. — Она указала на старенькое пианино. — Я его тащила из Галаца!.. Сколько здоровья мне это стоило, один бог знает... Но здесь, чтобы купить такой инструмент, надо иметь бешенные деньги! А откуда их взять! Дочь и зять, дай им бог здоровья, не любят, когда я так говорю. Они все-таки занимают большие посты. Особенно Нуцилэ! Он учень успел... Но зато он и работает, как вол! Иначе Соломонзон держать не будет... Поверите, иной раз целую неделю не бывает дома. Что он там делает, куда ездит — и не спрашиваем. Какое наше дело? Конечно, у таких, как Соломонзон, мозги не сохнут о том, где взять деньги, чтобы идти на базар, или кому раньше отдать долг: лавочнику за продукты или хозяину за квартиру. А цены, чтоб они пропали вместе с теми, кто их повышает, все растут и растут...

Вошла Эттиля. Старушка смолкла, суетливо сняла со стола плюшевую скатерть с длинными кистями, постелила другую — белоснежную, хрустящую, накрахмаленную, разложила на столе ложки и вилки. Вслед за дочерью она взяла что-то из буфета и тут же вышла.

Оставшиеся наедине Хаим и Ойя переглянулись и с любопытством стали озиаться по сторонам. Комната была просторная и чисто убранная. Особый уют ей придавал огромный яркий трансильванский ковер, свисавший почти от потолка и прикрывавший широкий диван, на котором, как у Симона Соломонзона на полу в гостиной, лежало множество разноцветных подушечек. На самом видном месте, как раз над пианино, висел большого формата цветной фотопортрет Симона Соломонзона. Здесь он выглядел старше своих лет, хотя был облачен в спортивную белую рубашку с открытым воротником и короткими рукавами. На нагрудном кармане рубашки красовалась большая, вышитая голубыми нитками шестиугольная звезда «Щит Давида».

Взгляд Хаима остановился на открытой настежь двери, ведущей в другую маленькую комнату: шкаф и стоявший вплотную к нему диванчик оставляли лишь узкий проход.

Нуци, войдя в столовую, обратил внимание на устремленный в открытую дверь взгляд Хаима.

— Там живет мама, — сказал он, — а за стеной — другая семья. Вторую половину дома Соломонзон сдает еще двум семьям... У них отдельный вход. Мы с ними не соприкасаемся... Это ватиким¹⁰³. Они жили здесь еще до того, как отец Симона купил этот дом. У него вообще слабость к домам... Как приедет в Палестину, так непременно купит парочку или тройку домов...

— Неплохая «слабость»... — заметил Хаим. — Как я понимаю, он постепенно переводит сюда свои капиталы из Румынии?

— Как тебе сказать? Пожалуй, это не совсем так... — замялся Нуци.

Тем временем в комнату вернулись Эттиля с матерью и принялись расставлять закуски. Мать Эттили пригласила гостей к столу, а Нуци достал из-под тахты бутылку с прозрачной жидкостью. Увидев ее на столе, старуха пришла в ужас.

— Он уже берется за свое! Кошмар! И сколько я ни говорю, что это самая настоящая погибель, что стакан сока куда полезнее, он все равно тянет эту дрянь, хоть режьте его!

Виновато ухмыляясь, Нуци тем не менее неторопливо откупорил бутылку.

— Ты слышал когда-нибудь, Хаймолэ, что такое «арак»? — спросил он. — Смахивает немного на румынскую цуйку...

— Ой, Нуцилэ! Мама ведь не хочет, чтобы ты пил... — взмолилась Эттиля и, обращаясь к Хайму, пояснила: — Вы же понимаете, какой это может быть напиток, если его делают сами бедуины!?

— Просто кошмар! — негодовала старуха. — При одном только взгляде на бедуинов меня выворачивает наизнанку! О чем вы спрашиваете?! Вечно грязные, немытые, нечесанные и все, что хотите... А он себе пьет! И еще как, вы бы посмотрели! Это же суцая отрава...

Нуци причмокнул языком, предвкушая удовольствие, налил Хайму и себе.

— Арабы его пьют с водой, — пояснил Нуци с видом знатока. — Как в Румынии в лучших ресторанах, добавляют на три четверти бокала вина одну четверть — из сифона... Получается прямо-таки шампанское!

— Шприц, — скромно заметил Хаим.

— Верно, шприц! — обрадованно подхватил Нуци, и в его голосе прозвучала тоска. — Ты, оказывается, все помнишь, Хаймолэ?! Молодец!

Нуци долил в чашечки воду. Жидкость помутнела.

¹⁰³ Коренные жители Палестины.

Он лихо опрокинул в рот содержимое, а Хаим, не торопясь, отпил половину и, к удивлению наблюдавших за ним Эттиля и ее матери, спокойно сказал:

— Ничего...

— Скорее закусывайте! — сморщив лицо, закричала старуха. — Кошмар!

— Дать тебе воды запить? — предложил Нуци. — Глоточек?

— Вам плохо, наверное? — забеспокоилась Эттиля. — Горит, нет?

— Нормально, — ответил Хаим. — Ей-богу! Спасибо.

Не спеша Хаим и Ойя ели положенные им на отдельные тарелочки рубленые яйца с куриным жиром и мелко нарезанным жареным луком. Старуха положила на тарелки куски курицы и отварную фасоль.

— Попробуйте гарнир! — приглашала она гостей. — Это же не фасоль, а просто сахар! Прямо тает во рту...

Вслед за закуской и вторым блюдом она разлила в тарелки бульон из покрытого толстым слоем гари чугунок.

— На редкость удачная курочка мне попалась... Ой, так почему же вы не кладете себе сухарики?! Видите, какой это бульон? Чистое золото, нет? Берите сухарики, не стесняйтесь, — приговаривала она, пододвигая к Хаиму миску с маленькими зарумяненными квадратиками. — И жене тоже положите! Что-то она, кажется, плохо у вас кушает? Объясните ей, что эти сухарики я сама приготовила...

— Ну-у! — причмокнув, воскликнул Нуци, стараясь задобрить тещу. — Как наша мама умеет готовить, поискать надо! Что-то необыкновенное! У нас однажды был Симон. Помнишь, Эттилэ, как он тогда кушал?

— Спрашиваешь?! — сказала Эттиля, словно речь шла о событии из ряда вон выходящем. — Пальчики облизывал... Нуцина теща заерзала:

— Мне так доставляет удовольствие ваша похвала, деточки мои, чтоб вы были здоровы и счастливы, и все же, скажу я вам, все кушанья могли быть гораздо лучше и гораздо вкуснее, не будь у нас таких отвратительных соседей... Да, да! Не удивляйтесь. — Старуха взглянула на Хаима. — Сегодня же канун субботы! Конечно, до приезда сюда я не придерживалась этого обычая. И не потому, что плохо веровала. Боже упаси! Просто так у нас было принято. Но тут, хочешь не хочешь, а надо соблюдать никому не нужные обычаи, возникшие, наверное, не одну тысячу лет тому назад! И, представьте себе, из-за соседей мне приходится их выполнять!

— У нас тут такие соседи, — поддержала Эттиля, — что

лучше бы их вовек не знать! Упаси бог, если, к примеру, они узнают, что кто-то в субботу, уже не говоря о праздниках, осмелился зажечь огонь...

— Кошмар! — перебила ее мать. — О чем говорить! Это не люди, а я даже не знаю, как их назвать... Хуже, поверьте мне, самых паршивых арабов!

— Не хуже, положим, — осторожно поправил тещу Нуци, — но не в этом дело. Арабы арабами, и все мы знаем, как они нас и как мы их любим... А соседи наши просто-напросто люди очень отсталые и с предрассудками.

— Только это разве? — не унималась Эттиля. — Что ты говоришь, Нуцилэ?! Они такие же хорошие, как арабы... Ты же сам это не раз говорил?!

Нуци под столом слегка подтолкнул ногой жену, и она замолчала, но сидевшая на другом конце стола теща была недосягаема. К тому же, она не принадлежала к категории людей, которые могли промолчать, когда оказывалось задетым их самолюбие.

— Не делайте из меня, пожалуйста, дуру! — вспыхнула теща. — Я еще пока не выжила из ума! И уж если хотите знать, так я бы не знаю сколько таких «ватиким», как наши соседи, отдала за одного араба... Один наш сосед чего стоит! Его бы только к болячке прикладывать... Такой он хороший!

— Никто не говорит, что он хороший... — заискивающе согласился Нуци и, стараясь замять разговор, объяснил Хаиму: — Это отец того чернявого паренька в коротких штанах с черной кеполэ на голове. Отец собирается отдать его в «йеши-вэ»¹⁰⁴ и оттого строго соблюдает все правила «закона предков».

— А что уже этот выродок хотел от тебя? — насторожилась старуха. — Что ему надо было?

— Что он мог хотеть? Увидел мальчик автомобиль, вот и подошел...

Старуха недоверчиво посмотрела на зятя. Ее не так-то легко было провести.

— Это он так просто подойдет? — ехидно переспросила она. — Тот ещё мальчик растет... Кошмар! Такому лучше бы не родиться, поверьте мне. И вообще, семейка у них — не спрашивайте!..

— Мы их, знаете, как зовем? — не удержалась снова Эттиля. — «Сабра»!

¹⁰⁴ Богословские школы, обучающие в духе крайнего мистицизма и религиозного фанатизма.

Нуци опять попытался сгладить резкость тещи и жены, придать разговору шуточный характер. Он рассмеялся:

— Да, да... Здесь есть такое растение — вроде кактуса. Плоды его сладкие, но растение очень колючее. Так вот, коренных жителей так и прозвали — «сабра». Они тоже немножко колючие...

— Немножко! — возмутилась старуха. — Ты слышишь, Эттилэ? А разве не из-за них я держу на огне этой паршивой керосинки готовый ужин и целый обед с пятницы до вечера следующего дня? Мы же не какие-нибудь свиньи, чтобы кушать холодное, — обратилась старуха к Хаиму на румынском языке. — Можно заработать такой «бухвейтег»¹⁰⁵, что потом всю жизнь не будешь рад!.. Но боже упаси зажечь огонь и разогреть кушанье! Я уже не говорю о том, чтобы приготовить свежее! Пронюхают эти «немножко колючие» и смешают нас с грязью на весь Эрец-Исраэль! Они на все способны... Просто кошмар!.. Хотя я, поверьте, не боюсь их. Видала бы их всех на полу под черным покрывалом! Но мои зятек и доченька, дай им бог здоровья, все время твердят, что им, видите ли, неудобно нарушать обычай... И потому только я не затеваю с ними никаких дел. Иначе бы им тоже было не сладко... Теперь вы уже понимаете, отчего нам приходится в субботу и особенно в праздник кушать застоявшееся, прокисшее и, не за столом будь сказано, провонявшее кушанье?.. Кошмар!

Нуци ерзал на стуле и, не находя лучшего способа прервать поток откровений тещи, раз за разом подливал себе «арак» и демонстративно опрокидывал чашечку за чашечкой. Эттиля краснела и осторожно бросала на мать выразительные взгляды. Наконец та уразумела и стала стихать.

— Но от этого еще никто не умер! — произнесла она менее воинственным тоном. — Мы привыкли, привыкнете и вы! Как говорится, только бы эта беда у всех нас осталась и другого горя бы никому не знать... Так что не брезгуйте и кушайте себе на здоровье! Все-таки бульон от очень удачной курочки!

К концу трапезы Нуци заметно осоловел и, когда все встали из-за стола, предложил Хаиму прогуляться.

— Вон там находится флигель, в котором вы будете жить, — сказал он, показывая рукой в глубь двора на едва различимое в темноте небольшое строение. — Сегодня вы как-нибудь устройтесь у меня, а завтра осмотрим его. Симон сказал, что это на первых порах, ведь там нет потолка... Но

¹⁰⁵ Боль в животе.

крыша, Хаймолэ, отличная! И двери... Правда, стекла в окне придется вставить. А на пол раздобудем циновки. В порту у меня их навалом. Будет дешево и сердито! Нет? Зато они приятно пахнут рогожкой, а стоят ерунду, и не жалко их выбросить... Многие из местных стелют их даже в комнатах, честное слово! Но вот хуже тут обстоит дело с удобствами...

— О чем ты говоришь, Нуцик! — воскликнул не без удивления Хаим. — О каких удобствах может идти речь?! Что, я не вижу, как большинство людей здесь живет? Тебе, Нуцик, я очень благодарен, ей-богу! От души говорю...

— Ну нет, Хаймолэ, нет! Удобства, о которых я говорю, нужны всем, будь ты царь или батрак! Ведь ты же не бедуин, которому ничего не нужно?! А покамест вы будете жить здесь, неподалеку есть такое место.

— Что ты имеешь в виду? Туалет?!

— А ты думал — ванную и душ с горячей водой?! — рассмеялся Нуци. — Это, мой друг, могут пока иметь только такие, как Симон Соломонзон! Мы сейчас пойдем, и я покажу тебе, куда ходят ватиким... Придется и тебе с женой туда прогуливаться. Недалеко это...

Сни вышли на улицу, зашагали по сплошь выщербленному, тускло освещенному редкими фонарями тротуару.

— Устроишься на работу, подыщешь другое, более благоустроенное жилье, — продолжал Нуци разговор на прежнюю тему, которая, как показалось Хаиму, почему-то его очень беспокоила. — И тогда не надо будет вам совершать малоприятные прогулки... Правда, Симон надумал было построить это «заведеньице» у нас во дворе, но наши сволочи рабочие запросили втридорога!

— Что значит наши? Евреи, что ли?

— Именно! — возмущенно ответил Нуци. — Тогда я нашел двух бедуинов. Эти брались буквально за несколько пиастров¹⁰⁶ выкопать яму. Но тут нашу маму вдруг осенило... Зачем, сказала она, делать общую уборную во дворе и, хочешь не хочешь, общаться с этими пачкунами «сабра»? Так вот: зачем, говорит мама, общаться с этими «сабра»? А если повесить там замок, так они сорвут его в первую же ночь вместе с дверью и петлями! Тогда-то мы и подумали, не лучше ли отвести уголок на нашей кухне? Так и сделали. Конечно, это не шик-модерн. Даже ничем не отгорожено. Кухня такая крохотная, что и без того негде повернуться. И приходится всякий раз выпроваживать всех, и тебя вечно торопят,

¹⁰⁶ Единица денежного счета.

потому что там что-то может подгореть или пережариться... Словом, это не «кабинет задумчивости»...

Теперь Хаим понял, что именно тревожило друга. Сам факт неблагоустроенности жилья, в котором много лет обитают местные жители, поразил его, пожалуй, не меньше, чем скупость Симона Соломонзона и враждебность тона, каким Нуци говорил о евреях-рабочих, о своих соседях по дому. Да и царившая здесь атмосфера зависти, неуживчивости и даже склочности также удивила его. Он поспешил успокоить Нуци, сказав, что ни сегодня, ни тем более в последующие дни, когда они с женой переселятся во флигель, не будут злоупотреблять его гостеприимством.

Нуци облегченно вздохнул и перевел разговор на другие темы.

— Все здесь только начинается, дорогой Хаймолэ! Работы кругом непечатый край... Куда ни повернешься — все надо: и ремонтировать, и строить, и базу для борьбы с врагами тоже создавать!.. И, представь себе, продукты питания нужно ввозить. Земля у нас, скажем прямо, дрянная.

— Обетованная! — съязвил Хаим. — А я-то думал, что земля предков и в самом деле медовая...

— Медовая... Я с тобой говорю откровенно, а ты посмеиваешься... — обиженно произнес Нуци. — Обрабатывать ее — сизифов труд!.. Посмотришь на наших киббуцим и ужаснешься! Это тебе не Европа, где воткнешь в землю палку, оглянешься, а она — уже дерево! Здесь семь потов сойдет, пока вырастишь паршивый кустик. К тому же за всем надо следить! Иначе арабы обчистят в два счета... Да и наши, что думаешь? Эти местные тоже хороши: за ними только поглядывай... Вообще они нас, пришлых, ненавидят, несмотря на то, что именно мы создаем им все блага. Все, что они имеют здесь, — это ведь благодаря нам! Но вместо признательности они твердят, будто мы неженки, отступники и только портим им все. Оттого приезжему человеку порой бывает несладко. И все же здесь, конечно, неплохо...

— В самом деле? — спросил Хаим. — Что же тут хорошего, если арабов надо остерегаться, между своими вражда, всяких трудностей непролазная куча?

— Что хорошего? — замялся Нуци. — Ну хотя бы то, что никто тебя здесь не оскорбит... И, конечно, не тронет!.. А в остальном?.. В остальном, сам понимаешь, если музыка играет заупокойную, так не станешь же танцевать «фрейлехс»¹⁰⁷. Арифметика простая. Хотя должен тебе признаться,

¹⁰⁷ «Веселая» — национальный еврейский танец.

что от арабов того и жди, что воткнут нож в спину. Здесь арифметика тоже простая. Ведь нетрудно догадаться, что постепенно мы их вытесняем... Как и то, впрочем, что на всем этом греют руки англичане. Чтобы прикрыть свои подлые делишки, они норовят подлить масла в огонь, разжечь вражду... Старые интриганы! Но повторяю: с арабами мы справимся. Здесь, конечно, решит сила! А будет у нас сила, выдворим отсюда и англичан... Арифметика не сложная...

— Неплохо бы, — согласился Хаим. — Но боюсь, с ними не так-то просто будет... Империя! И это уже не «арифметика», а немного посложнее...

— Ничего. Силы кое-какие у нас уже есть. И они растут. Причем так растут, что трудно себе даже представить! Вот, кстати, в этом отношении «сабра» себя показывают с наилучшей стороны. Они никому спуска не дают! Не-е! Попробуй их тронь. Моментально у тебя перед глазами блеснет нож! И должен тебе признаться, что кое-кому из наших приходится-таки подчас довольно туго с ними...

— Что же получается? — удивленно спросил Хаим. — От арабов, говоришь, жди ножа в спину, а от своих — в грудь!

— Ну, не совсем так, конечно... Но тем не менее сложно. Очень сложно, — уклончиво ответил Нуци, сворачивая с тротуара в сторону.

Они шли куда-то под гору, деревья заслонили последний, оставшийся позади электрический фонарь. Местность напомнила заброшенный сад или рощу. Хаим подумал было, что под действием «арака» Нуци, видимо, забыл, куда и зачем они идут.

— Со временем здесь будет парк! — гордо сказал Нуци. — И знаешь, кто пожертвовал на его строительство? Ротшильд! Целый миллион отвалил! Но, сам понимаешь, и Иерусалим не в один миг был построен. Со временем будет у нас рай, увидишь! Планы грандиозные!.. А пока здесь поблизости отхожее место...

Зловоние, которое Хаим ощутил еще раньше, становилось все более одуряющим.

— Как видишь, совсем недалеко, — продолжал Нуци. — Всего одна автобусная остановка, честное слово...

Хаим едва удержался, чтобы не рассмеяться.

— Ну-у, на автобусе, разумеется, можно успеть, если приспичит... — притворно серьезным тоном заметил он.

Нуци Ионас, не уловив иронии в реплике Хаима, продолжал наставлять приятеля. Он сообщил, что с пяти утра и до

одиннадцати вечера автобусы ходят по расписанию почти через каждые четверть часа, а проезд стоит сущую ерунду.

Хаим молча выслушивал друга и про себя с горечью думал: «Стоило ехать на «обетованную землю», чтобы по нужде добираться на автобусе?! Поглядим, что будет дальше... Во всяком случае, не мед тут течет, это уже ясно. И, пожалуй, прав был Томов, не советуя ехать...»

На обратном пути стал накрапывать дождь.

— О, это хорошая примета, Хаймолэ! На счастье, увидишь! Честное слово!.. — сказал Нуци, схватив Хаима за локоть.

— Что ты имеешь в виду? — уныло спросил Хаим. — Дождь или неудобства с уборной?

— Дождь, конечно, чудак!

— Возможно, безразлично ответил Хаим. — Откуда мне знать, на чем здесь зиждется счастье... А вдруг и в самом деле на дерьме?!

Нуци остановился и тупо уставился на Хаима, но, видимо, — «арак» мешал ему до конца понять подлинный смысл услышанных слов. Он круто повернулся и быстро зашагал. Хаим поторопился его догнать и, в свою очередь, схватил друга за локоть. Придержав его на мгновение, он чистосердечно произнес:

— Не обижайся, Нуцик! Я так думаю, ей-богу!.. А ты как считаешь?

15

Все чаще вечерний Бухарест, сверкавший множеством электросветовых вывесок и реклам, мгновенно погружался в полную темноту. И тотчас же в застигнутый врасплох уличный шум врывались резкие свистки полицейских, оглушительный рев сирен заводов и фабрик, протяжный вой гудков железнодорожных мастерских. Останавливался транспорт, во все стороны разбегались всполошенные пешеходы, на бешеной скорости пронеслись пожарные машины, за ними с трезвоном следовали жандармские автофургоны и, наконец, пыхтя и чихая, торопливо катились кареты скорой помощи с устаревшими «грушами» на боку. Появление на улицах столицы этих старомодных машин с допотопными сигналами никого не удивляло. Все знали, что приобретению самых современных пожарных машин способствуют крупные страховые общества, а не менее совершенных жандармских автофургонов — казна, однако обновить парк карет медицинской по-

мощи муниципалитет не в состоянии: его касса, несмотря на постоянные поступления, всегда пустует.

Раздувая истерию вокруг «надвигающейся угрозы с Востока», организаторы учебных воздушных тревог стремились оправдать свое якшание с нацистской Германией и вместе с тем выкачать побольше средств из карманов налогоплательщиков.

Согласно приказу префекта столичной полиции жандармского генерала Габриэля Маринеску, во время воздушных тревог население обязано было укрываться в бомбоубежищах. Если же поблизости такового не оказывалось, то всем, застигнутым тревогой на улице, надлежало, как говорилось в постановлении, — «прижаться к стене». Стоило кому-либо из прохожих вопреки этому перебежать улицу, как немедленно раздавался грозный оклик полицейского:

— Прижмитесь к стене!

Первоначально воздушные тревоги воспринимались населением всерьез. Простаки не из пугливых задирали головы к небу в расчете увидеть самолеты «красных», большинство же прохожих опрометью кидались в укрытия-бомбоубежища, подворотни, парадные. Но самолетов «противника» и в помине не было, люди привыкали к «тревогам» и забывали о строгих предписаниях префекта. В конце концов, жители столицы стали относиться к этим учениям, как к забаве властей. И лишь мелкие воришки и многоопытные грабители, с вожделем ожидая очередной тревоги, с благодарностью произносили имена власть предержащих. Пользуясь теменью и суетой, они залезали в чужие карманы или пухлые дамские сумочки, запускали руки в кассы, выносили из магазинов ценные вещицы. И если за воров возникала погоня, то созерцавшие эту сценку иронически кричали: «Прижмите его к стене!»

Строгий наказ префекта вскоре стал притчей во языцех. Обыватели с усмешкой «спрягали» его по всякому поводу:

— Гитлер прижимает к стене французов!

— Хотят прижать к стене большевиков...

— Вот и мы оказались прижатыми к стенке!..

Молодые парни, обычно толпившиеся на углу улиц Каля Виктории и бульвара Елизабеты, перед зданием «Черкул милитар»¹⁰⁸, завидев застигнутых тревогой парня с девушкой или почтенного возраста мужчину с дамой, цинично кричали те же знакомые слова.

Околачивавшиеся здесь, как правило в национальных костюмах, великовозрастные маменькины сынки и едва начав-

¹⁰⁸ Офицерское собрание (рум.).

шие привыкать не краснеть папенькины дочери норовили не только во время воздушной тревоги, но и в любое время суток «прижать к стене» прохожего и всучить ему лоскуток ткани цвета государственного флага с приколотой к нему крохотной латунной свастикой. И, хотел того прохожий или нет, но чтобы не оказаться с подбитым глазом или поломанным ребром, он вынужден был опустить несколько монет в большую жестяную коробку-копилку.

— Истинные румыны, христиане! — без умолку горланили эти молодцы. — Поддерживайте, субсидируйте, укрепляйте легионерское движение! Единственное незапятнанное движение в стране... Истинные румыны, христиане! Ваши пожертвования пойдут на борьбу за спасение родины от засилья жидов и масонов!... Субсидируйте...

И если эта публика без зазрения совести «прижимала к стене» одиночек-прохожих, а жулики, пользуясь затемнением, успешно очищали чужие карманы, то власти страны «прижимали к стене» весь трудовой народ... Король и господа министры нуждались в деньгах. Помимо пышных приемов, официальных и неофициальных банкетов или просто попоек, монарху нужны были средства на содержание постоянной любовницы — госпожи Лупеску, на дорогостоящие подарки девицам и дамам, наезжавшим из-за рубежа на «разовый амур», и, наконец, для ежегодной компенсации в сумме семь с половиной миллионов лей своей законной супруге Елене — матери единственного официального сына — наследника престола «Воевода де Алба Юлия» Михая, взамен полученного от нее после длительного торга и закулисных интриг согласия две трети года находиться за пределами страны.

«Прижатая к стене», ее величество королева-мать была вынуждена не мешать мужу сожительствовать с госпожой Лупеску. Но, избрав местом своего пребывания Италию, она, в свою очередь, потребовала для себя виллу.

После очередного и на сей раз уже недолгого торга его величество король Кароль второй согласился. Однако заключение этой сделки между монаршими супругами неожиданно затормозилось: вилла оценивалась в тридцать миллионов лей золотом...

Приближенные короля, выступавшие в роли посредников, пытались уговорить королеву-мать ограничиться на первое время арендой вполне комфортабельного помещения для нее и для свиты.

— Либо тридцать миллионов на виллу, либо шашни Кароля с рыжей жидовкой станут достоянием зарубежной прессы!

— О, господи! — ужаснулся его величество, обсуждая в узком кругу министров требования своей законной супруги. — Только этого не хватает!

В королевских сейфах гулял ветер. Закадычные друзья монарха, частенько выручавшие его в подобных обстоятельствах, на сей раз прикинулись несостоятельными. Ведь совсем недавно они солидно раскошелились на покупку в центре Бухареста фешенебельного особняка для фактической королевы — госпожи Лупеску!

Несколько дней кряду монарх и пользующиеся его особым доверием министры бились над решением «деликатной» задачи: как выудить из карманов верноподданных тридцать миллионов лей под таким благовиднейшим предлогом, чтобы «комар носа не подточил». Думали, думали и надумали... Министерство финансов в срочном порядке выпустило специальную марку, доходы от продажи которой предназначались в фонд совершенствования и роста авиационного флота страны.

Теперь во всем королевстве, помимо различных видов пошлин и налогов, дополнительно к обычной почтовой или гербовой марке верноподданные должны были приклеивать еще и марку в фонд авиации. Без нее нельзя было заключить ни одной сделки или отправить обыкновенную почтовую открытку, подать то или иное прошение, получить свидетельство о рождении или смерти, браке или разводе, совершить куплю-продажу крупного поместья, равно как и пачки туалетной бумаги...

«Марку авиации, либо голову с плеч долой!» — стало девизом сборщиков налогов. И клеили ее по всей Румынии. Даже буханки черного хлеба и флаконы эрзац-одеколона пестрели марками с изображением аэроплана. И деньги текли... Текли транзитом через кассу казны во Флоренцию, где для ее величества королевы-матери была приобретена роскошнейшая вилла.

Основательно прижатые к стенке люди платили за авиационную марку и утешали себя тем, что помогают укреплению могущества воздушного флота страны. Они были уверены и в том, что кроткая супруга монарха проходит за границей курс лечения, — не знали же они об ее интимных связях с молодым принцем де-Аоста, привезшим «на поправку» во Флоренцию свою парализованную жену...

Впрочем, для отвода глаз правители изредка действительно приобретали один-два военных аэроплана, придавая этому факту характер грандиозного события. Несколько дней кряду шла газетная трескотня, в киножурналах показывали це-

ремонию вручения машин летным эскадрильям, а заодно привлекали школьников к сбору новых средств в фонд авиации.

Однако расходы его величества бурно возрастали.

Близкие к трону министры и прочие деятели порою диву давались, насколько велика власть полногрудой госпожи Лупеску над всемогущим монархом, с какой готовностью Кароль второй бросает к ее ногам миллионы лей?! А Лупеску, или как называли ее в королевстве, «дудуйя»¹⁰⁹ Лупяска», добивалась своего без особого труда... «Лишний разок упадет широкобедрая на спину, — шептались верноподданные, — и наш суверен размякнет...» И ни доходы от продажи авиационной марки, ни сборы в фонд авиации и прочие пути выкачивания средств не покрывали новые и новые подношения его величества своей дудуйке.

Финансовое положение монарха становилось все более угрожающим. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы его величество не осенила счастливая мысль, которую он поведал лишь одному преданнейшему другу — префекту полиции Бухареста жандармскому генералу Маринеску.

— Гениально, сир! — восторженно воскликнул генерал и, подкручивая усы, услужливо пообещал: — В остальном, ваше величество, положитесь на меня...

Через несколько дней после этой доверительной беседы из-за границы прибыли эксперты-искусствоведы. С места в карьер они устремились к сокровищам, украшавшим стены королевских дворцов. Неделя кропотливого труда, и эксперты сказали свое слово: шестьдесят шесть миллионов лей!

Не заставили себя ждать и маклеры заокеанских магнатов. Сделка состоялась, обсуждались лишь возможности транспортировки картин, когда слух об их продаже его величеством дошел до премьеры и двух министров. Префект позаботился о том, чтобы глава кабинета министров узнал обо всем этом только в последнюю минуту.

Премьер и два министра совещались до поздней ночи.

— Пронюхают щелкоперы, и тогда не избежать скандала... — ужаснулся министр финансов, человек маленького роста, с большой плешинкой на голове и маленькими, как у хорька, глубоко сидящими глазками. — Смешают нас с грязью!..

— Наплевать на щелкоперов и на скандал! — возразил ему густым баритоном глава кабинета министров, здоровяк с огромной головой и пушистыми воронеными бровями. —

¹⁰⁹ Госпожа, барышня (рум.).

мощи муниципалитет не в состоянии: его касса, несмотря на постоянные поступления, всегда пустует.

Раздувая истерию вокруг «надвигающейся угрозы с Востока», организаторы учебных воздушных тревог стремились оправдать свое якшание с нацистской Германией и вместе с тем выкачать побольше средств из карманов налогоплательщиков.

Согласно приказу префекта столичной полиции жандармского генерала Габриэля Маринеску, во время воздушных тревог население обязано было укрываться в бомбоубежищах. Если же поблизости такового не оказывалось, то всем, застигнутым тревогой на улице, надлежало, как говорилось в постановлении, — «прижаться к стене». Стоило кому-либо из прохожих вопреки этому перебежать улицу, как немедленно раздавался грозный оклик полицейского:

— Прижмитесь к стене!

Первоначально воздушные тревоги воспринимались населением всерьез. Простаки не из пугливых задирали головы к небу в расчете увидеть самолеты «красных», большинство же прохожих опрометью кидались в укрытия-бомбоубежища, подворотни, парадные. Но самолетов «противника» и в помине не было, люди привыкали к «тревогам» и забывали о строгих предписаниях префекта. В конце концов, жители столицы стали относиться к этим учениям, как к забаве властей. И лишь мелкие воришки и многоопытные грабители, с вожделем ожидая очередной тревоги, с благодарностью произносили имена власть предержащих. Пользуясь теменью и суетой, они залезали в чужие карманы или пухлые дамские сумочки, запускали руки в кассы, выносили из магазинов ценные вещицы. И если за воров возникла погоня, то созерцавшие эту сценку иронически кричали: «Прижмите его к стене!»

Строгий наказ префекта вскоре стал притчей во языцех. Обыватели с усмешкой «спрягали» его по всякому поводу:

— Гитлер прижимает к стене французов!

— Хотят прижать к стене большевиков...

— Вот и мы оказались прижатыми к стенке!..

Молодые парни, обычно толпившиеся на углу улиц Каля Виктории и бульвара Елизабеты, перед зданием «Черкул милитар»¹⁰⁸, завидев застигнутых тревогой парня с девушкой или почтенного возраста мужчину с дамой, цинично кричали те же знакомые слова.

Околачивавшиеся здесь, как правило в национальных костюмах, великовозрастные маменькины сынки и едва начав-

¹⁰⁸ Офицерское собрание (рум.).

шие привыкать не краснеть папенькины дочери норовили не только во время воздушной тревоги, но и в любое время суток «прижать к стене» прохожего и всучить ему лоскуток ткани цвета государственного флага с приколотой к нему крохотной латунной свастики. И, хотел того прохожий или нет, но чтобы не оказаться с подбитым глазом или поломанным ребром, он вынужден был опустить несколько монет в большую жестяную коробку-копилку.

— Истинные румыны, христиане! — без умолку горланили эти молодцы. — Поддерживайте, субсидируйте, укрепляйте легионерское движение! Единственное незапятнанное движение в стране... Истинные румыны, христиане! Ваши пожертвования пойдут на борьбу за спасение родины от засилья жидов и масонов!... Субсидируйте...

И если эта публика без зазрения совести «прижимала к стене» одиночек-прохожих, а жулики, пользуясь затемнением, успешно очищали чужие карманы, то власти страны «прижимали к стене» весь трудовой народ... Король и господа министры нуждались в деньгах. Помимо пышных приемов, официальных и неофициальных банкетов или просто попоек, монарху нужны были средства на содержание постоянной любовницы — госпожи Лупеску, на дорогостоящие подарки девицам и дамам, наезжавшим из-за рубежа на «разовый амур», и, наконец, для ежегодной компенсации в сумме семь с половиной миллионов лей своей законной супруге Елене — матери единственного официального сына — наследника престола «Воевода де Алба Юлия» Михая, взамен полученного от нее после длительного торга и закулисных интриг согласия две трети года находиться за пределами страны.

«Прижатая к стене», ее величество королева-мать была вынуждена не мешать мужу сожительствовать с госпожой Лупеску. Но, избрав местом своего пребывания Италию, она, в свою очередь, потребовала для себя виллу.

После очередного и на сей раз уже недолгого торга его величество король Кароль второй согласился. Однако заключение этой сделки между монаршими супругами неожиданно затормозилось: вилла оценивалась в тридцать миллионов лей золотом...

Приближенные короля, выступавшие в роли посредников, пытались уговорить королеву-мать ограничиться на первое время арендой вполне комфортабельного помещения для нее и для свиты.

— Либо тридцать миллионов на виллу, либо шапши Кароля с рыжей жидовкой станут достоянием зарубежной прессы!

— О, господи! — ужаснулся его величество, обсуждая в узком кругу министров требования своей законной супруги. — Только этого не хватает!

В королевских сейфах гулял ветер. Закадычные друзья монарха, частенько выручавшие его в подобных обстоятельствах, на сей раз прикинулись несостоятельными. Ведь совсем недавно они солидно раскошелились на покупку в центре Бухареста фешенебельного особняка для фактической королевы — госпожи Лупеску!

Несколько дней кряду монарх и пользующиеся его особым доверием министры бились над решением «деликатной» задачи: как выудить из карманов верноподданных тридцать миллионов лей под таким благовиднейшим предлогом, чтобы «комар носа не подточил». Думали, думали и надумали... Министерство финансов в срочном порядке выпустило специальную марку, доходы от продажи которой предназначались в фонд совершенствования и роста авиационного флота страны.

Теперь во всем королевстве, помимо различных видов пошлин и налогов, дополнительно к обычной почтовой или гербовой марке верноподданные должны были приклеивать еще и марку в фонд авиации. Без нее нельзя было заключить ни одной сделки или отправить обыкновенную почтовую открытку, подать то или иное прошение, получить свидетельство о рождении или смерти, браке или разводе, совершить куплю-продажу крупного поместья, равно как и пачки туалетной бумаги...

«Марку авиации, либо голову с плеч долой!» — стало девизом сборщиков налогов. И клеили ее по всей Румынии. Даже буханки черного хлеба и флаконы эрзац-одеколона пестрели марками с изображением аэроплана. И деньги текли... Текли транзитом через кассу казны во Флоренцию, где для ее величества королевы-матери была приобретена роскошнейшая вилла.

Основательно прижатые к стенке люди платили за авиационную марку и утешали себя тем, что помогают укреплению могущества воздушного флота страны. Они были уверены и в том, что кроткая супруга монарха проходит за границей курс лечения, — не знали же они об ее интимных связях с молодым принцем де-Аоста, привезшим «на поправку» во Флоренцию свою парализованную жену...

Впрочем, для отвода глаз правители изредка действительно приобретали один-два военных аэроплана, придавая этому факту характер грандиозного события. Несколько дней кряду шла газетная трескотня, в киножурналах показывали це-

ремонию вручения машин летным эскадрильям, а заодно привлекали школьников к сбору новых средств в фонд авиации.

Однако расходы его величества бурно возрастали.

Близкие к трону министры и прочие деятели порою диву давались, насколько велика власть полногрудой госпожи Лупеску над всемогущим монархом, с какой готовностью Кароль второй бросает к ее ногам миллионы лей?! А Лупеску, или как называли ее в королевстве, «дудуйя»¹⁰⁹ Лупяска», добивалась своего без особого труда... «Лишний разок упадет широкобедрая на спину, — шептались верноподданные, — и наш суверен размякнет...» И ни доходы от продажи авиационной марки, ни сборы в фонд авиации и прочие пути выкачивания средств не покрывали новые и новые подношения его величества своей дудуйке.

Финансовое положение монарха становилось все более угрожающим. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы его величество не осенила счастливая мысль, которую он поведал лишь одному преданнейшему другу — префекту полиции Бухареста жандармскому генералу Маринеску.

— Гениально, сир! — восторженно воскликнул генерал и, подкручивая усы, услужливо пообещал: — В остальном, ваше величество, положитесь на меня...

Через несколько дней после этой доверительной беседы из-за границы прибыли эксперты-искусствоведы. С места в карьер они устремились к сокровищам, украшавшим стены королевских дворцов. Неделя кропотливого труда, и эксперты сказали свое слово: шестьдесят шесть миллионов лей!

Не заставили себя ждать и маклеры заокеанских магнатов. Сделка состоялась, обсуждались лишь возможности транспортировки картин, когда слух об их продаже его величеством дошел до премьера и двух министров. Префект позаботился о том, чтобы глава кабинета министров узнал обо всем этом только в последнюю минуту.

Премьер и два министра совещались до поздней ночи.

— Пронюхают щелкоперы, и тогда не избежать скандала... — ужаснулся министр финансов, человек маленького роста, с большой плешинкой на голове и маленькими, как у хорька, глубоко сидящими глазками. — Смешают нас с грязью!..

— Наплевать на щелкоперов и на скандал! — возразил ему густым баритоном глава кабинета министров, здоровяк с огромной головой и пушистыми воронеными бровями. —

¹⁰⁹ Госпожа, барышня (рум.).

Плевал бы я и на коллекцию картин, если бы она действительно принадлежала его величеству!.. Не это существенно, а то, что при складывающейся ситуации неизбежно встанет вопрос об отставке кабинета! Об этом надо подумать, brave министры... Или вы готовы сложить свои функции и отказаться от портфеля?

— Верно, — ответил дрожащим голосом сухопарый, с желчно-бледным лицом и прилизанными на пробор жиденькими волосами министр национальных имуществ. — Но скажите на милость, кто осмелится напомнить его августейшему, что картины являются неприкосновенной собственностью казны? Лично я не берусь выполнить такую миссию... Свят, свят, свят!

— О, как низко, как низко пал наш престиж, бог мой!.. — держась за голову, сокрушенно твердил министр финансов. — Скандал! Грандиозный скандал нас ожидает, господа!

Было далеко за полночь, когда внезапно пришло решение.

— Ни единой картины за пределы страны! — расхрабрился вдруг министр национальных имуществ. — Наш долг стоять твердо, как это делали предки в сражениях с османами!..

— Резонно! Мы прижаты к стене, — как бы оправдываясь, бормотал министр финансов. — Политика всегда требовала жертв...

— Одобряю и благодарствую! — хлопнул в ладоши премьер. — Модус вивэнди¹¹⁰ — блистательный! Bravo, bravissimo!.. Поверьте, господа, при сложившейся ситуации эта жертва, принесенная на алтарь отечества, не позволит уронить престиж нации!

Торжественно заключив свое выступление, глава кабинета министров широким взмахом руки обмакнул перо в огромную хрустальную чернильницу и подписал секретное постановление о сокращении ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на строительство школ, больниц и дорог на сумму семьдесят шесть миллионов лей. Эти деньги предназначались теперь на срочную покупку картин у августейшего короля Кароля второго Гогенцолерна...

— Чего не сделают подлинные патриоты ради своего любимого монарха!? — грустно отметил министр национальных имуществ. — Голову свою, можно сказать, в петлю сую ради чести двора его величества!

Не солоно хлебавши разъехались по домам зарубежные эксперты и маклеры. Не моргнув глазом, его величество положил в свой бездонный карман шестьдесят шесть миллионов

¹¹⁰ Совокупность условий, определяющих временные отношения двух сторон (лат.).

лей. За «модус вивэнди» пять миллионов перекочевали на текущий счет премьера, остальные пять поделили между собой министры финансов и национальных имуществ, выделив незначительную сумму префекту полиции генералу Маринеску, уже обласканному за услугу самим монархом. Что касается коллекции картин, то верноподданные министры сочли за благо оставить ее в дворцовых хоромах, как государственное имущество, находящееся в пользовании его августейшества.

— Однако, мои brave коллеги, теперь надо глядеть в оба и постоянно быть настороже... — проникновенно произнес в заключение премьер. — В противном случае, поверьте моему многолетнему опыту, его величество может повторить этот маневр!.. Люди мы свои и понимаем некоторые слабости нашего многолюбимого монарха. Деньги, слава богу, ему всегда нужны, это вы знаете превосходно!..

— Резонно! — ответил министр финансов. — Государственную казну мы обязаны беречь, как честь нации!..

О некоторых деталях «модуса вивэнди» узнали деятели из «Зеленого дома». Шантаж зеленорубашечников завершился мгновенным компромиссом: проложить мост между legionерами и монархом. И в этом щепетильном деле не обошлось без посредничества той же дудуйки... Происходило все это как раз в канун Нового года. Для многих жителей столицы осталась загадкой учтивость префекта полиции генерала Маринеску: оповестив об очередной учебной воздушной тревоге, он в последнюю минуту отдал приказ об ее отмене.

В этот час к подъезду роскошной виллы на шоссе Киселева подкатывали одна за другой поблескивавшие лаком и никелем автомашины. И словно воздушная тревога не была отменена, при наглухо закрытых ставнях в новой вилле, приобретенной для дудуйи Лупяски на часть денег, изъятых из казны на фиктивную покупку картин, перед руководителями легионерского движения ораторствовал их вожак Хория Сима:

— Вместе с уходящим годом кануло в прошлое время пассивных действий. Наше движение стоит у порога решительных схваток за спасение нации!

Сославшись на секретность подготавливаемых «чрезвычайных мер», Хория Сима весьма туманно определил новые задачи, стоящие перед legionерами, и патетически заключил:

— Через несколько часов наступит тысяча девятьсот сороковой год. Он явится первым годом новой эры в жизни нашей нации! Без малейших колебаний, без какой-либо жалос-

ти или сострадания мы обязаны раз и навсегда покончить с красными и жидами, решительно расправиться с франкмасонами и прочими противниками политики государства оси Рим—Берлин и, вместе с тем, наших грандиозных свершений!

Это было первое расширенное заседание «Тайного совета» зеленорубашечников после возвращения в страну Симы и Думитреску; на нем присутствовал Ион Кодряну — отец покойного «капитана» бывшей «железной гвардии», и некоторые лица, имевшие прямое отношение к легионерскому движению.

— Отрава проникла слишком глубоко, — мрачно говорил член «Тайного совета» Николае Думитреску. — Но легионеры искоренят ее! В этом я заверяю «Совет». Настало время взяться за дело основательно, иначе Патрия-муна¹¹¹ окончательно рухнет в пропасть... Оружие у нас есть и в скором времени его будет еще больше: новейшего, автоматического, о каком наши смелые парни и не мечтали. Недостатка в оружии мы не будем испытывать впредь. В этом меня заверил искренний друг легионеров и всего нашего народа рейхсфюрер СС Гиммлер!

Хория Сима предоставил слово Гице Заримбе.

Присутствующие насторожились. Горбатый парикмахер редко выступал на заседаниях «Тайного совета» и если уж брал слово, то обычно преподносил «сюрприз».

В отличие от предыдущих ораторов, Заримба начал речь спокойным тоном:

— Я буду говорить о человеке, который сердцем и разумом всегда был вместе с нами, вместе со всеми, у кого течет в жилах подлинно румынская кровь... Я буду говорить о личности, страдавшей на протяжении длительного времени от засилия жидов и франкмасонов... Человек этот, камарады легионеры, — слегка повысив голос, продолжал Заримба, — вопреки козням врагов нации, оставался постоянно верен румынизму. И прежде чем назвать его имя, я позволю себе напомнить о несправедливом суде над незабвенным основателем «Железной гвардии», ее бойцом и мучеником «капитаном» Корнелием Кодряну. В тот тяжкий для всех честных патриотов час продавшиеся «золотому тельцу» судьи спросили человека, о котором я буду говорить, может ли он подтвердить, что действия господина Корнелия Кодряну были бесчестными?

Заримба сделал паузу, оглядел присутствующих и, довольный тем, что сумел завладеть вниманием аудитории, неожиданно воскликнул:

¹¹¹ Родина-матушка (рум.).

— И вот, камарады! Все присутствовавшие на суде, как и продажные судьи, замерли тогда в ожидании ответа человека, о котором я говорю. А он решительно встал со скамьи свидетелей и твердым шагом направился к «капитану», окруженному жандармами. Стража, получившая строгий приказ никого не подпускать к обвиняемому, ко всеобщему удивлению, внезапно отпрянула. И человек этот, подойдя к закованному в цепи Корнелию Кодряну, обменялся с ним крепким рукопожатием, затем громко, торжественно сказал: «Я солдат, и я никогда не подаю руки бесчестным людям!»

Гица Заримба сделал очередную паузу, чтобы еще больше заинтриговать присутствующих.

— Все это было, камарады, как гром среди ясного дня! — патетически воскликнул парикмахер и, точно пастырь на церковном амвоне, вскинул руки к потолку. — Если вы спросите меня, жив ли этот человек? Я отвечу вам: да! Наш добрый господь-бог уберег его, хотя месть масонов подстерегала патриота на каждом шагу. Я не преувеличу, если скажу, что и сегодня его жизнь не в безопасности... Если вы спросите меня, где этот мужественный румын? Я отвечу: здесь, камарады легионеры! Среди нас! И если вы спросите, кто он? Я отвечу: это наш подлинный друг, которому безразличны судьбы нации и целостность границ нашей великой страны! Я с гордостью называю его имя — генерал Ион Антонеску!

Раздались жиденские аплодисменты, но по мере того, как Гица Заримба и сидевший в стороне в черном костюме немец Пуци Штольц продолжали рукоплескать, они переросли в овацию. И тогда молчавший в углу человек в штатской одежде поднялся и сдержанно поклонился. Но если Гица Заримба и Пуци Штольц аплодировали усерднее всех, то Хория Сима делал это подчеркнуто вяло. Дважды он опускал руки, но члены «Тайного совета», уже понявшие, что внимание, оказанное генералу в штатском парикмахером и недавно прибывшим из Берлина немцем, не случайно, продолжали аплодировать, и Хория Сима поспешил энергично включиться в общий хор рукоплесканий.

Когда овация утихла, поднялся коренастый старик с большой седой головой. Это был Ион Кодряну — отец покойного «капитана». Он стал рассказывать о давней дружбе своего сына с генералом Антонеску, приводил множество подробностей, но неизменно подчеркивал полное единство взглядов незабвенного «капитана» и его друга генерала Иона Антонеску.

Сидевший позади Заримбы его адъютант и негласный

осведомитель Лулу Митреску прильнул к уху шефа и шепнул:

— А сам старик Кодряну, между прочим, не чистокровный румын...

Заримба повернул на мгновение голову, недобрым взглядом скользнул по лицу адъютанта и, делая вид, будто сосредоточенно слушает оратора, вывел на клочке бумаги большой корявый знак вопроса. Лулу пригнулся к плечу шефа, чтобы объяснить, на чем основано его замечание, как вдруг уловил нацеленный на него свирепый взгляд Думитреску. Лулу сразу осекся и отодвинулся от шефа.

Гица побледнел от злости, поняв причину молчания адъютанта. Кончик его языка, как жало гадюки, пробежал по растянувшимся в саркастической улыбке бесцветным губам. Он и Думитреску ненавидели друг друга звериной ненавистью, но Заримба, как никто другой, умел скрывать свои чувства. Именно он, Гица Заримба, лет десять назад буквально за уши втянул Думитреску в зарождавшееся движение, а теперь этот увалень-мясник во многом опередил его, став грозным наместником вожака легионеров. Внешне все выглядело нормально, они слаженно сотрудничали, но прежней искренности в их отношениях не было. Знакомство их возникло, когда они вместе работали в бухарестской больнице «Колця». Думитреску был носильщиком трупов в прибольничном морге, а Гица — стриг больных. Иногда, по рекомендации Думитреску, ему перепадала побочная работенка: брил покойников и, если случалось, что их лица были изуродованы, прихорашивал их гримом... В этом деле он был непревзойденным мастером!

Однако систематическое исчезновение у покойников золотых зубов и коронок привело к тому, что оба будущих деятеля «Тайного совета» лишились службы. Вскоре они устроились на городскую бойню. Думитреску быстро освоил разделку туш, Заримба же остался верен своей профессии: при бойне работала душевая, и предприимчивый Гица пристроился в подвальной камерке осколок зеркала, установил подобие кресла. В этот именно период друзья пришли к твердому заключению о своем долге перед «нацией» и связали свою судьбу с «Железной гвардией», с ее «капитаном».

Старик Кодряну наконец закончил свою нудную речь. Хория Сима объявил перерыв, и Заримба тотчас же вернулся к прерванному разговору с адъютантом.

— В самом деле вы не знали, господин шеф? — состроив удивленную мину, спросил Лулу. — Слово чести легионера! Кодряну — поляк...

Гица скептически усмехнулся. Он хорошо знал своего «преданного» адъютанта и всегда верил ему наполовину. Однако адъютант тоже неплохо изучил своего шефа и поспешил добавить:

— Это не секрет. Фамилия семьи Кодряну прежде была Зеленские... Слово чести!

Заримба услышал это впервые, но не подал вида. Лулу в свою очередь решил не развивать эту тему, ибо не мог определить, как реагирует шеф на его сообщение. На всякий случай он попытался смягчить впечатление, произведенное на парикмахера тенью, брошенной на именитую семью первого вождя «Железной гвардии».

— Собственно, большого значения это не имеет... — произнес он скороговоркой. — Важно, что старикан стоит за подлинный румынизм! Не так ли? Это главное!

Вместо ответа Заримба сморщил обильно напудренное лицо, и на нем появилась не предвещавшая ничего хорошего усмешка. Лулу почувствовал необходимость более весомо мотивировать, почему происхождение бывшего «капитана» не имеет существенного значения.

— По-моему, правильно он поступил, изменив фамилию. Адольф Гитлер — тоже не чистокровный ариец. Вы ведь знаете это?

Гица резко вскинул голову, впился взглядом своих маленьких глаз в глаза адъютанта, которому ростом достигал чуть выше поясной пряжки.

— Вы можете говорить, господин Лулу, о ком угодно и что угодно, но прежде чем упомянуть имя фюрера германской империи, прикусите язык и подумайте...

Заримба заговорил официальным тоном. Эдакую вольность он не мог позволить своему приближенному. В верхах легионерского движения парикмахер держался только благодаря покровительству посла Гитлера в Бухаресте герра Фабрициуса. Помимо деятельности в движении, Гица являлся еще и постоянным связным между «Тайным советом» легионеров и германским посольством. Его парикмахерская на углу бульвара Россети и Каля Мошилор выполняла функции «почтового ящика»; через дамский салон следовали указания из столицы рейха, через мужской — в посольство стекались сведения о положении в Румынии... Теперь для координации всей деятельности прибыл Пуци Штольц. Он был непосредственным шефом Гицы Заримбы.

Лулу на мгновение стушевался, виновато вобрал голову в широкие плечи, но, поразмыслив, все же решил объяснить с шефом. «Горбун может счесть сказанное мною вымы-

слов,— рассуждал Лулу,— и, чего доброго, затаит злобу... С ним шутки плохи! Ни с чем не посчитается... Всегда ухмыляется, будто одного добра тебе желает, однако мало кто знает, что человек, с которым он накануне разговаривали мило жал руку, на следующий день может внезапно исчезнуть... А потом на какую-нибудь захолустную станцию прибывает сундук или ящик, привлекающий внимание исходящим от него зловонием. Адресат за благоухающим багажом не является... Оно и понятно: ужокошат, как этого врача, аккуратно-енько упакуют и на его же имя отправят... Бр-р-р! Такая перспектива мне не по душе...» И адъютант заговорил возможно более убедительным тоном:

— Извините, господин шеф... Я не выдумал это. Проверьте, и вам подтвердят, что фюрер действительно родом из Австрии и фамилия его раньше была Шикельгрубер... Слово чести! Я же понимаю, господин шеф, что с этим не шутят, и рассказываю только вам...

— Откуда вы знаете такие подробности? Или вас учили этому в офицерской школе? — ехидно спросил Гица. — Где вы учились, в Тимишоаре?

Тоном обиженного человека Лулу ответил:

— В Тимишоаре, верно, в артиллерийском училище... Но помилуйте, господин шеф! То, что я говорю, — широко известно... Голову на отсечение, если вру! — и, уловив во взгляде шефа разъядавшее его любопытство, льстиво добавил: — Да я не сомневаюсь, господин шеф, что все это вы сами знаете. И, разумеется, знаете, что в переводе с немецкого Шикельгрубер означает что-то вроде комедианта...

Заримба не смог скрыть удивления, он вытаращил глаза на адъютанта и с любопытством переспросил:

— Как, как? Шикель...?

— Слово чести! Потешная фамилия: Ши-кель-гру-бер... — хихикая, повторил Лулу и, уловив предостерегающий взгляд шефа, обернулся. Вплотную к ним приблизился Думитреску.

— Что вы тут бормочете о Шикельгребере? — насупившись, сильным голосом спросил наместник вождя легионеров.

Лулу обомлел. Заримба не хотел показать свою неосведомленность. «Вдруг сказанное адъютантом соответствует истине!?» — подумал Гица и, со свойственной ему манерой неопределенно улыбаться, выжидательно отмалчивался.

Думитреску, не удостоенный немедленного ответа, настаивательно продолжил:

— Попрошу относиться с почтением к этой фамилии! Ее носила семья германского фюрера в Австрии... И я не нахожу в этом ничего смешного!

— Нет, господин командант!¹¹² Пardon, что вы!? — заискивающе залепетал Лулу. — Совсем наоборот! — и, осмелев, начал сочинять на ходу: — Мы тут говорили, что масоны и жи́ды пытаются по этому поводу стряпать всякие небылицы... А господин шеф Заримба сказал, что подлецов надо прижать к стенке!.. Вот и рассказал забавный случай, как на углу Дудешть и Вэкэрешть наши парни разделали под орех одну такую группку... Они там свой клуб заимели, расхаживают с шестиугольными звездами, будто живут не в Румынии, а в Палестине... Стадион даже там построили — «Чоканул»!¹¹³

— Колотить жидов можете сколько вам угодно. Для этого на каждой улице есть объекты, всякие там магазины и лавчонки... Вон сколько их на Липскань! Вся улица запружена... Но на стадион «Чоканул» не суйте свой нос... Не вашего ума это дело!.. Там сионисты... Поняли? И остерегайтесь, чтобы мне не пришлось вторично говорить вам об этом!..

— Аусгешлэссен!¹¹⁴ — тотчас ответил Лулу. — Все понятно, господин командант!.. Честь legionера.

Думитреску обдал Лулу свирепым взглядом и отошел. Парикмахер и адъютант многозначительно переглянулись, но ни один из них не осмелился прокомментировать произнесенное Думитреску. И, словно ничего не происходило, Лулу сразу же стал рассказывать шефу подробности из прошлого фюрера.

Гица Заримба слушал настороженно и будто бы даже безразлично, хотя в душе радовался: «Если Гитлер в самом деле не стопроцентный немец, тогда никто из нашей legionерской швали, вроде этого Думитреску, не посмеет упрекнуть меня, что я цыган, а не чистокровный румын!» Но чтобы утвердиться в мысли, что цыганское происхождение не повредит его карьере, как бы между прочим заметил:

— Правильно делают национал-социалисты, преследуя жидов и славян. Гнусные нации... Мне приходилось работать у тех и у других... Ненавижу этих людей!

Лулу загорелся:

— Была бы у меня власть, господин шеф, я запретил бы им ездить в трамваях и автобусах... Как неграм в Америке! Слово чести! Я презираю их. В шкале по чистоте крови они стоят на самых последних местах!

¹¹² Командир, командующий (рум.).

¹¹³ Буквально: молот. Один из филиалов сионистской организации в Бухаресте (рум.).

¹¹⁴ Исключено! (нем.).

— Подождите, Митреску, подождите! — прервал его Заримба. — Какая шкала? И откуда это известно вам?

— Пожалуйста, с удовольствием расскажу, господин шеф! — охотно ответил Лулу и постарался придать своему лицу серьезное выражение. — В прошлом году господин шеф Думитреску привез из Берлина одну книгу... Попросил меня перевести ее. В ней подробнейшим образом излагается национал-социалистская расовая теория. Потрясающая книга!.. Суть ее вы, конечно, знаете...

Заримба сделал вид, будто Митреску не открыл для него Америки.

— Так вот, в соответствии с этой теорией, — продолжал Лулу, — и разработана шкала, определяющая степень чистоты крови людей разных национальностей. Первое место в ней занимают арийцы. Высшая раса! Прежде всего это немцы. Нордическая раса... А жида — на третьем месте с конца!

Лулу самодовольно смеялся. Улыбался и Гица.

— Явно неполноценная нация! — продолжал Лулу. — Правда, еще ниже их — цыгане... — Сказав это, Лулу осекся. Он сообразил, что ляпнул нечто оскорбительное для шефа, и поспешил успокоить его: — Но там говорится о кочующих цыганах, то есть о настоящих... Ну, тех, которые живут в шатрах... Слово чести, господин шеф, это точно. К тому же, в самом хвосте шкалы — негры и прочий подобный сброд. По национал-социалистской теории рас всех этих неполноценных людишек надо прижать к стене и... цак-цак-цак-цак. Слово чести!

Гица всячески старался казаться равнодушным к тому, что говорил адъютант. Однако сконфуженная ухмылка выдавала его. На душе у него было мутно.

Выпалив последнюю фразу со смачным цаканием, Лулу снова ощутил неловкость. В который уже раз ругал он себя за болтливость! Ничего не придумав, чтобы смягчить это злополучное «цак-цак-цак», он переменял тему разговора, сказав первое, что пришло в голову:

— Смотрю на эти люстры и удивляюсь. Какая тяжесть, а держатся на тоненьких крючках! И цепь какая толстенная!

Гица лениво запрокинул голову, безразличным взором скользнув по потолку, ничего не ответил. Мозг разъедала мысль: «Третьи с конца... Неполноценная нация! Ниже их цыгане... И кто знает, не придется ли на таком вот крючке висеть в компании с жидом и негром?» Гицу охватил страх.

Лулу вывел шефа из этого состояния, сообщив, что кон-

дуктоторул¹¹⁵ прошел в гостиную, чтобы продолжить совещание.

Заримба скосил глубоко сидящие маленькие глазки в сторону удалявшегося Хории Симы. Кончик его языка неугомонно, словно белка в колесе, забегал по едва приоткрытым узким бесцветным губам, лицо исказилось гримасой злобы, подступившей к горлу так же безудержно, как переливает через край вскипевшее на большом огне молоко. Сузив глаза, он пристально посмотрел на стройного с красивым лицом адъютанта, все еще разглядывавшего огромные люстры. «Много знает... — подумал о нем Гица. — Не пора ли упаковать его и отправить на какую-нибудь товарную станцию?»

— Пойдемте! — кивнул Лулу на высокие двери. — Господин Сима выступает...

Гица обдал своего преданного адъютанта холодным взглядом и, ничего не ответив, направился в противоположную от дверей гостиной сторону. В полном недоумении Лулу последовал за ним. Шеф прошел в туалет. Лулу презрительно усмехнулся, сквозь зубы процедил несколько хлестких слов в адрес своего благодетеля и вернулся к дверям гостиной, откуда доносился скрипучий голос кондуктора легионерского движения.

— ...забывать, что легионерам принадлежит будущее! К их голосу следует прислушиваться, на них необходимо распространить отеческую заботу. Только всегда и во всем опираясь на легионеров, генерал Антонеску сможет поднять престиж страны и нации, сможет обеспечить прочное будущее идеям румынизма! И только путь, указанный нам капитаном, ведет к полной победе! Мы надеемся, верим и твердо убеждены в том, что генерал Антонеску, шагая нога в ногу с нашим движением, сумеет вместе с нами установить в стране подлинно легионерский строй! Строй, основанный на принципах национал-социалистского нового порядка...

Лулу Митреску все еще стоял у дверей, ожидая шефа. Когда тот наконец вернулся и они прошли в гостиную, Хория Сима дал слово Антонеску. Это был стройный, среднего роста, сухопарый и смуглолицый человек. Он заговорил тихо, держался скромно и просто.

— Позвольте прежде всего поблагодарить присутствующих за предоставленную мне возможность быть сегодня в вашей среде, — начал он. — Я вдвойне благодарен за добрые слова, сказанные здесь в мой адрес, и за доверие, оказанное мне господами членами «Тайного совета», предложившими заключить союз с легионерами. В этой связи я хотел бы на-

¹¹⁵ Предводитель, вождь (рум.).

помнить всем, что аналогичное предложение в свое время было сделано мне покойным капитаном.

Антонеску рассказал, как несколько лет назад в укромном месте в предгорьях Карпат произошла его встреча с Корнелием Кодряну, который сделал ему официальное предложение заключить союз с «Железной гвардией». Генерал сетовал на то, что обрушившиеся на него и «капитана» репрессии отвлекли их от полезной совместной деятельности.

— Хочу заверить господ деятелей легионерского движения в том, — продолжал Антонеску тем же размеренным голосом, — что на протяжении многих лет генерал Антонеску стремился к той же цели, что и вы. Незначительная разница между генералом Антонеску и вами состоит в способах и методах достижения этой цели. Мой опыт и разум человека, работавшего в Генеральном штабе, в Военном министерстве, на поприще военно-дипломатической службы за рубежом и, наконец, в качестве обладателя министерского портфеля, — весь этот опыт дает право заявить здесь с полной ответственностью, что для коренного изменения существующего строя необходима длительная совместная наша работа и борьба; вместе с тем, хочу сразу оговорить, что задача эта не из легких и, возможно, она будет еще далека от решения даже после того, как бразды правления в стране целиком перейдут в руки подлинных патриотов. Поэтому генерал Антонеску считает своим долгом особо подчеркнуть, что успех всего дела может быть обеспечен только полной и постоянной согласованностью наших действий. В противном случае здание, которое мы намерены воздвигнуть общими силами, может в процессе строительства рухнуть на нас самих! В заключение генерал Антонеску еще раз хочет заверить присутствующих в том, что его разум, его энергия, его жизнь безраздельно принадлежат нации и именно поэтому он считает за честь для себя во всем и всегда тесно сотрудничать с легионерским движением! И еще генерал Антонеску желает довести до сведения присутствующих, что спустя двадцать четыре часа после взятия нами власти в свои руки Румыния примкнет к оси Рим—Берлин!...

Последовал гром аплодисментов. И на этот раз Хория Сима попытался умерить восторги своих единомышленников: он встал, однако аплодисменты продолжались. Это уже была овация... Несколько секунд спустя Сима энергично выкинул руку и, не дожидаясь, когда окончательно прекратятся хлопки, объявил о необходимости закрепить заключение союза выполнением процедуры, соответствующей духу и обычаям легионерского движения. Этим актом главнокомандую-

щий легионеров намеревался поставить все точки над «и». Он напомнил о клятве, которую по настоянию Корнелия Кодряну ведущие деятели движения дали у могилы легионеров Моцу и Марина, павших на стороне фалангистов в Испании.

Хория Сима, а за ним и остальные деятели легионерского движения, понурив головы, опустились на колени. Лулу Митреску взглянул на Заримбу и, не будучи в силах сдержать смеха, судорожно закашлялся. В коленопреклоненном виде парикмахер выглядел особенно уродливо. Его чрезмерно укороченное туловище с большим выпирающим горбом покоилось на несоразмерно длинных ногах, и весь он чем-то напоминал готовую к прыжку жабу.

В наступившей тишине, не повышая голоса, Сима торжественно, но без обычной для него аффектации произнес:

— Следуя примеру незабвенного капитана, преклоняясь перед памятью наших мучеников-героев, мы клянемся всегда быть готовыми без малейших колебаний принести себя в жертву во имя торжества идеалов национального легионерского движения!

Клятву вслед за Хорией Симой коленопреклоненные присутствующие повторили слово в слово.

Сима продолжал:

— Поклянемся же постоянно, всеми силами и средствами защищать интересы нации, охранять легионерское движение от проникновения в его среду сомнений, колебаний и каких бы то ни было чуждых веяний, могущих привести движение на путь компромисса!

— Поклянемся же всегда, без какой-либо скидки на личностность, считать врагом всякого, кто отступит от принципов нашего движения!

— Беспредельно верные этой клятве, воодушевленные священными помыслами, с чистой совестью и крепким сердцем пойдем по новому пути истории!

Голос Заримбы, присягавшего вместе со всеми, звучал особенно звонко, хотя на лице его продолжала лежать печать растерянности. Он машинально произносил слова клятвы, но в ушах назойливо звучал голос адъютанта: «Третьи с конца... Неполюценная нация... За ними следуют цыгане. По национал-социалистской теории рас всех этих людишек — цак-цак-цак-цак-цак...»

между ними, точно позывные, гремели фанфары и звучала песня:

Мы идем на Англию!

Мы будем маршировать по Англии...

Торжественно-воинственные радиопередачи прославляли храбрость моряков «третьего рейха», могущество и несокрушимость его надводного и подводного военно-морского флота.

Была вторая половина октября, второй месяц войны с Англией и Францией. В кильской гавани моросил дождь, дул легкий ветерок. Штормило. После полудня из главного здания штаба подводного флота стали выходить люди в синих шинелях со свисавшими по бокам кортиками в никелированных ножнах с бронзовыми головками орла и литой свастикой на рукоятках из слоновой кости.

По большим синим фуражкам с приподнятым спереди и задранным сзади околышем, по сверкавшим на козырьках двумя рядами золоченым дубовым листьям нетрудно было догадаться, что неторопливо шествующая к морскому пирсу процессия состоит из высокопоставленных чинов кригсмарин-Германии.

К пирсу подплывала подводная лодка с выстроенными на палубе во фронт бравыми моряками. Едва ее стальной сигарообразный корпус коснулся мягких подушек бетонного причала, как с мостика лодки соскочил стройный офицер с обросшим щетиной лицом. Не бриться до возвращения на базу — таков обычай, заимствованный у покрывших себя дурной славой пиратов и ставший на подводном флоте Германии традицией.

Рапорт молодцеватого офицера был предельно лаконичен:

— Господин гросс-адмирал! U-47 задачу выполнила. Командир подлодки — лейтенант Приен.

Двойной подбородок командующего военно-морским флотом Германии гросс-адмирала Редера, его одутловатое лицо с малиново-фиолетовыми прожилками тотчас же расплылись от улыбки, выразившей умиление и благодарность. Синий рукав с золочеными по локоть витками нашивок командующего протянулся к худощавому лейтенанту, стоявшему навытяжку в помятом френчике и сплюснутой фуражке, все еще по-летнему обтянутой белым чехлом.

Не успел лейтенант прочувствовать значение крепкого пожатия пухлых пальцев адмирала, как его руку уже пожимали другие высокие чины из окружения командующего. Одни сдержанно, другие экзальтированно, но все искренно поздравляли офицера с успехом, с возвращением, с победой!

Отвечая, командир подводной лодки щелкал каблуками и растерянно произносил скороговоркой невнятные слова. Его час пришел. Пришел не случайно и не легко. Об этом знали все встречавшие, но далеко не все были осведомлены о том, что не только отвага лейтенанта Приена, не только мужество экипажа лодки, которой он командовал, явились причиной одержанной победы... Главный участник совершенной операции, о которой восторженно писали в газетах и шумели в эфире, как и подобало людям его профессии, оставался «за занавесом». Покуривая, он сидел в кают-компании подводной лодки и по-прежнему оставался известен команде как «объект», подобранный в море... Сигарета, зажата в его пальцах, вздрагивала, роняя на пол пепел. «Объект» нервничал... Причин тому было немало, хотя его время тоже пришло; но час «всплытия на поверхность» наступил пока только для U-47 и ее экипажа...

Не случайно на церемонии встречи среди высокопоставленных чинов военно-морского флота не было смуглолицего седого и всегда внешне спокойного адмирала, который непосредственно занимался разработкой боевой задачи, лично ставил ее командиру подлодки и инструктировал его. Вильгельм Канарис также оставался «за занавесом». Он всегда считал, что если летчики или моряки, артиллеристы или танкисты, пехотинцы или парашютисты одерживают крупную победу, то тот, кто добывал для них обеспечивающие успех сведения, должен оставаться «за занавесом». Его не должны ни слышать, ни видеть, ни славословить ему, а лишь предполагать, что успех той или иной операции достигнут не без участия некоего человека... Именно поэтому двадцатичетырехлетний лейтенант Гюнтер Приен единолично пожинал славу победителя, сознавая при этом, насколько приятнее скромное торжество на пирсе в его присутствии пышной тризны по нем в его отсутствии. Уж кто-кто, а Приен знал, кому он обязан прижизненной, а не посмертной славой.

После недолгой церемонии поздравления личного состава подводной лодки гросс-адмирал Редер пригласил ее командира, штурмана и нескольких членов экипажа отбыть с ним.

В тот же день поздно вечером трехмоторный самолет с черными крестами на гофрированном фюзеляже и плоскостях крыльев доставил гостей из Киля на берлинский аэродром Темпельхоф. И уже во второй половине следующего дня лейтенант Приен, чисто выбритый, причесанный, в парадном мундире прибыл на Вильгельмштрассе вместе с командующим кригсмарины. Роскошный «хорьх» въехал в огромный двор имперской канцелярии. Массивные серо-зеленые мра-

морные колонны у парадного подъезда; квадратные плиты из гранита, выложенные перед высокими дубовыми дверьми, окованными по углам надраенной до зеркального блеска бронзой; длинный путь через анфиладу помещений; застывшие на переходах эсэсовцы, в знак приветствия, как автоматы, выбрасывающие вперед руки и щелкающие каблуками; тяжелый плюш драпри и холодный блеск зеркал; картины в золоченых багетах и яркие краски мягких ковров — все это произвело ошеломляющее впечатление на молодого офицера, только вчера всплывшего из глубин Северного моря.

Он машинально шагал чуть позади гросс-адмирала, забыв, куда и зачем они идут, и не заметил, как вошел в огромный кабинет. Первое, что бросилось ему в глаза, были свисавшие шпалерами красочные гобелены, заполнявшие простенки между полукруглыми пилястрами из светлого мрамора. Не сразу Приен понял, что вышедший из-за расположенного далеко впереди большущего письменного стола и засеменивший к ним навстречу человек и есть фюрер. До этой минуты он видел его только на портретах и на экранах кино. Лейтенанта охватило волнение, какого он не испытывал, даже стоя у перископа и определяя курсовой угол перед тем, как скомандовать «файер!» «Во сне или наяву? — растерянно вопрошал он себя. — Ведь это сам рейхсканцлер германского государства! Сам фюрер немецкого народа!..»

Впоследствии Приен не мог вспомнить, произнес ли он приветствие и как? Вскинул ли руку? Улыбающийся и что-то без умолку говоривший Адольф Гитлер подошел к нему вплотную, удостоил рукопожатия и долго не отпускал его руку. Ощувив холодок и влажность ладони, Приен еще больше смутился, подумал, что это его рука вспотела от волнения. Инстинктивно он на мгновение сжал кисть левой руки в кулак, убедился, что она совершенно сухая, несколько успокоился и только тогда до его сознания дошел немудреный смысл фразы, произнося которую Гитлер взял его за локоть и повел к креслу.

— Никаких формальностей, господин лейтенант! — улыбаясь говорил Гитлер. — Вы наш гость! И пожалуйста, чувствуйте себя, как в кругу задушевных друзей...

Гитлер держал себя на редкость просто, будто вновь превратился в заурядного ефрейтора, и балагурил, как в былые времена с кайзеровской солдатней. Фюрер был мастером перевоплощения! Еще совсем недавно, выступая на заседании рейхстага в громадном зале оперы «Кроль», он бил себя кулаком в грудь и хриплым, сорванным от бесчисленных крикливо-надрывных речей голосом заверял национал-

социалистов: «Я вновь надел сегодня эту военную форму, которая для меня является самой дорогой и самой священной. И я клянусь, что не сниму ее до тех пор, пока мы не обеспечим себе победу...»

Эти слова были произнесены первого сентября. В тот день войска вермахта вторглись в Польшу. Гитлер был тогда в сапогах и военной рубашке, заправленной в мешковатые брюки, опоясанные широким ремнем с перекинутой через узкое покатое плечо портупеей. С тех пор прошло менее двух месяцев. Не было никаких оснований считать, что победа уже достигнута или хотя бы обеспечено ее достижение. Напротив, Германия находилась в состоянии войны с Англией и Францией. Но это не помешало Гитлеру предстать перед подводником в новеньком двубортном коричневом френче-пиджаке с медными пуговицами и с туго подбитыми ватой плечами. Правда, ни погон, ни нашивок или знаков различия на френче не было. Лишь на рукаве красовалась скромная эмблема армии — «птичка» — и на впалой груди, чуть не под ребрами, приколот один из двух полученных им в минувшую мировую войну железных крестов. Он — солдат! Когда это, разумеется, ему нужно. Но он же и фюрер... Это все должны твердо помнить. Однако сейчас ему больше подходит роль солдата, камарада, партайгеноссе...

Усадив лейтенанта в одно из больших кресел с высокой спинкой, обитой цветастым драпировочным шелком, он сел рядом и только после этого пригласил гросс-адмирала Эриха Редера сесть по другую сторону от себя.

Гитлер улыбался, глаза его искрились, несоразмерно длинные руки с костлявыми кистями не находили себе места. Но внезапно, словно по команде, он остепенился, вошел в новую роль. Солдат и друг, обычный человек и товарищ по партии превратился в государственного деятеля и вождя народа.

Облокотившись на тощие колени, он уже придал своему лицу озабоченно серьезное выражение, приготовился выслушать рассказ командира той самой подводной лодки, блестящие результаты боевых действий которой могли оказаться решающей картой в его дипломатической игре. Ради этого и был затеян торжественный прием фюрером якобы главного виновника нашествие во всем мире события. Исключительный успех рейда подводной лодки, по мнению Гитлера, должен был заставить чванливых англичан перестать кичиться мощью своего морского флота, не рассчитывать на него, как на силу, способную противостоять военному могуществу новой Германии, должен был дать понять, что нацио-

нал-социалистский рейх — не прежнее германское государство и что время унижительных компромиссов безвозвратно кануло в прошлое.

Мир действительно был огорошен беспримерной наглостью, жестокостью и результативностью действий немецкого подводного и надводного флота. И десяти часов не прошло с момента объявления Англией и Францией войны Германии, как немецкая подводная лодка U-30 торпедировала следовавший в Нью-Йорк беззащитный английский лайнер «Атения», который ушел ко дну со ста двенадцатью пассажирами. На вторые и третьи сутки были потоплены не менее ценные суда: «Босния», «Ройял Септр» и «Рио Кларо». Вслед за выпущенной торпедой командир немецкой подводной лодки U-48 Герберт Шульц отправил открытым текстом на английском языке издевательскую радиограмму новому Первому лорду адмиралтейства: «Мистер Черчилль. Точка. Потопил судно Британского королевского флота. Точка. Пожалуйста, спасите людей. Точка...» Спустя десять дней вблизи побережья Великобритании немецкая подводная лодка потопила английский эскадренный авианосец «Кэрейджес», вместе с которым утонуло пятьсот моряков и офицеров, включая капитана судна Мейкинга Джонса... За короткий отрезок времени с начала войны немцы потопили около полусотни судов различного водоизмещения. Все это имело целью вынудить англичан пойти на уступки. Две недели тому назад в очередной речи Гитлер недвусмысленно заявил, что у него нет к англичанам и французам каких-либо претензий, которые не могли бы быть разрешены мирным путем.

Англо-французские союзники колебались, опасались, что германский канцлер вновь обведет их вокруг пальца, взвешивали за и против, а тем временем Гитлер действовал еще наглее, еще напористее. И вот теперь нанесен новый удар! Удар, превосходящий по своему значению все предшествующие, ибо он был нанесен не в открытых водах океана, а в святая-святых британского королевского флота — в бухте Скапа-Флоу, сам факт проникновения в которую немецкой подводной лодки вызвал переполох в английском адмиралтействе.

Именинником оказался лейтенант Гюнтер Приен. Еще в момент вступления на сушу ему было приказано говорить исключительно о себе, о мужестве и мастерстве команды подводной лодки, что же касается «объекта», обеспечившего выполнение задачи, то гросс-адмирал Редер позволил упомянуть о нем лишь в беседе с фюрером. В самолете, перед

посадкой на берлинский аэродром, он вновь напомнил Приену:

— О подобранном в море «объекте» и обо всем, что связано с ним, не говорите никому ни единого слова... Только фюреру доложите в самых общих чертах. Пожалуйста, запомните это, лейтенант!

И вот лейтенант Приен сидит в глубоком кресле, все еще волнуется и потому излишне многословно повествует о подготовке к рейду, во время которого были отработаны срочное погружение и быстрое продувание балластных цистерн на случай, если лодка наткнется на заградительные ловушки и получит дифферент. При этом лейтенант счел своим долгом упомянуть, что инструктаж проводил лично герр адмирал, фамилия которого осталась ему неизвестной.

Гитлер и Редер прекрасно знали, кто был этот «герр адмирал», однако ни тот, ни другой не сочли нужным восполнить пробел в рассказе лейтенанта. На вопросительно-выжидательную паузу Приена они ответили молчанием.

Преодолев смущение, не искушенный в беседах с государственными мужами рейха молодой лейтенант торопливо продолжал рассказ и без всякой надобности, но и без какого-либо умысла вновь упомянул безымянного адмирала.

— Подводная лодка, — сказал он, — покинула военноморскую базу в Киле восьмого октября. Достигнув территориальных вод Британии в Северном море, мы приступили, согласно указаниям герр адмирала, к изучению обстановки на поверхности заданного района — восточной части Оркнейских островов с заходом в пролив Шапинсей-Саунд вблизи бухты Инганесс... Нам предстояло проникнуть в залив Скапа-Флоу, где в бухте острова Мейнленд расположена крупнейшая военноморская база английского флота. Чтобы избежать обнаружения себя морскими дозорами и воздушными патрулями противника, лодка с рассвета и до наступления темноты находилась в подводном положении.

Приен рассказал, как наряду с изучением навигационной обстановки на поверхности и системы обороны подходов к Оркнейскому архипелагу, день за днем в промежутке между 25 и 35 минутами каждого четного часа, начиная с шести и до шестнадцати часов прослушивали они радиодиапазон двадцати одного метра.

— Условный сигнал, — продолжал лейтенант, — был услышан нашим радистом лишь к началу четвертого дня, и лодка немедленно взяла курс к проливу Шапинсей-Саунд. Миновав вскоре мыс Реруйк-Хед, лодка заняла удобную позицию для наблюдения в перископ за уходящим вдаль бе-

регом бухты Инганесс. В пятнадцать часов десять минут в непосредственной близости от берега нами был обнаружен разыскиваемый «объект»: парусная яхта. Лишь через два с половиной часа на яхте, незримо для «объекта» уже сопровождаемой подводной лодкой, опустился парус. Это был условный сигнал... Некоторое время мы выжидали, пока стемнеет, затем всплыли на поверхность, приняли на борт лодки «объект», а яхту потопили...

На несколько мгновений Приен прервал свою речь, глубоко вздохнул, то ли с облегчением отметив про себя, что исчерпал вводную часть рассказа, то ли вновь переживая волнения того дня.

— С этой минуты экипаж U-47 приступил к непосредственному выполнению поставленной перед ним боевой задачи,— продолжал лейтенант, не желая выглядеть нескромным и потому не злоупотребляя личным местоимением «я». — По данным «объекта», в бухте Скапа-Флоу находились лишь три судна. Нас очень огорчило,— заметил Приен,— что среди них не оказалось авианосца... Хотелось добычи покрупнее!

В знак понимания и сочувствия Гитлер едва заметно кивнул, а вслед за ним закивал головой и гросс-адмирал.

— Однако,— продолжал Приен, ободренный благосклонностью высокопоставленных собеседников,— мы решили не упускать и того, что находилось в бухте...

Вскользь отметив отличную осведомленность «объекта» о состоянии и системе охраны проходов в залив Скапа-Флоу, подтвердив наличие в них сигнальных сетей и брандеров, лейтенант не мог обойти молчанием решающую заслугу «объекта», все же отыскавшего обнадеживающую лазейку для проникновения в залив. В узком проливе между островами Мейнленд и Ламб-Холм находились два затопленных судна; течение в нем сильное и с водоворотами, а глубина местами не превышала семи метров. И хотя возможность прохода здесь подводной лодки противника представлялась англичанам весьма затруднительной и потому маловероятной, распоряжение об усилении охраны в этом проливе путем установки дополнительных брандеров уже было дано, но... еще не выполнено.

На основе всех этих данных, своевременно сообщенных «объектом» ведомству адмирала Канариса, и была составлена при личном его участии навигационная карта для U-47. Но Канарис оставался «за занавесом». Лейтенант Приен не подозревал, что этот адмирал и есть глава абвера и что взятый на борт лодки «объект» в эти же минуты, детально ин-

формируя «безымянного» адмирала о проведенной операции, счел за благо для себя отметить колебания командира подводной лодки U-47 Гюнтера Приена и подчеркнуть, что только по его, «объекта», настоянию лейтенант наконец решился riskнуть.

Риск, разумеется, был. И немалый, даже при таких благоприятных факторах, как безлунная ночь и прилив, который в этот день начинался здесь в двадцать два часа тридцать минут и достигал кульминации в полночь. Однако «объект» вполне успешно справился с возложенными на него функциями лоцмана. U-47 благополучно проскользнула между покоящимися на дне пролива Кирк-Саунд кораблями, преодолела водоворот, обогнула в такой близости от берега мыс Хаукной, что при северном сиянии был виден в перископ велосипедист, кативший по дорожке, и вошла в залив Скапа-Флоу...

— С этого момента, — увлеченно рассказывал лейтенант, — наша задача состояла в том, чтобы, не теряя попусту ни минуты, отыскать и атаковать корабли противника. К сожалению, — в свою очередь счел за благо для себя отметить Приен, — «объект» не обеспечил необходимых точек для ориентировки в условиях безлунной ночи и строгого соблюдения англичанами светомаскировки. Это привело к тому, что лодка совершила ненужный рейс в западную часть акватории... Между тем времени оставалось в обрез. Через полтора часа должен был начаться отлив, и тогда выход из залива для лодки оказался бы закрыт!.. Поэтому я, — подчеркнул Приен, — тотчас же принял решение вернуться к исходной позиции и, полагаясь на мастерство штурмана, совершить рейд вдоль восточного берега острова Мейнленд... Результат не замедлил сказаться: в северо-восточной части бухты был обнаружен корабль противника. Это был крейсер «Рипалс». Быстро выбрав удобную позицию, в ноль часов пятьдесят восемь минут четырнадцатого октября мы атаковали!

Лейтенант Приен обошел молчанием один факт: он бросился было наутек, но, убедившись, что англичане ведут себя так, словно и понятия не имеют о пребывании в гавани неприятельской подводной лодки, от торпед которой уходит ко дну один из кораблей, повернул обратно. «Объект» сумел настоять. И U-47 обнаружила в северной части акватории стоявший неподвижно на якорях огромный корабль с высокой мачтой...

— Это был линкор «Ройял Оук», — продолжал Приен. — Выбрав наиболее удобную позицию при оптимальной дистанции с курсовым углом 90°, в час шестнадцать минут был

дан залп из торпедных аппаратов... Одна из торпед, видимо, попала в носовую часть корабля, где расположены цистерны с жидким топливом... Очередной залп был произведен в час двадцать две минуты... Торпеды угодили в расположение погреба с артиллерийским боезапасом... Это уже не предположение, а точно установленный факт!.. На линкоре произошел колоссальной силы взрыв... Через две минуты огромнейшие контуры корабля исчезли под водой...

— Великолепно! — сияя от восторга, воскликнул Гитлер. — Отлично, лейтенант!.. Но я прервал вас. Продолжайте, пожалуйста.

— В два часа пятнадцать минут, несмотря на начавшийся отлив, U-47 благополучно миновала в обратном направлении узкий пролив Кирк-Саунд. Но на этот раз мы уже воспользовались проходом в непосредственной близости от берега острова Ламб-Холм, где глубина немного превышает семь метров... И мы вышли в Северное море! — завершил свое повествование лейтенант Приен.

— Превосходно! — вновь воскликнул Гитлер и, обращаясь уже к Редеру, добавил: — Все это лишний раз подтверждает, что только люди, в чьих жилах течет подлинно арийская кровь, способны на подобные чудеса!

— Представляете, мой фюрер, какой переполох возник в Скапа-Флоу и что происходит сейчас в английском адмиралтействе, — ответил gross-адмирал, уклоняясь от муссирования излюбленной Гитлером темы о превосходстве арийской расы. — Радиостанция Би-Би-Си уже передала печальную для королевского флота весть. Англичане подтвердили потопление линкора «Ройял Оук», но почему-то умалчивают о крейсере «Рипалс»!?

Гитлер вскочил с кресла.

— Англичане всегда отличались двуличием! — раздраженно ответил он. — Не обошлись они и на сей раз без лукавства... Но важен сам факт проникновения нашей подводной лодки в Скапа-Флоу! Мы и впредь будем проникать всюду и наносить удары врагам рейха там, где нас меньше всего ждут... Кстати, не мы развязали войну, а они, англичане! Они и французы навязали ее Германии, пусть и пеняют на себя...

Торжественно, но несколько поспешно Гитлер вручил лейтенанту Приену «рыцарский крест». Гюнтер Приен был первым военным моряком в «третьем рейхе», удостоенным столь высокой награды. Командующий кригсмарины Германии поздравил командира подводной лодки U-47 с присвоением ему звания капитана-лейтенанта.

Тем временем на Тирпицуферштрассе в менее пышной обстановке Канарис чувствовал возвращение в фатерланд «объекта» — абверовского агента и своего давнего друга Фердинанда Мюллера. Адмирал отнюдь не был в восторге от его успехов. Только крайне затруднительное положение, в котором оказался глава абвера, вынудило его прибегнуть к услугам Мюллера. Это был единственный «дополнительный ход в запасном выходе».

...На протяжении длительного времени англичане, через немецкого агента на Оркнейских островах Фердинанда Мюллера, передавали Берлину данные о системе охраны военноморской базы Скапа-Флоу. Эти сведения тщательно готовились в Интеллидженс сикрет сервис совместно с «особым отделом» адмиралтейства и содержали определенную долю дезинформации. Немцы всегда интересовались военноморской базой Скапа-Флоу. Мюллер был одним из старых агентов, завербованных англичанами еще в двадцатые годы, когда он работал в немецком посольстве в Мадриде. Германия тогда терпела поражение, и работники Интеллидженс сикрет сервиса, пользуясь случаем, удили рыбку в мутной воде, вербовали немцев, которые могли быть им полезны в будущем. Однако Мюллер оказался не у дел в своем отечестве и, следовательно, не мог оказывать «услуги» Британской короне. На время англичане оставили его в покое, и Мюллер лишился единственного источника средств к существованию. Но позднее он вновь понадобился, и бывшие хозяева разыскали его в Голландии. В Интеллидженс сервис созрел план... Через доверенных людей в Nachrichtendienst¹¹⁶, которая ранее посылала Фердинанда Мюллера в Мадрид, англичане добились направления его в качестве немецкого агента в... Англию!

Чтобы замаскировать прошлое Мюллера времен его пребывания в Мадриде, немецкая разведка превратила его в Альфреда Ортель, а в Великобританию отправила с документами на имя голландца Шулермана.

Немцы были довольны своим агентом: он быстро сумел «легализоваться»; обзавелся крохотной ювелирно-часовой мастерской в шотландском городке Кёркуолл, расположенном вблизи военноморской базы Соединенного Королевства Скапа-Флоу; вел скромный образ жизни, добросовестно трудился и, наконец, полностью «натурализовался» — принял английское подданство и вместе с ним превратился в Альфреда Вахринга. И никому из деятелей немецкого разведы-

¹¹⁶ Немецкая военная разведка в донацистской Германии (нем.).

вательного Nachrichtendienst и позднее пришедшему ему на смену абвера не приходила в голову мысль, что всеми своими «достижениями» Мюллер-Ортель-Шулерман-Вахринг обязан Интеллидженс сикрет сервис... Впрочем, адмирал Канарис с самого начала стал подозрительно относиться к деятельности этого агента и своего приятеля еще по кильскому мореходному военному училищу. Анализируя и сопоставляя ряд фактов, Канарис пришел к заключению, что именно Фери Мюллер, будучи сотрудником немецкого посольства в Мадриде, преднамеренно открыл англичанам его местонахождение и тем самым вынудил восстановить прерванный контакт с «ювелирной фирмой». По собственному печальному опыту он знал, как цепко эта «фирма» держит в своих руках надежды завербованных агентов, и почти не сомневался в том, что «преуспевающий» агент абвера Фердинанд Мюллер давным-давно перевербован англичанами, на привязи у которых находится и он — глава абвера... Само по себе это обстоятельство мало беспокоило Канариса, но осведомленность Мюллера-Вахринга о его давних связях с англичанами внушала ему очень серьезные опасения за судьбу собственной персоны...

И Вильгельм Канарис стал выискивать способ устранения этой опасности. В его мозгу созрел план использования Мюллера в качестве «дополнительного хода в запасном выходе» из создававшегося для него критического положения в постоянной скрытой борьбе с Гейдрихом.

К тому времени Мюллер-Вахринг прочно вошел в доверие к англичанам, но они понимали, что созданный нацистами абвер в один прекрасный день может предпринять проверку как достоверности сведений, поступающих от Мюллера, так и всего образа его жизни и деятельности в Кёркуолле. И чтобы предотвратить провал перевербованного ими немецкого агента, англичане были вынуждены предоставить ему некоторую свободу передвижения и времяпрепровождения. Он по-прежнему работал в своей ювелирно-часовой мастерской, но с некоторых пор в свободное время стал увлекаться рыбной ловлей, прослыл любителем этого дела, затем приобрел небольшую яхту и совершал на ней длительные прогулки в бухте Инганесс и в проливе Шапинсей-Саунд.

Шли годы. В «ювелирной фирме» привыкли к этим прогулкам Мюллера-Вахринга, ослабили контроль за ним, но по-прежнему передавали через него в Берлин дезинформацию, на основе которой, как они полагали, в немецком Генеральном штабе создалось совершенно превратное представление о положении дел в военно-морской базе Скапа-Флоу...

Так казалось англичанам. И это соответствовало действительности, но только до тех пор, пока начальнику абвера, давно уже разгадавшему игру, затейную «ювелирной фирмой» с его агентом, Фери Мюллер не понадобился в качестве «дополнительного хода в запасном выходе». Сначала Канарис дал понять Мюллеру, что его подлинная роль разгадана и что в нужный абверу момент ему все же придется доказать свою преданность отечеству, если он не желает стать обузой для англичан...

Мюллер-Вахринг отдавал себе отчет в том, что англичане будут ценить его только до тех пор, пока абвер относится к нему с доверием. Он также понимал, что как только местные хозяева установят или хотя бы почувствуют безрезультатность передаваемой через него дезинформации, так немедленно откажутся от его услуг, а быть может поступят намного хуже, чем тогда в Швейцарии, когда он вдруг оказался без единого гроша, буквально голодал и нищенствовал.

Воспоминания об этом страшном, унижительном прошлом, да и думы о безотрадном и не менее унижительном настоящем порою приводили Мюллера в ярость. В нем закипала жажда мести деятелям «ювелирной фирмы» за то, что однажды они вынудили его встать на путь предательства родине, и за то, что они держат и будут пожизненно держать его за горло, под постоянной угрозой обречь если не на смерть, то на нищенское существование. В его разгоряченном мозгу возникали фантастические планы диверсий, главным исполнителем которых был, конечно, он сам и, конечно, с благоприятным лично для него исходом. Сказывались и возраст, и опека чопорных хозяев, и тоска по фатерланду, и бесперспективность... Ему рисовались идиллические картины возвращения в Германию в роли чуть ли не героя и мученика, заслужившего безоговорочное прощение соотечественников. И вдруг неожиданно-негаданно перед ним возникла возможность не в бесплодных фантазиях, а на деле утолить свою неизбывную жажду мести и, вместе с тем, вернуться в фатерланд, ставший за годы разлуки одной из сильнейших держав мира, — хотя бы в роли кающегося грешника, заслуживающего снисхождения...

Впрочем, надежды Мюллера-Вахринга выходили далеко за пределы столь скромного финала предстоящей ему операции. Он мечтал с блеском выполнить необычайно трудную и очень важную задачу, которую поставит перед ним его старый друг, возглавляющий ныне разведывательное ведомство рейха. Он-то по достоинству оценит его заслуги, его спосо-

ности и... вероятно, вернет его, как честного патриота, к почетной работе в качестве агента абвера...

Продолжая передавать в Берлин угодную англичанам дезинформацию, Мюллер самым тщательным образом выяснял и изучал истинное положение дел в военно-морской базе Скапа-Флоу... Для непосредственной связи с ним, работавшим «под диктовку» англичан, был приставлен один из малоизвестных служащих кёркуолльского аэродрома (агент абвера, о существовании которого сотрудники Интеллидженс секрет-сервис и не догадывались).

С трепетом читал Мюллер в газетах имена разоблаченных немецких шпионов, казненных англичанами в тюрьме «Оулд-бейли» в первые дни войны с Германией. И все же он твердо решил действовать «ва банк».

Сведения, добытые «объектом» помимо «ювелирной фирмы», адмирал Канарис не спешил использовать. Придерживал их на случай, если создастся отчаянное положение и придется прибегнуть к пресловутому «дополнительному ходу в запасном выходе».

Регулярно представляя фюреру сводку, содержащую обширную информацию, начальник абвера всегда подчеркивал в ней достигнутые результаты — добытые секреты, осуществленные диверсии, новые агентурные сети, а также перспективные дела, подготовленные агентами абвера, окопавшимися в пятистах пунктах земного шара.

Гитлер в основном с доверием воспринимал данные абвера, но бывало, что ставил под сомнение их достоверность. В этих случаях скептицизм фюрера объяснялся влиянием начальника службы безопасности рейха обергруппенфюрера СС Рейнгардта Гейдриха. В докладах этого любимца германского канцлера все чаще и откровеннее высказывалась мысль об инертности немецкой агентуры за рубежом. Под этим впечатлением Адольф Гитлер, прочитав однажды очередную сводку абвера, укоризненно сказал Канарису:

— Все это, адмирал, булабочные уколы... Мне нужны эффективные дела, от которых содрогнулся бы весь мир!

Канарис отлично понимал, что подобные оценки деятельности абвера инспирированы Гейдрихом, что по существу он прав, но не может докопаться до подлинных причин «инертности».

В те дни Гейдрих завершал реорганизацию своего ведомства, которое объединило все полицейские, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в единое Управление, получившее название Reichssicherheitshauptamt,

или сокращенно R.S.H.A.¹¹⁷. Он из кожи вон лез, убеждая фюрера в целесообразности подчинить ему абвер.

Канарис знал об этом и понимал, что такая перспектива грозит ему по меньшей мере отстранением от должности... Назревала необходимость отказаться на время от «булавочных уколов», подготовить и осуществить «эффектное дело», опровергнув тем самым обвинения в адрес абвера и его агентуры в инертности.

Гитлер тем временем продолжал наседать на начальника абвера. При очередном ознакомлении с работой агентуры абвера в Англии в глазах его забегали зловещие огоньки. Не дочитав сводку до конца, он вдруг выкрикнул, обращаясь к Канарису:

— А Гейдрих все же прав! У нас имеются все предпосылки к тому, чтобы поставить англичан на колени! Почему же до сих пор они делают вид, будто не намерены даже поклониться!? Где наши люди, о которых вы мне прожужжали все уши?! На кого они работают? За что немецкий народ платит им золотом на протяжении стольких лет?.. Сегодня время еще работает на нас. Для этого я преодолел самые невероятные трудности! Я добился такой мощи и такого престижа Германии, о которых ни один государственный деятель не смел и мечтать!.. Но если не принять теперь же самых энергичных мер к сохранению такого положения, то завтра все может измениться не в пользу рейха... Вы этого хотите?!

Адмирал Канарис был окончательно прижат к стене. И, как ни тяжело было ему наносить серьезный урон военноморскому флоту и престижу Великобритании, оказывая тем самым существенную помощь Гитлеру в его стремлении поставить англичан на колени, он вынужден был сделать это — прибегнуть к «дополнительному ходу в запасном выходе».

Двадцать седьмого сентября, в день капитуляции Варшавы, когда Адольф Гитлер выступал по этому поводу с продолжительной речью, из кильской гавани вышла в рейд подводная лодка U-16. Ее командиру было приказано проникнуть в военно-морскую базу английского королевского флота в заливе Скапа-Флоу. Однако через несколько дней командир U-16 доложил, что пролив Кирк-Саунд в том месте, где намечен проход, слишком мелководен, и что на дне его покоятся два судна... В донесении также отмечалось, что в используемых англичанами проходах Холм-Саунд, Уотер-

¹¹⁷ Главное имперское управление безопасности (нем.).

Саунд, Хокса-Саунд и Пентленд-Фёрт установлены сигнальные сети и затоплены брандеры. U-16 возвращалась в Киль, не выполнив задания.

В тот же день поздно вечером копия депеши командира U-16 лежала на столе обергруппенфюрера СС Рейнгардта Гейдриха. Вывод, который он сделал, как бывший офицер военно-морского флота Германии, был не в пользу начальника абвера. Гейдрих не замедлил ознакомить со своим заключением рейхсфюрера СС Гиммлера, язвительно заметив при этом, что столь длительные поиски абверовским агентом лазейки для проникновения в Скапа-Флоу закончились анекдотическим предложением протащить морской канат сквозь ушко иголки.

На совещании, состоявшемся на следующий же день в имперской канцелярии, Генрих Гиммлер в присутствии фюрера бросил упрек абверу.

— Мы часто упускаем из виду, — сказал он, — что не напрасно за Интеллидженс сервис закрепились слава одной из лучших организаций по ведению шпионажа... И не зря сами они называют ее «ювелирной фирмой»! Это обязывает нас проявлять максимум осторожности и проницательности при рассмотрении информации, поступающей от наших агентов. Не исключено, что эти сведения, на основе которых наши управления принимают надлежащие решения, если не целиком, то в значительной мере сфабрикованы самим противником с целью ввести нас в заблуждение!

Канарису ничего не оставалось, как лично заняться подготовкой к рейду очередной подводной лодки. Выбор пал на U-47... В былые времена Вильгельм Канарис командовал подводной лодкой. Его советы и указания при составлении навигационной карты имели немаловажное значение для лейтенанта Гюнтера Приена — молодого командира подводной лодки U-47. Результат предпринятого им рейда вскоре стал очевидным...

Противоречивые чувства испытывал адмирал Канарис в связи с блестящим результатом рейда подводной лодки U-47. Его огорчала значительность понесенного Британией урона, но в гораздо большей степени огорчало и раздражало сознание того, что именно он дал в руки фюрера и национал-социалистской верхушки крупный козырь в их пропагандистской трескотне о превосходстве арийской расы, именно он помог им поднять свой престиж и принизить престиж Великобритании.

Вместе с тем начальник абвера испытывал немалое удовлетворение. Он не сомневался в том, что вполне удавшаяся

ся операция проникновения в Скапа-Флоу послужит отличным уроком коллегам из Интеллидженс сикрет сервис, которым, в силу некогда возникших безвыходных обстоятельств, он вынужден оказывать бесценную поддержку. Вильгельма Канариса возмущала и огорчала чрезмерная требовательность английских коллег-хозяев, нередко подкрепляемая бесцеремонным шантажом или недальновидно неумеренным противодействием агентуре абвера, подрывающим его авторитет в глазах нацистских бонз и ставящим под угрозу дальнейшее пребывание его на посту начальника абвера.

Не без основания адмирал Канарис полагал, что операция в Скапа-Флоу охладит пыл английских «друзей», заставит их больше считаться с ним. Его расчет был предельно прост и точен: как ни велик урон, нанесенный Британии в Скапа-Флоу, все же поддержка, которую он оказывал ей и может оказывать, оставаясь на посту главы абвера, несоизмеримо ценнее. И потому единственно разумный вывод, который могли сделать англичане из этого урока, состоял в том, чтобы впредь оберегать авторитет руководителя военной разведки «третьего рейха», не вынуждать его прибегать к столь эффективным действиям для укрепления своего положения в среде национал-социалистских правителей.

Вильгельм Канарис изучил повадки тех, на кого волей-неволей работал и кто всегда оставался недоволен им. Возможно, он нашел бы способ порвать с ними всякие связи, но не делал этого потому, что надеялся на поддержку правящих кругов Англии в его намерении совершить государственный переворот, устранить Гитлера, которого считал маньяком, возмнившим себя гением...

Недрузи начальника абвера знали, конечно, кому фюрер и национал-социализм обязаны крупным успехом операции в военно-морской базе Скапа-Флоу, но умалчивали об этом и вместе с тем возносили до небес доблесть командира подводной лодки U-47 Гюнтера Приена. Этот успех, отнюдь не решающий исход войны, нацистские трубадуры использовали, чтобы снова и снова на все лады трезвонить о якобы бесспорном превосходстве военной мощи Германии. Роль запевалы в этом хоре демагогической пропаганды принадлежала самому фюреру. Он не упускал случая подчеркнуть, что сухопутные войска уже продемонстрировали свою несокрушимую силу в польской кампании, а теперь и военно-морской флот наносит неотразимые удары по Великобритании, считавшейся до сих пор сильнейшей морской державой. Он публично утверждал, что в скором времени в воздушном пространстве метрополии этой державы свое несом-

ненное превосходство продемонстрируют военно-воздушные силы, а танковые соединения вермахта сделают то же самое на плодородных полях Франции...

Троякую цель преследовала вся эта пропагандистская шумиха: вдолбить в головы соотечественников убеждение в непобедимости Германии; посеять и взрастить чувство обреченности у народов тех стран, землю которых еще не топтали кованые сапоги солдат вермахта; дать понять правителям Англии и Франции, рискнувшим объявить войну Германии, что им не избежать катастрофы, если они вовремя не одумаются и не заключат с немцами компромиссный мир.

В свою очередь, нацистские дипломаты всеми путями пытались склонить правителей Англии и Франции к заключению мира с Германией, соблазняя их скорейшим осуществлением столь желанного ими похода вермахта на Восток...

Дипломатические маневры национал-социалистов были весьма результативны... Всего месяца три тому назад между Англией и Германией велись секретные переговоры о заключении многостороннего соглашения, которое определяло сферы влияния англичан и немцев. К обоюдному удовлетворению, было решено, что расширение «жизненного пространства» рейха произойдет за счет большевистской России. Всячески поощряя направленность фашистской агрессии на восток, престарелый британский премьер Невилль Чемберлен посулил Германии заем в размере миллиарда фунтов стерлингов!.. Гитлер имел все основания верить этому обещанию, так как именно в эти дни англичане послали в Москву официальную делегацию для переговоров с Советским Союзом о заключении военного пакта якобы с целью обуздать фашистского агрессора, в действительности же только для того, чтобы дать понять германскому канцлеру, что на союз с большевиками они могли бы пойти, однако делать это не намерены: подтверждением тому послужил срыв переговоров в Москве... И Германии лишний раз было дано понять, что западные державы отнюдь не собираются препятствовать ее планам на Востоке...

Вот почему и теперь, в ходе войны с Британией и Францией, Адольф Гитлер не терял надежду склонить главным образом англичан к заключению мира с тем, чтобы развязать себе руки на западе, а затем обрушиться на Советский Союз.

В этом вопросе начальник абвера был твердым единомышленником фюрера, настойчиво утверждал и доказывал преимущества экспансии на восток. Его «троянский конь», абверовские агенты, уже начал переключиваться с территории Румынии в Бессарабию для последующего проникновения в

глубь Советской России в качестве «пятой колонны», способной в нужный момент оказать действенную помощь наступающим войскам вермахта... Канариса раздражала шумиха по поводу проникновения немецкой подводной лодки в Скапа-Флоу и потопления линкора «Ройял Оук», однако его радовало, что эти печальные для англичан факты являются весьма вескими «доводами» в пользу целесообразности заключения Англией компромиссного мира с Германией. Что касается Франции, то адмирал не сомневался: она пойдет на поводу англичан.

Наряду со всеми этими весьма серьезными соображениями, позволявшими начальнику абвера в конечном счете вполне положительно оценивать операцию в Скапа-Флоу, он не мог отказать себе в удовольствии позлорадствовать над своим недругом Гейдрихом, не упуская случая укорять абвер в инертности. Операция в Скапа-Флоу надежно заткнула ему рот.

Конечно, Гейдрих был раздосадован тем, что Канарис одним ударом опрокинул его старания шаг за шагом, капля за каплей внушить фюреру неверие в способность (а может быть, и в желание) главы абвера подготовить и осуществить подлинно «эффективные дела». Однако подозрительность его в отношении «черного адмирала» не исчезла, и он по-прежнему не упускал случая бросить тень на деятельность абвера и лично Канариса.

Такой случай вскоре подвернулся. На совещании в специальном поезде фюрера адмирал Канарис, с обычной для него напускной скромностью, без намека на пафос, коротко, но вразумительно доложил о том, что, по данным абвера, адмиралтейство Великобритании издало приказ об упразднении в Скапа-Флоу военно-морской базы.

— Надеюсь, адмирал, — иронически заметил Гитлер, — англичане не потопили свои корабли, как это, между прочим, сделали мы, немцы, в минувшую войну? Гиммлер не ошибся, отметив недавно достоинства Интеллидженс сервиса... Англичане способны сегодня увести свой флот с тем, чтобы завтра вернуть его обратно, а затем представлять дело так, будто он бог весть где у них рейдирует!..

— В Скапа-Флоу нет военных кораблей, — твердо ответил Канарис. — Хоме Флет¹¹⁸ перебазировался... Абсолютно достоверная информация, фюрер!

Высказанное Гитлером сомнение в достоверности информации абвера подстегнуло начальника имперской службы

¹¹⁸ Военно-морской флот Соединенного Королевства (англ.).

безопасности рейха. Молча слушая диалог фюрера с главой военной разведки, Гейдрих подумал, что, может быть, это и есть тот единственный счастливый случай, который позволит поддеть Канариса и в конечном итоге все-таки подчинить себе абвер. Стараясь ни словом, ни тоном не выдать своих истинных намерений, он сказал:

— Мой фюрер! Я полагаю, что, прежде чем докладывать вам, господин адмирал перепроверил достоверность информации.... Вместе с тем, сведения эти столь важны, что никаких сомнений в их точности не должно быть. Поэтому мне представляется разумным произвести аэрофотосъемку залива Скапа-Флоу...

На рассвете следующего дня самолеты люфтваффе совершили налет на указанный район. Фотосъемка полностью подтвердила данные абвера. Узнав об этом, Гейдрих сделал вид, будто и не ожидал иного результата, а Гитлер сиял от удовольствия. Он не замедлил заключить, что высшие сферы Британии в панике, в том числе и недавно ставший военноморским министром Уинстон Черчилль, которого Гитлер имел достаточно оснований невзлюбить.

Первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль достаточно ясно представлял себе далеко идущие намерения нацистского диктатора и своей кипучей деятельностью заметно мешал ему склонить Уайтхолл к заключению мира с Германией. Правда, этот тучный непоседа не прочь был перенести театр военных действий на Восток... Это была его заветная цель, для достижения которой он отдал много времени и сил. Но он считал, что Гитлер слишком зарвался, слишком уклонился от обещанного крестового похода против большевиков и нагло обманул надежды тех, кто столь длительное время шел ему навстречу, делал уступки. Выданный Гитлером вексель «расширить жизненные пространства немцев за счет России» все еще оставался лишь векселем. Между тем потери англичан на море, в отличие от «странной войны» на территории Франции, изо дня в день росли и множились. Морского министра Соединенного Королевства такое положение не только бесило, но еще больше убеждало в том, что экспансионистские планы германского канцлера выходят далеко за пределы завоевания «жизненного пространства» на востоке...

Гитлер, однако, все еще считал, что тяжелое положение, в котором оказалась Британия, вынудит ее правителей пойти на компромисс.

— Англичане никогда не смогут воспрепятствовать осуществлению моих планов! — утверждал он в кругу своих

приближенных. — Всерьез воевать с нами для них равносильно самоубийству! Единственное их преимущество — островное положение метрополии — ничтожно само по себе и тем более по сравнению с нашим абсолютным превосходством во всем остальном, чем определяется исход вооруженной борьбы...

Гитлер метал гром и молнии в адрес британского кабинета министров и особенно Черчилля. И чем больше он разглагольствовал, тем сильнее распалялся, терял способность трезво оценивать действительность, окунался в область своих мечтаний, неизменно выдавая их за всесторонне продуманные и неуклонно выполняемые планы. Однако достаточно было gross-адмиралу Редеру в удобный момент короткой репликой напомнить, что уход британского флота в неизвестном направлении вызывает некоторые опасения за судьбу рейдирующих немецких кораблей, как Гитлер осекся. На его лице внезапно появилось выражение крайней озабоченности и тревоги.

— Как «Дейчланд»? — вырвалось у него. — Где он?

— Прибыл благополучно, мой фюрер! — ответил gross-адмирал Редер. — Вчера.

— Надо будет его переименовать... Англичане могут подложить нам свинью, и это повлияет на престиж не только нашего флота, но и всего рейха...

«Карманный» линкор «Дейчланд», вернувшийся накануне из рейда в Атлантический океан, где потопил два английских судна, был переименован в «Лютцов». Фюрер опасался неблагоприятного «морального эффекта» в случае потопления военного корабля с названием «Дейчланд».

Канарис созерцал суету фюрера внешне совершенно равнодушно, а в душе злорадствовал. Обращаясь к нему, Гитлер спросил:

— На Оркнейских островах у нас есть еще люди или тот агент был единственным? В данной ситуации нам необходима точная осведомленность!

Канарис медленно поднялся, неторопливо заглянул в свою достаточно потертую папку, хотя знал наизусть все ее содержание, затем спокойным тоном сообщил фюреру, что согласно дополнительно полученным сведениям, подводная лодка U-47 потопила в бухте Скапа-Флоу не крейсер «Рипалс», как об этом доложил Приен, а вспомогательное судно гидроавиации «Пегазус».

— Линейный крейсер «Рипалс», — с невозмутимым видом докладывал начальник абвера, — к сожалению, цел и невредим, продолжает конвоировать торговые суда. Ну, а

линкор «Ройял Оук», по уточненным данным, перевернулся и так стремительно пошел ко дну, что безвозвратно увлек за собой семьсот восемьдесят шесть матросов и офицеров, в том числе командующего второй эскадрой линкоров контр-адмирала Блэгрова... Что касается перебазирования кораблей из Скапа-Флоу, — наконец-то по существу заданного ему вопроса ответил Канарис и, взглянув на часы, продолжил: — информация об этом, вероятно, уже поступила в абвер и расшифровывается в нашем...

— Узнайте, пожалуйста, — нетерпеливо прервал Гитлер. — Пусть ее немедленно доставят сюда...

Канарис закрыл папку и направился в дальний угол кабинета, к телефонным аппаратам. Когда он вернулся к большому столу, за которым сидели фюрер и его приближенные, там уже лежала огромная карта.

— Разрешите доложить? — спросил Канарис в ответ на устремленный на него вопросительный взгляд фюрера.

— Да, пожалуйста. Поступили сведения?

— Поступили.

Адмирал зачитал лаконичную депешу, состоящую из перечня названий проливов и бухт, используемых англичанами в качестве временных баз для кораблей военно-морского флота.

Тотчас же в районы заливов Лосх-Эвве, Фёрт-оф-форт, Фёрт-оф-Кленд и других, перечисленных в депеше, была отправлена разведывательная авиация для проверки данных абвера. Начальник главного имперского Управления безопасности все еще не терял надежды уличить абвер. Гейдрих не верил, что Канарису удалось так быстро получить исчерпывающие сведения, о которых он докладывал фюреру.

На сей раз англичане встретили немецкие самолеты должным образом. Немногие уцелевшие экипажи доставили фото пленки, подтверждавшие большую часть абверовской информации.

Вопреки стараниям начальника главного имперского Управления безопасности и кое-кого из его сторонников, седой и смуглолицый адмирал без флота сумел настолько укрепить свое положение в среде национал-социалистской верхушки, что под словом «абвер» теперь стал подразумеваться Канарис, а под Канарисом — абвер...

Фюрер очень высоко оценил работу абвера и особенно его главы.

Покидая имперскую канцелярию вместе с рейхсфюрером СС Гиммлером, стройный лощеный обергруппенфюрер СС Гейдрих задумчиво произнес:

— Кто-то сказал, что ложь наиболее действенна в начале... Сегодня я убедился, что она гораздо эффективнее, если удается в конце!..

— Однако, — после некоторого раздумья ответил Гиммлер, — сегодня еще не конец... Нет, нет. Он впереди!

Гейдрих опустил глаза. На его бледных скулах задвигались желваки.

— И это верно! Но я что-то не пойму: либо интуиция меня подводит, либо с некоторых пор в божьем раю стали приислуживать черти?!

Гиммлер остановился. Ледяной взгляд его застыл за стеклышками пенсне; прищурив свои маленькие глазки, он после короткой паузы многозначительно ответил:

— Нет, мой Рейнгардт... Вы, очевидно, хотели сказать, что в аду начали прислуживать «святые»? Или я вас не так понял?

17

Хаим и Ойя поселились в помещении, которое Ионасы, как и сам владелец дома Симон Соломонзон, почему-то называли флигелем, а соседи-собра не без основания окрестили временкой. В этом небольшом квадратном строении в глубине двора, сложенном из крупного белого камня в незапамятные времена, было единственное и узкое, как бойница, оконце, выложенный каменными плитами пол, стены, штукатуренные, видимо, еще при царе Соломоне, и черепичная крыша, которая одновременно служила и потолком. Строение скорей всего когда-то было летней кухней, а потом, судя по тошнотворному запаху, его длительное время использовали как склад для козых и овечьих шкур.

С приездом Ионасов в знойные дни Нуцина теща принимала здесь душ.

— Летом это же одно удовольствие! — призналась Хаиму старуха. — Вы знаете, какая жара тут бывает? Кошмар! Вода за два-три часа сама по себе нагревается... И главное, о водостоке думать не надо... Вы же видели, какие там трещины в полу?! Но это не так уж страшно...

Молодоженам пришлось основательно потрудиться, чтобы помещение стало мало-мальски пригодным для жилья. Они долго скребли и мыли пол, оттирали и обмазывали стены известью с песком, выносили груды мусора. Оба валились с ног от усталости, но не роптали. Ойя все принимала как должное, а Хаим прекрасно понимал, что немало семей с детьми, не говоря уже об иммигрантах, были бы счастливы получить и такое жилье, за которое, кстати, Симон Соломонзон уже установил арендную плату.

— Дружба дружбой, а денежкам — счет, — оправдывая эту поспешность, заметил Нуци. — И если ты думаешь, что мы с Эттилей не платим за нашу конуру столько, сколько не стоит весь этот дом, так ты глубоко ошибаешься, Хай-молэ!

Молодая пара постепенно обживала свои «хоромы». Появились примитивные, на удивление аккуратно сделанные самим Хаимом полочки и вешалки, заменившие новоселам и стол, и шкаф, и буфет. А вместо обещанных Нуци Ионасом, но так и не привезенных циновок пол застелили картоном упаковочных коробок с яркой маркировкой благотворительного общества «Джойнт», которых во флигеле оказалось куда больше, чем в маленькой прихожей квартиры Ионасов.

Вскоре Хаима вызвали к Симону Соломонзону. На этот раз обошлось без уговоров. Тонем, не терпящим возражений, Симон велел Хаиму приступить к работе в Экспортно-импортном бюро.

— Тридцать пять шиллингов в неделю, — сказал он. — Дальше будет видно. Все зависит от вас, хавэр Волдитер. Не понравится? Скажете.

Хаим был счастлив. Такое быстрое поступление на службу было настолько необычным явлением, что прослышавшие об этом соседи по дому стали поговаривать, будто холуц из Бессарабии — дальний родственник некоего очень влиятельного человека в Эрец-Исраэле... «Не успел приехать, как ему уже все подают чуть ли не в постель!» — нашептывали завистники.

— Чему удивляться? — с апломбом отвечала Нуцина теща любопытствующим кумушкам. — Это же сделал не кто-нибудь, а Симон Соломонзон! Спросите лучше: чего не может этот человек?! Ему стоит только захотеть... Вы знаете, кто его отец? Я уже не говорю, кто брат его матери!.. Но не мешало бы всем им быть такими здоровыми, чтобы половина их богатств утекла к врачам... Такие они хорошие!..

В ночь перед выходом на работу Хаим не сомкнул глаз: предстояла работа, о которой он имел весьма смутное представление. Однако волнения Хаима оказались напрасными. Как выяснилось, для начала его обязанности сводились к выполнению несложных поручений, связанных с оформлением приема и отправки грузов. Правда, поручений этих было так много, что весь день он, как челнок, сновал то с кипой фрахтовых договоров от весовщика к товарному кассиру, то с пачкой накладных от пакгауза к погрузочной платформе, чтобы проследить за погрузкой или разгрузкой. К товарным операциям в порту Хаим не имел отношения. Там

работать было куда сложнее. Порт в Тель-Авиве всего года три, как был основан, и большая часть грузов шла через порты в Хайфе и Яффе. За этим участком были закреплены люди более опытные и, о чем еще не догадывался Хаим, пользующиеся особым доверием Соломонсона и его непосредственных помощников. В частности, правой рукой его был там Нуци Ионас.

Хаим работал и не жаловался. Привыкал.

Задолго до наступления темноты Ойя на остановке дожидалась возвращения Хаима. Радости не было границ, когда он, сойдя с автобуса, вручил ей полученные вперед за неделю шиллинги и пиастры. Тотчас же они побежали в лавчонку, купили два пышных калача плетеного белого хлеба, коробку сахара и почти целый круг обернутой в серебристую фольгу колбасы, которую прежде не раз с вожделением созерцали на витринах магазинов.

— Скажите, пожалуйста, какие богачи объявились! — не преминула заметить Нуцина теща, разглядывая в руках Ойи кружок колбасы. — А на что будете жить потом? У нас ее кушает только Нуцилэ. Вы это знаете?!

Потекли дни за днями трудовой жизни. Хаим возвращался изрядно уставшим, и, быть может, поэтому молодая чета редко выходила за пределы своей хижины. Жили они скромно, старались быть незаметными. Всеми своими помыслами Ойя была устремлена к одной цели — самоотверженно заботиться о любимом супруге. Ей доставляло неизъяснимое счастье на виду у соседей каждое утро провожать его до автобусной остановки, нести сверток с завтраком и только с прибитием автобуса вручать его Хаиму. Изредка случалось, что Хаим уезжал вместе с Нуци на машине. Тогда Ойя стояла у ворот, пока автомобиль не скрывался из виду.

Однако это бывало не часто. Нуци Ионас обычно уезжал из дома намного позже Хаима и часто возвращался под утро. Он не посвящал Хаима в свои дела, но изредка давал понять, что поглощен выполнением каких-то «весьма важных» поручений. «Не всякому, наверное, надо о них знать!» — размышлял Хаим, не обижаясь на Нуци.

Ионас каждый вечер наведывался в дом Симона Соломонсона, часто подолгу засиживался и в этих случаях возвращался к себе домой в автомобиле патрона.

Исключением бывала пятница. В этот день он приезжал с работы раньше Хаима, а иной раз вместе с ним. И всякий раз их встречала ожидающая у калитки Ойя.

Однажды, когда Нуци вернулся домой поздно ночью, он постучал в дверь флигелечка.

— Кто там? — спросил Хаим.

— Слушай, Хаим! — произнес Нуци Ионас. — Ты знаешь, что твою жену вызывают в миштору?¹¹⁹

— Впервые слышу, — спокойно ответил Хаим, хотя душа у него тотчас же ушла в пятки. — А зачем она им понадобилась, как ты думаешь?

— Понятия не имею! Мне только что сказала об этом наша мама. Говорит, звала тебя, когда ты проходил мимо наших окон, но ты даже не нашел нужным остановиться...

Хаим прервал друга:

— Ничего подобного не было, Нуцик!

— Не в этом сейчас дело... Днем приходил оттуда человек, пытался поговорить с Ойей. Ничего, конечно, не вышло. Потом расспрашивал нашу маму, откуда прибыла твоя благоверная, кто она, зачем да почему... Отчего бы это вдруг?

Хаим пожал плечами, сказал, что совершенно не представляет, зачем и для чего она им понадобилась... Но это была неправда. Все дни с момента вступления на «обетованную землю» Хаим постоянно терзался предчувствием грядущих неприятностей. Основания у него были: своего «благодетеля» Бен-Циона Хагеру он достаточно хорошо узнал и был уверен, что раввин постарается разузнать, с кем и куда исчезла гречанка, и тогда им не сдобровать — реббе не прощал обид.

На следующий день рано утром, когда соседи еще спали, Хаим и Ойя вышли из дома. Они сели в маленький прокуренный автобус, заполненный почти одними феллахами, ехавшими из поселка Петах-Тиква в Тель-Авив.

Ойя была в полном неведении о случившемся. Привыкнув с детства к неожиданным для нее несчастьям, она настрожилась, но ничем не выдавала возраставшую тревогу. Сидя рядом с Хаимом, она сквозь давно не мытые стекла автобуса рассеянно рассматривала проплывавшие мимо неясные очертания угрюмых строений и еще редких в этот ранний час прохожих.

Было пасмурно. Заметно похолодало. Дул порывистый ветер. По обеим сторонам дороги тянулся мрачный палестинский пейзаж с желто-серыми каменистыми холмами и заброшенными карьерами, напоминавшими остатки древних храмов. Местами вплотную к шоссе подходили зеленоватые оливковые и финиковые рощи.

Перед самым Тель-Авивом по крыше и стеклам автобуса

¹¹⁹ Полицейский участок.

забарабанили крупные капли дождя. Он хлынул сразу, будто где-то наверху открыли огромный шлюз.

Феллахи тотчас же перестали курить, благочинно заборотали молитву. Один из них с изборожденным глубокими морщинами лицом и узким кольцом на голове, которое прижимало опускающуюся фартуком с трех сторон черную накидку, стал о чем-то назидательно говорить притихшим соплеменникам, и когда он замолчал, феллахи все разом загалдели.

Хаим делал вид, будто с интересом прислушивается к разговорам арабов и понимает, о чем они толкуют, с притворным любопытством разглядывал их причудливые черные, длинные до пят балахоны, высокие и узкие, как глиняный сосуд, чужалы из грубого домотканого холста, набитые доверху сельским товаром, который они, очевидно, везли в город на продажу и от которого несло неприятным для горожанина запахом верблюжьего навоза и козлятины.

Однако напускное спокойствие Хаима не могло обмануть Ойю. Она внимательно всматривалась ему в глаза, силясь понять, отчего он вдруг ни с того, ни с сего взял ее с собой в город.

Под проливным дождем добежали они от автобусной остановки до мрачного здания мишторы. Уже не в силах таить друг от друга тревогу, понурившись и едва дыша, ступили в темный вестибюль здания с высокими, как в храме, потолками и уныло-серыми стенами.

Более четырех часов Хаим и Ойя ожидали вызова. За это время в вестибюле набралось много людей. Одни из них были настроены воинственно и не скупились на самые изощренные проклятия в адрес местных властей, другие, как Хаим, были подавлены и либо безучастно, молча взирали на окружающих, либо изливали душу, рассказывая о своих злоключениях.

Наступило и прошло время обеденного перерыва. Снова начался прием. А Ойю все еще не вызывали. И Хаим с надеждой подумал, что произошла ошибка: просто что-то перепутала теща Нуци. И он успокоился. Его состояние сразу передалось Ойе: она улыбнулась ему своими темными, всегда печальными глазами.

Когда в вестибюль вошел полицейский, Хаим не обратил на него внимания. Лишь грозный окрик: «Кто здесь Волдистер?...» — заставил больно сжаться его сердце.

— Сюда проходите... Да поживее! — рявкнул полицейский, указывая на одну из дверей.

Робко вошли Хаим и Ойя в просторную комнату, разде-

ленную перегородкой из плетеной в сетку проволоки. Тотчас же к ним подошли два полицейских и, не сказав ни слова, грубо учинили поверхностный обыск, поставив обоих поодаль друг от друга спиной к стене.

— К стене не прикасаться! И не переговариваться! — предупредил на иврите сорванным от крика голосом один из полицейских.

Обескураженные неожиданно суровым приемом, Хаим и Ойя стояли мертвенно-бледные, с трепетом думая о том, что их ожидает.

За перегородкой появился высокий человек в идеально отутюженном мундире. Прямой, как палка, он неторопливым, размеренным шагом подошел к столу, стоявшему возле квадратного оконца, прорезанного в перегородке, и медленно опустился на стул. Его вытянутое лицо с маленькими, глубоко посаженными холодными глазами и с прилизанными на продолговатом черепе жидкими прядями седеющих волос выражало полное равнодушие ко всему окружающему. Это был чиновник Верховного комиссариата Соединенного Королевства, осуществлявшего в Палестине функции мандатного администратора в смешанном англо-арабо-еврейском правлении. Ни на кого не глядя и неизвестно к кому обращаясь, невыразительным голосом он что-то спросил по-английски.

Стоявший рядом с Ойей полицейский ткнул ее кулаком в бок.

— Тебя спрашивают! По-английски говоришь? — перевел на иврит полицейский. — Отвечай!

Но за Ойю ответил Хаим. Он объяснил, что эта женщина — его жена и что она глухонемая. Впервые он выдал из себя это слово и сокрушенно добавил: — Совершенно, от рождения...

— Это обстоятельство, — процедил англичанин, поняв, что сказал Хаим, — меня меньше всего интересует. Чтобы поселиться на территории, находящейся под юрисдикцией Британской империи, необходимо иметь документ, дающий на это право... — монотонно отчеканил он заученную фразу. — Кто не обладает таким документом, тот подлежит высылке туда, откуда прибыл. Кроме того, поселение на данной территории без соответствующего разрешения, по законам империи его величества, распространяющимся и на подмандатную территорию Палестины, карается тюремным заключением!

Хаим обомлел. Волнуясь, он стал сбивчиво объяснять англичанину, что жена прибыла вместе с ним на неизвестном

«трансатлантике» и что во время суматохи на том судне она потеряла все документы...

Англичанин окинул недобрым взглядом своих посетителей, и на его зеленоватом лице мелькнула презрительная ухмылка. Без слов Хаиму стало понятно, что легенды подобного рода не новость для англичан.

— Холуц? — спросил чиновник, испытующе глядя на Хаима.

— Да! — радостно подтвердил Хаим, но, уловив на лице англичанина презрительную улыбку, почувствовал, что признание его возымело отрицательный эффект. И он поспешил добавить: — Но я долго болел... От холуцев отстал. Тиф у меня был... Если бы не моя жена, я давно бы сгнил на Кипре... Это точно! Я вам клянусь! Вот единственное, что у нас сохранилось, робко сказал Хаим, просунув в квадратное отверстие перегородки шифс-карту и сертификат. — Посмотрите, пожалуйста!

Холодным взглядом чиновник пробежал первые несколько строк, затем небрежно швырнул бумагу обратно Хаиму.

— Слушай, парень! — насмешливо произнес англичанин. — Не надейся, что я глупее тебя, если не хочешь, чтобы твою немую или глухую сегодня же отправили с первым пароходом на Кипр... Я сказал тебе: нужен документ на ее имя, а не на твое! Ты-то, надеюсь, не глухой? Удивительно, как это ты тоже не догадался прикинуться глухим или немым?

Трясущимися руками Хаим снова просунул в оконце шифс-карту, указывал при этом на то место, где стояла большая овальная печать.

— Вот тут, пожалуйста, посмотрите, сэр! — умоляюще проговорил он. — Вот тут, где стоит печать с короной... Это в вашем консульстве на Кипре поставили... Можете проверить! Видите, сэр, здесь?!

То, что рыжеватый парень с обсыпанным веснушками лицом мучительно пытался что-то доказать и чуть не плакал, англичанина не трогало. Он не был сентиментален. К тому же он был свидетелем и истерик, и припадков эпилепсии, и обмороков, и в конце концов это чаще всего оказывалось симуляцией ради достижения определенной цели. Ему все это надоело. И особенно холуцы, эти фанатики-националисты. Англичанин был убежден, что они опасны для британской короны, и потому слушал Хаима рассеянно. Он достал из кармашка часы, открыл крышку: до конца службы оставалось полчаса. Холодно взглянув на Хаима, он скользнул глазами по шифс-карте, которую Хаим все еще просовывал в окошко.

и вдруг резко потянул к себе документ, наморщив лоб, стал в нем что-то разглядывать, потом потребовал сертификат и, не сказав ни слова, с озабоченным видом вышел.

Потянулись мучительные минуты ожидания. Подавленный и жалкий, Хаим с опаской посмотрел на блюстителей порядка, равнодушно созерцавших его трагедию, и, заметив на груди одного из полицейских шестиугольную звезду, пришел в отчаяние: мелькнула мысль, что эти безумцы могут разлучить его с любимой! От одной этой мысли его затрясло. Не сводившая с него глаз Ойя опрометью кинулась к нему. Но полицейские рывком отбросили ее к стене.

Хаиму казалось, что он последний раз видит свою жену. Он знал: ему не пережить разлуку. Одному, без родного человека, в чужой стране!.. Кому он нужен? Нуцику, Соломонзону? Кто заступится за него, за Ойю? Нет такого человека здесь, в Палестине, на «земле обетованной». Один среди чужих, непонятных ему людей. Там, дома, было бы все иначе... Там были друзья! Разве бросил бы их, Хаима и Ойю, например, Илюшка Томов? Да никогда в жизни! Хаим не заметил, как за перегородкой бесшумно появился англичанин и, сев за столик, стал что-то списывать с шифс-карты. Полицейский толкнул Хаима в бок, и тот увидел свои документы в протянутой густо заросшей рыжеватыми волосами руке англичанина, услышал равнодушно произнесенные совсем неожиданные слова:

— Можете идти. Вы свободны...

Через минуту Хаим и Ойя, еще не задумываясь над причиной всего случившегося, сияющие от радости, бежали к автобусной остановке под проливным дождем. Подгоняемые сильным ветром, они шлепали по грязи и глубоким лужам. Им хотелось как можно скорее уйти от мишторы, от страшных своим равнодушием людей, которые сидели там, за ее стенами.

В какой уже раз за сравнительно короткий отрезок времени они ощущали неопределимую и мудрую заботу о них доброй тети Бети. Это ведь она, умудренная жизненным опытом труженица, сумела вписать гречанку к шифс-карту Хаима. Чуяло сердце старой фельдшерицы, что не так-то легко все устраивается на белом свете, как иной раз кажется молодым людям, если даже они едут на «обетованную землю»...

Хаим вспомнил, что заподозрил было в мстительности Бен-Циона Хагеру, и теперь от души радовался тому, что ошибся. «Ведь и у него есть дочери! — думал он. — Да и реббе же он все-таки...»

Насквозь промокшие, голодные, озябшие, но счастливые

вернулись они в свою холодную и сырую временку. Ойя сразу принялась разжигать керосинку, а Хаим решил зайти к Ионасам и рассказать о результатах поездки в миштору. Не хотелось ему, чтобы там бог весть что подумали о них...

— Тише! — открыв ему дверь, зашипела Нуцина теща. — Вы разве не слышите, Эттилэ дает урок...

Хаим извинился и в двух словах рассказал о поездке в миштору. Однако его радостная весть старуху не обрадовала, вроде бы даже огорчила. Хаима это поразило. В замешательстве он еще раз извинился за беспокойство и попятился к выходу. Однако старуха его остановила.

— К вам зачем-то прибегала Моля... — сообщила она неодобрительным тоном. — Два раза и в такой дождь!

Хаим пожал плечами. Он не знал, о ком идет речь.

— Ну Моля, Моля! Вы Молю не знаете? — раздраженно прошептала старуха. — Эту «шхуну»¹²⁰? Кошмар!.. Спросите, кто ее не знает? Из Венгрии! Артистка...

Хаим вспомнил: как-то Нуци говорил ему, что в соседнем дворе живет семья из Венгрии: Моля была когда-то артисткой, ее муж — теперь очень больной человек — музыкантом. Их красивого мальчика лет десяти Хаим видел. Если человек прибегал в такой проливной дождь, значит, он нуждался в помощи, и Хаим пошел к Моле. Оказалось, что женщина приходила совсем с другой целью.

— На фабрике, где я работаю, освободилось место мотальщицы. Я подумала, может быть, ваша жена захочет поработать? — сочувственно сказала Моля. — Не блестяще, конечно, однако более подходящего ей поблизости не найти. Мы живем здесь четвертый год...

Хаим ничего определенного не ответил. Ему не верилось, что хрупкая Ойя справится с такой работой. Да и согласится ли она? Никогда прежде они не задумывались над тем, надо ли вообще Ойе устраиваться на работу.

К удивлению Хаима, Ойя с радостью согласилась на предложение Моли. Жить на один заработок Хаима было трудно: его едва хватало на питание и оплату жилья. Купили недавно керосинку, без которой не обойтись в хозяйстве, и пришлось несколько дней брать хлеб в долг, пить кофе без сахара, отказаться от молока... Конечно, Ойе хотелось приодеть Хаима и самой хоть немного приодеться, но, как она ни прикидывала, все получалось так, что нужную сумму придется копить годами.

Через несколько дней Ойя приступила к работе на фабри-

¹²⁰ Женщина легкого поведения.

ке, принадлежавшей фирме «Дельфинер». Тепло приняли ее давно работающие здесь женщины. Думая, что молодой, к тому же глухонемой работнице будет особенно трудно освоить новую для нее профессию, старались помочь, показать. Но Ойя быстро освоила несложную работу и выполняла ее технически правильно, чисто и без брака. Женщины-работницы полюбили Ойю, по достоинству оценив ее трудолюбие, сообразительность и необычайную проворность.

Однажды ей стало плохо. Никто не знал о причине. Свою беременность она скрыла от всех, даже от Хаима боясь, что он не разрешит ей больше работать на фабрике. Но приступы болезненного состояния стали повторяться, и тогда работницы дознались, что Ойя уже ходит на пятом месяце... Крутить ручную станок ей было теперь нелегко, а хозяин фабрики не соглашался перевести ее на более легкую работу. Он напрямик сказал хлопотавшим за Ойю работницам, что ему на фабрике требуется только мотальщица. Если трудно — пусть уходит. Однако за Ойю дружно заступились Моля и другие работницы, заявив хозяину, что, если тот не выполнит их просьбы, они пойдут работать к Заксу, владельцу другой маленькой фабрики, конкурировавшей с «Дельфинером».

Хозяин знал, что Закс давно пытается переманить к себе лучших работниц, и потому пошел на уступки: Ойя получила более легкую работу.

В течение всего дня она собирала в цехе освободившиеся от ниток катушки и относила их в отведенное помещение, подметала и убирала. Оплата труда была, естественно, гораздо меньше, но это не мешало Ойе относиться к новым обязанностям с присущим ей рвением.

С этой минуты, когда Хаим узнал, что у них с Ойей будет ребенок, он стал настаивать, чтобы она бросила работу, но Ойя упрямо покачивала головой, надув губы, обиженно, исподлобья смотрела на Хаима. С болью в душе Хаим уступал желанию любимой, надеясь, что не сегодня так завтра она сама почувствует и поймет необходимость расстаться с фабрикой. А Ойя, довольная своей маленькой победой, обнимала Хаима, щурила блестящие от счастья глаза.

Когда Нуцина теща узнала, что Ойя ждет ребенка, она подолгу ходила по комнате, причитая:

— Такое ничтожество, а скоро уже будет с большим брюхом, разорви его... Моя же бедная Эттилэ должна страдать... И какое образование мы ей дали, и музыку знает, и такая красивая! А как умеет себя вести! Или как рассуждает! Англичане от нее прямо-таки в восторге, когда слушают, как

она учит их девочку играть на пианино, а вот с ребенком — хоть режь, ничего у них не выходит... И Нуцилэ вроде бы ничего себе... Здоровенный парняга, кровь, можно сказать, с молоком! Самое лучшее, самое вкусное и полезное кушанье получает он... Во всяком случае, не то, что этот рыжий дохлятик! Тоже мне большой умник! Выбрал себе жену, собирается всю жизнь с ней прожить, чтобы ни разу словом с ней не обмолвиться... Такой идиот! Но ребенок у нее может быть нормальный, хотя... бог еще может сделать так, что у Эттилэ будет сладенький, как мед, ребеночек, а у немой такое, что не приведи господи...

Успокоенная упованием на божью справедливость, старуха подходила к открытому окну и, напряженно всматриваясь сквозь пелену сгущавшихся сумерек, наблюдала за жизнью обитателей временки, продолжая причитать:

— Мы еще увидим... Хотя говорят, что бога нет, но пока никто не доказал, что это так. Что-то все-таки должно быть?! И если в мишторе у рыжего дохлятика все обошлось с его немой красавицей, так и это еще тоже не все... Не-ет!..

18

Новогоднее утро в Болграде выдалось пасмурным, серым, как и повседневная жизнь людей этого провинциального городка на южной окраине Бессарабии, где на фасадах зданий примарий¹²¹ красовались желтые гербы с королевской короной, покоящейся на лапах пары тощих львов. Именно этот первый новогодний день представители властей, ревностно насаждавшие в Бессарабии так называемую румынизацию, ознаменовали постановлением, запрещающим разговаривать на языках национальных меньшинств, хотя эти «меньшинства» составляли большинство населения края.

Во всех учреждениях и торговых заведениях, в залах ожидания вокзалов и в салонах парикмахерских, в ресторанах и сапожных мастерских, в больницах и в автобусах появились картонные или металлические таблички с кратким, но выразительным текстом: «Говорите только по-румынски!» Однако это не означало, что нельзя разговаривать по-немецки. Запретным был в основном русский язык. Между тем восточная часть края была заселена преимущественно русскими и украинцами, болгарами и евреями, гагаузами и липованами. Эти люди жили здесь с давних времен, когда офи-

¹²¹ Городская управа, ратуша.

циальным языком был русский. Его они знали с детства, к нему привыкли, для многих он стал вторым родным языком. Но власти с этим не считались. «Говорите только по-румынски!» — нарушение этого постановления влекло за собой неприятности еще до появления табличек с такой надписью. Это почувствовали болгардцы, когда сам главный сыщик городской сигуранцы Статеску, услышав, как в общественной уборной шофер Лавриненко произнес несколько слов по-русски, тотчас же арестовал его и отправил под конвоем жандармов в уездную префектуру. В Измаиле сочли состав преступления перед строем его величества столь великим, что препроводили шофера этапом в Галац. А там порешили провести показательный процесс в трибунале!.. Без малого три месяца болгардцы из уст в уста передавали всяческие слухи о судьбе незадачливого шофера, пока не узнали, что «особый состав» военного трибунала, на основании глубокого раскаяния обвиняемого по поводу «совершенного им тягчайшего преступления», а также подписки, в которой он обязался впредь говорить только на языке «власть предержащих», освободил его... условно!

После этой истории на главного сыщика сигуранцы Статеску показывали пальцем и дрожали от страха даже дети. Однако он не унывал. С видом добродушного наивного человека раскланивался он со всеми встречными знакомыми, совал им свою вечно липкую потную руку, заводил с ними разговор и при этом делал свое полицейское дело, не забывая и о личных интересах. Арестовывая нарушителей закона о румынизации, сам Статеску, при встрече с глазу на глаз с лавочниками и торговцами, позволял себе вольность перекинуться несколькими заученными русскими или еврейскими словечками, а попутно, как бы между прочим, добывал у них нужную информацию.

С господином Гаснером — владельцем крупнейшего в городе мануфактурного магазина — у сыщика была давняя дружба: он избавлял его (конечно не безвозмездно) от придирок полиции по поводу торговли с черного хода по воскресным дням, иногда доверительно сообщал никому еще не известные новости, рассказывал пошленькие анекдоты. Мануфактурщик, в свою очередь, осведомлял блюстителя порядка о доходивших до него сплетнях и сделках верноподданных его величества короля и всячески старался на людях, особенно на глазах у полицейских, показывать, что с главным сыщиком сигуранцы он накоротке...

Вот и сегодня, в первый день нового года, Статеску намеревался доставить господину Гаснеру особое удовольствие...

Утром, как только проснулся, он посмотрел в окно: было пасмурно, по стеклам ползли капли оттаявшего снега, капало с сосулек, потемнели сугробы. Статеску поморщился, зябко зевнул. Оттепель была ему не по душе, наводила тоску, но, вспомнив о шифровке, полученной накануне от генеральной дирекции сигуранцы, он воспрял духом: «Забавный сюрпризик доставлю я сегодня брюхастому жиду... Хо-хо-о-о!»

За завтраком он пристально осмотрел сына: новый костюм из гаснеровского дарственного сукна, рубаха и галстук от благодарного галантерейщика, ботинки от признательного обувщика... Новогодние подношения воспринимались им как должное. Его радовало, что парень выглядит в обновках солиднее и взрослее, чем обычно. Статеску был доволен еще и тем, что типограф Рузичлер, у которого работал сынок, теперь не посмеет твердить ему, что у Томовой парень башковитый и из него получился бы наверняка отличный печатник, но укатил в Бухарест. «Вы же не дали взять его в типографию... — без обиняков говорил сыщику Рузичлер. — Но я не беспокоюсь за него... Пробьет себе путь в жизни! У него голова на плечах, а не тыква, как бывает у некоторых...»

Статеску понимал, на кого намекает типограф. Он знал, что владелец типографии называет его сына не Филей, а простофилей. Сыщик терпел: парню нравилась эта профессия, а типографий в городе больше не было. Но теперь, вспоминая все это, он ухмылялся, предвкушая, как будет огорчен и поражен Рузичлер, когда через услужливого Гаснера до него дойдет сногшибательная весть о его любимце Илье Томове.

В передней Статеску остановился у вешалки, оглядел свое новое темно-серое, подбитое тонкой овчиной пальто с добротным каракулевым воротником цвета сукна. Постоял в раздумье, из-за оттепели не решаясь надеть пальто... И тут он вспомнил, как недавно Гаснер, будто в шутку, спросил его, куда деваются все подарки? Не видны они на нем!.. «Так пускай брюхастый видит своими глазами, что получилось из его сукна... Заодно и хромой меховщик-болгарин успокоится, увидев воротник, а то, небось, думает, что его подарок я сплавил... Впрочем, — размышлял Статеску, — он прав... Накопившиеся подарки надо будет обменять на купюры. Деньги в банке надежнее вещей под нафталином! В один прекрасный день тут все может так загреметь, что будет не до сундуков с бахламом...»

Главный сыщик городской сигуранцы лучше, чем кто-либо другой, знал, насколько непрочно обстоят дела с румынизацией края. Раздумывая о делах личных и служебных, он вы-

шел из дома. Шел неторопливо, то и дело отвечая на приветствия и поздравления с Новым годом проезжавших на санях и проходивших мимо горожан. Одним он отвечивал легкий поклон, другим говорил лишь «спасибо» или «взаимно», но если встречался с людьми, от которых перепадали подарки, то останавливался и подобострастно пожимал им руки... Мало кому была приятна эта «процедура», но обстоятельства вынуждали быть с главным сыщиком сигуранцы в хороших отношениях и потому ему улыбались, говорили лестные слова, а отойдя, посылали вслед проклятия.

Статеску добрел до угла бульвара. Навстречу ему поспешил постовой полицейский Алексей Булгаров. Этот здоровяк один из первых среди местных жителей был удостоен новыми властями призыва в жандармерию. Демобилизовавшись, он вскоре стал ревностным служителем полиции. Подойдя к главному сыщику, он вычурно вывернул руку и взял под козырек.

— Здравья желаю, господин агент-шеф! С Новым годом вас!

Статеску лениво приподнял руку с согнутыми безымянным пальцем и мизинцем, слегка коснулся края заложенной «пирожком» котиковой шапки, улыбнулся и снисходительно ответил:

— Благодарствую, Алекс... Тебя тоже. Есть что-нибудь новенькое? Спокойно?

Понизив голос, полицейский доложил, что утранным поездом из Бухареста прибыл какой-то высокий молодой господин, которого встречал сынок Попа и увез его на отцовском автомобиле.

— Старик Попа в городе!? — удивился Статеску. — Что-то в последние дни его не видно было...

Статеску постоял в раздумьи, машинально отвечая на приветствия прохожих, потом, лениво приподняв руку и не дотянув указательный палец вершка на полтора до шапки, сказал:

— Я буду поблизости... Что касается «птички», прилетевшей в особняк Попа, то это не наше дело. Сегодня скорее надо ждать сюрприза от красных... Эти любят выкидывать «номера» в праздничные дни! Заметишь что-нибудь, дашь знать...

Статеску не спеша пошел по бульвару, снова заученно отвечая на приветствия. Еще издали глаза его засекли стоявшего напротив своего дома, у железной ограды бульвара, господина Гаснера. Мануфактурщик грыз тыквенные семечки.

Прохожие наблюдали, как сыщик сигуранцы и владелец самого крупного мануфактурного магазина долго трясли друг другу руки, обменивались новогодними поздравлениями и пожеланиями самого лучшего здоровья, самых хороших заработков, самого большого счастья и вообще во всем самых больших успехов.

Со свойственным сыщику любопытством он самым доброжелательным голосом спросил Гаснера, доволен ли он встречей Нового года? Провел ли он время в большой и приятной компании или оставался в семейном кругу?

— А-а... Просто вкусно покушали, — неопределенно ответил Гаснер. — И немного поиграли в карты...

— Хо! — обрадовался Статеску. — Крупно выиграли?

Мануфактурщик скорчил кислую гримасу и вместо ответа принялся выковыривать застрявшую в зубах скорлупу от семечек. Оттягивая ответ, он нарочито закашлялся и поэтому побагровел. Наконец, с плохо скрытым раздражением, Гаснер промолвил:

— В игре всегда кто-нибудь должен же проиграть! Я никогда не любил карты, но мне сказали, что счастье надо испытать... Не хотелось, но это все-таки Новый год! И я так испытал на свою голову! Вот и все...

— Понятно! — не унимался сыщик. — И много проиграли?

Гаснер снова соорудил неопределенную гримасу.

— В данном случае имеет значение не сумма денег, а сам факт!

— Не огорчайтесь, господин Гаснер! Пусть вас не беспокоит эта примета — проигрыш в ночь под Новый год... Наступающий год будет для вас на редкость удачным... У меня есть для вас более существенная примета!

— Более существенная? — настороженно переспросил Гаснер. — Если вы так считаете, то дай бог!

— Будет удачным год, господин Гаснер! — подмигнул Статеску и фамильярно толкнул локтем мануфактурщика. — И дай бог, чтобы вы получали весь год такие сюрпризы, какой я вам сейчас сообщу! Вы были очень проницательны, господин Гаснер! Сыночек Томовой все же угодил за решетку!..

По мере того, как сыщик рассказывал о подробностях этого события, румянец на лице Гаснера становился все ярче, глаза блестели от удовольствия. Арест Ильи Томова радовал в равной степени как торговца Гаснера, так и сыщика Статеску. Оба расположены были с наслаждением на все лады потолковать по поводу этого события, но донеслись два отрывочных свистка полицейского... Из-за угла показался

полицеймейстер. Статеску тотчас поспешил ему навстречу, даже не простившись с богачом.

Гаснер, обуреваемый радостью, метнулся домой. Жена удивилась. Всего полчаса назад придирался ко всему и ничем нельзя было ему угодить — и вдруг преобразился.

— Так ты еще скажешь когда-нибудь, что твой Гаснер ошибается? — улыбаясь и хихикая, заключил он свое сообщение о «сюрпризе», преподнесенном сыщиком Статеску. — Был разве в жизни случай, чтобы Гаснер оказался не прав?!

Жена мануфактурщика хлопала ресницами совиных глаз. Она была довольна, но не столько тем, что стряслось с босяком Томовым, недолгое время работавшим у них в магазине учеником, а при расчете подравшимся с мужем, сколько перемены настроения Гаснера.

— Пусть его сажают в тюрьму или не сажают, пусть с ним делают, что хотят, — мне от этого не жарко и не холодно!.. — заявила она. — Но я вижу, что от этого у тебя исправилось настроение? Уже хорошо! Хотя от того, что я делаю для тебя, тебе тоже не жарко и не холодно... Пусть так. Я же всегда у тебя на последнем месте!.. Ты же всегда прав! И говорю это не потому, что хочу тебе испортить настроение... Нет, боже упаси!

Жена мануфактурщика ни с того ни с сего заулыбалась и, словно вспомнив нечто очень важное, сокрушенно покачала головой.

Гаснер насторожился.

— Что-нибудь случилось? Говори уже, ну!

— Чтоб он окаменел, твой сыщик!

— Почему?! Что он тебе такого сделал?

— Мне ничего, но тебя обманул! Надул...

— Статеску? С чего ты взяла?

— Не с потолка. Да! Ты, мой дорогой, забыл, что сегодня первое января?!

— И что?

— А то, что в этот день люди говорят неправду?!

На мгновение Гаснер опешил. Вперив удивленный взгляд в свою снисходительно улыбающуюся супругу, он сокрушенно замотал головой и безнадежно сказал:

— Недаром говорят, что если бог хочет наказать человека, то дает ему в жены дуру... И это точно, как день ясный! Но за что, хотел бы я знать, наказал бог меня?! Понятия не имею... Так слушай уже сюда, моя набитая умница! Говорят неправду, обманывают и надувают — круглый год! Ты слышишь или нет?! Круглый год! Но шутят не первого января, а первого апреля!

Жена сконфуженно зажмурила глаза, щеки ее округлились, как свежие пончики; замахав руками, она от души рассмеялась:

— Ой! Да, да... Конечно, первого апреля, чтоб он окаменел, этот твой сыщик! Ты мне так заморочил голову своим проигрышем, что я все перепутала...

Не слушая её причитаний, Гаснер сбежал вниз по лестнице как ошпаренный, проклиная минуту, когда пожелал поделиться столь приятной новостью со своей «набитой умницей». Он вернулся к железной ограде бульвара и снова встал лицом к витринам своего магазина, увенчанного вдоль всего фасада дома огромной вывеской. Созерцание прогуливающихся горожан под яркой вывеской «Magazinul de manufactură I. Gasner» всегда успокаивало и ободряло его.

Со всего бульвара была видна эта надпись на вывеске. Мимо нее, точно муравьи, фланировали в ту и другую сторону болгардцы. Называлось это гуляньем. Большинство из них на ходу грызли семечки и едва ли не все в этот день пришли сюда ради того, чтобы выставить напоказ свою обновку, да и самих себя. Это стало традицией. Именно на бульваре фиксировалось, у кого новая шляпа или мерлушковая шапка, кто сшил новое пальто, а кто лишь перелицевал полшубок. На ходу определялось, какой фирмы галоши приобрел тот или иной обыватель — стоит ли там красный треугольник на подошве, «Треторн» или всего-навсего синий якорь и, стало быть, стоят они намного дешевле. По этому поводу находились любители держать пари, и нередко владельцу обновки приходилось задирать ногу, чтобы спорщики воочию убедились в принадлежности галош к той или иной фирме.

В городе почти все знали друг друга. Но не все при встрече спешили поздороваться первыми. Обладатели более высокого имущественного или образовательного ценза считали для себя такую поспешность унижительной. Если же случалось, что здоровались и останавливались, то разговор в конечном итоге касался обновок.

— Сукно купили у Гаснера?

— Это?! Что вы! Из Бухареста... Посмотрите внимательно, какой цвет?!

— Цвет очень приятный, но... говорят, он уже не в моде. Вот черный! Ну-у, тот никогда не выходит из моды... Проверенный!

Если же материал был черного цвета, то в устах завистника из «проверенного» он превращался в «наскучивший» и «избитый»...

Мнения расходились, одни утверждали одно, другие непременно обратное и, начав с новогодних поздравлений и наилучших пожеланий, встретившиеся нередко расходились с чувством обиды и огорчения.

На бульвар, носивший некогда название «Царя Николая», а теперь переименованный в «Бульвар Короля Фердинанда», стекались с семьями преимущественно приказчики магазинов, подмастерья портняжных мастерских и цирюлен, лавочники и мелкие торговцы, машинисты мельниц и электростанций, колбасники и часовщики. Обязательно побывать на бульваре, пусть ненадолго, — давно уже стало традицией обитателей небольшого захолустного города.

И Гаснер тоже по привычке стоял у железной ограды. Его знали все, и он был знаком чуть ли не с каждым. Ему жгуче хотелось, чтобы столь радостная для него новость, сообщенная сыщиком Статеску, как можно скорее стала достоянием всех жителей города. Для этого достаточно было рассказать о ней одному-другому гуляющему обывателю. Но Гаснер выжидал. Ему хотелось найти такого собеседника, с которым можно было бы посмаковать это событие, отвести душу. Увидев наконец в толпе гуляющих своего приказчика Кирилла, Гаснер помахал ему рукой.

Подвыпившему приказчику польстило, что сам хозяин первым поздоровался с ним. Он начал было поздравлять мануфактурщика с Новым годом, но тот оборвал его на полуслове.

— Слушай сюда, Кирюша! Ты помнишь, как года два назад я выгнал босяка Томова из своего магазина?

— Как же не помнить, хозяин!? Учеником он к вам ниялся... А до того отец его у вас приказчиком был...

— Так если ты, Кирюша, такой молодец, что все хорошо помнишь, то скажи, пожалуйста, что я тогда сказал, когда его выгнал?

Предвкушая желаемый и приятный ответ, Гаснер вытянул тонкую длинную шею, уперся руками в бока.

Приказчик замаялся, пытаясь припомнить, из-за чего произошла тогда драка и что говорил хозяин, получив от Томова оплеуху. Но как Кирилл ни напрягал память, ничего, кроме визгливого крика хозяина, звавшего на помощь полицейского, припомнить не мог.

— У тебя же светлая голова, Кирюша! Ну, вспомнил? — поторапливал мануфактурщик.

— Кажись, вспомнил, хозяин, — нерешительно начал было приказчик, недоумевая, на кой черт хозяину понадооби-

лось именно сейчас, в праздничный день, вспоминать, как ему дали по морде.

— Ну, Кирюша, так говори же! — понукал Гаснер. — Что ты молчишь?

— Вы тогда велели позвать полицейского, потому что Томовшибко вдарил вам по лицу и вы, кажись, даже упали...

Гаснер сморщился, словно вновь получил пощечину.

— А-а... Не то, Кирюшка! О чем ты?! — перебил он приказчика, а про себя подумал: «Болван! Фонька¹²² остается фонькой... Ничтожество! Завтра же выгоню его, и будет бегать, как бездомная собака по всему городу...»

Гаснер вспомнил, как тогда горожане потешались над ним, судачили промеж себя на все лады. Одни говорили, что Илюшка Томов «дал мануфактурщику в зубы», другие — «смазал по физиономии», третьи — еще более оскорбительно... Гаснер ходил сам не свой.

«И вот теперь, пожалуйста, — размышлял Гаснер, — в новогодний день собственный приказчик, вместо того, чтобы вспомнить пророческие слова своего хозяина, опять твердит, будто босьяк Томов «вдарил» меня по лицу! И не по лицу вовсе, а просто по уху!»

Раздраженный, но не потерявший самообладания мануфактурщик переспросил:

— Неужели ты забыл, Кирюша, что говорил твой хозяин? Я же тогда при всех в магазине сказал, что рано или поздно босьяк Томов кончит острогом!

— Ага, верно, хозяин! Верно! — обрадовался приказчик. — Вы тогда так и сказали — острогом кончит...

— Ну, так ты, может быть, думаешь, что твой хозяин был не прав тогда?

— Что вы, хозяин?!

— Так вот, Кирюшка, — доверительно произнес Гаснер. — Только что ко мне специально приходил Статеску. Ты знаешь, кто это?

— Как же, хозяин! В полиции сыщиком служит.

Кирилл вспомнил, как Гаснер чертыхался всякий раз, когда посылал подарки на дом Статеску и, желая угодить хозяину, скороговоркой добавил:

— Низенький такой, пухлый, как жаба... Кто ж не знает этого легавого...

Гаснера удивил неуважительный отзыв приказчика о представителе власти.

¹²² Оскорбительное прозвище неевреев.

— Так нельзя говорить, Кирюша! — сердито оборвал он приказчика. — Во-первых, Статеску — это власть! И так отзываться о власти все равно, что плевать против ветра... Во-вторых, пусть он пухлый и похож на жабу, но человек он не плохой для хороших людей... Благодаря ему в городе порядок, а мы иногда можем по воскресеньям торговать через заднюю дверь!.. Так вот, знаешь, что он сообщил мне? Босьяк Томов, которого я выгнал из магазина, уже сидит в катажке!

— Да ну?! Зацапали? — с нарочитым удивлением переспросил приказчик.

— Сидит прочно! А знаешь почему? Этот босьяк хотел не меньше не больше как взорвать дворец его величества!

— Вот это да! Теперь ему крышка...

— Так прав я был или нет? А? Только об этом, Кирюшка, пока никому ни слова... Ша!

Не прошло и часа, как об этой сенсационной новости «по секрету» узнали все гуляющие на бульваре, и, конечно же, нашлось немало людей, оказавшихся осведомленными до мельчайших подробностей, связанных с арестом Ильи Томова. «Заточен в тюрьму за попытку в самый канун рождества взорвать собор!» — уверял один, и тут же другой дополнял: «Как раз тогда, когда там должна была находиться королевская семья, патриарх, министры и дипломатический корпус!»

В таком именно виде вернулась к Гаснеру им же пущенная смесь правды и лжи. Сияя от удовольствия, он поспешил в кофейню «Венеция», так как не сомневался, что и там уже комментируют эту «страшную новость». Он не ошибся. Не успевший протрезвиться после новогоднего бала официант ресторана «Монте-Карло» уверял окруживших его людей, что видел в газете фотографию понуро шагающего Ильи Томова в сопровождении вооруженных карабинами жандармов.

— Крест святой! — уверял официант. — Своими глазами видел!

— В какой газете?

— Шут ее знает! Не то в «Тимпул», не то в «Курентул»... Я-то Илью Томова знаю как облупленного! Соседом моим был. Мать его и сейчас живет там со своим стариком-отцом. Тот тоже был отъявленный бунтарь, поди десятка полтора лет на каторге отбарабанил за Татарбунары...

Гаснер чувствовал себя именинником. То и дело к нему обращались завсегдатаи кофейни «Венеция»:

— Ну и фрукт же, видать, был ваш ученик!

— Хорош был у вас ученик, господин Гаснер! И кто это надуумил вас взять его к себе в магазин?

— Взял я его сам, я же первый и выставил его! — торжественно ответил мануфактурщик. — А кто, как не я, сказал тогда же, что он кончит острогом?!

— Говорят, он бомбу хотел бросить? — спросил кто-то. — И где он мог ее взять? Бомбы же не продаются в магазинах, пусть даже в Бухаресте?!

— Где он ее взял — не главное! Главное то, куда босяк хотел ее бросить! Бомбу, между прочим, можно бросить и в сортир... Ну, а вы подумали, куда потом он должен был бежать? Или вы считаете, что босяк пошел учиться на авиатора, чтобы верой и правдой служить его величеству королю?!

— Ай-ай-ай! Неужели он-таки хотел перемахнуть через Днестр, к большевикам? — удивлялся собеседник. — Подумать только, что творится на свете!..

— Ну, так пусть теперь попробуют позубоскалить, паршивцы! — не вытерпел Гаснер. — Еще два года назад каждый тут орал, как ему вздумается: «треснул», «съездил», «отбрил»... Негодяи!

Гаснер стремительно покинул кофейню, всем своим видом показывая пренебрежение к его посетителям. Он считал их причастными к издевке над собой. Именно в «Венеции» тогда больше всего ему досаждали.

На улице Гаснера окружили ребятишки и запели поздравительную песенку: «Сеем, веем, засеваем, с Новым годом поздравляем!.. На многие лета, аминь!»

Мануфактурщик добродушно улыбался и важно запуская два пальца в узкий кармашек жилетки, где заранее были приготовлены мелкие монеты. Не торопясь, чтобы видели прохожие, он раздавал каждому по одной лее. Но, заметив, что с другой стороны бульвара приближается новая большая ватага ребятишек, Гаснер поспешил к дому.

Проходя двором своего дома, он вспомнил, что не запер калитку. Вернулся. И только успел задвинуть засов, как кто-то попытался открыть калитку. Гаснер заглянул в щель между досками. По ту сторону стоял пожарник в начищенной до зеркального блеска латунной каске. Пока Гаснер выжидал, надеясь, что пожарник уйдет, к нему подоспел барабанщик примарии, зычным голосом повседневно извещавший население об указах и постановлениях властей. Оба были навеселе.

— Стучусь тут целый час! Не отворяют, гады! — произ-

нес пожарник. — Известно, все богачи таковские... Они пожара не боятся... Все у них застраховано, гады!

Барабанщик заступился:

— Брось болтать... Господин Гаснер, хоть и жид, но у примаря¹²³ в большом почете! Понял? Это тебе не помещик Раевский... Тот хоть и нашенский, христианин, а как был всю жизнь сукой, так и остался... Псов своих чабанских, ростом с теленка, спустил с цепей — попробуй сунься... Шиш! Понял? А сюда мы еще заглянем послае...

Через щелку в доске калитки Гаснер видел, как, взявшись под руку, пожарник и барабанщик, покачиваясь и спотыкаясь, побрели в соседний двор. Выждав минуту, он осторожно выглянул в калитку и энергично зашагал к бульвару. У самого конца бульвара он встретил типографа Рузичлера с супругой.

— О, мое почтение! Что это вы так рано уходите? — спросил Гаснер. — Погуляли бы еще!

— Зуб разболелся, — сухо ответил типограф, желая поскорее отделаться от назойливого богача.

— Зуб? — недоверчиво переспросил Гаснер. — Что это вдруг? Сладкого, наверное, много кушаете?!

— И сладкое, конечно, кушаем... Чтобы жизнь не казалась такой горькой...

Гаснеру непременно хотелось поговорить с типографом и, разумеется, позлить его. Ведь в свое время именно Рузичлер, больше чем кто-либо другой, подтрунивал над ним по поводу инцидента с Томовым.

— Э, зуб — не беда! Главное, чтобы шрифт не залеживался без дела! Не так ли?

— А он, представьте себе, и так крутится как белка в колесе! Не жалуюсь. Помаленьку, слава богу, печатаем...

— Деньги?!

Типограф посмотрел мануфактурщику в глаза. Он понимал, что именно не дает покоя богачу. И Рузичлер ответил ему в тон:

— Вы спросили, печатаю ли я деньги, и думаете, что стану отрицать... Так я сразу вас заверю, господин Гаснер, что я таки-да печатаю деньги! Причем, в самых крупных купюрах... Теперь вы довольны? Или это вас тоже не устраивает?

— Почему «не устраивает?» Вполне! А вот устраивает ли вас то, что тот босяк, которого я выгнал из магазина, а вы хотели его пригреть, взять к себе в типографию, и крича-

¹²³ Глава городской управы (рум.).

ли на весь город, будто из него выйдет необыкновенный печатник, теперь, к вашему сведению, сидит за решеткой!.. Причем, сидит прочно и надолго!.. Или вы ничего не знаете и ничего не слышали, о чем говорят люди?

Рузичлер пожал плечами, словно в самом деле слышит об этом впервые. Жена потянула его за рукав. Не хотелось ей, чтобы муж ввязался в разговор с богачом. Боялась. Это она накануне вечером ходила к Томовым, отнесла им двести лей. «Деньги небольшие, но без них еще хуже... — сказал Рузичлер жене, когда узнал, что полиция запретила Томовой держать у себя на квартире гимназистов. — Это ведь у них единственный источник существования... А у тебя лежат деньги, отложенные на пальто...»

— Вы не слышали?! — не унимался Гаснер. — Странно! Весь город об этом только и говорит, а вы не слышали... Кстати, когда господин Статеску рассказывал мне некоторые подробности об аресте этого босняка, то упомянул и вас... Да. Он сказал, что если бы вы действительно сделали из него печатника, — посмеиваясь, продолжал Гаснер, — то этот босьяк печатал бы прокламации, и вам сейчас было бы весело... Во всяком случае, было бы не до печатания денег и тем более в крупных купюрах!

Типограф укоризненно посмотрел на мануфактурщика и неторопливо ответил:

— Я вас хорошо понял. Вы только для того и остановили нас, чтобы рассказать такую приятную новость... Но должен вас огорчить: я не из пугливых! Нет. Можете доложить об этом своему приятелю господину Статеску...

— Могу сделать вам такое одолжение, если вы сами просите меня об этом! — подхватил Гаснер и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, добавил: — Но-о... с сигуранцей государства его величества все-таки здоровее для тела не иметь дела... Тем более, что у вас не магазин, не лавка и даже не шинок, а типография, где приходится иметь дело с казенными заказами!.. Или вы забыли об этом?

Рузичлер освободил руку, за которую его то и дело держала жена, шагнул вплотную к мануфактурщику, притянул его к себе за пуговицу и внятно прошептал ему на ухо:

— Плевал я на их заказы и вообще на все!.. Поняли? А сыщику скажите, чтобы он поцеловал вас, и с таким же успехом сами можете его поцеловать, а потом уже вместе меня... И знаете, куда?..

Рузичлер вернулся к жене, схватил ее под руку и, не оборачиваясь, поспешил к выходу с бульвара.

— Не связывайся с ним, умоляю тебя! — начала жена

отчитывать мужа. — Хватит с тебя того, что делаешь... Давай лучше подумаем, как помочь Томовым. Это важнее! Хочешь, я отнесу им сотню или даже две сотни лей?.. Все равно в эту зиму мне не накопить на пальто и тем более не успеть его сшить. А Гаснер пусть подавится своими миллионами и захлебнется от злости. Не надо связываться с ним. Ты же видишь, что за жизнь пошла?!

— Жизнь? — горько усмехнулся Рузичлер. — Какая власть — такая и жизнь... Однако если Томова на самом деле арестовали за связь с коммунистами, так я скажу тебе, что этот парень пошел трудной, но благородной дорогой.. Что касается мануфактурщика, так мне очень хочется посмотреть, как он будет выглядеть при Советах! Когда-нибудь они же должны вспомнить про нас... Край этот все-таки принадлежал России! А жизнь — колесо, вечного ничего нет. Даже с миллионами в кармане...

Рузичлеры подошли к перекрестку, и в то же мгновение до них донесся окрик:

— Ге-эпп-пэп!

От испуга супруги шарахнулись в сторону, он споткнулся, она поскользнулась и упала... Вихрем пронесся мимо них рысак под темно-зеленой попоной.

По другой стороне улицы, что также шла параллельно бульвару, катили санки, и то и дело раздавался звонкий окрик помещика Раевского:

— Гэ-эпп-пэп-пэп!

В городе была только одна сторона и только одной улицы, протянувшейся от самой Инзовской вплоть до бульвара, достойная называться тротуаром. Вдоль этого широкого, замощенного доброкачественным кирпичом «проспекта», как его называли болгарцы, располагались дома помещика Раевского. Среди них выделялось массивное здание с двумя мраморными львами у парадного подъезда.

Добрую половину этого владения помещика Раевского, включая парадный подъезд с бессменными скульптурными стражами, арендовал банк «Бессарабия». В ночь с первого на второе января здесь все было на замке, царила тишина, и сквозь зашторенные окна не проникал ни единый луч света. Однако редкий прохожий не останавливался перед этим домом, привлеченный ярким светом в окнах другой его половины и глухо доносившимся оттуда шумом голосов и музыки.

Встреча второго дня Нового года в семье Раевского на этот раз была особенно многолюдной и пышной. Празднично

украшенная просторная гостиная, которую в семье помещика называли не иначе, как «белый зал», едва вмещала званных гостей. При свете люстр и множества электрических свечей в хрустальных канделябрах, расставленных в разных местах длинного, роскошно сервированного стола, все сверкало, переливалось цветами радуги.

Серебро приборов и фарфор посуды, хрустальный блеск рюмок и фужеров, ваз и графинов, как и обычное цветное стекло всевозможных по форме бутылок с вином, отражаясь в огромных зеркалах, заполнявших простенки между высокими окнами, создавали феерическую картину. Стол в «белом зале» давно не блистал таким обилием и разнообразием изысканных яств и славившихся далеко за пределами края отменных вин из погребов имения Раевского.

Гостеприимный хозяин дома в белоснежной манишке, старинном твердом воротничке с шелковистой «бабочкой» и с орденом «Белого Орла» на груди выглядел молодцевато, несмотря на свои шестьдесят «с гаком» лет и ранения, полученные в мировую войну. Он важно восседал во главе стола в окружении банкиров, от которых в немалой степени зависел успех его коммерческой деятельности. И вообще, среди приглашенных превалировали нужные помещику люди: справа и слева вдоль стола, протянувшегося во всю длину «белого зала», расположились владелец двух мельниц и маслобойки, директор мужского лицея «Короля Кароля Второго», главный врач городской больницы и супружеские пары виноделов и торговцев зерном.

Впервые здесь оказались супруги Попа. Они были приглашены по случаю состоявшейся недавно помолвки их сына Жоржа с внучкой помещика — Изабеллой. Именно этим знаменательным событием и объяснялась необычная пышность новогодней встречи, присутствие на ней многих именитых гостей.

Молодежь разместилась на противоположном от Раевского конце стола. Между будущим женихом — жилистым непоседой Жоржиком и его приятелем Лулу Митреску, прибывшим рано утром из Бухареста, без умолку болтали и хохотали Изабелла и ее подружка. Гладкое с правильными чертами лицо Изабеллы разругалось. Сама того не замечая, она часто устремляла взор на мать Жоржика, желая разгадать ее впечатление о себе, ее будущей невестке. Но еще чаще Изабелла поглядывала на Лулу Митреску, испытывая при этом какое-то смутное волнение. Высокий рост, атлетическое сложение, красивое смуглое лицо, едва уловимая лукавинка во взгляде, изысканность манер и грациозность движений

привлекли внимание не только внушки помещика, но и многих, оказавшихся поблизости от него.

Покоритель девичьих сердец был и в самом деле на этот раз безукоризненно вежлив, тактичен и скромен: говорил и ел в меру, мало пил, держался просто, шутил не больше, чем следовало, не хвастался и не клаялся, как обычно, «честью офицера» и тем более не давал «слово legionера». С Изабеллой он был любезен, но не более, чем с ее подругой и другими соседями по столу. Лулу старался быть незаметным: даже свои частые взгляды на большие часы он пытался скрыть.

Таким собранным и сдержанным «групповод по связям с легионерскими гнездами периферии» не бывал даже в обществе своего тихого и до ужаса загадочного Гицэ Заримбы.

Жоржику Попа поведение посланца «Зеленого дома» наминало затишье перед бурей...

Напротив молодежи задушевно беседовали рано состарившаяся, чрезмерно полная, с рыхлым, но все еще приятным лицом жена помещика Раевского, и худая, еще не старая, но болезненная мать Жоржика. У обеих женщин судьба сложилась одинаково: обе лишь формально оставались замужними, обе появлялись в обществе только ради того, чтобы не выносить сор из избы... Помещик Раевский постоянно влюблялся то в актрису-неудачницу, то в сироту-гувернантку, а теперь на склоне лет увлекся краснощекой пышной молочницей, женой хилого пьянчуги-сапожника, прихрамывавшего, кстати, не менее его самого. Любители посудачить определили в молочнице своеобразное постоянство: она, дескать, оставаясь верна хромоте, предпочла все же богатство...

Жена Попа — некогда единственная дочь состоятельного винодела, образованная и хорошо воспитанная, сохла под общей крышей отцовского дома с желчным и деспотичным, самоуверенным, но бесталанным и непрактичным супругом. Унаследованное от отца состояние, как и сама наследница, таяло на глазах. Не будь хозяйство записано на имя жены, ретивый супруг давно бы расстался с нею. Теперь он рассчитывал поправить дела проверенным способом: женить сына на единственной наследнице помещика Раевского.

На том конце стола, где восседал хозяин, разговор не клеился. Мнивший себя опытным политиком Попа-старший завел было речь о последних событиях в Европе и, как обычно, стал восторженно говорить об успехах Германии, не забыв, однако, вскользь отметить выгодность экспорта в Германию плоештской нефти, запасов бессарабского зерна и вина... Но никто не поддержал разговор на эту тему. Попа-старший

обиделся, надулся, однако не стал, как обычно, горячиться и доказывать правильность своих мыслей. Он знал, что ненависть русского помещика Раевского, как и его близких друзей, к большевикам не мешает им недолюбливать и презирать нацистов. В свою очередь, помещик Раевский и его единомышленники знали Попа, как ярого сторонника скомпрометировавшей себя и потому формально запрещенной законом «Железной гвардии». Терпеливо выслушав его рассуждения о могуществе держав оси Рим-Берлин-Токио и мудрости правителей «третьего рейха», а затем, молча выждав несколько секунд, они заговорили о деловых прогнозах в связи с повышением цен на некоторые продукты питания из-за продолжающейся войны Франции и Англии с Германией.

Но вот из соседней просторной комнаты донеслись звуки рояля, и тотчас же из-за стола поднялась молодежь. Пары, бесшумно вальсируя, заскользили из «зала» через раскрытые настежь высокие инкрустированные бронзой двери в соседнюю комнату.

Когда зазвучал старинный венский вальс, Жорж подвел Изабеллу к групповоду, а сам пригласил на танец свою мать.

— Не простудился ли? — спросила она и коснулась ладонью его лба. — У тебя влажный лоб, Жоржик!

— Нет, мамочка, я совершенно здоров...

— Но ты чем-то озабочен? Я наблюдала за тобой весь вечер и заметила, что ты поглядываешь на часы и очень возбужден, хотя почти совсем не пил... Последнее меня радует, но это сочетание сдержанности и возбужденности?!

Жорж рассмеялся.

— Не беспокойся, мамочка... У меня, как говорят немцы, «аллес ин орднунг»!¹²⁴ Просто ты все еще считаешь меня маленьким...

— Для меня ты всегда малыш, Жоржик! Твой влажный лоб напоминает мне, как ты болел корью... Боже, что тогда было со мной! Думала, сойду с ума... Мальчик мой...

— Тебя не утомляет танец, мамочка? — снова прервал ее Жорж, желая изменить тему разговора. — Хочешь, я посижу с тобой?

Мать не успела ответить: они столкнулись с танцующими Лулу и Изабеллой, рассмеялись, обменялись шутливыми замечаниями...

Танцуя, Лулу Митреску вел себя учтиво, держался на почтительном расстоянии от Изабеллы, лишь слегка придержи-

¹²⁴ Все в порядке! (нем.)

вая ее за талию, не позволял себе никаких вольностей в разговоре.

— Хотя я не встречал вас прежде, но мне кажется, что именно сегодня вы особенно счастливы, — сказал Лулу.

— Вы не ошиблись, — чистосердечно призналась Изабелла. — Сегодня я действительно счастлива, как никогда!

— Искренне желаю вам всегда быть такой же счастливой и красивой...

— Спасибо, — слегка покраснев, ответила Изабелла и, желая скрыть самой себе непонятное смущение, заговорила о первом, что пришло на ум. — Моя подружка понравилась вам? Правда, она очень славная?

— Очень милая! Очень... Скромная девушка, — подтвердил Лулу и тут же спросил: — Доводилось вам бывать в столице?

— Ой, знаете, давно! Как-то в детстве с бабушкой мы возвращались с курорта и на два дня остановились в Бухаресте. Помню это смутно. Почему-то запомнились только мальчишки-газетчики и страшный городской шум... Так что вы вправе считать меня неуклюжей и наивной провинциалкой! Такой, наверное, я и кажусь вам?.. Признайтесь!

Лулу снисходительно улыбнулся, отрицательно покачал головой, но ничего не сказал. Он думал в эту минуту о более важном. Шеф — член «Тайного совета» легионеров — послал его сюда не для праздных разговоров и развлечений; об этом он говорил ему перед отъездом в Болград. Хотя Гицэ-Заримба не выпускал из виду и эту сторону способностей групповода, Лулу, однако, не забывал наказ. Он ждал лишь условного сигнала... А Изабелла продолжала игриво щебетать:

— Мне так много говорил о вас Жорж! Вы еще погостите в нашем городе?

— К сожалению, недолго... Служба!

— Но, может быть, все же успеете поехать с нами в имение... Там так чудесно! Вы любите кататься на?..

Изабелла не договорила. Погас свет. Оборвалась музыка. Послышались встревоженные голоса.

— Что за чертовщина?!

— Вот вам и казенная электростанция!

— Принесите свечи!

— А на бульваре и вообще в городе свет горит!

— Вероятно, авария на одной только линии. Или пробки, возможно, перегорели?

Подобного случая никто в доме не предвидел, и потому прислуга металась теперь в поисках свечей, подсвечников и керосиновых ламп.

— А может, и в самом деле пробки перегорели? — вдруг произнес Лулу. — В этом я кое-что смыслю... Вы позволите не надолго оставить вас?

Через минуту Лулу Митреску был на улице у парадного подъезда, к которому уже подкатил на отцовской машине Жорж Попа. Едва групповод захлопнул за собой дверцу, автомобиль сорвался с места и с погашенными фарами скрылся за поворотом.

Погруженные во мрак «белый зал» и соседняя комната постепенно стали освещаться тусклым светом свечей, потом принесли и несколько пузатых керосиновых ламп.

— Танцы продолжаются! — крикнул старик Раевский своим все еще звонким голосом. — Мазурку!

— Да, да, мазурку!

— Пожалуйста, мазурку!

Полились звуки веселой музыки. После яркого, холодного и ровного света электрических люстр и канделябр колеблющаяся, слабое освещение казалось уютным, снимало скованность, располагало к шуткам... В разгар веселья гости ощутили, будто под их ногами чуть-чуть качнулся пол, дрогнул стол, слегка зазвенела расставленная на нем посуда и послышался отдаленный грохот, словно где-то произошел взрыв.

— И на бульваре погас свет! — встревоженно крикнул кто-то, подойдя к окну.

— Смотрите, смотрите!

— Пожар!

— Да, да! Где-то у лимана!..

Жители этого маленького и тихого заштатного города, развлекавшие себя тем, что подхватывали, муслировали и сами распускали всяческие слухи и небылицы, старавшиеся забавы ради всякое пустяковое происшествие превратить в сенсацию, стали вдруг свидетелями и в самом деле непостижимого события: на недавно отстроенной городской управой электростанции и в примыкавшей к ней бане произошел взрыв!

Истолкований этого события было столько же, сколько и жителей в городе... Но все сходились в одном — это диверсия!

В кофейне «Венеция» и ресторане «Монте-Карло», служивших средоточием всех новостей, господа коммерсанты и торговцы обменивались мнениями:

— А виновнички, как водится, скрылись!

— Найдут. Непременно найдут!

— Может, и не нашли бы, да электростанция и баня — казенные!

— Уж на сей раз полиция постарается... Отыщут мерзавцев!.. Время сейчас тревожное, и шутить с такими вещами не приходится...

— Поговаривают, что машинист с девушкой из диспетчерской убиты! А вот какой-то мальчишка, что работал в машинном отделении учеником, сумел-таки сбежать... Не кажется ли вам это подозрительным?

— В том-то и дело! У этого сорванца отец, говорят, коммунист... Сидит в остроге уже много лет!

— Вот оно что?! В таком случае, все понятно!..

— Подумать только! В Бухаресте наш землячок Томов пытается ни больше ни меньше, как взорвать патриарший собор и на аэроплане бежать к большевикам... Здесь летит в воздух электростанция с баней и гибнут люди, а сынок коммуниста скрывается цел и невредим! Бог ты мой, что творится, подумать только!

— Главное же не в этом, господа! Понимать надо, что не по собственному разумению эти оболтусы идут на такие мерзости!?

— К чему гадать? И дураку ясно, куда ведут следы...

— Неужто в самом деле за Днестр?

— Куда ж еще?!

19

Оставленный с вечера в жестяной кружке недопитый чай к утру покрылся ледяной коркой. Илья Томов лежал на железной койке, застеленной прогнившей дырявой рогожкой, укрытый по самую макушку изодранной при обыске грубошерстной фельдфебельской курткой. Съежившись и согреваясь собственным дыханием, он по-младенчески улыбался. Ему снилась заполненная народом площадь из советского кинофильма «Парад молодости»; он бодро шагал по ней рядом с белокурой русской парашютисткой, которая два года тому назад участвовала на празднике авиации в Бухаресте и приземлилась на окраине аэродрома Бэняса. И снова, как тогда, окруженная толпой любопытных, она неожиданно исчезла, а встревоженный Илья каким-то образом очутился в родном Болграде. Город выглядел угрюмо. В доме было пусто и неуютно, за окнами бушевала метель. Ему стало холодно и грустно. Он прислонился к нетопленной печке с зигзагообразной, как молния, трещиной. В дымоходе уныло выл ветер, на чердаке гроыхало и свистело, в сенцах скрипела дверь. И внезапно на пороге вновь появилась сияющая, в светлом длинном, будто подвенечном, платье та же девушка.

Она вела себя так, словно давно жила здесь, положила на стол круглый с румяной коркой белый душистый хлеб, какой, бывало, на праздники выпекала в домашней печи бабушка, открыла окно. Вдали виднелись поспешно уходявшие черные тучи, а там, где прояснилось, яркие лучи солнца пронизывали голубой простор... В стороне от железнодорожной станции Траян-вал на всем небосклоне повисла огромная радуга. Было тепло, цвела акация, распускалась сирень, и под многокрасочной радугой нескончаемым потоком двигались колонны людей. Они были веселы, по-праздничному одеты, с цветами и транспарантами, знаменами и портретами — все, как в русской кинокартине «Парад молодости»... Илья хотел побежать им навстречу, рванулся и... перевернулся на спину, высунув голову из-под драной куртки; он понял, что это был всего-навсего сон... Посмотрел на вырисовывавшийся квадрат темного потолка камеры и разочарованно вздохнул. Стало обидно, что сон прервался на самом интересном месте.

Илья попытался восстановить виденное во сне, но в памяти осталась только девушка с золотистыми кудрями, большой белый хлеб и праздничные колонны демонстрантов... Он глубоко вдохнул холодный сырой воздух, пропитанный запахом карболки, и передернулся. Уснуть он уже не мог. По мере того как светало, очертания камеры, выползавшие из тьмы, становились все более страшными.

В это утро, по случаю Нового года, подъем заключенных был отсрочен на целый час! Но вот звон большого колокола тюрьмы Вэкэрешть известил, что и это время истекло.

Из коридора тотчас же донесся топот боканок¹²⁵. Он примечателен: подошва боканок сплошь была подбита гвоздями с широкими ребристыми головками, а каблуки, словно копыта лошадей, опоясаны тяжелыми железными подковами. Каждый шаг по цементному полу коридора отдавался лязгом, напоминавшим военную казарму.¹ Однако за топотом боканок последовало звяканье ключей, грохот затворов, хлопки падающих задвижек с «глазков», врезанных в обитые железом двери камер, и чечеточное шлепанье арестантских башмаков на деревянной подошве — вся эта сумбурная симфония свидетельствовала о том, что здесь вовсе не казарма, а тюрьма...

Тюрьма Вэкэрешть находилась в пяти минутах езды от центра столицы и в десяти минутах — от дворца его величества короля Кароля второго. Она славилась тяжелым режимом, хотя и считалась в основном пересыльной. В нее до-

¹²⁵ Ботинки для солдат (рум.).

ставляли осужденных перед распределением по тюрьмам, привозили каторжников на «доследование» и подследственных, как Илья Томов.

Из коридора послышалась команда:

— Все к «глазку»!

Началась проверка. Отдаленный звук падающих задвижек «глазков» постепенно приближался к камере, в которой находился Илья Томов. Вот приподнялась задвижка на двери его камеры, и в квадратном отверстии показалась иссиня-красная физиономия коридорного охранника. Загремел затвор, с трезвоном ударилась о пол железная перекладина, и в открытую дверь камеры вошел охранник Мокану, тот самый, что в день прибытия Томова в тюрьму огрел его «для знакомства» крепкой оплеухой. Теперь он хотел удостовериться, хорошо ли новичок усвоил прочитанное ему накануне наставление о содержании камеры в порядке. И, как бы невзначай, спросил, давно ли молодой человек «ходит в коммунистах»?

Томов ответил, что он вовсе не коммунист, а в тюрьму попал по недоразумению.

Мокану удивился, с недоверием посмотрел на заключенного и переспросил:

— А ты не загибаешь, что не коммунист?!

Когда Томов подтвердил сказанное, коридорный задумался и, заложив руки за спину, начал молча шагать по камере. Наконец он остановился и доброжелательным тоном стал объяснять, как заключенный должен вести себя при встрече с чинами тюремной администрации.

— Ты должён встать по стойке «смирно» и громко, лихо рубануть: «Здравья желаю»! Понял? И упаси тебя бог мямлить по-цивильному, как на воле, всякие там «здрасте», «добрый день» да «добрый вечер»... Ни-ни! — с упоением наставлял новичка коридорный охранник. — И вабче, — хитро прищурившись, продолжал он, — это хорошо, что ты, как говоришь, не коммунист... Коли будешь все делать, как я толкую, то не придется тебе испробовать карцер... Гиблое дело это, парень, карцер! Тут худо, а там вабче могила... Сыро, темно, ни сесть, ни лечь и не повернуться... Так что учти, парень, хоть ты не коммунист, а для нас, охранников, все одно — опасный елимент. И сюда, небось, за дело попал?! Просто так не заграбастуют, не сказывай басни!

— Ничего такого я не сделал! Ошибка это... Ни за что и ни про что мучаюсь тут...

— Сказывай, сказывай про зеленых коней, — подмигнул Мокану. — Небось, знает кошка, чье мясо слопала! Но это де-

ло не мое. Поступил сюда — значит должен выполнять всё чин-чинарем, как положено законом! А закон тут, как толковал я тебе, хоть малость и суровый, да он о двух концах, справедливый! Одному башку расшибет, а другого помирует... Кто что заслужит, тот и наличными получит... Тут тебе тюрьма, а не базар! Понял?

Томов чувствовал, что неспроста коридорный так много говорит об одном и том же. «То ли провоцирует меня на возражения, — размышлял он, — чтобы дать волю кулакам, то ли чего-то еще добивается?..»

— Понял, конечно... — осторожно ответил Илья. — Порядок один для всех заключенных... Как они, так и я...

— Э-эх, парень, — сердито прервал его охранник Мокану. — Не то ты толкуешь! Разные тут есть елименты, есть и такие арестанты, что ни законов, ни правил, ни в бога, ни в дьявола не веруют, а всё хотят лбом стенку прошибить... А ты должен делать не как все, а как я тебе толкую! Понял? Не то крышка тебе тут! Нещадно бить будем, колотить будем, покамест сам на себя походить не будешь... Это уж ты знай! Вабче-то я человек не плохой, ежели меня не серчают. Со мной можно ладить и по-приятельски, да только не забываться: ты заключенный, а я твой наставник. И со мной тебе иметь каждодневное дело... А из арестантов найдутся и такие, что станут голову тебе морочить, подбивать бунтовать заодно с ними. Вот ты слушай, да запоминай: кто толкует, что толкует, чего добивается... Посля шепни мне! Доволен будешь... Понял?

— Все понятно... — двусмысленно ответил Илья Томов, едва сдерживая гнев, вызванный откровенным предложением стать доносчиком. Коридорный охранник вышел, а Илья долго не мог успокоиться.

Вскоре в сопровождении того же Мокану два арестанта в зегах¹²⁶ принесли завтрак: половину кружки чуть подслащенного чая, полчерпака темной отварной фасоли и малюсенькую горстку желто-серой, как оконная замазка, мамалыги.

— Праздничный рацион! — иронически сказал один из арестантов. — С Новым одна тысяча девятьсот сороковым...

— Разговорчики! — оборвал его Мокану. — Топай!

Грустные мысли наваяло на Томова напоминание о наступившем новом годе. Перед его мысленным взором предстала мать, ее доброе утомленное лицо, всегда аккуратно собранные в пучок седеющие волосы, выцветшие от слез гла-

¹²⁶ Арестантская грубоотканная полосатая одежда (рум.).

за, натруженные морщинистые руки... «Неужели, — сокрушенно подумал Илья, — подинспектор Стырча и в самом деле сказал правду, будто мать арестована?» Стало нестерпимо жаль мать, жаль, что из-за него ей и на старости лет нет покоя... А дед? Одна за другой валяются на него беды! Не успел прийти в себя после одиннадцатилетнего отбывания каторги, как младшая дочь, к которой он приехал в Татарбунары, внезапно умерла. Перебрался к старшей дочери в Болград, и здесь горе — зять с внучкой покинул дом, уехал неизвестно куда, а теперь вот и внука посадили...

Вспомнил Илья жалкую, ссутулившуюся фигуру отца. Он увидел его в зарешеченное оконце «черного ворона». Отец обернулся на окрик, но тюремная машина уже тронулась, и он так и не узнал, кто его окликнул. Отец нес какую-то корзинку, из чего Илья заключил, что и он, и сестренка Лида живут где-то в районе улиц Олтенъ и Дудешть... Совсем близко от Вэкэрешть, и до тюрьмы рукой подать!

Мысли Ильи вновь перекинулись к Болграду, он представил себе, какие кривотолки среди обывателей города породила весть об его аресте. Вот и Изабелла... Давно уже она перестала отвечать на его письма. Пустыми оказались клятвы... А сейчас узнает, что он арестован, и, чего доброго, скажет, что имя его слышит впервые... Бывает и так. «Что ж, — размышлял Илья, — пути наши разошлись, и это естественно. Разные мы люди, разные у нас возможности и стремления, разные у каждого взгляды на жизнь и совсем-совсем неодинаковые перспективы... Она — внучка и наследница богатейшего в крае помещика, а я, как говорил господин Гаснер, босяк... Уж кто-кто, а этот господин будет радешенек весточке о моем аресте! И, конечно, припишет мне какое-нибудь злодеяние вроде кражи со взломом, убийства или шпионажа... Поползут слухи по городу, дойдут и до бывших учителей и наверняка до матери тоже...

Муторно было на душе Ильи от этих мыслей. Он встряхнулся, стал успокаивать себя. «Должно же в конце концов прийти и такое время, когда люди узнают правду! Механик Захария Илиеску сколько раз говорил, что так не может долго продолжаться... А подкомиссар Стырча врал, конечно, когда грозился устроить мне очную ставку с Илиеску... Устроили бы, да руки коротки! Правда, когда в гараж нагрянула полиция, его чуть было не схватили тогда. И, как это ни странно, предупредил механика о грозящем ему аресте инспектор Солокану. В этом теперь уже можно было не сомневаться. А Захария скрылся. Он опытный подпольщик, и его вряд ли теперь найдут... Кто же такой Солокану? Там, в

гараже, он помог коммунисту избежать ареста, хотя именно для ареста и приехал туда с оравой полицейских, а в префектуре полиции вел себя, как самый настоящий держиморда...»

Как ни силился Илья, разгадать эту загадку не мог и втайне надеялся, что и в других подобных случаях Солокану, может быть, выручит. Сейчас же его очень беспокоила судьба товарища Траяна, — одного из руководителей партии, как догадывался Томов. Не первый год он находился на нелегальном положении, а после недавнего провала одной организации ему грозил арест. «Что с ним теперь? — думал Илья. — Живет ли он еще на Арменяска 36, куда его поселили при моем посредничестве и где моя тетушка Домна содержит пансион, или после того, как меня арестовали, его укрыли сразу же в другом месте?! Скорее всего, так и сделали... Не могут же они рисковать жизнями Илиеску и Траяна, рассчитывая на то, что я, совсем еще молодой подпольщик, устою, никого и ничего не выдам на допросах в сигуранце... А типография? С каким трудом и риском удалось увезти ее буквально из-под носа полицейских ищеек!.. Да и не найти, пожалуй, более надежного места для нее, чем подвал гаража уважаемого властями профессора Букура... А теперь по той же причине товарищи, должно быть, из предосторожности вынуждены куда-то перевозить типографию... И не только типографию, но и самого профессора! Неужели они допускают мысль, что я могу и его выдать?! Такого человека!..»

Томов помнил рассказ шофера Аурела Морару о том, как его хозяин профессор Букур был недоволен, но не тем, что в подвале гаража оказалась подпольная типография коммунистов, а тем, что Аурел не оказал ему должного доверия и привез станок со шрифтом тайком от него. Тогда же Букур поведал своему шоферу, что еще в молодости, когда проходил практику в Париже, ему посчастливилось познакомиться и беседовать с Лениным, человеком, которого он с тех пор и на всю жизнь глубоко уважает.

Вспоминая все это, Илье Томову тяжело было допустить мысль, что товарищи по подполью могут все же усомниться в его твердости, способности вынести любые пытки, но не выдать такого человека, как Букур, да и никого вообще. «Вот уж поистине обжегшись на молоке, дуют на воду, — возмущенно размышлял он, имея в виду предательство Лики. — Этому подлюге оказали доверие и ошиблись... Жестоко ошиблись! Потому и во мне теперь, наверно, сомневаются... А что у меня общего с этим хлюстом?! Ничего...»

Томов долго еще был в плену горестных размышлений, но

в конце концов здравый смысл взял в нем верх над уязвленным самолюбием. Он смирился с мыслью, что товарищи по подполью в такой ситуации, конечно, обязаны принять все меры предосторожности, и рисовал в своем воображении минуту, когда, пройдя сквозь все испытания, вернется к своим друзьям ничем не запятнанным...

Из коридора донеслись звуки приближающихся шагов. Илья насторожился. Кто-то остановился совсем близко, и все стихло. Через несколько секунд томительного ожидания задвигка «глазка» медленно и бесшумно приподнялась, в отверстии показалось лицо коридорного. Наконец загремела железная перекладина, дверь открылась, и в сопровождении Мокану в камеру, животом вперед, вошел подвыпивший уса-тый первый охранник.

Томов сразу же встал по стойке «смирно» и от волнения чуть было не сказал привычное «добрый день», но вовремя спохватился и громко отчеканил:

— Здравья желаю, господин первый охранник!

Усач одобрительно кивнул, и под его широким подбородком образовался жирный, заросший щетиной валик. Хриплым голосом он ответил:

— Молодец, мальчик! Вот так чтобы ты у меня приветствовал начальников...

Мутными глазами охранник оглядел камеру, словно видел ее впервые, скользнул взглядом по все еще стоящему на вытяжку заключенному и молча повернулся к выходу.

С довольным выражением лица Мокану поспешил вслед за первым, быстро закрыл за собой дверь. Звонко загремела перекладина, щелкнул, точно ружейный затвор, замок, и в наступившей тишине раздался зычный голос Мокану:

— Камеры тридцать вторая, тридцать первая, двадцать восьмая, двадцать седьмая и двадцать шестая... Приготовить параша на вынос!

Камеры Томова и его соседа не были названы. Илья подошел к двери, прислушался. Рядом звякнула железная перекладина, и заскрипела открываемая дверь.

— Добрый день, господин Никулеску! — слышался хриплый голос первого охранника. — С Новым годом!..

Из соседней камеры ответил ровный голос заключенного:

— День добрый, господин первый!.. За поздравление — мерси...

Томов удивился: сосед по камере почему-то не соблюдает правил приветствия, о которых коридорный прожужжал ему все уши...

— Так-так, — просипел первый охранник и разразился хлесткой руганью.

— Я вежливо поздоровался с вами и поблагодарил за поздравление, — спокойно сказал Никулеску, когда первый охранник исчерпал, наконец, поток бранных слов. — Чем же вы так недовольны?

— Чем? Я тебе показал бы, чем, да руки не хочется мара́ть на Новый год об твою большевистскую харю! Да так бы поздравил, что ты на всю жизнь запомнил бы этот Новый год... Но ты не радуйся, Никулеску! Пройдут праздники, и мы свое возьмем... На славу обработаем каждого коммуниста, не волнуйся! Э-ге-ге, шелковыми будете у нас, хоть на витрину!..

— А вы ничего другого и не умеете делать, — спокойно ответил тот же голос. — Но все равно своего не добьетесь... Не раз уж брались, а к чему все это привело? Пустые хлопоты...

— Там видно будет, — прервал его первый охранник. — Добьемся или нет, а второй глаз я тебе выбью! Так и знай, господин Никулеску... Все вы еще попляшете у меня...

— Грозитесь сколько угодно, но «здравья желаю» ни от меня, ни от моих товарищей не услышите до конца дней своих... Вы это знаете. Так что напрасны все ваши разговоры, угрозы, волнения и всякое такое, господин первый...

Разъяренный охранник, не переставая ругаться, с силой захлопнул дверь. Загремела перекладина, щелкнул замок.

Теперь Томов понял, что заключенные коммунисты отказываются подчиниться требованию встречать тюремных чинов по стойке «смирно» и приветствовать словами «здравья желаю». И он решил, после некоторого раздумья, что коммунисты поступают правильно. Понятно стало теперь Илье Томову, почему коридорный охранник Мокану так настойчиво допытывался, на самом ли деле он не коммунист?!

— Кому, скоты, велено держаться на расстоянии в пять шагов друг от друга?! — доносился теперь из коридора голос Мокану. — Дождитесь от меня, что отменю прогулку...

Заключенные из перечисленных коридорным охранником камер выходили на прогулку и заодно выносили парашаи. Медленно прошли они мимо камеры Томова.

Илья прислушивался ко всему, что происходит в коридоре, и не переставал размышлять о том, как ему вести себя в дальнейшем, какую форму и тактику обращения выбрать? Он ведь действительно еще не вступил в партию... Не успел. Всего за два дня до этого знаменательного события его арестовали. И на допросах в сигуранце отрицал какую-либо связь с коммунистами. Поэтому, может быть, и посадили

его именно сюда? Хотят испытать, проверить, как он будет вести себя в этой обстановке...

Откуда-то издалека, видимо от самого выхода во двор, доносились крики. Томов подошел к двери, прислушался. Было шумно, и он не мог различить слова. Вдруг из соседней камеры отчетливо раздался голос арестанта, которого охранники звали Никулеску.

— Не бейте! Не смейте бить!..

Шум нарастал, из сплошного гула превращаясь в четкое скандирование:

— Не бей-те, па-ла-чи! Не бей-те, па-ла-чи! Не бей-те...

Скрежеща зубами, Томов слушал, как дружно заступаются заключенные за товарищей, и ему нестерпимо хотелось включиться в общий хор протестующих. Однако он еще не решил, должен ли по-прежнему отрицать свою причастность к коммунистам или действовать так же открыто, как его сосед по камере Никулеску и другие заключенные товарищи...

Из камер продолжали доноситься слаженные голоса:

— Па-ла-чи бьют то-ва-ри-щей! Па-ла-чи...

В коридоре зацокали кованные боканки охранников, словно откуда-то вырвался табун лошадей. Поднятые по тревоге тюремщики всех рангов, как разъяренные псы, бросились к дверям камер, изрыгая потоки отборной брани.

— Заткни глотку, сволочь!

— Молчать, скотина!

Узники замолкали, но в другом конце коридора и на других этажах их товарищи продолжали дружно, будто управляемые дирижером, протестовать... Охранники бежали туда, тогда выкрики возобновляли замолчавшие... Тюрьма гудела, а Илья Томов все еще молчал, как, впрочем, молчали и заключенные уголовники.

Наконец смолкли крики истязаемых заключенных, выведенных на прогулку, замолчали и узники в камерах. Воцарилась прежняя гнетущая тишина... И вдруг до слуха Томова донеслись слабые звуки коротких парных ударов по отопительной трубе. Эти звуки напомнили ему рассказ Захарии Илиеску о том, как он и другие заключенные в тюрьме Дофтана использовали калориферное отопление для переговоров друг с другом. Убедившись, что задвижка «глазка» закрыта, Томов быстро подошел к трубе, плотно прислонился к ней ухом и от удивления открыл рот...

— Мирча! — услышал Илья.

— Я, дорогой!

— Кого били на выходе?

— Товарищей из нашей секции. Набросились на них

опять у комнаты первого охранника. Их вели на прогулку. Заступился почти весь этаж!

— Мы тоже!

— Слышал. Спасибо, дорогой!

— Привели их обратно?

— Еще нет...

— Их не в карцер отвели? — услышал Илья голос третьего собеседника. — Будут там избивать, а мы и не услышим...

— Это ты, Сами?

— Да, Мирча. Я.

— Все возможно, Сами. Именно так было со мной и другими товарищами...

— И всегда в дежурство пузатого усака!

— Не только...

— Как быть, если не все вернутся с прогулки?

— Как быть? Невзирая ни на что, дружно протестовать! Поднять всю тюрьму... Пусть знают, что мы — сила, с которой им не справиться... Только так добьемся успеха!

— Верно, Сами! Кстати, сегодня гундосый опять твердил насчет «здравья желаю»...

— Не дождется! У нас все до единого наотрез отказались...

— На нашем этаже тоже!

Илья несколько раз порывался включиться в разговор, чтобы сообщить товарищам, кто он такой, как попал сюда, спросить у них совета, как ему вести себя с тюремным начальством, но так и не осмелился прервать собеседников, когда услышал то, что относилось к нему непосредственно.

— Ты еще не выяснил, что за птица сосед, которого тебе подсадили?

— Пока нет.

— Так и не дает о себе знать?

— Нет. Пару раз я постучал ему, но он не ответил. Либо новичок и не понимает, а может, не хочет...

— Думаешь, не хочет?

— Так мне кажется... Сегодня слышал, как он приветствовал первого. Рывкнул по-солдатски «здравья желаю!»

— Ты точно это слышал?

— Знаешь, Сами!.. Я без очков плохо вижу, но слух у меня пока что хороший... Гундосый даже похвалил его за это!

— Вот как!? Будь осторожен...

Илья Томов почувствовал прилив крови к лицу. Что де-

лять? Вмешаться в разговор? И что им сказать?.. Могут не поверить словам...

В коридоре слышались неторопливые шаги. Томов насторожился и думал уже только о том, чтобы тюремщики не застали врасплох говорящих по «местному телефону». Несколько секунд, в течение которых он ждал, что собеседники сами прервут беседу, показались чрезмерно долгими. Не выдержав, он тревожно постучал по трубе несколько раз и, приложив кисти рук щитком ко рту и к трубе, внятно произнес:

— Тише! Идут...

Разговор моментально прекратился. И не только потому, что узники услышали предупреждение Томова. Их насторожил необычный и неожиданный стук по трубе... А возможность быть свидетелем беседы узников-коммунистов Томов получил только благодаря тому, что заключенный из камеры, расположенной по соседству с Мирчей Никулеску, уходя на вынос параша, забыл закрыть заслонку, которая регулировала разговор по «местному телефону».

Из коридора слышался зычный голос Мокану:

— Все до единого подходи к «глазку»!

Вскоре Томов понял, что происходит обход и совершает его старший надзиратель, видимо, тот самый, которого Никулеску назвал гундосым. Звуки открываемых и закрываемых задвижек «глазков», как и голоса, становились все более громкими и отчетливыми. Наконец совсем ясно Илья услышал гнусавый голос старшего надзирателя:

— Так это ты, жидовий сын, отказываешься говорить «здравья желаю»?!

Послышался надрывный кашель заключенного. Вместо него ответил Мокану:

— Так точно, господин старший надзиратель! Он самый...

Заключенный не переставал кашлять.

— Ничего! Я отобью у тебя охоту вести себя в тюрьме, как у себя дома... — прогнусавил старший надзиратель. — От твоих дырявых легких скоро останется не больше, чем от снега, который сейчас лежит во дворе... Его, Мокануле, — обратился старший надзиратель к коридорному охраннику, — на ночь в карцер... Там самое подходящее место для таких дохлых. Мухи не будут его кусать там?!

— Никак нет, господин старший надзиратель! — с готовностью подхватил коридорный. — Там наскрость все померзало...

— Ну что ж, отлично! В таком случае и рогожка госпо-

дину Самуэлю Когану не понадобится... Как ты считаешь, Мокануле?

— Так точно, господин старший надзиратель! И рогожки не дадим... Вабче ничего не дадим! Разве малость подсоленной водицы польем на стенки да на пол, ежели позволите?

— Пожалуйста, Мокануле, пожалуйста! Водицы не жалеть коммунастам...

С грохотом защелкнулась задвижка «глазка», донеслись цокающие звуки шагов тюремщиков и снова замерли. Где-то еще ближе поднялась задвижка с «глазка», и после короткой паузы Томов услышал спокойный голос арестанта:

— Добрый день, господин старший...

— Как ты сказал? — переспросил гундосый. — Отвечай!

— Я сказал «добрый день», господин старший.

— А-га... Это мне-то, старшему надзирателю взкэрештской тюрьмы, ты говоришь «добрый день»? Что-то не припоминаю я, когда с тобой, сучьим большевиком, овец пас или из одной миски похлебку хлебал? А-а?!

Заклученный не счел нужным отвечать, и это еще больше обозлило старшего надзирателя.

— Что ж... И его на ночь в карцер! И так снять с него стружку, чтобы в другой раз знал, как приветствовать представителя тюремной администрации! Ясно, Мокануле?

— Так точно! Отшлифуем его почище зеркального стеклышка, господин старший надзиратель... Не сумлевайтесь!

Защелкнулась задвижка. Тюремщики остановились у камеры Никулеску и почему-то долго молчали. С тревогой Илья подумал, не случилась ли какая беда с соседом. Но наконец до него донесся гнусавый голос старшего надзирателя:

— А ты, Никулеску, почему молчишь? Воды в рот набрал или еще что-нибудь по случаю Нового года?

— Я без очков не вижу.

— Слышишь, Мокануле? — с насмешкой в голосе обратился к коридорному старший надзиратель. — Говорит «без очков не видит»...

— Ему б фонарик под зрячий глаз припаять, — хихикнул коридорный охранник, — тогда может вабче получше станет глядеть!

— Послушай, Никулеску! — изменив вдруг тон, прогундосил старший тюремный надзиратель. — Мы ведь с тобой, так сказать, родственники! Ты олтян¹²⁷ и я олтян. К чему нам хитрить друг перед другом? Люди мы зубастые, палец в рот

¹²⁷ Житель Олтении (область в Румынии).

нам не клади... Не зря ж в народе говорят, что у каждого из нас по двадцать четыре пары зубов!.. К чему тебе морочить мне голову? Разве для того, чтобы приветствовать начальство, нужны очки? Достаточно ведь слышать... Голос мой ты прекрасно знаешь... А стекло в камере, пусть даже в очках, не позволено держать заключенному! Так что давай, как олтян с олтяном, не будем играть друг с другом в прятки... Идет?

— ...

— Молчишь. В таком случае, я — старший надзиратель тюрьмы Вэкэрешть!

— ...

— Что ж... Здравья желаю, господин осужденный Никулеску!

— Добрый день.

— Вот как... Значит, я приветствую тебя, арестанта, «здравьем желаю», а ты не соизволишь даже ответить мне тем же?

— Нет.

— Превосходно, Никулеску! Так знай, что сегодня же ночью ты будешь за все просить прощения!

— Никогда я не просил у вас прощения и просить не буду! — резко прервал тюремщика Никулеску. — А избивать вы умеете... Но это вам так не пройдет! Ответите, за все ответите...

— Ого! Ты слышишь, Мокануле?

— Так точно, слышу, господин старший надзиратель!

— Косоглазый большевик до того обнаглел, что позволяет себе угрожать тюремной администрации! Мне, тюремному начальству! Старшему надзирателю вэкэрештской тюрьмы!.. Ну что ж, Мокануле... Приведи-ка и его на ночь, но сначала не в карцер, а ко мне в канцелярию. Я покажу ему, где раки зимуют... Посмотрим, будет он просить у меня прощения или нет!..

— Не дождетесь! И никто из коммун...

Захлопнулась задвижка. Конец фразы Томов не расслышал, но смысл ее был ясен. Илья так и не решил, как вести себя при встрече с тюремщиками — поддержать ли товарищей и тем самым выдать себя, или не делать этого, и тогда не миновать недоверия и враждебности к себе со стороны заключенных. Между тем шаги тюремщиков приблизились к его камере, приподнялась задвижка, и в «глазке» появилось свежесбритое и обильно припудренное, вытянутое, как голова щуки, лицо с узкой полоской нафабранных усов и с бегающими хитрыми глазами.

Илья стоял перед дверью, как и полагалось при обходе, и растерянно молчал, все еще не решив, надо ли ему сказать «здравья желаю» или нет. Помедлив в ожидании обещанного коридорным охранником приветствия по всем «правилам», старший надзиратель усмехнулся и едва слышно сказал:

— Здравствуйте, молодой человек!

Томов опустил глаза, напрягаясь, как струна, и, уже не размышляя, решительно ответил:

— Добрый день, господин старший!

Ответ был неожиданным как для тюремщиков, так и для заключенных в соседних камерах, которые в эти секунды чутко прислушивались к тому, что происходит у камеры новичка.

Старший надзиратель покосился на стоявшего позади него коридорного охранника и зло усмехнулся. Мокану недоуменно пожал плечами.

— Должно быть, — сказал он извиняющимся тоном, — запамятовал, как надобно приветствовать.. Новичок он тут... Ну-ка поздоровайся с господином старшим надзирателем, как положено по тюремному уставу! Ну!..

Томов молчал.

— Ну, что, Мокануле, теперь скажешь? Твердил ведь, будто он не коммунист!.. И признавайся, наврал ты мне, что этот стервец ведет себя, как положено арестанту? Говори, наврал?!

— Никак нет, господин старший надзиратель! — выпятив узкую грудь с двумя рядами потускневших латунных пуговиц, отрапортовал коридорный. — На утренней поверке он чин-чинарем поздоровался с первым... Должно быть, тут его эти скоты обработали... Вон косой уж не впервой так-то пакостит...

— Никулеску?!

— Он самый, господин старший надзиратель! Кто ж еще кроме него? Обработал...

— Никто меня не обрабатывал, — нарочито громко, чтобы услышали в соседних камерах товарищи, вмешался Томов, — не выдумывайте! А то, что я не коммунист, — это правда, как и то, что на утренней поверке сказал «здравья желаю»... Сказал потому, что не знал, как все заключенные здороваются с вами, а сейчас вот услышал и буду здороваться так же, как они. Раз уж такой тут порядок!..

— Молчать! — закричал тюремщик. — Я тебе покажу такой порядок, что забудешь, как звать родную мать! Открывай-ка камеру, Мокану!

Старший надзиратель выхватил из рук коридорного резиновую дубинку и рванулся в камеру.

— Ты, сучье отродье, встань и приветствуй меня, как полагается, не то... — тюремщик заскрипел зубами и, потрясая дубинкой, просипел: — Шкуру спущу! Ну! Будешь говорить «здравья желаю»?

— Не буду.

Град ударов обрушился на Томова. Укрывая голову, он изо всех сил закричал:

— Меня бьют! Бьют! Не бей...

Из соседней камеры Мирча Никулеску тотчас же крикнул:

— Товарища избивают! Протестуйте!

Из камеры в камеру передавался призыв, узники сразу подхватили:

— Палачи избивают товарища! Будем скандировать протест!

Крики перекатывались из одной секции в другую, с этажа на этаж, и через минуту уже со всех сторон тюрьмы доносилось:

— Не бей-те, па-ла-чи!

— То-ва-ри-ща у-би-ва-ют!

Томов увернулся от удара, и конец резиновой дубинки со всего размаха угодил охраннику в коленную чашечку. Прихрамывая, Мокану выбежал в коридор. На мгновение Томов перехватил дубинку у старшего надзирателя, резко рванул ее на себя и швырнул в коридор. Ремешок, на котором она держалась, оборвался, резанув ладонь тюремщика. Вслед за Мокану отскочил и он в сторону, ощупывая и оглядывая свою руку...

Однако на помощь начальству уже прибежал первый охранник с двумя помощниками и с хода набросился на Томова. Били его, как взбивают подушку, как месят тесто... Окровавленный, распластался он на полу, не подавая признаков жизни. И это, видимо, испугало палачей. Притащили ведро воды, окатили его с головы до ног...

— Болтун ты, Мокану! — огрызнулся старший надзиратель, все еще продолжавший растирать кисть руки и морщиться от боли. — «Не коммунист он, помогать нам будет!» Здорово помог, что ты за коленку держишься, а я вот руку себе резанул из-за него...

— Да разве в душу влезешь? — оправдывался коридорный. — Но оставьте его на моей совести, господин старший надзиратель... На коленке у меня должна быть шишка и си-

няк наверняка будет... Я ему такой актик за буйство закачу, что он...

Старший надзиратель выругался.

— Да что ты мелешь, дурья башка! Актик закачу... Вот и попробуй составь, когда он чуть живой!.. Дознаются ихние писаки, пропечатают нас с тобой в газете, да чего доброго дойдет молва о наших делах и до заграницы, вот тогда посмотрим, что ты запоешь со своим «актиком»? Сгодится он тебе только для задницы...

Старший надзиратель с презрением отвернулся от виновато съежившегося коридорного охранника и торопливо зашагал в сторону канцелярии.

Заклученные, однако, не переставали скандировать:

— Тре-бу-ем про-ку-ро-ра! Тре-бу-ем...

Охранники метались от «глазка» к «глазку», угрожая расправой. Арестанты, как и прежде, на время замолкали, но как только тюремщики убегали к другим камерам, опять включались в общий хор протестующих. Влились в него и уголовники, что случалось не часто. Кулаками и ногами они колотили в двери.

Заклученные знали, что тюремщики не преминут жестоко наказать их за упорное массовое неповиновение, что расправу они будут учинять ночью, когда совсем опустеет улица Вэкэрешть и только до случайных прохожих могут донестись крики и вопли истязаемых людей. Но именно поэтому узники-коммунисты, невзирая на угрозы, продолжали протестовать, стараясь слить голоса всех арестантов воедино. И когда один из них сильным сочным голосом запел «Вставай, проклятьем заклейме-енный...», его тотчас же поддержали соседи, и с быстротой молнии пение пролетарского гимна распространилось по всем этажам и крыльям тюрьмы.

Единый слитый голос томящихся в тюрьме людей волнами перекатывался через высокую каменную стену-ограду и, доносясь до слуха прохожих на улице, заставлял многих из них остановиться, прислушаться. И, конечно, весть о том, что в тюрьме Вэкэрешть происходит что-то необычное, вскоре расплылась по городу, на что и рассчитывали узники-коммунисты, организовав этот коллективный протест.

Голос заклученных услышал и вагоновожатый трамвая номер первый, подкатившего к остановке «Пентичиарул Вэкэрешть»¹²⁸. Он поднялся во весь рост и молча вслушивался в отдаленный хор голосов узников тюрьмы. Он не ше-

¹²⁸ Тюрма Вэкэрешть (рум.).

лохнулся и тогда, когда позади него недовольно загалдели нарядные пассажиры моторного вагона первого класса.

По его воле трамвай не тронулся с места до тех пор, пока не отзвучали последние строки зовущего к борьбе гимна:

С интернационалом
Воспрянет род людской!..

20

Теща Нуци Ионаса, любительница зло посудачить о соседях и перемыть им косточки, наблюдая из окна за Ойей, нет-нет да признавалась:

— Днем с огнем не найдешь такую работягу! Кошмар!.. Не человек, а вол! Как ни посмотрю — она моет или стирает, убирает или гладит. Просто помешанная, чтоб мы с Эттилэ и Нуцилэ были так здоровы!.. — И тут же, словно досадуя на себя за вырвавшееся доброе слово о человеке, старуха раздраженно добавляла: — И отчего, думаете, она такая! Немые все железные. Не иначе, как в них заложена дьявольская сила!

Нуцина теща кичилась чистотой в доме, но к черной работе сама руки не прикладывала, а дочери своей вообще не позволяла заниматься хозяйством.

— Не порть себе руки, Эттилэ! — ворчала она, как только та, больше от скуки, пыталась что-либо сделать по хозяйству. — Еще успеешь все это делать потом, когда, бог даст, у тебя уже будет ребенок! Доктор же обещал! Эти беды у тебя только остались бы, и другого горя чтоб мы никогда не знали... В конце концов скоро должна прийти с работы немая. Большое для нее дело вымыть пол и немного постирать? Угощу ее чем-нибудь... Сколько уже раз я давала ей то пирожок, то коржик, и ты об этом даже не знала...

Ойя считала Нуци Ионаса и его семью благодетелями, которым она и Хаим многим обязаны, и потому безотказно выполняла все, на что отнюдь не просительным жестом указывала ей старуха. А Хаиму по складу характера вообще была свойственна услужливость. Запросто брал он метлу и подметал двор, относил ведро с помоями, которое Нуцина теща предусмотрительно выставляла за порог. Когда ему доводилось возвращаться вместе с Нуци домой, он нес и его сумку с продуктами да еще и подшучивал над Ионасом:

— Не сопротивляйся, Нуцик! Все же ты старше меня... на две недели!

Нуци снисходительно улыбался и, будто нехотя, уступал сумку. На самом деле он был старше Хаима на три года. Густые черные брови, слегка сросшиеся на переносице, темные глаза с хитринкой, прямой нос и подстриженные на английский манер усики заставляли смотреть на него с обожанием не одну Эттилэ. Был он широк в плечах, строен. Рядом с ним Хаим, тощий, с рыжими вихрами, походил на смешного подростка. Добродушный и непосредственный, Хаим всегда был доверчив, общителен и порою не в меру говорлив, но теперь его словно подменили. В ином, чем прежде, неприглядном свете предстали перед ним во время плавания на «трансатлантике» собратья-холуцы. Душевное смятение, вызванное катастрофой, уступило место смутной, но постоянно терзавшей его догадке об истинных причинах и виновниках взрыва на пароходе и гибели сотен людей. Хаим стал молчалив, робок и менее доверчив. Хотя у него и в мыслях не было воспользоваться своим давним знакомством с Ионасом, тем не менее он заметил, что Нуци, особенно в последнее время, старался дать ему понять, что он уже не тот Нуцик, каким был прежде, и что отношения между ними теперь в первую очередь должны определяться служебной субординацией.

Особенно по субботам, хватив лишнюю порцию «арака», Нуци важничал, пытаясь выдать себя за человека солидного, обремененного серьезными делами. Однако это не мешало его теще срамить зятя даже в присутствии Хаима.

— Где вы видели, чтобы еврей был пьяницей? А? — возмущалась старуха. — Это же неслыханно, кошмар!

Нуци помалкивал. Деваться ему было некуда: старуха владела значительной суммой денег, которая при ее изворотливости давала весьма приличный доход.

— С деньгами ты — человек! Без денег — ничто. Ноль! — не раз говорил он Хаиму. — Если мне вдруг придется уйти из Экспортно-импортного бюро, то я не пропаду! Открою небольшое дело, и будем жить. Теща давно предлагает...

Терпеливо выждав, пока теща уgomонится, Нуци и на этот раз туманно намекнул на свою особую роль в каких-то делах, выходящих за рамки официальных функций Экспортно-импортного бюро.

Хаиму не раз доводилось слышать из его уст подобные намеки, а однажды Нуци доверительно заметил, что ему известно о связи дядьки Симона Соломонзона с самим Муссолини. О подробностях тогда Ионас умолчал. Но на этот раз после сытного, изрядно одобренного спиртным субботнего обеда Нуци не терпелось поделиться своими впечатлениями и мыслями, навеянными очередным «большим разговором» у Симо-

на Соломонзона: всемогущий хозяин любил высказывать свое кредо.

— Великие дела можно вершить только при наличии денег! — говорил Нуци, зайдя к Хайму. — Но одних денег мало — нужна проницательная голова. Однако и головы, пусть даже самой проницательной, представь себе, тоже мало! В наши дни нужна еще и сила! Большая, тщательно подготовленная! Нужен железный кулак! Иного пути для осуществления нашей программы нет и быть не может...

Нуци Ионас, с пафосом пересказывая эти изречения, не знал, что и Симон Соломонзон лишь повторял то, что любил говорить его дядюшка.

— Вот так, Хаймолэ, обстоят наши дела! — многозначительно подмигнув, Нуци лаконично заключил: — Деньги! Умная голова! Сила, способная расправиться с открытыми и скрытыми врагами возрождения нашего отечества! Так-то.

Хаим лукаво усмехнулся. Не бог весть какая мудрость заключалась в словах Ионаса. Кто не знает, что с деньгами хорошо, а без них худо, и что умная голова куда лучше глупой... Хаим и думать не думал, что вся эта болтовня имеет какое-либо отношение к нему лично. Однако именно предыдущий день, когда обо всем этом весьма горячо толковали у Симона Соломонзона его приближенные, предрешил крутой поворот в жизни Хаима Волдитера.

Прежде всего, как понял Хаим, Симон в тот день повел речь о создании «железного кулака», с помощью которого можно будет наконец-то перейти от слов к делу.

— Чтобы создать свой рейх, национал-социалисты не брезговали никакими средствами, — смакуя, повторял Нуци слова Соломонзона. — Когда они аннексировали Австрию, все смирились с тем, что еще раньше они попросту наплевали на ограничения по Версальскому договору и создали вермахт, потом реэккупировали Рейнскую область... Позднее мир узнал о вступлении немцев в Чехословакию, и вновь поднялась была буря, но и она оказалась бурей в стакане воды, и потому Гитлер вскоре приступил к захвату Польши... Сейчас об этих акциях если и вспоминают, то только потому, что теперь речь идет о землях Франции и, если хотите знать, даже Великобритании! Величие стратегии и тактики Адольфа Гитлера и заключается в том, что он, опираясь на реальную силу, всякий раз ставит мир перед совершившимся фактом, представляя своим недоброжелателям возможность размахивать после драки кулаками и упражняться в словесном излиянии протестов, негодований, осуждений и тому подобное.

Нуци объяснил Хаиму, чем была вызвана такая речь Симона, который в общем-то редко выступал, предпочитая оставаться «за занавесом», — любил загребать жар чужими руками. Недавно, по указанию руководства «Акционс-Комитета» из Хаганы, этой массовой военизированной организации, была выделена небольшая группа наиболее воинственно настроенных людей.

Продиктованному сверху акту был придан характер раскола Хаганы на сторонников и противников нового политического курса, провозглашенного руководством «Акционс-Комитета», который стремился использовать возникшую в результате войны между Англией и Германией новую ситуацию в своих целях: поскорее изгнать из Палестины как англичан, так и арабов. Суть этого курса состояла в том, чтобы создать видимость примирения с арабами и союза с англичанами, якобы ради совместной борьбы против германского фашизма. В действительности же имелось в виду, с одной стороны, легализовать приобретение оружия и формирование военных отрядов Хаганы, ускорив таким образом создание «железного кулака», а с другой стороны, спекулятивно использовать участие в войне против Германии при предстоящей рано или поздно политической борьбе за создание самостоятельного еврейского государства. Курс на примирение с арабами и союз с англичанами был широковещательно принят Хаганой, несмотря на ее резко отрицательное отношение к опубликованному в «Белой книге» решению английского правительства об установлении жесткого ограничения на иммиграцию евреев в Палестину.

Группа, «отколовшаяся» от Хаганы, категорически отклонила курс на сближение с арабами и англичанами. Другими словами, сторонники этой группы намерены были и впредь совершать диверсии и террористические акты против арабов и отчасти англичан, но чтобы ответственность за них уже не ложилась на Хагану. Одним из закулисных заправил этой группы стал Симон Соломонзон.

— Он говорил, — продолжал пересказывать речь Соломонзона Нуци Ионас, — что мы только делаем вид, будто возмущаемся позицией и тактикой Хаганы, а втайне остаемся всем сердцем с ними, они же, в свою очередь, только делают вид, будто осуждают нашу позицию как слишком воинственную, однако и они до конца с нами... Мы идем к единой цели разными, дополняющими друг друга путями! И если в данное время мы ограничиваемся требованием на незначительную часть территории будущего нашего государства, то это не значит, что, создав свое государство и добившись его признания,

мы не станем всеми силами и средствами добиваться максимального его расширения... Претендовать сразу на многое чревато потерей верного малого! Сейчас не время «дразнить гусей»! Напротив, испрашивая минимум, мы ослабляем бдительность противников, исподволь накапливаем силы для следующего шага, а может быть, и скачка вперед! И тогда, захотят наши противники или не захотят признавать за нами право на присвоение новых земель, они будут поставлены перед свершившимся фактом...

На мгновение Нуци прервал пересказ речи Симона и, самодовольно улыбаясь, сказал:

— И вот здесь я подал реплику: «Победителей не судят! Такова историческая закономерность!» «Это верно, — подтвердил Симон, — но, чтобы стать победителями, надо любыми средствами, не теряя ни минуты, готовить железный кулак! В этом заключается наша прямая обязанность, это нам поручено, и за это все мы в ответе перед нашим многострадальным народом!»

Ионас, все более увлекаясь своей речью, принимал эффектные позы, жестикулировал, точно находился перед многочисленной аудиторией. С особым восторгом он рассказывал Хаиму, как Симон, упомянув о недавних событиях в Испании, подчеркнул, что нет и не будет такого суда, который мог бы привлечь к ответу Муссолини и Гитлера за помощь генералу Франко самолетами и танками, а самого Франко — за переброску в Испанию мавританских войск, прославившихся жестокостью.

— Но представь себе, Хаймолэ, — возбужденно продолжал Ионас, — среди присутствующих нашлись-таки люди, которых испугала программа решительных действий, изложенная нашим Симоном! Один из них, человек пожилой и довольно заслуженный, попытался даже урезонить его... Он утверждал, будто не исключено, что в один прекрасный день от испанского каудильо, немецкого фюрера и итальянского дуче могут потребовать ответа «по большому счету» и воздать с лихвой за все содеянное... Ты понимаешь, на что он намекал?! Можно было бы не обращать внимания на такое выступление, но человек этот как раз у муссолиниевских инструкторов проходил обучение и там совершил подвиг, лишившись при этом руки! Он неспроста занял такую позицию...

— Наверное! — подтвердил Хаим. — Раз ты говоришь, что он такой заслуженный человек, зачем же ему бросать слова на ветер?..

— В том-то и штука!.. — согласился Нуци. — И знаешь, что он еще сказал?

— Тот однорукий?

— Ну да. Он говорил, будто трагизм такой перспективы заключается не в том, что Гитлер, Муссолини, Франко и другие подобные им личности будут жестоко наказаны, а в том, что вместе с ними расплачиваться будут и народы, позволившие вовлечь себя в авантюру!.. При этом он сослался на мудрые слова какого-то пророка, сказавшего, что человеку в полдень известно, чем начался для него день, но ему отнюдь не дано знать, как он кончится... А мы, дескать, находимся лишь на заре осуществления тысячелетней мечты еврейского народа, еще не дожили и до полудня, а уж до конца дня и подавно нам далеко...

— Кто же этот человек? Секрет, что ли? — спросил Хаим.

— Он адвокат. Фигура довольно крупная, но все же я думаю, что наше руководство не потерпит в своей среде этого человека... Ведь, по существу, его позиция предательская! Правда, он не отрицал, что подготовку к воссозданию подлинно независимого национального очага нужно вести, но тут же оговорился: «Ни в коем случае не впадая в крайности...» Что чересчур, то лишнее, говорил он. А планы «Акционс-Комитета» якобы содержат чересчур крутые меры, в которых будто бы нетрудно узреть пренебрежение к тому, от чего тридцать два столетия назад предостерегал сынов своего народа наш великий Моисей...

Пересохшие от жажды губы Ионаса покрылись липкой пленкой. Надо было бы отхлебнуть глоток воды. Но куда там: ему не терпелось рассказать об эпизоде, героем которого был он сам.

— Однорукий, наверное, долго бы еще разглагольствовал, призывая к осторожности, неторопливости и всякое такое, но тут уж мое терпение лопнуло. Я первый, — подчеркнул Нуци, — крикнул ему: «Не пугайте! Мы не из трусливых, а с вашей осторожностью придется ждать еще тридцать два столетия!»

Хвастливо рассказывал Нуци о том, как дружно его поддерживали единомышленники Симона Соломонзона, как неистовым топотом ног и выкриками заглушили голос адвоката, якобы вынудили того, не договорив, сесть на свое место и как в конечном итоге люди, заслуженно именующие себя бейтар-цами-ревизионистами, взяли твердый курс на полную и безоговорочную поддержку «Акционс-Комитета» под девизом «Оружие, раз оно есть, должно стрелять!»

Вскользь Нуци сообщил, что вместе с Симоном Соломонзоном и несколькими хавэрим они всю ночь вырабатывали «отрезвляющие меры», в результате которых кое-кто из колеб-

лющихся уже смещен с занимаемых должностей, а некоторые будут уволены из Экспортно-импортного бюро. Однако Ионас умолчал о том, что тогда же решался вопрос о замене уволенных и что в этой связи зашла речь о Хаиме Волдитере — холузе, прошедшем «акшару» в составе квуца имени Иосифа Трумпельдора. Ничего не сказал он и о том, что именно ему, Нуци Ионасу, было поручено «прощупать» настроение Волдитера, «поднакачать» его, подготовить к активному участию в не подлежащих гласности делах «Иргун цваи леуми»¹²⁹.

Из дальнейших откровений Ионаса Хаим понял, что за спиной всесильного Соломонзона стоит не столько его родной отец, сколько дядюшка, о котором ему приходилось уже слышать. Сам же Симон — всего-навсего доверенное лицо, один из закулисных манипуляторов тщательно законспирированной группы под названием «Иргун цваи леуми» — исполнительницы особых планов «Акционс-Комитета» и отчасти того же тайнственного дядюшки.

Нуци явно избегал говорить о том, что конкретно предстоит делать группе «Иргун цваи леуми», но чтобы «прощупать» Хаима, завел речь о нашумевшем событии — о гибели «трансатлантика». И не то по неосторожности, не то под действием винных паров проболтался, сказал больше того, что хотел. Хаим понял, что взрыв на «трансатлантике» — дело рук людей из «Иргун цваи леуми» и что этот варварский акт был санкционирован верхушкой «Акционс-Комитета».

— Думаешь, наши хавэрим не нашли бы общего языка с англичанами, если бы речь шла только об иммигрантах? Чепуха! — говорил Нуци. — Конечно, это было бы не очень-то просто. Они, сволочи, как ни говори, жестоко преследуют за нарушение установленного ограничения на иммиграцию... И все же обошлось бы, уверен в этом!

— А с «цементом», — спросил Хаим, имея в виду оружие, обнаруженное англичанами в бочках из-под цемента, — удалось бы тоже уладить?

— Какой еще цемент?! — не сразу поняв, о чем говорит Хаим, сердито ответил Ионас. — Цемент можно было бы везти на обычном «грузовике»... Впрочем, ты прав... Ты же видел, что было в этих бочках. Полный ведь трюм! И нужно оно нам сейчас позарез! Но что поделаешь?! Пришлось пустить ко дну... И знаешь, почему?

— Наверное, чтобы не отдать его англичанам, — неуверенно ответил Хаим.

¹²⁹ Национальная военизированная организация.

— Правильно, Хаймолэ! Англичане — наши враги, и снабжать их оружием нет никакого резона! Однако это не все... Главное в том, откуда оно прибыло, клеймо какой страны стоит на нем и в чьих руках в настоящее время находится эта страна!

Хаим вспомнил, что на оружии, извлеченном английскими матросами из трюма «трансатлантика», стояло клеймо чехословацкого оружейного завода «Шкода» и что тогда же на пароходе кое-кто из пассажиров удивлялся, каким образом оно могло оказаться в транспорте, предназначенном для холуцев Палестины. Хаим также вспомнил, сколь различные догадки высказывали тогда пассажиры по этому поводу, тем не менее никто не допускал и мысли, что оружие могло быть получено непосредственно от немцев... Абсурд! Правда, кое-кто хитро усмехнулся, но и только. Однако мало кто из сопровождавших бочки с «цементом», даже Нуци Ионас, готовившийся к их приемке, знал, что оружие поставляет абвер — разведуправление при германском генеральном штабе. Этот вопрос входил в компетенцию более высокопоставленных кругов, в частности некоторых лиц из Экспортно-импортного бюро хавэра Соломонсона...

Ионасу, однако, доставляло истинное наслаждение блеснуть перед другом своей осведомленностью, и он доверительно поведал Хаиму о некоторых обстоятельствах и соображениях, приведших к необходимости потопить «трансатлантик». Он сообщил, в частности, что англичане наложили секвестр на судно и обнаруженное в трюме оружие и были намерены по прибытии корабля в Хайфу не просто изъять оружие, но поднять при этом шумиху на весь мир по поводу того, что оно доставлено из гитлеровской Германии и оккупированных ею стран, что сделано это, конечно, с ведома нацистских главарей и предназначено, разумеется, для борьбы с арабами и, возможно, с англичанами.

— Они непременно устроили бы всякие пресс-конференции, — произнес Нуци, — и демонстрировали бы на них образцы оружия, как вещественные доказательства наших связей с нацистами!.. Ты представляешь себе, в каком дурацком положении оказались бы наши хавэрим из «Акционс-Комитета»?! Ведь само «Еврейское агентство» находится не где-нибудь, а в Вашингтоне! — воскликнул Нуци. — Но мы разрушили их планы: пустили на дно вещественные доказательства — и делу конец! При этом и Хагана осталась в стороне, никто не сможет теперь доказать ее причастность к этому делу, и наши хавэрим остались «за занавесом»... Ты понял, Хаймолэ? А англичане помалкивают! Конечно, они могли бы и без

вещественных доказательств изрядно пошуметь, но... все течет, все меняется, сейчас это им уже не выгодно.

Нуци объяснил, что в последнее время немцы основательно прижали англичан и не в их интересах сегодня осложнять свое положение в Палестине, тем более что руководство «Еврейского агентства» в Америке поддерживает Палестину.

— Теперь не в интересах Британии, — доказывал Нуци, — обострять, как они делали обычно, наши отношения с арабами, которые и без того обострены до предела... Берлинский ставленник — великий муфтий Иерусалима — тоже не дремлет. Ему такой случай только подай.

— Вот, оказывается, почему англичане помалкивают, делая вид, будто верят, что взрыв на «трансатлантике» произошел по чистой случайности!..

Откровения охмелевшего Ионаса привели Хаима в полное смятение. Его поразило, что, разглагольствуя об этой трагедии, Нуци ни единым словом не упомянул о гибели сотен ни в чем не повинных людей. Ему стало жутко от сознания того, что они, Ойя и сам он, могли погибнуть, как бессловесные, никому не нужные, жалкие твари. Он уже невникал в смысл того, о чем продолжал говорить Нуци, и неожиданно для себя прервал его, спросив, казалось бы, совсем не к месту:

— А люди? Много детей, женщин! Или на них тоже было иностранное клеймо?!

Нуци недоумевающе посмотрел на Хаима. Потом, нахмурившись, несколько мгновений напряженно соображал, о каких детях и женщинах толкует приятель и при чем тут какое-то иностранное клеймо. Когда же наконец понял, облегченно махнул рукой и произнес равнодушным тоном:

— Это ты о пассажирах?.. Ну, от судьбы не уйдешь, Хаймолэ! Здесь на карту ставится гораздо больше, чем человеческая жизнь... И вообще, в жизни одним суждено опуститься на дно, другим задержаться на поверхности, а третьим предназначено руководить и оставаться «за занавесом»... И не будь этих последних, сидели бы мы там, откуда приехали, и ждали бы, когда бог ниспошлет нам мессию... Но тогда не было бы здесь ни меня, ни тебя, не встретил бы ты Ойю, не получил бы работу в Экспортно-импортном бюро, да и самого бюро-то не существовало бы в природе!.. Спросишь, почему я так говорю? Отвечу. Пожалуйста! Я человек не гордый, но хочу, чтобы ты, Хаймолэ, понял все так, как надо!

Нуци наконец выпил стакан остывшего кофе, поданный ему Ойей, облегченно вздохнул. Но, видимо, хмель еще не прошел и потребность в разговоре не исчезла, поэтому он, пройдясь по комнате, остановился перед Хаимом.

— Представляешь, — продолжал он, в упор рассматривая Хаима, — что было бы, если б, к примеру, деятельность такого человека, как Теплиц, не оставалась скрытой «за занавесом»? Это же фигура! Во всем мире таких зубров раз-два — и обчелся! А ты, между прочим, когда-нибудь слышал эту фамилию? Знаешь, кто этот человек?

— Откуда мне знать, — съязвил Хаим, — если он скрыт «за занавесом»?!

— Провинциал ты, Хаймолэ! Но ничего... Я тебя сделаю человеком! Так вот, Теплиц — это величина! Астрономическая величина! И тебе это надо знать...

Ионас почти не преувеличивал. Теплиц в самом деле был незаурядной личностью и могущественной персоной даже в узкой среде воротил финансовой олигархии. Он в рекордно короткий срок сумел в свое время покрыть горный хребет Альп с его многочисленными реками и озерами густой и сложной сетью гидроэлектростанций с высоковольтными турбинами. В результате Италия, прежде остро нуждавшаяся в электроэнергии, готова была экспортировать ее соседним странам. Отпала тягостная зависимость итальянской промышленности от ввоза каменного угля из-за рубежа. Джузеппе Теплиц и его сын Лодовико стали фактическими владельцами важнейших отраслей хозяйства страны. И, конечно же, соответственно их господству в экономике возросло и их влияние в политике... Еще задолго до того, как будущий вождь чернорубашечников двинул в поход из Милана на Рим свои «фасчио ди комбаттименто»¹³⁰, банкир Джузеппе Теплиц уже финансировал его газетенку «Пополо д'Италия», а позднее стал финансовым экспертом номер один «Восточной Римской империи».

Ионас все еще продолжал восторженно приводить новые и новые данные, подтверждающие могущество семьи Теплиц, большую зависимость от нее самого Бенито Муссолини и его личную дружбу с Джузеппе и Лодовико Теплиц.

— Ну и черт с ними, с этими Теплицами! — потеряв терпение, вдруг выпалил Хаим. — Богатых людей на свете немало. И если они люди, как ты говоришь, башковитые, то нам с тобой от этого ровным счетом ни тепло, ни холодно... Так ведь, Нуцик?

Нуци Ионас тупо уставился на Хаима, долго молчал, наконец, словно рассуждая сам с собой, со вздохом тихо сказал:

— Боюсь, что этот холуц не только до мозга костей провинциал, а много того хуже...

¹³⁰ Бойцы фашистской партии (итал.).

Хаим встревожился. В этой произвольной реплике он почувствовал нотку отчуждения и даже враждебности к себе Ионаса, человека, которого считал своим искренним другом.

— Не обижайся, Нуцик! — взмолился Хаим. — Я просто так сказал, ей-богу! Все, что ты рассказал, очень интересно, но куда больше меня интересует собственная судьба, забота о куске хлеба... Потому я и сказал, что нет мне дела до этих Теплицев...

— А вот представь себе, есть у тебя самое прямое дело «до этих Теплицев»! — сердито прервал его Нуци. — Самое непосредственное!

— Извини, но до меня что-то не доходит, ей-богу!

— А ты вообще, по-моему, родился в товарном поезде... До тебя все доходит с опозданием!..

— Ну зачем ты так?

— Да затем, — вскипел Нуци, — что, не будь этих Джузеппе и Лодовико Теплиц, сидел бы ты со своей Ойей впроголодь на «пункте сбора» и ждал, когда наконец возьмут вас в какой-нибудь киббуц на самой границе с Сирией, где днем, не разгибаясь, работают в поле, а ночью, дрожа от страха, дежурят с винтовкой на плече, остерегаясь внезапного нападения бедуинов!

— За то, что ты привез нас сюда, я тебе бесконечно благодарен. И ты это знаешь, — тихо произнес Хаим. — Но ты все время чего-то не договариваешь, Нуцик, и я действительно не понимаю, почему я должен быть обязан какому-то Теплицу за то, что сделал для меня ты?! Ей-богу так, Нуцик!

— Да потому, — воскликнул Нуци, — что Джузеппе Теплиц — дед, а сын его Лодовико — дядя нашего Симона по материнской линии! Теперь-то, надеюсь, понял?

Хаим почесал затылок, сморщил лоб, пожал плечами.

— Может быть, я действительно провинциал, Нуцик, но честно тебе признаюсь, я и сейчас не пойму, как это какие-то Джузеппе и Лодовики могут быть близкими родственниками Соломонзона?! Убей, не понимаю...

Нуци окончательно рассвирепел. Нетерпеливо стал он рассказывать Хаиму, как в давние времена после очередного погрома еще совсем молодой Теплиц, и вовсе не Джузеппе, эмигрировал из Галиции и долгое время скитался, пока не нажил капитал и не превратился в Джузеппе Теплица.

— Что ж получается? — удивленно и не без горечи произнес Хаим. — Его колотили антисемиты, а он теперь с фашистами заодно?

Нуци тяжело вздохнул.

— Как ты будешь работать на новой должности, я понятия не имею... Иногда вроде бы разумно рассуждаешь, мыслишь, как вполне нормальный человек, а иной раз такое отмочишь, что уши вянут!.. Вот скажи мне, пожалуйста, разве имеет значение, что один — фашист, а другой — еврей, если оба они извлекают из взаимной сделки большую выгоду? Или ты думаешь, что оружие нам падает с неба, а фунты и доллары мы собираем, как грибы в лесу? Надо же все-таки немного пошевеливать мозгами, холуц Хаим-бен-Исраэль Волдистер!

Хаим почувствовал себя школьником, по недоразумению попавшим в коммерческую академию. Он покорно слушал и уже не удивлялся, когда Ионас стал в качестве примеров называть имена и фамилии некоторых директоров крупнейших банков Европы, в частности Италии — Альберто Адлера и Чезаре Гольдмана.

— Может быть, ты думаешь, что они чистокровные римляне? — ухмыляясь, спросил Нуци. — Ничего подобного! Наши. А небезызвестный делец-финансист Кастельони, по-твоему, кто? Сын раввина из Триеста... Да, представь себе! И, между прочим, во главе правления известнейших итальянских военных заводов «Ансальдо» стоит Исай Леви... Этот, правда, не менял своего «ярлыка»! И, кстати, тебе не мешает знать, что наш Симон только здесь стал Соломонзоном, тогда как проживающий в Румынии его отец с тех самых пор, когда был он в Вене уполномоченным рурских промышленников и там же директором «Дойче банк», прекрасно себя чувствует, присвоив фамилию Саломсен!

Хаим ничему больше не удивлялся и ничего не спрашивал, опасаясь попасть впросак и снова обнаружить свою «провинциальность». А Ионас, полагая, что ему наконец-то удалось убедить Хаима, торжественно заключил:

— Теперь ты представляешь себе, какие головы за нас с тобой думают? Так что можешь не беспокоиться, Хаймолэ, тут все делается на солидной основе! И неспроста наш Симон на днях сказал, что недалеко то время, когда голубые рубахи хавэрим из «Иргун цваи леуми» будут хозяйничать на палестинских землях от Евфрата до Нила!.. Понял, провинциал ты бессарабский?!

Хаим понял. Понял, что голуборубашечники, которыми руководит Симон Соломонзон в Палестине, так же как чернорубашечники итальянского дуче, коричневорубашечники германского фюрера и молодчики румынского вожака легионеров Хории Симы, щеголяющие в зеленых рубахах, действуют, никого не щадя и не иначе, как с помощью взрывчатки, пуль

и ножей... Он понял еще, что все они сродни друг другу и что за их спинами действительно стоят такие «головы», как мультимиллионер Теплиц. Понял Хаим и ужаснулся...

21

Типограф Рузичлер с нетерпением ждал возвращения Гаснера из Бухареста. Он нужен был ему по одному щекотливому и не терпящему отлагательства делу. Не раз в ходе раздумий он отказывался от намерения обратиться к мануфактурщику, которого глубоко презирал, искал другой ход, пытался найти еще кого-нибудь, но тщетно. И снова и снова он возвращался к персоне Гаснера, скрупулезно взвешивая его возможности выволить из рук полиции ни в чем не повинного юношу. Рузичлер знал, что мануфактурщик редко, но все же бывает в еврейской общине, что с ним там считаются, не потому, правда, что на плечах у него светлая голова, а в груди доброе, отзывчивое сердце, а лишь потому, что карманы его туго набиты деньгами. Знал прекрасно Рузичлер и то, что в последнее время мануфактурщик стал делать кое-какие взносы в фонд «Керен-кайемер», изредка жертвовать для общины незначительные суммы. Удалось и обществу «Гардония» урвать у него денег на вербовку молодежи для эмиграции в Палестину. Знал типограф и то, что Гаснер отправил кругленькую сумму в «страну отцов» на покупку себе земельного участка, так сказать «на всякий случай»... Произошло это года полтора тому назад, когда к власти пришло коалиционное правительство Гога-Куза и в течение одной ночи свастика с хищным орлом грозно нависла над королевским гербом с двумя чахлыми львами, с трудом удерживавшими корону...

Гаснер особенно засуетился, когда узнал, что примария намерена принять постановление о бойкоте товаров и магазинов, принадлежащих евреям.

— И что? Власти могут разве запретить, скажем, болгарам и русским, молдаванам и гагаузам покупать в моем магазине? — удивлялся Гаснер. — Как это можно?

Ему ответили: «Все еще возможно, ибо все уже бывало... В Германии с этого начинал Адольф Гитлер...»

А вечером некие молодые люди уже устроили факельное шествие по городу, мазали на стенах домов, принадлежавших евреям, шестиугольные звезды, разбивали витрины магазинов, потрошили лавчонки и хором кричали: «Жидов — в Палестину! Коммунистов — на фонарь!»

По приказу главы местного филиала «Железной гвардии» Попа-старшего по городу были расклеены листовки с предельно коротким, но весьма выразительным текстом: «Христиане! Не переступайте пороги магазинов с иудейскими товарами! Они пропитаны вашей кровью!»

Витрины магазина Гаснера уцелели. Их спас Статеску. Но когда растроганный мануфактурщик попытался поблагодарить сыщика, тот притворился глухим и даже не остановился. Сыщик остерегался посторонних глаз! Кругом уже шныряли люди со свастикой на нарукавной повязке. Прежде никто их и не знал, не слышал, не видел. Хотя они не с неба упали. Жили до тех пор молча, тихо, смиренно. И вдруг, точно грибы после дождя, повылезали наружу, запрудили местные учреждения. Они требовали, приказывали и угрозы свои старались незамедлительно приводить в исполнение. Их боялись все, включая и самого сыщика Статеску...

Гаснер испугался. Такой афронт со стороны представителя властей, которого он, казалось бы, давно уже купил со всеми его потрохами, заставил коммерсанта призадуматься. Тогда-то мануфактурщик и отправил крупную сумму в Палестину.

— Надо же как-то обеспечить себя, — говорил он, — если тут вдруг колесо повернется не в ту сторону! Ну, а долго так может продолжаться? К чему мы придем? И вообще, что станет с торговлей, с коммерцией, с самой жизнью?

В те дни мануфактурщик ходил как пришибленный. Но режим откровенной фашистской диктатуры продержался недолго. Гаснер прозвал этот отрезок времени «сорок траурных дней — от распятия до вознесения, но без воскресения!» И при встрече с коммерсантами хвастался, что лично Статеску глубокой ночью сообщил ему радостную весть о низвержении правительства Гога-Куза.

— За эту весточку он уже получил от меня такое! Такое!.. — продолжал Гаснер, — что трудно выразить одними словами... Уж как-нибудь!

Рузичлер знал и это. О многом ему рассказывал сынок сыщика, работавший учеником в типографии. И вот, обдумывая, стоит ли обращаться к мануфактурщику, Рузичлер пришел к выводу, что только Гаснер с надеждой на успех может попросить Статеску выручить парня из беды. Но захочет ли мануфактурщик сделать это доброе дело? Осталась ли в нем капля совести, хоть чуточку человечности? Только это смущало Рузичлера. Но другого выхода не было, и типограф решился на крайне неприятный для себя визит к презренному коммерсанту.

А Гаснер, словно нарочно, задерживался. С неделю назад он уехал в Бухарест за товарами, мечтал денек-другой побывать у своей белокурой Мими. Однако после того случая, когда в номере отеля «Палас» неожиданно появился Лулу Митреску, которого Мими назвала братом, у Гаснера отпала охота возобновлять с ней роман... Он опасался снова встретиться у Мими ее брата, боялся, что тот опять попытается залезть в его карман, и она вlepит ему очередную пощечину, а заодно и ему, Гаснеру, как это случилось в тот памятный вечер. Правда, вначале братец Мими вел себя безукоризненно, солидно: говорил с апломбом сведущего человека из высшего общества и был весьма галантен — заказал лучшее французское шампанское, рассыпался в любезностях, обещал познакомить с влиятельными людьми высших сфер столицы, толковал о величии иудейской нации, давшей миру Иисуса Христа!..

Гаснер растрогался: «Таки-да славный молодой человек, этот твой брат! Нет?» Мими хохотала. У нее были ровные и белые, как жемчуг, зубы. Гаснер млел. Неожиданно он спохватился: «У-ва! Портмоне у меня исчезло!» Оно оказалось в кармане «славного молодого человека». Благодаря энергичным действиям хрупкой Мими, портмоне перекочевало обратно к его владельцу, но в придачу к нему Гаснер получил багровый синяк под левым глазом и царапину на щеке. Пальцы Мими были унизаны серебряными кольцами с дешевыми камнями. Они-то и оставили заметный след на физиономии коммерсанта, получившего пощечину за оскорбление, нанесенное даме. Портмоне было густо набито купюрами, и Гаснер решил, что его любимая сработала заодно с галантным братом. Мануфактурщик ошибся. Зато убедился в честности белокурой обитательницы отеля, которая крепким пинком выдворила из номера и его, и Лулу Митреску. «Но рука у нее такая! Такая тяжелая, — причитал Гаснер, держась за щеку, — что не мешало бы ей отсохнуть хотя бы лет на десять!»

Мануфактурщик не знал, что брата Мими нет в Бухаресте, что в тот самый день, когда Гаснер выехал в столицу, в Болград прибыл Лулу и что ночью того же дня произошел взрыв на электростанции...

Дважды в день типограф справлялся у приказчика мануфактурного магазина Кирюши, не приехал ли хозяин. Когда же наконец Гаснер вернулся, типограф тотчас же зашел к нему в магазин. Мануфактурщик расплылся в улыбке. Он решил, что Рузичлер намерен сделать хорошую покупку. И он стал расхваливать поступивший из Бухареста товар. Од-

нако тот слушал равнодушно, думая о другом. Гаснер смекнул: «Чего же тогда гордец-типограф заявился? Собирается о чем-то поговорить?»

Гаснер насторожился, полагая, что речь пойдет, конечно, о деньгах. Желая вовсе избежать разговора на эту тему, он сказал, что занят сейчас по горло приемкой большой партии мануфактуры, закупленной в Бухаресте.

— Полный ассортимент на весну! — хвастался он. — Пока другие мануфактурщики еще только раскачиваются поехать за товаром, у меня уже все в наличии! А французский крепдешин и бельгийский файдешин, как, между прочим, и английский бостон, они вообще уже не получают... Война! Понимаете? И все, что там еще оставалось, я забрал до последнего метра... Знаете, на сколько? Угадайте!

Рузичлер пожал плечами.

— На мил-ли-он! — Гаснер закатил от удовольствия глаза и, горько вдруг усмехнувшись, заключил: — Зато остался без единой леи в кармане... Я же покупаю только за наличные! Ни векселя, ни кредит, ни гарантии для меня не существуют! Проценты им платить? Хорошую болячку я могу им дать в оба бока...

Рузичлер, конечно, понял, к чему клонит мануфактурщик, и поспешил успокоить его, сказав, что не намерен просить денег в долг или товара в кредит.

— Нет, я как раз об этом сейчас не подумал, — случавил Гаснер и, облегченно вздохнув, продолжал: — А почему? Потому что я знаю, что вы знаете: я могу дать все что угодно, даже жену! Хотите? Еще приплачу. Но деньги в долг и товар в кредит не даю. Такая у меня болезнь. Неизлечимая!

В магазине Гаснера, над кассой-конторкой, висела табличка с надписью: «Cui îi dai pe datorie, nu-l mai vezi în prăvălie»¹³¹.

Указав на эту табличку, типограф шутливо заметил:

— Как вы знаете, я займы у вас не брал, но это не мешало мне совсем не бывать в вашем магазине... И теперь, как я уже сказал вам, я пришел поговорить совершенно о другом...

— Раз так, — не совсем уверенно ответил Гаснер, — тогда приходите вечером... Прямо домой.

— А это удобно?

— Почему нет? Я же не зверь! Приходите...

Рузичлер и Гаснер иногда по несколько раз в день встречались на улицах города, но никогда не бывали друг у друга

¹³¹ Кому даешь займы ненадолго, того не увидишь в магазине очень долго (рум.).

дома. И встречаясь, всегда обменивались колкостями. Сейчас, отправляясь к Гаснеру с визитом на дом, Рузичлер оказался в затруднительном положении. С одной стороны, ему во что бы то ни стало нужно было добиться расположения Гаснера и, значит, следовало обходиться с ним на этот раз более любезно, чем обычно, с другой стороны, он не хотел дать ему ни малейшего повода считать, будто отныне между ними произошло сближение. Уж очень типограф не любил мануфактурщика.

Гаснер же, действительно, рассчитывал использовать этот визит для того, чтобы заставить типографа относиться к себе с уважением, которого он, по его мнению, заслуживал. И лучшее средство для достижения этой цели, с его точки зрения, состояло в том, чтобы ошеломить гостя великолепием и богатством своей домашней обстановки. Драгоценное имущество, обычно хранившееся в шкафах и сундуках за семью замками, по велению Гаснера было извлечено на свет божий. С пианино и дивана, со стульев и кресел были сняты чехлы, полы устланы персидскими коврами, на стенах появились старинные гобелены, на окнах — плюшевые портьеры и новые тюлевые занавески; будничный чайный сервиз заменен другим, из саксонского фарфора, две современные горки с инкрустацией и бронзовой окантовкой битком набиты разнотильными серебряными и позолоченными, фарфоровыми и фаянсовыми статуэтками и столы же разнородной, но ценной посудой, безделушками, предметами гостинной сервировки. Все было запружено, забито и лучшее из лучшего выставлено напоказ, как на витрине магазина.

Мануфактурщик и его супруга встретили гостя в передней. Гаснер провел его в гостиную, пригласил к столу, предупредительно подвинул стул с высокой резной спинкой и все время зорко наблюдал за выражением лица Рузичлера. Он сгорал от нетерпения убедиться, как потрясен типограф всем, что предстало перед его взором, как он растерян и подавлен от сознания его, Гаснера, богатства, а следовательно, и могущества. Но Рузичлер равнодушно глянул по сторонам, присев к столу, на мгновение иронически улыбнулся, должно быть, догадываясь о назначении всей выставки драгоценностей, и хотел было начать деловой разговор, как в гостиную вошла жена Гаснера.

— Вы не выпьете стакан чая? — обращаясь к гостю, сказала она, то ли желая угостить, то ли, наоборот, избавиться от необходимости его потчевать. — А может быть, попробуете наше варенье?

Рузичлер поблагодарил, но отказался.

— Можно и с лимончиком, если хотите, — не унималась госпожа Гаснер, видя, что гость действительно отказывается от угощения. — Мой Гаснер как раз привез из Букурешта пару лимончиков... Ну, так не будете или будете? Не стесняйтесь!

— Еще раз спасибо, но я право же ничего не хочу, — сдержанно ответил Рузичлер, надеясь, что женщина отстанет наконец от него и удалится. Однако она, как и Гаснер, жаждала услышать из уст типографа восторженные отзывы о богатстве их домашней обстановки. Ведь столько сил было приложено, чтобы ошеломить его! «А он сидит себе, как истукан, ничего не говорит, ничего не хочет, никак не реагирует на все, что есть, слава богу, в доме! — подумала жена мануфактурщика, не зная, как ей быть дальше. — И неужели он-таки ничего не скажет?»

Гаснер уже догадывался, что присутствие жены мешает Рузичлеру начать деловой разговор, и именно поэтому, в унисон супруге, стал убеждать гостя выпить с ним чая. Он предчувствовал, что предстоящий разговор может поставить его в неловкое положение и что он вынужден будет отказать типографу. К тому же его, как и госпожу Гаснер, приводило в бешенство то обстоятельство, что Рузичлер, словно слепой, спокойно взирал на окружающие его чудесные вещи, о которых он не мог даже мечтать! И Гаснер уже настраивался сказать гостю что-нибудь язвительное, но тот опередил его.

— Прошу меня извинить, — сказал он. — Я хотел бы переговорить только лично с вами, господин Гаснер, об одном деле... Не обижайтесь, пожалуйста!

— Ну конечно же! Какое мне дело до ваших дел? — с оттенком обиды ответила жена мануфактурщика. — Пожалуйста, пожалуйста, говорите себе на здоровье! Я хотела только, чтобы вы попробовали наше варенье и выпили стаканчик чая с лимончиком... Вот и всё! А вы что думали?

Рузичлер снова поблагодарил, извинился, и госпожа удалась.

— Вы пейте свой чай, — сказал типограф, обращаясь к Гаснеру, — а я расскажу суть дела... Не возражаете?

— Чего вдруг я должен возражать!? — ответил Гаснер несколько сконфуженно и почему-то побледнел. — Хотя можно было бы и вам говорить и пить чай тоже! Но раз вы не хотите, так пусть будет по-вашему... Из-за этого мы же не поссоримся?!

Прежде чем начать деловой разговор, Рузичлер глубоко вздохнул, будто собирался нырнуть в воду или пройти мимо чего-то дурно пахнущего.

— Вы уже знаете, очевидно, что в ночь вашего отъезда в Бухарест на казенной электростанции и в бане...

— Произошел взрыв! — перебил типографа Гаснер, показывая свою осведомленность. — Убиты механик и девушка какая-то... Слыхал, как же!

— Тогда, очевидно, знаете и то, что учеником на электростанции работал сын Бениамовича?

— Что там работал этот мальчик, я не знал, конечно. Вы же понимаете... Тоже мне большая личность! Но кто такой его папочка, я знаю. Ну и что?

— Так вот, мальчик Бениамовича арестован.

— У-ва!..

— Да, плохо.

— Что же такое мог натворить этот мальчонка, что ему оказала честь полиция?

— Арестовала его не полиция, а сигуранца...

Гаснер соорудил скорбную мину, но продолжал размеренно поглощать варенье и запивать его маленькими глотками чая.

— Сигуранца считает, что парень причастен к устройству взрыва... Чепуха, конечно! Мне думается, что все это было подстроено. Подходящий случай! Отец мальчика коммунист, сидит в тюрьме. Теперь хотят придать этому делу нужную фашистам окраску...

— Вы так думаете? — удивился Гаснер.

— Уверен, что так!

— Чтобы арестовали парня, даже если он не виновен?! Что-то не верится... Наверное, он все же что-нибудь нашкодил... А? Просто так схватят?

— Выслушайте меня, — прервал Рузичлер, стараясь говорить спокойно. — Вот как все происходило. Мальчик заливал масло в машинном отделении. Это где-то внизу, в подвале. Когда он поднялся наверх с масленкой в руках, то увидел по другую сторону мотора каких-то людей в черных балахонах и в масках. Он подумал, что пришли ряженые и дурачатся. В тот новогодний вечер их ходило много. Но один из мнимых ряженых подошел к мальчику и чем-то сильно ударил его по голове. Мальчик упал, потерял сознание, а когда очнулся, то оказался во дворе, лежащим лицом в снег. Он зашевелился, стал подыматься, и в этот момент произошел взрыв... Парень испугался и изо всех сил побежал домой. Вот и все...

Гаснер молчал, продолжая пить чай.

Рузичлер обратил внимание мануфактурщика на то, что сам факт гибели машиниста и девушки-диспетчера, тогда как

динамомашина и огромный дизельный мотор почти не получили повреждений, весьма подозрителен...

— Разрушен только угол здания. Его уже заделали, и, как видите, электростанция работает! — указывая на горевшие в люстре лампочки, сказал типограф. — Нашли козла отпущения...

Гаснер медленно допивал чай, задумчиво слушал и, как бы опомнившись, с удивлением сказал:

— Все это так или не так, мы с вами, конечно, не знаем... Но при чем тут я? Или вы хотите, наверное, чтобы я вмешался в это дело?

— Безусловно!

Гаснер ухмыльнулся.

— Но вы подумали, — сказал он спокойным тоном, — кто я такой, чтобы вмешиваться в такие дела? Я всего-навсего коммерсант. Не больше и не меньше! Обыкновенный коммерсант. Правда, в городе меня уважают, даже почитают, мне доверяют, в примарии со мной считаются, и везде я у них на хорошем счету. А почему? Аккуратненько плачу налог казне, не жульничаю с марками авиации, как это позволяют себе делать другие. Тут у меня полный порядок! Но я вас спрашиваю, какое все это имеет значение? Взрыв же устроили не коммерсанты, а какие-то бунтари, или как там они называются!?

Рузичлер помедлил с ответом, стараясь сдерживать нараставший гнев.

— Во-первых, прежде чем идти сюда, я хорошенько подумал о ваших возможностях, — медленно заговорил он. — Мальчик, как я уже сказал, не виноват. Это ясно даже ребенку. Сигуранце также. Тем не менее они истязают его, добиваются, чтобы он стал наговаривать на себя и, кто знает, еще на кого... Кончится тем, что он либо погибнет от побоев, либо останется калекой. Во-вторых, его мать тоже не выдержит. Она и без того несколько лет прикована к постели...

— Это я знаю, — с ноткой сочувствия произнес Гаснер. — Учила наших детей! И у меня к ней, как к учительнице, нет никаких претензий. Боже упаси!

— Ну вот, видите? Учила ваших детей, а ей сейчас не разрешают давать уроки даже у себя дома!.. И община наша отказала ей в помощи.

— Минуточку, минуточку! — вдруг просиял Гаснер. — Что же вы хотите? Община отказывается ей помогать, а Гаснер, обыкновенный коммерсант, должен всех переплюнуть? Притом против ветра?! Спасибо!..

— Нет! Община не хочет ей помочь только потому, что ее

муж коммунист и за это сидит в тюрьме... Это вы прекрасно понимаете...

— Понимаю. Не отказываюсь. Так что с того? Я же только коммерсант и...

— Неправда! — перебил типограф. — Вы не только коммерсант. Вы в хороших отношениях со всеми в примарии, да и в полиции, и в сигуранце, а с сыщиком Статеску вы даже дружите! Этого достаточно, чтобы повлиять на них, выручить мальчика!

— Вам легко говорить «повлиять»! С таким же успехом я могу сказать, что и вы дружите с сыщиком Статеску и тоже можете его попросить: это у вас ведь в типографии учится его сынок, и не я, а вы должны из него сделать печатника! А какие у меня отношения с сыщиком? Просто он помогает иногда, чтобы не придирались, когда приходится по воскресеньям торговать со двора или после закрытия магазина принимать покупателей! Вот и всё. И во сколько это мне обходится, страшно подумать! Но что делать? Торговать же надо как-то...

Рузичлер знал, что мануфактурщик не страдает sentimentalностью и не так-то легко вызвать у него сочувствие к страдающим. Убедившись в этом лишний раз, он попытался сыграть на его националистических чувствах... «Не может быть, чтобы не удалось его сломить, — размышлял Рузичлер. — Денежки-то он все-таки отправил в Палестину на покупку земельного участка?!»

Рузичлер начал издалека, стараясь смягчить богача, даже согласился с его доводами.

— Тут вы абсолютно правы! Торгуйте себе, как торговали, — сказал он, — но мальчику все же надо помочь?! В конце концов, это же еврейский парень! Ведь сионистам из «Гардонии» вы помогаете?! Подбрасываете им деньги на эмиграцию!? Вот и подбросьте — не деньги, конечно, нет, а лишь несколько слов сыщику Статеску! Вы это умеете, когда вам хочется...

— Ах, вот оно что!? — взъярился Гаснер. — По-вашему выходит, если я еврей, так что? Должен всем евреям помогать?

— Почему всем? Только безвинному мальчику и его матери, которая учила ваших детей! Только! Вы можете и должны им помочь! Ведь вы прекрасно понимаете, что мальчику предъявили ложное обвинение, что кому-то надо обвинить во взрыве именно еврея, именно потому, что его отец сидит в тюрьме, чтобы на этом сыграть!..

— Это мы с вами так думаем, а кто знает, как там было на самом деле!? И потом, пусть так, пусть иначе, но при чем

тут я? Станный вы человек, честное слово! Подумайте только: фашистам надо одно, коммунистам — другое, а мануфактурист Гаснер, которому не нужно ни того, ни другого, должен, по вашему мнению, вступить в драку между ними! Выходит-таки красиво: Гитлер заказывает музыку, наши легионеры пляшут, коммунисты обдeldывают свое дело, а за все должен расплачиваться кто? Гаснер!.. Оставьте меня, ради бога, в покое. У меня магазин, и я торговец мануфактурой, а не адвокат, чтобы заниматься освобождением людей из сигуранцы!.. И, вообще, очень может быть, что этот мальчик, как и его папочка, из числа тех, которые витают в облаках и хотя-т, видите ли, мир переделать... Такие люди способны на все. Я уже хорошо их знаю, не беспокойтесь!

Наконец-то Гаснер заговорил вполне откровенно, и Рузичлер понял, что этот человек ради своего благополучия и пальцем не шевельнет, чтобы помочь кому бы то ни было.

— Приспосабливайтесь, — в упор глядя на Гаснера, со злостью заговорил Рузичлер. — Бойтесь не угодить подонкам господина Попа! Думаете, что всякий владелец магазина и миллионов в банке для них свой? Ошибаетесь! Вы были и останетесь для них евреем... И когда такие, как ваш приятель Статеску и дружки господина Попа с сынком, будут вешать иудеев, висеть и вам на той же виселице... Не воображайте, будто субсидируя сионистиков из «Гардонии» или подбрасывая мелочишку общине, вы делаете большое дело для спасения еврейского народа! Нет, господин Гаснер! Вы все равно его предаете, так же как предаете ни в чем не повинного мальчика и его несчастную мать!

— Может быть, скажете, что и его отца тоже я предаю?! — сязвил Гаснер. — Он же тоже еврей!

— Что касается отца мальчика Бениамовича, то смею вас заверить, он не нуждается в помощи миллионера Гаснера, а наоборот: Гаснер может только мечтать о помощи таких людей, как Бениамович, когда это им приспичит... Еще приспичит, не торопитесь... А этот человек боролся против фашистов, вы же в дружбе с ними, но все равно висеть вам на одной виселице с нищими иудеями...

— За меня не волнуйтесь! А вот вам надо бы побереечь свою голову... Да, да! — вспылil мануфактурщик. Его лицо покрылось крупными каплями пота, словно он вышел из парилки. — И, пожалуйста, не приходите ко мне с такими разговорами. Вы типограф? Вот и печатайте себе всякую макулатуру, а меня не трогайте. Я же не трогаю вас!? Что касается того, хороший я иудей или плохой, не ваше это дело!

— Вы не иудей, Гаснер, нет... Вы иуда! Это большая разница...

— Уходите из моего дома! — вскочив со стула, затрясся Гаснер, точно в лихорадке. — Уходите, слышите!?.. Или я сейчас вызову полицейского!

— Замолчите! — цыкнул на мануфактурщика типограф и резко поднялся из-за стола. — Не то я расшибу вот эту банку с вареньем о вашу голову!.. Я и раньше знал, какой вы негодяй, но все еще надеялся, что хоть чуточку человеческого в вас осталось, однако ошибся. Стопроцентный мерзавец! И, помяните мое слово, — вы еще за это поплатитесь...

Рузичлеру хотелось бежать из дома мануфактурщика, но он сдержал себя и, не сказав больше ни слова и не взглянув на Гаснера, медленно удалился. Однако не успел он перешагнуть порог, как увидел притаившуюся в испуге жену богача. Все это время, оказывается, она стояла за дверью... Типограф бросил на женщину презрительный взгляд и, не прощаясь, пошел к выходу.

Обомлевший от испуга и удивления Гаснер остался в гостиной. Он никогда не видел этого человека таким разъяренным и уж никак не представлял себе, что услышит от него в собственном доме подобные оскорбления.

Казалось бы, Гаснер должен был чувствовать себя победителем в жаркой стычке с Рузичлером: он не согласился сделать то, о чем тот просил, чуть ли не умолял его. Но эта «победа» нисколько не радовала его. Напротив, он испытывал страх: ему казалось, что вместе с типографом на него обрушились десятки и сотни ему подобных и что теперь никакие богатства, никакие сыщики и полицейские не оградят его от их презрения, гнева и мести.

— Хорошенькое начало нового года!.. — встретил Гаснер вошедшую жену, по лицу которой понял, что она слышала разговор с типографом. — И все, конечно, пошло кувырком... А с чего началось? С карт. Не хотел же играть, так нет — а вдруг выиграю!? Вот и выиграл... Еще не известно, чем вообще все это может кончиться?!

Лулу Митреску разыгрывал спектакль — паясничал и наслаждался своим умением перевоплощаться. Этого качества у групповода Митреску и в самом деле не отнять было.

— Погибает талант! — насмешливо заметил Жорж Попа. — Глядишь, стал бы знаменитостью среди актерской братии, а приходится прозябать...

— Ах, мой дорогой мсье Попа! Что там говорить обо

мне, — мелодраматично ответил Лулу. — Ты командир целого легионерского гнезда и вскоре можешь возглавить движение во всей этой проклятой местности! Уму непостижимо, какая слава тебя ждет! Какое будущее открывается перед тобой, какие грандиозные шансы взлететь к вершинам власти!.. А ведешь себя хуже барышни. Честь легионера! Ты, я вижу, не понимаешь, насколько опасна возникающая ситуация... Не знаешь, что надо немедленно предпринять, чтобы избежать надвигающейся катастрофы! Тянешь кота за хвост, надеешься на авось да небось, дескать все обойдется, само собой уляжется да утрясется... Нет, мой дорогой мсье Попа, опрометчиво так думать. Очень! Честь легионера!..

— Посмотрим... — неопределенно ответил Жорж. — Только перестань, ради бога, говорить со мной в таком игривом тоне... Мать она мне все же!

Лулу деланно расхохотался, как бы подчеркивая этим беспомощность Жоржа и его нерешительность.

Попа был в затруднительном положении. Мать случайно услышала его разговор с одним из легионеров своего гнезда о взрыве на электростанции. Ничего определенного она не узнала, но причастность сына к варварскому акту стала для нее почти очевидной. Мысль о том, что и ее сын в какой-то мере повинен в гибели людей и аресте парня, с матерью которого она училась в гимназии и дружила, не давала ей покоя. В тот же день она вызвала Жоржа к себе, стала расспрашивать его, требовать полного признания. Жорж все отрицал. Он высмеял ее подозрения.

— Да что ты, мамуся!? — улыбаясь, говорил он. — В голове не укладывается, как ты могла подумать обо мне такое!? У тебя, наверное, опять температура поднялась? Хочешь, я вызову врача?

В минуты, когда Жорж так терпеливо и ласково убеждал мать в ошибочности возникших подозрений, ей становилось легче: казалось совершенно невозможным, чтобы ее единственный и добрый мальчик, в котором она души не чаяла и только ради которого еще жила, упорно борясь с тяжким недугом, был способен на такую жестокость.

Но наедине со своими мыслями она вновь и вновь возвращалась к случайно подслушанному ею разговору сына с кем-то из его друзей и к событиям того дня, когда произошел взрыв. Она вспомнила, что на вечеру у Раевских сразу, как только погас свет, Жорж исчез и долго отсутствовал. Когда же он вернулся, то был очень возбужден, стал пить вино, чего до тех пор не делал. Это удивило ее, она забеспокоилась, не за-

болел ли он? Свое длительное отсутствие Жорж объяснил ей тем, что ездил на электростанцию узнать, что случилось и скоро ли будет исправлена линия. И только вскользь, как-то странно, нехотя, упомянул о взрыве. Напряженно старалась она вспомнить, намного ли позже того, как погас свет, и насколько раньше того, как кто-то крикнул, что в городе возник пожар, сын покинул дом Раевских. Ее мучил вопрос — успел ли Жорж побывать на электростанции до взрыва? Всякие версии и слухи, которые уже распространились в городе, ей рассказывала прислуга. О том, например, что свет погас сначала только на «проспекте», и тогда два монтера, дежурившие на электростанции, отправились ремонтировать проводку на линии. Поэтому, дескать, убийцам и удалось так легко справиться с оставшимися на электростанции людьми!..

Многие годы мать Жоржа болела астмой. Теперь ее состояние ухудшилось, участились кашель, приступы удушья. Она чувствовала, что болезнь катастрофически развивается и что роковая развязка не за горами. С тем большей настойчивостью при встречах с Жоржем она стремилась рассеять свои сомнения, установить истину. И чем больше она обо всем этом думала, тем чаще становилось ей невозможно от неизвестности. Она терзалась в предчувствиях, подозрениях, в кошмарах. Она потеряла покой.

— Хочу умереть с твердым убеждением, — сказала она Жоржу, — что сын у меня честный, порядочный человек! Умоляю тебя, Жоржик, скажи правду... Или в самом деле ты скрываешь от меня что-то ужасное, признайся! Если так, то какой угодно ценой ты должен освободиться от мерзости, прилипшей к тебе под чьим-то дурным влиянием. Уж лучше попасть в тюрьму, понести заслуженное наказание, но в конце концов стать достойным уважения человеком, чем вечно таить от людей свою вину, испытывать угрызения совести или, что еще хуже, превратиться в закорюкелого преступника... Я не в силах смириться с такой перспективой. Мои дни сочтены, Жорж... Но прежде чем уйти из жизни, я готова сама рассказать в полиции о своих подозрениях. Иначе я не выдержу... Пусть разберутся... Я должна знать истину, чтобы быть спокойной за твое будущее, а если надо, то чтобы спасти тебя для этого будущего... Ради этого я готова жертвовать всем, что у меня еще осталось, Жоржик!

Жорж понимал, что мать не уверена в правильности своих догадок, что она колеблется, и продолжал отрицать свою вину, высмеивал ее подозрения, называл их вздорными, несерьезными, глупыми, лишенными всякого здравого смысла, навеянными длительной болезнью. Он надеялся, что резко

ухудшающееся здоровье матери, наконец, заставит ее прекратить эти изматывающие нервы разговоры. И вновь с улыбкой выслушивал ее слова об обращении в полицию, будучи твердо уверен, что она никогда этого не сделает. Только грозитя.

С усмешкой рассказал он об этом и своему приятелю. Однако, к удивлению Попа, групповод Митреску реагировал на это сообщение совсем иначе, чем он сам.

— Так не пойдет... — заметил Лулу и после минутного раздумья категорически заключил: — Это не пустая угроза! Надо немедленно, любыми средствами в корне пресечь малейшую возможность такого поворота событий...

— Напрасно ты всерьез принимаешь ее болтовню, — робко возразил Попа. — Она же мать, понимаешь?.. Больной человек... Куда она пойдет? Ерунда. Не будем спешить. Увидишь, со временем все уляжется, утрясется само собой... Сейчас главное — не пороть горячку...

— Заткнись! — рявкнул вдруг Лулу и, вскочив со стула, подошел вплотную к Жоржу. — Слунтай ты и больше никто!

Жорж уловил недобрый огонек в глазах групповода, хотел было как-то оправдаться, но тот, резко взмахнув рукой, как бы разрезал ладонью воздух и отчеканил:

— Никаких оттяжек! Либо в течение ближайших суток ты добьешься от своей мамы безусловного согласия молчать, либо без твоего участия мы сами добьемся этого?! Но тогда...

— Что «тогда»? — прервал его Жорж с ноткой издевки в голосе. — И кто это «мы»? Ты, что ли?

— Не твое дело! Но тогда и вот эту... — он неожиданно и сильно щелкнул по лбу Жоржа, — вот эту глупую, сентиментальную башку придется отделить от туловища!

Попа чувствовал, что на лбу его вспухает шишка, но не подал вида, подчеркнуто медленно достал сигарету и закурил. Предупреждение групповода заставило его задуматься. Бесславный конец, который прочил ему Лулу, сперва показался совершенно невозможным, хотя бы потому, что на его счету уже немало заслуг перед легионерским движением. Больших усилий стоило создать легионерское гнездо. Едва ли не главная роль принадлежала ему в на шумевшей некогда истории с мнимой попыткой якобы красного студента Гэлы перейти румыно-советскую границу с подкинутым портфелем, заполненным секретными документами. Ведь именно он, Жорж Попа, убил тогда этого студентика! И это далеко не единственный случай проявления им, Жоржем Попа, исполнительности, решительности и, когда нужно, жестокости. Именно благодаря этим качествам он и стал «comandant de

cuib»¹³² и вскоре сформировал из наиболее ретивых молодцов «команду смертников». Вместе они осуществили уже ряд операций в округе, а некоторые legionеры отличились, к тому же, в операциях, проведенных в Яссах и Бухаресте...

Мысленно обозрев пройденный им путь в legionерском движении, Попа вновь обратился к волновавшему его все больше и больше вопросу: «В самом ли деле над ним нависла угроза? Следует ли принимать всерьез предупреждение групповода Лулу Митреску?»

Жорж Попа невольно стал вспоминать все, что ему было известно о групповоде. Известно же ему было очень многое. И вскоре он пришел к нерадостному для себя заключению, что Лулу Митреску, конечно, гораздо более весомая фигура среди руководителей legionеров, чем сам Попа, что он ни перед чем не остановится ради выполнения указаний своего шефа. Правда, Лулу были свойственны некоторые, мягко выражаясь, слабости. В среде посторонних, не знакомых ему людей, он неизменно выдавал себя то за инспектора международной компании «Вагон ли Кук», то за представителя английской фирмы по импорту зерна «Лондон-экспок» или какой-нибудь Южноафриканской корпорации с трудно запоминающимся названием, хвастался своим якобы высоким положением в обществе и обширными связями в государственной и коммерческой сферах и одновременно, будучи заядлым картежником, обдумывал, как бы опустошить карманы своих собеседников или даже попросту обокрасть их. Но даже пойманный с поличным, он делал вид, что ничего особенного не произошло. Так, мелочи жизни... Однако когда речь заходила об аспектах legionерского движения и о личном его участии в нем, Лулу Митреску преображался: от обычных для него позерства и бравады не оставалось и следа.

Прежде чем стать групповодом по связи с подпольными гнездами периферии страны и адъютантом для «особых поручений» члена «Тайного совета» Гицэ Заримбы, Лулу многое испытал. Восхождение вверх по иерархической лестнице legionерского движения он начал еще тогда, когда «Железная гвардия» была легальной партией, имела свою прессу и у ее штурвала стоял «капитан» Корнелий Зеля Кодряну. В те дни Лулу окончил в Тимишоаре офицерское артиллерийское училище со званием младшего лейтенанта и... отказался от дальнейшей службы в армии, выплатив казне отступные. Столь крутой поворот объяснялся просто: Лулу посчастливилось выиграть в рулетку баснословную сумму у какого-то

¹³² Командир гнезда (рум.).

грека, который в ту же ночь покончил с собой. Лулу решил, что отныне он богач, и потому нет нужды тянуть армейскую лямку. На бульваре Россети он приобрел пятиэтажный дом, на доходы от которого намеревался жить до конца своих дней. Но уже через месяц дом был заложен, затем продан, а деньги проиграны в карты.

— К рулетке и картишкам тянет, как младенца к соске, — говорил он тогда, — но едва только наколю «жирного кита», с игрой покончу... По гроб!

Однако «китов», подобных покойному греку, больше не доводилось «накалывать». Обратного пути был закрыт. Именно тогда Лулу Митреску и воспылал патриотическими чувствами и примкнул к «Железной гвардии». Однако маршировки по булыжным мостовым требовали частой замены подметок, а выслушивать длинные речи о будущем «новом порядке» на пустой желудок было крайне утомительно и неприятно... Здесь ему посчастливилось сблизиться и сторговаться с миловидной олтянкой, прибывшей сюда из какого-то первоклассного отеля. Лулу обязался поставлять ей клиентуру и защищать подопечную от мошенников, которые не прочь были получить на часок любовь и улизнуть не расплатившись, а девица — отдавать ему четверть от половины заработка, которая оставалась у нее после расчета с владельцем притона, и... быть ему верна! А дальше было так...

По случаю заключения столь удачного делового соглашения олтянка заказывала одну за другой бутылки вина и с упоением слушала представительного молодого человека, перечислявшего знакомых якобы ему высокопоставленных лиц в различных кругах столичного общества, рисовавшего перед нею блестящие перспективы. В подтверждение сказанного Лулу показал девице свой военный билет с фотокарточкой, на которой он был запечатлен в офицерской форме с широким аксельбантом и внушительными эполетами... Ложь исключалась, фальсификация документа также: стояла гербовая печать «Военного Министерства»!

Девице тоже захотелось чем-то блеснуть перед своим кавалером, и в ряду других она упомянула о некоем своем постоянном клиенте, будто бы очень знаменитом и долгое время бывшем правой рукой самого капитана «Железной гвардии».

Изрядно выпивший Лулу равнодушно слушал партнершу, полагая, что она не менее его самого склонна к преувеличениям. Это задело самолюбие девицы. Она хотела поразить воображение своего новоиспеченного дружка и, к уже сказанному о знаменитом постоянном клиенте, добавила, что он

разочаровался в вожде «Гвардии», разоблачил его перед всем честным миром и теперь создал свою партию.

Лулу сразу протрезвел. Он смекнул, о ком идет речь, и не поверил своим ушам... В его памяти тотчас всплыло заявление, сделанное прессе наместником капитана, одним из недавних воротил «Железной гвардии», Михаилом Стелеску! Лулу Митреску прекрасно помнил, какую бурю страстей вызвало на легионерских сходках и среди широкой публики чтение письма Михаила Стелеску капитану «Железной гвардии» Корнелию Кодряну.

«Я пишу от имени обманутой тобою молодежи, — вспоминал Лулу строчки этого сенсационного заявления. — Пишу, как человек, слепо веривший тебе на протяжении десяти лет, но не желающий и впредь оставаться в упряжке твоей кровавой телеги, быть пособником убийцы. Я долго находился рядом с тобой потому, что ты искусно скрывал измененность своей души. Когда же удалось разглядеть тебя вблизи, я ужаснулся!.. А сколько людей пребывают сейчас в душевном падении, охваченные разочарованиями в своем идоле!? Впрочем, повинен и я в этом страшном деле, ибо именно я поднимал тебя в их глазах, именно я обманывал их, чтобы склеить это соломенное чучело, именуемое «капитаном»!..

...Сегодня они вправе потребовать от меня ответа за то, что я повел их по неправильному пути, воспитывал в них сознание того, что даже мертвым легионер не должен сомневаться в правильности действий своего великого капитана! Это я воспитывал в них сознание того, что если потребуется, то легионеры обязаны идти друг за другом даже по неверному пути... Ужасное воспитание!.. Но наступило прозрение, и мы поняли, что вместе со своим отцом ты тянешь нас в болото безнравственности... Я верю, что молодые люди прислушаются к моему голосу, извлекут урок из горького опыта. И это мое письмо поможет им открыть глаза и увидеть, кто в действительности скрывается за парадной рубахой с румынскими национальными вышивками и за немецкими подштанниками, которые ты теперь с гордостью носишь...»

В результате опубликования и обсуждения этого письма в рядах «Железной гвардии» произошла, как говорил тогда Митреску, «превеликая схизма»! Многие совсем отошли от движения или перешли в партию, созданную самим Стелеску по образцу итальянского фашизма и названную им «Крестоносцы румынизма».

Вождь «Гвардии» не мог смириться с изменой внутри движения. Люди ждали кровавой развязки. Они очень хорошо знали, что представляет собою «капитан». Это он некото-

рое время назад в Яссах явился на процесс над железнодорожниками, учинившими еврейский погром, и на глазах у публики и военного трибунала в упор расстрелял префекта, инспектора сигуранцы и полицейского комиссара. Кодряну арестовали. Пресса и обыватели предсказывали ему пожизненное заключение, каторгу, смертную казнь... Однако монарший суд вскоре его оправдал. Осыпая убийцу цветами, железнодорожницы в национальных костюмах вынесли на руках из трибунала своего капитана, как героя... Позднее по его приказу на перроне станции Синая был убит румынский премьер-министр Ион Георге Дука. И на этот раз «капитан» вышел сухим из воды. В то время, когда полиция его разыскивала, он приятно проводил время за партией покера на вилле госпожи Елены Лупеску и ее кавалера, всемогущего монарха...

Железнодорожники продолжали осуществлять свою программу. Десятки и сотни простых и именитых людей страны становились жертвами разнузданного террора. Однако после опубликования дерзкого письма Михаила Стелеску машина «Железной гвардии» стала давать перебои, в движении усиливались разногласия, возникли сумятица, неразбериха, хаос.

«Капитан» принялся создавать повсюду тайные «команды смертников», участники которых давали клятву ценою собственной жизни расправляться с изменником и его приверженцами. Самопожертвование расценивалось как наивысшая награда за успех. И они жертвовали собой...

Лулу Митреску присягнул одним из первых и, как он утверждал в среде друзей, именно ему принадлежали слова, ставшие девизом железнодорожников: самый замечательный итог жизни legionera — это смерть за идеалы Гвардии и капитана!

Очень хотелось тогда Лулу Митреску изловить изменника Стелеску, но отнюдь не потому, что он жаждал умереть «за идеалы Гвардии и капитана». Напротив, Лулу мечтал лично расправиться со Стелеску только ради того, чтобы быть щедро одаренным за эту «доблесть». Но текли дни, недели и месяцы, а мечта его не сбывалась и со временем совсем угасла. И вдруг обнаружен след Стелеску! След бывшего заместителя «капитана», которому совсем еще недавно Лулу Митреску счел бы за счастье пожать руку, готов был служить и от которого рассчитывал получить воображаемые блага. У групповода ожил внезапно взгляд, забегали глаза, он засуетился, точно наркоман при виде спасительного зелья.

Лулу предвкушал получить крупный куш, ему уже чудились звон монет, шуршание карт... Он твердо решил сам найти Стелеску, найти во что бы то ни стало! Размышляя, Лулу

все же колебался, прикидывал: «Сообщить своим гвардейцам? Тогда вряд ли перепадет что-нибудь солидное... С ними не сговориться. Фанатики, ограниченные... И спасибо не скажут. Определенно! А Стелеску все же величина! Он может крупно вознаградить, если не выдать его, а то и согласится взять к себе в приближенные! Ну-у, тогда не жизнь, а малина!.. Итальянцы не жалеют для него денег... По личному указанию дуче!.. Заманчиво. Очень заманчиво и... столь же опасно. Дойдет слух до капитана или его голодных собак — считай, нет на свете Лулу Митреску... Это уж точно! Проглотят вместе с башмаками!..»

Утром протрезвевший Лулу попытался выяснить, давно ли олтянка видела Стелеску? Девушка удивленно вытаращила на него синие глаза.

— Стелеску? А кто это такой? В жизни не знала такого... С чего это ты взял, дружок?

— Ну-ну, полноте, крошка, секретничать!.. Вчера ты сама довольно прозрачно намекнула на это. А в моей порядочности можешь не сомневаться... Я все-таки офицер армии его величества!

— Да ты же чудак, дружок! — смеясь ответила девушка. — Или я, может быть, спяна что-то нафантазировала, а тебе, тоже спяна, померещилось бог весть что!? Ха-ха-ха...

Чтобы не вызвать у нее подозрений, Лулу счел разумным переменить тему разговора, но спустя несколько дней попытался вернуться к вопросу о бывшем наместнике «капитана». На этот раз девушка рассердилась и, в упор глядя на Лулу, сказала:

— Не путаешься ли ты с железногвардейцами, дружок? Очень уж ты интересуешься!

— Пардон! Пока еще я так низко не пал, — тоном оскорбленного ответил Лулу. — Честный человек может стать даже сутенером, но только, знаешь, не этим подонком... Даю слово чести офицера!

Потеряв надежду вызвать девушку на откровенный разговор, Лулу решил проследить за ней, когда она покинет Круча де пятрэ. И это произошло в ближайшую пятницу, в день поста, когда в притонах было мало посетителей и девушки после медицинского осмотра располагали свободным временем. Около полудня модно одетая олтянка вышла из дома. Лулу был на посту и тотчас же последовал за нею, держась поодаль.

Девушка побывала в аптекарском и галантерейном магазинах на Дудешть, купила букетик роз в цветочном на Кантемир, завернула на Нерва-Траян и зашла в какой-то невзрач-

ный дом, который Лулу сразу же взял на заметку, но не успел он дописать адрес, как она вышла и быстро направилась к стоявшему на остановке трамваю. Лулу едва успел вскочить на подножку прицепного вагона. На площади Святого Георгия она вышла из трамвая и поспешила в кондитерский магазин «Капша», но вскоре вернулась с небольшой покупкой и подошла к автобусной остановке. Лулу поймал такси и вслед за автобусом доехал до остановки «Спиталул Брэнковенеск»¹³³. Здесь девица покинула автобус и скрылась за железными воротами больницы. Лулу отпустил такси и, решив, что она проходит тут курс лечения, стал караулить у выхода.

Проклиная все на свете, он мотался около больницы до темна, пока не начался сильный дождь. Промокший, голодный и злой, вернулся он на Круча де пятрэ и, к великому своему удивлению, застал олтянку в «рабочей форме» — в купальнике, туфлях на высоком каблуке, накинутом на плечи пальтишке, с сигаретой в зубах. «Проглядел, — с досадой подумал Лулу, — или она вышла из больницы другим ходом?»

Поздно ночью, когда в притоне наступило затишье и он со своей подопечной распил бутылку вина, девица рассказала ему, как провела день, — ездила в город, купила себе кое-что в аптеке и галантерейном магазине, а для подружки — прекрасный букет роз, зашла к ней на Нерва-Траян, но оказалось, что она слегла в больницу, и пришлось далеко ехать, чтобы навестить ее...

Лулу сник, решив, что партнерша в самом деле не связана со Стелеску. Надежда отличиться и занять весомое положение, чтобы не нуждаться, рассеялась, как дым. Однако мысли его машинально вновь и вновь возвращались ко всему, что заставило его заподозрить свою содержанку в связях с бывшим наместником «капитана». Наконец он решил, хотя бы ради саморекламы, рассказать о своих подозрениях кому-либо из высоких чинов легионерского движения. Так он и поступил, неожиданно встретив шефа «гнезда».

Выслушав Лулу, тот сразу же повез его в какую-то цирюльню, где горбатый парикмахер с постоянно улыбающейся верблужьей физиономией провел их в подвальное помещение, сплошь обвешанное и застланное коврами.

Так Лулу Митреску познакомился с Гицей Заримба. Парикмахер слушал Лулу, казалось бы, без всякого интереса, задал несколько коротких, не имеющих прямого отношения к существу дела вопросов, затем молча положил на стол пач-

¹³³ Больница имени Брэнковяну (рум.).

ку дорогих сигарет, коробок спичек, подвинул к Лулу пепельницу и, скривив в обычной ухмылке свои на редкость тонкие губы, вышел. Вышел, не сказав ни слова.

Лулу закурил, осмотрелся по сторонам. Небольшая комната чем-то напоминала ему гробницу: огромное распятие Христа на массивной мраморной подставке; над ним, точно ангел, портрет Гиммлера в эсэсовской форме при одном погоне; рядом на секретере под стеклянным колпаком — беззубый человеческий череп; на стенах и на полу — добротные шерстяные ковры с яркими хризантемами и национальными орнаментами на черном, как траур, фоне. Три кресла и небольшой столик, за которым сидел Лулу, не скрашивали мрачности убранства и загадочности предназначения этого помещения.

Лулу терпеливо ждал возвращения гнома-парикмахера, но минул час, другой, а он все не появлялся. Лулу нервничал, курил одну за другой сигареты, наконец решился выйти якобы в туалет, но дверь оказалась запертой, у нее и ручки даже не было... Его пронзило чувство страха. Долго стоял он у двери с опущенной головой, напряженно прислушивался, однако извне не доходило ни единого шороха. Подавленный гнетущей тишиной, он на цыпочках вернулся к столику, сел и снова закурил...

На Круча де пятрэ маленькую смазливую олтянку пригласили на «вызов» к клиенту. Прибывший на машине богатого хозяина шофер внес владельцу притона за «визит на дом» двести лей. Такой здесь был заведен порядок: «товар на выбор, такса твердая, деньги вперед...»

Машина доставила даму «де консумации»¹³⁴ к клиенту, внешность которого оказалась весьма отталкивающей. Однако отказываться не полагалось. «Прокат оплачен». Тем не менее выражение лица девицы было откровенно неприветливым. Это Заримба сразу заметил, но не подал вида. Напротив, он больше обычного улыбался и, галантно уступая дорогу, пригласил даму в комнату, отнюдь не похожую на будуар, а скорее смаживающую на операционную или что-то в этом роде.

Девушка не успела высказать по этому поводу свое удивление, как в комнату вошли трое бравых молодых людей с закатанными по локоть рукавами, словно собирались устроить перед гостьей цирковое представление. Один из них сразу приступил к делу:

¹³⁴ Для потребления (рум.).

— Где находится господин Стелеску? — требовательно спросил он, вплотную подойдя к девице.

— Стеску?! — умышленно коверкая фамилию и недоуменно пожмая плечами, ответила та. — А кто он такой?

— Твой постоянный хахаль... Михаил Стелеску!

— Нет у меня постоянного клиента... И никакого Стелеску, или как его там звать, я не знаю.

— Канителиться нам с тобой некогда. Пойми, что мы говорим серьезно: или скажешь, где он находится, и тогда гуляй, как гуляла, или прикончим тебя здесь же, на месте!

— Вы что, ненормальные?! Отпустите меня! Я первый раз слышу эту фамилию...

— Последний раз предупреждаю: выбирай!

Гица Заримба любезно улыбнулся, затем кивнул... Слтянку стали избивать.

Не помогло.

Ее топтали ногами и снова колотили.

Безрезультатно.

Гица Заримба обвел кончиком языка растянувшиеся в улыбке бесцветные, тонкие, как нити, губы и снова подал знак. Девушку принялись жестоко истязать.

Она потеряла сознание.

Приведя в чувство, ее вновь принялись мучить. Но ничего, кроме продолжительного стога, так и не услышали.

Принесли щипцы для завивки волос, раскалили их докрасна...

Девушка молчала, все реже и тише стонала и вновь потеряла сознание. Снова пытались привести ее в чувство, но тщетно.

— По-моему, эта паскуда не дышит, — деловито заметил главный палач, вытирая со лба струившийся ручьем пот. — Ну-ка, погляди...

Напарник приложил ухо к истерзанной груди, прислушался. Брезгливо сплюнув, он процедил сквозь зубы:

— Ты прав. Сдохла.

Окончательно отчаявшийся Лулу докуривал последнюю сигарету, когда дверь внезапно распахнулась и в комнату разом ворвались двое незнакомых парней с закатанными по локоть рукавами и с пистолетами в руках, а вслед за ними — шеф гнезда, доставивший сюда Митреску.

— Ты, гад, вздумал шутки с нами шутить?! — набросился на Лулу весь взмокший и запыхавшийся шеф.

Ответить Лулу не успел. Для пущей остротки вслед за

репликой шефа один из легионеров нанес ему сильный удар рукояткой пистолета по лицу. Митреску схватился руками за голову.

— Слово чести легионера, камарады! — забормотал он. — Я ничего не выдумал. Спросите девку! Ведь я сказал вам, в каком она притоне промышляет...

— Ишь ты, умник какой! Спросите! Уже спросили... — ответил шеф. — Не знает она никакого Стелеску!

— Врет, сука! — едва ворочая окровавленным языком, крикнул Лулу. — Сама сказала мне, что Стелеску ее постоянный клиент... Даю слово чести легионера! Я следил за ней, хотел установить местонахождение изменника, но не удалось выследить до конца. Даю вам слово...

— Хватит болтать! — цыкнул на него шеф. — Заладил свое «слово чести»... Скажи лучше, где курва бывала, если ты следил за ней?

Лулу стал подробно описывать маршрут, сделанный им по пятам олтянки.

— Короче! — прервал его шеф. — Некогда нам выслушивать всякую ерунду... Называй конкретно, куда заходила эта шлюха, адреса!

Торопясь и запинаясь, Лулу все же продолжал перечислять чуть ли не каждую деталь, подмеченную во время слежки.

— Стоп, хватит! — скомандовал шеф. — Проверим. Если наврал — прощайся с жизнью...

Все трое бросились к двери. Им было невтерпеж напасть на след разыскиваемого.

— Погодите, камарады! — окликнул их дрожащим голосом Лулу, готовый уже пасть на колени перед шефом. — Погодите! Я не досказал... Девка еще побывала в больнице...

— Чего ж ты молчишь, гад?!

— Говори быстрее!

— В какой больнице?

— Брэнковенеск! — придерживая шефа за рукав, торопливо бормотал Лулу. — Сам видел, как она вошла в больницу с букетиком цветов. Мне потом рассказывала, что у нее там лежит подружка... Та, что с Нерва-Траян!.. К которой она заходила домой...

— И черт с ней! — огрызнулся шеф. — Мало ли шлюх валяется в больницах?!

— За дурачков нас принимает!

— Запутать хочет!

— Нет, камарады дорогие, нет! — спешил Лулу досказать, вытирая с губ продолжавшую сочиться кровь. — Это

счень важно! Не то потом скажете, что я утаил от вас... Проверьте сначала на Нерва-Траян...

Лулу не успел договорить, как legionеры почти бегом покинули комнату, захлопнув за собою дверь.

Митреску вновь остался в компании с беззубым черепом, распятием Христа и портретом рейхсфюрера СС Гиммлера.

Тем временем legionеры побывали в магазинах, в которые заходила олтянка, но ничего обнадеживающего не нашли. Однако им удалось все же установить, что ни одна из женщин, проживающих в доме на улице Нерва-Траян, не находилась в настоящее время на излечении в больнице... Стало быть, девка с Круча де пьатрэ пожаловала в Брэнковенескую больницу не к подружке, а к кому-то другому... Предположение подтвердилось: в больнице они узнали, в какой палате находится тот человек, к которому приходила олтянка... И тотчас же десяток legionеров ринулись с разных сторон по коридору больницы к этой палате. На глазах у больных и медицинского персонала они ворвались в палату и доброй сотней пуль изрешетили тело бывшего сподвижника «капитана» Михаила Стелеску. Затем принесенными с собою топориками разрубили труп на множество частей... А потом принялись плясать, как дикари, и обнимать друг друга окровавленными руками, плакать и смеяться от необычайной радости, что им удалось разыскать изменника и отомстить ему за раскол в legionерском движении.

Лулу Митреску стал с тех пор заметной личностью в движении, а Гицэ Заримба удостоился быть членом «Тайного совета»...

Жорж Попа, тогда еще подросток, ученик лицея, естественно, не мог знать всех этих подробностей, но со слов отца он знал, что групповод Митреску принимал участие в торжественном вручении наград участникам расправы над Стелеску... Все десять legionеров из «команды смертников» были тогда задержаны полицией и заключены в тюрьму Вэкэрешть, однако «капитан» добился от монарха разрешения вручить каждому из них legionерский орден «Белый крест»... Именно Лулу Митреску командовал этими убийцами при построении во дворе тюрьмы для встречи государственного знамени, принесенного legionерами вместе с орденами, именно он зачитал приказ «капитана» о наградах осужденным legionерам, приказ, полный славословий в их адрес. Облеченный в ризу legionер-священник отслужил молебен, «legionеры-мученики», как окрещены они были в приказе «капитана», опустили на колени, поцеловали крест, и legionер-священник щедро окропил их святой водой... При этом выстроенные

в шеренгу жандармы с карабинами наизготовку, присланные префектурой для усиления охраны на время церемонии, растерялись было и также опустились на колени...

Лулу Митреску не раз впоследствии называл про себя эту церемонию «комедией окропления кровью и святой водой». Но, услышав из уст какого-либо новичка нотку пренебрежения к легионерскому девизу, возводящему готовность легионера умереть в высочайший подвиг, он безжалостно третировал его за малодушие и эгоизм, порождаемые непониманием величайших и благороднейших целей движения.

Нечто подобное произошло у него и с Жоржем Попа, никак не решавшимся проявить твердость, чтобы заставить мать не выдавать тайну и таким образом вынудить ее стать фактической соучастницей совершенного ими преступного акта на электростанции...

Лулу резко осудил Жоржа Попа, пристыдил его за малодушие и нерешительность, однако постарался не доводить конфликт до крайности. К тому были весьма важные в настоящий момент для заядлого картежника Лулу причины. Деньги, полученные на поездку в Болград, он в тот же вечер продал, не выезжая из Бухареста. Из-за этого непредвиденного обстоятельства он выехал днем позже и Новый год провел в поезде. На обратный путь у него не оставалось ни гроша. Выход из этого пикантного положения он видел только в том, чтобы подзанять денег у Жоржа Попа. Потому-то групповод Митреску и умерил пыл, заговорив вкрадчивым голосом:

— Поверь мне, мсье Жорж, я вовсе не такой бесчувственный, каким, наверное, кажусь тебе... Я прекрасно понимаю, что такое мать, и сочувствую, конечно... Но нет же другого выхода у нас! Ты, видимо, не отдаешь себе отчета в том, что произойдет, если твоя маман обратится в полицию?! Дело неизбежно получит широкую огласку, коммунисты и жида поднимут такой вой и гвалт, что нам с тобою свет не мил станет!.. Короче говоря, это пахнет скандальным разоблачением... Ни один шеф из «Тайного совета» не простит такое никогда! Сам знаешь, всякая сентиментальность у нас не в почете... И обидно, черт возьми, если вместо благодарности за столь блестяще выполненное трудное дело с нас спустят три шкуры... Обидно и глупо! Слово чести легионера!

— Уговорю ее, — после продолжительной паузы с трудом вымолвил Жорж и, как бы размышляя вслух, продолжал: — Единственный сын... Она очень любит меня... Уговорю.

— Ну... попытайся, — нехотя ответил Лулу. — А если

не выйдет? Что тогда?.. Одно скажу тебе: они свое уже взяли, а ты только начинаешь жить. И только теперь перед тобой открываются блестящие перспективы... Знаешь ли ты, какое большое внимание уделяется в данное время вашему краю? И понимаешь ли, чем вызвано это внимание? До меня это дошло совсем недавно, после возвращения нашего команданта¹³⁵ из Берлина. Вот и ты помозгуй-ка, с кем ваш край граничит!? А на всех остальных рубежах у нас теперь немцы!.. Ясно?

— Не совсем,— удивился Попа.— Почему немцы? Они только на границе с бывшей Чехословакией... На остальных участках пока еще я не вижу их...

— Плохо смотришь! Хортистская Венгрия, к твоему сведению, уже давно на все сто процентов с фюрером... А София колеблется больше для вида, чтобы преждевременно не осложнить отношения с Англией и Францией, но ее правители, да и сам царь Борис, не настолько близоруки, чтобы делать на них ставку. Это было бы так же бессмысленно, как на скачках ставить на дохлых лошадей!.. И если остается незначительный клочок границы с Югославией, так оттуда нет угрозы... В скором времени там вообще будет «зеер гут!»¹³⁶ Эти слова, между прочим, принадлежат не мне, а нашему команданту Хорие Симе! Теперь улавливаешь, что это значит?! Вот так, месье Жорж! Других границ, кроме вашего края на Днестре, нет... Именно здесь и будут происходить великие события, в которых тебе предстоит играть далеко не последнюю роль... А ты, прости меня, пожалуйста, ведешь себя, как барышня!

Попа был согласен с доводами групповода, но все еще никак не мог представить себе, что горячо любящая и любимая им самим мать способна привести в исполнение угрозу, сообщить о своих подозрениях.

Митреску чувствовал это и не отступал.

— Между прочим, как ты думаешь, отчего наш шеф Заримба стал такой крупной фигурой в движении? — издали начал Лулу. — У самого короля он «персона грата!» А дудуйка Лупяска связана с ним, как два звена в одной цепи... Нипочем ему всякие там министры внутренних, внешних и даже небесных дел!.. Какие достоинства позволили ему так высоко взлететь? Образованность, что ли? Дай бог, если три класса наберется. Тогда, быть может, презентабельная внешность, как, например, была у нашего капитана? Сам

¹³⁵ Командир, командующий (рум.).

¹³⁶ Очень хорошо! (нем.).

знаешь — жаба! Смотреть тошно... И все же крупная, очень влиятельная, известная личность! Деньжатами только он в движении ворочает, да и не только деньжатами... Что же позволило ему сделать такую головокружительную карьеру?! Если помозговать, то окажется, что никакого секрета тут нет... Абсолютно! Его прошлое ты знаешь?

И Лулу Митреску принялся рассказывать... Было это в Добрудже. В тот день по городу бродили цыгане, а как только стемнело, некий болгарин у порога своей парикмахерской обнаружил подкидыша. Это и был Гицэ Заримба. Бездетные супруги приютили маленького чернявого, с быстрыми, как ртуть, глазенками младенца. Приютили и растили, как родного. По мере того, как мальчонка вырос, на спине у него рос горб. Для эгоистичных ребятишек, его сверстников, Гицэ стал мишенью для издевок. И, быть может, потому с первых же дней занятий в школе он не проявлял никакого интереса к учебе, а вскоре вообще покинул школу. Вся его энергия и жажда деятельности сосредоточились на овладении ремеслом цирюльника, чему терпеливо и любовно обучал его парикмахер. Особую страсть он проявлял к чаевым и вообще к деньгам. Если кто-нибудь считал монеты или тем более купюры, у Гицэ задерживалось дыхание...

Для подростка Заримбы давно уже не было тайной, что он подкидыш и цыган по происхождению. Однако он принимал, как должное, все проявления любви к нему приютивших его супругов, отнюдь не питая к ним чувства сыновней благодарности. Напротив, он был озлоблен против всех, с кем соприкасался: одних презирал и ненавидел — за то, что они явно или втихомолку насмеялись над его уродством, других — что наградили его горбом и растили из жалости, наконец, всех остальных за то, что они не были такими же уродами, как он...

Став взрослым и хорошо освоив профессию мужского парикмахера, Гицэ в один прекрасный день тайком улизнул от своих кормильцев в Бухарест, прихватив значительную часть и без того небогатого набора инструментов цирюльника. Некоторое время Гицэ бедствовал, ради куска хлеба брался за любую, самую тяжелую и грязную работу. Ценою постоянных лишений ему наконец удалось обзавестись собственной крохотной цирюльней в полуподвальном помещении на окраине города. Два стула, подобранных на свалке и переоборудованных под кресла, да большой осколок от разбитого трюмо — такой была вся обстановка его жалкого заведения. Ко всей этой как бы выставленной напоказ нищете Гицэ относился с отвращением, но работал с остервенением. Он стре-

мился во что бы то ни стало выбиться в люди и всеми правдами и неправдами достиг этого, став в конце концов владельцем фешенебельной парикмахерской в центре столицы. Однако испытанные им за годы самостоятельного существования новые для него невзгоды и унижения уже навсегда укрепили в нем чувство ненависти к людям, готовность жестоко мстить им за их благополучие.

Его человеконенавистническим настроениям как нельзя более соответствовали идеи и практика железногвардейцев. И Гицэ не преминул примкнуть к ним. С первых же шагов Заримба дал выход накопившейся в нем злобе. С изощренным коварством и неумолимой жестокостью он выполнял самые грязные поручения своих шефов, чем и заслужил их расположение и доверие. Этим и объясняется его весьма стремительный подъем по иерархической лестнице легионерского движения. Но вершины доверия со стороны не только вожakov движения, но и «власть предержащих особ» он заслужил тем, что совершил акт чудовищной жестокости.

Не жалея красок, Лулу рассказал Жоржу, как престарелая мать-цыганка нашла своего сына и какой трогательной была их встреча. Старушка назвала приметы на теле Гицэ, знать о которых могла только мать, поведала, как повесила ему на шею латунный крестик, нацарапала на нем его имя и фамилию, и точно такой же крестик хранила все эти годы на своей груди, как, впрочем, не расставался с крестиком и Гицэ.

Заримба мастерски сыграл роль человека, глубоко тронутого и обрадованного неожиданной встречей с кровной матерью, которую ему, казалось бы, не суждено уже было когда-либо увидеть. Он обласкал старушку, расположил ее к откровенному разговору, и несчастная цыганка, как на исповеди, рассказала ему, что еще в раннем возрасте по ее недосмотру Гицэ упал с повозки. Знахари уже тогда предсказывали ей, что мальчонка будет порченным. Убитая горем мать решила, пока не поздно, найти людей с добрым сердцем, оставить им сыночка в надежде на то, что они обратятся к врачам и те сумеют исправить страшный изъян... В тот день цыганка зашла в парикмахерскую, погадала болгарину и его жене, заодно выведала, что они бездетные и очень опечалены этим. Им-то она и вверила судьбу своего первенца, оставив его ночью на пороге цирюльни.

Рассказывая все это, старушка не переставала плакать и каяться, а Гицэ слушал и не скупился на утешения.

Обласканная сыном, старая цыганка впервые за долгие годы разлуки с ним с радостными мыслями спокойно уснула.

— И навеки! — патетически воскликнул Лулу. — Шеф

был верен своему принципу... Конечно, не легко ему было так поступить с родной матерью... В этом я уверен, честь легионера! Но даже ей он не простил вины за свое уродство и за то, что она предательски подкинула его чужим людям... Видал?! Поистине легионерский мученик!

Жорж Попа, до этого слушавший Лулу с рассеянным видом, вдруг сморщил лоб и, сощурив маленькие глаза, пристально посмотрел на него. Только сейчас до него дошло, с какой целью групповод рассказал ему эту историю, но он знал его склонность к преувеличениям и потому едва заметно усмехнулся. Лулу моментально крепко схватил приятеля за ворот пиджака, притянул его к себе.

— Послушай, ты, деятель! — с трудом сдерживая гнев, прошипел он. — Когда групповод Митреску говорит о шефе Заримбе, то ты выбрось из своей башки всякие сомнения... Если тебе доведется побывать у него в подвальном помещении, то сам увидишь там не только портрет рейхсфюрера СС Гиммлера и распятие Иисуса Христа, но и череп под стеклянным колпаком... Это все, что осталось от матушки Гицэ Заримбы! А если помотришь на затылок черепа, то обнаружишь маленькое кругленькое отверстие от пули... Ясно? А если и теперь сомневаешься, то ты дерьмо, мсье Жорж!.. Вот так. Можешь сообщить шефу Заримбе, за что я обозвал тебя.

— Зачем ты так? Верю я, конечно... — ответил без всякого желания Попа, оставаясь тем не менее в недоумении. — Но чтобы у себя дома хранить?..

Лулу понял и перебил его:

— Да, мсье Жорж! У себя дома, притом на видном месте... И не удивляйся. Только для маменькиных сынков подобное явление считается ненормальным... Но тогда нечего им лезть в историю!

— Не горячись, пожалуйста! Если я и усомнился, — виновато ответил Попа, — так только потому, что бывает трудно понять, говоришь ты всерьез или фантазируешь...

Жорж хотел было сказать «или врешь», но не решился. Окончательно портить отношения с групповодом не было резона. Напротив, он старался найти с ним общий язык. К тому же он отдавал себе отчет в том, что групповод не станет выдумывать подобное о своем шефе. Жоржу Попе и раньше доводилось слышать о Гицэ Заримбе немало невероятного.

Митреску устраивал покаянный тон ответа Жоржа Попа. И он так же стремился к согласию. Приближалось время отъезда и, кроме Жоржа, ему не у кого было занять денег. Примирительным голосом Лулу заключил:

— Значит, я не так понял твою улыбку и зря погорячил-

ся... Забудем об этом. А Заримба, как ни говори, сильная личность! Не так ли?

— Конечно... Он человек незаурядного мужества, — без особого восторга признал Попа. — Это ясно...

— Во всяком случае, предательство нельзя прощать никогда! Таков непреложный закон легионеров...

Под большим секретом Лулу сообщил Жоржу, что немцы прежде не очень-то доверяли Заримбе из-за его цыганского происхождения. Было время, когда они хотели вообще избавиться от него. Узнав, однако, от германского посланника в Бухаресте герра Фабрициуса о том, как и почему расправился этот деятель легионерского движения с родной матерью, они пришли в восторг.

— Шефу был преподнесен парабеллум с выгравированной на кожухе надписью: «Не прощающему измену. Гиммлер», — доверительно нашептывал Лулу. — Именно после этого события в жизни Гицэ секретные решения Берлина, касающиеся легионерского движения, стали поступать сперва к нему, а уж потом доводиться до сведения остальной братии. Вот так!

В подтверждение сказанного Лулу хотел было рассказать Жоржу о совершенно неожиданном для Хории Симы, но заранее известном Заримбе появлении на заседании «Тайного совета» генерала Антонеску, но вовремя передумал. Попа кичился своей связью с Симой, и Лулу прикинул, что приятель может его продать. При этой мысли групповод снова стал взвинчиваться.

— А ты, мсье Жорж, — сказал он назидательным тоном и с оттенком сарказма, — как пассажир в экспрессе, мчишься без остановок и задержек с головокружительной скоростью к почету и власти, но почему-то полагаешь, что запросто можешь сойти на полустанке прогуляться, словно поезд стоит у перрона... Опрометчиво! Всего один маленький неправильный шаг и... адью! Экспресс умчится без тебя...

Кое-какие слухи о подробностях взрыва на электростанции и в бане дошли до Изабеллы одновременно с известием об аресте Ильи Томова. И то и другое, разумеется, в далеком от истины виде. Изабелла вспыхнула, обхватила ладонями залитые румянцем щеки, в ее чуть-чуть раскосых голубых глазах мелькнул испуг.

— О ужас!.. Неужели и Илюшка такой? Тогда всё... — прошептала она пухлыми губами, и тотчас же с ее лица исчезло выражение испуга, щеки обрели спокойный беломраморный тон. Она быстро вернулась к радостным мыслям, прер-

ванным неприятными сообщениями. Свойственная девушкам ее возраста мечтательность давно уже приобрела у Изабеллы гиперболический характер. Будущее она представляла себе в самых радужных красках. Она не сомневалась в том, что ее ждет необыкновенное счастье, голова ее постоянно была занята сочинением фантастически прекрасных эпизодов, которыми будет усеян ее жизненный путь. Предаваясь мечтаниям, она забывала все, что окружало ее в реальной жизни, и с чувством досады возвращалась из мира фантазий к занятиям в лицее, к урокам музыки, к вечно пререкающимся «дедуле» и «бабуле» и часто ссорящимся между собою бонне и новой гувернантке, как и к прочей суеде помещичьего быта. От всего этого ей давно хотелось бежать на край света.

— Кругом такая серость! Людишки какие-то бесцветные, невыразительные... — прорывалось у нее иногда в откровенной беседе с подругой, но вскоре девическое тщеславие брало верх, и она начинала расхваливать необыкновенные достоинства Жоржа, говорила о его безукоризненно внимательном отношении к ней, чуткости и необычайной любви...

Изабелла чувствовала, что это самообман, что она выдает желаемое за действительное, но даже уединившись, она старалась отогнать дурные мысли, поскорее окунуться в мир своих фантазий.

Еще совсем недавно Изабелла без умолку твердила подруге о дружбе с Илюшкой Томовым, уверяла, что скоро он станет авиатором и они непременно поженятся. Ее воображение рисовало заманчивые картины совместной с ним безоблачной жизни, заполненной бесконечной сменой развлечений, увлекательных путешествий и разнообразных впечатлений. Когда же стало известно, что Томова не приняли в авиационную школу и что он всего-навсего рядовой рабочий в одном из автомобильных гаражей Бухареста, она быстро и безболезненно перестроилась, по первому же требованию «дедули» прервала переписку с Ильей, хотя робость и смиренное послушание были ей не всегда свойственны. Неожиданный поворот в судьбе Томова разрушил ее мечты, и вместе с ними стала угасать привлекательность человека, еще недавно, казалось, любимого ею. Не много понадобилось времени, чтобы создать себе нового кумира, призванного даровать ей безмятежную, сказочно прекрасную жизнь. Место Ильи Томова в ее мечтаниях занял Жорж Попа, с которым вскоре и состоялась ее помолвка.

И все же, надеясь поехать в Бухарест сдавать экзамены на бакалавра, Изабелла мечтала забавы ради встретиться с Ильей... не на свидании в тюрьме, разумеется, а на свободе...

Да и самого Илью она представляла себе отнюдь не в рабочей блузе, а в ладно сшитой форме королевского летчика.

Именно об этом размышляла Изабелла, когда к ней явился Жорж Попа и рассказал, что наймиты красных бунтарей и еврейские прихвостни распустили в городе слух, будто взрыв на электростанции был подстроен зеленорубашечниками...

— Эти подонки дошли до такой наглости, — возмущался Жорж, — что поговаривают, будто в тот вечер видели и меня с отцом на электростанции!..

— Какая чушь! — воскликнула Изабелла и, смеясь, бросилась Жоржу на шею. — Не переживай, милый Жоржик! В тот вечер у нас было столько народу, и все видели твоего отца и тебя за столом! Собственно, ты же...

Изабелла вдруг осеклась. Она вспомнила, что Жорж исчез вместе с Лулу Митреску сразу же после того, как погас свет... «Но в городе он еще горел, — вспоминала Изабелла, — горел до взрыва... еще долго горел. Потом начался пожар, и везде погас... Но Жоржик и Лулу, кажется, уже вернулись, или...»

Смутная догадка мелькнула в голове Изабеллы, но она не сделала попытки утвердиться в ней или опровергнуть. Она грусто отбросила эту неприятную мысль. «Разочароваться?! — подумала она. — Нет! Пусть когда-нибудь позже, но только не сейчас... А может быть, никогда... И даже наверняка никогда!»

Домой Жорж Попа вернулся поздно ночью, и тотчас же к нему в комнату вошла мать. Он удивился:

— Ты не спишь, мамуся?

— Жду тебя весь вечер, Жоржик...

— Зачем ты встаешь с постели? Не бережешь себя... Могла бы послать кого-нибудь за мной... — говорил Жорж, предчувствуя, что мать опять будет донимать его разговорами о причастности к взрыву.

Мать все же прервала сына:

— Мне рассказали сегодня об одной очень неприятной подробности. Мальчик, которого арестовали после несчастья на электростанции, показал в сигуранце, что один из переодетых в черное одеяние бандитов был... в вишневых лакированных туфлях... Тебе это известно?

Жорж артистически закатил глаза, изображая из себя мученика.

— Ты опять об этом, мамуся? Извини, но мне надоели

твои подозрения. Каждый раз что-нибудь новое! Удовольствие не из великих... К тому же, у меня гость из Бухареста. Не дай бог, услышит, подумает, что у нас черт знает что творится... Идем отсюда, идем! Ты плохо выглядишь. Врач велел тебе лежать, а ты вскакиваешь без всякой надобности...

Жорж увел мать в спальню. Ее одолел приступ астмы. Но едва отдышавшись, она вновь стала настаивать, чтобы сын признался.

— Бога ради, Жоржик, ответь: ты скрываешь от меня что-то ужасное?

— Выбей, пожалуйста, из головы эту чушь или я сойду с ума! Ты думаешь, о чем говоришь? У меня, видите ли, имеются вишневые лакированные туфли!.. И что? Мало ли у кого какие туфли?! Как будто в городе одна рыжая собака... Потом, прости меня, пожалуйста, мамуся, но за кого ты все же принимаешь своего сына?

Жорж сделал обидчивую мину.

— Выслушай меня, Жоржик, спокойно, — помедлив, ответила мать, — и постарайся понять, почему я так беспокоюсь, почему подозреваю, что ты не говоришь мне правды... Я всегда была уверена, что мой сын честный, порядочный и воспитанный человек. И вдруг, когда я лежала в больнице, до меня дошел слух, что ты был с железногвардейцами в том мерзком факельном шествии, во время которого они разбивали стекла домов, выламывали витрины магазинов и что-то страшное вытворяли над несчастными евреями...

— Не такие уж они несчастные, мамуся, — прервал Жорж. — Ты их не знаешь.

— Неправда, Жорж! Если их повсюду унижают и оскорбляют, стало быть они несчастны! И не все ведь такие богачи, как Гаснер. Не повторяй, пожалуйста, слова своего отца! Это мерзко! Я знаю, он хочет оторвать тебя от моего сердца. Но ты не последуешь его примеру. Или я наложу на себя руки, слышишь, Жоржик?! Ты единственный человек, ради которого я еще существую...

Приступ кашля снова заставил ее замолчать. Жорж опустился на колени, стал гладить и целовать руки матери, с горечью он заметил, как они пожелтели и высохли. Глаза его наполнились слезами. Впервые за время болезни матери он понял, что она обречена.

— Может быть, опять лечь тебе в больницу? — спросил он, когда приступ кончился. — Я завтра же договорюсь с врачом, хочешь? Мы с Изабеллой будем навещать тебя...

Не ответив, мать вернулась к прерванному разговору, снова умоляла ничего не скрывать от нее.

— Ты можешь считать это болезненной фантазией или чем угодно, но я не допускаю, чтобы какой-то там коммунист или большевик, не знаю как их называют, задумав взорвать электростанцию, надел бы такие заметные, такие шикарные лакированные туфли... К тому же, в тот вечер, я хорошо помню, было сычно и грязно!

Жорж рассмеялся.

— А знаешь, мамуся, ты проникательна не хуже сыщика Статеску! Честное слово, тебе бы работать в сигуранце!

— Перестань дурачиться, Жоржик! — одернула его мать. — Я говорю о серьезных вещах. Убиты люди, Жорж, это ужасно! Или ты думаешь, что мне не рассказывали, как в ночь факельного шествия ты, мой сын, с какими-то хулиганами ворвался в дом того рыженького Хайма Волдitera, с которыми в детстве лазил через заборы, и вы учинили там погром? Ведь в ту ночь его бедная мать скончалась!.. Тогда я не поверила, но теперь... Взрыв и убийство на электростанции, твоё внезапное исчезновение с вечера у Изабеллы, потом эти туфли... Ужасно! Но я не стану что-либо утаивать... Нет, нет. Имей это в виду, Жорж!

— Вот как?! Любопытно... — вырвалось у Жоржа, на мгновение потерявшего контроль над собой и переставшего играть роль ложно подозреваемого любящего сына. Но он быстро опомнился и примирительно сказал:

— Ну, что ж, мамуся! Если хочешь серьезно поговорить со мной, то изволь слушать.

— Да, Жоржик, сделай одолжение...

— Так вот, мамочка! Всем известно, что коммунисты способны на гнусную провокацию и, совершив подлый поступок, они не остановятся перед тем, чтобы свалить вину за него на других. Ты об этом, конечно, не подумала. С таким же успехом они могут обуть своего человека в вишневые лакированные туфли, чтобы потом бросить тень подозрения на твоего сына, а самим остаться в стороне... Об этом ты тоже не подумала. А вот ты подумай, почему во всех цивилизованных странах мира их так или иначе преследуют? Почему в такой прекрасной стране, как Германия, коммунистов просто уничтожают? И почему там наравне с коммунистами вне закона объявлены евреи? Ты и об этом не подумала. И я к тебе за это не в претензии. Хочу только, чтобы ты знала: не все так просто, как ты представляешь себе, вероятно под влиянием приходящих к тебе кумушек... Вот так оно, мамочка!

Жоржу удалось на время сбить мать с толку. Она затруднялась что-либо ответить. Аргументы сына показались ей основательными, и она с радостью подумала, что, быть может,

твои подозрения. Каждый раз что-нибудь новое! Удовольствие не из великих... К тому же, у меня гость из Бухареста. Не дай бог, услышит, подумает, что у нас черт знает что творится... Идем отсюда, идем! Ты плохо выглядишь. Врач велел тебе лежать, а ты вскакиваешь без всякой надобности...

Жорж увел мать в спальню. Ее одолел приступ астмы. Но едва отдышавшись, она вновь стала настаивать, чтобы сын признался.

— Бога ради, Жоржик, ответь: ты скрываешь от меня что-то ужасное?

— Выбей, пожалуйста, из головы эту чушь или я сойду с ума! Ты думаешь, о чем говоришь? У меня, видите ли, имеются вишневые лакированные туфли!.. И что? Мало ли у кого какие туфли?! Как будто в городе одна рыжая собака... Потом, прости меня, пожалуйста, мамуся, но за кого ты все же принимаешь своего сына?

Жорж сделал обидчивую мину.

— Выслушай меня, Жоржик, спокойно, — помедлив, ответила мать, — и постарайся понять, почему я так беспокоюсь, почему подозреваю, что ты не говоришь мне правды... Я всегда была уверена, что мой сын честный, порядочный и воспитанный человек. И вдруг, когда я лежала в больнице, до меня дошел слух, что ты был с железногвардейцами в том мерзком факельном шествии, во время которого они разбивали стекла домов, выламывали витрины магазинов и что-то страшное вытворяли над несчастными евреями...

— Не такие уж они несчастные, мамуся, — прервал Жорж. — Ты их не знаешь.

— Неправда, Жорж! Если их повсюду унижают и оскорбляют, стало быть они несчастны! И не все ведь такие богачи, как Гаснер. Не повторяй, пожалуйста, слова своего отца! Это мерзко! Я знаю, он хочет оторвать тебя от моего сердца. Но ты не последуешь его примеру. Или я наложу на себя руки, слышишь, Жоржик?! Ты единственный человек, ради которого я еще существую...

Приступ кашля снова заставил ее замолчать. Жорж опустился на колени, стал гладить и целовать руки матери, с горечью он заметил, как они пожелтели и высохли. Глаза его наполнились слезами. Впервые за время болезни матери он понял, что она обречена.

— Может быть, опять лечь тебе в больницу? — спросил он, когда приступ кончился. — Я завтра же договорюсь с врачом, хочешь? Мы с Изабеллой будем навещать тебя...

Не ответив, мать вернулась к прерванному разговору, снова умоляла ничего не скрывать от нее.

— Ты можешь считать это болезненной фантазией или чем угодно, но я не допускаю, чтобы какой-то там коммунист или большевик, не знаю как их называют, задумав взорвать электростанцию, надел бы такие заметные, такие шикарные лакированные туфли... К тому же, в тот вечер, я хорошо помню, было сычно и грязно!

Жорж рассмеялся.

— А знаешь, мамуся, ты проникательна не хуже сыщика Статеску! Честное слово, тебе бы работать в сигуранце!

— Перестань дурачиться, Жоржик! — одернула его мать. — Я говорю о серьезных вещах. Убиты люди, Жорж, это ужасно! Или ты думаешь, что мне не рассказывали, как в ночь факельного шествия ты, мой сын, с какими-то хулиганами ворвался в дом того рыженького Хаима Волдitera, с которыми в детстве лазил через заборы, и вы учинили там погром? Ведь в ту ночь его бедная мать скончалась!.. Тогда я не поверила, но теперь... Взрыв и убийство на электростанции, твоё внезапное исчезновение с вечера у Изабеллы, потом эти туфли... Ужасно! Но я не стану что-либо утаивать... Нет, нет. Имей это в виду, Жорж!

— Вот как?! Любопытно... — вырвалось у Жоржа, на мгновение потерявшего контроль над собой и переставшего играть роль ложно подозреваемого любящего сына. Но он быстро опомнился и примирительно сказал:

— Ну, что ж, мамуся! Если хочешь серьезно поговорить со мной, то изволь слушать.

— Да, Жоржик, сделай одолжение...

— Так вот, мамочка! Всем известно, что коммунисты способны на гнусную провокацию и, совершив подлый поступок, они не остановятся перед тем, чтобы свалить вину за него на других. Ты об этом, конечно, не подумала. С таким же успехом они могут обуть своего человека в вишневые лакированные туфли, чтобы потом бросить тень подозрения на твоего сына, а самим остаться в стороне... Об этом ты тоже не подумала. А вот ты подумай, почему во всех цивилизованных странах мира их так или иначе преследуют? Почему в такой прекрасной стране, как Германия, коммунистов просто уничтожают? И почему там наравне с коммунистами вне закона объявлены евреи? Ты и об этом не подумала. И я к тебе за это не в претензии. Хочу только, чтобы ты знала: не все так просто, как ты представляешь себе, вероятно под влиянием приходящих к тебе кумушек... Вот так оно, мамочка!

Жоржу удалось на время сбить мать с толку. Она затруднялась что-либо ответить. Аргументы сына показались ей основательными, и она с радостью подумала, что, быть может,

сын и в самом деле не причастен к страшному преступлению. «Но почему именно Жоржика эти злодеи избрали козлом отпущения? — подумала она и нашла, с ее точки зрения, убедительный ответ: — Завистники, очевидно, хотя и очернить его именно сейчас, когда в городе стало известно о помолвке Жоржика с Изабеллой. Приданое помещика Раевского многим не дает покоя, это понятно...»

— Ты, мамуся, — вкрадчиво говорил Жорж, чувствуя, что мать колеблется и готова согласиться с ним, — не подумала еще и о том, кто именно показал, что человек, пришедший на электростанцию в черном балахоне, был будто бы в вишневого цвета лакированных туфлях? Ведь это говорил выкормыш коммуниста-жида!

— Фи, Жоржик! — возмутилась мать. — С каких пор ты стал так выражаться? Боже мой, неужели это сказал мой сын?! Ах, это отец твой... Воспользовался моим длительным пребыванием в больнице и вбил тебе в голову черт знает что... Мальчик мой! Знаешь ли ты, что в старой России ни один подлинно интеллигентный человек не позволил бы себе выговаривать такое мерзкое слово?! Оно унижает прежде всего тебя самого! Разве ты не понимаешь?.. Унижает потому, что свидетельствует о невоспитанности, об ограниченности и невежестве. Но я-то знаю, что ты не такой... И я уверена, что в доме Раевских подобных слов не произносят. А ты, даст бог, вскоре войдешь в их семью! Будь осторожен, сынок, не то можешь оказаться в неприглядном положении...

Жорж облегченно вздохнул, когда кашель вынудил мать прекратить чтение нотации. Он бережно накрыл ее одеялом, поцеловал в обе щеки и, сославшись на усталость и позднее время, пожелал спокойной ночи и вышел из спальни.

Мать погасила лампу. Холодный свет луны, проникавший сквозь тюлевые занавески на венецианских окнах, заполнил спальню. Долго она не могла уснуть. Тревожные, противоречивые мысли беспорядочно металась в ее голове. Доводы сына, только что казавшиеся ей убедительными, теперь представлялись сомнительными. «Быть может, коммунисты в самом деле причастны к взрыву электростанции, однако откуда им было знать, что у Жоржика есть такие заметные туфли? — размышляла она. — К тому же, он совсем недавно купил их и чуть ли не впервые надел в день помолвки!? И уж кто-кто, но не коммунисты же заинтересованы в том, чтобы расстроить помолвку сына с Изабеллой. Им-то что за дело до этого?»

Не верилось ей и в то, что к такому жуткому преступлению и шантажу в какой-либо мере может быть причастна

учительница, мать арестованного сигуранцей мальчика, с которой она училась в гимназии и знала, как очень милую, душевную и порядочную девушку.

Утомленная до предела, чувствуя невозможность выбраться из лабиринта противоречивых мыслей, она заставляла себя думать только о том, что надо сделать в связи с предстоящей свадьбой Жоржа, однако то и дело возвращалась к тревожившему ее и по-прежнему не могла уснуть.

Прошло около часа после того, как Жорж ушел к себе, когда ей послышались чьи-то осторожные шаги в коридоре, и вскоре до нее отчетливо донесся слабый скрип двери черного хода. Предчувствуя что-то неладное, она встала, не зажигая света, подошла к окну и при лунном свете увидела сына у ворот гаража. Она удивилась. «Странно... Очень странно! Что ему понадобилось в гараже в такое позднее время?.. А говорил, что очень устал...» — взволнованно прошептала она. Повинуясь безотчетному желанию теперь же, сию же минуту избавиться от гнетущих подозрений, узнать правду, пусть самую горькую, но правду, она накинула халат и, по-прежнему не зажигая свет, направилась к выходу из спальни.

Из окна другой комнаты, смежной с комнатой Жоржа, в то же время настороженно следил за ним и Лулу Митреску. Он слышал, когда Жорж вернулся домой, слышал, когда к нему в комнату вошла мать, хотел было подслушать их разговор, но вскоре они вместе проследовали в спальню. Лулу рассчитывал, что Жорж все же зайдет к нему, поделится новостями, расскажет, о чем и как он толковал с матерью... И Лулу терпеливо ждал и все больше нервничал. Его удивило, что Жорж, не заглянув к нему, вернулся в свою комнату и долго ходил там. Наконец звук шагов прекратился, послышался тупой звук от падения какого-то предмета, потом щелкнул выключатель... А через несколько мгновений Лулу услышал, как Жорж вышел из комнаты, крадучись прошел по коридору мимо двери его комнаты и вышел во двор. Тотчас же Лулу прильнул к окну...

Жорж вошел в гараж, приоткрыл одну половину ворот. При свете луны, не включая электричества, он быстро нашел жестяной тазик со слитыми в него после промывания мотора остатками керосина и бензина. Хотел подбавить еще немного бензина, но, как назло, все канистры оказались пустыми. Торопливо перенес он тазик в самый дальний угол гаража, достал из-за пазухи лакированные вишневого цвета туфли, опустил их в тазик и с трудом поджег смесь, в которой было больше керосина с отработанным маслом и очень мало бензина. Когда же туфли начали наконец гореть, он поспешил к во-

ротам, чтобы наглухо закрыть их и... обомлел: в гараж вошла мать.

— Зачем ты здесь? — расстерянно забормотал Жорж. — Ты же больна... Надо лежать... Уходи!

— Сжигаешь вещественные доказательства? — сухо произнесла мать, протискиваясь между машиной и стеной гаража к пылающему на полу огню. — Теперь ты, надеюсь, не будешь утверждать, что не причастен к взрыву?!

— Что ты говоришь?! — срывающимся голосом ответил Жорж, инстинктивно входя в роль оскорбленного ложными подозрениями. — У тебя, извини, галлюцинации... Честное слово!

— Оставь, Жорж! Ни честное слово, ни сгоревшие до тла туфли не помогут утаить виновника преступления! В этом я, мать, клянусь тебе, Жорж!

— О каком преступлении ты говоришь и причем тут мои туфли? — все еще бормотал Жорж, стараясь отвлечь мать, подольше задержать ее в проходе вдали от огня. — Я вулканизую камеру... Хочу утром поехать за врачом...

— Ты хорошо освоил ремесло преступника и убийцы, но еще не научился обманывать меня... Я заходила сейчас в твою комнату и первое, что обнаружила, — это отсутствие лакированных туфель! До твоего возвращения домой они были в шкафу. Я держала их в руках... Пропусти меня, отойди!

Она решительно отстранила сына в сторону и подошла вплотную к тапалу.

— Нечего сказать, молодец! Сжег... Впрочем, не все еще сгорело! Вот каблук и задники...

Жорж понял, что больше не удастся обманывать мать. Нервы у него окончательно сдали. Потупясь, он процедил сквозь зубы:

— Могу я знать, в конце концов, чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы ты пошел со мной в сигуранцу! — решительно ледяным голосом ответила мать.

— Ты хочешь, чтобы меня посадили? Чтобы я гнил в...

— Я хочу, — прервала она, — чтобы ты опомнился! Остановился, пока еще, может быть, не поздно... Тебя втянули в мерзкую историю. Пусть в сигуранце разберутся... Получишь по заслугам, отсидишь положенный срок, зато потом станешь человеком. Это лучше, чем стать закоренелым негодяем... Гаси огонь и пошли!

— Никуда я не пойду! — озлобленно отрезал Жорж. — И ты, пожалуйста, уходи отсюда, если не хочешь вызвать еще большее обострение астмы! Тебе же нельзя вставать с постели... Смотри, как ты кашляешь?!

Переборов приступ удушья, она сказала:

— Если не пойдешь со мною сию же минуту, я сама пойду в сигуранцу!

— Хороша мать, которая идет предавать своего единственного сына!..

— Я тебе больше не мать... По крайней мере, сейчас... Я не шучу, Жорж! Идешь или нет?!

— Я сказал, не пойду! Всё! И ты никуда не пойдешь. Поняла? Я тоже не шучу...

— Ошибаешься, Жорж! Пойду! Ты не заставишь меня быть соучастницей убийц... В этом можешь быть уверен!.. В последний раз спрашиваю: идешь?

— Нет, мадам! — послышался со стороны ворот голос, и из темноты выросла мощная фигура Лулу Митреску. — Никуда ваш сын не пойдет... В этом я вас заверяю!

— Ах, и вы здесь?! Наш великосветский столичный гость с изысканными манерами!.. Какая приятная встреча... — начиная задыхаться от смрада и волнения, с язвительно-насмешливой интонацией ответила мать. — Теперь ясно, кто был с Жоржем на электростанции в тот вечер... Очевидно, вы для этого и прибыли в наш город? Не так ли?

— Вы не ошиблись, мадам! — гордо ответил Лулу. — С нашим сыном был я. Могу вам сделать еще одно чистосердечное признание: причастен к этому делу и ваш достопочтенный супруг... Правда, он считал за благо улизнуть! Манера похвальная, однако она не снимет с него ответственности...

— Да, мама, — подхватил Жорж. — Это правда... Но ты же не знаешь, какие благородные цели мы преследуем...

Прозвенела пощечина.

— Ты что? — вскрикнул Жорж. — С ума сошла?

— Сожалею, что не могу дать пощечину и твоему отцу... До чего он довел тебя! Мерзавец... — произнесла она и решительно направилась к выходу.

— Минуточку, мадам... — размеренно сказал Лулу, преграждая ей путь и небрежно размахивая пистолетом. — Мы не намерены играть в прятки... Идеалы нашего движения превыше вашего вздора, мадам!..

— И вы намерены убедить меня в этом при помощи револьвера?! Ну-ка, Жорж, прикажи этому подлецу отойти в сторону, не то я закричу... позову сторожа!

— Мамуся! — попытался прилгнуть к ней Жорж. — Прощу тебя, успокойся, опомнись...

— Прочь от меня, убийца! Сторож! На по-о-мощь, на по-о...

Жорж набросился на нее, ладонью пытался прикрыть ей рот. Она закашлялась.

— Знаешь что?! — зашипел он. — Если ты не прекратишь, я... я не ручаюсь за себя! Сейчас решается судьба не только моя, отца и наших лучших друзей, но и судьба нашего края, даже всей страны... Мы обязаны всеми средствами бороться с большевизмом и мировым иудейством!

— Весь в отца, весь! Какой ужас, какая низость, — запримечала женщина. — Ну, что же ты стоишь? Бери у своего подонка револьвер и стреляй! Или предоставь ему честь быть убийцей твоей...

— Замолчи! — крикнул Жорж. — Хватит! Я не желаю больше слушать тебя и церемониться с тобой, понятно?

— Понятно, что ты выродок, Жорж! А я все думала, что мой сын самый хороший... самый воспитанный, самый порядочный... Разве мог он ходить с факелами и бить стекла или выламывать витрины? Боже упаси... Вы-ро-док! — уже не говорила, а надрывно кричала потерявшая всякое самообладание женщина. — На по-о-мощь! Сто-о-рож! На по-о-ом...

Жорж снова вцепился обеими руками в лицо матери, с силой зажал ей рот.

— Не так, не так!.. Разве так душат? Вот как надо... Так!.. Слюняй же ты, мсье Жорж, слово чести легионера!..

22

Еще совсем недавно Хаим Волдитер относился недоверчиво к высказываниям Нуци Ионаса о планах создания многомиллионного еврейского государства. «О каком государстве с молочными реками и кисельными берегами можно говорить всерьез, если здесь нет даже нормального сортира? — думал он, но тотчас же возражал самому себе: — Конечно, такие, как Соломонзон, живут ничего себе! Дом-особняк, ковры и прислуга, телефоны и шоферы... Роскошь! Для них здесь действительно земной рай. Им можно жить... Почему бы и нет?!»

Хаим ничего не знал о закулисной деятельности сионистской верхушки, создавшей различные тайные организации. Не знал он, что эти организации располагают разветвленной сетью агентов в правящих кругах и правительственных учреждениях многих стран мира. Не знал он и об истинном назначении Экспортно-импортного бюро, служащим которого состоял с первых дней прибытия в Палестину.

Между тем тайные организации сионистов с каждым днем

все более активно разворачивали свою деятельность, направленную на создание в Палестине еврейского «национального очага». В системе этих организаций особое место принадлежало специальной оперативной службе при штабе Хаганы, исполнявшей роль секретного политического ведомства и занимавшейся сбором информации. Эта служба при штабе Хаганы получила два года назад через своих доверенных лиц от английских чиновников «Верховного комиссариата по мандату для Палестины» документ с пометкой «Strictly confidential»¹³⁷. В нем сообщалось о предстоящем прибытии в Палестину двух корреспондентов немецкой газеты «Берлинер тагеблатт».

В Лондоне не придали особого значения кратковременному визиту немцев. Зато этим сообщением заинтересовались люди из специальной оперативной службы Хаганы и особого штаба «Массада»¹³⁸, непосредственно подчиненного политическому департаменту «Еврейского агентства».

Недавно реорганизованная служба Хаганы получила название «Шэрут ле Исраэль», а для маскировки ее сокращенно именовали «ШАИ». По настоянию ее руководителя Рувима Шилоаха, в недавнем прошлом офицера Интеллидженс сервис, англичане из «Верховного комиссариата по мандату для Палестины» получили от лондонских коллег, в свою очередь черпавших информацию через людей, работавших в германском абвере, сведения о том, что оба корреспондента, направляющиеся в Палестину, не имеют ничего общего с газетой «Берлинер тагеблатт». Весьма подробные установочные данные о них содержались в поступившей из Лондона дополнительной шифровке с грифом «Top secret»¹³⁹.

Тщательно — при непосредственном участии руководителей «Массада» и ШАИ — готовились в Палестине к приезду зарубежных гостей. И с того момента, как немцы ступили на «обетованную землю», их сопровождали представители этих двух тайных служб — и при осмотре Хайфы, и в поездках по Тель-Авиву, и во время прогулок по кривым и грязным переулкам Яффы. Отсюда пути немецких «газетчиков» разделились: один отправился в Иерусалим, чтобы запечатлеть на пленке древние храмы, монастыри и особенно паломников, прибывающих со всех концов земного шара на поклон «гробу господнему». Об этом «журналист» охотно сообщал

¹³⁷ Строго конфиденциально (англ.).

¹³⁸ Политическая разведка сионистов, занимавшаяся переброской иммигрантов и оружия в Палестину.

¹³⁹ Совершенно секретно (англ.).

при каждом удобном случае, умалчивая, разумеется, о своем главном намерении: встретиться с людьми великого муфтия Иерусалима Амин-эль-Хуссейна, на которого в Берлине возлагали большие надежды в связи с предстоящей активизацией в этом районе «пятой колонны».

Второй немецкий «корреспондент», молодой, худощавый, белобрысый, выехал на рейсовом автобусе в Шароа — небольшую зажиточную немецкую колонию. Проживавшие здесь с давних времен поселенцы гордились древним монастырем, своим хорошо налаженным хозяйством и пристрастием к старинным национальным обычаям и обрядам. Однако молодой гость в этой местности не стал задерживаться. К исходу дня он отбыл в Иерусалим, где ему предстояло встретиться с напарником. В пути он заночевал в небольшом и тихом поселке, заселенном недавно прибывшими из Европы евреями-иммигрантами.

Надев пижаму, молодой «журналист» с наслаждением растянулся на большой и удобной кровати. Но заснуть ему не удалось: в дверь постучали, и тут же вошли трое. Это были агенты специальной оперативной службы Хаганы. Представителем «Шэрут ле Исраэль» был высокий моложавый человек, за толстыми стеклами его очков прятались зеленоватые глаза, седые виски красиво оттеняли матовый цвет лица. На чистейшем берлинском диалекте он заявил, что уважаемый гость Палестины совсем не тот, за кого пытается себя выдавать, и что истинная цель его приезда не имеет ничего общего с журналистикой...

— Это гнусная провокация! — вспылil «уважаемый гость Палестины». — Предупреждаю вас, что подобные инсинуации по отношению к гражданам великого германского рейха не остаются безнаказанными!..

Хагановцы, нагло ухмыляясь, молча рассматривали белобрысого «журналиста». Один из них остался у дверей; правый карман его пиджака выразительно оттопыривался.

— Хотите того или нет, а вам придется выслушать нас, — проговорил представитель ШАИ. — Итак, нам известна вся ваша подноготная... Ну, хотя бы то, что родились вы в Золингене девятнадцатого марта тысяча девятьсот шестого года. Зовут вас Адольф и фамилия не Экман, как значится в заграничном паспорте, а Эйхман. Незначительная «деталь»!..

Немец молчал, с тревогой слушая вкрадчивый голос хагановца.

— И вам, естественно, невыгодно являться в Палестину под своей фамилией, герр хауптшарфюрер СС Эйхман. К тому же, при чем тут журналистика, когда вы работаете в одной

из секций «Зихерхайтдинст»¹⁴⁰? Там, насколько нам известно, вы довольно успешно занимаетесь выявлением франкмасонов. Не правда ли?

Внешне казавшийся невозмутимым, немец, однако, после каждого слова, после каждой фразы наглого собеседника испытывал все большую тревогу, и лишь последнее изречение он воспринял со скрытым вздохом облегчения. Данные о его работе в секции по борьбе с франкмасонами хотя и соответствовали истине, но устарели: почти два года он возглавляет департамент, разрабатывающий «решение еврейской проблемы».

На эту весьма существенную деталь в шифровке с установочными данными на эсэсовца Адольфа Эйхмана не было и намека. Составлявшие депешу англичане не без умысла умолчали о ней. Они заведомо знали, что сведения о так называемом «журналисте из Берлинер тагеблатт» предназначены для «Шэрут ле Исраэль» и что они могут стать достоянием экстремистов из Хаганы... Как потом, в случае какого-либо эксцесса, они, англичане, объяснят факт выдачи Эйхману визы на право посещения подмандатной Великобритании Палестины? Кроме того, обстоятельства складывались так, что Лондон не был заинтересован в обострении отношений с Германией.

Поняв, что вторгшиеся люди не знают о главном, Эйхман несколько успокоился, но все же не знал, как вести себя дальше, и гадал, чем все это может кончиться. Ему шел всего лишь тридцать первый год, в СД он работал менее трех лет и все эти годы не вылезал за пределы «рейха».

В отличие от немца, назойливые собеседники были мастерами дел именно подобного рода... Представитель Шэрут ле Исраэль, иронически поглядывая на внешне спокойное лицо Эйхмана, по-прежнему вкрадчиво, как по гомеопатическому рецепту — через короткие интервалы, — продолжал оказывать на него нажим во все возрастающей дозе. Он напомнил Эйхману, как еще в раннем возрасте отец привез его из Золингена в Линц, здесь он с трудом окончил начальную школу, проучился четыре года в реальном лицее и всего лишь два года посещал курсы федерального технического училища, которое готовило младших инженеров-электриков. Своего девятнадцатилетнего сыночка Эйхман-старший, тогда директор «Электротрамвайной компании» города Линца, устроил продавцом фирмы электрооборудования. Через два года Адольф Эйхман, уволившись, уехал в Вену.

¹⁴⁰ Служба безопасности, или СД (нем.).

Поразил Адольфа Эйхмана перечисленный незнакомцем длинный и точный перечень лиц, с которыми он либо дружил, либо лишь изредка общался. Среди них были и евреи, которые, как подчеркнул непрощенный гость, весьма положительно отзываются об Адольфе и тем более о его отце, известном в Линце как «Электро-Эйхман», все еще проживающем на Ландштрассе, 32.

Эйхман терпеливо слушал, чувствуя, как с каждой минутой в нем нарастает тревога. Безотчетный страх сжимал сердце, хотелось зажмуриться, спрятать голову под подушку и не слышать этого ласкового голоса, от которого мороз пробежал по спине. Предчувствия не обманули: сначала Эйхману сунули под нос пожелтевший от времени листок газетки города Линца с фотографиями, на которых был запечатлен его отец, присутствовавший в качестве почетного гостя в главной синагоге города. Потом молчаливые помощники седовласого представителя ШАИ заставили его прочитать репортаж о церемонии присуждения австрийскими властями высокой награды главе местной еврейской общины небезызвестному деятелю сионистской организации Бенедикту Швагеру. «На торжестве с приветственным словом от муниципалитета и пресвитерианской церкви выступил Отто Эйхман», — прочитал Адольф. Да, это был его отец... Эйхман понимал, что попал в западню, выхода из которой он пока не видел. А тот же вкрадчивый, ласковый голос продолжал перечислять примечательные эпизоды из жизни чистокровного арийца Эйхмана. Оказалось, что тот был замешан в весьма «деликатном» дельце, корни которого вели за океан. И не только... А именно в особую картотеку «Еврейского агентства». Это было, правда, в то время, когда еще совсем молодым человеком Эйхман служил в австрийском представительстве американской фирмы «Вакуум ойл компани». Сюда его приняли на службу при непосредственном содействии того же Бенедикта Швагера — главы еврейской общины города Линца и духовного наставника местной сионистской организации. Это протектирование внешне выглядело как дань благодарности «Электро-Эйхману» за оказанную ему, Швагеру, честь на недавних торжествах, но имело и скрытую от не посвященных в дела сионистской верхушки цель.

То были приятные для Эйхмана и вместе с тем огорчительные дни: по всей Австрии и особенно в ее верхней части, как грибы после дождя, возникали национал-социалистские группки.

«Своих людей мы должны иметь и в стане врагов, — заметил тогда почтеннейший Бенедикт Швагер. — И чем боль-

ше их будет, тем легче нам будет вести борьбу и тем скорее достигнем цели...»

И молодой Адольф Эйхман оказался «своим человеком», который был внедрен в такого рода группку.

Много позднее, когда некоторые связи Адольфа Эйхмана, выходявшие за рамки коммерческих сделок нефтяной компании «Вакуум ойл», бросили на него тень, немецкому консулу в Линце господину Дирк фон Лангену не без помощи того же Бенедикта Швагера пришлось за него заступиться. И, конечно, главную роль в оправдании Эйхмана сыграло утверждение консула, что он, Эйхман, является примерным участником подпольного национал-социалистского движения! Только для всех осталось в тайне, что тот же Адольф Эйхман, по настоянию тех же доверенных лиц из окружения главы «еврейской общины» города Линца, был одновременно и членом антимарксистской австро-германской организации.

И вот первого апреля тысяча девятьсот тридцать второго года Эйхман, будто бы по собственному желанию, а в действительности по указанию своих протезе из «Вакуум ойл компани», вступил в национал-социалистскую партию и в «Schutzstaffeln»¹⁴¹, секретно информируя своих подлинных хозяев о положении дел в «СС-штандарте 89»¹⁴², к которому он был причислен, о личном составе и настроениях эсэсовцев, об их вооружении и намечаемых ими акциях. И прежние хозяева высоко оценили эту услугу...

Рассказывая все это, представитель «Шэрут ле Исраэль», конечно, умолчал о том, что Бенедикт Швагер, организовавший эту акцию, также был щедро вознагражден своими американскими коллегами из «Вакуум ойл компани»... Эта сторона связей главы «еврейской общины» города Линца должна была остаться «за занавесом»...

— Подобная ваша деятельность продолжалась, по существу, вплоть до первого августа тридцать третьего года, — проговорил хагановец, — а затем последовал приказ от гаулейтера Верхней Австрии партайгеноссе¹⁴³ Боллека отбыть в военно-подготовительный лагерь Лешфельд... Не так ли? Теперь слово за вами, герр Эйхман... Вы, вероятно, понимаете, что от этого слова зависит ваша дальнейшая карьера, и, пожалуй, не только карьера!

Набившие руки на политическом шантаже люди из спе-

¹⁴¹ СС (нем.).

¹⁴² Эсэсовский полк (нем.).

¹⁴³ Товарищ по партии (нем.).

циальной оперативной службы Хаганы расчетливо выкладывали обличающие немца сведения. Их было более чем достаточно...

В маленьком еврейском поселке маленький фюрер СС начинал понимать, что все эти «маленькие» биографические детали могут сыграть весьма большую роль в его карьере, если сведения о них дойдут до соответствующих органов рейха... Песенка его тогда будет спета... Не выручат и высокопарные слова о том, что он обладает «*grosse Fachkenntnisse auf seine Sachgebiet*»¹⁴⁴, вписанные всего лишь два года назад в его личную картотеку, хранящуюся в несгораемом шкафу берлинского Хауптштамта СД¹⁴⁵.

Вдали от фатерланда, над людьми которого безраздельно властвовал, здесь эсэсовец Эйхман неожиданно ощутил страх, понял, что он в западне.

Наступившая пауза была мучительна. Адольф Эйхман обдумывал, как бы выбраться из ловко устроенной ловушки.

— Это так, господа... — вымолвил он наконец. — Все верно. Однако прежнего Адольфа Эйхмана нет. И это тоже верно... Перед вами — Эйхман-идеалист! А вы, как я понимаю, тоже идеалисты. И, поверьте, мне это весьма приятно. У нас много общего. Это не ради констатации, а отрадный факт! Будь я евреем, вне всякого сомнения, я был бы самым ярким сионистом....

Ответ заслуживал внимания, потому что у эсэсовца Эйхмана уже были кое-какие заслуги перед сионизмом; пленил ночных собеседников и смиренный тон, каким это признание было высказано. Уловив возникшее к себе доверие, Эйхман ловко пустил в ход испытанные козыри: щегольнул несколькими словами на иврите, затем произнес две-три фразы на идиш, которые запомнились ему, когда он частенько бывал среди евреев, работавших в «Вакуум ойл компани». К подобному маневру Эйхман прибегал не впервые. Как-то года четыре назад для проверки боеготовности австрийских эсэсовцев «черного легиона» в Австрию тайно прибыл рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, и Адольф Эйхман, присягнувший ему в верности, приятно удивил шефа, продемонстрировав перед ним «обширные» знания языка того самого народа, который нацизм объявил врагом «номер один».

С тех пор Адольф Эйхман круто пошел в гору. Но, очутившись в Палестине, где, к своему великому несчастью, он встретил людей, досконально знавших о нем чуть ли не все,

¹⁴⁴ «значительными специальными познаниями в своей области» (нем.).

¹⁴⁵ Штаб СД (нем.).

что он старался скрыть, Эйхман ощутил реальную возможность скатиться с этой «горы» в глубокую пропасть. Чтобы выиграть время для обдумывания очередного хода, он счел целесообразным намекнуть, что если вдруг с ним или его напарником случится несчастье за пределами третьего рейха, то это непременно повлечет за собой серьезные акции против евреев-заложников. Разве подобное обстоятельство не беспокоит их единоверцев?

Хагановец хладнокровно и цинично ответил: если уважаемый герр Эйхман внезапно скончается от разрыва сердца или солнечного удара в каком-нибудь малоизвестном поселке Палестины, а в Германии по этой причине казнят невинных заложников-евреев, то ведь Эйхману от этого вряд ли будет легче.

— Не правда ли, герр Эйхман? — тихо спросил представитель ШАИ. Его глаза выражали искреннее сочувствие своему собеседнику, даже грусть. — Поэтому не кажется ли вам, что пора, наконец, перейти к конкретному разговору?

— Чего же вы хотите от меня, господа? — спросил Эйхман.

— Сущего пустяка! И, насколько я понимаю, наше предложение будет выгодно и для вас и для Германии...

— Я весь внимание, господа! Но заранее скажу: если дело, к участию в котором вы хотите привлечь меня, пойдет на пользу Великому германскому рейху, я, разумеется, сделаю все, что в моих силах...

— В клятвенных заверениях, герр Эйхман, нет необходимости, — тихо прозвучал ответ на пылкое обещание. — Как вы теперь понимаете, у нас есть более веские гарантии. И я уверен, что мы договоримся... В свое время кайзер Вильгельм обещал доктору Герцлю поддержать создание «еврейского национального очага», если территория Палестины будет объявлена германским протекторатом. Англичане воспротивились этому. Они опасались, как бы Германия не стала более могущественной империей, чем того хотелось лордам с Даунинг-стрит... Теперь и вы и мы можем многого достигнуть! Но для этого нам нужно оружие! И мы хотим, чтобы вы помогли нам получить его... Великобритания — потенциальный враг германского рейха.

Выслушав собеседников, Эйхман воспрянул духом: шантаж не удался, сделка эта соответствовала секретной миссии, которую он выполнял здесь, в Палестине, и о которой, судя по всему, его собеседники не были осведомлены. Успешное выполнение поставленной перед ним задачи сулило и ему,

Эйхману, немалые выгоды. Выходит, рановато оплакивать себя, ему предстоит еще взлететь на вершину...

В небольшом, только что возникшем еврейском поселке между эсэсовским фюрером и представителем «Шэрут ле Исраэль» при участии двух человек из специальной оперативной службы Хаганы и особого штаба «Массад» зародилось тогда соглашение огромного международного значения... Предварительная договоренность была достигнута быстро. В ней были заинтересованы обе стороны: нацисты создавали в Палестине «пятую колонну» для действий против Великобритании; сионисты лезли из кожи вон, чтобы ускорить приход того дня, когда можно будет разговаривать с арабами и, отчасти, с англичанами языком пулеметов. Детали соглашения должны были определиться после переезда Эйхмана в Каир, куда он намеревался отбыть из Иерусалима вместе с напарником. Там им предстояла встреча с великим муфтием Иерусалима Амином-эль-Хуссейном — главным резидентом рейхсфюрера СС Гиммлера на Ближнем Востоке. Именно с ним и должен был состояться разговор об активизации в Палестине «пятой колонны».

Рано утром Адольф Эйхман беспрепятственно, в отличном настроении покинул поселок. Он не сомневался, что в Берлине одобряют его план. Довольный собой, Эйхман размышлял: «Если каждая пуля или снаряд, выпущенный из немецкого оружия руками сионистов, попадет в англичан, — это уже хлеб!.. И если в это дело ввяжутся арабы, — а англичане, надо полагать, ответят тем же и арабам, и иудеям, то это уже будет хлеб да еще с маслом!»

Однако слухок о каком-то тайном сговоре между приездим эсэсовцем и специальной оперативной службой Хаганы просочился в Лондон. Поэтому находившемуся в Каире «корреспонденту» газеты «Берлинер тагеблатт» господину Экмону неожиданно было отказано в повторном въезде в Палестину.

Об этом немедленно стало известно человеку из штаба «Массад». Это был молодой офицер Абба Эбанс, работавший в Интеллидженс сервисе и поддерживавший со специальной оперативной службой Хаганы более тесный контакт, чем позволялось практиковать сотрудникам двух родственных ведомств. Он прислал короткую шифровку с пометкой «Read and destroy»¹⁴⁶. В ней Абба Эбанс сообщал руководству ШАИ, какую в настоящее время занимает должность в СД хауптшарфюрер СС Адольф Эйхман, как исключительно ве-

¹⁴⁶ «По прочтении уничтожить» (англ.).

лики его возможности и полномочия в отношении евреев, проживающих в «третьем рейхе».

Тотчас же в Каир поспешили для встречи с Эйхманом двое: руководящий работник «Массад», уже знакомый ему человек, вторгшийся однажды ночью в номер отеля, и второй — тучный немолодой мужчина, работавший главным экспедитором Экспортно-импортного бюро. При встрече с Эйхманом они обсудили ряд важных вопросов, уточнили детали реализации достигнутого прежде двустороннего соглашения.

Результатом беседы в Каире и представленного затем в СД обстоятельного доклада Эйхмана о поездке в Палестину, — в нем в общих чертах излагался план использования, помимо приверженцев великого иерусалимского муфтия Амин-эль Хуссейна, а также сионистов против англичан и арабов, а последних — против иудеев, — явилось решение нацистских верхов начать подготовку к эмиграции евреев из рейха и доставку в Палестину оружия.

Прибывшие вскоре в Германию представитель штаба «Массад» и эмиссары специальной оперативной службы договорились о создании здесь трудовых лагерей для сортировки и подготовки евреев к отправке в Палестину. Принцип отбора людей в эти лагеря был установлен бесстыдно-откровенный: отбирались только вполне трудоспособные мужчины и женщины, которые могли бы совмещать работу с несением воинской службы, специалисты ряда отраслей и, конечно, в первую очередь лица, имеющие заслуги перед сионизмом (то есть буржуа, финансировавшие сионистов), и люди, состоящие в организациях, примыкающих к сионистам, как, например, «Гардония» или «Маккабия».

Таким образом, определение лиц, подлежащих эмиграции, преследовало в основном три цели: заполучить максимум пушечного мяса, денежных тузов и преданные идеям сионизма кадры.

Для первой, наиболее многочисленной категории людей в лагерях организовывалось военное обучение по образцу подготовки, проводимой на «акшаре».

Все эти люди со временем должны были отбыть в Палестину не с пустыми руками. Для этой цели сионистами готовилось к отправке захваченное вермахтом иностранное оружие. Нацисты согласились передать его в виде компенсации за имущество, которое оставляли в Германии еврей-эмигранты.

И опять слухи об этой сделке дошли до англичан, а через них и до арабов. Обстановка накалялась. В ряде городов и

поселков Палестины вспыхнули кровавые столкновения между сионистами и арабами. Тогда Лондон был вынужден опубликовать «Белую книгу», вводящую строгое ограничение на иммиграцию евреев в Палестину.

В ответ на это Хагана делала вид, будто приводит в боевую готовность свои подразделения... И чем больше внешне возрастал антагонизм между англичанами и «Еврейским агентством», с ведома которого действовали хагановцы, а также секретный отдел разведки и диверсий «Шэрут ле Исраэль», тем охотнее Адольф Эйхман и стоявшие над ним эсэсовские фюреры и ведомство адмирала Канариса были готовы идти навстречу сионистам, содействуя их планам. Вместе с тем «Еврейское агентство» с подведомственными ему тайными и явными организациями не столько намеревалось избавиться от англичан, сколько сохранить с ними союз, чтобы выдворить из Палестины арабов.

Непрерывным потоком прибывали в палестинские порты различные грузы: машины из Америки, фураж и мясные продукты из Австралии, промышленные товары из многих стран Европы. Но больше всех поставляла... Германия. Нацистская!.. В обратный рейс трюмы судов загружались преимущественно апельсинами, оливками и кустарными изделиями туземных умельцев.

Как муравьи по проложенным дорожкам, сновали грузчики от кораблей к складским помещениям и от складских помещений к кораблям. Тяжело нагруженные люди непрерывным потоком проходили, замедляя шаг, мимо наблюдателей, внимательно проверяющих маркировку контейнеров и упаковок. По каким-то только им известным признакам они направляли жестом руки в разные стороны грузы, внешне, казалось бы, совершенно неразличимые, и тогда одна цепочка грузчиков внезапно прерывалась и возникала другая.

Этой таинственной сортировкой грузов руководили главный экспедитор Экспортно-импортного бюро толстяк Давид Кнох и стройный, подтянутый Нуци Ионас. Помощником к ним недавно перевели Хаима Волдитера. Новая должность приносила ему немало хлопот. Приходилось ездить в Яффу, частенько допоздна задерживаться в порту. Во время разгрузки или погрузки судов он всецело зависел от главного экспедитора, человека грубого и требовательного. Соблазняло, конечно, повышенное жалованье: они с Ойей ждали ребенка, и увеличение заработка было как нельзя кстати.

Нуци Ионас настойчиво твердил Хайму, что его новая

должность очень ответственна и что оклад ему повышен исключительно по этой причине.

— Только из-за специфики грузов, которые мы получаем, и существует наша «лавочка», — говорил он. — Иначе Соломонзону и тем более его дядюшке Теплицу не было бы смысла нас держать...

Хаим терпеливо выслушивал внушения Нуци, но спросить, в чем состоит «специфика» грузов, не решался. С первых минут своего появления в порту Хаим понял, что любознательность здесь не в почете.

Главный экспедитор Экспортно-импортного бюро Давид Кнох был местный, «ватиким», и не терпел «одем-хадаш» — приезжих; он считал их белоручками, непригодными для работы в порту.

Лишь через несколько дней, увидев в Хаиме старательного и услужливого работника, Кнох подозревал его.

— Если вы намерены и дальше работать, — проговорил он густым, басовитым голосом, — то запомните: слов «не знаю», «не умею», «не видел» или, упаси бог, «забыл» для меня не существует. Вы обязаны все знать, уметь, видеть и непременно все помнить! Отговорок не признаю. Работать будете со мной и только по моим указаниям. Возникнет необходимость спросить — спросите, отвечу, но повторять не в моей привычке. Пусть этим занимается ваш друг Ионас... У меня и без того дел хватает. Не понравится работа — заявите. И чем раньше, тем лучше... Для вас, конечно! Возиться с вами я не намерен. А скрывать что-либо от меня, говорить неправду — не советую.

Слушая Кноха, Хаим кивал головой и хлопал рыжими ресницами, а сердце у него колотилось от страха.

Кнох был немногословен, сказанное считал предельно ясным. Дело свое знал отлично и работал с рвением одержимого. За подвижность, стремительность — при его-то двадцатикилограммовом весе! — портовые рабочие прозвали Кноха «паровозом». И в самом деле, кличка была очень меткой: прикусив верхнюю толстую губу и громко сопя, Кнох шел напролом, словно катился по рельсам. Казалось, толстяка никто и ничто не остановит!.. Его тучная фигура показывалась то на сходнях, то в трюме, то на палубе, а то и в пакгаузе. Не задерживаясь на ходу, он отдавал краткие деловые распоряжения и если уж останавливался, то только для того, чтобы обрушить на чью-то провинившуюся голову поток ругани.

«Паровоз» был беспощаден к лодырям. Хитрецов и нытиков ненавидел. Он быстро освобождался от таких работников.

Уговаривать его отменить свое решение, призывать пожалеть малых детишек уволенного было бесполезно. Кнох отвечал всегда одно и то же:

— Работа в порту только для здоровых, как больница — исключительно для больных...

Давид Кнох не давал скидок даже самому любимому грузчику, если замечал за ним оплошность. Он немедленно отстранял его от работы, сам становясь на его место, чтобы показать другим, как надо делать дело.

Хаим Волдитер боялся Кноха, избегал встреч с ним, как, впрочем, и другие служащие и грузчики Экспортно-импортного бюро. Они изучили повадки главного экспедитора и, заприметив еще издали его коренастую фигуру, тотчас замолкали, подтягивались, гасили и тщательно прятали окурки. Если он попадался навстречу в узком судовом проходе или, упаси бог, на трапе, грузчики шарахались в стороны: Кнох всей своей массой сталкивал с пути встречного, если, конечно, тот не был начальством.

Даже Нуци Ионас, доверенное лицо Симона Соломонсона, обращался к Давиду Кноху с некоторым трепетом. Правда, и тот помалкивал, когда Ионасу случалось ошибиться. А за Нуци такое водилось...

Зато Симон Соломонзон восхищался работой главного экспедитора, частенько интересовался им и дядюшка Симона, старик Джузеппе Теплиц. Странно, но они были хорошо знакомы. Когда однажды Давид Кнох по поручению судоходного общества «Израильский морской Ллойд» ездил в Италию для покупки старого судна, которое итальянцы собирались списать, Кноха удостоил вниманием сын Джузеппе — сам Теплиц-младший.

По этому поводу рассказывали, будто Кнох, увидев супругу миллиардера в меховой накидке, привез и своей жене дорогостоящую тяжелую меховую шубу, в которой та пришла в синагогу в довольно жаркий еще осенний день новогодне-го праздника «рош-га-шана». Поговаривали, что главный экспедитор очень верил талмудистской примете: «каков у тебя день на рош-га-шана, таков будет весь наступающий год!» Поэтому в новогодний праздник Давид Кнох и его семейство одевались во все новое...

Известно, что главный экспедитор, единственный из всех служащих Экспортно-импортного бюро, помимо жалованья, получал еще проценты за какие-то «важные», хотя и неведомо какие дела.

Грузчики утверждали, что Давид Кнох был очень богат, имел два или три добротных доходных дома. В это трудно

было поверить: его всегда видели в помятом засаленном костюме и стоптанных башмаках с перекошенными до предела носками. Таким он был с весеннего пасхального праздника вплоть до осени, когда наступал «рош-га-шана» и Давид Кнох неожиданно появлялся в новом костюме. Однако уже через несколько дней главный экспедитор приобретал прежний неопрятный вид. Неряшливость, как и грубость его, не имели границ. К тому же, он был невероятно прожорлив и, поглощая еду, торопился, словно за ним гнались...

Небрежно относился Кнох и к деньгам. Не раз Хаим наблюдал, как главный экспедитор извлекал из глубоких карманов смятые и засаленные купюры вместе со скомканными накладными и жирными обрывками оберточной бумаги.

Если в порту наступало затишье, Давид Кнох мог позволить себе на свой особый лад пошутить с кем-либо из давно работающих грузчиков, потешиться над ним, а новичку дать какое-нибудь обидное прозвище. Любил Давид Кнох затевать борьбу. В молодости он был неплохим борцом. Ходили слухи, будто тогда он одним ударом отправил на тот свет богатого османа, у которого служил, и унес из его дома сундук с драгоценностями. Медвежьей силой Кноха многие рабочие испытали на себе и не раз давали клятву покончить с «паровозом», однако пока никто не осмеливался привести в исполнение свои угрозы.

Поговаривали люди и о том, будто Кнох потому ведет себя столь нагло и самоуверенно, что за его спиной орудует шайка, которая находится на его содержании, действует по его указке и жестоко мстит всякому, осмелившемуся ему перечить.

— Кто платит, тот и музыку заказывает! — заметил как-то один из грузчиков.

— А ты, хочешь или не хочешь, пляшешь под его дудку, — поддержал другой. — Попробуй поступи иначе... Сыграют тебе похоронную, и никто не пикнет. Тебя же потом назовут негодяем!

На Хаима Волдitera главный экспедитор не обращал внимания, словно его не существовало. Даже по утрам, когда Хаим здоровался с ним, Кнох не удостоивал его ответом: пустое место — и все тут! Хаим удивлялся: «Неужто в самом деле так увлечен работой, что не слышит?» Он стал здороваться громче, но тот по-прежнему не реагировал. Как-то Хаим стоял среди грузчиков вблизи главного экспедитора и Нуци Ионаса, что-то говорившего о предстоящем прибытии судна из Австралии. Внезапно Кнох стремительно рванулся

из круга, едва не сшиб с ног Хаима и умчался не оглянувшись, словно холода и не было на том месте, через которое он только что пронесся.

Это вызвало смех у грузчиков и сочувственные замечания. Нуци попытался превратить выходку главного экспедитора в шутку, но Хаим не скоро опомнился. С выражением испуга на лице он еще долго стоял в стороне и, сдерживая дрожь в коленях, сконфуженно оглядывался.

На исходе того же дня в порт вошло груженное фуражом для скота судно из Австралии. Нуци Ионас сообщил грузчикам о необходимости срочной выгрузки.

Уже стемнело, когда Хаим, по указанию Нуци Ионаса, встал на причале у нижней части трапа в ожидании начала разгрузки. Грузчики приготовились ринуться в трюмы, словно солдаты, сосредоточившиеся на исходном рубеже для внезапной атаки.

Люди молчали. Отчетливо доносился плеск волн, скрип трапов и глухие удары борта судна об истертые бревна на стенке причала.

Как всегда, стремительно появился Давид Кнох и, что совсем уже было неожиданностью для Хаима, удостоил его вниманием.

— Следите за разгрузкой в оба! — буркнул он на ходу. — Слышите?!

— Да, конечно! — ответил Хаим, торопясь вслед за главным экспедитором. — Мне все объяснил хавэр Ионас. Я должен смотреть, чтобы тюки, перевязанные медной проволокой...

— А вы не бегайте за мной, как собачонка! — оборвал его Кнох на ходу. — Делайте то, что вам приказано.

Вскоре началась разгрузка. Закружился живой конвейер. По узким дощатым сходням с вбитыми поперек планками размеренно шагали, соблюдая дистанцию, грузчики. Они шли молча, при скудном освещении, будто участвовали в траурном шествии. С огромным тюком прессованного сена на спине каждый из них, подойдя к Хаиму, говорил:

— Перевязка медной проволокой — иду на площадку.

— Простая проволока... Иду на ярус.

Хаиму надлежало проверить упаковку, хотя при слабом освещении нелегко было отличить обыкновенную проволоку от медной. Малейшая задержка исключалась: следом шел грузчик, за ним другой, третий... Ошибка, как предупредил Нуци, была чревата большими неприятностями. Зная об этом и каждый грузчик, но спросить, чем объясняется эта строгость

в сортировке обыкновенных тюков прессованного сена, никто не решался.

Хаим заметил, что в порту не было случайных людей, все рабочие — местные, коренные жители, все с большим опытом. Здесь были установлены особые порядки. Во время работы подходить к разгрузочной запрещалось любому постороннему, включая служащих Экспортно-импортного бюро. В ответе за неукоснительное выполнение этого правила был каждый работавший на данном участке.

Вихрем то и дело проносился Давид Кнох и с палубы судна, откуда уходили вниз к причалу сходи, с одного взгляда определял, насколько успешно шла работа.

— Ашер, поторапливайся! — услышал Хаим охрипший голос подоспевшего Кноха. — Что еле ноги волочишь? Не жрал сегодня или «сефардка»¹⁷⁴ не дала выспаться?

Ашер был «ватиким», однако женился на приезжей из Триполитании. Главный экспедитор не терпел эту категорию соплеменников, считал их лентяями, нахалами и болтунами. Грузчик ничего не ответил ему, зная, что в подобных случаях положено молчать. Он лишь ускорил шаг.

— А ты куда бежишь? — окликнул Кнох другого грузчика. — На свадьбу торопишься или хочешь пробку образовать внизу?

Грузчик моментально убавил шаг и тоже ни слова в ответ.

— Не торопись, Шая! Пусть как следует проверит упаковку... И вы, эй, ашкенази!¹⁴⁸ — услышал вдруг Хаим позади себя хриплый голос главного экспедитора. — Спите? Не отпускайте грузчика, пока не убедитесь, какая там проволока. Или я обоим оторву головы!

— Он уже проверил, хавэр Дувэд Кнох, — виновато произнес грузчик, возвращаясь к Хаиму. — Я сказал ему, что проволока простая, иду на ярус...

— Тебя не спрашивают, урл!¹⁴⁹ — рявкнул Кнох. — Твое дело тащить!

От волнения Хаиму показалось, что у него помутилось в глазах и он действительно не рассмотрел эту проклятую проволоку.

— Ну вот, теперь совсем ополоумел! — снова загредел голос Кноха. — Где глаза у вас, на затылке?

¹⁴⁷ Еврейка из юго-западной Европы, говорящая на так называемом эспаниольском языке.

¹⁴⁸ Еврей — выходец из Европы.

¹⁴⁹ Не подвергшийся обряду «обрезания» при рождении. Оскорбительное слово.

Хаим поспешно хлопнул грузчика по плечу, это означало разрешение идти. Проволока, конечно, была обыкновенной, но ни Хаим, ни грузчик ни слова не сказали Кноху.

— Тюки с медной проволокой сейчас пойдут чаще. Не спите! — распорядился Кнох, проходя мимо Хаима. — Записывайте каждый тюк, отсчитывайте десятки. И чтобы не было никакой путаницы!

Хаиму надо было не только записать, но и непременно проследить за тем, чтобы грузчик, свернув влево, пошел на площадку и свалил там тюк у весов. Дальше площадки идти им не разрешалось. Отсюда уже другие люди, совершенно не знакомые грузчикам, на двухколесных тележках увозили тюки в пакгауз, где полновластным хозяином был Нуци Ионас. Он лично наблюдал за вскрытием каждого тюка.

Теперь все чаще попадались тюки, перевязанные медной проволокой, и Хаим едва успевал записывать их в тетрадку, подсчитывать десятки...

Перерыв разрешили только через три часа после начала разгрузки судна, и то всего на пятнадцать минут. Грузчики валились вповалку там, где их застал перерыв, будто сраженные пулеметной очередью. Слово главного экспедитора было сильнее закона.

— Ничего, отдохнете, когда разгрузите тюки с медной проволокой. Слышите? — бросил Кнох. — До рассвета надо управиться.

Никто не возразил.

— Кому не нравится, может убираться, — при случае говорил Кнох. — Насильно никого не держу. У меня полная свобода!

Однако вздумавший уйти рабочий не просто уходил, исчезал бесследно. За спиной Кноха стояла шайка головорезов из «Иргун цваи леуми».

Вновь возобновилась разгрузка, пошли тюки, перевязанные медной проволокой.

С трудом переводя дыхание, люди бежали вверх по трапу и через считанные секунды появлялись на сходнях с тюками. Окрики Кноха подталкивали их, вселяли страх. Попасть в немилость к главному экспедитору значило для них гораздо больше, чем лишиться сравнительно хорошего заработка. И они работали. И помалкивали. Кое-кто из них помнил, как главный экспедитор нарушил однажды свой принцип и принял на работу одного из «одем-хадаш». Это был хорошо сложенный жилистый иммигрант из Марокко. Там он также трудился в порту. Грузчик постоянно носил за поясом острый нож и при малейшем несогласии с кем-либо из груз-

чиков хватался за свой «сакин»¹⁵⁰. Возможно, это и прельстило Кноха, который прозвал марокканского портовика «фрэнк»¹⁵¹-сакин».

Однако не прошло и двух недель, как «фрэнк-сакин» показлся главному экспедитору слишком зубастым и не в меру разговорчивым. Кнох как-то одернул его, а марокканец огрызнулся. Небывалый случай! К тому же, это произошло в присутствии грузчиков... Давид Кнох велел марокканцу тотчас же покинуть причал. Фрэнк отказался, продолжая трудиться. Когда же на него, точно паровоз, двинулся было главный экспедитор, перед глазами у него блеснуло лезвие ножа. Кнох едва увернулся, а через некоторое время обе жены грузчика и куча его детей ходили в поисках своего мужа и отца...

Давид Кнох без всякого зазрения совести говорил:

— Не в порту ищут мертвеца, а в Мертвом море...

С тех пор главный экспедитор Экспортно-импортного бюро не нарушал своего принципа: на работу принимал только своих, «ватиким».

К рассвету основная часть трюма, в котором находились перевязанные медной проволокой тюки, была освобождена. Тем не менее обещанного Кнохом перерыва не последовало, хотя темп разгрузки резко снизился. Люди работали из последних сил. Даже Хаим едва держался на ногах, мучительно преодолевая одолевавшую его сонливость.

Промчавшийся мимо главный экспедитор на ходу крикнул, что тюков с медной проволокой больше не будет. Но Хаим не решился покинуть свой пост без разрешения Давида Кноха.

Стоять без дела Хаиму было еще мучительнее. Несколько раз он засыпал и, пошатнувшись, просыпался. Сквозь дремоту он слышал, что кто-то зовет его: оказалось, что Нуци Ионас приглашал к себе в пакгауз.

Хаим не ожидал увидеть в пакгаузе так много людей. Какие-то парни и девушки сновали из конца в конец огромного, как крытый рынок, помещения. У длинного стола, установленного посредине, стояло несколько человек, вооруженных кусачками. Им непрерывно подавали тюки, с которых они тотчас же удаляли медную проволоку, а затем острыми, как скальпель, ножами вскрывали «брюхо» тюков. Наружу извлекались какие-то вещи, обернутые в черную промасленную бумагу. Их тотчас же уносили со стола.

¹⁵⁰ Сакин — нож.

¹⁵¹ Фрэнк — прозвище «черных» евреев, выходцев из Марокко, Триполитании.

Приглядевшись, Хаим увидел аккуратно уложенные угловатые вороненные предметы, уже освобожденные от бумаги. Он перевел взгляд в другой конец пакгауза и обомлел от удивления и страха. Там, у стены, плотными и стройными рядами стояли пулеметы, винтовки, карабины, грейдами лежали диски, кассеты, а чуть в стороне высились штабеля ящиков с патронами и, по всей вероятности, с запасными частями.

Мимоходом, но в то же время пристально Хаим разглядывал, что делают в пакгаузе эти люди, куда и зачем переносят разные предметы, и понял, что первое впечатление о царящей здесь беспорядочной суете было обманчивым. В действительности сборка оружия из частей и деталей, извлеченных из тех самых тюков с медной проволокой, которые Хаим вписывал в свою тетрадь, была четко налажена и происходила, как на конвейере.

Только теперь Хаим Волдистер понял, что имел в виду Нуци Ионас, когда твердил ему об особой ответственности, возлагаемой на всех работающих в порту. Только теперь стали до конца ясны причины порядков и строжайших правил, установленных в порту главным экспедитором, особого подбора грузчиков, изнуряющих темпов и непрерывности разгрузки судна.

Осознав, что и он отныне является соучастником тайных, противозаконных дел, Хаим испугался. В памяти его одна за другой промелькнули картины из недавнего прошлого: закупка оружия в Констанце; раввин Бен-Цион Хагера с огромным пистолетом под полый кафтан; взятие «трансатлантика» на abordаж английскими эсминцами, стрельба и трагическая смерть английских матросов и ребенка австрийской эмигрантки; обнаруженное англичанами оружие в бочках из-под цемента; наконец, подозрительные обстоятельства затопления «трансатлантика» вместе с сотнями пассажиров и находившимся в трюмах оружием... Мысленно он вновь предстал перед чиновником-англичанином, который совсем недавно угрожал ему и Ойе тюрьмой и высылкой за нарушение законов, установленных в подмандатной Великобритании территории Палестины...

Весь во власти этих мыслей, Хаим забыл, зачем пришел сюда, и неподвижно стоял на месте до тех пор, пока Нуци Ионас не увидел его.

— Хаймолэ! Волдистер! Быстро ко мне! — повелительно окликнул он и, когда Хаим, боязливо лавируя между рядами оружия, подошел, приказал: — Собирай оберточную бумагу, туго перевязывай проволокой... И как можно быстрее!

Понял? В нашем распоряжении очень мало времени... Действуй!

Хаим безропотно подчинился, принявшись за работу. Ему хотелось как можно скорее освободиться и уйти с территории порта, как будто это избавляло его от ответственности за соучастие во всем, что здесь происходило.

— Как тебе нравится этот «корм для скота»? — улыбаясь, спросил у него Нуци, когда работа подошла к концу и большая часть парней и девушек уже уехала. — А, Хаймолэ, говори?!

— Австралийское? — уклончиво спросил в свою очередь Хаим.

— Вот это? — Нуци кивнул на оружие.

— Ну да...

— Чудак ты! — смеясь, заметил Нуци. — Только флаг!.. Остальное, вот посмотри...

Нуци поднял пистолет с горки оружия и указал на заводское клеймо.

— Эстеррайх... Австрийское, значит?! — удивился Хаим. — Но ведь Австрия...

— Вот именно, Хаймолэ! — перебил его Нуци с насмешкой. — Австрия давно уже не Австрия. От нее ничего не осталось. Разве только клеймо...

— Ничего не понимаю. Но не из Германии же все это добро?

— А почему бы и нет? — Нуци улыбнулся. — Запомни, что когда дело касается большой политики и выгодной торговли, то никакие законы и ограничения, никакие нормы и принципы не действуют...

Хаим нехотя кивнул, с опозданием натянуто улыбнулся: не хотелось ему выдавать Ионасу свои мысли обо всем этом.

А Нуци, не подозревая, что холуц Волдитер отнюдь не в восторге от того, что увидел, хлопнул его по плечу.

— Но ты имей в виду, это — только начало! — бодро проговорил он. — Да, да! С помощью вот такого «корма», — он указывал на груды оружия и штабеля ящиков с патронами, — скоро начнем отправлять кое-какой «скот» на бойню! Терпение, Хаймолэ, и мы еще покажем миру, кто мы такие. Увидишь!

В полдень, вскоре после того, как Давид Кнох объявил на разгрузочной двухчасовой перерыв, Хаим издали заметил, что к пакгаузу подъехал знакомый легковой автомобиль. В пассажире он узнал Симона Соломонзона.

Хаим соскочил с тюка, на котором удобно примостился в тени, чтобы вздремнуть. Но Симон, даже не взглянув на

Хаима, прошел в пакгауз. «Не случайно Нуцик и Кнох остались там, когда все ушли на обед, — подумал Хаим. — Зна-ли, видимо, что придет хозяин...»

Хаим вновь устроился на тюке. Был первый по-настоящему жаркий день. Одолевала дремота, но беспокойные мысли отгоняли сон. Накануне он получил из Болграда письмо и в который уже раз стал перечитывать его. Отец и сестра сообщали, что они здоровы, на жизнь не жалуются, но ждут «гостей». Хаим понял, что того и гляди немцы нагрянут в Румынию. «В отношении продуктов, — писал отец, — у нас в избытке зеленые овощи. Они всегда в большом выборе у старика Попа. Он и его сыночек живы-здоровы...»

Что такое «зеленые овощи», Хаим тоже хорошо понял: зеленорубашечники и их болгарские главари — отец и сын Попа, которые были повинны в смерти многих людей, в том числе и его, Хаима, матери...

Заканчивалось письмо сердечными пожеланиями сыну и его жене крепкого здоровья и прочного благополучия, а в приписке отец напоминал Хаиму, что если ему удастся хорошо устроиться и начать прилично зарабатывать, то пусть он позаботится о присылке обещанного «вызова»...

На душе было мутно. Еще больше взгрустнул Хаим, когда перечитал коротенькое письмецо сестренки. Она писала: «Твой тяжело больной соученик по лицу все еще не вернулся из санатория. Разные слухи ходят по поводу его болезни. Сколько он пролежит там, пока неизвестно...»

Хаим не сомневался, что речь идет об Илюшке Томове. И «санаторий» — это, конечно, тюрьма. Значит, его друг остался верен себе. «Да, в наше время, — подумал Хаим, — в фашистских застенках сидят не за воровство, а за революционную подпольную работу. А теперь Илюшка, видно, сидит в тюрьме, как участник борьбы за справедливость. Не иначе!..» Тогда в Констанце он уговаривал его, Хаима, не ехать в Палестину, обещал подыскать в Бухаресте подходящую работенку. «Не жирно будет, но на кусок хлеба заработаешь...» — говорил он, ссылаясь при этом на своего друга, какого-то механика по фамилии, кажется, Илиеску... Да, да! Илья по-румынски Илие, а механик — Илиеску... Он должен был вот-вот подойти, и Илюшка настаивал, чтобы Хаим дождался его, познакомился. «На этого человека во всем можно положиться!» — сказал тогда Томов.

Теперь Хаим сожалел, что не мог дожждаться того механика, познакомиться с ним. Из рассказа Ильи Хаим понял, что Илиеску не просто хороший товарищ его школьного дру-

га, а учитель и наставник, что их связывает нечто большее, чем совместная работа в гараже...

Хаим подумал, что если бы послушался в то время Илюшку Томова и остался в Бухаресте, то наверняка пошел бы с ним одной дорогой... В сердце вместе с тревогой все чаще и чаще закрадывалось сомнение, правильно ли он, Хаим, поступил тогда в Констанце, решившись покинуть родные края. Но иного выхода у него не было. Позади была каторжная «акшара», на руках мозоли и в кармане виза английского консула на право въезда в подмандатную территорию, а также шифс-карта, которая нелегко досталась... А потом, откажись он от поездки в Палестину, отцу и сестренке пришлось бы без оглядки бежать из Болграда! Еврейская община заклевала бы их насмерть! Не говоря уже о нем, Хаиме...

Задумавшись, он не сразу заметил, как из пакгауза в сопровождении Кноха вышел Симон Соломонзон. Хаим вскочил и, словно солдат при встрече с офицером, быстро поправил рубашку, воротничок и хотел было пойти навстречу, но не решился, стал ждать, оставаясь на месте. К счастью, Кнох свернул на трап, а Симон, увидев Хаима, подошел к нему и, не здороваясь, покровительственно спросил:

— Ну как? Привыкаешь?

Хаим поклонился и покраснел. Там, в Констанце, после прохождения «акшары», он считал Симона равным себе, а здесь — он сознавал это отчетливо — положение изменилось: перед ним стоял хозяин, от настроения и воли которого зависела его судьба. И Хаим почтительно ответил:

— Да, хавэр Симон Соломонзон. Понемногу привыкаю... Спасибо.

— Почему «понемногу»? — нарочито сердито спросил Соломонзон и тут же, похлопав Хаима по плечу, бросил: — Надо помногу! Тогда будет толк, Волдитер. А главное, — Симон огляделся по сторонам и, вскинув указательный палец, уже с неподдельной строгостью заключил: — Чтобы все было к месту и вовремя! Как говорится, «кашер»!

Хаим кивнул.

— Отлично, Волдитер! — удовлетворенно воскликнул Симон. — Кстати! Ионас сообщил тебе о прибавке к жалованью?

— Да, хавэр Симон, спасибо!

— Я не помню, сколько, но, кажется, теперь будешь прилично зарабатывать. И впредь все будет зависеть от тебя...

— Спасибо...

— Ничего, ничего... Я знаю тебя и доверяю... А сейчас это главное! Конечно, и работать надо, ни с чем не считаясь.

И чтобы ни гугу, комар носа не подточил! Прислушивайся к хавэру Кноху. Поучиться у него есть чему... Ого!

Хаим смотрел на Симона покрасневшими от бессонной ночи глазами и думал, что бы сказал о «паровозе» этот холеный Соломонзон, если бы его папочка и дядюшка не владели миллионами и ему самому пришлось бы поработать у этого «хавэра Кноха»? Какое бы тогда прозвище получил «ашкенази» Соломонзон?!

Соломонзон по-хозяйски посматривал на ярусы тюков прессованного сена с мертвецки спавшими на них грузчиками и, направляясь к автомашине, сказал:

— Дела, Волдитер, предстоят поистине грандиозные! На нашу долю выпала миссия силой оружия доказать, что мы единый народ, единая нация с единым государством — Израэль! Запомни это наше священное кредо! Еще запомни, что ты, холуц «Иргун цвай леуми» и обязан знать это, как основные «четыре пасхальные заповеди»!

Вскоре машина с владельцем Экспортно-импортного бюро умчалась, оставив позади себя облако пыли и вонючего дыма. Постепенно пыль осела, дым развеялся, а Хаим продолжал стоять в раздумье, мысленно повторяя только что сказанные Симоном Соломонзоном слова: «Единый народ, единая нация с единым государством — Израэль!» Где-то Хаим уже слышал это или что-то подобное. Но где и от кого? «Единый... единая... единое... Израэль!» Да, он явно слышит это не впервые! Чтобы освежить уставшую от бессонной ночи голову, Хаим побежал в туалет умыться. Но и это не помогло. Снова и снова он мысленно твердил: «Единый народ, единая нация с единым государством — Израэль!»

Хаим не выдержал, зло чертыхнулся и сплюнул:

— Вот зараза!

Из кабины вышел грузчик. Кроме Хаима, в туалете никого не было. Грузчик понимающе посмотрел на него и сказал:

— Это правда. Зараза здесь и зловоние страшные!

И грузчик тоже смачно сплюнул.

23

В Интеллидженс сервисе трагедию в военно-морской базе Скапа-Флоу связывали с исчезновением из Кёркуолла мало кому известного белобрысого, очкастого и на вид тщедушного часовщика-ювелира Альфреда Вахринга. На протяжении более десяти лет этот агент, как казалось руководящим деятелям «ювелирной фирмы», приносил «неоценимые услуги

Короне Его Величества». На деле же все оказалось наоборот...

В высших сферах «фирмы» и стоящих над нею ведомствах возникло замешательство. Мнения о причинах, толкнувших главу абвера нанести Британии столь ощутимый материальный и моральный ущерб, разделились. Одни деятели утверждали, что после заключения договора о ненападении между Германией и Россией возникла новая ситуация, которую Канарис решил использовать, чтобы окончательно порвать с «фирмой». А на случай, если последуют шаги к разоблачению его связей с «фирмой», он постарался солидно приумножить свои заслуги перед рейхом и этим заслужить доверие нацистских властителей. Другие полагали, что Канарис решился на этот крайне рискованный для него лично выпад против Британии только потому, что в противном случае он мог потерять расположение и доверие к себе фюрера и вместе с этим лишиться поста начальника абвера.

В конечном счете было решено воздержаться от поспешных выводов, касающихся деятельности начальника германского абвера, занять выжидательную позицию...

Но, так или иначе, катастрофа в Скапа-Флоу вынудила англичан принять крутые меры против числившихся в Великобритании двадцати тысяч организованных национал-социалистов, из которых четыре тысячи триста человек принадлежали к высшим слоям общества — к аристократической знати, крупным финансистам, промышленникам и коммерсантам. Большая часть этих людей входила в различные «общества» и «клубы», формально призванные расширять и углублять англо-германские дружественные связи, а в действительности преследовавшие совершенно иные цели, диктуемые Берлином. Маскировались эти общества безобидными вывесками — «The Link» или «Anglo-German Fellowship»¹⁵² — и располагали собственными изданиями, например «German-News», «The Anglo-German Review» или даже «Anglo-German Information Service»¹⁵³. Бюджет последней в канун объявления войны достиг почти полумиллиона фунтов стерлингов, из которых едва ли десять процентов составили поступления от членских взносов, остальные же средства были плодом особых забот правителей германского рейха. Во главе этих еженедельных и ежемесячных изданий стояли почтенные лорды, именитые ученые, известные в мире искусства люди, прославленные адмиралы.

¹⁵² «Связи» или «Англо-германское товарищество» (англ.).

¹⁵³ «Германские новости», «Англо-германское обозрение» и «Англо-германская информационная служба» (англ.).

Немало хлопот доставила детективам Скотланд-Ярда и работникам отдела М.И.-5¹⁵⁴ вся эта пронацистски настроенная публика. Из ее среды к исходу первой ночи вступления Великобритании в войну были препровождены в камеры Вормвудской тюрьмы четыреста тридцать шесть «чистокровных» немецких шпионов. Однако после того, что произошло в Скапа-Флоу, список «потенциальных нацистских агентов» превысил семьдесят три тысячи человек, среди которых было выявлено шестьдесят девять иностранных лазутчиков, работавших на различные ведомства германского рейха...

Существенные изменения были внесены в структуру и методы работы «фирмы», называвшей себя «ювелирной»... Целый ряд должностных лиц, прямо или косвенно повинных в том, что Соединенное Королевство оказалось зараженным пронацистскими настроениями и опутано немецкой шпионской сетью, был смещен со своих постов. Этими энергичными и суровыми мерами нельзя было, однако, наверстать так быстро упущенное за многие годы. Возможность сохранить военные и государственные тайны оставалась маловероятной.

В адмиралтейство поступил полный текст речи Адольфа Гитлера, в которой он утверждал, что располагает секретным оружием, способным уничтожить британский флот. В Комитете имперской обороны Великобритании, в адмиралтействе и М.И.-6¹⁵⁵ долго и трудно искали ответ на вопрос — о каком оружии идет речь и почему германский диктатор грозит этим оружием только морскому флоту? Не блеф ли это? Ведь по данным Интеллидженс сервиса, точнее М.И.-6, основанном на информации от резидентуры, осевшей в Бремене, Киле, Вильгельмсгафене, где имелись судостроительные верфи и арсеналы, военно-морской флот Германии не располагает какими-либо новыми средствами ведения войны, если не считать принятых на вооружение кригс-марины усовершенствованных подводных лодок и так называемых «карманных» линкоров, обладающих большей быстроходностью, маневренностью и, стало быть, боеспособностью.

Между тем тоннаж торгового, отчасти и военного флота противников Германии таял, как лед, попавший в теплое течение. Только в октябре пошло ко дну около пятидесяти таких судов. Обстоятельства гибели многих из них свидетельствовали о том, что немцы применяют какие-то необычные мины, конструкция которых оставалась для англо-француз-

¹⁵⁴ Military intelligence-5 — военная разведка, или Интеллидженссервис (англ.).

¹⁵⁵ Military intelligence-6 — военная разведка, действующая за пределами своей страны (англ.).

ских союзников полнейшей загадкой. Стало очевидным, что сказанное германским фюрером о новом оружии — не пустое бахвальство, а попытка запугать действительно существующим, весьма эффективным оружием.

Новый военно-морской министр Великобритании Уинстон Черчилль, занимавший этот пост более четверти века тому назад, был вне себя. Никогда прежде он не мыслил себе, чтобы всемогущая Интеллидженс сервис, которой на всем протяжении своей политической деятельности он отдавал предпочтение перед подобными организациями в других странах, была не в состоянии раздобыть хотя бы самые общие данные об этой мине немцев. Только теперь становилось понятным, почему Адольф Гитлер настойчиво требовал от начальника абвера подробные сведения о новой глубинной мине, принятой на вооружение англичанами. Он хотел знать, не стал ли секрет немецкой мины достоянием противников Германии.

Гитлер берег секрет этой мины настолько тщательно и строго, что даже начальник абвера не знал о ее существовании в арсеналах рейха. Гитлер берег ее с тем, чтобы использовать в наиболее критический момент. Приказ о применении ее против флота Великобритании он отдал в день завершения кампании в Польше, то есть более чем через полтора года после начала массового ее производства.

Когда заместитель военно-морского министра первый морской лорд адмирал Дудли Паунд прошел в комнату, примыкавшую к кабинету первого лорда адмиралтейства, Черчилль сидел за обеденным столом с повязанной под самый подбородок накрахмаленной салфеткой и с аппетитом ел свой любимый бифштекс с кровью. Увидев адмирала, он буквально застыл с полным ртом. Лицо вошедшего было чернее тучи, глаза выражали тревогу.

Черчилль не выдержал, проглотил неразжеванный кусок и зарычал:

— Говорите же сразу, черт побери! Что еще стряслось?

Срывающимся голосом адмирал доложил, что шесть большого водоизмещения торговых судов, накануне вечером подошедших к устьям Темзы, в результате взрывов, возникших при неизвестных обстоятельствах в разное время в течение ночи, пошли ко дну вместе с грузами и экипажами...

— Мы стоим перед фактом наличия у немцев какого-то действительно дьявольского оружия... — растерянно произнес первый морской лорд. — Да, сэр!

Бифштекс остался недоеденным. Волна тревоги, еще раньше охватившая адмиралтейство и правительственные круги Великобритании, вздымалась все выше. Но вместе с ростом

тревоги росло и убеждение в среде английских политических деятелей всех оттенков в том, что если в конечном итоге Гитлер все же нападет и разгромит Россию (а в этом не было сомнений!), то он обрушит свой бронированный кулак и на страны Западной Европы... И после победы на востоке для экспансии нацистских правителей Германии вообще не будет сколько-нибудь надежных преград. Ни Франция, ни тем более малые страны Европы порознь и даже вместе не в состоянии будут успешно и длительно сопротивляться натиску зарвавшегося и сильного, уверенного в своих возможностях и беспощадного противника. А Великобритания? Этот устаревший корабль уже дал основательный крен и флаг его достаточно подмочен... Что же будет с ним, когда с моря и воздуха немцы обрушат на него всю свою мощь?! Его вспомогательные «судна» и «суденышки», называемые в Соединенном Королевстве «доминионами», разбредутся кто куда...

И английские политики приходили к малоприятному для них выводу: пока существует такая глыба, как Россия, у британского корабля есть шансы заслониться ею и обрести если не прежний приоритет на морях и океанах, то хотя бы реальную возможность остаться на поверхности с реющим на ветру флагом...

Аналогично, хотя и с иным оттенком, рассуждал по этому кругу вопросов начальник германского абвера.

— Кого боится по-настоящему Эмиль¹⁵⁶, так это, к сожалению, Россию, — с огорчением сказал адмирал Канарис своему другу и заместителю полковнику Гансу Остеру. — Я говорю «к сожалению» не потому, что нет оснований для опасений, а потому, что всякая оттяжка неизбежного военного столкновения с Россией (о котором он всегда твердил и к которому все мы на протяжении ряда лет готовились) в конечном счете лишь затруднит разгром Красной армии и искоренение коммунистической угрозы! Слов нет, Россия — орешек покрупнее Великобритании и крепче Франции, не говоря уже о взятых с ними вместе Австрии, Чехословакии и Польше... Достаточно вспомнить ее просторы, неиссякаемые резервы, численность населения и, не в последнюю очередь, не столь уж малую боеспособность армии! И все же при существующем сегодня соотношении сил победа вермахта, как мне думается, не вызывает сомнений... А наш евнух (так адмирал называл своего фюрера, когда был особенно недоволен им) колеблется, заключает с Москвой пакт о ненападе-

¹⁵⁶ Псевдоним Гитлера, употребляемый в абвере (нем.).

нии и тем самым дает возможность русским подготовиться к решающей схватке! Так ведь?!

Ганс Остер сосредоточенно смотрел на адмирала и во всем соглашался с ним. Эти слова были прямым ответом на вопросы, которые не раз и он сам задавал себе.

Канарис продолжал в том же духе:

— Чем же объяснить такие действия Эмиля? Абсурдно было бы полагать, что Кремль уверовал в нерушимость пакта и блаженно бездействует... Договор есть, но доверия к нему у большевиков нет! Они в настоящий момент несколько ослабли вследствие перемещений среди командного состава армии и руководящих деятелей партии, их разъедают внутренние разногласия, распри и всякого рода неполадки... И Сталину нужно выиграть время, чтобы восполнить пробелы... А Эмиль пошел на сближение с ним тоже ради того, чтобы на время обеспечить себе тыл на Востоке и разделаться с соседями на Западе... Это ясно, как божий день, любому здравомыслящему политику, но не долговязому, как жираф, и столь же проникательному, как это животное, британскому премьеру. Только тупицы вроде Чемберлена и его коллег по Уайт-холлу не способны понять, что сами же они подкладывают горящую спичку под бочку с порохом, на которой сидят!

С обидой в голосе Канарис говорил о том, как на протяжении длительного времени англичане всячески изощрялись, чтобы ускорить вторжение вермахта в СССР, а добились обратного — заключения пакта о ненападении между Берлином и Москвой...

— Сев в лужу, эти твердолобые все еще барахтаются в ней, надеются, что Эмиль все же повернет вермахт против большевиков, тогда как он и шага не сделает в этом направлении, пока не расправится с ними! А какая у них армия и каковы их возможности обороняться, мы с вами прекрасно знаем...

Канарис делился с Остером соображениями о плохом состоянии английских вооруженных сил, приводил конкретные факты, которыми оперирует Рейнгардт Гейдрих в своих докладах фюреру.

— Кстати, — продолжал не без горечи начальник абвера, — вот любопытная и весьма показательная деталь, характеризующая обороноспособность Британии. Черчилль приказал срочно создать разведывательно-ударные группы хорошо обученных диверсантов общей численностью до двадцати тысяч, а когда приступили к формированию этих групп, то во всей Англии не смогли наскрести более двадцати автоматов!

— Эти сведения фигурируют в сводке, представленной Гейдрихом Эмилю? — спросил Остер.

— Да.

— Вполне вероятно, — со вздохом огорчения заметил Остер, — хотя звучит как анекдот...

— К сожалению, Ганс, это не анекдот, а достоверный факт... И Гейдрих с величайшим удовольствием докладывал на днях об этом и о многом другом подобном Эмилю. Тот был в восторге! Чуть ли не хлопал в ладоши, утверждал, что голыми руками положит на лопатки гордый Альбион... Вот так-то!

— Пожалуй, так оно и будет, — мрачно ответил Остер, — если господа из Уайт-холла по-прежнему будут исходить из того, что только Эмиль и его сподвижники способны выкорчевать русский большевизм...

— Совершенно верно, Ганс! В этом ключ решения всех проблем... И наша с вами задача — попытаться еще и еще раз вразумить этих джентльменов, внушить им, что промедление для них — смерти подобно! Не допустить этой катастрофы, повернуть штыки вермахта с запада на восток теперь, в создавшейся ситуации, можно только так, как это не раз мы им предлагали... Разумеется, наши возможности ослабить силу ударов, которые вот-вот обрушатся на Францию и Британию, и существенны, но отнюдь не безграничны... Надо, чтобы не очень мудрые островитяне хорошенько усвоили это и не вставляли нам палки в колеса... Больше того! Не мешало бы им убрать с нашего пути пенек, о который мы нередко спотыкаемся...

— Развенчать и отдалить «скрипача»¹⁵⁷ от Эмиля?

— Именно!..

Канарис и Остер понимали друг друга с полуслова, придерживались единой, совместно выработанной позиции, стремясь к одной цели: отвести кулак вермахта от западных стран, направить его на большевистскую Россию, избавить Германию от нацистских правителей, этой шайки безродных выскочек и проходимцев с уголовным прошлым, стяжателей и карьеристов, садистов и шизофреников, узурпировавших бесспорное право высших слоев немецкого общества на власть в государстве.

Канарис и Остер то и дело возвращались к Советской России, к политике ее деятелей, к мощи ее армии. Неожиданно глава абвера сказал:

— Русский медведь испокон веков известен своей непо-

¹⁵⁷ Прозвище Гейдриха, которое употреблялось Канарисом в кругу своих друзей.

воротливостью, хотя сюрпризы необычайной оперативности, энергичности и решительности он нет-нет да и преподносит миру... Это тоже факт! И, пожалуй, никакой другой народ не дает столько примеров курьезов и головоуятия, сколько русские. Мы и это знаем... И тем не менее, мне рассказывал итальянский генерал Монти, присутствовавший на маневрах русских в качестве гостя вместе с другими военными атташе и представителями ряда государств, как в течение десяти минут был выброшен десант на парашютах и две тысячи пятьсот красноармейцев приземлились с полной боевой выкладкой, с ходу открыв огонь из автоматических винтовок!

— Знаю, — подтвердил Остер. — Осенью тридцать пятого года это было... Под Киевом.

— Вот вам и «Русский колосс на глиняных ногах»...

— Верно, герр адмирал... Однако согласитесь и вы, что все это имело место до проведенной большевиками чистки в армии и в государственном аппарате!

— Именно это я и имел в виду, когда говорил об отяжке Сталиным времени! — поспешил Канарис ответить. — Этот азиатский монарх в своей неизменной гимнастерке малословен, но поступает продуманно и, как правило, довольно загадочно... Кстати, вы слышали когда-нибудь его выступление?

— Нет.

— Очень любопытно! Он никогда не кричит, не размахивает кулаками, не позирует и не выходит из себя, как наш евнух. Говорит тихо, сдержанно, однако его слышит весь мир... Что касается англичан, то они и здесь глубоко ошибаются, недооценивая сегодняшние возможности большевиков, которые завтра уже будут совершенно иными...

Начальник абвера и его заместитель действовали рука об руку, с той лишь разницей, что адмирал Канарис отлично подставлял «шары», а его ближайший сподвижник столь же отлично загонял их в «лузы».

Полковник Ганс Остер был человек конкретного дела. Он не замедлил довести до сведения англичан все, что подсказал ему адмирал, а вслед за этой информацией, с его же благословения, переправил в Интеллидженс сервис копию досье на Рейнгартта Гейдриха...

Реакция Лондона на эту информацию, содержащую настоячивый совет санкционировать и поддержать начальника абвера и его единомышленников в намерении устранить Гитлера, последовала не скоро и в форме, весьма неожиданной. Не сразу там пришли к заключению, что Вильгельм Канарис остается верен «фирме», и если порою выходит из-под

контроля, поступает вопреки интересам Британии, то к этому его вынуждает главным образом деятельность начальника Главного имперского Управления безопасности обергруппенфюрера СС Рейнгардта Гейдриха, человека влиятельного в рейхе и более, чем кто-либо в национал-социалистской верхушке, опасного для Соединенного Королевства.

Джентльмены из «фирмы» и прежде знали о таких качествах Гейдриха, как поражающая работоспособность и необузданный карьеризм, незаурядные организаторские способности и склонность к авантюрам, истинно немецкая педантичность и изощренное изуверство, жажда власти, славы и гиперболическая трусость, боязнь за собственную шкуру, экзальтированная преданность национал-социализму и готовность к измене. Эта общая характеристика теперь была подкреплена документальными материалами, состоявшими из фотокопий личного дела начальника Главного имперского Управления безопасности «третьего рейха», доставленного в Лондон по каналам, известным только главе абвера и его заместителю.

Теперь в массивных сейфах «фирмы» хранились «на всякий случай» данные о происхождении не далее как прадеда Гейдриха от матери-еврейки, документы о воровских и прочих аморальных проделках обер-лейтенанта Рейнгардта Гейдриха, за которые офицерский «суд чести» изгнал его некогда из военно-морского флота Германии.

Английские политики на этот раз не сочли возможным, как прежде, категорически отвергнуть альтернативную постановку Канарисом вопроса о возможности ускорить поход вермахта на Восток. Они еще не потеряли веры в неоднократные клятвенные обещания Адольфа Гитлера обрушиться на Россию, хотя и не были настолько слепы, чтобы не видеть, как над их головами сгущаются грозовые тучи настоящей, а не игрушечной, или так называемой «странной», войны. Реальность этой опасности заставила их внять голосу главы абвера. Однако они пытались, минуя Вильгельма Канариса, установить связь и контакт с другими представителями рейха, намеренными убрать Гитлера, чтобы таким образом непосредственно убедиться не только в осуществимости задуманного, но прежде всего в том, последует ли за этим вторжение вермахта в Россию. Однако случилось так, что джентльмены из «ювелирной фирмы» попали впросак именно потому, что действовали «за спиной» начальника германского абвера адмирала Канариса и его близких друзей, действовали без их ведома...

...В мюнхенской пивной «Bürgerbraukeller» восьмого ноября

происходила традиционная встреча ветеранов «пивного путча». В чаду сигарного дыма «партайгеноссе» один за другим хриплыми голосами произносили речи и тосты, клялись в верности национал-социализму, истерически угрожали его противникам, горланили песни, сопровождая все это звонким чоканьем пивными кружками и непомерным поглощением баварского черного пива. Почтить память павших в далеком тысяча девятьсот двадцать третьем году «камарадов» прибыл, как и в прежние времена, фюрер в сопровождении своих приближенных. Вопреки обыкновению, он произнес на редкость короткую речь и, в отличие от прошлых лет, тотчас же покинул пивную, сопровождаемый бурной овацией своих старых друзей и сподвижников. Вслед за фюрером поспешно покинули пивную и прибывшие с ним приближенные. Лишь рейхсфюрер СС Гиммлер задержался на минуту у порога, чтобы высказать пожелание присутствующим славно провести время.

Столы ломились под тяжестью кружек с пенистым пивом, объемистых супниц и глубоких блюд с отдающими копченостью сосисками. Осоловевшие от табачного дыма, непрерывного гама и обильных возлияний, далеко уже не молодые участники «пивного путча» едва успели затянуть песню бывалых штурмовиков, как таверну потряс мощный взрыв... К потолку взметнулись разодранные доски столов и стульев, осколки пивных кружек и блюд. Рухнула на пол штукатурка с потолка и стен, ливнем посыпались стекла высоких готических окон...

Произошло это через двенадцать минут после того, как рейхсфюрер СС Гиммлер удалился, пожелав всем «партайгеноссе» доброго здоровья и славного времяпрепровождения! А эпицентр взрыва, увлекшего в могилы около десяти и искалечившего более шестидесяти ветеранов (среди которых, как это ни странно, оказались все обойденные чинами и постами и потому наиболее брюзгливые), пришелся как раз под пустовавшими столами, за которыми четверть часа назад восседали Гитлер и вся его свита.

Некоторое время тому назад, примерно с полгода, служба безопасности рейха пронюхала, оказывается с большим опозданием, о готовившемся, но несостоявшемся покушении на Адольфа Гитлера. Точными сведениями она не располагала и выявить организаторов и исполнителей не смогла. Работники всех отделов имперской службы безопасности, включая гестапо, зипо¹⁵⁸, крипо¹⁵⁹, со всеми их секциями и подсек-

¹⁵⁸ Полиция порядка (нем.).

¹⁵⁹ Уголовная полиция (нем.).

циями, сбились с ног в поисках злоумышленников, хватали людей без разбора, но тщетно... Тогда-то и возникла идея инсценировать покушение на германского канцлера... В результате мнимого покушения, по мысли его организаторов, соотечественники проникнутся чувством еще большей преданности своему фюреру и ненависти к англичанам, которые якобы повинны в этом злодеянии. Накаляя страсти и подогревая атмосферу патриотического угара, нацистские вожаки стремились заранее оправдать перед общественным мнением тщательно подготовляемые ими акты провокаций, жестокостей расправ с инакомыслящими.

В ночь после взрыва в мюнхенской пивной имперский министр пропаганды Йозеф Геббельс первым поспешил выразить свой гнев. Он продиктовал статью для очередного номера «Фелькишер беобахтер»:

«Нет сомнения в том, что подлое покушение на жизнь нашего любимого фюрера инспирировано британскими тайными службами. Убедившись, что нет ни малейших шансов выиграть войну честным путем, с оружием в руках, правители Англии дали указание агентуре Интеллидженс сервиса убить из-за угла Адольфа Гитлера... Эта мерзкая организация вновь обограла свои руки немецкой кровью. Так пусть же знают, что наша месть близка и неотвратима!»

Главный вдохновитель и организатор взрыва в мюнхенской пивной Рейнгардт Гейдрих был теперь зачинщиком операции, цель и значение которой выходили за пределы функций возглавляемого им ведомства. Он намеренно шел на это ради того, чтобы продемонстрировать фюреру, сколь эффективна работа его Управления не только в деле обеспечения внутренней безопасности рейха, но и за его пределами.

...Операция готовилась не один месяц. Некий немец, проживавший в Голландии и выдававший себя за эмигранта из Германии, познакомился с неким голландцем, снабжавшим англичан информацией о третьем рейхе.

— Игра стоит свеч или пустая трата времени? — спросил голландца немец. — Сколько англичане вам платят?

— Четыреста гульденов в месяц.

— Это не мало, но я готов уплатить вдвое больше, если вы согласитесь помочь мне установить непосредственную связь с англичанами. Я — немецкий эмигрант. С нацистами у меня давние счеты... И я располагаю очень важными для англичан сведениями... Но я должен лично убедиться в том, что это англичане, а не волки в овечьей шкуре... От нацистов всего можно ждать!..

Спустя несколько дней голландец привел англичанина.

Это был капитан Пэйн Бест. Сообщение эмигранта заинтересовало его. Речь шла о немцах, оппозиционно настроенных по отношению к Гитлеру, о больших возможностях некоторых из них, занимающих в рейхе ответственные посты.

— Это хорошо, но чем конкретно они могут быть полезны нам? — в упор спросил англичанин.

— Многим, очень многим, — уклончиво ответил немец. — Однако для этого им прежде всего нужна прямая связь с Лондоном, чтобы действовать согласованно, оперативно, эффективно... Кроме того, необходимо организовать встречу высокопоставленного генерала — полномочного представителя оппозиции — с авторитетным, облаченным большими полномочиями представителем влиятельных кругов Великобритании. Для этой цели генерал готов прибыть в Голландию...

Неделю спустя капитан Бест явился на встречу с немцем вместе со своим шефом, майором британской разведывательной службы Стивенсом. Они договорились о дне и времени встречи с полномочным представителем немецкой оппозиции, а также о том, как практически доставить «генерала» из приграничного района Голландии в Гаагу... После этого обе стороны встречались еще несколько раз, тогда и было обговорено, что из рейха прибудет генерал Шеммель.

И вот, ранним утром девятого ноября оба англичанина отправились на автомобиле в Венло — ничем не выделявшееся местечко на границе с Германией. Англичан сопровождал молодой лейтенант голландской службы информации Дирк Клооп. Заблаговременно из Гааги выехал и немецкий «эмигрант». В его обязанность входило встретить на границе генерала Шеммеля и провести его к условленному месту свидания.

Автомобиль с двумя англичанами и голландцем подкатил к невзрачному кафе «Бахус». Здесь была намечена встреча с представителем немецкой оппозиции. Но едва шофер остановил машину и майор Стивенс, капитан Бест и лейтенант Клооп ступили на тротуар, к ним на большой скорости подъехала многоместная с брезентовым тентом зеленая машина и из нее выскочили молодые люди в спортивных костюмах. Англичане не успели опомниться, как оказались в объятиях незнакомцев. Голландец Дирк Клооп, сообразив, в какую ловушку они угодили, бросился бежать. Очередь из автомата одного из незнакомых молодых людей настигла его...

«Операция» в Венло продолжалась считанные минуты. Вряд ли кто-либо из местных жителей, услышав стрельбу и выбежав из дома или высунувшись из окна, успел заметить промчавшуюся к пограничному поезду с заблаговременно поднятым шлагбаумом зеленую машину.

Руководителем «операции» был сподручный Гейдриха штандартенфюрер СС Шелленберг, выдававший себя за «Шеммеля». Команду молодых людей в спортивных костюмах возглавлял человек, имевший в подобных делах немалый опыт. Правда, когда ему приказали инсценировать в ночь на первое сентября нападение «польских солдат» на немецкую радиостанцию в Гляйвице, то «польский офицер», подготовленный им для чтения «воззвания правительства санации», выдал себя ярко выраженным немецким акцентом... По этому поводу было много толков в зарубежной печати. Очень недоволен был такой «грубой работой» обергруппенфюрер СС Рейнгардт Гейдрих. Не случайно все участники «операции» в Гляйвице», за исключением ее руководителя Альфреда Хельмута Науйокса, получили высокие награды рейха. Однако урок не прошел бесследно. Возглавив команду в Венло, Науйокс позаботился о том, чтобы не оставить никаких улик. Даже смертельно раненный лейтенант Клооп был увезен англичанами с их шофером голландцем Яном Леммансом.

На этот раз штурмбанфюрер СС Альфред Хельмут Науйокс полностью оправдал доверие начальника Главного имперского Управления безопасности Германии, по ходатайству которого наконец-то был удостоен железного креста первого класса.

Немцы в газетах подняли шум по поводу случившегося на границе рейха. Выдержки из показаний захваченных офицеров-шпионов Интеллидженс-сервиса майора Стивенса и капитана Беста, а также провокационные комментарии к ним передавались по радио далеко за пределы Германии. Адольф Гитлер не упустил случая с напускным возмущением упомянуть о коварстве англичан и попутно отметить заслуги перед рейхом службы безопасности. Гейдриху он пожаловал очередную солидную награду.

— Я все же заставляю твердолобых пойти на попятную, — ораторствовал Гитлер, потрясая сжатым кулаком, словно душил кого-то. — И только со мной, только на условиях, которые я им продиктую, будет заключен мир! Иного выхода у них нет... Я припру их к стенке!

К удивлению близких друзей, адмирал Канарис не меньше фюрера восхищался эффектом, достигнутым в Венло. Его единомышленники болезненно переживали каждый промах Лондона, оберегая престиж и авторитет Британии, были готовы к контрмерам. Но Канарис не торопился. Напротив, он был рад случившемуся и не скрывал этого.

Обескураженный такой реакцией своего шефа, полковник Ганс Остер, уловив удобный момент, спросил, чем объ-

ясняется столь странное его отношение к спровоцированному Гейдрихом инциденту в Венло?

— Может быть, теперь, — с усмешкой ответил Вильгельм Канарис, — эти оболтусы из «ювелирной фирмы» все же поймут, что представляет собою наш «скрипач» и они сами! Нужно быть абсолютными болванами, чтобы согласиться на переговоры с каким-то «высокопоставленным немцем» в двухстах шагах от шлагбаума на германской границе!

Начальник абвера напомнил, как тот же Остер и его друзья посылали в Лондон известных англичанам действительно солидных людей для переговоров об устранении Адольфа Гитлера, однако все попытки заручиться их поддержкой были безрезультатны.

— Тогда они, — продолжал уже с негодованием Канарис, — считали, что никто, кроме Эмиля, не способен повести Германию против большевиков! Потому-то ублажали его и всячески оберегали с помощью «скрипача», который нередко вынуждал нас делать совсем не то, что следовало бы... А теперь, когда они наконец-то, кажется, поняли, что устранение Эмиля — единственный для них выход из положения, они, видите ли, не нашли ничего лучшего, как действовать, минуя нас! И вот результат — «скрипач» напакостил им, что называется во первое число!

Ежедневно, а то и дважды в день, мир ошеломяли сенсационные сообщения о потоплении судов не только Великобритании и ее союзников, но и нейтральных стран, корабли которых заходили в территориальные воды британской метрополии.

Гитлер потирал руки от удовольствия и усиливал нажим на Англию. Во что бы то ни стало он хотел склонить ее к компромиссному миру. Англичане были не прочь пойти на такой шаг, но их не устраивали методы, которыми оперировал Гитлер, они не хотели смириться с принижением престижа Великобритании и выжидали такого «модуса вивенди», при котором могли бы заключить почетный мир. Но германский канцлер не отступал. Напротив, он действовал все напористее...

— Я приказал так усеять британское побережье «грибами» со смертоносной начинкой, — говорил он в кругу своих приближенных, — чтобы их флот ежедневно недосчитывался десятков судов! Я заставлю не только англо-саксов хорошенько подумать о последствиях дальнейшего ведения войны со мной, но и их открытых и маскирующихся союзников. И никто из них не разгадает секрета нашего оружия и не сумеет оградить свои флоты от массового уничтожения!

А на следующий день, после окончания совещания в абвере, Канарис попросил полковника Остера остаться в кабинете. Адмирал извлек из ящика стола голубую потертую по краям папку с материалами для доклада ставке или лично фюреру.

— Хотите? — протягивая ее Остеру, предложил Вильгельм Канарис своим обычным мягким, ничего особенного не предвещавшим голосом. — Полюбуйтесь...

Не первый год Остер знал своего шефа. Прежде чем открыть папку, он пытливо посмотрел на начальника абвера, предчувствуя какой-то сюрприз.

— На меня, Ганс, не смотрите, — улыбаясь, сказал Канарис. — Ни на лбу, ни в глазах ничего не прочтете... Загляните-ка поскорее в папку!

Остер пробежал глазами первые две страницы с известной ему информацией, предназначенной для доклада фюреру, и дошел до сообщения о том, что секрет устройства мины, используя которую Адольф Гитлер не далее, как вчера, грозился уничтожить морской флот Британии, блокировать ее побережье, обречь метрополию на изоляцию, — полностью раскрыт англичанами... Адмиралтейство Великобритании уже уведомило все союзные и нейтральные страны о необходимости немедленно принять меры к размагничиванию металлических корпусов кораблей, «пропустив по килю судна высокое напряжение».

— Вот так штука! — удивленно произнес Остер и вдруг раскатисто рассмеялся, на глазах у него выступили слезы. — Эмиля хватит удар!

Адмирал насупился, опустил голову.

— Посмотрим, что он теперь скажет «скрипачу»!

— О-о-о! — злорадно воскликнул Остер. — «Скрипачу» будет жарко!.. Не миновать ему упреков: и «завелась паршивая свинья», и «повсюду у нас английские агенты», и «я борюсь, а меня кругом предают», и прочее такое...

— И в наш адрес также следует ждать упреков... Не обольщайтесь, Ганс! Эмиль будет рвать и метать... Это слишком чувствительное поражение...

— Несомненно! Что касается упреков в наш адрес — пожалуйста! Мы тут неуязвимы...

Канарис взглянул из-под седых, слегка взлохмаченных бровей на ликовавшего полковника и со свойственной ему сдержанностью заключил:

— Посмотрим... Но, так или иначе, спесь с Эмиля и его любимца «скрипача» будет сбита! И, надеюсь, надолго...

Произнесенное Симоном Соломонзоном кредо — «Единый народ, единая нация, единое государство» — по-прежнему не давало покоя Хаиму. И чем больше он напрягал память, пытаясь вспомнить, где однажды уже слышал эту фразу, тем назойливее, словно испорченная граммофонная пластинка, повторял ее.

Набившие оскомину слова «отвязались» от него лишь в ту минуту, когда раздался хриплый окрик Кноха-«паровоза», возвестивший о возобновлении разгрузки прессованного сена с австралийского судна. На причале снова все пришло в движение, но теперь уже не было ни особой спешки, ни четкого порядка, ни тишины и таинственности, при которых происходила разгрузка ночью. То и дело раздавались резкие гудки грузовиков, прибывающих за сеном, ругань и окрики шоферов, рев моторов отъезжающих автомашин, на ходу балагурили и бранились грузчики.

— Эй, вы! — проходя мимо Хаима, бросил Давид Кнох. — Там ваш хавэр на части разрывается...

И опять Хаим не был уверен в том, что правильно понял главного экспедитора, то ли он посылал его к Ионасу, то ли просто сказал так, для встряски.

— Извините, хавэр Дувэд Кнох! Машины гудят, я не слышал, — нагнав главного экспедитора, сказал Хаим.

— Вы что, за компанию с женой оглохли? — зло ответил Кнох. — Я слышал, она у вас, кажется, глухонемая...

Ошеломленный Хаим остановился. Кровь прилила к его лицу. В это мгновение он потерял контроль над собой и готов был достойно ответить на грубую бестактность Кноха, но тот круто свернул к трапу и быстро, привычно зашагал вверх, а Хаим остался внизу и, горестно усмехаясь, думал о том, как бы Кнох расправился с ним, ответь он на грубость грубостью.

— Вы, бестолочь! — окликнул его уже с верхней палубы главный экспедитор. — Для вас нужно особое приглашение?

Ничего не ответив, Хаим, словно его хлестнули кнутом, бросился к пакгаузу.

Нуци встретил его упреками. Хаим не оправдывался. Он искренне сочувствовал другу: оказывается, и в пакгаузе шла жогрузка «корма для скота».

Нуци сунул в руки Хаиму влажную рубашу.

— Быстро повесь вон на то дерево. — Нуци указал на рыйжий холм с одиноко растущим на нем деревцем, на котором грузчики обычно сушили свои влажные от пота руба-

хи. — Если увидишь на подходе сюда подозрительных людей, снимешь! Понял?

Хаим поднялся на крутой, выжженный солнцем гребень, повесил рубаху на дерево и огляделся по сторонам. Отсюда хорошо просматривалась дорога к пакгаузу и вся территория, примыкавшая к погрузочно-разгрузочной рампе, а также часть причала. Ничего подозрительного кругом не наблюдалось.

Не прошло и получаса, как три груженные до отказа машины, из-под крытых брезентом кузовов которых выглядывали лишь рыхлые тюки сена, отъехали от пакгауза, а на смену им подкатили три пустых грузовика и встали впритык к высоким дверям пакгауза.

Солнце близилось к закату, когда Хаим вернулся в пакгауз с давно высохшей рубахой. От оружия здесь не осталось и следа, однако Ионас почему-то по-прежнему был возбужден, суетился, спешил. Он торопливо умылся и, на ходу причесывая волосы, спросил:

— Устал? — И, не дожидаясь ответа, проговорил: — Я тоже. Очень! Глаз сомкнуть не довелось даже во время перерыва. Приезжал Симон, ходил здесь всюду, смотрел... Впрочем, ты же видел его! Даже перекусить не удалось. Конечно, все это не страшно. Хотя, как говорят, голод не тетка...

— У меня, Нуцик, к сожалению, ничего не осталось, — виновато сказал Хаим. — Еще с вечера все до крошки слопал. Ей-богу!

— Ну, нет, нет!.. Все равно не успеть. Времени, видишь, сколько?

У Хаима екнуло сердце. «Неужели опять что-то затевается на целые сутки?» — мелькнула мысль.

— Мы еще должны побывать сегодня в одном месте, — продолжал Нуци. — Машина, наверное, уже ждет у разгрузочной. Кнох тоже едет. Там будет очень интересно! Увидишь... Пошли!

Они с трудом задвинули за собой тяжелые двери, со скрипом скользящие на больших ржавых роликах. Нуци накиннул на дверные петли огромный замок, со звоном запер его и, поторапливая Хаима, чуть ли не бегом направился к разгрузочной. Кнох мог уехать один: был канун субботы...

Хаим не решился сказать Ионасу, что устал и проголодался, что очень беспокоится за Ойю.

В машине Нуци перекинулся несколькими словами с шофером. Как всегда, тот отвечал очень окупно, как бы нехотя, тоном, отнюдь не свидетельствующим о его подчиненном положении. Хаим и в этот раз подумал, что скорее всего

молчаливый шофер выполняет в Экспортно-импортном бюро функции не только шоферские.

Хаим не произнес за всю дорогу ни слова. Он думал об Ойе, беспокоился: «Опять, наверно, плачет. Боится оставаться одна. Ведь пошел шестой месяц... А тут, пожалуй, придется по несколько суток принимать «корм для скота». Нуцик еще вчера говорил об этом...»

Машина остановилась возле ветхого дома, расположенного недалеко от центра Тель-Авива.

— Хазак!¹⁶⁰ — сказал Нуци, переступая порог.

— Хазак ве-емац!¹⁶¹ — бодро ответил ему стоявший в дверях рослый парень.

Едва передвигая ноги от усталости и голода, Хаим ВолдITER машинально проследовал за Ионасом и повторил за ним:

— Хазак!

Стоявший в дверях парень с презрительным недоумением с ног до головы оглядел ссутулившегося рыжеволосого человека. Он хотел было схватить его за рукав, но шедший впереди Ионас, видимо предвидя это, обернулся.

— Он со мной! — крикнул Нуци повелительным тоном. — Наш хавэр!

— Хазак ве-емац! — удостоился ответа Хаим.

Он протиснулся в узкий темный коридор, из него попал в комнату, обстановка которой напоминала столовые с домашними обедами, весьма распространенные в Тель-Авиве.

Здесь было тесно. И потому он устало прислонился к стене, равнодушно разглядывал незнакомых ему людей. Наблюдая за Нуци, Хаим заключил, что тот здесь бывалый и всеми уважаемый человек: он чинно раскланивался с одними, дружески хлопал по плечу других, степенно пожимал руку третьим... Вот он добрался до столика у противоположной от входа стены и, отыскав глазами Хаима, махнул ему рукой, подзывая к себе. Когда Хаим подошел, он представил его мужчине, сидевшему за столиком рядом с молодой женщиной в полувоенной блузе.

— Знакомьтесь! Наш хавэр... Хаим ВолдITER.

— Новичок? — догадался мужчина.

— Да, конечно! — улыбнувшись, подтвердил Нуци. — Только у этого «новичка» за плечами «акшара» и, между прочим, — продолжал он, доверительно нагнувшись к уху мужчины, но все же достаточно громко, — проходил «акша-

¹⁶⁰ Крепись! (приветствие).

¹⁶¹ Будь сильным!

ру» не только за себя, но и за нашего хавэра Симона Соломонзона... Да, да! Это «между прочим»...

— Вот как! — искренне удивился мужчина и, поднявшись, удостоил Хаима рукопожатием. — Очень приятно, хавэр! Такие молодцы нужны здесь, да-а!

Хаим залился румянцем.

— Можно его зачислить? Или только на сегодняшнее собрание? — спросила женщина.

— Какой разговор! — воскликнул Нуци и покровительственно хлопнул Хаима по плечу. — Конечно, зачислить. Он работает у меня в порту!

Голодный, уставший, Хаим неожиданно почувствовал себя именинником. Незнакомые люди пожимали ему руку, улыбались, почему-то смотрели на него с завистью. Впрочем, минувшие сутки действительно были для него в некотором роде «крещением»: его посвятили во многое из того, о чем не всякий заслуженный холуц имел представление.

Сам того не сознавая, Хаим Волдитер оказался у «источков истории», как сказал ему накануне перехода на работу в порт Нуци Ионас. Правда, Хаим в шутливом тоне ответил тогда, что, дескать, «надо еще разобраться, в какую такую историю ты меня впутываешь!».

Нуци Ионас, к счастью, не понял иронического смысла этой шутки. И вообще, он многое прощал своему подопечному, считая его недалевидным, непрактичным, но предельно честным и бескорыстным парнем. Узнав о его женитьбе на глухонемой девушке, он окончательно убедился в том, что Хаим человек «не от мира сего», и без стеснения называл его честным дураком, который сам себя осудил на пожизненную каторгу. Но именно эти черты характера Хаима устраивали Ионаса. Потому-то он и привлек его к работе в Экспортно-импортном бюро.

А Хаим все еще не догадывался, что Нуци отнюдь не из-за простого и, казалось бы, естественного желания помочь товарищу устроил его на эту работу. Он наивно полагал, что оказался в столь привилегированном, по сравнению с другими холуцами, положении только потому, что в свое время осилил «акшару» за неведомого тогда ему Соломонзона и что в благодарность за это при встрече в Палестине тот благосклонно отнесся к нему, предоставил кров и работу, а позднее, убедившись, что Хаим Волдитер трудолюбив, добросовестен и безропотен, не только повысил ему жалованье, но и оказал большое доверие, переведя вяффский порт на работу, связанную с получением особых грузов, о которых знали очень немногие.

Думая так, Хаим Волдитер считал себя счастливым, но в глубине души его что-то безотчетно беспокоило, томило, а иногда просто пугало. Как бы угадав его состояние, Нуци Ионас шепнул ему на ухо:

— Ты же вытянул на редкость счастливый билет, Хай-молэ! Знаешь, какие люди будут здесь сегодня? Тебе и не снилось, о каких великих свершениях пойдет речь!

Хаим молча пожал костлявыми плечами. Его бледные губы тронула робкая улыбка, а в серых глазах плескалось тревожное недоумение.

Только теперь он вспомнил, что шофер Соломонзона высадил сначала Давида Кноха, а через несколько кварталов его, Хаима, и Нуци, и потом они долго петляли по переулкам, прежде чем вышли к нужному дому с тыльной стороны. Ему стало очевидно, что сборище это проводится тайно, и он неожиданно-негаданно оказался в числе каких-то заговорщиков.

Сиротливо прислонившись к стене, Хаим посматривал на сновавших мимо него чем-то возбужденных людей, но мысли его были далеки от того, что происходило вокруг. Он думал о том, что вряд ли мужчина и женщина, которым только что его представил Ионас, были искренни, выразив ему особое уважение, когда узнали, что он отбывал «акшару» за хозяина Экспортно-импортного бюро. Ведь они прекрасно понимали, что не от хорошей жизни он трудился за двоих. И не высокие патриотические чувства были тому причиной. Но они знали: таких, как он, холуцев из бедных семей старательно обрабатывали эмиссары различных обществ сионистского толка, внушая, что «высокий патриотический долг каждого еврея участвовать в воссоздании своего национального очага», что только ради этого стоит жить и умереть. Не скупясь на посулы, эмиссары завлекали молодежь, вынуждали ее проходить сельскохозяйственную стажировку, без которой никто из них не мог получить «сертификат» и «визу» на право поселения в «стране предков».

Подобная «процедура» коснулась и Хаима Волдитера. В свое время при содействии маклера-миссионера «Еврейского агентства для Палестины» была сформирована из некоторого числа членов общества «Гардония» очередная «квуца», которой на сей раз было присвоено имя «Иосиф Трумпельдор». В нее-то и был зачислен холуцем Хаим Волдитер. Маклер-миссионер, действовавший от имени «квуца», заключил контракт с управляющим крупного имения вблизи румынского города Тыргу-Жиу. По этому контракту «квуца Иосиф Трумпельдор» обязывалась в течение одного сезона выпол-

нить все сельскохозяйственные работы — «от посева до уборки урожая зерновых, фуражных и бахчевых культур, виноградников и фруктовых садов». И не случайно в этом документе не было оговорено число холуцев, привлекавшихся к работе: по списку их было значительно больше, чем на самом деле. Члены этих трудовых отрядов — сынки богатых родителей — не проходили трудовую стажировку, они ограничивались взносом денежных компенсаций в кассу «квуца́». Частенько в отрядах, созданных сионистскими филиалами во многих странах мира, числились и холуцы-инкогнито: под чужими фамилиями проходили законспирированные представители «Акционс-Комитета», которые или занимались отправкой соплеменников в Палестину (разумеется, в обход законов), или выполняли секретные поручения специальной оперативной службы Хаганы и даже непосредственно самого штаба «Массад». Нередко эти ведомства, получив от своих людей ту или иную информацию, представлявшую ценность для английской или американской разведок, могли уступить ее в порядке взаимного обмена подобного рода материалами. Для рядовых холуцев эти законспирированные представители «Акционс-Комитета», конечно, навсегда оставались неизвестными. Денежную компенсацию за них вносили в складчину иногда лавочники и коммерсанты, порой даже ремесленники и служащие, которым местные еврейские общины вменяли это в обязанность.

Но трудовую стажировку — «акшару» — за людей-«невидимок», за сынков состоятельных родителей, отрабатывали холуцы-бедняки, работяги, каким был Хаим. Он не любил вспоминать о тех днях. И сегодня упоминание о трудовой стажировке болью и обидой отозвалось в его сердце. «Да ну их к дьяволу! — подумал он. — Любезничают со мной не потому, что я честным тяжким трудом заработал право быть здесь, а только потому, что отбыл эту каторгу за богача Соломон-зона!»

С горькой усмешкой Хаим припомнил транспарант, висевший у входа в барак, где размещались холуцы, проходившие «акшару»: «Арбайт махт гликлих!»¹⁶². За время, прошедшее с тех пор, труд, однако, не принес ему счастья... Вряд ли оно ждало его и в обозримом будущем. «Нуцик считает, что если я честный, то уж непременно дурак...» — подумал Хаим и вспомнил при этом, как во время стажировки однажды показывали какой-то документальный фильм. Внимание

¹⁶² «Труд приносит счастье!»

его привлекла надпись у входа в гитлеровский концлагерь для интернированных евреев. Она гласила: «Арбайт махт фрай!»¹⁶³. Хаима тогда поразила эта странная аналогия.

«Мало ли какие аналогии бывают на свете! — нехотя ответил на его замечание Нуци. — Случайное совпадение».

«Ничего себе «совпадение»! — Хаим всплеснул руками. — У нас и у фашистов — одинаковые лозунги!»

«Помолчал бы лучше! — сердито оборвал его тогда Нуци. — И вообще, прежде чем сказать, подумай...»

С тех пор Хаим никого ни о чем не спрашивал и ничему не удивлялся. Понимал, что надо терпеть. Ведь он не только поклялся принимавшей его комиссии подчиняться во всем, но и подписал договор, обязывающий его работать безупречно, соблюдать общепринятые нормы поведения и порядка в отряде, чтобы не подвести поручившихся за него руководителей общества «Гардония» и местной еврейской общины. Все это происходило в присутствии отца Хаима. Отказ от прохождения «акшары» был исключен: он грозил большими неприятностями не только ему, Хаиму, но и его семье.

Перед самым отъездом в Палестину, когда Хаим встретил в Констанце Илью Томова, он излил перед ним свою душу.

«Погляди на мои руки, и ты поймешь, чего стоила мне эта стажировка... Ведь обычно помещик нанимал около ста человек, а нас было всего тридцать холуцев. Разница! А помещику выгодно: наш труд обходился ему намного дешевле крестьянского. Но ты бы посмотрел, Илюшка, как нас возненавидели крестьяне из местных деревень! Вот от чего зарождается антисемитизм! А что, нет? Мы, можно сказать, ограбили их!.. Ей-богу! Они только и живут сезонными работами... Душа, веришь, разрывалась!.. Не раз я собирался бежать отсюда, но вставал вопрос: «А что это даст? Ровным счетом ничего: ни крестьянам, ни мне. Холуцы уедут в Палестину, и я останусь. Придет Гитлер и меня придушит. Сам видишь, что здесь творится... Пришлось смириться и тянуть из последних сил эту каторжную стажировку, чтобы получить право поехать в Палестину!.. И вот еду! Наши старшие твердят, что там мед течет рекой. Посмотрим!..»

Хаим взглянул на висевший напротив него большой портрет чернобородого человека со скрещенными на груди руками. Под портретом висел белый транспарант с двумя крупными ярко-голубыми шестиугольными звездами «щита Давида» по краям. В центре — надпись:

¹⁶³ «Труд приносит освобождение!» (нем.).

«В Базеле я основал Еврейское Государство. Сегодня эти слова, быть может, вызовут смех, спустя пятьдесят лет наверняка они станут действительностью.

Герцль».

Хаим несколько раз перечитал это изречение. Пытаясь вникнуть в его смысл, вновь перевел взгляд на портрет. Вглядевшись в него, Хаим наконец уловил, кого тот напоминает ему: легкий наклон головы, суровый взгляд, скрещенные на груди руки — все это точь-в-точь, как на портретах Наполеона. «Копировал его, что ли? В Бонапарты метил?!» — подумал Хаим и вспомнил, что ведь и у Гитлера на плакатах такая же осанка и точно так же высоко на груди скрещенные руки! Да и подпись под плакатом похожа на эту. Он, Хаим, вместе с Ильей Томовым у себя в Болграде по ночам срывал подобные плакаты, и потому хорошо запомнились ему те высокопарные слова:

«В Мюнхене я основал ядро партии... На мою долю выпала священная миссия создать государство с твердо живущими на своих землях ста миллионами немцев... Сегодня это, быть может, вызовет смех кое у кого... но дайте мне четыре года, и я клянусь...»

«Что это? Опять совпадение?» — Хаим провел ладонью по лбу.

Тем временем толпившиеся под портретом люди расступились, и Хаим увидел стол, за которым восседало несколько человек. В центре — Симон Соломонзон. Мужчина лет сорока пяти в вылинявшей блузе без всякого вступления заговорил о сложившейся в Палестине обстановке.

Особый интерес у присутствующих вызвало его сообщение об обстоятельствах, при которых англичане обнаружили и конфисковали в поселке Бен-Шемеш склад оружия и боеприпасов, принадлежавших «Иргун цвай леуми».

— Печален тот факт, — размеренно чеканя слова, проговорил человек в вылинявшей блузе, — что не впервые происходит подобный провал...

Он напомнил, что несколько месяцев назад, а точнее, в середине октября, англичане задержали сорок пять холуцев, проходивших военную подготовку, и конфисковали все их снаряжение и оружие.

Привел он еще один случай, происшедший шесть недель спустя, когда тридцать восемь бейтарцев-ревизионистов, также во время военных занятий вблизи одного из кибуцев, были арестованы, а их оружие и боеприпасы изъяты.

Спокойно, размеренно, не повышая и не понижая голоса,

оратор констатировал, что причиной этих бед является чрезмерная доверчивость людей, которым «Акционс-Комитет» поручил практически осуществлять историческую миссию. Он осудил их за то, что в погоне за прибылями они пренебрегают своими священными обязанностями, нередко перепоручая их случайным лицам, ничем себя не проявившим в освободительном движении и не имеющим заслуг перед сионизмом в целом.

— Втершиеся в доверие к нашим людям и получившие доступ к сокровенным тайнам, эти выродки выдают их нашим заклятым врагам за незначительные вознаграждения...

Последние слова оратора потонули в гуле возмущенных голосов, но человек в блузе поднял руки, и все смолкли.

— Причем информация, которой эти выродки снабжают наших врагов, не ограничивается указанием местонахождения того или иного законсервированного нами склада оружия, она содержит также данные о том, откуда поступает это оружие! А мы с вами знаем, откуда оно поступает. За это нас осуждают многие. Однако на столь выгодных условиях мы ни от кого не получим вооружения в таком большом количестве! Поэтому и только поэтому мы не пренебрегаем сделкой с известной вам страной и с известными вам правителями. Ради достижения конечной цели мы идем на эту моральную жертву. А те, кто предает нас, дают обильную пищу нашим врагам, утверждающим, будто сионизм не отвечает интересам еврейского народа, находящегося в диаспоре.

Оратор отметил, что англичане, возможно, не пошли бы на крайние меры, если бы не были вынуждены заигрывать с арабами, делать им незначительные уступки. Сославшись на «весьма достоверный источник», он сообщил, что в среде командования британских войск циркулирует слух об утечке оружия, боеприпасов и взрывчатки с военных складов и из различных военных организаций, расположенных на территории Ближнего Востока.

— На днях англичане арестовали двух своих военнослужащих: Гаррисона и Стоунера, — продолжал он. — Я назвал их фамилии потому, что кое-кому из сидящих в этой комнате следует соответственно реагировать... Начато следствие. Не исключено, что перед судом предстанут и другие лица. Например, замешан в этом деле и один староста арабской деревни. Обо всем этом, разумеется, арабам уже известно. Они обратились с очередным протестом к британскому верховному комиссару. В протесте говорится о деятельности

«Иргун цваи леуми» и Хаганы. Арабы утверждают, что официальный разрыв между ними — фикция, что контакты продолжаются. В документе подчеркивается, что по-прежнему свирепствует террористическая группка «Штерн-ганг», действия которой поощряются «Еврейским агентством»... Большое место в нем уделено нашей сети, занимающейся контрабандным ввозом в Палестину оружия и боеприпасов. Между прочим, упоминается наша база на Кипре и всячески поносят имя почтенного реббе Бен-Циона Хагера, хвала ему!..

Услышав это имя, Хаим поежился и взглянул на стоявшего рядом Нуци Ионаса, а тот шепнул:

— Никогда еще он не говорил так откровенно...

— А кто он?

— Тише! Слушай... Это очень важно!

Хаим понял, что Нуци уклонился от ответа. Но ему было безразлично: глаза склеивались, в голове гудело, под ложечкой сосало.

На том, однако, и завершилось то, что Нуци Ионас называл «очень важным». Свое выступление оратор заключил несколькими общими фразами о необходимости соблюдать строжайшую конспирацию, быть проницательным при подборе людей, число которых будет неизменно увеличиваться по мере расширения поля деятельности подпольных военных организаций.

— Вот сейчас услышишь... — шепнул Хаиму на ухо Ионас. — Выступит представитель штаб-квартиры «Еврейского агентства для Палестины». Только что прибыл из Вашингтона... Вот он!

Из-за стола поднялся приземистый плотный мужчина с седыми вьющимися волосами. Неожиданно молодым, сочным голосом он начал толковать слушателям насущную задачу руководителей организации Хаганы и «Иргун цваи леуми», а также недавно реорганизованной «Штери»: использовать благоприятную обстановку, возникшую в результате вступления Англии в войну с Германией. При этом он подчеркнул два аспекта деятельности этих организаций — проявление широкой инициативы в деле быстрого достижения численного перевеса евреев в населении Палестины и всемерное усиление самообороны ее территории.

— Массовая иммиграция остается основой основ, — подчеркнул он, — ибо только при этом условии можно в ближайшем будущем создать признанный международным правом национальный еврейский очаг, а в последующее время

расширить его территорию, как это завещано нам предками, от реки Египет¹⁶⁴ до реки Евфрат!

Не впервые присутствующие слышали столь громкие слова, они изрядно набили многим из них оскомину. Потому, наверное, в первые мгновения никто не реагировал на них проявлением энтузиазма. Наступила неловкая пауза. Ее нарушил какой-то щуплый, с чернявой макушкой слушатель в первом ряду — запоздало, но с тем большим остервенением он захлопал в ладоши и настойчиво хлопал до тех пор, пока одиночные хлопки поддержавших его не переросли в аплодисменты всех присутствующих.

— Масштабы иммиграции, — продолжал посланец из-за океана, — надо наращивать изо дня в день любой ценой и любыми средствами, не обращая внимания ни на какие «белые» или любой другой окраски книги!

— Правильно! — выкрикнул щуплый из первого ряда. Он вскочил со своего места и, повернувшись лицом к аудитории, продолжал выкрикивать: — Именно любой ценой и любыми средствами! Силой оружия мы должны заставить англичан раз и навсегда перестать возвращать прибывающих на нашу землю иммигрантов! Хватит унижений! Хватит уступок! Хватит этой дурацкой нерешительности и неуверенности!

— Штерн! — толкнув Хаима локтем, шепнул Нуци. — Отличный малый... Порох!

Хаим с любопытством посмотрел на жилистого человека с злобно перекошенным лицом. Он слышал об этом фанатике-сионисте. Из уст в уста передавались легенды о жестокости и мстительности «штерновцев», об учиняемых ими расправах над иноверцами. Штерна разыскивала английская полиция, ему грозили казнью арабы, немало было людей и среди сородичей, жаждавших разделаться с ним, а он пребывал в добром здравии и все больше свирепствовал.

— Правильность ваших требований вне всяких сомнений, — мягко и благожелательно обращаясь к Штерну, проговорил пожилой представитель из Вашингтона. — Но вы, конечно, согласитесь с тем, что нам нужны не сотни, а многие и многие тысячи молодых людей, таких, как вы, страстных и самоотверженных в борьбе за наше святое дело! Иначе нам не справиться с задачей колонизации новых земель, которые непрерывно будут теперь поступать в распоряжение нашего отечества. Мы с вами понимаем, для чего все это нужно и насколько это важно...

¹⁶⁴ Нил (по библии).

Он говорил спокойно, неторопливо, жесты его холеных рук были округлы, изысканны.

Убедившись в том, что Штерн удовлетворен его ответом, седовласый перешел к вопросу о методах и средствах воздействия на живущих в рассеянии евреев, с целью добиться массового переселения их в Палестину.

— Мы не должны смущаться, изображая перед единоверцами жизнь на земле предков раем. Да, здесь нет молочных рек и кисельных берегов, и жизнь пока далеко не райская, но все это будет, едва наши люди осознают себя единой нацией, встанут под знамена сионизма, переселятся на землю праотцов и создадут единое государство богом избранного народа!

Старик сделал короткую паузу и оглядел собравшихся. Понизив голос, он продолжал:

— Однако путь к достижению этой цели не усыпан розами... Вы это знаете. И знаете прекрасно! И все же неизбежные на этом пути тяготы и жертвы несоизмеримо малы по сравнению с вечными страданиями наших единоверцев, обитающих в диаспоре. И это мы тоже неплохо знаем... Вот почему было бы непростительной глупостью отказаться убеждать рассеянных по всему миру братьев по крови переселиться в Эрец-Исраэль, отвращать их от этого, устрашая трудностями и лишениями...

И он преподавал урок циничной «дипломатии», цель которой, как откровенно пояснил оратор, состояла в том, чтобы выдать достигнутый их краем уровень экономического и культурного развития за результат массовой иммиграции, самоотверженного труда переселенцев, привнесения ими в «страну обетованную» современной цивилизации...

Послышались одобрительные реплики, но оратор повелительно поднял руку и стал обстоятельно рассказывать о методах «обработки» соплеменников, открыто отказывающихся вернуться в страну праотцов и отвергающих идеи сионизма.

— Этих людей мы обязаны дискредитировать в глазах окружающих их соплеменников и иноплеменников! — говорил с жаром оратор. — Мы обязаны поставить их перед дилеммой: либо, вопреки своему скептическому или даже враждебному отношению к национальному движению и идеям сионизма, покинуть насиженные гнезда и переселиться на землю предков, либо прозябать на месте в окружении явных или потенциально возможных противников, оставаться в состоянии моральной изолированности и униженности!.. Но если вы скажете, что эти люди на месте не прозябают, что нет вокруг них и тени враждебности, что отсутствует также мо-

ральная изолированность и униженность, то я вам отвечу: все это нам с вами надлежит создать!..

Без тени стеснения старик рекомендовал использовать для достижения этих целей все средства — культурные, родственные и религиозные связи, а при надобности даже шантаж и провокации.

— Мы исходим прежде всего из интересов еврейского народа как единого целого и не можем поступиться ими в угоду отщепенцам, враждебно относящимся к национальному движению. Напротив! Мы обязаны любыми средствами сделать их послушными исполнителями воли «Еврейского агентства», а значит, и величественных идей сионизма!

Раздались несмелые реплики:

— Но так можно посеять распри среди еврейских меньшинств!

— И навлечь на них еще большие гонения со стороны инородцев!

— А разве это так уж плохо? — Американский представитель провел рукой по седым густым волосам, довольно улыбнулся. — Чем хуже вчера — тем лучше сегодня! Именно в этом и состоит задача. Пусть наши люди, живущие в диаспоре, окажутся в невыносимых условиях. Именно это заставит их обратить свой взор к Палестине.

— Правильно! — снова выкрикнул Штерн. — Я предлагаю тех евреев, которые будут отказываться от связи с нашим Агентством, сопротивляться переселению в Эрец-Исраэль, подвергнуть самому суровому религиозному преследованию, всестороннему гражданскому бойкоту и жестокой травле!.. Вплоть до уничтожения! — Он сделал короткую паузу, окинул жестким взглядом собравшихся в этой комнате людей, затем, повысив голос до визгливого крика, закончил: — Пусть это будет суровым предостережением всем паршивым еврейчикам, зараженным болезнью ассимиляции!..

— Верно! Молодец, Штерн! — поддержал его Нуци Ионас. — Они все равно уже не евреи, а мешумэты! От них только вред...

— Не думает ли хавэр Штерн, что столь суровые меры оттолкнут от нас колеблющихся? — послышался вопрос из дальнего угла комнаты.

— Вообще, такие крайности, по-моему, только на руку нашим врагам!.. — поддержал молодой звонкий голос.

Эти реплики пришлись не по душе Штерну. Он вскочил, будто на него плеснули кипятком. Размахивая руками и брызгая слюной, Штерн обрушился с бранью на тех, кто, по

его словам, «проповедует осторожность только из страха за свою шкуру».

Его пытались урезонить, доказывали и убеждали, что крупных разногласий, по-существу, между ними нет, однако возникший спор перерос во всеобщую перебранку. Люди поднялись со своих мест и отчаянно жестикулировали, стараясь перекрычать друг друга. Казалось, вот-вот начнется кулачная потасовка, а может, и нечто большее.

Призывы председательствовавшего соблюдать порядок, несмотря на высокий пост, занимаемый им в «Еврейском агентстве для Палестины», были тщетны. С перекошенным от ярости лицом Штерн метался из стороны в сторону, кому-то угрожал кулаком, кого-то поносил последними словами...

С волнением наблюдая всю эту катавасию, Симон Соломонзон старался придать своему лицу презрительно бесстрастное выражение. Он решил воспользоваться возникшей сумятицей, чтобы продемонстрировать перед всеми и особенно перед эмиссаром из Вашингтона, как велик его авторитет. Свое влияние на рьяных спорщиков, включая Штерна, он измерял одной меркой — их финансовой зависимостью от Экспортно-импортного бюро.

Соломонзон решительно поднялся, вскинул руку вверх, постоял в таком положении несколько секунд, но шум не утихал. Симона обескуражило проявление такого непочтения к нему. Он медленно, нерешительно опустил руку, стал без нужды снимать и снова надевать очки на покрасневший от негодования нос. Ему уже хотелось сесть, но он понимал, что это может быть расценено окружающими, как окончательное поражение. Этого Симон не хотел допустить и продолжал стоять, ожидая тишины. Его надменное лицо было блее бумаги.

Хаим наблюдал за своим хозяином, понимал его состояние и неожиданно для себя обнаружил, что жалкое положение, в котором оказался его благодетель, не вызывает в нем ни малейшего сочувствия. Хаим злорадствовал, и чем дальше, тем больше это чувство превращалось в отчетливую неприязнь ко всему происходящему.

Нуци Ионас тоже понимал, в каком глупом положении оказался Симон, и лез из кожи вон, чтобы показать свою преданность. Он ерзал на скамейке, не зная, что предпринять, наконец вскочил и, вытянув вверх крупко сжатые кулаки, истошно закричал:

— Тише, ну! Слышите, тише!? Или я сейчас стрельбу открою!

Находившиеся поблизости оглянулись, недоуменно по-

смотрели на пунцового от волнения Ионаса и, продолжая галдеть, равнодушно отвернулись.

Хаим чуть было не подпрыгнул от радости. «Хотел выступить. Не вышло! Сел в лужу! — думал он. — Эту публику одним пугалом не рассеять... Нет. По ним и в самом деле надо стрелять!.. Наглые, как настоящие легионеры!»

Хаим представил себе, что произошло бы, если бы эти горячие головы и в самом деле взяли власть в свои руки... Он глубоко вздохнул, расстегнул влажный от пота воротник рубашки.

Когда страсти несколько улеглись, Симон Соломонзон, уже не рассчитывая на всеобщее внимание и полную тишину, начал излагать свою точку зрения на принципы и методы организации массовой иммиграции соплеменников.

Выразив согласие с эмиссаром из Америки и особо подчеркнув, что предложения Штерна абсолютно правильны и как нельзя более своевременны, Симон Соломонзон, однако, категорически высказался против того, чтобы требование обязательного переселения в страну предков распространялось на всех без исключения сородичей.

— Зачем переселяться в Эрец-Исраэль, скажем, Моргенту? Кому не понятно, что на посту министра финансов в правительстве Рузвельта он нам полезнее, чем в любом качестве здесь? А барон Ротшильд?! Разве не ясно, что, переселившись сюда, он не смог бы использовать для нашего дела и десятую долю того огромного влияния, каким располагает, находясь там, в Европе?

На лице Хаима мелькнула презрительная улыбка. Он не сомневался в том, что, доказывая необходимость делать исключения из общего правила и упоминая в качестве примера фамилии Моргенту и Ротшильда, Симон Соломонзон имеет в виду прежде всего своих родителей и особенно дядюшку, который, как рассказывал Нуци, и не думает переезжать в Палестину.

— Скажу вам больше! — продолжал Симон. — Среди деятелей науки и культуры с мировыми именами есть евреи, к сожалению, отвергающие наши идеи и наши ближайшие конкретные цели, но было бы ошибкой всех их разубеждать, поносить, шантажировать и дискредитировать, словом, как говорят в таких случаях, не мытьем, так катаньем вынуждать переселиться в эти края. Когда, например, спросили известного физика Эйнштейна, почему он эмигрировал из фашистской Германии в Соединенные Штаты, а не поселился в Палестине, где наверняка стал бы президентом еврейского государства, восстановление которого не за горами, ученый не толь-

ко не высказал сожаления по поводу переезда в Штаты, но и высмеял идею создания еврейского государства, а вместе с тем и предположение о возможности занять в нем самый высокий пост. И я спрашиваю: есть ли смысл прилагать усилия к тому, чтобы этот переродившийся еврей прозрел? Нет и еще раз нет!

Мотивируя свою точку зрения, Соломонзон говорил о том, что вообще людей, подобных Эйнштейну, по тактическим соображениям не следует толкать на публичные выступления, так как к их голосу прислушиваются. Их мнение, пусть и явно ошибочное, звучит авторитетно и потому способно свратить простых смертных с пути праведного. Что же касается плодов труда этих могикан науки, то Соломонзон цинично заверил, что в нужный момент они будут переданы деятелям «Еврейского агентства» людьми, разделяющими тактику и цели сионистов, работающими рядом с Эйнштейном и ему подобными.

— В готовом виде! Как говорится, «на тарелочке»! И без всяких затрат! — смакуя, торжественно заявил он.

Продолжая изображать из себя бескорыстного патриота, Симон Соломонзон в действительности был достойным преемником своего дядюшки и так же, как он, всегда и во всем стремился к личной выгоде. И сейчас Симон Соломонзон больше рисовался, чем был искренним перед сидевшим рядом с ним элегантно одетым рыжеватым мужчиной лет сорока, также прибывшим из Соединенных Штатов, но в пути сделавшим кратковременную остановку в Германии... Разумеется, о последнем знали только Соломонзон и еще очень немногие.

— Людей, подобных Ротшильду в Европе и Моргентау в Америке, — продолжал Соломонзон, — как известно, не единицы и не десятки. В странах мира их сотни и тысячи. Они владеют большой долей мирового запаса золота. Им принадлежат крупнейшие банки и заводы, фабрики и торговые фирмы. Это не новость и не секрет... Также не новость и не секрет, что, обладая контрольными пакетами акций, многие из них являются фактическими хозяевами господствующих в экономике стран торгово-промышленных, железнодорожных, судоходных, авиационных, кредитных, страховых и других акционерных обществ! Через них и только через них мы имеем реальную возможность решающим образом влиять на политику правительств различных стран, направлять ее в нужное нам русло, формировать мировое общественное мнение в нашу пользу... Вот почему впредь, говоря об иммигра-

ции, надо понимать, что вопрос этот не такой простой, каким кажется на первый взгляд.

Симон резко оборвал речь, сел и тотчас же стал что-то записывать в лежащий перед ним блокнот, как бы демонстрируя свое пренебрежение к тем, кто только что заставил его стоять, ожидая слова.

Снова поднялся седовласый американский гость, речь которого прервали сначала реплики из зала, а потом беспардонно вклинившийся со своими разъяснениями директор и хозяин Экспортно-импортного бюро Симон Соломонзон.

— Я не собираюсь полемизировать с предыдущим оратором, — спокойно проговорил эмиссар из Америки, иронически склонив свою седую голову в сторону Соломонзона. — Скажу только, что нет надобности ломиться в открытую дверь. Как божий день давно и всем ясно, что ротшильды и теплицы, моргентау и им подобные личности не нужны в этих краях. Нечего им здесь делать. Эти люди — истинные сыны избранного богом народа, и если дела и тела их пребывают в диаспоре, то сердца и помыслы безраздельно принадлежат Сиону!

В зале раздались голоса одобрения.

Седовласый продолжал:

— Но не о них же в данный момент речь... Беспокоит нас многочисленная категория людей, пребывающих в рассеянии и не принадлежащих ни к ротшильдам, ни к эйнштейнам... Эти, с позволения сказать, евреи, чуждающиеся своего происхождения, не верящие в превосходство своей нации над остальными народами, населяющими мир, показывают нам спину, отвергают переселение на обетованную землю. Вот о ком нам предстоит говорить! И именно эти люди составляют основную человеческую массу, призванную заселить и освоить землю своих праотцов, затем раздвинуть ее границы и защитить их от врагов... Вот почему мы обязаны искать пути, чтобы держать под неослабным контролем и нашим воздействием каждого соплеменника, независимо от того, желает он этого или нет!.. Правда, некоторая часть из них составляет исключение. Это люди, погрязшие в утопии коммунизма, нарушившие тем самым чистоту иудейской веры и окончательно утратившие свою принадлежность к избранному богом народу. Как ни горестно признавать, но эта кровоточащая язва на здоровом теле нашего народа берет свое начало от родного нам по крови человека, впрочем, происходящего из не совсем полноценной иудейской семьи... Я имею в виду Маркса...

Люди вновь зашептались, вновь по залу словно жук пропелся. Оратор смолк. Это обратило на себя внимание, и мгновенно воцарилась тишина.

— Другой, не менее крупной бедой является и тот факт, — продолжал старик, — что идеи его дали ростки во всей вселенной и, прежде всего, в такой огромной, с почти бесконечными просторами стране, как Россия!.. И именно в океанских ее просторах, как утопающий, ухватившийся за соломинку, наш «вечный жид» воспринял эту утопическую доктрину и в среде большевиков теперь нередко задает тон... Это тоже факт, достойный глубокого сожаления... Не зря же говорится, что нет на свете врага страшнее того, кто был тебе родным!.. К величайшему нашему огорчению, бороться с этой проказой очень трудно, но крайне необходимо. Видимо, в самое ближайшее время нам придется вернуться к данному вопросу особо, чтобы наметить эффективные меры по преодолению этой преграды на нашем пути...

Хаим почувствовал, как учащенно забилося его сердце. Вспомнились годы лицея, верный друг Илья Томов, подвал полиции, куда бросили его, Хаима, за распространение прокламаций. Как давно это было, хотя и прошло всего три года! Там, в мире простых людей, все было ясно: кто твой друг, кто враг. А сейчас? С кем ты сейчас, Хаим Волдитер? Куда забросила тебя судьба? Неужели ты не видишь, что для этих холеных господ, владеющих миллионами, ты не человек, а рабочая скотина? Почему ты стоишь здесь и слушаешь эти лживые речи? И Соломонзон, и этого бесноватого Штерна. Что у тебя с ними общего? Хаим с недоумением оглядел зал: ни одного знакомого лица. Он чужой в этой волчьей стае. Невольно вспомнился толстяк ювелир из Польши, с которым Хаим расстался на «сборном пункте». Он любил повторять: «Фанфарончики, посмотрите на них! Холуцики-шмолуцики — умеют хорошо пускать из носа пузыри и бесстыдно орать потом на весь мир, уверяя, что это дирижабли!»

Около полуночи, когда завершились официальные выступления, Симон Соломонзон, Штерн и с ними высокий рыжеватый мужчина в светло-сером, с иголки костюме спешно покинули помещение. Исчез куда-то и Нуци.

Было нестерпимо душно. Хаим встал, поискал глазами Нуци Ионаса, и невольно взгляд его упал на большой портрет Жаботинского, висевший на стене, спиной к которой Хаим просидел весь вечер. И здесь, как и на противоположной стене под портретом Герцля, был натянут белый транспарант с двумя ярко-голубыми звездами по краям и жирной черной надписью:

«Единый народ, единая нация, единое государство — Израиль!»

Это была та самая фраза, которая в течение всего дня не давала ему покоя. И вдруг, по какой-то неуловимой ассоциации, Хаим вспомнил, где он услышал ее впервые. Это было в Констанце, в день отъезда в Палестину. Вместе с другими холуцами он был в кино. Показывали киножурнал: огромная площадь, запруженная эсэсовцами, на разукрашенной флагами со свастикой трибуне у микрофона Адольф Гитлер. Собирище эсэсовцев скандирует:

«Айн фольк, айн райх, айн фюрер — Дойчланд!»¹⁶⁵

25

Весть о новогоднем столкновении тюремной охраны с заключенным бессарабцем, отрицающим свою связь с коммунистами, но проявившим с ними солидарность, облетела тюрьму Вэкэрешть. Поведение русского парня вызвало сочувствие к нему заключенных. Они знали, что Томов избит тюремщиками до полусмерти и отправлен в карцер, знали, что смерти подобно длительное пребывание в этом каменном промерзлом мешке, без света и воздуха. Обычно срок пребывания в карцере не превышал трех суток, но пошел уже четвертый день, а Томов все еще не возвращался в свою камеру. Заключенные рещили вступиться за него.

В течение десяти минут на всех этажах тюрьмы узники скандировали: «Верните из карцера русского!» Не помогло. Тюремщики делали вид, будто ничего не слышат. Весь этот день заключенные перестукивались, вели переговоры по тюремному «телефону», осведомлялись у Никулеску, не вернулся ли Томов из карцера. Во время раздачи ужина распространился слух, будто он скончался от побоев и тюремщики тайно его схоронили...

Ранним утром следующего дня тюремную тишину снова нарушили протестующие голоса заключенных:

— Тре-бу-ем про-ку-ро-ра!

— У-бийц к от-ве-ту!

Но коридорные по-прежнему были глухи. Изредка они подходили к «глазкам» камер и жестом указывали заключенным на вату, заложенную в их уши... Дежурные и первые охранники вообще не появлялись в коридорах. Они удалились в канцелярию, курили и наблюдали за пыхтевшим, как заки-

¹⁶⁵ Единый народ, единая империя, единый вождь — Германия (нем.).

пающий самовар, старшим надзирателем. Этот чин был грозой и для арестантов, и для охранников. И те и другие во время его дежурства находились в напряженном состоянии. Днем он провоцировал заключенных, требуя от них беспрекословного повиновения, чинопочитания тюремной администрации и особого уважения к своей персоне, а ночью истязал «непокорных смутьянов» в своей канцелярии, зажимая пальцы их рук между створками дверей и заставляя петь национальный гимн: «Да здравствует король в мире и почете...»

Нередко от него доставалось и охранникам. За малейшую погрешность в несении службы он наказывал либо крепкой затрещиной, либо понижением в должности. Бывало, что по его представлению охранников вообще увольняли.

В этот день своего дежурства старший надзиратель сидел в канцелярии, уткнувшись в объемистую тетрадь в коленчовом переплете. Кроме него и директора тюрьмы, никто не имел права заглядывать в этот «Черный кондуит». Его мутные, выпуклые, как у жабы, зеленые глаза не отрывались от кондуита даже тогда, когда он, млея от удовольствия, щекотал концом ручки свое дряблое, как у лягавого пса, обросшее щетиной ухо.

Мокану смотрел на своего непосредственного начальника, и в нем закипала ненависть. Он завидовал старшему надзирателю — его служебному положению, позволявшему чинить расправу над правым и виноватым, получаемому им высокому окладу и особенно тому, что он имел право досмотра поступавших для заключенных посылок, лучшую часть которых безнаказанно присваивал. И то, что шеф ни с кем не делился, вызывало у Мокану озлобление. Но он был бессилен что-либо изменить и зло свое срывал опять-таки на заключенных...

Оставив, наконец, свое ухо в покое, старший надзиратель обмакнул перо в чернильницу, взболтнул ее вместе с подставкой и принялся писать, но на страницу кондуита сползла с пера крупная капля фиолетовых чернил. Тюремщик скрипнул зубами, выругался и, склонясь над кондуитом, слизнул кляксу языком.

Он долго отплевывался, потом вытер испачканный чернилами язык полкой шинели и, уловив на себе ехидные взгляды охранников, скомандовал:

— Ну-ка, хватит отсиживаться! Выводите из четвертой секции три пары на прогулку... Посмотрим, пройдет у них охота орать или нет?

Через несколько минут шесть заключенных в сопровождении пяти охранников во главе с первым охранником и коридорным Мокану молча, на положенном расстоянии друг от

друга шагали к выходу во двор. Здесь их поджидал старший надзиратель. Он заложил руки за спину, скрывая от заключенных приготовленную резиновую дубинку.

— Добрый день!

— День добрый!

— А ну-ка! Останови этих невежд! — приказал старший надзиратель первому охраннику. — Марш обратно в помещение и проводи их снова! Будут топать, пока не научатся здороваться с начальством, как положено!

Вторично проходя мимо старшего надзирателя, заключенные не обмолвились ни единым словом.

— Вот вы как, мамалыжные рожи! — заорал тюремщик. — Стоять! Стоять на месте, немые рыла, и не шевелиться!..

Выхватив из-за спины резиновую дубинку, он прошелся вдоль шеренги заключенных и остановился перед худощавым смуглолицым узником.

— Это ты в камере орал в три голоса «освободите русского», а здесь голоса лишился?! Здраваться не желаешь?!

— Я с вами здоровался.

— Мы все поздоровались, — поддержал смуглолицего пожилой заключенный. — А освободить русского и вызвать прокурора требовал я. И буду требовать.

— Ах, это ты, господин Никулеску!? — зло усмехнулся старший надзиратель, впевнив взгляд в единственный глаз заключенного. — Теперь ясно, кто будоражит у нас арестантов...

— Неправда! — в свою очередь вступился смуглолицый узник. — Здесь никто никого не будоражит. Это требование всех политических заключенных...

— Молчать, жидовская образина! Я тебе по...

— Пожалуйста, без оскорблений! — оборвал тюремщика Никулеску. — Мы будем жаловаться!..

Его поддержали другие заключенные:

— Ответите за все!

— Побои и оскорбления не пройдут вам безнаказанно!

— Рано или поздно, но вам за все воздастся...

— Угрожаете? — заметался вдоль шеренги старший надзиратель, поглядывая на своих помощников, готовых по первому сигналу наброситься на заключенных. — Видать, наши румынчики в заговоре с этим жидом?!

— Никакого заговора нет! — снова оборвал тюремщика Никулеску. — Не провоцируйте. Мы политические заключенные, а не уголовники. И, пожалуйста, без оскорблений! Мы будем жа...

Старший надзиратель не дал ему договорить. Из всей си-

лы хлестнул его по лицу дубинкой. Тотчас же все охранники, как коршуны на беззащитную добычу, набросились на узников. Одному из них удалось вырваться из кольца тюремщиков, добежать до коридора и закричать:

— Нас бьют! Нас бьют!..

...И снова на снегу изувеченные люди и пятна крови, а в здании тюрьмы звонкий топот боканок мечущихся от камеры к камере, с этажа на этаж охранников и все нарастающий гул голосов протестующих узников...

— Нас бьют!

— ... ка-ле-чат!

— ... ис-тя-за-ют!

— Тре-буем про-ку-ро-ра!

— ... рас-сле-до-ва-ни-я!..

Директор тюрьмы и его сподвижники делали все возможное для того, чтобы информация о чинимой ими расправе над политическими заключенными не проникала за тюремные стены, но узники-коммунисты давно уже, и не без успеха, влияли на отдельных охранников, проясняли их сознание, побуждали к проявлению хотя бы тайной солидарности с теми, кто не щадя себя боролся за лучшую жизнь для миллионов обездоленных людей. И с помощью одного из них им удалось известить находящихся на воле товарищей обо всем, что произошло в последние дни в тюрьме.

Уже на следующее утро потянулись люди к высоким каменным стенам с массивными железными воротами, над которыми траурной лентой повисла черная вывеска с желтовато-грязным королевским гербом между словами «Пентичиарул» и «Вэкэрешть». Было зябко, сыро и скользко. Над столицей королевской Румынии витала легкая туманная дымка. День был праздничный. Шестое января. Крещение. И отнюдь не как в храм на богослужение, а словно на поминки густым потоком шли понурые и озабоченные, сосредоточенные и полные решимости люди. Одни из них несли в корзинках, узелках или свертках продукты для передачи заключенным родственникам, другие — их было гораздо больше — лишь выдавали себя за родных или близких узников. В течение не более чем десяти минут узкая улица Вэкэрешть оказалась запруженной народом. Здесь были рабочие железнодорожных мастерских «Гривица» и трамвайного общества «СТБ», работницы табачной фабрики «КАМ» и паровозо-строительного завода «Малакса». Толпа гудела, на все голоса требуя свидания с заключенными, а из тюрьмы глухо доносились голоса скандирующих арестантов:

— ... про-ку-ро-ра!

— Па-ла-чи!

— ... рас-сле-до-ва-ни-я!

О происходящем у тюрьмы Вэкэрешть вскоре стало известно Генеральной дирекции тюрем королевства. Срочно были вызваны отдыхавшие по случаю праздника сыщики и комиссары, инспекторы и подкомиссары полиции и сигуранцы. Со стороны набережной Россети один за другим подъезжали полуоткрытые, похожие на клетки для диких зверей, автофургоны с жандармами... Они прибывали сюда по приказу самого префекта полиции Бухареста жандармского генерала Габриэля Маринеску.

Высокий и плотный, с пушистыми иссиня-черными усами, выпуклым лбом и изогнутым, как коромысло, носом, генерал Габриэль Маринеску, выслушав по телефону доклад шефа жандармерии столицы, сказал тоном, не терпящим возражений:

— С каких это пор жандармерия не в состоянии окропить смутьянов священной водицей? Или у вас нет пожарных машин? Вы забыли, что сегодня праздник Крещения, и ждете, чтобы его величество вас самих окунул кое-куда?!

Спустя не более часа после того, как были отданы распоряжения шефу гарнизона и начальнику Генеральной дирекции сигуранцы Бухареста о немедленной ликвидации беспорядков в районе тюрьмы Вэкэрешть, генерал Маринеску, погружая чуть не по щиколотку в глубокий ворс огромного китайского ковра свои лакированные сапоги с белым рантом, расхаживал из угла в угол по роскошной гостиной королевского дворца. Генерал был озадачен. Его величество приказал ему тотчас же явиться, но почему-то медлил с приемом.

«Повелитель всех румын, — как было записано в монаршей конституции, — назначенный таковым милостью Божьей и провидением национальным» в крещенский праздник не удостоил своим высочайшим присутствием патриарший собор и его знатных прихожан. Все еще лежа в постели, несмотря на почти полуденное время, его августейшество неторопливо просматривал свежие газеты и журналы, но время от времени отвлекался от этого, в общем-то, полезного занятия, вперя липкий нагловатый взгляд в отложенный в сторону журнал «Реалитатя иллустратэ», обложку которого украшала фотография красавицы жены Макса Аршнита — некоронованного короля сталелитейных заводов. Обнаженная до талии и обрамленная темным соболиным палантином спина, обвитая двухрядным ожерельем из бледно-розового жем-

чуга лебединая шея, грациозная фигура, тонкие черты лица и крупные миндалины лучезарных глаз — все в этой на редкость красивой женщине приковывало взор монарха, и жирные губы его вожделенно шептали:

— Богиня! Но... стерва.

Безудержное влечение к прекрасному полу и репутация безнравственного человека, которая укрепилась за всемогущим королем в народе, не были секретом для его ближайших верноподданных, как и для супругов Аршнит. Однако недавний его внезапный приезд на виллу миллиардера был по заслугам квалифицирован бароном и баронессой Аршнит как акт беспрецедентной наглости.

Коронованный ловелас придал своему визиту характер безобидного экспромта, порожденного внезапно возникшим горячим желанием пригласить супругов Аршнит в свою загородную резиденцию. В действительности же «экспромт» был тщательно подготовлен при участии префекта полиции Бухареста генерала Маринеску, установившего время отъезда Макса Аршнита за границу и известившего венценосца об уединении баронессы Аршнит на вилле.

Между тем, баронесса не менее искусно сыграла свою роль. Она ничем не выдала крайнего удивления по поводу столь неуместного визита его величества, вела себя так, словно ее супруг не в отъезде и с минуты на минуту может появиться на вилле. Выразив глубокую благодарность за оказанную ей и мужу высокую честь, госпожа Аршнит ограничилась обещанием передать приглашение его августейшества своему супругу и вместе с ним прибыть в загородную резиденцию в любой день и час, какие монарху будет угодно сообщить дополнительно.

Кавалерийский наскок сверх меры самоуверенного соблазнителя женских сердец не увенчался успехом, однако надежда достигнуть цели еще теплилась. Не на одни же сутки выехал за рубеж миллиардер! Что еще придумает лукавая красавица, чтобы уклониться от посещения загородной резиденции, если повторить приглашение через несколько дней?..

Король Кароль второй покинул виллу в дурном настроении.

Оповещенный супругой о «шалостях» властелина страны, Макс Аршнит срочно и весьма конспиративно вернулся в Бухарест. Спустя сутки его величество был приятно удивлен, получив приглашение от госпожи Аршнит посетить «скромный вечер», который она устраивает по случаю рождества.

Он не сомневался, что баронесса одумалась и теперь, приглашая на «скромный вечер», дает понять, что готова пойти на встречу его не высказанному, но очевидному желанию. Однако на виллу он поехал только после того, как всеведущий префект полиции Габриэль Маринеску подтвердил, что гости в сборе, а Макс Аршнит по-прежнему в отъезде.

Во всем блеске парадной формы король Кароль второй прибыл на виллу супругов Аршнит, когда было уже за полночь и пресытившиеся обильными и изысканными угощениями гости начали тяжелеть, а кое-кто стал даже помышлять об отъезде. Обворожительная хозяйка встретила монарха с нескрываемой радостью и усадила рядом с собой. Несколько рассеянно поддерживая беседу, которой баронесса с самого начала придавала непринужденный характер, своенравный властелин страны мельком обозревал присутствующих. Равнодушно он скользнул глазами по лицам дам, уже познавших его мужские достоинства и томно взиравших на него. Но все это было пройденным этапом, постоянством его августейство не отличался...

Не без удивления обнаружил он среди гостей еврея Аршнита и его прекрасной супруги откровенных румынских фашистов и приезжих нацистов — представителя немецкой фирмы «Дойче Штальверке» и герра Клодиуса, по поручению правительства Германии осуществлявшего жесткий контроль за поставками румынской нефти в рейх. Этот толстый немец с жидкой прядью седых волос на лоснящемся голене чрепе не раз досаждал властителю Румынии своими претензиями по самому ничтожному поводу. Кароль второй не сомневался, что герр Клодиус и здесь не оставит его в покое. Тем скорее он постарался придать обычной светской беседе с баронессой фривольный характер, чтобы в подходящий момент пригласить ее совершить прогулку по ночному Бухаресту, а быть может, и несколько удалиться от него... Он был уже близок к тому, чтобы сделать такое приглашение, и не сомневался, что оно будет принято, но... Баронесса была начеку!

Доведя беседу с монархом до черты, за которой легкомысленный флирт уступает место малопрстойному сговору, баронесса встала, объявила о начале бала и, пригласив гостей пройти в зал, первой вышла из-за стола...

В центре огромного роскошного зала с зеркальным потолком возвышалась пушистая, сверкавшая разноцветными огнями елка. По мере того, как гости приближались к ней и приглядывались к ее украшениям, лица их вытягивались от удивления, а глаза выражали изумление. С недоумением они смотрели друг на друга, шепотом переговариваясь и пытаясь

найти сколько-нибудь разумное объяснение столь экстравагантному убранству елки. Наряду с большими разноцветными шарами и бумажными хлопушками, с веток свисали драгоценные меха — серебристо-черные лисицы, голубые песцы и не менее драгоценные колые и ожерелья, браслеты и портсигары, медальоны и брошки...

Госпожа Аршнит не торопилась удовлетворить нарастающее любопытство гостей по поводу столь необычного украшения рождественской елки. Легким взмахом руки она подала знак расположившемуся в стороне струнному оркестру, и зал наполнили звуки вальса. Его августейшее король пригласил баронессу, закружилась первая пара, за нею последовали остальные.

Теперь уже никто не помышлял покинуть вечер до того, как выяснится смысл, казалось бы, столь неуместной и безвкусной демонстрации богатства владельцев виллы. Впрочем, «скромный вечер» давала только баронесса... А в том, что это не просто очередная причуда пресыщенной супруги миллиардера, никто не сомневался.

Вальсируя с баронессой, король попытался возобновить фривольный разговор, но баронесса уклонялась, и снова ему не удалось осуществить свой замысел. В самый разгар танца звуки вальса вдруг разом оборвались, и через мгновение оркестр дружно грянул «многие лета»...

В ту же секунду распахнулись высокие двери, и взору застывших в недоумении пар предстала анфилада комнат и степенно идущий к залу по яркой ковровой дорожке невысокий плотный мужчина в строгом черном костюме с высокоторчащим из нагрудного кармашка белым платочком. Это был барон Макс Аршнит...

Проглотив очередную горькую пилюлю, властелин страны вяло захлопал в ладоши, машинально включаясь в бурную встречу миллиардера гостями. Вслед за хозяином виллы, обменивавшимся рукопожатиями и комплиментами с гостями, появились лакеи в ливреях с подносами, уставленными хрустальными бокалами, серебряными бочонками со льдом и бутылками французского шампанского «Мотт», добротного «Бордо» и «Поммери э Гренно». Известный скрипач из оркестра фешенебельного ресторана «Корсо», под аккомпанемент прославленного виртуоза — мастера игры на «нае»¹⁶⁶, заиграл темпераментную национальную песню «Хора унирий»¹⁶⁷. Увлекаемые баронессой, гости взялись за руки и, кружась вок-

¹⁶⁶ Вид свирели, национальный музыкальный инструмент (рум.).

¹⁶⁷ «Хора объединения» (рум.).

руг елки, запели «Хай сэ дэм мынэ ку мынэ, чей ку инима ромынэ»¹⁶⁸.

Было шумно, то и дело раздавался смех, лакеи снова и снова появлялись с подносами, уставленными бокалами и бутылками. В дальнем углу Макс Аршнит уединился с королем, но к ним тотчас же присоединились генеральный директор «Банка националэ», еще несколько финансовых воротил и герр Клодиус. Поводом для присылки в Румынию этого нациста в качестве уполномоченного по наблюдению за поставками нефти было сокращение их в ноябре до шестидесяти тысяч тонн, вместо ежемесячных семидесяти тысяч. И хотя в декабре ноябрьская недостача была восстановлена, Берлин был недоволен, и это сразу ощутили на себе правители Румынии...

Подлинная же причина недовольства заключалась в том, что нефтяная промышленность страны находилась в основном в руках англо-франко-голландских трестов. К тому же проникновение английского и французского капитала в различные отрасли промышленности страны продолжалось при благосклонном содействии самого Кароля второго. С его доброго согласия, правда получив при этом солидный единовременный куш и пожизненно некий процент от оборота, французские фирмы еще недавно выторговали себе право проложить нефтепровод от Плоешти до черноморского порта Констанца. Берлин приложил максимум усилий, чтобы помешать этому. Нефть была нужна и рейху... Поэтому, когда его величество задумал выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Англией и Францией с одной стороны, и Германией — с другой, Гитлер поблагодарил его, однако своему послу в Бухаресте — господину Фабрициусу — строжайше наказал дать понять королю, что Германия не нуждается в умиротворительных переговорах и что лучше бы он свое усердие направил на более насущное удовлетворение острых нужд, испытываемых немецкой нацией.

— Англичане закупили в Румынии сто пятьдесят тысяч тонн зерна! — кричал Гитлер. — Они вывозят по баснословно низким ценам лесоматериалы, скот и все, что им вздумается! Да и не только англичане, а все, кому не лень... Например, римская фирма «Федерационне италяне де консорци аграри» заключила с румынами сделку на поставку ста тысяч тонн зерна... А мы? Мы дремлем! — сверлил Гитлер посланническим пронизывающим взглядом. — Или румынский король полагает, что ему удастся, как шансонетке, обниматься с англи-

¹⁶⁸ Подадим друг другу руки все, у кого сердце румынское (рум.).

чанами, а отвернувшись от них на секунду, посылать нам воздушные поцелуи?! Я этого фарса не потерплю!

Не без основания эти слова Фабрициус воспринял как упрек в свой адрес и потому счел нужным доложить фюреру конкретные факты и цифры, свидетельствующие о значительном усилении позиций немецкого капитала в Румынии, о резко возрастающем импорте берлинской фирмы «Тиерштелле» зерна, мяса, птицы, яиц, вина и прочих продуктов. Когда же посол сообщил, что им уже достигнуто соглашение об увеличении с января нового года экспорта нефти с семидесяти до ста тысяч тонн в месяц, Гитлер прервал его:

— Передайте королю, что сейчас речь может идти только о миллионе тонн нефти ежемесячно! Или я решу эту проблему иным путем... Мы располагаем для этого достаточными возможностями!

По возвращении в Бухарест Фабрициус тотчас же довел эти директивы до сведения герра Клодиуса, который не пренебрег возможностью на рождественском вечере у баронессы Аршнит оказать соответствующее давление на монарха. Когда Кароль второй завел разговор о трудностях с экспортом нефти, Клодиус как бы между прочим заметил, что при ближайшем рассмотрении причины возникающих затруднений с экспортом нефти в Германию всегда коренятся в саботаже.

— Насколько мне известно, действующие в нашей стране иностранные компании в конечном итоге до сих пор добросовестно выполняли свои обязательства, — парировал король, желая подчеркнуть, что имевшие место акты диверсий и саботажа не повлияли на объем поставок в Германию. — Включая и английские, и французские, и американские!

— Вы правы, ваше величество! Именно «в конечном итоге» и «до сих пор»... — подчеркнул немец. — Но потребность рейха в нефтепродуктах уже сейчас едва ли не в десять раз превышает объем поставок!.. В связи с этим фюрер крайне обеспокоен фактом имевших место диверсий и главным образом тем, что полностью сохраняются условия, при которых, вопреки воле вашего величества, все усилия, направленные на увеличение поставок, могут быть сведены на нет... Я имею в виду то обстоятельство, что на нефтепромыслах и в нефтеперерабатывающей промышленности главенствующая роль принадлежит открытым и потенциальным врагам рейха...

— Саботаж исключен! — поспешил ответить король и, обходя молчанием вопрос об увеличении поставок, продолжил: — С этим мы покончили и, надеюсь, надолго. Главная трудность сейчас состоит в недостатке транспортных средств — четырехосных вагонов-цистерн и речных танкеров. Я полагаю,

что стороны, заинтересованные в поставках нефти, учтут это обстоятельство и инвестируют необходимые суммы для расширения строительства цистерн и танкеров...

Это был хитрый ход румынского монарха. Он прекрасно понимал, что такое решение вопроса не устраивает немцев хотя бы потому, что фактическое увеличение поставок нефти отодвигается на длительный срок. Их цель состояла в том, чтобы резко сократить экспорт румынской нефти в другие страны, особенно в Англию и Францию, и за этот счет столь же резко увеличить поставки в рейх.

Обострение отношений с Лондоном и Парижем, однако, не входило в планы властителя страны. Что же касается так называемого саботажа, то Кароль второй не лукавил, когда утверждал, что с ним надолго покончено, хотя умалчал о том, что действенные меры в этом направлении были осуществлены в результате неожиданного визита в Румынию начальника Управления разведки и контрразведки Германии адмирала Канариса. Сопровождавший его в поездке по стране начальник секретной службы военного министерства Румынии генерал Морозов пытался односторонне информировать монарха о цели, преследуемой Канарисом, утверждая, что она состоит только в стремлении положить конец участвовавшим актам саботажа и диверсий, особенно в районе Порциле де Фер¹⁶⁹, где недавно произошла крупная диверсия. Генерал Морозов не хотел сообщить королю, что глава абвера в районе Оршавы имел конфиденциальную встречу с господином Аршнитом, но, учуяв, что властелин в какой-то мере уже осведомлен, быстро перестроился и как бы мимоходом упомянул об этом.

— Речь шла исключительно о возможности покинуть пределы нашей страны лицам еврейского происхождения, которые бежали из Польши во время вторжения в нее вермахта, — доложил генерал, — а также о готовности ряда сионистских организаций помочь этим людям транспортом...

Попутно генерал сообщил тогда его величеству, что, по его сведениям, Макс Аршнит является доверенным лицом «Всемирного сионистского Центра» и содействует молодым соплеменникам выехать через Констанцу в Палестину.

Король с доверием отнесся к этому сообщению начальника секретной службы, так как несколько раньше он получил от префекта полиции Бухареста генерала Маринеску аналогичные сведения о связях Макса Аршнита и владельца мануфактурной фабрики некоего Генриха Соломсена с различными

¹⁶⁹ Железные Ворота — узкий участок русла Дуная (нем.).

ми организациями сионистского толка, действующими не только в стране, но и за ее пределами.

Однако генерал Морозов утаил от монарха то, что представлялось ему главной целью, которую преследовал адмирал Канарис, касаясь эмиграции в Палестину евреев из Польши, оказавшихся на территории Румынии. Начальник секретной службы румынского военного министерства верой и правдой служил главе абвера, которого почитал как убежденного и беспредельно преданного фюреру национал-социалиста. И он не сомневался в том, что весь смысл его переговоров с Аршнитом состоял в намерении вместе с эмигрантами заслать своих людей в находящуюся под мандатом Великобритании Палестину. Не сомневался он и в том, что король Кароль второй не просто симпатизирует англичанам, но является законченным англофилом, хотя и скрывает это. Морозов располагал достаточными основаниями для такого заключения. Он знал не только о родственных связях своего монарха с правящими кругами Англии, но и о заключенных им сделках с английскими фирмами, о его махинациях с английскими банкирами. Наконец, ему было известно, что до приезда в Румынию начальника германского абвера, по настоянию короля Кароля, государственные деятели страны специально ездили в Лондон и вели тайные переговоры о вступлении в Румынию англо-французских войск. Незадолго до этого Соединенное Королевство дало Румынии гарантии, аналогичные данным Польше.

Слуга двух господ, начальник румынской секретной службы понимал прекрасно, что малейший намек на то, что адмирал Вильгельм Канарис идет навстречу сионистам ради того, чтобы напасть на англичан, подорвать их позиции в Палестине, будет с раздражением воспринят королем и толкнет его к ответным действиям, могущим свести на нет замыслы почитаемого генералом Морозовым главы германского абвера. Морозов видел всю беспомощность англичан и французов, их нерешительность в войне с Германией, голословность в гарантиях, данных как Польше, так и Румынии, а также явную готовность их пойти на сделку с Гитлером. Михаил Морозов предвидел будущее третьего рейха. И делал на него ставку...

Однако ни генерал Морозов, ни тем более король Кароль не догадывались о главной цели, которую преследовал начальник германского абвера, ограничиваясь туманным обещанием оказать содействие эмиграции в Палестину лицам еврейского происхождения. Адмирал действительно хотел использовать эту возможность для засылки в район Ближнего

Востока своих агентов. Этим вопросом абвер уже занимался. Но у Вильгельма Канариса была и другая цель, отнюдь не свидетельствующая о его преданности фюреру и германскому рейху... Оставшись с глазу на глаз с Аршнитом, адмирал намекнул, что сама идея эмиграции, и тем более ее осуществление, могут натолкнуться на очень серьезное противодействие со стороны некоторых лиц, стоящих во главе службы безопасности германской империи.

— Гейдриха? — тут же спросил Макс Аршнит. — Он возглавляет тайную полицию?

В ответ немец только слегка кивнул головой. До возвращения на минутку отлучившегося румынского генерала Морозофа, устроившего ему эту встречу с миллиардером, начальник абвера успел сказать Аршниту:

— Ваши друзья должны понять, что на серьезную поддержку абвера в этом деле, как, впрочем, и на продолжение уже налаженной переброски оружия через тель-авивское Экспортно-импортное бюро, в дальнейшем можно рассчитывать, только устранив упомянутое препятствие... Пути и возможности у ваших друзей превеликие! Я знаю их не первый год... Каштаны из огня им не придется самим таскать. Пусть хорошенько подумают и, не сомневаюсь, они сумеют найти средства для устранения этой преграды...

Миллиардер понимающе улыбнулся. Ему льстила столь высокая оценка начальником германского абвера возможностей его друзей из «Всемирного сионистского Центра»...

Рассеянно взирая на кружащихся вокруг елки гостей, Макс Аршнит с лукавой улыбкой чутко прислушивался к диалогу между Каролом вторым и герром Клодиусом. Его поражала недалёковидность монарха. Вместо того, чтобы искать пути сближения с немцами, имея при этом в виду не столь уж отдаленную перспективу их абсолютного политического, военного и экономического приоритета среди европейских стран, король лавирует, извивается, как уж, ограждая позиции англо-французского капитала. Аршнит и прежде не раз убеждался в том, что Кароль второй неохотно идет на встречу желаниям и требованиям Берлина и всячески маскирует при этом свою ориентацию на Лондон и Париж. Однако ему не удавалось ввести в заблуждение немцев. Они явно были недовольны им, и потому Аршнит рассчитывал, что немцы должным образом оценят подслащенную пилюлю, которую барон и баронесса намерены были поднести его величест-

ву в качестве заключительного аккорда этого «скромного вечера».

Оглядев зал, Аршнит понял, что ему следует уделить внимание и другим гостям. Он извинился и направился к кружку людей, стоявших в стороне с бокалами в руках. Это были вожаки распущенных королем некоторое время тому назад партий — национал-царанистской и заключившей с ней тайный союз «Железной гвардии». Этих господ миллиардер знал хорошо, знал, у кого из них какой пакет акций и насколько обширны их поместья, какие посты занимают они в единственно легальной в стране партии «Фронт национального возрождения», созданной по указанию его величества и во всем копировавшей национал-социалистскую, вплоть до формы одежды! А уж о форме Кароль Второй заботился с завидным постоянством... Не проходило сезона, чтобы в стране не была введена новая форма для офицерства или для чиновников!

Аршнит не успел сделать и нескольких шагов, как его окружили пожелавшие выпить с хозяином виллы бокал вина гости в лампасах, с золочеными поясами и эполетами, зелеными нарукавными лентами с белым, как у нацистов, кругом, в котором вместо свастики чернели три буквы «F.R.N.»¹⁷⁰. Макс Аршнит не успел дотпить поднесенный ему бокал, как в зал вошел великан-дворецкий в кремовом смокинге и объявил о начале лотереи — «Томбола».

— Беспроигрышная и бесплатная! — пояснил он, обходя гостей и вручая им занумерованные жетоны, извлекаемые из серебряного ведерка.

По залу прокатилась волна восторженного шепота. Гости стали догадываться о назначении драгоценных предметов, украшавших елку, и, опережая события, вкось и вкривь истолковывать цель этой ошеломляюще дорогой затеи.

От дворецкого не требовалось особой ловкости, чтобы вынуть из ведерка заранее отложенный номерок, когда, обходя гостей, он дошел до Его Величества. Принимая жетон, монарх обернулся к Аршниту, оказавшемуся снова рядом, и шутливо сказал:

— Какая досада! Чертова дюжина... Это явно несчастливое число одарит меня, вероятно, хлопущкой... А я рассчитывал по меньшей мере на портсигар!

— Хлопушки, ваше величество, только впридачу к выигрышам, — в тон королю ответил Аршнит. — Ну, а за порт-

¹⁷⁰ «Frontul Renașterei Naționale» — «Фронт национального возрождения» (рум.).

сигар не ручаюсь... Слепой жребий может одарить им и некурящую даму, а вам преподнести женское украшение... Но я думаю, что в обоих случаях выигрыши найдут себе должное применение.

Оделив всех приглашенных жетонами, дворецкий приступил к розыгрышу. Называя очередной номер и выпавший на него драгоценный предмет, он тут же снимал его с елки бамбуковым шестом и опускал на роскошный поднос, который держал негритенок. Одетый в ярко-красный костюм с двумя рядами густо расположенных перламутровых пуговиц на пиджаке, в золотистой шапочке, увенчанной пушистым венком из разноцветных перышек, мальчуган походил на ассистента циркового мага.

Сопровождаемые шустрым негритенком и бурными аплодисментами присутствующих, барон и баронесса торжественно вручали ошастливленному гостю щедрый подарок вместе с начиненной грощовым сувениром хлопущкой. Оркестр тотчас же исполнял «туш», все стихали в трепетном ожидании очередной манны небесной, и далеко не каждому удавалось напустить на себя вид бесстрастного наблюдателя этой вызывающе расточительной и вместе с тем волнующе соблазнительной лотереи.

Благосклонно созерцая происходящее, гордый монарх всячески старался при этом скрыть свое раздражение. Уверенный в том, что неожиданное появление на вечере Макса Аршнита нарочито подстроено, он был склонен теперь рассматривать сумасбродное одаривание гостей, как наглый намек на безграничные возможности миллиардера, не идущие ни в какое сравнение с возможностями самого короля. Придя к такому заключению, он решил всем своим поведением подчеркнуть полное равнодушие к происходящему, демонстративно показать, что оно его нисколько не волнует и не удивляет. Встав спиной к елке, Кароль второй возобновил деловую беседу с Клодиусом.

Между тем лотерейный розыгрыш приблизился к «несчастливой» цифре 13... Будто не замечая этого, король продолжал беседу, внутренне настраиваясь принять выпавший ему дар с вежливо безразличным видом.

— Номер тринадцать! — громко объявил дворецкий, но никто не откликнулся. Выждав несколько секунд и притворяясь, будто он не знает, кто из гостей обладатель жетона с этим номером, дворецкий объявил еще громче: — Повторяю. Номер тринадцать! Кто обладатель этого, вопреки поверию, на редкость счастливого номера?

И снова никто из гостей не откликнулся. Король продол-

жал разговаривать с немцем, по-прежнему стоя спиной к елке. Кто-то из присутствующих бросил в шутку, что такого номера ни у кого нет. Последовал смех.

Макс Аршнит понимающе улыбнулся, подошел к королю.

— Ваше величество! Извините, что прерываю беседу, по видимому очень увлекательную... Если не ошибаюсь, объявлен ваш номер?! Чертова дюжина, как вы изволили сказать...

— Разве? Я действительно увлекся разговором и забыл об этом забавном развлечении, — с оттенком пренебрежения ответил король. — Так что там выпало на мою долю — портсигар или лисья горжетка?!

— Сейчас узнаем! — сказал Аршнит и подал знак дворецкому.

— Номер тринадцать! Ларец из литого золота, окантованный по краям горошинами александрита, изумруда и сапфира, с выгравированной надписью на крышке «*Sic transit gloria mundi...*»¹⁷¹ — бесстрастно оповестил дворецкий и тотчас же извлек замаскированный в глубине елки сверкающий ларец.

На этот раз госпожа Аршнит сама взяла поднос с установленным на нем ларцем. Обойдя по кругу всех гостей, сопровождаемая восторженными возгласами и аплодисментами, она подошла к монарху и, лукаво улыбаясь, сказала:

— Примите, государь, эту маленькую вещицу на память о скромном вечере, посетить который вы благосклонно согласились.

Короля поразили вид усыпанного драгоценными камнями блестящего ларца размером с настольную коробку для папирос.

— Это же целое состояние! — воскликнул он, поглощенный меркантильными мыслями. — В самом деле, господа!

Кароль второй потерял способность до конца выполнить свое намерение дать понять чете Аршнит, что его несколько не волнуют и не удивляют эти расточительные дары. На крышке ларца сверкал множеством разноцветных оттенков огромный бриллиант... Смущенно улыбаясь, властелин страны принял от баронессы ларец и, низко склонившись, поцеловал ее руку.

В это именно мгновение он поборол минутное замешательство, но поздно: оркестр заиграл «туш», супруги Аршнит сдержанно поклонились и вернулись к елке для продолжения процедуры дароподношения. Королю ничего не оставалось, как продемонстрировать свое мнимое равнодушие лишь близ-

¹⁷¹ Так проходит земная слава... (лат.).

ко стоявшим вокруг него людям, с жадным любопытством поглядывавшим на ларец.

— Поистине кесарево кесарю! Удивительно разумно распорядился господин слепой жребий, — заметил немец Клодиус, намекая на неслучайность «выигрыша». — Провидение!?

— Не иначе! — подхватил представитель немецкой фирмы «Штальверке». — Однако я что-то не улавливаю связи, ваше величество, между смыслом выгравированного на ларце глубокомысленного изречения и назначением этой, надо полагать, дорогостоящей вещицы...

— Весьма загадочно, — согласился монарх, подумав, что скорее всего надгробная плита — единственно подходящее место для столь пессимистического изречения. Но спохватился и тут же шутливо добавил: — Собственно, очевидно... слава проходит, а золото остается!?

Кароль второй так сказал, но подумал иначе. «Почему Аршнит счел уместным одарить кого-то из гостей баснословно дорогой вещью со столь мрачным изречением? Такой подарок естественнее было бы адресовать определенному лицу, а не кому попало...»

Смутная догадка закралась в голову его величества. Случайно ларец достался ему или подsunут преднамеренно? Этот хитрый еврей мог подстроить и такое...

Интерес к выигрышу его величества охватил гостей. Однако монарх сам пребывал в поисках ответа на вопрос, точивший его. И, уже не противясь давно возникшему желанию заглянуть внутрь ларца в надежде обнаружить там достойный ответ на загадочную надпись на крышке или же какое-нибудь уникальное содержание, Кароль второй не спеша, с небрежным видом откинул крышку... На мгновение он замер от удивления. Напряженно сдвинув брови, его августейшее лицо впился глазами в желто-коричневую кучку, в первый момент показавшуюся ему какой-то бесформенной, беспредметной... Ему даже почудилось, будто от нее исходит отвратительный запах, хотя это был всего-навсего искусно выполненный из папье-маше и пропитанный отличными духами муляж...

Брезгливо сморщив лицо, отчего дрогнул пучок рыжеватых усов над губою, его величество тут же захлопнул крышку ларца и неестественно рассмеялся. Желая убедиться, что никто не успел рассмотреть содержимое ларца, он покоился на стоявших рядом людях. Их лица ничего не выражали, и Кароль второй несколько успокоился. Но он ошибся. И герр Клодиус, и другие его собеседники не упустили возможности заглянуть в ларец. Скорее инстинктивно, чем осоз-

нанно, они скрыли от монарха ошеломляющее впечатление от увиденного. И не прошло пяти минут, как «тайна» стала достоянием всех гостей. То и дело со всех сторон следовали вопросы:

— Что там?

— В ларце?..

— Почему его величество так странно рассмеялся и сразу закрил крышку?

— Бриллианты, наверное?

Вопросы передавались из уст в уста, пока не достигли одного из узревших содержимое ларца, и тогда в обратном направлении из уст в уста стал передаваться лаконичный ответ:

— Рахат!¹⁷² С холодной водой...

— Что-что?

— То самое...

— Быть этого не может!

— Может. Натуральная кучка...

Его величество Кароль второй Гогенцолерн не принял, однако, на свой счет сдержанного хихиканья, волной прокатившегося по всему кругу гостей. Не замечал он и вскользь бросаемых на него насмешливо-любопытствующих взглядов... Уйдя в себя, монарх сосредоточенно обдумывал, как отомстить миллиардеру: немедленно вернуть ларец и при этом публично оскорбить и унижить обнаглевшего богача или... или оставить ларец при себе и отложить ответный удар, тщательно подготовив его?.. Наконец он пришел к заключению, что рациональнее последний вариант, ибо он сохраняет за ним огромное богатство и не лишает возможности воздать должное господину Аршниту и его супруге...

Тем временем лотерея закончилась, и размышления короля были прерваны торжественно зазвучавшим в его честь и в знак окончания бала гимном «Да здравствует король в мире и почете!»

— В мире и... помете, — уточнил один из гостей, и снова шушуканье и сдержанное хихиканье волной прокатилось по залу. Сильные мира сего могли позволить себе ради забавы и такую вольность...

Виновником неприятностей, испытанных на рождественском вечере на вилле Аршнита, его величество Кароль второй

¹⁷² Рахат-лукум — восточное лакомство, распространенное в Румынии. Слово «рахат» употребляется также в значении «пустяк, дрянь, дерьмо»; в последнем случае добавляют: «с холодной водой».

считал генерала Маринеску. Это он, «всеведущий» префект полиции, прозевал возвращение миллиардера в Бухарест из поездки за границу. А теперь новый конфуз: баронесса во всем своем величии красуется на обложке самого популярного в стране иллюстрированного журнала «Реалитета илюстратэ». Король не сомневался в том, что эта очередная пилюля преподнесена по инициативе господина Аршнита, однако признаться в этом даже префекту, с которым сложились весьма доверительные отношения, Кароль второй не хотел. Надо было что-то придумать, чтобы одернуть миллиардера, отомстить ему. И наилучшим образом эту задачу, как полагал король, может решить Габриэль Маринеску. Нужно только натравить его хорошенько. Именно поэтому монарх заставил префекта томительно долго ожидать приема и волноваться.

Когда же наконец его августейшество принял блюстителя порядка, то, не удостоив ответа на обычное приветствие, огорошил совершенно неожиданным вопросом, к тому же произнесенным крайне раздраженным тоном:

— Вы, по-видимому, намерены поссорить меня с Берлином?!

Генерал выпучил глаза, вытянулся в струнку и молчал, тщетно пытаясь догадаться, что имеет в виду повелитель страны.

— Полюбуйтесь! — сердито буркнул Кароль, швырнув генералу журнал. — Черт знает что!

Префект Маринеску принялся торопливо листать журнал, вглядываться в иллюстрации, вчитываться в подписи под иллюстрациями и в заголовки статей, однако никак не мог обнаружить чего-либо, не угодного Берлину. Цензура еще никогда не подводила! И не раз именно за это король благодарил его. Что же стряслось?

Монарх заметил, что префект долго ворошит листы, ищет не там, где следует, и раздраженно крикнул:

— Обложку! Обложку смотрите...

Зашуршала бумага. «Опять баронесса! Его величество по понятным причинам сердит на нее... Но причем тут Берлин!?» — недоумевал генерал и на всякий случай сокрушенно помотал головой.

— Виноват, сир! — отчеканил Маринеску. — Но сейчас половина второго... Изъять журнал уже невозможно... Тираж распродан... Сегодня крещение! Он не залежится в киосках...

— В этом я не сомневаюсь, — подымаясь с постели, недружелюбно ответил король. — Но префект полиции столицы, как я полагаю, обязан предупреждать подобные демонст-

рации и во всяком случае принимать действенные контрмеры...

— Виноват, сир... Виноват! Позвольте доложить... Этот материал прошел в номер журнала, когда Ваше величество уделяли баронессе...

— Вы ни черта не поняли! — резко прервал префекта король. — Как, по-вашему, воспримут в Берлине это демонстративное афиширование и прославление жены еврея Аршнита?! Вы должны знать, какое там придают значение этому фактору. Мы обязаны с ними считаться... Наконец, если эти сообщения оказались вам недоступны, то вы не вправе были забывать, что подобная публикация на руку legionерам, которые и без того вопят: «король — жидовский ставленник»!

Генерал Маринеску окончательно пришел в себя. Обвинение, брошенное в его адрес в начале аудиенции, вызвало такой испуг, какого он давно не испытывал. Основания для этого были. Уже много лет генерал являлся доверенным лицом представителя английского посольства в Бухаресте и достаточно осторожно выполнял возложенные на него функции, обнаруживая при этом много общего со своим властелином.. Кароль второй, немец по происхождению, больше тяготел к англосаксам, но тщательно скрывал это, опасаясь вызвать недовольство правителей третьего рейха, пыл которых и без того трудно было сдерживать. Однако генерал не разделял опасения короля, полагавшего, что появление портрета жены Аршнита на обложке журнала «Реалитатя илюстратэ» может вызвать осложнения во взаимоотношениях с Берлином.. Он сообщил монарху, что и сам Аршнит связан с немцами и не без успеха ведет с ними дела.

— С какими немцами? Клодиусом и представителем «Штальверке»? — раздраженно спросил король. — Или немцами, проживающими у меня в стране?!

— Виноват, сир... Непосредственно с немцами из Германии! Есть сведения, что барон успешно посредничает между «Всемирной сионистской организацией» и национал-социалистами... В этих делах принимают участие люди абвера и даже сам адмирал Канарис. Это абсолютно достоверно, ваше величество!

О бурной деятельности, которую в последнее время Макс Аршнит развил среди сионистских организаций в стране, монарха еще раньше информировал начальник секретной службы военного министерства генерал Морозоф, но тогда он не придал этому должного значения. Речь шла только об эмиграции в Палестину евреев, оказавшихся в стране в результате вторжения немцев в Польшу. Теперь же, сопоставляя ин-

формацию начальника секретной службы военного министерства с сообщением префекта, король Кароль второй заподозрил, что присутствие на рождественском балу у Аршнитта герра Клодиуса и представителя «Дойче Штальверке» было не случайным. Оно свидетельствовало о том, что контакты миллиардера-еврея с нацистами вышли за рамки коммерческих и эмиграционных дел. Это серьезно озадачило властелина Румынии.

Ничего не ответив префекту, Кароль подошел к большому овальному зеркалу, долго молча разглядывал себя, разглаживая густой пучок рыжеватых усов. Наконец он повернулся лицом к генералу и уже более мягким тоном сказал:

— Эти обстоятельства, генерал, не меняют мою точку зрения. Как бы там ни было, — продолжал он вновь решительным тоном, — Аршнит зарвался... И надо его поставить на место! Или вы полагаете, что мне не следует и далее держать страну в повиновении и спокойствии?! Кстати, почему утром вы были у себя в кабинете, а не в патриаршем соборе на литургии? Сегодня крещение!

— Надо было принять срочные меры по усмирению черни, ваше величество!

— Опять легионеры?

— Никак нет, сир... Коммунисты. Незначительное столкновение заключенных с администрацией Вэкэрешть...

Король поморщился, ничего не ответил и направился к большому окну. Долго стоял он спиной к генералу, взирая на лениво витавшие пушистые снежинки. Неторопливо завязав бантом пояс, свисавший со стеганого шелкового халата вишневого цвета, он медленно прошел к выходу из спальни и у самой двери обернулся к префекту:

— С коммунистами не церемоньтесь. А господина Аршнита пора ткнуть мордой в помойку...

Генерал Маринеску успел в ответ только щелкнуть каблуками зеркально блестящих сапог. Король скрылся за дверью ванной. Генерал вздохнул с облегчением и твердой походкой вышел в длинный коридор; не убавляя шага, он дошел до самой вешалки, где его поджидал адъютант.

— Ваше приказание выполнено, господин генерал! — четко отрапортовал чернявый, как жук, жандармский майор. — На Дудешть и Кэлэрашь движение транспорта было парализовано. Трамваи скопились до самой площади Святого Георгия!.. Пришлось прибегнуть к помощи пожарников... Арестовано около пятидесяти наиболее дерзких смутьянов. Большинство из них — рабочие табачной фабрики «КАМ»...

— Движение восстановлено?

— Полностью, господин генерал!

Адъютант поспешил помочь префекту надеть шинель и тут же отошел в сторону. Маринеску задержался у высокого зеркала в позолоченной раме, выпрямился, стараясь втянуть выпиравший живот, поправил фуражку с огромным околышем, провел рукой по широким светло-синим велюровым отворотам с канареечной опушкой и сдвинул на бок серебристо-белый аксельбант, свисавший с плетеного золотом погона. Прodelав эту привычную процедуру, он вышел к стоявшему у подъезда «бьюику», у раскрытой дверцы которого уже поджидал его адъютант. Грузно опустившись на заднее сиденье, генерал Габриэль Маринеску процедил шоферу сквозь зубы:

— В префектуру.

В переулках, выходящих на улицу Вэкэрешть, и около тюрьмы расхаживали с карабинами за плечами парные жандармские патрули. Из ворот и парадных дверей домов то и дело выглядывали сыщики сигуранцы. У трамвайной остановки «Пентичиарул Вэкэрешть» и поблизости от нее топтались полицейские и переодетые комиссары... Разогнав народ, с утра собравшийся у тюремных ворот, а потом запрудивший улицу, блюстители порядка все еще не покидали «поле сражения», не без основания опасаясь повторения утренних событий.

Такая же атмосфера настороженности воцарилась внутри тюрьмы. И заключенные, и охранники всех рангов притихли. Лишь в холодной и, как склеп, мрачной часовне тюремный священник, отбывавший срок за растление несовершеннолетних, бубнил «таинство евстахии» для полутора десятка уголовников, симулировавших душевное расстройство.

Администрация тюрьмы заметала следы совершенных злодеяний. Ей стало известно, что иностранные корреспонденты сфотографировали толпы людей перед тюремными воротами и кое-кто из них настойчиво домогается разрешения посетить Вэкэрешть, встретиться с политическими заключенными. В срочном порядке охранники освобождали карцеры; избитые, в синяках и кровоподтеках, возвращались узники в камеры. Им были обещаны ежедневные прогулки и, главное, свидания с родными при условии, что они прекратят «бунтовать».

— Начиная с пятнадцатого числа...

— Какого месяца? — недоверчиво переспрашивали арестанты. — И какого года?

— Будет вам куражиться! — сердито отвечали охранники. — С января нынешнего... Официальное распоряжение генеральной дирекции!

До этого дня оставалось девять суток. Тюремщики наделись, что за этот срок зарубцуются раны, посветлеют синяки на телах заключенных.

О возвращении в камеру парня из Бессарабии уже знали все политические узники. Они добились этого ценою крови, тяжких лишений и переживаний. Томова внесли в камеру на руках и бросили на жидкий тюфяк с соломой. Но в лазарете еще остались старые коммунисты Мирча Никулеску и его друг Самуэль Коган. Никулеску — инвалид мировой войны, награжденный орденом «Михай Храбрый» второго класса, сбывал срок за участие в забастовке железнодорожников на Гривице. В Вэкэрешть доставлен был на «доследование». Коган поступил сюда на «дознание» из тюрьмы Дофтаны, где отсидел уже десять лет за печатанье газеты «Скынтейя». Судьба этих товарищей тревожила политических заключенных, и они готовы были снова начать протестовать, если б это не послужило тюремщикам предлогом для отмены обещанного свидания...

Между тем администрация тюрьмы предусмотрительно перетасовала охранников, и тот из них, через которого удалось наладить связь с товарищами на воле, оказался вне поля зрения коммунистов. Таким образом, обещанное свидание было единственной возможностью восстановить эту связь, сообщить о зверском произволе тюремщиков. Вот почему было решено немного повременить с организацией нового протеста. К тому же, заключенным стало ясно, что тюремщики чем-то напуганы. Коридорные теперь как должное воспринимали обычную форму приветствия вместо казарменного «здравия желаю», словно не они пускали недавно в ход резиновые дубинки за отказ подчиниться этому их требованию.

Дежурные охранники прикидывались «козлами отпущения», подневольными стрелочниками. Те же охранники, которые не так давно еще измывались над ними, отмалчивались, явно избегали попадаться на глаза подвергавшимся избиению...

Узникам было неясно, чем вызваны эти перемены в поведении тюремщиков — го ли свыше их одернули, сочтя за благо временно ослабить режим, не разжигать страсти, то ли сами они остепенились в ожидании расследования, а может быть, просто хитрят и исподволь готовят новую расправу?..

Илья Томов воспринял весть о предполагаемом свидании с родными со смешанным чувством: радовался за товарищей

и грустил от сознания, что к нему никто не придет. «Мать не знает, что разрешены свидания, — размышлял он, — да и нет у нее денег на поездку. А отец и сестренка, очевидно, где-то рядом с тюрьмой живут, но они ведь не знают, что я здесь...»

Время от времени Илью отвлекали едва уловимые позывные тюремного «телефона» — постукивание по отопительной трубе, — но встать и послушать, о чем говорили заключенные, он не мог: болело все тело, кружилась голова, туман застилал глаза. Мучительно было шевельнуть даже губами, они кровоточили и распухли. Томов помнил только, как его повалили на пол и как Мокану ударил его по голове и лицу своими боканками, подбитыми подковками и ребристыми гвоздями... Что было потом, что с ним делали дальше, он не мог припомнить. Очнулся, когда его притащили в карцер. Свое пребывание там он тоже смутно помнил. Было страшно, нестерпимо больно, жутко. Запомнил, как его притащили в камеру и бросили на койку. Острая боль постепенно пробудила сознание, но не позволяла ему сдвинуться с места.

И только на следующий день уголовники, разносчики пищи, по приказу дежурного охранника помогли ему подняться и умыться. С трудом проглотил он несколько ложек баланды. До остального не дотронулся. Кровоточили десны, ныли челюсти.

Незадолго до полудня дверь камеры раскрылась и незнакомый охранник скомандовал:

— Встать!

Илья не успел выполнить команду, как на пороге появился полицейский чин в строгом черном мундире без излишних украшений.

В сухопаром, с желтым осунувшимся лицом человеке Томов узнал инспектора сигуранцы Солокану. От неожиданности Илья растерялся, не поздоровался с гостем.

Солокану не обратил внимания на этот промах заключенного, молча прошел в камеру. Коридорный прикрыл за ним дверь и остался по другую ее сторону.

— Добрый день, господин инспектор! — опомнившись, сказал Томов.

Солокану не удивился запоздалому приветствию. Напротив, оно произвело на него положительное впечатление. Задав несколько обычных вопросов, Солокану замолчал, уткнулся взглядом в пол и лишь изредка поглядывал на заключенного, словно изучал его. Упорное молчание инспектора показалось Илье зловещим. Он решил, что гость проводит над

ним какой-то «особый эксперимент», с целью заставить его против воли сказать все как есть, стать предателем...

При этой мысли кровь прилила к его голове. С жгучей ненавистью смотрел Илья Томов на полицейского и думал только о том, чтобы устоять против любых, самых изощренных способов, какие этот изверг надумал применить, чтобы дознаться истины.

Долго длилась тягостная тишина. Видимо, это встревожило стоявшего за дверью дежурного. Он приподнял задвижку, заглянул в «глазок» и тут же отпрянул, хлопнув задвижкой. Солокану возмутился:

— Сержент!¹⁷³

Дверь моментально открылась.

— Я, господин инспектор! — отчеканил испуганный охранник.

— Пока я здесь, не подходите к двери камеры! -- сдерживая гнев, приказал Солокану. — Идите.

Кованые боканки охранника с торчавшими из них изогнутыми, как клепки разбухшей бочки, ногами в черных обмотках звонко щелкнули. Он осторожно закрыл дверь, словно та была из хрупкого стекла.

Ни единого слова Солокану больше не проронил, сидел почти не шевелясь и все чаще останавливая пристальный взгляд на обезображенном побоями узнике. Илье казалось, что инспектор хочет объявить ему суровый приговор, но почему-то медлит, чего-то выжидает, рассчитывает выведать еще что-то.

Инспектор опустил руку в карман. Томов заметил это и сразу насторожился, подумав, что Солокану хочет достать оружие. Невольно он отвернулся и в этот момент услышал слабый щелчок. Илье вздрогнул. Пистолет? Без суда? За что же? Хотя от них всего можно ожидать...

— Закури, — предложил Солокану, протягивая раскрытый портсигар.

Илья недоверчиво взглянул на инспектора: мелькнула мысль, что сигарета необычная, пропитана расслабляющим волю веществом...

— Не куришь? — продолжая держать портсигар, спросил Солокану.

— Нет, — едва слышно, неуверенно ответил Томов.

— В таком случае, — закуривая, неторопливо сказал Солокану, — расскажи, кто твои родители, зачем приехал в Бухарест, какие планы строил на будущее.

¹⁷³ Сержант, полицейский (рум.).

Илья коротко рассказал все, умолчал лишь об участии в подпольной работе.

— В партию коммунистов давно завлечен?

— Я никогда не состоял и не состою ни в какой партии.

— Почему же здесь ты присоединился к коммунистам?

— Мне неизвестно, коммунисты они или нет. А присоединился к ним потому, что не хотел нарушать справедливый порядок, установленный заключенными... Вот и все.

— А если бы это были уголовники? У них тоже свои «порядки»... Тогда как бы ты поступил?

— Уголовники? Преступники... А эти, как я теперь понял, борются с преступлениями и добиваются справедливости...

— Понятно! Значит, ты коммунист.

— Нет, господин инспектор Солокану, я не коммунист. Я не знаю, чего они добиваются там, за тюремной стеной, а здесь они ведут себя героически...

— Хватит! — прервал его инспектор. — Откуда тебе известна моя фамилия? В первый день на допросе ты назвал ее. Помнишь?

— Конечно помню...

И он рассказал, что находился в диспетчерской гаража «Леонида и К°» вместе с Захарией Илиеску, когда механика вызвали к главному инженеру. Вслед за ним и он хотел было выйти из диспетчерской, но услышал, как за дверью Илиеску сказал кому-то: «Да, господин инспектор, это я. Здравствуйте!» И тотчас же последовал ответ: «Сию же минуту уходите из гаража... Вас должны арестовать...»

— После этого Илиеску исчез,— продолжал Томов.— Полиция тщетно его разыскивала по всему гаражу. Вот как это было. Я никому не рассказал об этом случайно подслушанном разговоре, но не переставал удивляться тому, что какой-то полицейский инспектор помог механику Илиеску избежать ареста... Через несколько дней меня арестовали, и на допросе я услышал ваш голос. Он показался мне очень знакомым, но где я его слышал, вспомнить не мог. А вот когда вы приказали господину подкомиссару Стырче: «Сию же минуту пошлите людей на обыск», я сразу вспомнил. Это было сказано с точно такой же интонацией, как и тогда в гараже, да и слова почти те же... Конечно, я не сразу поверил в правильность своей догадки. Но все, что я тогда увидел и услышал, подтверждало ее. Ваши подчиненные называли вас «господином инспектором». В свое время я читал в газете об убийстве дочери инспектора сигуранцы Солокану и, увидев черную ленту на лацкане вашего пиджака, решил, что вы и есть тот самый инспектор Солокану. И, как видите, не ошиб-

ся... Вспоминается мне также один разговор с механиком Илиеску, который тоже подтверждает догадку о том, что именно инспектор Солокану предупредил его об аресте...

— Чепуха, — сухо произнес Солокану. — Но продолжай! Я слушаю.

Томов продолжал:

— Когда на границе убили студента Гылэ и в газетах писали, будто он коммунист, убивший дочь инспектора Солокану, я сказал господину механику Илиеску, что, будь я коммунистом, непременно пошел бы к ее отцу и напрямик спросил: неужели он не понимает, кто в действительности убийцы его дочери?! Конечно, я был тогда наивен... Не знал, что представляет собой сигуранца...

— Так... — перебил Томова Солокану. — Что ответил тогда механик?

— Ничего, — солгал Томов. — Но мне кажется, что он согласился со мной и что-то принял...

— Почему ты так думаешь?

— Да потому, что спустя несколько дней разговор на эту тему возобновился в связи с опубликованием в газетах новых подробностей, и тогда Илиеску, как-то между прочим, но с уверенностью сказал, что господин Солокану — не только инспектор сигуранцы, рьяно преследующий коммунистов, но и любящий отец и что горькая утрата, которую он очень тяжело переживает, не позволит ему слепо верить фальсификаторам, взваливающим вину за это зверское убийство на коммунистов...

Солокану нахмурился, долго молча смотрел куда-то в пространство, наконец, как бы очнувшись, спросил:

— А почему ты вел такого рода разговоры именно с механиком Илиеску, а, скажем, не с мастером Вулпя?

Томов понял, что Солокану хочет выяснить, ограничиваются ли его отношения с коммунистом Илиеску простым, хоть и близким, знакомством или их связывает обоюдная принадлежность к компартии.

— Ну, с господином Вулпя запросто не поговоришь! Да я что-то и не замечал, чтобы сам мастер Вулпя желал по-дружески побеседовать с рабочими. А господин механик Илиеску совсем другой человек... Он всегда охотно включался в разговор с людьми, и его все в гараже уважают... Можете проверить.

— Хитришь, Томов, — равнодушно сказал Солокану, и по его лицу пробежала едва заметная болезненная улыбка.

Инспектор сигуранцы был уверен, что арестованный скрывает свою принадлежность к компартии. Но не для того он при-

шел сюда, чтобы вынудить Илью Томова к признанию. Нет. С момента, когда Томов на допросе назвал его по фамилии, Солокану не переставал с тревогой думать, откуда этому парню известно, что именно он и есть Солокану. Кто, кроме Илиеску, мог описать его внешность? Да и этого не всегда достаточно, чтобы сразу узнать человека... Не означает ли все это, что о конфиденциальной беседе между ним и коммунистом Илиеску в стенах департамента полиции известно третьим лицам? А если так, то сведения об этом могут дойти и до власти предержащих, и тогда вся его безупречная служба короне будет перечеркнута, неизбежен конец его карьеры...

После долгих колебаний он, наконец, решился посетить Томова в тюрьме с тем, чтобы найти ответ на волновавшие его вопросы, и тогда уже предпринять какие-то меры, способные предотвратить нависшую над ним угрозу. Однако то, что теперь он узнал от арестованного, вслило в него еще большую тревогу за свое доброе имя верного слуги его величества короля!

Солокану корил себя за непростительную оплошность, позволившую этому парню опознать его по голосу и по вошедшему у него в привычку выражению. «Ведь слова «сию же минуту» действительно мои, — размышлял инспектор. — И почему в тот день я был так милостив к коммунисту Илиеску? Я, шеф департамента детективов по борьбе с коммунистами!? Неужели только потому, что этот человек доверился мне, проявил искреннее сочувствие моему горю и, вместе с тем, готовность пострадать ради того, чтобы отвести ложное обвинение от своей партии? Но и раньше я знал, что коммунисты не уголовники, а достойные уважения противники, и если беспощадно преследовал их, то только потому, что они опасные для государства фанатики... Или, может, в том причина, что самоотверженность механика и беседа с ним развеяли мои мучительные сомнения и в конечном итоге привели от смутного подозрения к твердому убеждению в том, что гибель дочери — это жестокий и коварный акт мести легионеров за арест «капитана» и последующую расправу над ним «при попытке к бегству»? Да-да... Жестокий потому, что я был всего лишь исполнителем приказа префекта Маринеску! Да и сам король играл в этом деле не последнюю роль... Генерал Маринеску никогда бы не отважился на подобные крутые меры в отношении легионеров! Он прекрасно знал, кто стоит за ними... И вот коварная месть!.. Взвалив вину за свое преступление на коммунистов, они хотели, чтобы я с еще большим усердием и ожесточением преследовал их, расчищал дорогу к власти убийцам моей дочери... Не выполнил бы я при-

каза, пощадил бы жезезногвардейского главаря, дочь была бы жива... И не пришел бы в сигуранцу коммунист Илиеску, не стал бы я предупреждать его об аресте! Все шло бы своим чередом, как прежде... Не иначе...»

Солокану так и не ответил себе на вопрос, почему он позволил коммунисту Илиеску избежать ареста. С тех пор, как погибла его дочь, о чем бы ему не приходилось размышлять по долгу службы или просто по профессиональной привычке, все так или иначе приводило его мысли к этому скорбному событию в его жизни. И все отчетливее он понимал, что именно он своей слепой преданностью короне навлек гибель на любимую дочь. Эта мысль подтачивала, разрушала его душу, как жук-точильщик разрушает древесину.

Инспектор Солокану чувствовал, что с ним происходит что-то неладное, что какая-то не осознанная им сила толкает его на необдуманные поступки. В его сознании шла борьба между привычным чувством служебного долга и все усиливающимися сомнениями в справедливости и жизненности государственных устоев, охране которых он посвятил себя, а в конечном итоге оказался их жертвой. Он и раньше, а после гибели дочери особенно часто, задумывался над тем, почему, вопреки всем стараниям полиции и сигуранцы, легионеров и духовенства, разных политических партий и группировок, коммунисты обретают все больше симпатий, доверия и поддержки в народе?

Постоянно занимаясь выслеживанием, арестами и допросами коммунистов, он не переставал размышлять над этим, но сколько-нибудь вразумительного ответа не находил. Существующий общественный и государственный строй представлялся ему незбылемым, закономерным, освященным самим господом-богом и потому справедливым. Всякие идеи о коренной его ломке он считал бредовыми, богопротивными и опасными фантазиями.

Но вот случилось непоправимое несчастье с дочерью, и вера его в непорочность существующего порядка вещей дала глубокую трещину. И чем больше он думал об этом, тем яснее сознавал, что в том и состоит причина неистребимости коммунистов, что существующий строй несправедлив и несовершенен. Конечно, от этого признания было еще очень далеко до согласия с конечными целями коммунистов, однако их идеи теперь не казались ему столь беспочвенными, вредными и опасными, как прежде. На всю их самоотверженную подпольную деятельность он смотрел уже иными глазами. Это и было первопричиной того, что там, в гараже, невзначай встретив механика Илиеску без видимых свидетелей, он,

не раздумывая, неожиданно для самого себя, выручил его, предупредил о предстоящем аресте.

И вот сейчас, придя в камеру своего подопечного арестанта Томова, он снова и снова углубился в раздиравшие его сознание и душу противоречивые мысли, навзничь опрокидывавшие его прежние убеждения, согласно которым он ревностно трудился, испытывая моральное удовлетворение. Томов давно уже ответил на вопрос инспектора и настороженно ожидал новых вопросов, но тот, склонив голову и наморщив лоб, по-прежнему молчал. Наконец Томов решил нарушить затянувшуюся тягостную паузу. По-своему истолковав задумчивость Солокану, он вдруг сказал:

— Вы не беспокойтесь, господин инспектор. На допросе, когда господин подкомиссар Стырча бил меня до потери сознания, я ничего не сказал о вас, а теперь и вовсе никому и ничего не скажу!..

Солокану вздрогнул, точно его обожгли кипятком, рывком поднял голову и устремил на Томова удивленный и растерянный взгляд. Бледное лицо его постепенно покрылось пятнами румянца, глаза сузились, взгляд стал суровым. Смысл сказанного арестованным оскорбил его. Ему хотелось поставить на место зарвавшегося молокососа, осмелившегося, как он понял, шантажировать его, но ни прежней озлобленности против попавших в его руки подпольщиков-коммунистов, ни прежней уверенности в необходимости жестоко карать их у него уже не было. И лишь по инерции Солокану все еще не выходил из обычной для себя формы поведения.

— Ты наглец! — после продолжительной паузы глухо сказал Солокану. — Не хочу сейчас марать руки, но... мы еще встретимся, потолкуем... — как-то нерешительно заключил он, поднялся и, не глядя на Томова, вышел из камеры.

Дверь захлопнулась, лязг железной перекладки прозвучал в ушах Ильи, как отходной перезвон. Он воспринял заключительные слова Солокану как угрозу расправы. «Палач остается палачом, — подумал он, — и бессмысленно апеллировать к его отцовским чувствам... Для таких важнее всего честь мундира, а не истина и порядочность».

Мысли об обещанной инспектором расправе не покидали Томова. С ними он ложился, с ними вставал, готовил себя к тому, чтобы ни при каких условиях не унизиться перед палачами. Размышляя, он пришел к заключению, что Солокану, видимо, хочет уничтожить его физически, как единственного свидетеля компрометирующих инспектора фактов. И Томов сводился с жизнью, мысленно вел диалоги то с матерью и дедом, то с отцом и сестренкой, которых не видел уже

несколько лет, с товарищами по подполью и друзьями по пансионату мадам Филотти...

Мучительно тянулись дни. Оставалось менее двух суток до обещанного тюремщиками свидания с родными. Но Илья Томов ничего хорошего уже не ждал, никого не надеялся увидеть, ему вообще не чаялось дожить до этого дня. Он не сомневался в том, что Солокану постарается как можно скорее избавиться от него.

Тюрьма Вэкэрешть в эти дни была схожа с вулканом: внешне все было спокойно, а в недрах клекотало. Тюремщики, как ни странно, вели себя безукоризненно. Старший надзиратель вообще не появлялся, словно испарился. Заключение терялись в догадках, пытались объяснить себе столь необычное поведение своих стражей, и по мере приближения дня свидания тревога их нарастала.

С утра пятнадцатого числа политические заключенные вели себя особенно настороженно. Их состояние походило на закрученную до отказа стальную пружину, каждую секунду готовую с шумом и грохотом раскрутиться...

Поглощенный своими мрачными мыслями Томов не замечал царившего в тюрьме предгрозового затишья. Но вот где-то вблизи его камеры открылась дверь, и вслед за этим донесся сорванный голос дежурного охранника:

— Выходи на свидание! К тебе пришли...

Этого приказа с нетерпением ожидал каждый узник, и каждому из них не верилось, что свидание действительно состоится, что тюремщики не применят какого-нибудь нового изощренного приема издевательства над арестантами.

Снова послышался перезвон железной перекладины и тот же голос дежурного:

— Выходи на свидание!

В эти секунды тюрьма замирала. Неужели правда свидание? Или очередная провокация?

В камерах узники с нетерпением ждали возвращения товарищей, первыми уведенных на свидание. Хотелось узнать правду... Какие новости с «воли»? Чем объяснить неожиданную уступку тюремной администрации?

И вдруг задвижка на двери камеры Томова приподнялась, и в «глазке» показалось лицо дежурного.

— Приготовиться, на свидание!

Сердце у Томова болезненно сжалось, силы, казалось, начали его покидать. «Вот и конец», — подумал он и заставил себя глубоко вздохнуть, выпрямиться. Преувеличенно твердой поступью он вышел из камеры и, сопровождаемый дежурным, пошел по коридору, через отсеки, отгороженные, как в

зверинце, железными решетками, по лестнице вверх, потом вниз, затем снова по коридору, через отсеки и по лестницам, наконец оказался в просторной комнате, заполненной охранниками в черных мундирах и полицейскими в коричневых шинелях. От густого смешанного запаха табачного дыма, плесени, оружейного масла и гуталина у Ильи перехватило дыхание, закружилась голова. Его подвели к столу, за которым сидел франтовато одетый в штатский костюм человек с напыщенной воронённой шевелюрой. Не поднимая головы и не глядя на едва державшегося на ногах арестанта, он заученно забубнил:

— Тебе разрешено свидание, но не потому, что этого требовали горлопаны. На них нам наплевать. Свидания даются потому, что они предусмотрены высочайше утвержденным положением о содержании в тюрьмах государственных преступников... Будете выполнять установленные в тюрьме порядки — будете получать передачи и посылки, ходить на прогулки, разрешим и свидания. В противном случае — отменим всё! Понял?

Томов не ответил. Он недоумевал, зачем этот человек что-то говорит ему о каких-то посылках и свиданиях: ведь к нему, Томову, некому прийти, да и вызвали его только под предлогом свидания, а в действительности его ждет обещанная инспектором Солокану расправа...

— Ты что, оглох, парень? Я спрашиваю — понял, что я тебе сказал?

— Да-да, понял, — поспешно промолвил Илья. — Понял.

— Тогда слушай дальше. Во время свидания дозволено говорить только о делах домашних, о здоровье родных и ничего больше! Иначе — карцер и все остальное... Понял?

— Понял, — равнодушно ответил Илья, все еще уверенный в том, что это его не касается, — видимо, тут какая-то ошибка, — либо это делается для маскировки. Когда же его ввели в продолговатую комнату, разделенную на две части параллельно идущими на расстоянии полутора метров решетками из круглого железа, и он увидел в противоположном конце приближающуюся к решетке мать, то от неожиданности едва не лишился чувств. От всего перенесенного и пережитого за последние дни он обессилел, но присутствие матери заставило его преодолеть, казалось бы, неудержимое желание распластаться на полу, широко раскинув и расслабив руки и ноги. В голове его, как молния, мелькнула радостная мысль: «мать на свободе!» Она медленно, неуверенно приближалась к решетке — видимо, не сразу узнала сына.

— Мама, здравствуй!

Мать встрепелулась:

— Сынок, Илюшенька!

Голос матери, как током, пронзил Илью. Стиснув зубы, он преодолел подступившие к горлу спазмы. Мать и сын прильнули к решеткам и несколько секунд смотрели друг на друга, не проронив ни слова, не издав ни малейшего вздоха, но многое передумав и поняв друг о друге.

— Ничего, мама... Все будет хорошо! Не волнуйся.

— Да, сынок, непременно будет хорошо. Верю в это. За нас не беспокойся, Илюшенька. Живем нормально. Как твоё здоровье?

— Ничего. В порядке... — с преувеличенной бодростью ответил Илья и, желая отвлечь мать от этой темы, спросил:

— А как ты, мама, оказалась здесь, в Бухаресте?

Мать впервые улыбнулась. Ей было приятно ответить.

— Мир не без добрых людей, Илюшенька. Позаботились... Вот я и приехала... И в пансионе твоём хорошие люди. Я у них остановилась, сынок...

— Пожалуйста, мама, передай всем этим людям мой привет и благодарность, а хозяевам пансиона ещё и мои извинения за неприятности, причинённые в связи с моим арестом...

— Передам, сынок, передам непременно! Тебе тоже просили передать поклон многие, очень многие люди...

Илья кивнул. Он понял, что мать не договаривает.

— И ещё, мама, просьба. Особый и большой привет и низкий поклон дедушке! Пусть не волнуется, я никого не подвел и не под...

— Свидание заканчивается, — прервал Илью стоявший между решетками надзиратель. — Прощайтесь!

— Будь сильной, мама, и не осуждай меня, — торопливо продолжал Илья. — Дедушке скажи, что все будет, как он мечтал!..

— Кончай разговор! — пробасил дежурный охранник и, положив на плечо Томова руку, потянул его от решетки. — Пошли! Кончай базар...

У выхода Илья обернулся, увидел, что мать вытирает платком слезы, крикнул:

— Не плачь, мама! Пусть никто здесь не видит твоих слез, прошу тебя!..

— Топай, топай! — огрызнулся охранник. — Хватит оглядываться...

— Хорошо, хорошо, сынок! Береги себя...

Эти слова донеслись до Томова уже в коридоре.

В камере Илья вновь погрузился в горестные размышления, хотя свидание с матерью ободрило его. Он теперь не чув-

ствовал себя наглухо изолированным от близких и дорогих ему людей — от родных, друзей и товарищей по борьбе. Он знал, что мать передаст им все, что он успел сказать ей, и они не усомнятся в его выдержке. Однако он понимал и чувствовал, как тяжело переживает мать случившееся с ним, какое горе принес он в ее и без того безрадостную жизнь, какой неотвратимый удар ждет ее впереди. Там, во время свидания с матерью, он сперва намеренно, а потом и невольно забыл о грозящей ему расправе. Теперь он вновь вернулся мыслями к тому, что его ожидает, и само свидание с матерью внезапно представилось ему прощальным, милостиво разрешенным палачами, уже предрешившими его судьбу.

Подшло время обеда. Получив свою порцию, Илья нехотя принялся за еду, отломил кусок сухой, как отслужившая свой срок оконная замазка, мамалыги. Внутри торчала бумажка, очень похожая на туго свернутую сигарку. Илья рассердился, подумав, что ее обронили в котел нерадивые пекари. Но, приглядевшись как следует, заметил, что в этой трубке нет табака. Он быстро раскрутил бумажку и повернулся спиной к двери, чтобы не увидел охранник, если ненароком заглянет в глазок. Маленькими, едва различимыми печатными буквами на бумажке было написано от руки:

«Братья узники! Товарищи Никулеску и Коган до сих пор не возвращены в камеры. После избиения палачи доставили в лазарет только Никулеску. Где Коган, неизвестно. Их жизнь в опасности! Необходимо протестовать, потребовать возвращения их в камеры. Ждите сигнала для выступления. Будьте солидарны в борьбе за правое дело!»

Томов читал и перечитывал крохотную листовку, пока не заучил ее содержание наизусть. Наконец он тщательно свернул бумажку и едва успел сунуть ее под тюфяк, как загремела перекладина, дверь распахнулась и охранник скомандовал:

— Встать!

Томов выпрямился по стойке «смирно». В камеру вошел Солокану. На нем был, как и при первом допросе, темно-коричневый костюм с широкой черной лентой поперек лацкана. Вслед за ним дежурный внес стул и тут же удалился, закрыв за собой дверь.

Солокану сел, положил длинные костявые кисти рук на колени. Его скуластое, еще более осунувшееся с тех пор и побледневшее лицо с неподвижным взглядом помутневших от бессонницы глаз и синеватыми дряблыми мешками под ними казалось Томову неживым, слепленным из воска.

Боясь нарушить зловещую тишину, воцарившуюся в ка-

мере и коридоре с момента появления здесь инспектора, Томов стоял не шевелясь, опасался даже переминуться с ноги на ногу, и лишь изредка глубоко вздыхал, стараясь успокоить бившееся сердце. Ему казалось, что этот изощренный в пытках королевский опричник пришел привести в исполнение свою угрозу и медлит, молчит только из желания насладиться душевными муками своей жертвы.

Между тем мозг и душу Солокану еще больше, чем во время первого посещения Томова в тюрьме, раздирали противоречивые мысли и чувства. Еще сильнее, чем тогда, он страдал от сознания, что те, кому он служил верой и правдой, кому отдал лучшие годы жизни, силы, здоровье и знания, нанесли ему жестокий удар в спину. Теперь ему стало ясно, что главными виновниками убийства дочери были не непосредственные исполнители преступления, потерявшие право называться людьми, а те, кто считал железногвардейцев надеждой и опорой страны. Их оберегали и лелеяли с монаршего благословения. Их почитали, как националистов и патриотов, лишь изредка одергивая ради внешнего приличия и престижа самодержавия. Ведомство, в деятельности которого инспектор Солокану играл видную роль, намеренно попустительствовало им. Легионерские вожаки прекрасно понимали это. И не случайно именно они были инициаторами поездки Солокану в Берлин для обмена опытом борьбы с коммунистическим подпольем. Тогда он с благодарностью воспринял оказанное ему легионерами доверие. Теперь он понял, что эти люди хотели лишь выдрессировать его, как дрессируют охотничью собаку, превратить в свое послушное орудие, любой ценой заставить делать только то, что отвечает их корыстным, карьеристским целям.

Еще до того дня, когда к нему в сигуранцу по доброй воле пришел механик гаража «Леонида и К^о» Илиеску и высказал все, что думал по поводу гибели его дочери, Солокану сомневался в причастности коммунистов к этому злодейству, подозревая, что виновников надо искать в противоположном лагере. Подозревал, но инстинктивно отбрасывал эти подозрения, не пытаясь объективно проанализировать, кто и почему был заинтересован в свершении этого акта. Солокану чувствовал, что если когда-либо его смутные подозрения подтвердятся, то все, чем он жил до сих пор, чем дорожил, к чему привык и тянулся, как ребенок к груди матери, все рухнет. Это будет равносильно катастрофе... Разговор с Илиеску вывел его из состояния оцепенения, встряхнул и заставил трезво взглянуть на случившееся. С этого дня он по инерции, но все с большим отвращением исполнял свою службу и все ос-

тнее чувствовал невозможность вернуться к прежнему образу мышления, к прежнему ревностному выполнению возложенных на него обязанностей, да и ко всему прежнему образу жизни. Его сослуживцы полагали, что тяжкие переживания из-за гибели любимой дочери сделали его неузнаваемым.

В действительности Солокану переживал уже не столько гибель дочери, сколько свою. Он казнил себя за слепоту и недальновидность, за то, что воображал себя независимым и доброжелательным надзирателем за деятельностью железногвардейцев, тогда как на самом деле они надзирали за ним, наускивали его, как охотничьего пса, на своих противников и при первом же серьезном противодействии их воле обрушили на него смертельный удар.

И Солокану невольно сопоставлял хорошо известный ему моральный облик деятелей «Железной гвардии» с не менее изученным им высокоблагородным обликом деятелей коммунистического подполья, которых он преследовал и подвергал пыткам как опасных для государства фанатиков и фантазеров. И вот теперь, когда королевское государство — эта святыня, которой он преданно служил всем своим существом, обернулась для него своей изуверской стороной, он непрестанно корил себя за нечеловеческие страдания, причиненные своим пленникам-коммунистам... К терзаниям от сознания лично своей ответственности за гибель дочери прибавились угрызения совести за неоправданные мучения, а порою и смерть многих побывавших в застенках сигуранцы подпольщиков.

Ему страстно хотелось учинить расправу над вожаками железногвардейцев, нещадно мстить им, но он был связан по рукам и ногам высочайшим благоволением к ним. К тому же не исключалось, что сведения о конфиденциальной встрече с механиком Илиеску и о последующем преднамеренном предотвращении его ареста рано или поздно просочатся за пределы узкого круга большевистских конспираторов. Для него это было бы бесславным концом не только карьеры, но и жизни. А железногвардейцы получили бы блестящую возможность утверждать, что зараза коммунизма проникла даже в сигуранцу и что он, Солокану, преследовал их, истинных патриотов, потому, что был агентом красных...

Солокану не нашел пути для прямой, непосредственной расправы с вожаками «Железной гвардии», ставшими его злейшими врагами, но путь косвенного противодействия был им найден и использован сначала инстинктивно, а потом вполне осознанно.

Пытаясь снова и снова проанализировать, чем было вызвано его мгновенно созревшее и без раздумий выполненное

решение предупредить Илиеску о грозящем ему аресте, Солокану пришел к заключению, что причина столь рискованного для него шага состояла не столько в желании отблагодарить заслуживающего уважения человека, сколько в клоко-тавшем в нем возмущении против легионеров, взваливающих вину за убийство на коммунистов и на этом основании требующих во сто крат усилить репрессии против них: «начисто искоренить большевистское подполье», «покончить раз и навсегда с влиянием Москвы», «очистить страну от агентов Коминтерна» и т. д.

Эти призывы и требования Солокану расценивал теперь как гнусное и коварное намерение легионеров энергичнее расчистить себе путь к власти руками обманутого ими инспектора сигуранцы и убитого горем отца. Кипевшее в нем яростное возмущение против них и было побудительной причиной, толкнувшей его на совершенно не свойственный ему поступок, к тому же чреватый для него катастрофическими последствиями... Но если тогда, в гараже «Леонида и К^с», он совершил этот шаг импульсивно, под влиянием внезапно возникшего побуждения, то сейчас Солокану уже склонялся к тому, чтобы преднамеренно противодействовать своим врагам.

С этой целью он и пришел вторично в камеру к Томову. Он не сомневался, что этот парень связан с коммунистическим подпольем, хотя Солокану не располагал ни его признанием, ни сколько-нибудь убедительными свидетельскими показаниями, ни вещественными доказательствами. Это-то отсутствие обличающих данных и давало ему возможность избавить Томова от новых и новых пыток, освободить его из тюрьмы и вообще из-под ареста. Он с трудом решался на этот шаг, боялся идти на компромисс с долгом службы и то принимал решение, то отменял его... Осуществить задуманное Солокану мог, конечно, не прихдя снова в камеру, однако ему хотелось еще раз побыть один на один с этим парнем, еще раз убедиться в том, что никто, кроме самого Илиеску, не осведомлен о его визите в сигуранцу и никто, кроме Томова, не знает, как удалось механику-коммунисту избежать ареста.

И вот он в камере и молчит, будучи не в состоянии сосредоточиться, выбрать из вороха мыслей и гнетущих его переживаний лишь то, о чем можно и нужно поговорить с узником. Постепенно он начинает сомневаться в целесообразности своего прихода сюда и своих намерений вообще.

Молчит и Томов, силясь понять, что задумал инспектор, почему ни о чем не спрашивает его? Нарочно ли тянет, издевается? Не сказать ли ему что-нибудь обидное, чтобы ускорить развязку? Но Илья тотчас же отбросил эту мысль. Не

мог он поступить так с человеком, который все же спас его духовного наставника, его учителя Захарию Илиеску.

Каждая минута этой безмолвной встречи казалась Илье Томову вечностью. Он все еще стоял навытяжку, но чувствовал, что нервное и физическое напряжение достигает предела, и вот-вот он не выдержит и свалится на пол...

Наконец Солокану медленно встал, скользнул по лицу заключенного взглядом лунатика и, опустив голову, неуверенно, словно силясь что-то припомнить, вышел из камеры, так и не сказав ни единого слова. Илья шагнул было к койке, зашатался от головокружения и на виду у вошедшего за стулом охранника рухнул на пол.

— Эй! Ты что это валишься, как воробей на морозе?! — крикнул охранник и резко потянул заключенного за рукав, стал его тормошить. — Ну-ка, вставай!

Илья приподнялся, перед его глазами все кружилось — потолок, стены, стул, охранник и... инспектор Солокану, почему-то оказавшийся в проеме распахнутой двери камеры и вдруг исчезнувший. Илья решил, что фигура инспектора ему просто померещилась, но он ошибся. Выйдя из камеры, Солокану в нерешительности остановился, а услышав шум падения Томова и окрик охранника, вернулся на порог, увидел, что здесь произошло, и тотчас же удалился.

Лежа на койке, Томов не переставал думать о странном поведении Солокану. Молчание его казалось ему зловещим, но до тех пор, пока тот находился в камере. В том, как Солокану поднялся со стула, нерешительно зашагал к двери и ушел, так ничего и не сказав, Илья уловил, что с инспектором вроде бы что-то произошло. Правда, тут же Томов решил, что все это может быть своеобразной полицейской тактикой.

От этих размышлений Томова отвлек нараставший, как гром приближающейся грозы, шум. Все отчетливее доносились до его слуха крики заключенных, сперва разрозненные, потом сливавшиеся в дружное скандирование. Он поднялся с койки, чтобы подойти к двери, включить и свой голос в общий хор начавшегося протеста, но в этот момент загремела железная перекладина, дверь его камеры распахнулась настежь, и на пороге на этот раз возник уса́тый первый охранник. Не заходя в камеру, он торопливо и громко приказал:

— Приготовиться к выходу! Быстро!

«Вот и начинается расправа, обещанная инспектором Солокану», — подумал Томов и едва выговорил:

— Я... готов.

— С вещами. Со всем, что у тебя есть!

— С какими вещами? — удивленно спросил Томов. — У меня ничего нет...

— Тогда пошли... Живее!

— Совсем?

— Да-да, совсем.

Когда первый охранник торопливо вел подследственного Томова по коридорам тюрьмы, со всех сторон и этажей уже неслись крики политических заключенных:

— Тре-бу-ем про-ку-ро-ра!

— Объяв-ля-ем го-ло-дов-ку!

Томов знал, что этот протест вызван исчезновением товарищей Никулеску и Когана. Знал он, что вот так же самоотверженно и дружно заключенные коммунисты станут протестовать, когда узнают о новой расправе — уготованной ему инспектором Солокану. Мысль о солидарности товарищей ободрила его, придавала силы, и он вошел в канцелярию, чувствуя себя готовым выдержать любые испытания...

В канцелярии, однако, его ни о чем не спросили и ничего ему не сказали, а сразу же передали жандарму вместе с большим желтым пакетом, прошитым суровыми нитками и разукрашенным сургучными печатями и красными штампами. Жандарм тут же вывел Томова в коридор, передал другому жандарму, под охраной которого уже стояла небольшая группа заключенных, и вышел во двор узнать, прибыла ли машина.

Улучив момент, когда оставшийся жандарм, не спеша прогуливаясь по коридору, отдалился от группы, Илья чуть слышно спросил соседа, пожилого человека в полосатой арестантской одежде:

— Куда нас?

— Меня в Дофтану, доотбывать срок... А тебя?

В ответ Илья выразительно пожал плечами.

— Не спрашиваю, кто ты, — продолжал его сосед в арестантской одежде, — политический или уголовник, но хочу, чтобы ты знал и передавал, кому только сможешь... Тюремщики убили товарища Когана еще две недели тому назад и тайком схоронили его, а теперь, мерзавцы, врут, будто он покончил с собой... А второму товарищу — Никулеску — выбили единственный зрячий глаз, и теперь он совсем ослеп. И тоже брешут, гады, будто виноват в этом он сам. Он, дескать, где-то оступился, упал и прочее вранье... Запомни, братец, — Коган и Никулеску! Не забудешь?

Не глядя на соседа, Илья зло прошипел:

— Сволочи!.. Не беспокойтесь, не забуду...

Заключенный пристально посмотрел на Томова и спросил:

— Ты... коммунист?

Ответить Илья не успел. Со двора вернулся жандарм и увел часть узников, в том числе пожилого соседа Томова. Вскоре жандарм вернулся за другими заключенными. Вслед за ними второй жандарм вывел Томова во двор, где стояла тюрьма — «дуба». Из окон здания слышались выкрики:

— Да здравствует солидарность!

— Да здравствует компартия Румынии!

— Да здравствует Советская Бессарабия!

Жандарм ткнул дулом карабина Томова в спину и спросил:

— Не тебя ли это наши братцы румынчики провожают? Ты ведь из Бессарабии?!

26

Хаим Волдитер не стал искать и дожидаться Ионаса, что-бы вместе добираться домой. Было уже за полночь, когда он вышел во двор.

— Хаймолэ! Ты куда? — откуда-то из темноты вдруг окликнул его Ионас. — Не уходи. Слышишь?

В стороне возле забора рядом с Ионасом Хаим увидел Давида Кноха и шофера Соломонзона. «Интересно, — подумал Хаим. — Зачем тут околачивается шофер? Ведь суббота наступила еще с вечера... Что-то нечисто дело...»

— Следуй за нами! Не отставай, Хаймолэ! — тоном приказа произнес Нуци, проходя вперед с Давидом Кнохом. Шофера с ними уже не было.

Хаим послушно поплелся вслед за Ионасом и Кнохом по незнакомым темным улочкам и кривым переулкам. Он пытался разобраться в ворохе тревожных мыслей и чувств, переполнявших его в этот вечер. Все, что он слышал и видел на конспиративном собрании, созванном по случаю прибытия представителя «Еврейского агентства для Палестины» и какого-то гостя, тоже из Америки, резко нарушило состояние относительного душевного равновесия, в котором он пребывал последнее время. Прежде, в дни прохождения «акшары», Хаим скептически относился к утверждениям сионистских проповедников о кровном братстве и единстве разбросанных по всему миру евреев, братстве, будто бы существующем независимо от материального благосостояния, культурного развития и положения в обществе каждого из них. Никогда и прежде он не обольщался посулами сионистских зазывал-вербовщиков обрести райскую жизнь на «земле обетованной». Не вдохновляли его их призывы к борьбе за воссоздание «ве-

ликого еврейского государства». Но если прежде все это он выслушивал равнодушно, без внутреннего волнения, помышляя лишь о том, чтобы, переселившись на чужбину, изображаемую сионистскими соловьями земным раем, избежать нависшей угрозы фашистского концлагеря, то теперь в нем словно что-то надломилось. Сильнее, чем когда-либо, он ощутил, что не было, нет и не будет у него братского родства с Соломонзоном, Штерном и им подобными. Очевиднее стала для него эфемерность надежды обрести здесь, в Палестине, пусть не «райскую», но хотя бы просто спокойную трудовую жизнь. Наконец он понял: как десятки тысяч других евреев-бедняков, он стал жертвой гнусного обмана, что обман и клевета, шантаж и провокации, — словом, все отвратительные методы и способы, вплоть до убийства из-за угла, возводимые фашистскими идеологами в некую доблесть и добродетель чистокровных арийцев, присущи и сионистским деятелям и оправдываются ими с величайшим усердием.

Хаим не заметил, как они повернули на улицу, где в особняке размещалось Экспортно-импортное бюро. Сейчас все окна дома были тщательно закрыты и зашторены так, что ни единый луч света не проникал наружу.

Войдя в дом, Ионас пошептался о чем-то с Кнохом и предложил Хаиму остаться в холле первого этажа, никуда не уходить.

— Не вздумай открывать окно или поднимать жалюзи... Вообще ничего тут не трогай, — торопливым шепотом наставлял он Хаима, уходя на цыпочках вслед за Кнохом по узкому коридору, в который, как на судне, с той и другой стороны выходили двери кабинетов. В дневное время в них находились служащие бюро. Теперь двери были закрыты, и трудно было заключить, есть кто-нибудь за ними или нет...

Хаим стоял некоторое время посреди слабо освещенного холла, озираясь по сторонам. Ни с улицы, ни с верхнего этажа сюда же не доносилось ни единого звука. Безотчетный страх закрадывался в его душу, томило предчувствие недобрых событий, соучастником которых он становился помимо своей воли, вопреки своему желанию. Он был готов отказаться от службы в Экспортно-импортном бюро, лишиться всех полученных привилегий, только бы избавиться от этого ощущения нарастающего страха, от которого он бежал из Румынии.

Поймав себя на этих мыслях, Хаим вздрогнул. Ему почудилось, что он не один в этом просторном и пустынном холле, что за ним кто-то следит. Он тотчас же придал своему лицу выражение полного спокойствия. Заложив руки в карманы,

медленно прошелся по холлу, подошел к длинному узкому дивану из светлого дерева с инкрустацией, искусно выполненной умельцами. Здесь он остановился, делая вид, будто с интересом рассматривает это произведение искусства, оглядевшись: в холле никого, кроме него, не было.

Присесть и отдохнуть Хаиму не пришлось. В открытых дверях коридора показался Ионас. Приложив палец к губам, он поманил Хаима к себе и жестом предложил следовать за ним.

На цыпочках прошли они коридор, осторожно ступая, поднялись по крутой винтовой лестнице на второй этаж и, миновав широкую дверь в матово-стеклянной стене, вошли в продолговатую комнату — приемную.

Снова приложив палец к губам, Нуци осторожно присел на стул у самой двери, ведущей в кабинет Соломонзона, и кивком указал Хаиму на стул по другую сторону двери. Отсюда отчетливо был слышен знакомый энергичный голос. Хаим тотчас же признал его обладателя. Это говорил седой представитель «Еврейского агентства для Палестины».

— Вы, сионисты, считаете, что иудейский народ избран богом, — слышалось так ясно, словно говорящий был рядом. — Мы, национал-социалисты, утверждаем, что только немецкий народ является наиболее полноценным из всех народов, населяющих земной шар.

Хаим испуганно вытаращил глаза, точно его пинком разбудили ото сна. Не веря ушам своим, он вытянул шею, затаил дыхание...

— Вы, сионисты, говорите о превосходстве своего народа перед всеми прочими народами; мы, национал-социалисты, утверждаем то же в отношении немцев. Вы, сионисты, во всех своих суждениях и делах опираетесь на концепцию исключительности вашего народа; мы, национал-социалисты, опираемся на аналогичную концепцию исключительности немецкого народа, как принадлежащего к высшей расе.

Исходя из всего этого, вы, сионисты, утверждаете, что то, что можно иудеям по отношению к другим народам и нациям, нельзя этим нациям и народам по отношению к иудеям; мы, национал-социалисты, исходя из аналогичных предпосылок, также утверждаем, что то, что дозволено немцам по отношению ко всем остальным народам, непозволительно этим народам по отношению к немцам. Таким образом, вы, сионисты, считаете, что остальные народы менее полноценны; мы, национал-социалисты, утверждаем то же самое, однако к полноценным относим всю нордическую расу, а среди входящих в нее народов, как наиболее полноценный, немецкий народ!

Что же касается иудеев, то они, как это доказано наукой, стоят на третьем месте с конца среди других неполноценных народов.

Хаим усиленно тер морщинистый лоб, напрягая слух. Ему казалось, что он сошел с ума или ему снится невероятный сон. Сочный голос, смакуя, словно читая по печатному тексту, продолжал:

— Вы, сионисты, так же, как и мы, национал-социалисты, против ассимиляции своих народов с другими народами.

Вы, сионисты, отстаиваете чистоту крови своего народа и не признаете иудеями тех, кто родился от смешанного брака; мы, национал-социалисты, пошли дальше в этом направлении, определив и освятив законом как национальную измену вступление немца или немки в брак с иудеем или иудейкой, причем закон этот распространяется на все их потомство.

Вы, сионисты, противопоставляете идею единого еврейского народа, состоящего из братьев по крови, разлагающему учению коммунистов о классах-антагонистах; и мы, национал-социалисты, противопоставляем этому разъединяющему и растлевающему народ учению возвышенную идею единства нации, состоящей из людей высшей расы.

— Вы, сионисты, хотите создать свое государство исключительно для своего народа; мы, национал-социалисты, уже создали такое государство, в котором только немцы являются полноправными подданными и только им предоставлено право работать в государственном аппарате.

Вы, сионисты, считаете, что с завоеванием Иерусалима в семидесятом году наступил конец Иудейского государства и что с тех пор продолжается период вашего «Второго государства» — государства, утратившего свою независимость и рассеявшего по всему миру еврейский народ; и что с возвращением его в Палестину будет создано «Третье Иудейское государство», государство, в которое вернется из изгнания его народ... Мы, национал-социалисты, как известно, создали свое «Третье государство» — «Das Dritte Reich», в которое разбросанные по всей вселенной немцы уже репатрируются...

Вы, сионисты, считаете, что гражданином вашего будущего государства может стать только иудей, и среди них отдаете предпочтение кохэнам и левитам¹⁷⁴ — наиболее чистокровным, биологически полноценным представителям вашего народа; мы, национал-социалисты, утверждаем, что гражданином в германском государстве может стать только тот, кто

¹⁷⁴ По торе, привилегированные колена священнических родоначальников.

принадлежит к немецкому народу, в чьих жилах течет немецкая кровь, и предпочтение среди них отдаем в первую очередь арийцам, как наиболее чистокровным, биологически полноценным представителям нашего народа.

Вы, сионисты, считаете, что на землях вашего будущего государства не должны поселяться лица нееврейского происхождения, и своей ближайшей целью ставите избавление от арабов; мы, национал-социалисты, также препятствуем иммиграции лиц ненемецкого происхождения и требуем, чтобы такого рода люди, поселившиеся в Германии после второго августа тысяча девятьсот четырнадцатого года, покинули ее пределы.

Вы, сионисты, помышляете о создании великого иудейского государства путем изъятия земель у других народов; мы, национал-социалисты, также стремимся к созданию великого германского рейха и не скрываем своих намерений расширить жизненное пространство для избыточного немецкого населения за счет земель неполноценных народов.

Вы, сионисты, добиваетесь переселения в Палестину всех иудеев, обитающих ныне во всем мире; мы, национал-социалисты, проводим аналогичную политику объединения всех немцев и фольксдойч в фатерланд, отводя последним второстепенную роль, так же, как вы, сионисты, не ставите в один ряд иудеев ашкенази и сефардов.

Вы, сионисты, воспитываете своих холуцев и цабар¹⁷⁵ как «суперменов»; мы, национал-социалисты, воспитываем гитлерюгенд и эсэс также «сверхчеловеками».

Все сказанное дает основание заявить, что вы, сионисты, и мы, национал-социалисты, придерживаемся, по существу, одних и тех же принципов, стоим на сходных националистических и политических позициях, опираемся на родственные концепции, однако находимся на противоположных полюсах, как «антиподы», усматриваем друг в друге наиболее опасного соперника и потому враждуем между собой. Между тем и вы и мы являемся «плотиной», сдерживающей натиск народов других национальностей... Таким образом, в этом общем плане на данном этапе наши интересы совпадают...

Хаим напряженно слушал и никак не мог уяснить себе, что же происходит за дверью. Кто же в конце концов этот седой оратор: посланец ли «Еврейского агентства для Палестины» или агент нацистов? Евреи ли собрались там, в кабинете, или те, кто их предает? И не маскируются ли за вывеской «Агентства для Палестины» фашисты?

¹⁷⁵ Буквально: плод кактуса; молодежь, родившаяся в «стране отцов».

Опять и опять Хаим вспоминал «трансатлантик», взрыв и гибель сотен людей; вспомнил Кипр, благочестивейшего реббе Бен-Циона Хагеру с автоматическим пистолетом под полами капота... Сосредоточиться, прийти к какому-то выводу Хаим не мог. Каждая фраза, доносившаяся из-за двери, поглощала все его внимание и вместе с тем порождала беспорядочно мелькавшие мысли-догадки, одну страшнее другой. А там, за дверью, знакомый голос продолжал неторопливо, внушительно вещать:

— Выслушав, я заверил доктора Геббельса, что все сказанное им доведу до сведения нашего «Центра». В свою очередь, от имени «Центра» я поставил перед ним три основных вопроса, ради решения которых и совершил свой вояж в Берлин.

От изумления Хаим чуть было не вскрикнул: «Геббельс?! Вот, оказывается, кто поставил знак равенства между фашизмом и сионизмом! Вот с кем якшался почтенный представитель «Центра»!»

— Первый вопрос касался, — продолжал эmissар «Еврейского агентства для Палестины», — возможностей расширения наших взаимоотношений с Берлином. Из ответа я понял, что руководители национал-социалистов намерены поддерживать с нами контакты и расширение их зависит от того, как скоро с нашей стороны будут предприняты обещанные выступления против англичан...

— Вам надо было сказать доктору Геббельсу, — донесся резкий голос, в котором Хаим тотчас же узнал Штерна, — что с установлением ограничения на иммиграцию в Палестину мы перечеркнули все прежние связи с англичанами! Мы готовы идти вместе с национал-социалистами, но пусть они скажут свое слово!..

— Обо всем этом, хавэр Штерн, я говорил; говорил и о наших планах выдворения англичан с Ближнего Востока, но в Берлине ждут эффективных действий...

— Тогда пусть дадут нам побольше оружия! — крикнул Штерн.

— Вот этого и касался мой второй вопрос. Меня интересовало, возможно ли ускорить доставку обещанного оружия, захваченного войсками вермахта в странах, которые ныне находятся в сфере влияния Германии? На это доктор Геббельс ответил, что вопрос о поставке оружия находит поддержку в руководящих кругах национал-социалистов и что, по имеющимся у него сведениям, несколько дней тому назад под австралийским флагом уже отправлено судно с большим количеством оружия и боеприпасов.

При этих словах Нуци Ионас посмотрел на Хаима и горделиво улыбнулся, а Хаим впервые в полной мере осознал, что, работая в порту и участвуя в разгрузке судна, направленного сюда главарями германского фашизма, он стал соучастником Симона Соломонсона, представителей «Еврейского агентства для Палестины», вступивших в сговор с нацистами, и готового на любое злодеяние Штерна...

— Третий вопрос, заданный доктору Геббельсу, — продолжал эмиссар, — касался эмиграции наших людей из Германии и подвластных ей стран. И, как вы, вероятно, догадываетесь, я должен был выяснить, каковы реальные возможности отправки этих людей к берегам Палестины. По этому поводу доктор Геббельс сообщил, что из-за военных действий возможности вывозить иудеев на немецких судах, к сожалению, крайне ограничены, однако отправка будет производиться в рамках достигнутого двустороннего соглашения. На следующий день я имел встречу с руководителем еврейской секции гестапо Эйхманом. В отличие от доктора Геббельса, человека эрудированного и тактичного, этот выскочка сказал, что подготовкой людей к эмиграции должен заниматься берлинский «Оффис для Палестины», что лично ему, Эйхману, некогда сортировать эмигрантов и что это входит в обязанность наших доверенных лиц на местах... Больше того! Этот Эйхман заявил, что загрузка судов эмигрантами будет производиться по семейному списку...

— Он что, ума лишился? — бросил реплику Штерн. — Мы не собираемся здесь создавать богадельни!..

— Я ему резко возразил, — успокаивал Штерна эмиссар, — сослался при этом на состоявшийся накануне разговор с доктором Геббельсом и на достигнутое ранее соглашение о первоочередном выселении из Германии молодых людей, прошедших трудовую стажировку, а также лиц, способных сразу же по прибытии в Палестину включиться в вооруженную борьбу против англичан!

— А он что? — послышался вновь голос Штерна.

— Эйхман молчал. И я уже был склонен думать, что он сделает соответствующие выводы из того, что я ему сообщил и о чем напомнил, однако в ходе дальнейшей беседы он вдруг раздраженно спросил: «А кто будет заниматься вашими стариками, если все молодые эмигрируют? Или вы хотите, чтобы мы, немцы, поили их с ложечки, ухаживали за ними, нянчились? Нам некогда. У нас война!» Я его прервал и дал понять, что старики — это та самая ветка, которой суждено уступить место молодым побегам... Кроме того, в самой категорической форме я сказал ему, что с «балластом», которым он

загрузил предыдущие судна, нам не достичь желаемого для Германии результата. Ближний Восток не запыляет под ногами англичан, как этого хочет ваш фюрер!

— А он что? — донесся тот же голос Штерна.

— Эйхман побледнел, стал оправдываться, сказал, что будто бы наш представитель в «Оффисе» был лично заинтересован в отправке некоторого числа людей преклонного возраста — его родственников и очень состоятельных лиц, перед которыми у него имелись определенные обязательства. Эйхман намекал на что-то неблагоприятное... Я не склонен верить этим басням. Во главе «Оффиса», как вы все знаете, находится наш почтенный и многоуважаемый человек, имеющий перед сионизмом большие заслуги и которому мы все многим обязаны... Скорее всего, сам Эйхман хотел поскорее избавиться от престарелых... Но, так или иначе, теперь у нас достигнута твердая договоренность: эмиграции подлежат исключительно молодые люди и те, которые проходят у нас по особому списку. В противном случае, — я так и заявил Эйхману, — мы будем возвращать транспорты обратно... И ни на какие компромиссы в этом вопросе мы не пойдем!..

Нуци развел руками, как бы соглашаясь с необходимостью обречь стариков на гибель, а Хаим с трепетом в сердце подумал о том, какие страдания выпадут на долю его отца, тщетно ожидающего переселения к сыну...

— Эйхман меня заверил, — продолжал гость из Вашингтона, — что накануне большое немецкое судно доставило на Корфу партию эмигрантов, которые пересядут на другое судно, плавающее под нейтральным флагом, а два других транспорта таким же путем в течение следующего месяца возьмут на борт холуцев и незначительную часть людей из числящихся в особом списке.

— Эйхман — мелкая сошка, — послышался голос Симона Соломонсона. — К тому же он принадлежит к эсэс и решать дела более значительного масштаба ему не под силу. Иначе он бы сделал многое... Мы крепко держим его в руках! Не следует ли установить контакт с более крупной личностью третьего рейха?

— Если признаться, — подхватил эту мысль Штерн, — меня давно занимает идея направить в Германию человека, который установил бы связь с более солидной фигурой. Может быть, даже с самим Гитлером! Тогда мы наверняка добились бы положительных результатов! А Гитлер должен быть заинтересован в нас... Он ведет войну с англичанами и Ближний Восток ему не безразличен!

— Сомневаюсь, чтобы в столь напряженное время кому-

либо удалось добраться отсюда до Германии, — донесся чей-то голос с сильным акцентом, напоминавшим Хаиму англичанина, который принимал его и Ойю в мишторе. — Это чрезвычайно сложно.

— Не пугайте! Для вас, как вы уверяете, это чрезвычайно сложно, а для нас — очень просто, — задиристо ответил Штерн. — Человека я переброшу в Ливию. А там у меня есть люди, которые найдут ход к главнокомандующему итальянской армией...

— К самому маршалу Бальбо? — удивленно спросил тот же голос, принадлежащий, по-видимому, американцу в светло-сером костюме.

— Да, к самому, — подчеркнуто безразличным тоном ответил Штерн. — А уж он-то сумеет доставить моего человека невредимым в Берлин! И не как-нибудь, а кратчайшим путем! В этом можете не сомневаться...

— Возможно, но я бы не советовал этого делать. Сейчас не время...

— Что вы говорите?! — послышался удивленно-ехидный голос Штерна. — Скажите, пожалуйста!

— Как угодно, — с достоинством ответил американец. — Обстановка складывается настолько не в нашу пользу, что с нацистами надо вести себя осмотрительнее и, разумеется, ни в коем случае не проводить курс на обострение взаимоотношений с англичанами и, пожалуй, с арабами тоже.

— Как, как?! — завопил Штерн, словно его ужалили. — Нам склонить голову перед англичанами и сложить руки перед арабами?! Неслыханно!

— А почему, собственно, вы так полагаете, Майкл? — сдержанно спросил седой представитель «Еврейского агентства для Палестины», который, очевидно, не менее Штерна был поражен таким советом своего коллеги. — Мы бы хотели знать...

И Майкл рассказал о создавшемся неблагоприятном положении в результате недавно полученных сведений о приказе Гитлера начать наступательные операции немецких войск во Франции.

— А разве это плохо? — вновь бесцеремонно прервал его Штерн. — Кажется, надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что, поскольку Франции становится кисло, значит, и Англии уже не сладко; если же Англии будет совсем горько, значит нам легче добиться отмены ограничения на иммиграцию, а это наша главная задача!

— Но вы не подумали, — возразил Майкл, — что если англо-французские союзники начнут терпеть поражения на

европейском театре военных действий, то здесь, на Ближнем Востоке, моментально зашевелиятся итальянцы?! И, по всей вероятности, вам неизвестно, что Гитлер несколько раз предлагал прислать сюда одну-две бригады «в помощь» итальянцам, как только они выступят!.. Конечно, Муссолини отказывается от подобных услуг. Он прекрасно понимает, что стоит позволить немцам вступить в эти края одной ногой, как вторую они поставят сами... Однако надо иметь в виду, что Гитлер не отказывается от своей затеи... А что означает присутствие по соседству с Палестиной войск вермахта, надеюсь, нет надобности объяснять. Относительно же оружия, которое немцы подбрасывают вам, то его, конечно, нужно принимать и консервировать...

— Чтобы англичане могли его рано или поздно конфисковать? — крикнул Штерн. — Этого вы хотите?

— Мне остается либо пожать плечами, либо ответить вашими же словами, а именно: надо быть полным идиотом, чтобы так несерьезно мыслить и настолько плохо консервировать оружие... — спокойно парировал Майкл. — Изыщите более надежный способ хранения! Оружие пригодится. Складывающаяся во Франции обстановка заставляет думать о многом...

— При чем тут Франция? — вскрикнул Штерн. — Людей и оружие мы получаем не от нее, а от ее противника!.. На чьей стороне мы должны быть!

— Верно, — согласился Майкл. — Дельный фермер щедро кормит свой скот, предназначенный на убой...

Штерн взорвался:

— Это мы скот?!

— С точки зрения заправил Германии, бесспорно, — сдержанно ответил Майкл. — При первом удобном случае они с удовольствием отправят нас на бойню...

— Врете! — истерически закричал Штерн. — Басни эти можете рассказывать сколько угодно у себя в Америке. Здесь почти целый час зачитывали заверения доктора Геббельса! А вы что? Глухим притворяетесь?!

Майкл перебил:

— Все эти заверения — блеф!

— А пулеметы? — выходя из себя, уже орал Штерн. — А карабины? Пистолеты? Мины, патроны, взрывчатка?! Это что? Тоже блеф? А то, что на Корфу отправляют транспорт за транспортом с холуцями? А разве многие из тех, кто уже находится здесь, прибыли сюда не благодаря Германии?!

— Посмотрите лучше, что благодаря Германии творится

с нашими братьями и сестрами в Польше! —слегка повысив голос, произнес Майкл.

— А что происходит в Польше, что?! — перебил Майкла Штерн.

— Льется кровь наших людей... Все еврейское население, независимо от пола и возраста, звания и социального положения, загнано немцами в гетто!

— И что «гетто»?

— Как так «и что гетто»? Есть сведения, что Гитлер намерен разрешить «еврейскую проблему» крайне жестоко. И если он пока воздерживается от выполнения своих намерений, то потому только, что опасается неблагоприятной для себя реакции в Штатах!

— Вы так полагаете? — недоверчиво спросил седой представитель из Вашингтона.

— Не только я, но и люди гораздо компетентнее нас с вами так считают... Оттого наш президент и собирается поставить вопрос о приеме полумиллиона или миллиона еврейских беженцев...

— И вы, как его помощник по вопросам оказания содействия жертвам нацизма, ездили с этой целью в Германию? — настороженно спросил седовласый. — Правильно я вас понял, Майкл?

— Правильно.

— Так я и знал! — с горечью воскликнул эмиссар. — Президенту нужно заработать дополнительный политический капитал. Ему не терпится заполучить голоса наших евреев на выборах и всякое такое... Понятно!

— Прежде всего мы хотим спасти людей! — энергично парировал Майкл. — Что, по-вашему, лучше: подвергать риску миллион ни в чем не повинных людей или вывезти их в Америку?

— Да! Представьте себе, лучше! — завопил Штерн. — Из пятисот тысяч немецких евреев уже эмигрировало из Германии около четырехсот тысяч! А сколько прибыло сюда! Еле-еле набирается пятьдесят тысяч!.. Причем, их мы вырвали с помощью вот этих самых нацистов, которых вы здесь поносите! Но это всего десять процентов... Капля в море! А куда, позвольте спросить вас, девались остальные? Ваша Америка их проглотила, чтоб вы горели с ней вместе!

— Вы не хотите вникнуть, Майкл, в существо всей трагедии, — примирительным голосом сказал его седовласый коллега. — Ведь европейский еврей второй раз на протяжении своей трудной жизни не решится пересечь океан, чтобы поселиться на землях своих праотцов, если даже предполо-

жить, что в Америке, куда вы его вывезете, ему будет тяжело. Мы с вами прекрасно знаем истинное положение в Америке: будет этот несчастный эмигрант скитаться и мыкаться из одного штата в другой, ремесленничать или торговать, браться то за одно дело, то за другое и изо дня в день проклинать вас и себя, но на новое путешествие уже не решится. Только бы его не трогали! А мы, сионисты, обязаны раз и навсегда восстановить наше государство, и мы не восстановим его до тех пор, пока в Палестине не будет создан численный перевес евреев над арабами!

— Меня удивляет, — с горечью ответил Майкл, — что все вы здесь, как я вижу, не понимаете, насколько необходимо срочно, безотлагательно спасти наших людей от нависшей над ними угрозы гибели, а уж потом думать о численном соотношении евреев и арабов и о создании государства!

— Вы изменяете идеалам нации, Майкл! — воскликнул Симон Соломонзон. — Это непростительно!..

— По-вашему, спасение людей от гибели — измена, а по-моему, это элементарная человечность, не говоря уж о том, что речь идет о людях нашей национальности!

— Вы не защитник еврейского народа, — кричал Штерн, — а его последний предатель! И ваше место на виселице!

— Не угрожайте... — хладнокровно ответил Майкл. — Поберегите лучше свою горячую голову, пока она окончательно не вас не подвела...

— Мне угрожать, предатель!? — раздался дикий вопль Штерна, а вслед за этим последовал грохот упавшего стула и топот ног, затем послышались возгласы:

— Штерн!

— Майкл!..

— Хавэр Штерн, останови...

Прогремел выстрел, второй...

Нуци, вскочивший к тому времени со стула, теперь резко открыл дверь. Через его плечо Хаим увидел стоявшего с пистолетом в руке Давида Кноха, а рядом с ним — корчившегося на полу человека в сером костюме. Хаим сразу узнал в нем того самого элегантного рыжевато-го мужчину, с которым вечером на сборище обнимались и целовались посланец «Еврейского агентства для Палестины», Симон Соломонзон и Штерн. Хаим заметил, что у Штерна с подбородка капала кровь.

В кабинете воцарилась на несколько секунд абсолютная тишина, и тогда все услышали, как стонущий на полу Майкл шептал:

— Фашисты-ы-ы... Убийцы-ы...

Раздался выстрел. Хаим ясно увидел пистолет в руке Штерна.

Нуци повернулся к побледневшему от испуга Хаиму и велел ему немедленно сойти вниз, в холл, и ждать его там.

Как пьяный, спустился Хаим по крутой винтовой лестнице, пробежал через темный коридор, не понимая, что происходит в кабинете хозяина — Соломонзона. Но не успел он отдышаться, как следом примчался Нуци Ионас.

— За углом аптека. Слышишь, Хаим? Около гимназии Бальфура... Знаешь, где это?

— Знаю, знаю...

— Беги туда. Там наша машина и шофер. Скажи ему, пусть сейчас же едет сюда. Понял? Только смотри, чтобы он не уехал, куда мы договаривались с ним вчера! Понял? Ни в коем случае! Сюда пусть едет! Срочно! И больше ничего не говори... А сам иди домой. Доберешься, ничего... И никому ни слова! Идешь с работы, из порта и... все! Дома увидимся, поговорим. Понял? Беги!

Хаим побежал сломя голову. Еще издали увидел он перед аптекой соломонзоновский автомобиль. Шофер пристально посмотрел на бледного, испуганного Хаима, дважды переспросил, не надо ли ему, как было условлено прежде с Ионасом и Кнохом, ехать к отелю Гат-Римон? Наконец убедившись, что холуц не путает, тотчас же дал газ мотору.

Хаим остался один посреди темной улицы. И сразу почувствовал, как смертельно устал за этот день: подкашивались ноги и лихорадило так, будто снова начинался тиф...

«Единый народ, единая нация, единое государство...» — думал он, с трудом преодолевая озноб.

Сознание того, что он оказался втянутым в темные махинации деятелей Экспортно-импортного бюро, не давало Хаиму Волдитеру покоя. Его терзали страшные догадки о возможных последствиях незаконий и злодеяний, совершенных при его невольном участии. «Это же настоящие гангстеры, ей-богу! — с ужасом размышлял Хаим. — Я думал, что следил за разгрузкой прессованного сена, а на самом деле принимал контрабандное оружие... Ничего себе дела, а?! Потом пошел как будто на интересное собрание, а стал свидетелем и даже соучастником убийства человека! Это же пахнет тюрьмой... И, наверное, больше, чем тюрьмой!.. Вот тебе и Хаим Волдитер из Болграда... И почему так все получилось? Случайно? Что-то не похоже... Поначалу затеяли скандал, потом перешли к стрельбе... И чего вдруг у аптеки в ночь на субботу дежурил

автомобиль Соломонсона? Ясно, как божий день, что все было подстроено...»

Хаим не ошибался, предполагая, что старшие хавэрим намеренно устранили американского гостя. Об этом ему доверительно, как соучастнику, поведал Нуци Ионас на другой день, когда они уединились за флигелем-временкой Хаима. Час был послеобеденный субботний, все отдыхали. И хотя солнце палило нещадно, Нуци Ионас чувствовал себя превосходно. После событий минувшей ночи он безмятежно проспал до обеда и был удивлен, когда узнал, что Хаим под впечатлением пережитого не сомкнул глаз.

— Напрасно, Хаймолэ, ты так переживаешь, — сказал он. — Не в твою пользу это — во-первых... Я тебя оберегаю и скрываю твою гнилую мещанскую сентиментальность, но хавэр Дудл Кнох если узнает — не потерпит этого... И, во-вторых, тебе надо понять и привыкнуть к тому, что ради достижения великой цели мы обязаны беспощадно убирать всякого, кто мешает нам. А в-третьих, до нас и раньше доходили кое-какие слухи о колебаниях Майкла, но никому и в голову не приходило, что он может скатиться до измены!

Нуци Ионас поведал Хаиму о том, что Симон Соломонзон и вся верхушка «Акционс-Комитета» прежде были уверены в Майкле, и тот не раз на деле оправдывал их доверие. Никто не сомневался, что Майкл их ставленник в Вашингтоне, не просто разделяет их убеждения, но и активно помогает им.

— Наши старшие хавэрим были твердо убеждены, — подчеркивал Нуци, всячески стараясь как можно убедительнее мотивировать устранение Майкла, — что этот паршивый америкашка полностью разделяет нашу готовность сотрудничать не только с немецкими национал-социалистами, но и с самим дьяволом ради достижения поставленной задачи — создать «Третье Еврейское государство»! И когда сюда докатились слухи о том, что он колеблется в решении отдельных принципиальных вопросов и порою говорит одно, а делает другое, то хавэрим из «Акционс-Комитета» решили сами в этом удостовериться.

— И если слухи подтвердятся, то убить? — неожиданно для себя спросил Хаим.

— А как же иначе?! Ведь этот подлец выполнял личное поручение президента Штатов! Понимаешь, что было бы, представь он Вашингтону нежелательную для нас информацию о положении евреев в Германии и на оккупированных ею территориях?! Президент наверняка принял бы самые энергичные меры для вывоза из Европы миллиона, а может, и того больше, евреев! Ведь ему в первую очередь нужен политический

капитал... Вот, мол, господа избиратели, смотрите, какой я гуманный, спасаю миллионы людей от коричневой чумы и тому подобное... И, конечно, ни слова о том, что иммигранты — даровой труд для американских бизнесменов. За такое «благодеение» наши еврейчики всю свою жизнь расплачивались бы нищенским существованием, тяжким трудом и всяческими унижениями... Откровенно говоря, нам наплевать на то, какая судьба ждала этих наших соплеменников за океаном! Хуже другое — перспектива массовой иммиграции евреев из Европы в Америку превращает в мыльный пузырь все планы наших руководителей... И «Акционс-Комитет» ни за что не пойдет на такой шаг, какой бы ценой не пришлось расплачиваться за это нашим единоверцам!

Делясь с Хаимом сокровенными мыслями, Нуци Ионас все же не договаривал главного: Штерн, являясь вожаком «Штерн-ганга», одной из крайне экстремистских групп бейтарцев, вместе с тем возглавлял так называемый руководящий центр, в состав которого входили Эйлик Фришман, ведавший организационными вопросами, Элиас Нейски, осуществлявший связь с границей, и некий доктор Шаубер, направлявший идеологическую деятельность. Триумвират этот и особенно стоящий над ними главарь Штерн, при любых обстоятельствах оставаясь в тени, руководили из-за «приспущенного занавеса». Обо всем этом Нуци еще не считал нужным осведомить Хаима.

— Твой котелок, Хаймолэ, не в состоянии переварить сразу всего, что я мог бы тебе сказать, — таинственно произнес Нуци. — Пока же пусть будет тебе ясно одно: с ренегатами и предателями, подобными Майклу, нельзя поступать иначе. Жизнь подтверждает правильность такой практики... Примеров этому много...

Ионас был прекрасно осведомлен о том, как возвращавшегося из Германии в Америку Майкла завлекли в «страну обетованную» под предлогом необходимости «изучить обстановку» и в Палестине: его информация предназначалась для президента Штатов. Знал Нуци и о том, что ждало Майкла в Палестине в случае, если оправдаются слухи о его «двурушничестве», и что ответственным за «проверку» и последующее выполнение «определенного акта» был назначен член руководящего центра Нейски, которому, по роду его официальной деятельности, было легче, чем кому-либо, осуществлять связь с зарубежной агентурой. Так же, как Штерн, он считал террор кратчайшим путем достижения цели. И тем не менее в тот самый день, когда предстояла решающая встреча с Майклом, Элиас Нейски был отстранен от участия в беседе, а «про-

веркой» Майкла неожиданно занялся сам Штерн... Обстоятельства, приведшие к такой перемене, оставались тайной даже для Нуци Ионаса. А суть этих обстоятельств сводилась к тому, что именно Нейски, уже зная о колебаниях Майкла, все же добился через своих людей в Соединенных Штатах Америки назначения его на высокий пост.

Штерну этого было достаточно, чтобы не полагаться на Элиаса при решении судьбы Майкла. Этим и объясняется, что Штерн, до приезда в Палестину американского посланца почти никому не показывавшийся на глаза, вдруг в тот злополучный вечер лично явился на столь расширенное собрание. Вот почему его появление тогда так поразило Нуци Ионаса.

Все еще не уверенный в том, что Хаим вполне уразумел необходимость и целесообразность столь жестокой расправы с инакомыслящими, Нуци не нашел ничего лучшего, как сослаться на Макиавелли, оправдывавшего любые методы борьбы за власть.

— Ты хотя бы слышал это имя? — спросил он.

— Слышал, — недовольно буркнул Хаим, и ему внезапно захотелось осадить приятеля, возмнившего себя чуть ли не вершителем судеб еврейской нации. — Макиавелли Николо ди Бернардо... О нем, между прочим, всегда с восторгом отзывается фон Риббентроп! Да и румынские легионеры тоже...

— Ну, я не знаю, кто там им восторгается! — Нуци раздраженно оборвал Хаима. — Знаю лишь, что он правильно говорил и мы правильно поступили, убрав с дороги ренегата Майкла...

Хаим горько улыбнулся, вспомнив, как Симон Соломонзон, Штерн и другие руководители «Акционс-Комитета» радужно обнимали и даже целовали уже тогда втайне обреченного ими на смерть человека. «Поистине макиавеллевское коварство и лицемерие...» — подумал он и сказал:

— Теперь ты обзываешь этого Майкла подлецом и всячески поносишь его... Но в тот вечер на собрании старшие хавэрим из «Еврейского агентства» и «Акционс-Комитета» радужно обнимали его и даже целовались с ним, когда он вошел в зал!..

— Ну и что? Если хотят вывести недруга на чистую воду, чтобы потом уничтожить, сначала его обнимают и целуют!.. — цинично заявил Ионас. — Ты этого разве не знал?

Наступила неловкая пауза. Пожалев, видимо, что сначала погорячился, Нуци, помолчав немного, вдруг сказал тихо и задумчиво:

— Жаль, конечно, что тщательно разработанный нами

план ликвидации заокеанского гостя пошел насмарку... Но, как говорится, что бог ни делает, все к лучшему...

И Нуци рассказал, что труп Майкла, как только прибыла машина Симона, отвезли на окраину Яффы.

— Первоначально мы должны были его выбросить где-то между тюрьмой и инфекционной больницей... Самое подходящее для ренегата место! Но Кнох, который руководил этой операцией, передумал. Мы проехали еще пару кварталов. Как раз там, где кончается мусульманское кладбище и начинается с одной стороны греческое, а с другой — латинское... И вернулись мы уже дорогой на Бат-Ям. Мы выбросили тело в кювет, предварительно сняв с него пиджак и очистив карманы брюк... Теперь каждому ясно, что Майкла убили с целью грабежа... Такие дела всегда нужно проделывать с головой, Хаймолэ, а не наугад!..

Рассказ Нуци был прерван донесшимися с соседнего двора истошными воплями женщины. Нуци и Хаим, прибежав туда, увидели лежащего на крыльце дома черноволосого мальчика. Моля, склонившись над ним, отчаянно кричала, ее слабые руки судорожно пытались развязать веревку на его тонкой детской шее.

Хаим осторожно отстранил Молю, развязал веревку, приподнял безжизненное тело ребенка. Нуци взял кувшин с водой у стоявшей рядом женщины, плеснул в перекошенное предсмертной судорогой жалкое и сплошь в свекольных пятнах лицо мальчика. И Хаиму вдруг показалось, что из-под плотно сомкнутых посиневших век ребенка проступили слезы...

— Мальчик мой, родной мой... — причитала Моля и гладила, целовала мокрое лицо и головку сына, прижимала к груди его худенькое тельце.

Сбежавшиеся соседки с трудом оторвали ее от сына, тщетно пытались успокоить. Мужчины внесли мальчика в дом, положили на пол.

Во дворе появилась Нуцина теща, видимо, узнавшая о случившемся несчастье. Втиснувшись в небольшую толпу испуганно притихших людей, она безапелляционно заявила:

— А кто довел мальчика до этого? Она! Разве это мать, я вас спрашиваю? Кошмар!.. Не удивительно, что он решил на такой поступок, да простит меня бог... Никогда бы не подумала, что такой маленький мальчик вообще что-то понимает! Сколько ему было? Он же еще ходил в бейт-а-сефэр!¹⁷⁶ А выходит, все видел и все понимал, несчастный...

¹⁷⁶ Начальная школа.

На старуху зашикали, пытаюсь урезонить, пристыдить. Но не тут-то было. Нуцина теща взвизгнула, как ужаленная.

— Что вы меня останавливаете? И скажите на милость, что это вы вдруг заступаете за нее? Кто, скажите, не знает эту шхуну?! Мужа своего довела до того, что он уже не вылезает из больницы, а сама — нет ночи, чтобы сидела дома!.. Что? Неправду я говорю?! Вы ее застали вечером дома? Так что с этого? Зато по утрам от нее, я уверена, выходила не одна пара брюк!.. И это жена, по-вашему? Мать ребенка?

— Зачем же так наговаривать? — вмешалась женщина в сером платке с заплаканными, скорбными глазами. — Два раза в день она бежит в больницу — это все знают, кто работает с ней на «Дельфинере»: утром, чуть свет, и в обед, хотя у самой и маковой росинки во рту не было. А к гудку возвращается. Это же надо уметь, а вы бог весть что говорите... Не хорошо так.

— Не делайте из меня, пожалуйста, дуру! — завопила старуха. — Я еще, слава богу, не выжила из ума! И, между прочим, не собираюсь... Да. К вашему сведению. Как-нибудь я знаю ее лучше вас: днем она будет бегать в больницу к мужу, а по ночам спать с мужчинами...

— А если даже так? От хорошей жизни разве? Где ей, несчастной, взять деньги на больницу, на доктора, на лекарства? Откуда, если она гроши зарабатывает? А-а?!

— Откуда? — ехидно переспросила старуха, воинственно подбоченясь. — Кошмар! Посмотрите на них! На этих современных женщин!.. Они не знают, откуда люди берут деньги... Как будто бы с неба свалились! Не иначе, чтоб я так была здорова... Работать надо! Трудиться! Не телом же торговать и себе удовольствие получать! А ваша Моля что? Все думает, что если когда-то в Венгрии была артисткой, то ей, видите ли, не подобает работать так, как все люди. Она ждала, что приедет в Палестину и ей будут всё подавать на тарелочке прямо в постель? Да-а? А кукиш она не хочет? Здесь люди трудятся от темна до темна! А у нее что, руки отсохли бы, если, скажем, после фабрики она пошла кому-нибудь посуду помыть, белье постирать или еще чего-нибудь поделат, как честные люди поступают?

— Уж ты бы, старая сплетница, помалкивала лучше о честности! — К старухе подступила рослая моложавая женщина. — Сама-то ты чем занимаешься? Деньги ссужаешь под проценты, а потом три шкуры дерешь, если хоть на денек опоздаешь с возвратом! Я-то тебя знаю, как облупленную, будь ты проклята, ростовщица! Кто, как не ты, зажулила обручальное кольцо несчастной Моли, которую сейчас поно-

сишь последними словами? Молчишь, ведьма? А бриллиантовые сережки вдовы хромого провизора, что держал аптекарский магазин на улице Рабби Акива, не ты ли прикарманила? И кто их носит теперь, бриллиантовые сережки? Твоя бесплодная дочь!

— Кошмар! — Нуцина теща окинула столпившихся вокруг нее женщин презрительным взглядом. — При чем тут моя дочь? Кого она трогает? Кому она мешает жить? Или я, может быть, не свои деньги, а чужие даю в долг? Не нравится платить проценты, не берите займы! Никто вас, голодранцев, не принуждает. Не я же прихожу к вам, а вы сами прибегаете, плачете и божитесь, что вернете в срок, клянчите так, что аж тошнит! И после всего этого я еще и ростовщица? А вы бы как хотели? Без залога и без процентов, на дурницу? — Старуха затрясла кукишем. — Вот вам!

— Ой, люди, люди... Постыдились бы! — послышался робкий голос из толпы. — Такое тут несчастье, а вы свои счеты сводите... Бога бы постыдились!

Нуци потянул Хаима за локоть.

— Пошли! Пусть судачат... Не наше это дело. Пошумят и помирятся. Одно слово — женщины... Что с них взять? Гвалт поднимут, а если разобраться, так все это выеденного яйца не стоит.

Но и на дворе, где стоял дом Нуци, собрались соседи, обсуждая печальное событие. Из этих разговоров Хаим узнал, что муж Моли, тромбонист известного в Палестине симфонического оркестра, играл по три-четыре, а то и по пять концертов в неделю. Вот эти-то концерты и подорвали его здоровье. Непривычна для европейца здешняя жара! Разгоряченный, с пересохшим горлом, музыкант в антрактах с жадностью набрасывался на холодную воду. Сначала он занемог немного, но не придавал этому значения: думал, обыкновенная простуда, пройдет. Может, полежать бы ему, побережься, так и в самом деле прошло бы. Да куда там! Зарабатывать надо. Вот и свалился... А теперь который месяц в больнице! Может, туберкулез, а может, и того хуже... Словом, не сегодня-завтра отлучается.

Так говорили люди, собравшиеся во дворе. Слушая их, Хаим задумался: «Майкл... Мальчик Моли... Несчастный музыкант... Не слишком ли много смертей?»

Хаим чувствовал, что есть какая-то общая причина, породившая все эти столь различные по обстоятельствам трагедии, есть какая-то связь между ними. Но как разгадать ее до конца?

А люди потихоньку разговаривали, сочувствуя, вздыхали.

Хлопнув калиткой, во двор вошла Нуцина теща и тут же воинственным, словно после сражения возвращалась с победой, трескучим голосом возвестила:

— Ну! Так я вас спрашиваю, кто был прав: я или не я? Он-таки удавился от позора за свою мамочку!.. А вы думали?!

Оказалось, что по пути домой старуха успела расспросить повстречавшегося ей чернявого мальчугана-сабра, заводилу местных ребят.

Он готовился стать «йешивэ-бухэром»¹⁷⁷ и поэтому досаждал всем соседям за малейшие отклонения от норм религиозного поведения. Это он выследил, куда по вечерам ходила Моля, он оповестил всю детвору о том, что она проводит ночи в притоне, он мучил сынишку Моли, обзывая его мать последними словами. Чернявый клялся, что говорит правду.

«Я сам подслушал однажды, как мой старший брат — он работает шофером такси — рассказывал своему приятелю, что зашел в один домик — бейт-зонат¹⁷⁸... — брызгая слюной, сыпал скороговоркой чернявый мальчуган. — И там он увидел твою маму. Это в Тель-Авиве. Около порта. В самый конец большой улицы Лассаль-швейсс... Недалеко от Йарден-отель, где старая синагога!.. А хочешь, я даже скажу тебе, как мужчины зовут твою маму? «Сильва»! И еще знаю, что платят ей за ночь десять фунтов... Хай-Адонай¹⁷⁹, что я не вру! Я уже ходил туда смотреть. Там много таких женщин. Они все ходят знаешь как? Как на пляже! Если не веришь, могу сходить с тобой, когда твоя мама уйдет вечером из дома! Убедишься сам, Хай-Адонай!»

Нуцина теща торжествовала.

— И он-таки убедился!.. Так убедился, что проклял свою дорогую мамочку и удавился...

— Ой-ой-ой-ой! Ну что вы говорите? Зачем?! Вы же знаете, что мальчик оставил матери письмецо! И какое это хорошее письмецо! — прервала старуху заглянувшая вслед за ней во двор соседка. — Он же написал, что ни в чем не винит мать, понимает, как много нужно было денег на лечение отца, и что только ради его спасения она пожертвовала своей честью и своим здоровьем... Он просил прощения у нее за свой поступок, за то, что не смог пережить такое несчастье... А вы говорите, будто он проклял свою мать! Неправда это! К чему наговаривать?!

¹⁷⁷ Набожный парень — ученик специальной талмудической школы.

¹⁷⁸ Дом терпимости.

¹⁷⁹ Клянусь богу жизнью.

Нуцина теща попыталась и это предсмертное письмо истолковать на свой лад. Снова началась перепалка, но Хаим не стал слушать. Он отошел в сторону. Ему было нестерпимо стыдно за Нуцину тещу, горько и обидно за Молю и до боли в сердце жаль погибшего мальчика. Увидев в дверях своей временки встревоженную Ойю, он метнулся к Нуци Ионасу и испуганно признался:

— Ума не приложу, как объяснить все Ойе? Ведь ей теперь ни в коем случае нельзя волноваться...

Нуци с недоумением посмотрел на Хаима.

— Тоже мне важный вопрос! Как-нибудь успокоишь... В торе не случайно написано: «И это пройдет!» Пройдет и следа не оставит. Мелочь! Немцы собираются брать Париж, и то не страшно... А ты говоришь о какой-то чепухе... Не об этом нам с тобой надо думать, если мы хотим воссоздать собственное государство!..

27

Провокатор Лика втерся в доверие к подпольщикам, стал доставлять нелегальную литературу грузчикам железнодорожной станции «Бухарест-южный — малая скорость», навел агентов сигуранцы на связанного Томова и... остался в дураках. Ни уговоры, ни посулы, ни пытки, ни даже очная ставка с предателем не принесли сигуранце желаемых результатов: арестованный Томов не переставал утверждать, что его принимают за кого-то другого и что он понятия не имеет ни о какой подпольной литературе.

После серии допросов с нарастающим «пристрастием» деятели сигуранцы решили оставить упрямого бессарабца в «подвешенном состоянии» до тех пор, пока им не удастся наконец отыскать и арестовать Захарию Илиеску. Комиссар Ионеску и подкомиссар Стырча были почти уверены в том, что Томов является одним из звеньев в длинной, хитро сплетенной цепи подпольщиков, возглавляемых механиком Захарием Илиеску, и полагали, что в его лице имеют дело с очень опытным революционером-конspirатором. И тем не менее им представлялось просто загадочным исчезновение механика из гаража, когда они явились туда для его ареста и тотчас же блокировали полицейскими нарядами все выходы.

Для старшего инспектора Солокану таинственное исчезновение Илиеску из-под носа целой своры полицейских не было, конечно, загадкой, но открыть эту тайну своим подчиненным, он, понятно, не мог — отнюдь не потому, что и теперь хотел уберечь механика от ареста. Наоборот, теперь он каял-

ся, не мог простить себе минутной слабости, необдуманного и неожиданного для самого себя отступления от служебного долга из-за личной симпатии к Илиеску, в мужестве и благородстве которого он имел возможность убедиться в связи с трагической гибелью дочери. Теперь он хотел исправить последствия опрометчивого шага и скорее обрести прежнюю уверенность в правоте дела, которому преданно служил всю жизнь. Теперь он настойчиво требовал от своих подчиненных:

— Искать Илиеску неустанно! Искать и найти!

— Достать механика хоть из-под земли! — вторил ему комиссар Ионеску, в свою очередь отдавая распоряжения начальникам детективных бригад. — Либо подавайте рапорт на увольнение! Таков приказ самого инспектора-шефа Солокану...

Подкомиссару Стырче больше чем кому-либо хотелось проявить себя. Он уже попал впросак со своим агентом, который даже на очной ставке не сумел доказать доказуемое... И вообще, до сих пор Стырча проявил себя только в способности свирепеть, доходить до бешенства при допросах арестованных. Но и это его качество пока не нашло положительной оценки у начальства.

— Дубасить тоже надо с умом, расчетливо, а не потому, что у вас руки чешутся и нервы сдают, — заметил ему однажды Солокану. — Все это сможет сделать с таким же успехом любой полицейский... У нас их более чем достаточно. А на подкомиссара мы возлагаем и другие обязанности...

Подкомиссар Стырча метался по секциям и секторам¹⁸⁰, придумывал и устраивал хитроумные ловушки, изучал круг знакомых механика Илиеску по гаражу «Леонида и К°» и по его прежней работе в железнодорожных мастерских «Гривица», разрабатывал слежки, участвовал в облавах — и все безрезультатно.

Стырчу вдруг осенила мысль:

— А не бежал ли механик к большевикам?

От неожиданности и удивления комиссар Ионеску так вытянул тонкую длинную шею, что его маленькая голова с прилизанной прядью жидких волос, казалось, вот-вот коснется закопченного табачным дымом потолка. Он хотел было поднять своего подчиненного на смех, но смекнул, что и это ни на чем не основанное предположение можно будет подsunуть начальству в качестве объяснения безрезультатности поисков механика Илиеску.

¹⁸⁰ Районы в Бухаресте (рум.).

Услышав предположение Ионеску, Солокану мрачно сдвинул брови, прищурил глаза и ничего не ответил. Долговязый комиссар без слов понял, что инспектор обозвал его про себя идиотом или чем-то в этом роде. Ионеску поспешил дать обратный ход:

— Я, разумеется, не верю в это... Но и такую возможность нельзя отбрасывать. С подобными случаями мы не раз сталкивались...

— Выбросьте эту чушь из головы, комиссар, — грубо прервал его шеф. — Илиеску в стране. И я больше чем уверен, что он находится в Бухаресте.

Солокану извлек из ящика стола несколько листиков бумаги оранжевого цвета с печатным текстом и протянул их комиссару.

— Вот, полюбуйтесь! Пока вы возились тут с бессарабским дикарем, Илиеску и его друзья поспешили выпустить новую порцию листовок. Я думаю, что шрифт, бумага и прочее, как видите, здесь не случайно те же, что и до ареста бессарабца... Я вовсе не исключаю, что бессарабец — подпольщик, но он мелкая сошка, и листовки — дело не его рук, а Илиеску. Однако мы, видите ли, никак не можем загнать его в западню. Сигуранца его величества! Позор...

Ионеску хотел было сказать что-то в свое оправдание, но Солокану прервал его:

— Продолжайте искать! И не пытайтесь оправдывать свою неспособность умело и оперативно действовать какими-то вздорными аргументами!

...Арест Ильи Томова причинил товарищам по подполью много хлопот и волнений.

— Господа из сигуранцы — мастаки заставить и мертвого заговорить, — с огорчением сказал Илиеску, когда узнал от Аурела Морару об аресте Томова. — Илие еще молод, опыта у него маловато, а испытание ему предстоит тяжелое. Ручаться в таких случаях нельзя... Кто знает, выдержит он пытки или нет?.. Надо нам, Аурикэ, принимать срочные меры...

И меры были приняты. Одна часть товарищей из звена Томова была переведена на нелегальное положение, другая — прервала общение друг с другом, прекратила работу... Морару перевез типографию из подвала гаража профессора Букура в другое место. Одновременно с типографией он перевез из пансиона тетушки Томова на улице Арменяскэ и товарища Траяна на другую конспиративную квартиру.

Сделать все это было очень не легко, на каждом шагу возникали непредвиденные трудности, но так или иначе меры предосторожности были выполнены в течение двух-трех дней после ареста Томова. Нерешенным оставался вопрос о профессоре Букуре. Что касается типографии, то сигуранца могла поверить профессору на слово, будто он не знал о ее существовании в гараже. Но Илиеску не исключал, что сигуранца может допытаться и до того, что именно Букур извлек пулю из бедра Томова, что именно он, увидев на снятом с запястья руки Ильи наручнике немецкое клеймо, написал статью «За румынский хлеб—нацистские кандалы». Надо было во что бы то ни стало уберечь Букура от ареста... Такое решение нетрудно было принять, но как его осуществить?

После долгих размышлений Илиеску пришел к заключению, что Букуру следует на время покинуть страну, но прежде, чем он успел передать через Морару это свое заключение профессору, произошло событие, заставившее подпольщиков всемерно ускорить реализацию этого решения.

Поздно ночью в пансион мадам Филотти нагрянула свора полицейских и шпиков во главе с подкомиссаром Стырчей с ордером на обыск. Они учинили форменный погром в помещении: отодрали половые доски, рылись в чемоданах всех постояльцев, вывалили на пол одежду и белье из гардероба и комода, вытащили и исследовали все ящики буфета, ощупали и разбросали перины и подушки, сняли и вскрыли икону, выскребли золу из печек, рылись на чердаке, на кухне и в чулане.

...Тем временем Стырча заседал на хозяйку:

— С большевиками снюхались! Дали приют агентам Коминтерна! Позарились на денежки из Москвы!

Бледная, как полотно, мадам Филотти растерянно моргала глазами. Она не знала, что такое Коминтерн, не понимала, при чем тут Москва, и ответила совсем невпопад:

— Мне платят квартиранты, да и то не всегда, а налог я вношу в срок... Что правда, то правда — жил у меня тут долгое время один агент какой-то фирмы, может, и той самой, которую вы назвали, только он исчез, так и не уплатив...

— Что за агент? — насторожился Стырча. — Как его фамилия?

— Митреску. Господин Лулу Митреску! Он был младшим лейтенантом, а потом...

— А потом стал сутенером и подонком! — прервал супругу ня Георгицэ и, расхрабравшись, добавил: — Таких вы не забираете, а не мешало бы!

Стырча притворился, будто не знает осведомителя сигу-

ранцы Лулу Митреску, но резкая реплика ня Георгицэ задела подкомиссара, и он набросился на него:

— Вы лучше скажите, как попал к вам каналья бессарабец? С кем он здесь общался? Кто к нему приходил?

— Да как сказать, господин шеф, со всеми общался, кто тут живет... А попал известно как, — как все попадают, кому жить негде... — нарочно тянул старик. — Вы-то сами знаете...

— Хватит канючить! Я спрашиваю, кто к нему приходил? К кому он ходил?

— К кому ходил — знать не знаю, а к нему приходил тут один тип, фамилию его не знаю, бутылку вина они распили и меня угостили...

— Какой он из себя?

— Прямо скажу, господин шеф, неказистый, щупловатый такой, чернявый, как жук, и... шепелявый! Словом, жуликоватый мужичонка! Не похоже, что такой механиком работает...

— Где? Где он работает? — тотчас же спросил Стырча, услышав слово «механик».

— Если не ошибаюсь, господин шеф, в Бэнясе... Да, да! Верно. На аэродроме... Там авиационная школа есть... Все уговаривал господина Томова купить форменную «сапку»! Шепелявит...

Подкомиссар Стырча был разочарован. Он понял, о ком говорит старик. Серджу Рабчу уже побывал на очной ставке с Томовым и тоже безрезультатно.

— Кто еще бывал у него? Из гаража кто-нибудь приходил?

Ня Георгицэ пожал плечами, скорчил гримасу, его и без того морщинистое лицо стало походить на высохшее яблоко.

— Больше никто, господин шеф... Уж я-то наверняка бы приметил! Как-никак, а кельнером я проработал без малого полвека и все в ресторане «Ша нуар», что на шоссе Жиану, напротив памятника авиаторам! Перевидал там всякую шваль и всех помню в лицо — и фальшивомонетчиков, и шулеров, и сутенеров, и легионеров, и вашего брата сыщиков да переодетых полицейских... А как же! И меня там все знают, кого ни спроси...

Старик долго еще продолжал говорить, хотя подкомиссар Стырча уже не слушал его. Когда же полицейские убрались, наконец, восвояси, мадам Филотти набросилась на мужа:

— С чего это ты язык распустил?!

— А я нарочно, — хихикнул ня Георгицэ, — про того механика с аэродрома, — помнишь? — все обещал господину Илие помочь поступить в авиационную школу, а как выма-

нил у него серебряные часы, так и смылся. Прикарманил, паразит, и адью! Кто знает, может, по моей подсказке сигуранца малость потревожит и этого проходимца...

Обо всем, что произошло ночью в пансионе мадам Филотти, уже утром Аурел Морару рассказал Захарию Илиеску. Рассказал и о том, как полицейский чин обрадовался, когда ня Георгицэ упомянул механика, с которым Томов встречался в пансионе, но разочаровался, услышав, что это был какой-то механик с аэродрома Бэняса...

Стало очевидным, что сигуранца по меньшей мере подозревает, а быть может, и дозналась о причастности Ильи к руководимому механиком Илиеску подполью, что теперь она пытается раскрыть связи Томова с другими сообщниками, чтобы, само собой разумеется, найти их и арестовать.

В тот же день Морару передал профессору Букуру предложение партийных товарищей на время покинуть страну. Букур негодовал, шумел, метался по кабинету. Опасения подпольщиков казались ему совершенно необоснованными, во всяком случае непозволительно преувеличенными. Но Морару был настойчив. Напомнив профессору, что подпольная типография находилась в гараже по его инициативе, что он написал статью «За румынский хлеб — нацистские кандалы», и многое другое, Морару заключил:

— Обо всем этом знает Томов. Мы верим в его преданность нашему делу, но он еще молод, неопытен, кто знает, выдержит ли жестокие истязания, на которые в сигуранце не скупятся... Ручаться нельзя, и нельзя легкомысленно рисковать...

Букур задумался, представил себе, что ждет его в случае, если сигуранце действительно станут известны факты его сотрудничества с коммунистами. Он согласился с предложением Морару, но при условии, что ему дадут какое-либо поручение.

— Быть праздношатающимся — не мое амплуа, — ворчливо сказал он. — Извольте дать задание!..

Вспомнив, что давний венгерский друг еще по учебе в Париже многократно приглашал его погостить, профессор выехал в Будапешт. Ему сообщили, к кому и как должен он обратиться, чтобы получить нелегальную литературу для доставки в Румынию, на территории которой проживает немало венгров. При этом профессора строго предупредили, что сделать это следует только после получения условного извещения о возможности его возвращения в Бухарест.

Вскоре после отъезда Букура выяснилось, что обыск в пансионе мадам Филотти, усиленные поиски сигуранцей ме-

ханика Илиеску и все прочее вовсе не было связано с какими-либо признаниями Томова. Доподлинно было установлено, что его перевели в тюрьму Вэкэрешть именно потому, что ничего не добились на допросах в Генеральной дирекции сигуранцы. Стойкость молодого подпольщика косвенно подтверждалась тем, что как Аурел Морару, вовлекший Томова в революционную работу и вместе с ним монтировавший в подвале гаража типографский станок, так и сам гараж и дом профессора Букура, судя по всему, оставались вне подозрений сигуранцы. В противном случае ее агенты не замедлили бы арестовать Морару и учинить обыск во владениях профессора.

Еще и еще раз перепроверив все данные и наблюдения, подпольщики сообщили Букура о возможности возвращения в Бухарест, но с неременной кратковременной остановкой в первом румынском городе на границе с Венгрией — Орадя-маре, — с тем, чтобы оттуда переговорить по телефону с домочадцами и лишний раз убедиться, что никаких изменений с момента отъезда из Будапешта не произошло.

Букур прибыл в Орадя-маре поздним вечером и направился в отель «Ардял». Администратор не успел оформить единственный свободный, но роскошный номер с гостиной на имя профессора Букура, как к его стойке подошел среднего роста брюнет в элегантно сшитом сером пальто. За отворотом у него проглядывал из пиджачного кармашка белоснежный платок. Он протянул администратору визитную карточку и потребовал хороший номер. Это был профессор богословского факультета Ясского университета КонстантINESКУ. Смущенному администратору ничего не оставалось делать, как предложить важному профессору поселиться в гостиной номера, снятого уже Букуром, разумеется, с согласия последнего.

Коллеги познакомились и, хотя и тому, и другому предложение администратора было не по душе, согласились с ним.

— В конце концов, мешать друг другу мы будем всего одну ночь, — шутливо сказал Букур. — Если вас устроит гостиная, то пожалуйста...

— Весьма благодарен вам, господин профессор, — несколько неловко чувствуя себя, ответил КонстантINESКУ. — Вы очень любезны!

— Боюсь, господин богослов, разочаровать вас... Любезен я бываю не часто, но полезен, смею вас уверить, всегда!

— А вам не кажется, профессор, что в данном случае ваша любезность равнозначна полезности, так как она избавила меня от бессонной ночи!

Они поднялись в номер, продолжая шутливо пикиро-

ваться, но каждый из них имел основания относиться к другому настороженно. Прежде они не были знакомы, никогда не встречались и ни в какой степени не были осведомлены о мировоззрении и политических взглядах друг друга. Впрочем, профессор Букур не сомневался, что профессору богословия может быть присуща лишь реакционная идеология и что поэтому Константинеску, несомненно, на хорошем счету у властей. Это его устраивало, так как в какой-то мере ограждало от неожиданного вторжения в номер агентов сигуранцы, особенно часто в приграничных городах устраивавших проверку личности прибывающих туда лиц. Документы у Букура были в полном порядке, но беспокойство вызывало наличие объемистой пачки нелегальной литературы...

Профессор Константинеску, в свою очередь, полагал, что репутация профессора Букура безупречно, что он широко известен в стране и за ее пределами и, по всей вероятности, близок к высшим сферам столичного общества... Поэтому и профессора богословского факультета Ясского университета устраивало присутствие с ним в номере человека, имя и репутация которого считались апробированными властями!..

Вдоволь поговорив, коллеги разошлись и только было уснули, как послышался негромкий, но настойчивый стук в дверь. Встревоженный Константинеску тотчас же поднялся с дивана и, не включая света, на цыпочках прошел в холл, отдававший гостиную от входной двери. Выжидая, он остановился, затаив дыхание.

В дверь постучали повторно столь же тихо, но тревожнее.

Константинеску вернулся в гостиную, чтобы включить свет, прежде чем открыть дверь, и заметил, что в спальне свет уже горит и профессор Букур, шаркая туфлями, что-то отодвигает, шуршит бумагой.

В дверь снова последовал стук, и по-прежнему деликатный, сдержанный.

— Кто там и по какому поводу? — недовольным тоном разбуженного ото сна человека громко спросил Константинеску, еще не дойдя вновь до двери.

— Мне нужно видеть господина профессора Константинеску-Яшь, — послышался из-за двери приглушенный голос. — Откройте, пожалуйста!

— А кто вы? Кому я тут понадобился?

— Господин профессор, это я — Изворяну!

— Изворяну?! Не знаю такого...

— Ваш бывший гимназист из Бэрлада, господин профессор! А здесь, в Орадия, я шеф сигуранцы... Откройте, пожалуйста!

У Константинеску похолодело в груди, но он взял себя в руки, крикнул и ворчливо ответил:

— Хорош гимназист! Что же? Это я вас научил ходить к профессорам по ночам и не давать им спать?!

— Не сердитесь, господин профессор, у меня очень важное и неотложное дело к вам...

— Нет у меня никаких важных дел!.. Кстати, я здесь не один и мой сосед нездоров, простужен...

— Профессора Букура не надо тревожить... Вы мне нужны. Откройте, пожалуйста, господин профессор!

Из спальной выглянуло испуганное лицо Букура с взлохмаченной седой шевелюрой. Он отчаянно замахал руками, требуя не открывать дверь.

— Ни в коем случае не открывайте... Я простужен!

Константинеску, однако, рассудил иначе. Было ясно, что если бы шеф сигуранцы пришел для выполнения своих обычных функций, например, для обыска или ареста, то не стал бы упрашивать, а запросто открыл дверь вторым ключом, взятым у администратора, или в крайнем случае взломал ее. Между тем, стоявший за дверью продолжал просить впустить его как друга... И Константинеску открыл дверь... Перед ним предстал действительно бывший его гимназист Бэрладского лицея.

— Все равно сон нарушен, — сердито сказал Константинеску. — Входите и говорите поскорее, что привело вас в такую пору. И, пожалуйста, потише. Старик профессор нездоров.

Шеф сигуранцы учтиво кивнул головой...

А профессор Букур тем временем уже извлек из чемодана тяжелую стопку туго связанных брошюр и опрометью бросился с нею к окну, но, увы, открыть его не смог. Бог весть сколько раз покрашенный масляной краской заподлицо с оконной рамой шпингалет не поддавался. Букур впопыхах придвинул стул, забрался на подоконник, хотел дотянуться до приоткрытой фрамуги, но, смерив взглядом, как высоко она расположена, безнадежно махнул рукой, заметался по спальне, выискивая, где можно было бы надежнее спрятать «вещественное доказательство». Не найдя ничего сколько-нибудь подходящего, он приоткрыл дверь, прислушался. Из холла до него донесся приглушенный разговор.

— ...У меня не было иной возможности предупредить вас, господин профессор! Дело в том, что сегодня утром вам доставят телеграмму из Бухареста. Столичная сигуранца ее перехватила и, как полагается в таких случаях, меня уже уведомили... Вот текст телеграммы...

Константинеску, все еще остерегаясь провокации, испы-

тующе посмотрел в глаза своего бывшего гимназиста, спокойно взял из его руки листок бумаги, прочитал напечатанный на нем текст. К нему обращалась связанная подпольщица, псевдоним которой был ему хорошо известен, с просьбой снабдить «лекарством больную тетюшку в Клуже...» Это означало, что ехать в Бухарест с нелегальными материалами не следует. Очевидно, в Бухаресте случилось что-то неладное, и не исключено, что еще по пути в столицу или на вокзале агенты сигуранцы подвергнут его обыску...

— Не понимаю,— недовольным тоном произнес профессор,— какой криминал вы тут обнаружили?!

— Господин профессор! Вы не доверяете мне, но прошу, выслушайте...— торопливо ответил Изворяну. — Отсюда за вами следует «хвост». Клужское отделение сигуранцы, несомненно, тоже оповещено. Поэтому то, что подразумевается под «лекарством», везти туда не следует. Вам надо как-то отделаться от него здесь и как можно скорее... Вот все, что я мог сделать для вас. И прошу поверить, что глубокое уважение, которое питали к вам все гимназисты в те годы, остается неизменным!

С этими словами, не ожидая ответа, шеф сигуранцы поклонился, приоткрыв дверь, выглянул в коридор и быстро удалился.

Константинеску чувствовал, что Изворяну искренен, и ему хотелось поблагодарить его, но сдержался. Опыт подсказывал, что и столь, казалось бы, благородный поступок может оказаться ловушкой. Подобное с ним случалось. Были провокации и более грубо состряпанные. Лет шесть назад, возвращаясь с антифашистского конгресса в Амстердаме, он остановился в Будапеште. Румынская бульварная газетенка «Револьвер» по указанию сигуранцы опубликовала тогда в жирной траурной рамке сообщение об убийстве в столице Венгрии известного профессора богословского факультета Ясского университета Петре Константинеску-Яшь во время его выступления на митинге с прокоммунистической речью. Венгерская пресса опровергла это лживое сообщение, в связи с чем бухарестские газеты дали «поправку», сообщив, что Константинеску-Яшь отнюдь не убит, но... бежал, как изменник, в большевистскую Россию. Эта провокация должна была послужить основанием для того, чтобы по возвращении профессора в Бухарест подвергнуть его унижительному допросу, а багаж — тщательному обыску, хотя сигуранца отлично знала, что прибыл он не из России, а из Венгрии.

Константинеску-Яшь постоял в раздумье и, не запирая двери, вернулся в гостиную. Букур встретил его, лукаво

сверкая светлыми глазами. Заложив руки за спину, словно позируя перед фотографом, он не без ехидства заметил:

— Стало быть, я имел честь познакомиться не с каким-то безвестным богословом, а с широко известным профессором Константинеску с приставкой «Яшь»? Не так ли?

— Вас это огорчает? — спокойно ответил Константинеску.

— Представьте себе, нисколько! Но, помнится, на визитной карточке, предъявленной вами администратору отеля, не было этой самой приставки?! Не так ли?

— Чтобы рассеять ваше заблуждение, могу предъявить ее и вам, господин Букур!

— Нет уж! — резко, но доброжелательно ответил Букур. — Избавьте! И знаете, почему? По всей вероятности, у профессора Константинеску с приставкой «Яшь» имеется по меньшей мере два варианта визитной карточки! Не так ли?

— Зачем бы это? Лишний груз, — снисходительно улыбаясь, ответил Константинеску, — и только...

Все еще не решаясь сказать случайному сожителю о своей роли в деятельности коммунистического подполья, Букур пытался вынудить Константинеску раскрыться первым.

— Ах, вот оно что! Не понимаете, зачем? — начал горячиться Букур. — А зачем за вами увяжется «хвост» и почему так называемое лекарство нельзя везти в Клуж, вам тоже непонятно?! Прелестно!.. Но я молчу. Я ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знаю... И, представьте себе, даже не в состоянии догадываться! Вас это устраивает?

— О-о нет, уважаемый профессор! Это мне понятно, между прочим, как и ваша вначале безмолвная, но очень выразительная просьба, а затем и категорическое требование не открывать дверь по той причине, что вы простужены!.. Я тоже молчу. И, конечно, тоже ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знаю... Представьте себе, я также не в состоянии даже догадываться... Только вот никак не пойму причины последовавшего вслед за этим торопливого перемещения, открывания и закрывания чемодана, какой-то возни со стулом, крикновения, наконец попытки влезть на подоконник, затем порывистого, беспокойного хождения по спальне... И все это глубокой ночью, без видимой причины делает почтенного возраста и положения человек, который до появления незваного визитера был погружен в нирвану!.. С чего бы вдруг эдакая обеспокоенность?!

Обескураженный столь стремительной и обоснованной «контратакой» Константинеску-Яшь, Букур, все это время молчавший, вдруг воскликнул:

— Прелестно! Отдаю вам должное, коллега! Не знал, не подозревал и не представлял себе, что у вас такой обостренный слух, такая редкая наблюдательность и столь необычайная проницательность!.. Я покорен... Вос-хи-ти-тель-но! Однако, милейший, вы задаете мне вопрос, не ответив, по существу, на мой... И, кстати, почему вы сочли нужным приписать мне простуду? Ведь вы первый сказали об этом пришельцу, а уж потом я поддержал вас... Не так ли? Почему?

— Потому, уважаемый профессор, что предпочитаю представить вас простуженным в номере провинциального отеля, чем видеть остуженным в камере Генеральной дирекции сигуранцы!.. А теперь отвечаю, как вы сказали, по существу... Я, господин Букур, коммунист. Этим сказано все! И в таком качестве пребываю уже два десятилетия... Меня многократно арестовывали, допрашивали, подвергали пыткам. В знак протеста довелось объявлять голодовку, отказываться от пищи, воды и даже сна. Кстати, такое сочетание случилось впервые в жизни узников румынских тюрем... За меня заступились тогда Ромен Роллан и Анри Барбюс, Анна Зегерс и Андерсен Нексе, Генрих Манн и супруги Жюлио Кюри, которые хорошо знают меня по совместной работе в Международном антифашистском Комитете и в Обществе друзей СССР... И вот совсем недавно, после трехлетнего пребывания в Дофтане, этой гордости королевского режима, меня освободили. Об этом писали в газетах, выпускали листовки в стране и за рубежом... Все это, разумеется, известно сигуранце. И потому нет ничего удивительного в том, что эти господа следят за каждым моим шагом. Такая уж у меня репутация!.. Но вы, господин Букур?! Вы, ученый с мировым именем, близкий к властителям страны, заботящийся о здравии монаршей камарильи и, так сказать, персона-грата в высших кругах общества, почему вы так взволновались из-за появления какого-то провинциального шефа сигуранцы?! Непостижимо...

Букур тепло взглянул исподлобья на собеседника, с облегчением вздохнул и уже совершенно примирительным тоном сказал:

— Сдаюсь, господин Константинеску... О, пардон! Господин профессор богословского факультета, но... товарищ Константинеску-Яшь!

Оба от души рассмеялись, и дальнейший разговор приобрел доверительно деловой характер.

— Есть ли у вас возможность выйти из весьма затруднительного, насколько я понимаю, положения?

— Что-нибудь придумаю... — озабоченно ответил Константинеску.

— Я спросил об этом не из праздного любопытства. В моем багаже, как вы уже догадались, тоже есть запретное «лекарство». Не будет ли разумно присоединить к нему ваши «лекарства» и под защитой авторитетного имени эскулапа «монаршей камарильи», как вы изволили выразиться, отправить всю «аптеку» в Бухарест?

С лица Константинеску окончательно спала маска сдержанности. Он внимательно слушал старика-профессора, ласково смотрел на него, улыбался искренне и, уже не взвешивая каждое ответное слово, горячо воскликнул:

— Очень, очень благодарен вам, профессор! Признаюсь, я думал о таком варианте, но никогда не посмел бы сам предложить его вам...

— Ах, вот как! — прервал его Букур с тем же, но теперь уже нарочитым, апломбом. — Что ж, коллега, для первого знакомства могу простить вам совершенно излишнюю щепетильность, но только для первого! Повторяю — я не часто любезен, но стараюсь всегда быть полезным и потому впредь прошу отбросить всякие церемонии...

Тотчас же они принялись перекладывать подпольные издания из тайника чемодана Константинеску в обыкновенный большой чемодан Букура, одновременно договариваясь о встрече в Бухаресте. Но вот Букур принял от Константинеску небольшую книжку, короткое название которой привлекло его внимание. Поправив очки, сползшие с переносицы, он медленно прочитал вслух весь текст обложки:

— «Библиотека рабочего. Номер четыре. Максим Горький. Ленин. Перевод с русского и предисловие П. Константинеску-Яшь. Бэрлад. 1924 год. Типография Лупашку».

Букур повертел книжку в руках, удивленно уставился на Константинеску.

— Не понимаю... Официально издана в нашей стране?

— Есть и у нас отважные люди, профессор! Не легко им, но находят пути... Владелец типографии господин Лупашку очень испугался, когда к нему обратились в просьбой издать эту книжку. «Вы хотите, чтобы сигуранца бросила меня в тюрьму и прикрыла типографию!» — говорил он и все же дал согласие. Правда, при этом Лупашку прибег к нехитрому трюку, который позволял если не полностью снять с него ответственность за печатание такой «крамолы», то значительно снизить ее. На несколько дней он выехал якобы по делам в Бухарест, оставив вместо себя в роли хозяина сына-старшеклассника, настроенного весьма демократично, с

помощью которого мы и проделали всю работу по изданию книжки. А Лупашку-старший, когда полиция потребовала от него объяснения, сослался на то, что сын, дескать, молод, неопытен, не разобрался, что к чему, и распорядился печатать ее. В конечном счете, он легко отделался, а за книжкой этой с тех пор и по сей день полиция яростно охотится...

С интересом выслушав этот короткий рассказ, Букур задумчиво полистал все еще не уложенную в чемодан книжку и вдруг гневно воскликнул:

— Какая чудовищная дикость! Великий писатель-гуманист пишет книгу о гениальном мыслителе и государственном деятеле, а какая-то свора стяжателей и воров, развратников и пошляков «на законном основании» запрещает ее издавать и читать!.. Чудовищно!

На мгновение Букур замолчал, уловив в глазах Константинеску выражение удивления таким неожиданным взрывом негодования.

— У меня есть особые основания возмущаться, — продолжал он более спокойно. — Ваш покорный слуга имел счастье встречаться и беседовать с господином Ульяновым, и уж кто-кто, а я могу вполне зримо и объективно сравнить этого человека с теми, кто властвует сейчас над нами...

Букур стал рассказывать о памятной встрече с Лениным на улице Мари-Роз в Париже. И увлекшийся дорогами для него воспоминаниями Букур, и слушавший его с большим интересом Константинеску не заметили, как прошла ночь. Оба спохватились, когда до них донесся шум уличного движения, и стали собираться в путь. Надо было тем более поспешить, что Константинеску решил не ждать вручения ему телеграммы, содержание которой уже знал.

— Мне теперь здесь нечего делать, — сказал он. — И поеду я не в Клуж, как полагают господа из сигуранцы, а домой, в Бухарест...

— Но там вас могут встретить на вокзале и устроить обыск?! —

— Лучшего и желать нельзя! — воскликнул Константинеску. — Незамедлительно я потребую через прессу, чтобы эти господа ответили, на каком основании они устроили обыск и какую «крамолу» нашли!.. Такой случай нельзя упускать. Их надо стукать мордой об стенку. Правда, они могут потребовать от меня объяснения, о каком лекарстве идет речь в телеграмме и кому я должен был направить его в Клуж... Что ж! В таком случае я сейчас напишу письмецо своему давнему другу, живущему в Клуже, и, в случае вызова его в сигуранцу, он с аптекарской точностью назовет, ка-

кие именно лекарства просил меня прислать для своей жены... А по приезде в Бухарест я тотчас же действительно вышлю их ему. Таким образом представится удобный случай еще раз, грубо выражаясь, утереть нос деятелям сигуранцы...

Константинеску сел за стол. Пока он писал письмо, Букур уложил багаж, умылся и оделся.

— Я вижу, профессор, вы уже готовы к отплытию? — закончив письмо, сказал Константинеску.

— Вполне, если не считать, что было бы не лишним позавтракать! Тем более после такой ночи... К тому же мне нужно еще и позвонить домой.

— Резонно... И такая возможность у вас, профессор, будет, если согласитесь, что целесообразнее все же покинуть эту область первому мне, — опередить тем самым появление почтальона и увести «хвост» за собой.

— Разумно! Согласен.

— В таком случае, я потороплюсь, но, помня ваш наказ не церемониться, предварительно обращаюсь с просьбой... Надо полагать, вы поедете кратчайшим путем, то есть через Клуж... Так вот, опустите, пожалуйста, это письмо в ящик на вокзале в Клуже. Вы прибудете туда днем. А я намерен совершить несколько более дальнее путешествие. Заеду к родичам в Тимишоару. Пусть «хвост» помыкается со мной... Да и господам из сигуранцы тоже доставлю больше хлопот, чем они рассчитывают... Полагаю, что они этого заслуживают!..

— Отлично! Давайте, коллега, письмо и считайте, что оно уже доставлено адресату. Да, да! Я не страдаю пресловутой профессорской рассеянностью, о которой сочинено великое множество анекдотов...

Вскоре Константинеску уже покидал отель «Ардял». Бессонная ночь, заполненная тревожными и радостными волнениями, сблизила их, и они прощались, как старые друзья. С порога Константинеску сказал:

— А вы, профессор, все-таки и любезен, и полезен!

Букур вскинул голову и, широко открыв глаза, со всей серьезностью ответил в тон Константинеску:

— Да, но лучше все же быть простуженным, чем остуженным, коллега!..

В Бухаресте на Северном вокзале профессора Букура встречали дочь и шофер. В присутствии дочери Букур вел себя так, как это было принято в высшем свете. В ответ на приветствие Морару он указал ему на свой багаж и сухо приказал:

— Позовите носильщика!

Морару предложил свои услуги, но профессор резко возразил:

— Извольте не торговаться... Я сказал: пригласите носильщика! Надеюсь, вы слышали?

Морару подчинился. Его умиляло бережное к нему отношение старика, но в данном случае оно могло обернуться крупными неприятностями. Надо было как можно скорее покинуть вокзал и увезти багаж. Между тем найти свободного носильщика в густой толпе приезжих и встречающих, отъезжающих и провожающих было нелегко. Из окон вагонов, с лесенок тамбуров, из гущи толпы то и дело раздавались разноголосые выкрики:

— Хамал!¹⁸¹

— Трегер!¹⁸² Трегер!..

Носильщиков буквально осаждали и брали приступом. Станционная прислуга полностью была поглощена обслуживанием пассажиров, преимущественно немцев, спешащих занять свои места в стоящем составе, на вагонах которого красовались большие эмалевые таблички с надписью «Бухарест-Прага-Берлин». Пассажиры, скупившие в столице Румынии все, что еще оставалось от английских, французских, бельгийских и голландских импортных товаров, отправлялись в фатерланд, обремененные на редкость обильным и тяжелым багажом.

Букур нервничал. Багаж с «лекарством» в купе. Все пассажиры давно покинули вагон, а Морару нет и нет. Букур попытался раз-другой окликнуть носильщика, но его голос утонул в общем шуме и выкриках торговцев-разносчиков. Они сновали по перрону, умудряясь никого не задеть своими локтями, и певучими голосами предлагали товары:

— Минеральная вода «Борвиз»! Холодное пиво «Азуга»! Марочное вино «Котнар»! Шампанское «Рейн»!..

— Шоколад «Королева Мария»! Пирожные «Плезир-дедам»! Конфеты «Сушард»!..

— Марципаны «Хердан»! Бутерброды «Салам де Сибиу»! Бублики «Гаджел»!..

— Журнал «Реалитатя илустратэ»! Биржевой журнал «Аргус»! Красочные фотографии шикарных дам из дома «Казанова», от которых у вас, господа мужчины, встанут часы!..

— Минеральная вода «Борвиз»...

Наконец Морару привел взмокшего носильщика. Прилаживая ремень к чемоданам, он не переставал ворчать:

¹⁸¹ Носильщик (рум.).

¹⁸² Носильщик (нем.).

— Понаехало швабов, как на ярмарку! Хватают все, что попало, как голодные свиньи... Одному отнес три тяжелых сундука, точно чугуном набитых; говорю ему, герр мой хороший, надо бы за такую тяжесть прибавить малость на чай, а он — «никс фарштей!» Небось, сундуки набивать нашим добром фарштеел, а расплачиваться — «никс»!.. Оберут германы нашу «патрию муму», выпотрошат дочиста, как крысы в голодный год! Ей-ей... Помяните мое слово!..

Букур с интересом прислушивался к причитаниям носильщика и в знак одобрения украдкой подмигнул Морару. Когда носильщик двинулся в путь с закрепленными на ремне и перекинутыми через плечо чемоданами, Букур шепнул шоферу:

— Не отставайте от него...

На привокзальной площади Морару уложил чемоданы на заднее сиденье старенького «шевроле», оставив место для дочери профессора, сел за руль, но, прежде чем включить мотор, внимательно посмотрел по сторонам, поправил зеркальце на лобовом стекле, чтобы в пути наблюдать, нет ли за ними «хвоста».

Волнение и настороженность Морару не ускользнули от Букура. И, чтобы успокоить его, он легонько похлопал его по колену, дескать не беспокойся, все идет нормально, продолжая в то же время рассказывать дочери о впечатлениях от поездки.

Благополучно миновав весь путь от вокзала до улицы Мынтуляса, машина свернула во двор особняка, мягко подкатила к мозаичным ступенькам широкой лестницы, ведущей к парадному ходу. Не выходя из машины, профессор Букур попросил дочь прислать прислугу помочь шоферу внести в дом багаж и, как только она удалилась, с напускной строгостью обратился к Морару:

— Ну-с, господа паникеры! Кто оказался прав?

— К счастью, господин профессор, правы были вы, — смущенно ответил Аурел, — но и мы не могли рисковать. Со всем недавно Томова перевели из Вэкэрешть. По сведениям, которыми мы располагаем, он находится в галацкой тюрьме... Держится он отлично!

— А я что говорил вам? Такой не выдаст. В этом я уверен! А вы что? Подняли тревогу, типографию увезли черт знает куда, меня заставили путешествовать, людей своих всполошили и, наверное, работу законсервировали? Признавайтесь! Слыхали на вокзале, что говорил носильщик? Действовать надо! Немчура страну растаскивает, а мы что? Сидим сложа руки?

— Нет, мы не сидим сложа руки... Нет, господин профессор! Мы работаем. Нелегко приходится...

— Знаю. Это я просто так говорю... Правы были вы, а не я. И не принимайте всерьез моих попреков. За время путешествия я тоже кое-чему научился, но об этом потом... — Букур прервал беседу, увидев появившуюся на лестнице прислугу. — А сейчас, милейший, вот тот ребристый чемодан с ремешками оставьте в машине. В нем все, чего ждут наши друзья, и кое-что, тоже запретное, не для нас. Понимаете? В ближайшие дни я скажу вам, куда это «чужое» надо будет доставить, а пока припрячьте понадежнее где-нибудь у себя...

...Вечерело, когда Морару приехал на профессорском «шевроле» к бодеге¹⁸³ «Брагадиру» на площади Виктории. Длинный и узкий, как коридор, зал был забит посетителями. И чем дальше в глубь от входа, тем больше расплывались в табачном мареве очертания людей и предметов. В неумолчный гул крикливых голосов подвыпивших клиентов то и дело врывался нетерпеливый стук ножей и вилок о тарелки, и тотчас же на него откликались осипшими от усталости голосами снующие между тесно уставленными столиками кельнеры:

— Вине, вино-е! Иммедиа-т вино-е!¹⁸⁴

Лавируя между столиками, Морару прошел к стойке, у которой симпатичная брюнетка с гладко зачесанными на затылок воронеными волосами и сверкавшими, как светлячки, глазами записывала на доске выданные официантам вино и закуски. Ласково украдкой взглянув на Вики, Аурел тотчас же, не здороваясь, развязно спросил:

— «Мэрышешть», Викуца, есть?

— Да, пожалуйста... Есть и «Национале».

Это означало, что связной его ждет.

— В таком случае пачку «Национале».

Пренебрежительно, размашистым жестом он ловко кинул на мраморный прилавок стойки десятилейную монету.

— Спички?

Это означало, что есть изменения.

— Можно и спички.... Пригодятся.

Подавая сигареты и спички, Вики тихо сказала:

— У аптеки «Явол», на углу бульвара Басараб и Бану Манта, ровно в семь будет Захария...

Время позволяло Морару побыть несколько минут возле

¹⁸³ Закусочная, небольшой ресторан. (рум.).

¹⁸⁴ Иду, иду-у-! Сейчас же иду-у-! (рум.)

Вики. Сегодня она ему особенно была мила. Новая неброская прическа облагораживала ее лицо. С удовлетворением он отметил исчезновение длинных, как сосульки, серёг, придававших ей вульгарный вид. Вся она казалась ему сегодня более строгой, чем обычно. Это радовало и успокаивало его. Такой она была в его вкусе, и ему думалось, что ее внешний вид не даст повода какому-нибудь пижону, вроде Лулу Митреску, пытаться вскружить ей голову. А хлыщей, подобных Лулу, в «Брагадиру» бывало куда больше, чем в универмаге «Галери-лафаетт», не говоря уже о царящей здесь вольности нравов. Но что поделаешь?! Вместе со многими продавщицами Вики была уволена из «Галери-лафаетт» в связи с «уменьшением товарооборота из-за резкого сокращения импорта». Так заявила администрация универмага — и баста!

Аурел Морару давно уже был равнодушен к Вики. Она знала это, но глубину и постоянство его чувств постигла лишь в тяжелые для себя дни безработицы. Аурел принял горячее участие в ее судьбе, всячески помогал ей, старался утешить, развлечь. Он побывал во многих местах, разуживая, нет ли подходящей для Вики работы. По его настоятельной просьбе, ня Георгицэ обратился к своему давнему сослуживцу, старшему кельнеру «Брагадиру». При его содействии Вики наконец устроилась на работу. Все это время Аурел ни словом, ни намеком не давал повода девушке думать, что, пользуясь ее бедственным положением, он стремится завоевать ее расположение к себе, вынудить к взаимности. Такая чуткость была естественным выражением искренности и чистоты его чувств к Вики.

И она поняла и оценила это. Не о своих безответных чувствах задумчиво беседовал Аурел в эти дни с Вики, а о том, почему сотни и тысячи подобных ей добросовестных тружеников вдруг оказываются лишенными даже хлеба насущного. И если прежде к разговорам на подобные темы она относилась легкомысленно, как к чему-то отвлеченному, не имеющему к ней никакого отношения, то теперь вполне осязаемо ощутила связь своих бед, своей неустроенности с несправедливостью и жестокостью всего общественного строя.

До ареста Ильи Томова она смутно догадывалась о его и Морару причастности к запретной деятельности, которую считала праздной и опасной забавой. Теперь эта «забава» представлялась ей единственной возможностью избавить себя и себе подобных от произвола богачей, от нищеты и унижения. Поэтому она охотно откликнулась на просьбу Аурела помочь ему и его товарищам поддерживать незримую для посторонних связь друг с другом.

Аурел Морару хотел пригласить Вики вечером пойти в кинотеатр, но к стойке один за другим подходили официанты, и ему пришлось покинуть бodega, так ничего и не сказав.

К условленному месту встречи он подъехал минута в минуту в назначенное время, внимательно осмотрел находившихся в этот момент на углу у аптеки людей и встревожился, не найдя среди них Захарию.

Между тем Илиеску был в пяти шагах от автомашины, и, когда Морару хотел было уже отъехать, дверцу автомобиля открыл человек, в котором он с трудом узнал своего товарища... Захария отстранил усы и бородку, впервые одел очки, берет, вытянутый вперед в виде козырька, и длинное черное пальто. Все это резко изменило его облик.

— Ну, ты здорово придумал! — не переставал удивляться Аурел. — Ни один шпик не узнает!

— Трогай, а то, не ровен час, сглазишь... — подмигнул Захария и по привычке хлопнул Аурела по плечу. — И рассказывай, как там старик твой? Все благополучно? Привез что-нибудь?

— Привез... Но бранится: панику, говорит, зря подняли...

— Ну, это уж нам виднее, — перебил Захария. — Ты объясни ему, что в таких обстоятельствах мы не могли поспешить иначе...

— Объяснил...

— А он что?

— Сменил гнев на милость, согласился и сказал, чтобы при первой же надобности вернули типографию в гараж.

— За это превеликое ему спасибо! Надобность такая может возникнуть в любой момент... А как с литературой?

Морару помедлил с ответом. Проехав перекресток на бульваре Басараб, он свернул к улице Никульча и только после этого ответил:

— И с литературой порядок! Позади тебя на полу...

Илиеску обернулся, посмотрел на чемодан и, заподозрив, что Аурел шутит, попытался, не вставая с переднего сиденья, приподнять его за ручку.

— Кирпичи там, что ли?

Морару рассмеялся:

— Я тоже так вначале думал...

Морару смолк. Они ехали по ухабистой, свывороченным булыжником дороге на внешней стороне «Чимитирул иسرائит»¹⁸⁵. Морару убавил скорость, включил дальний свет и, непрерывно лавируя между выбоинами и кучками камней, отрывисто ответил:

¹⁸⁵ Еврейское кладбище (рум.).

— Погоди малость... Выедем сейчас на Колонел Гика — доскажу... А пока говори, как там наша типография?

— Завалилась одна наша работенка...

— Какая?! — вскрикнул Морару и так резко нажал на тормоз, что Илиеску чуть было не плюхнулся лицом в лобовое стекло. — Как это завалилась? Что ж ты молчишь?! И куда мы возем тогда этот багаж?!

Илиеску расхохотался.

— Да ты и впрямь паникер, Аурикэ! — сказал он, продолжая смеяться. — Прав твой старикан... Умора! Завалилась не типография, а кирпичная стена, которую мы с тобой выложили...

— Тьфу, дьявол! — не то сердясь, не то смеясь, ответил Аурел. — Душа в пятки ушла!

Типография в доме на Филарете была отлично замаскирована. Размещалась она в крохотном помещении без окон и дверей, отгороженном от основного помещения кирпичной стеной, возведенной стараниями Захария Илиеску и Аурела Морару. Они же выложили вплотную к этой стене большую плиту с необычно просторной духовкой, через которую только и можно было пролезть в типографию.

— Плохие мы с тобой, Аурикэ, каменщики!.. Никудышные... Правда, плита получилась на славу: тяга отличная, ни дыма, ни копоти, но все же просчитались... Под стеной пол дал осадку и... стена завалилась. Надо бы сперва выложить под полом небольшой фундамент...

— Куда же, в таком случае, мы едем, если там авария? — нетерпеливо спросил Аурел. — Я думал, мы повезем туда багаж, как условились с товарищем Траяном!

— Туда и повезем!.. Нашелся среди наших каменщик стопроцентный! Сегодня в ночь должен все исправить...

Морару выехал на широкую магистраль и свернул к площади Филантропии. И тотчас же Илиеску спросил его:

— Так что там все-же привез твой старикан в куфэре¹⁸⁶?

— Говорит, литературу привез... Но только будто не вся она для нас, а есть там еще для кого-то!

— Как это «еще для кого-то»? Он что, вояжер?!

Морару сворачивал к аллее Киселеф, затем ответил:

— Говорит, выручил какого-то товарища...

— Какого там еще товарища? В своем он уме?! А если это провокация?

— Не похоже... Говорит, товарищ этот — известный в партии человек... Ученый!

¹⁸⁶ Сундучке (рум.).

— Сигуранца может сочинить все что угодно! Будто первый раз они пытаются подложить нам мину...

— Ну, профессор наш тоже не олух, чтобы клюннуть... Уверяет, что это известный ученый!

— А фамилию этого ученого он не назвал?

— Ну, что ты!.. Конспирацию соблюдает...

Они выехали на широкую магистраль шоссе Жиану.

— Вот что, Аурикэ, — сказал Захария после долгого раздумья. — Завтра же, и как можно пораньше, объясни Букуру, что неразумно, нельзя скрывать от нас фамилию человека, которого он, как ты говоришь, выручил. Мы должны знать, кому предназначена эта литература, которую он привез, и кто тот товарищ, который передал ее ему!

— Он сказал, что на днях скажет, куда надлежит ее доставить...

— А если это ловушка? Мы должны проверить, и, возможно, нам придется в самом срочном порядке что-то предпринять, чтобы самим не попасть в лапы сигуранцы, и Букура вывести из-под удара! А мы теряем время, играем в прятки... Это же не серьезно!

— Понимаю я... Только наперед знаю, что, как только заикнусь насчет провокации, он задаст мне жару... Ты не знаешь его! Это же профессор Букур!..

28

«...ни выстрелы из-за угла, ни расстрел в упор никого уже не удивят. Какую бы окраску ни носил разбой — совершен ли он с целью ограбления или ради мести, — иудеев не сломить! Повеление всевышнего — «в крови своей жить будешь!» — приучило наш народ к смирению и терпению, а каинов грех испокон веков сопутствует ему... Если кровь людей наших льется на мостовых городов или в песках пустынь, то и это не ново, как не ново терпение наше. Но как всякое добро или зло не бесконечны, так и смирение народное должно иссякнуть. Придет долгожданный день, когда всевышний наделит избранный им народ силой и мужеством. И, как лучи солнца, восходящего из-за гор, проблески этого великого часа уже видны и ощутимы всеми нами! И тогда за все муки и страдания народ наш будет отомщен с лихвой. Ибо если поведение всевышнего гласит: «В крови своей жить будешь!», — то из этого с полным основанием вытекает, что в крови этой враги наши захлебнутся! Пусть же новый акт насилия, жертвой которого на этот раз оказался прибывший из-за океана верный сын Исраэля, приблизит час сурового

возмездия! Пусть же кровь ушедшего от нас в расцвете сил и красоты души единоверца вопиет о мщении...»

Хаим читал эти строки спустя день после того, как был свидетелем убийства Майкла на тайном ночном сборище в кабинете Симона Соломонзона. Читал и не верил глазам своим. Реббе Бен-Цион Хагера — было имя автора. Это ему на тайном сборе в присутствии еще живого Майкла была воздана всеобщая хвала. И теперь именно он был запевалой в хоре лжецов, на все лады утверждавших в прессе, что злодеяние совершенно врагами народа Израиля, прозрачно намекал на иноверцев, живущих бок о бок с ними.

Хаима охватила тревога при мысли, что раввин мог приехать с Кипра в «страну обетованную». И чем больше он думал о нем, тем страшнее становилось: «Неужто и в самом деле все здесь строится на лжи и крови?» Он попытался отвлечься, перевернул листок. Внимание его привлек набранный жирным шрифтом и заключенный в траурную рамку текст. Это было краткое официальное сообщение, доводившее до сведения местных читателей о случившемся, заверявшее американцев в том, что администрацией предприняты все меры к отысканию убийц и преданию их в руки правосудия.

Хаим понял, что вокруг этого убийства затевается какая-то темная и сложная игра. Но он не знал еще, что в тот день кругом только и трубили «о трагедии, разыгравшейся на глухой тель-авивской улочке». Газетный листок «Мизрах» вышел с небывалым до тех пор опозданием: вместо утренних часов он появился в продаже только вечером, а вкладыш к нему отсутствовал... В действительности он распространялся тайно, и печальному случаю в нем было уделено несколько строк.

Неведомый автор этих строк, прозвучавших, как гром среди ясного палестинского неба, задавал неожиданные вопросы: «Хотелось бы знать, почему полиция умалчивает о том, что злодейски убитый американский гость прибыл в страну праотцов не из-за океана, как все были склонны думать, а после длительного пребывания в столице «третьего рейха»? Хотелось бы также знать, — спрашивал автор, — почему следственные органы ни словом не обмолвились о том, с какой целью этот человек ездил в Германию? Не менее важно знать, и какие переговоры вел он там с высокопоставленными лицами из ближайшего окружения германского канцлера? Наконец, кому конкретно он пришелся не ко двору: американским боссам, пославшим его в Германию, нацистским бонзам, с которыми он вел переговоры, или их агентуре в Палестине во главе с великим муфтием Иерусалимским Амином-эль-Хуссейном? Вещи все-таки надо называть

своими именами, хотя сам факт обнаружения трупа между греческим, латинским и мусульманским кладбищами древней Яффы красноречиво свидетельствует о том, чьи руки обогрели кровью!..»

Заметка тотчас же возымела свое действие: шумиха, поднятая по поводу убийства американского подданного и лихорадившая обывателей, вдруг сразу испуганно прекратилась. Многие знали, что поместивший загадочную статейку листок, который считался независимым, в действительности был органом штерновской группы.

— Смотри, Нуцик, — заметил Хаим, — о Майкле уже ровным счетом никто даже и не заикнется, словно ничего не было.

— Ну и что же, — равнодушно ответил Ионас, будто речь шла о пустяковом деле. — Я и сам все забыл... И вообще, чем меньше вспоминать об этом, тем лучше... Есть у нас дела поважнее. Сегодня, между прочим, предстоит принять большую партию миндаля для Европы. Потом для «Хекал лимитед ин цитрус» зафрахтован пароход под рожки-силикуа. Грузиться, правда, он будет в Хайфе. Я сам поеду туда. И, ко всему этому, вот-вот должен подойти пароход с очень ценным грузом... Так что дел, Хаймолэ, как видишь, хватает! Что касается ренегата Майкла, то наш хавэр Штерн метко сказал: «Труп недруга не пахнет дурно!» Понял? И, между прочим, Хаймолэ, тебе не мешает это запомнить... Все-таки кем сказано!

Разговор этот состоялся рано утром в портовом пакгаузе. Вскоре Нуци Ионас уехал в Хайфу. На погрузочной от Экспортно-импортного бюро Хаим остался «за главного»: Давида Кноха пока не было. Редчайший случай! Обычно главный экспедитор приходил раньше всех и уходил последним: всегда у него были какие-то дела в администрации или в таможене порта. Причем околачивался он там, как правило, до начала рабочего дня и после его окончания. Это обстоятельство Давид Кнох всегда использовал для бахвальства в узком кругу особо доверенных людей: «Я не белоручка-ашкенази Ионас. Это он является в порт, как врач на визит к больному: не успел порог переступить, как уже ждет на лапу пятифунтовку и поглаживает на дверь... С такими лодырями разве воссоздашь собственное государство? Я бы их всех на фарш пустил, честное слово! Пригодились бы хоть на удобрение Негеевской пустыни! Все-таки польза...»

Перед отъездом Ионас поручил Хаиму Волдитеру взять в товарной кассе порта чистые бланки фрахтов для оформления грузов. Выдавали их только в первой половине дня. Но тут, как на грех, стали подъезжать к разгрузочной рампе машины

с мешками, наполненными миндалем. Пришлось задержать: надо же проследить, как положат первые ряды яруса.

Судна еще не было, и потому Хаим поспешил в порт. У пакгауза его обогнал Кнох.

— Шолом, хавэр Дувэд Кнох! — несколько заискивающе проговорил Хаим.

Ответа, как обычно, не последовало. Бестактность Кноха не была новостью для Хаима, тем не менее он почувствовал себя сконфуженным. После того, как Хаим стал принимать участие в выполнении щекотливых операций, главный экспедитор начал было обращаться с ним более или менее по-человечески. Казалось, он убедился в исполнительности «локша»¹⁸⁷, как прсзвал Хаима Кнох, и в том, что тот умеет крепко держать язык за зубами. Это была первая «заповедь» главного экспедитора. Но и она, видимо, отошла теперь на задний план. Мысли Давида Кноха были заняты чем-то более значительным. В подобных случаях он становился неузнаваем: работа настолько его увлекала, что сам Теплиц, дядюшка Симона Соломонзона, говорил не без гордости: «наш главный экспедитор так окунается в свою работу, что ничего больше не видит, ничего не слышит и никого уже не признает... Иногда даже меня!»

Вместе с тем все прекрасно понимали, что не только сама работа поглощала Давида Кноха, но еще в большей степени доход, который он чаял получить от нее. И тот же сеньор Теплиц, и его племянничек Симон Соломонзон, и те, кто был мало-мальски осведомлен о делах главного экспедитора Экспортно-импортного бюро... Но все они помалкивали.

Появившись на причале, Давид Кнох стремглав поднялся на рампу, вихрем пронесся по ней из конца в конец, заглядывая во все уголки, окинул взглядом растущий ярус из мешков с миндалем и, убедившись, что работа идет нормально, придаться не к чему, поспешил к пакгаузу.

— Я уезжаю, — на ходу сказал он. — Будут спрашивать из порта, скажите, что уехал в город к врачу. Другие будут интересоваться, ответьте: в таможне... Рабочим ни слова, что уехал! Смотрите в оба! За каждый украденный мешок платить будете из своего кошелька!

— Понял вас, хавэр Дувэд Кнох, — торопливо ответил Хаим. — Все сделаю, как вы сказали...

— Вернусь завтра, — не дослушав, бросил главный экспедитор и ушел.

Хаим знал: если Кнох говорит, что вернется к следующе-

¹⁸⁷ Лапша.

му утру, жди его накануне, а если скажет, что будет через час, можно рассчитывать, что уезжает надолго. Кнох был уверен, что подчиненных надо держать в постоянном напряжении.

С большим облегчением вздохнул Хаим, глядя на быстро удалявшуюся фигуру главного экспедитора. Между тем на рампе появился помощник весовщика. Он подошел к Хаиму и показал депешу: в ней шла речь о подходе к порту какого-то австралийского судна, зафрахтованного компанией «Атид» под силос для Экспортно-импортного бюро.

На мгновение Хаим растерялся, но, сообразив, что подготовить разгрузку «силоса» может лишь главный экспедитор, бросился вслед за ним. Кноха он увидел еще издали, когда тот садился в автомашину, поджидавшую его у развилки дорог. Дорога, ведущая в город, шла почти параллельно с причалом, и Хаим кинулся на перехват машины, размахивая руками, чтобы привлечь внимание.

— Ну, что еще? — раздраженно крикнул Кнох, когда машина остановилась. — Что у вас там стряслось? — Он вышел из машины, оставив дверцу приоткрытой.

— Депеша, хавэр Дувэд Кнох! — с трудом переводя дыхание, проговорил Хаим. — Пароход... с силосом. Из Австралии! Зафрахтованный «Атидом».

Кнох достал очки, прочел депешу, насупился: нижняя губа тяжело отвисла.

— Кто принес?

— Помощник весовщика... Он сказал, что к полуночи пароход будет в порту.

Кнох снова пробежал глазами депешу. На его раскрасневшемся, усыпанном угрями потным лице едва заметно промелькнула одобрительная улыбка.

— Правильно сделали, что догнали, — буркнул он. — Идите в пакгауз и скажите, что я разрешил вам позвонить в наше бюро. Хавэр Симон сегодня до обеда на месте. Передайте ему, что получено извещение о пароходе с кормом для скота... Вы поняли? И ни слова о том, что он зафрахтован «Атидом» и что идет под австралийским флагом... — Кнох шагнул было к машине, но приостановился и, не глядя на Хаима, добавил: — Пусть хавэр Симон позвонит в Хайфу, чтобы к вечеру Ионас был здесь! Обойдутся там и без него. Тоже мне большая важность — гнилые рожки!.. А помощнику весовщика скажите, что судно я выгружу без задержки. Пусть не шумит. Простоя не будет! Так и передайте ему. Поняли?

Кнох повернулся к автомобилю, стал садиться. Хаим взглянул внутрь машины и обомлел: на заднем сиденье ря-

дом со Штерном сидел курчавый молодой человек в очках с толстыми стеклами, тот самый, кто был инициатором уничтожения документов пассажирами «трансатлантика», кто призывал отчаявшихся людей к благоразумию, сам же воровски покинул судно, прихватив с собой, разумеется, исправные документы... Но еще больше встревожило Хаима присутствие в машине человека с пышной бородой, пристально и недобро смотревшего на него из-под насупленных бровей. Это был реббе Бен-Цион Хагера...

Перед вечером, как всегда неожиданно, в порту появился Давид Кнох. Весть о его приходе разнеслась мгновенно. И сразу смолкли голоса грузчиков, подбадривавших друг друга шутками; уставшие после трудового дня люди подтянулись, насторожились, работа обрела напряженный и вместе с тем четкий, как ход хорошо отлаженного часового механизма, темп.

— Здесь все в порядке, хавэр Дувэд Кнох! — Хаим поспешил навстречу главному экспедитору, как только тот приблизился к ярусу. — Укладываем уже шестой ярус! Я передал хавэру Симону все, что вы велели...

Кнох молчал, будто не к нему были обращены эти слова. Не удостоив Хаима взгляда, он направился к спуску на причал и лишь у лестницы отрывисто бросил:

— Здесь вам больше нечего делать... И забудьте дорогу в порт навсегда!

Хаим не сразу сообразил, что эти слова относятся к нему, и потому продолжал машинально плестись вслед за Кнохом. Когда же до его сознания дошел смысл услышанных слов, Хаим почувствовал, что силы покидают его. Он стал отставать и, наконец, остановился. К нему подходили грузчики, что-то спрашивали, но Хаим их не слышал. Увидев вновь мчавшегося к ярусу главного экспедитора, Хаим переборол свой страх и робость, бросился за ним вдогонку.

— Вы извините, пожалуйста, хавэр Дувэд Кнох, — забежав немного вперед, произнес он. — Я не понял, что вы сказали...

— Я сказал: вон отсюда! — на ходу рывкнул Кнох. — Теперь поняли? Или швырнуть вас с ramпы?!

Давида Кноха мучило раскаяние. В этом он чистосердечно признался Симону Соломонзону, когда тот приехал вечером в порт в связи с предстоящей разгрузкой австралийского судна.

— Не могу себе простить! — Кнох растирал волосатую грудь, отвисшая губа его зло кривилась. — С такими негодьями нечего церемониться, их нужно просто хватать за ноги и швырять рыбам на кормежку... А с этим локшем у меня почему-то слова разошлись с делом! Спасло его, конечно, то, что утром, когда поступило сообщение о прибытии судна, он догнал меня. И правильно сделал: в порту дежурил тот уса-тый египтянин... Могли быть осложнения...

Когда вечером, вернувшись из Хайфы, Нуци Ионас услышал встревоженный рассказ Хаима, он успокаивающе похлопал его по плечу: Нуци был навеселе, и ему море было по колено.

— Не горюй, Хаймолэ! Обойдется, увидишь... Тем более, что плохого ты ничего не сделал. Тебя «паровоз» даже похвалил. В жизни не было случая, чтобы он кого-нибудь хвалил! Обойдется... В крайнем случае он посчитается и с моим мнением, Хаймолэ! Так что не беспокойся... Уладим!

Хаим видел, что Ионас подвыпил и потому храбрится, не подозревая, конечно, что могло послужить причиной увольнения. Поделиться своими опасениями Хаим не решался. «А вдруг и на этот раз пронесет, — думал он. — Тогда, в мишторе, опасался, что неприятности из-за Бен-Циона Хагеры, а оказалось, реббе ни при чем...»

На другой день Хаим все же не вышел на работу. Да и Нуци, протрезвев, посоветовал Хаиму переждать, пока он сам не разузнает всю подоплеку.

— Надо же пронюхать, какая муха его укусила! — говорил Нуци перед отъездом в порт. — Глядишь, и удастся как-то замять... Ты же сам знаешь: когда «паровоз» застопорится, нелегко его сдвинуть с места! Но не будем гадать. Я постараюсь, можешь на меня положиться...

Вернулся Ионас домой лишь на четвертые сутки. И все эти дни Хаим нервничал, с трудом скрывая от Ойи истинное положение вещей. Он дал ей понять, что в порту будто бы наступило затишье и ему разрешили отдохнуть несколько дней дома. Ойя была счастлива, сияющая от радости, спешила она с фабрики.

«Надо бы освободить ее от работы. Ведь на седьмом месяце уже ходит, — в который раз подумал Хаим. — Так на тебе! Я оказался на мели...»

Было очень рано, когда приехал Ионас, Хаиму не спалось: было над чем думать, о чем беспокоиться. Услышав шум машины, он выглянул во двор и увидел Нуци, но окликнуть не решился. Знал, что все эти дни Ионас и Кнох принимали, сортировали и отправляли по тайнственным адресам

оружие, скрытое в тюках прессованного сена или, быть может, теперь уже в иной «упаковке»...

Хаим снова прилег, сомкнул глаза и сразу, словно наяву, увидел разгрузочную рампу, шествие грузчиков с тюками сена, перетянутыми то медной, то простой проволокой... Пакгауз, огромные брезенты — на них груды промасленного оружия, штабеля продолговатых металлических ящиков с запасными частями, квадратные деревянные сундуки с боеприпасами и склоненные над столами, где шла сборка оружия, молчаливые парни и девушки, привезенные из какого-то кибуца. И снова в душу пробрался страх, холодной мерзкой гадюкой прополз по спине, сдавил горло, мешая дышать.

Захотелось тут же, немедленно бежать, бежать куда глаза глядят, только бы не видеть этих жестоких людей, не принимать участия в их темных делах. Но куда бежать? Кто тебя ждет, Хаим? Тебя и твою бедную Ойю? Однако слабый огонек надежды теплился в сердце: а вдруг все-таки поможет Нуци? Ведь помог же однажды...

Весь день Хаим не находил себе места, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, покажется Нуци, терялся в догадках.

Лишь под вечер Нуци Ионас зашел к Хаиму, украдкой взглянул на хлопотавшую по хозяйству Ойю и как бы нехотя пригласил Хаима прогуляться. Они присели на огромные камни-валуны, лежавшие за временкой Хаима.

Лениво начал Нуци разговор; позевывая, спросил о самочувствии Ойи, пишет ли ему отец, здорова ли сестренка; завел речь и о делах давно минувших дней, но ни словом не коснулся причины своего длительного отсутствия.

Все это Хаим отмечал про себя, понимая, что Ионасу, очевидно, не удалось уговорить главного экспедитора вернуть его, Хаима, на работу в порт.

— Так, оказывается, твоя Ойя не из наших? — вдруг вне связи со всем предыдущим сказал Нуци, не глядя на Хаима. — А ты скрывал...

«Значит, узнал меня реббе! Это он, Бен-Цион Хагера, повинен в моем увольнении...» — сразу понял Хаим и признался:

— Да, Нуци. Она гречанка... Но я ровным счетом не понимаю, какое это имеет значение? Она спасла мне жизнь! Ты понимаешь, что это значит? Есть же какие-то нормы порядочности!

Ионас обдал Хаима презрительным взглядом, но Хаим, не замечая этого, продолжал:

— К тому же я люблю ее! Ведь речь идет о моей жене!

Жене, которая скоро станет матерью моего ребенка! Ты понимаешь это, Нуцик?

— Да, да, Хаим! Конечно, понимаю... — поспешил ответить Нуци. — И она тебя любит. Это всем известно. И труженица она у тебя отменная: на фабрике ею очень довольны, а дома хлопочет, как муравей. Мы всегда удивляемся ее неутомимости, честное слово! Все это так... Но согласись, что и ты, как холуц квуцá, носящего имя нашего Иосифа Трумпельдора, нарушил общепризнанные каноны поведения! Более того, ты...

— погоди, Нуцик! — недоуменно пожав плечами, прервал своего приятеля Хаим. — Чем же, интересно, я их нарушил? Обворовал кого-нибудь или убил?

— Ну, ну! При чем тут обворовал и всякое такое? Хотя, между прочим, иногда высшие интересы обязывают нас делать и то и другое... И ты не притворяйся непонимающим, не морочь, пожалуйста, мне голову! Не такой уж ты новичок в этом деле, слава богу. А нарушение, о котором я говорю, состоит в том, во-первых, что ты и Ойя даже не обвенчаны!.. Понимаешь, что это означает?

— Ну и что?

— Возможно, для тебя это не имеет значения, — раздраженно продолжал Нуци, — однако ни один порядочный еврей не позволит себе такого... Да, да! И, во-вторых, она же гречанка! Мы и они несовместимы, как небо и земля, как день и ночь! Это ты можешь понять?..

— Подожди, Нуцик! Ты все твердишь, что мы не обвенчаны, что Ойя не нашей национальности и что в этом мое преступление... Пусть так. Но ведь меня никто об этом раньше не спрашивал! Чего же в таком случае все вы всполошились?

— А не спрашивали тебя потому, что ты холуц и, как само собою разумеющееся, правоверный еврей! Так, по крайней мере, полагали мы: я, Симон, Кнох и другие... Мне, доверчивому чудаку, и в голову не приходило, что холуц, прошедший с нами «акшару», может совершить такое!

— Но и я ровным счетом ни разу не задумывался над этим, потому что не видел да и сейчас не вижу никакого преступления в том, что жена у меня гречанка, ей-богу!

Упорство Хаима разозлило Ионаса.

— Не заговаривай мне зубы, Хаим! Ты прекрасно знал и раньше, что смешанные браки нашими обычаями запрещены! И не только запрещены, но и преследуются здесь со всей строгостью. Так что не разыгрывай из себя незнайку! И вообще, я удивляюсь твоему нахальству! Seriously! Ведь толь-

ко какие-нибудь красные демагоги могут говорить так и, что в миллион раз хуже, мыслить так!.. Это же просто страшно! А ты все-таки холуц с таким уже большим опытом! Холуц, которому здесь оказали большое доверие, приняли в самую чистую, самую честную и лучшую из лучших наших организаций! Людей в нее, ты знаешь, отбирают со всей строгостью. А ты что натворил?!

— Ну, ей-богу, Нуцик! Ты все, по-моему, усложняешь и накручиваешь. Ну что такое я натворил? Не понимаю.

Ионас вскочил.

— Ты все еще не понимаешь? Да если б мы знали, что ты связался с этой гречанкой, разве оказали бы тебе такое доверие? Посвятили бы тебя в святая святых? Никогда! Понимаешь? Ведь ты же обманул всех наших хавэрим... Осквернил самым подлым образом все благородные идеалы «Иргун цвай леуми»! Это же знаешь что такое? Это же... это же граничит с предательством! И за такие штучки по головке у нас не гладят! Понимаешь хоть или и сейчас до твоей бессарабской башки это не доходит?!

И Хаиму вспомнилось, как в памятную ночь в кабинете Соломонзона Штерн кричал Майклу: «Вы предатель, и ваше место на виселице!» При мысли о том, что и его могут за просто окрестить предателем и пристрелить, как собаку, Хаим содрогнулся, хотя вины за собой не видел ни в делах своих, ни в помыслах. «Бежал из Румынии в страхе перед тем, что legionеры или, чего доброго, нацисты нагрянут туда и прибьют, — подумал в это мгновение Хаим, — а тут свои то же самое могут сделать с таким же успехом...»

Тяжкие обвинения, которые обрушил на него Ионас, представились Хаиму каким-то чудовищным недоразумением.

— Погоди, Нуцик! Успокойся. Давай разберемся во всем как следует, — стараясь говорить спокойно, примирительно начал Хаим. — Вот ты говоришь, смешанный брак запрещен нашими обычаями. Пусть так. Но ведь ты сам, твоя жена и теща — тоже не сабра, вы тоже не свято блюдете все эти затхлые, изжившие себя обычаи... Да и не только ты и твоя семья, а многие! И ничего. Ровным счетом никто их за это не ругает и не казнит. А Ойя, что она, прокаженная, если появилась на свет божий от родителей греков? Это же ровным счетом как мы с тобой виновны в том, что нашими родителями оказались евреи! Именно за это нас в Румынии преследовали legionеры, а моя бедная мама умерла от учиненного фашистами погрома, а теперь ты, Нуцик, угрожаешь мне, намекаешь на что-то очень страшное только за то, что

жена моя гречанка... Но это как две капли воды похоже на то, что делали и делают фашисты! Ты извини, однако это так!..

Хаим поначалу говорил сдержанно, но потом волнение, закипавшее в его словах, выдало зреющие в нем чувства протеста и нарастающей злобы. Именно в таких случаях мягкость его характера, податливость и даже безволие каким-то чудом превращались в упорство, делавшее Хаима способным перенести тяжкие испытания, но не сдаться. Так было в Болграде, когда его избивали полицейские, требуя назвать товарищей, помогавших ему распространять прокламации «Долой фашизм!» Он не выдал тогда своих единомышленников Илюшку Томова и Вальтера Адами. Так было и на Кипре. Измученный болезнью, беспомощный, он не поддавался воле раввина, не женился на его капризной и избалованной дочери, пренебрег и приданым, и отстоял свою любовь.

Правда, в Болграде он не чувствовал себя одиноким: с ним были отец, сестренка, друзья, в сочувствие и помощь которых он верил. И на Кипре — рядом была добрая фельдшерница тетя Бетя. Но здесь, в Палестине, он оказался один среди чужих и жестоких людей — религиозных фанатиков, стяжателей, карьеристов, мастеров контрабанды, шантажа и убийства из-за угла. И от них теперь зависела его судьба, его счастье быть с любимым человеком... Хаим знал: от таких, как реббе Бен-Цион Хагера, пощады не жди. При мысли об этом в его душу закрадывался страх, но Хаим уже не мог да и не хотел подавить в себе протест и возмущение.

Между тем Ионас беспокоился только о собственной карьере, успех которой был поставлен под сомнение: как-никак, он, Бэнюмэн Ионас, поручился в свое время за холуца Хаима Волдитера и поэтому теперь продолжал устрашать его.

— Одно тебе скажу, Хаим: не шути! — говорил Ионас. — Здесь тебе не Румыния и тем более не Бессарабия... Тут собрались хавэрим что надо, лучшие из лучших со всего мира! Не до шуток им, когда на карту поставлено все во имя великой цели! И никто из них не позволит водить себя за нос, как тебе думается...

Хаим развел руками, хотел что-то возразить, но Ионас не дал ему.

— А между прочим, знаешь, что сказал один известный немецкий поэт, по происхождению еврей, относительно того, отчего у евреев длинные носы? Он считает, что повинен в этом сам бог, поскольку обещал иудеям государство на обетованной земле, где реки будут молочными, берега кисель-

ными и горы медовыми! Но вот уже почти две тысячи лет как этот бог водит наших соплеменников за нос... Так что хватит с нас надежд на небо, хватит снисхождений на протяжении десятков веков... Теперь мы будем брать все своими руками, а в руки положим оружие!.. Вот так. Иначе останемся не только с длинным носом, но и со слишком длинной рукой... Достаточно ее протягивать! Милостыню мы больше ни у кого просить не намерены, как, впрочем, и на обещания и посулы не надеемся... Хватит!

Ионас горячился, размахивал руками, то и дело вытирал платком вспотевший лоб и шею, плевался.

— У тебя остался единственный выход из создавшегося положения, — наконец решился Нуци Ионас высказать мысль, ради которой и пришел к Хаиму. — Пусть она едет себе туда, откуда приехала... Так будет лучше. Поверь мне. И с тебя свалится эта обуза! Ведь ты же с ней собираешься жить здесь, на землях предков, завещавших нам беречь чистоту веры! Здесь, а не где-нибудь в Европе. Неужели это трудно понять, честное слово?!

Понури голову, Хаим молча слушал Ионаса; он не изменил позы, не проронил ни слова, даже тогда, когда Нуци, заключив свою бурную тираду, назвал Хаима «поистине честным дураком».

— Имей в виду, — Ионас принял молчание Хаима за добрый знак и, чтобы окончательно сломить его колебание, проговорил, веско и злобно отчеканивая слова, — церемониться с тобой не будут! Не поможет ни Соломонзон со своими миллионами, ни тем более я... Между прочим, твой фокус и мне доставил кучу неприятностей. Я же за тебя поручился и в не малой степени отвечал за твои поступки! Поэтому-то тебе и оказали доверие. Да еще какое доверие! Подумать только, ужас! А ты вместо благодарности подводишь меня самым подлым образом!

— Можешь удивляться и обзывать меня последними словами, — тихо заговорил Хаим, — можешь угрожать расправой, но я Ойю никогда не оставлю... Клянусь! Сказать, что я ее люблю, — не то слово. Я ровным счетом не мыслю себе жизни без нее...

Потеряв самообладание, Ионас хватил Хаима за ворот рубашки, рывком притянул к себе и яростно, брызгая слюной, прошипел:

— Ровным счетом, холуц Волдитер, ты слюнтяй и глупец или просто предатель! Тебе юбка паршивой гречанки дороже нашего великого дела! Но знай, такие фокусы здесь заканчиваются плачевно. Пожалеешь, но будет поздно. Впо-

следний раз говорю тебе: кончай с этой девкой!

— Не будет этого!

Глазами, полными презрения и злобы, смотрел Ионас на жалкую, ссутулившуюся фигуру опечаленного, но твердого в своем решении Хаима.

— Хавэр Дувэд Кнох был прав, сказав, что ты все это специально подстроил, чтобы очернить нас! — процедил сквозь зубы Ионас. — Что ж! За это ты ответишь... И очень крепко! — Он резко повернулся спиной к Хаиму и зашагал прочь.

Нуци Ионас солгал. Давид Кнох действительно сказал нечто подобное, но не в адрес Хаима Волдитера, а на сей раз в адрес Нуци Ионаса, якобы умышленно скрывшего порочные факты из жизни своего подопечного холуца. Кнох предъявил ему обвинение в злоупотреблении положением доверенного лица Симона Соломонзона. Именно Нуци вменялось в обязанность повседневно наблюдать за Хаимом, изучать его характер, настроения, следить за поведением, знать обо всех его связях, систематически, исподволь готовить его для исполнения самых серьезных, сугубо секретных поручений. Потому-то Хаима и поселили на одном дворе с Ионасом.

Хаим, хотя и был удручен разговором с Ионасом, однако вздохнул с облегчением от сознания, что он, ни секунды не колеблясь, отказался расстаться с Ойей и что отныне он не связан с шайкой законспирированных убийц и контрабандистов, маскирующих свою черную работу болтовней «о высоких идеалах и кровных чаяниях народа-скитальца».

Ойя встретила Хаима настороженным взглядом, но, не обнаружив на его лице признаков тревоги, принялась за стряпню.

Хаим прилег, как обычно это делал по возвращении с работы; ожидая, пока Ойя приготовит ужин, закрыл глаза. И мрачные мысли, тесня и обгоняя друг друга, закружились в его голове. Иногда его охватывало отчаяние, но он тут же старался успокоить себя: «Переживем! Свет не сошелся клином на Ионасе и Соломонзоне. И кто знает, чем бы еще закончилась моя работа у них. Может, и меня «паровоз» отправил бы на съедение рыбам, как это делал с другими, не удобными ему людьми. Не бог весть каким сложным делом для всей этой компании было отправить к протцам даже такого человека, как Майкл, а что? Песчинка... Нет, я правильно сделал, что порвал с этой братией. Как бы худо нам с Ойей ни было, с голоду не умрем. Буду работать кем угодно! Никакой труд меня не страшит. И я найду работу, непременно найду... Из-под земли выкопаю, но найду...»

После минутной остановки на полустанке Гречень поезд тронулся, и на мгновение задремавший жандарм испуганно выпучил глаза... Увидев, однако, своего подопечного спокойно сидящим на прежнем месте, он сконфуженно засуетился, стал приводить себя в порядок: сдвинул назад съехавшую на лоб изрядно засаленную желто-зеленую капелу с большим надломленным козырьком, раздвинул соскользнувшие с боков спаренные кожаные патронташи, заполненные обоймами, затем торопливо протер рукавом затвор и ствол карабина, старательно прошелся полой шинели по ложу и под прицельной рамкой, оглядел вдоль и поперек оружие, наконец встал, пощупал заложенный за высокий манжет левого рукава большой желтый пакет с множеством сургучных печатей и штемпелей, который был вручен ему в галацкой тюрьме вместе с заключенным.

Взглянув на пристально следившего за его движениями заключенного, конвоир огрызнулся:

— Чего это зенки вылупил? На следующей выходим...

Илья Томов приподнялся было, но жандарм осадил его:

— Сидеть! Дам команду, когда понадобится вставать... И знай: попытка к бегству пресекается вот этим...

Конвоир для полной ясности приподнял карабин, оттянул на себя надраенную до блеска рукоятку затвора, наполовину вытащив из ствола медную гильзу со свинцовой пулей, и тут же резким движением задвинул ее обратно в ствол.

— Без предупреждения! И без осечки... На месте!

Томов молчал, устремив насмешливо-укоризненный взгляд на своего стража, слово в слово повторившего то, что говорил в галацкой тюрьме перед тем, как повести его на вокзал. С тех пор конвойный не вымолвил ни звука. Стерег его, как овчарка: одним взглядом...

Накануне доставки Томова в Галац вагон «дуба», заполненный до отказа пересыльными, ушел с составом, курсирующим по маршруту Галац-Басарабьяскэ-Тигина-Кишинэу... До следующего рейса Томова оставили в местной тюрьме. Одна часть здания была новая. Современная. Строили ее с учетом всех требований времени. Отчего тюрьма в Галаце удостоилась столь большого внимания властей? Разумеется, не только потому, что город славился портом на Дунае, необычным по архитектурному исполнению памятником Костяке Негри, роскошной улицей Домняскэ¹⁸⁸ с множеством оптовых магазинов или, наконец, известной во всей стране «стра-

¹⁸⁸ Господская (рум.).

дой Нопций»¹⁸⁹ с длинной вереницей убогих и грязных при-тонов с «живым товаром», импортированным из придунайских стран... На протяжении столетий по дорогам, пролежавшим через Галац, катились волны войн на Восток и Север, затем с Севера и Востока на Юг и Запад... Застряли здесь вместе с неграмотностью и нищетой трясучая малярия и пеллагра, умножались преступность и сифилис, а в бурные воды Дуная все больше и больше стекало крови непокорных режиму грузчиков с элеватора и доков, рабочих куцовой судовой верфи и узловой железнодорожной станции, трамвайного депо и захудалых мастерских и типографий, мельниц и мыловарен... Этому люду стражи порядка уделяли в Галаце, как и в остальной части страны, гораздо больше внимания, чем, скажем, прославленным в дурных легендах и в пошлых песенках налетчику Теренти или взломщику Корою. Одно упоминание о них продолжало приводить в дрожь мелких торговцев и шинкарей, лавочников и рыбаков... Галац и этим славился. Хотя такой же город и порт на Дунае, расположенный совсем близко, — Брэила — был более тихим и менее оживленным, более «почтенным» и менее знаменитым. Его горожане, как, впрочем, и жители других городов королевства, неспроста повторяли слова, заимствованные у извозчиков: «Посторонись, Брэила, — горит Галац!»

Галац в самом деле «горел». Расположенный на границе с Россией, он являлся как бы первым «полустанком», куда вторгался свежий ветерок уже кружившего в Бессарабии вихря революции... В Галаце еще в 1917 году проходил съезд солдатских депутатов русской армии на румынском фронте; в Галац на съезд прибыл из Бессарабии Григорий Котовский... Галац бурлил... И не случайно этот город был удостоен столь пристального внимания уездной префектуры, местной знати, священной епископии и военного трибунала, определивших своим высочайшим решением наилучшим образом достроить тюрьму...

У заключенных просторной и до предела заполненной уголовниками камеры, в которую поместили Илью Томова, не существовало ни имен, ни фамилий, ни номеров. У каждого была только кличка, притом одна причудливее другой: «Граф» и «Недорезанный», «Христос» и «Венерик», «Пречистая дева» и «Подлюга»...

Здесь Томов познал мир людей, живущих по неписанным законам и отличающихся жесточайшими нравами. Прибывшие сюда на «доследование» уголовники, не остерегаясь надзирателей, громогласно называли свое переселение в эту

¹⁸⁹ Улица ночи (рум.).

тюрьму «вождем перед свадьбой», что на воровском жаргоне означало «перед бегством»... Тюремщики в ответ лишь вежливо улыбались. Вообще уголовники жили в тюрьме по-барски. При содействии охранников, отнюдь не бескорыстно, они получали все, что им заблагорассудится, открыто попирали такие «строжайшие запреты», как курение табака и игра в карты. С рассвета и до глубокой ночи они резались в «очко» и, словно пар в бане, здесь круглосуточно стоял непроглядный, едкий дым от разных сигарет, начиная с дорогостоящих «Регале Рэ-мэ-сэ»¹⁹⁰ и кончая грошовыми — «Плугарь»¹⁹¹. Судьба человека, тем более случайно попавшего в эту среду и не знакомого с ее дикими нравами и обычаями, нередко зависела от прихоти какого-нибудь главара, владевшего припрятанной половинкой лезвия, как, впрочем, и от слепого случая — игровой карты, «орла» или «решки»...

Томову повезло. В старой, разодранной при обыске в сигуранце куртке, небритый и изможденный, он походил на обыкновенного попрошайку, каких в королевстве развелось неисчислимое множество. К тому же уголовники были заняты раздорами по поводу какого-то не доведенного до конца дела и потому не обратили должного внимания на новичка... А к исходу вторых суток пребывания Ильи в этом обществе тюремщики перевели его в освободившуюся камеру, куда одновременно поместили вновь прибывшего политзаключенного.

Вначале соседи по камере вели себя настороженно, подозревая друг в друге подсаженного тюремной администрацией провокатора. Когда же выяснилось, что коренастый пожилой сосед по камере — родом из Вилково и многократно наезжал в Болград, Илья спросил, кого он знает в том городе. К великому своему удивлению, Томов прежде всего услышал имя своего деда Ильи Липатова, вместе с которым собеседник несколько лет тому назад отбывал в Дофтане срок за революционную деятельность. Более того, оказалось, что незадолго до Нового года он был в Болграде, видел и деда, и мать Ильи...

Беседа приняла доверительный характер. Выяснилось также, что сосед Ильи знает о протесте политических узников бухарестской тюрьмы Вэкэрешть, о зверствах тюремщиков, в результате которых погиб старый подпольщик Самуэль Коган и лишился зрения известный революционер Мирча Никулеску. Томов сообщил лишь некоторые подробности и назвал имена главных виновников этих преступлений.

¹⁹⁰ Королевские — «управление государственной монополией» (сокр.).

¹⁹¹ Крестьянские — «пахари» (рум.).

На протяжении почти трех суток Илья Томов вел с соседом по камере оживленный разговор. Томов узнал от собеседника, что в Галаце еще в семнадцатом году, во время съезда солдатских депутатов шестой русской армии на румынском фронте, на юге Бессарабии, белогвардейцы учинили беспорядки. Съезд направил туда нескольких товарищей во главе с Котовским. Уполномоченные прибыли в Болград в тот момент, когда на базарной площади, недалеко от Николаевской церкви, провокаторы подстрекали огромную толпу возобновить в городе погромы.

— Один из провокаторов, — рассказывал Томову сосед по камере, — спросил подошедшего к нему высокого, стройного с бритой головой человека в полувойенной форме, кто он такой? — Котовский! — ответил подошедший и тотчас же на виду у всех расстрелял провокатора. В этот момент другой белогвардеец, стоявший позади Котовского, выхватил из кобуры наган и стал целиться в Григория Ивановича, но...

Томов перебил рассказчика:

— Но это заметил мой дед Липатов! Он тут же пристукнул гада!

— Верно! Значит, ты знаешь об этом?

С неослабным интересом слушал Илья рассказы старшего товарища о героической борьбе коммунистов-подпольщиков, об их стойкости и беспредельной преданности рабочему классу, об умении соблюдать строжайшую конспирацию.

Илья понимал, что судьба свела его с человеком незаурядным, он догадывался, что его собеседник — не рядовой коммунист, и лишь много времени спустя узнал, что это был один из вожakov бессарабских революционеров-подпольщиков. И только перед расставанием он назвал Илье свое имя. Это был Сергей Данилович Бурлаченко, всего две недели тому назад арестованный в Кишиневе по доносу прелателю.

Нехотя Томов покинул камеру тюрьмы в Галаце. Несмотря на очень короткий срок знакомства, Бурлаченко стал для Ильи столь же близким и уважаемым старшим товарищем, как и Захария Илиеску. Илья охотно отсидел бы весь определенный ему властями срок если не в одной камере с земляком из Вилково, то хотя бы в одной с ним тюрьме вместо того, чтобы конвоем следовать в родной город Болград и там... Что будет там, он не знал, но и не ждал ничего хорошего. Порою ему казалось, что инспектор Солокану решил предать его суду и устроить показательный процесс именно в Болграде, где его многие знают.

Мысль об этом и пугала Илью, и вселяла в него бодность. Он чувствовал, насколько велика будет его ответствен-

ность перед товарищами по бухарестскому подполью и перед партией в целом за каждое произнесенное слово и за все свое поведение на суде. Вместе с тем, со свойственным молодости мечтанием о героизме, Илья мысленно произносил пламенные речи против угнетателей народа, против деспотического королевского строя. Он хотел предстать перед матерью и дедом, перед всеми земляками-болградцами, да что там болградцами, перед всем человечеством таким же бесстрашным борцом, каким проявил себя на фашистском судилище в Лейпциге болгарин Димитров!..

В течение всей ночи после разлуки с Бурлаченко Илья вновь и вновь вспоминал его рассказ, напутствия и советы. Сидя в отгороженной для перевозки арестантов части старенького почтового вагона, Томов машинально застегивал и расстегивал единственную уцелевшую пуговицу на вконец истрепанной грубошерстной куртке. В вагоне было сыро, холодно, воняло мазутом, гарью и мочой. Тускло светила засиженная мухами, покрытая слоями сажи лампочка.

Погруженный в воспоминания, Илья ничего этого не замечал, как и равномерного стука колес на стыках рельс. И только протяжный гудок паровоза заставил его встрепенуться. Он поднял голову, взглянул в узкое продолговатое окно, затемненное снаружи металлической сеткой и изнутри огражденное решеткой из массивных железных прутьев. Чуть брезжил рассвет.

Поезд шел все еще полным ходом, спускаясь от греченьского полустанка к озеру Ялпуг. Места эти были знакомы Томову. Не раз бывал он здесь с черчеташами¹⁹² в походах, по вечерам они разжигали огромные костры и пели воинственные песни, прославлявшие короля, династию, монарший род. Тогда Илья мечтал окончить лицей, стать летчиком, защищать престол...

Теперь он знал истинную цену всему этому и, не желая делать скидки на возраст, укорял себя за то, что не вынул возражениям матери, проявил легкомысленное упорство и в результате оказался в одном строю с фашиствующими юнцами из состоятельных семей. Уже сделанное и испытанное на поприще революционной работы казалось ему теперь недостаточным искуплением допущенной в ранней молодости ошибки.

И снова Илья задумался над тем, что ждет его впереди, снова перед его мысленным взором предстал переполненный болградцами зал заседания суда и сам он, произносящий

¹⁹² Члены молодежной монархической организации.

речь, в которой непременно публично покается в том, что некогда был черчеташем, а заодно разоблачит фашистскую сущность этой организации. Илья ненавидел себя, когда вспоминал, как шагал под бой барабанов в факельном шествии и до одурения орал вместе с другими всякую чушь во славу его величества короля Кароля Второго, воеводы де Алба-Юлия Михая, принца Николая, королевцы... Томову стало противно.

И опять протяжный гудок паровоза прервал ход его мыслей и привлек взор к окну. Поезд приближался к станции Траян-вал, что в семи километрах от родного Болграда. Пронесли мимо исхоженные места, вспоминались друзья детства, шалости и проказы, на которые он был большой мастак...

Поезд замедлил ход, все реже и реже становился перестук колес. Сумбурные мысли и чувства охватили Илью в эти минуты. То он с радостью думал о возможной встрече с матерью и дедом, то вдруг ему становилось стыдно, когда он представлял себя идущим в разодранной куртке под конвоем жандарма на виду у земляков. Спохватившись, он строго спрашивал себя: «Стыдно? Чепуха. Мне нечего стыдиться! Я не уголовник... Напротив, и мать, и дед должны только гордиться мною, а на всяких гаснеров и попа мне наплевать...»

Однако вспомнив в ряду земляков Изабеллу Раевскую, Илья все же подумал, что было бы хорошо, если бы в это совсем еще раннее время его повезли в Болград на рейсовом автобусе. Тогда бы наверняка его никто не увидел...

— Всё... Вставай! — скомандовал жандарм и указал дулом карабина на открытую дверь. — Выходи.

Со стороны уходящих к хвосту состава пассажирских вагонов слышались громкие певучие голоса кондукторов:

— Траян-вал! Пять мину-ут... Болград! Кто выходит, господа, прошу не задерживаться... Пять мину-ут стоянка-а!

Едва Томов успел с наслаждением вдохнуть свежий воздух, увидеть над собой необъятное предутреннее небо и вместе с конвоиром ступить на выщербленный тротуар перрона, как к почтовому вагону чуть не бегом приблизились два жандарма. Последовал приглушенный обмен паролями, и один из встречающих тотчас же скомандовал следовать за ним. Конвоир из Галаца и второй жандарм пошли вслед за Томовым вдоль безлюдного перрона. Шедший впереди капрал обошел полупустой, дожидавшийся пассажиров автобус, и Томов с огорчением подумал, что не сбылась его надежда.

Утреннюю тишину вдруг разом нарушили хриплые голоса выбегающих из здания вокзала продавцов газет:

— Универсул! Курентул! Тимпул!.. Свежие газеты со старыми новостями...

— Крединца! Темпо! Экоул!.. Англия и Франция заключают перемирие с Третьим рейхом!.. Новая речь германского канцлера...

— Ултима-ора! Специальный выпуск! Налет чикагских гангстеров на общественную уборную... Потрясающее происшествие! Ултима-ора-а!..

Оглушительный гудок и резкие выхлопы забуксовавшего паровоза, трескучий перезвон буферных тарелок, пронесшийся, как по клавишам, вдоль состава, спугнул с вековых акаций и шелковиц тучу откормленных ворон. Зловещим показался Илье птичий гомон, заглушивший человеческие голоса.

Томов старался отвлечься от грустных дум, смотрел по сторонам, полной грудью вдыхал ароматный воздух, насыщенный запахами свежей травы, набухавших почек и местами уже появившейся молодой листвы на деревьях. Но чем дальше они уходили от станции, тем реже встречалась зелень и тем сильнее ощущался запах керосина... Эскорт приближался к стройным рядам возвышавшихся к небу, как огромные снаряды, ярко-желтых баков-цистерн с красиво выписанными на них зеленой краской названиями нефтяного концерна — «Дистрибуция». На противоположной стороне дороги далеко вдаль янулся штaketный забор с множеством цветных рекламных вывесок различных американских фирм: «Стандарт-ойл», «Осин-ойл», «Вега-ойл», «Гарга-ойл», «Мобил-ойл», а за забором виднелись менее яркие и более низкие, с поблекшей краской баки, многоэтажные ярусы бочек и ящиков, горы пиломатериалов и строительного железа, пакгаузы и навесы со скобяными, стекольными и бакалейными товарами... Все это принадлежало известной в стране фирме «Жак Цоллер и К°» — грозному конкуренту концерна «Дистрибуция».

Едва миновав эти владения магнатов капитала, Томов и его «телохранители» вошли в большое село Табак, заселенное болгарами и гагаузами. Через него пролегалo узкое, плохо укатанное и густо усыпанное мелким гравием «национальное шоссе», связывающее железнодорожную станцию Траян-вал с Болградом и уездным городом Измаилом. По обеим сторонам шоссе за жиденькими палисадниками проглядывали приземистые хатенки с почерневшими от копоти, грязи и ветхости камышовыми и соломенными крышами, а позади них — узенькие, точно заплатки, приусадебные участки, на которых, несмотря на раннее утро, уже трудились люди, вскапывали мотыгами землю.

Хруст гравия под коваными боканками конвоиров всполошил сторожевых псов, из конца в конец села поднялся злобный собачий лай, почему-то напомнивший Илье злоеющее карканье ворон при выходе со станции Траян-вал. Кое-где у изгородей появились крестьяне в остроконечных мерлушковых шапках и разукрашенных черным орнаментом овчинных безрукавках. Одни из них, еще издали завидев жандармов, тотчас же возвращались к прерванной работе, другие, терпеливо дождавшись их приближения, покорно снимали шапки и кланялись... Кому они кланялись? Жандармам, движимые привитым столетиями гнета раболепием? Или арестанту, проявляя сочувствие этому парню, чем-то не потрафившему властям, недобрым к бедному человеку?

Все здесь было знакомо Илье — и безысходная нужда тружеников, и их язык, нравы и обычаи, и их бесправное положение, как инородцев... Большинство из них не владело румынским языком, между тем власти запрещали говорить на родном болгарском языке, и часто, во избежание неприятностей, соседи объяснялись друг с другом знаками, как немые. Вспомнилось Илье, как, беседуя с Бурлаченко, он удивлялся долготерпению угнетенного народа, на что бывалый коммунист ответил:

— Неверно это, Илье, будто народ чрезмерно долготерпелив... На протяжении всей истории нашего края, как, собственно, и других стран, из года в год бастовали рабочие, бунтовали крестьяне, протестовала интеллигенция, студенты, служащие... И не раз такие вспышки разрастались в мощные восстания. Потoki слез и крови пролили труженики, стремясь сбросить с себя ярмо нищеты, унижений, бесправия и гнета. И если народ-труженик все еще не расправился со своими угнетателями, то причина не в долготерпении, а в том, что его передовая часть — пролетариат — идейно и организационно еще не готова для решающей схватки. И первая задача коммунистов в том и состоит, чтобы, преодолевая все преграды, воздвигаемые властью имущими, изо дня в день настойчиво и терпеливо доводить до сознания эксплуатируемых великую правду и силу учения Маркса, Энгельса, Ленина, крепить их организованность, готовить к решающим схваткам и битвам против власти капитала, к революции...

— Именно такую кропотливую работу и ведут в подполье мои друзья Захария Илиеску, Аурел Морару и другие румынские товарищи, с которыми свела меня судьба, — ответил тогда Илье Сергею Даниловичу. — Не знаю, увижу ли я их когда-нибудь?..

Поглощенный этими мыслями, Илья не заметил, как идущий впереди капрал свернул к добротному дому с оцинкованной крышей и возвышавшемуся рядом с ним раскрашенному в национальные цвета столбу с трепыхавшимся на нем вылинявшим флагом. Замызганная табличка, прибитая между входной дверью и окном с железной решеткой, удостоверяла, что здесь помещается жандармский пост села Табак...

Томов предстал перед дежурным сержантом. Короткий допрос «о составе преступления» завершился отправкой арестанта на кухню в распоряжение добродушной толстухи поварихи. Илью удивило, что здесь его оставили без надзора. Конвоиры куда-то исчезли, сержант ушел в дежурную, где непрерывно трезвонил телефон.

— Поешь-ка, парень, сперва, а тогда и за работу... Верно, притомился в пути? Откуда сам-то?

С этими словами толстуха поставила перед ним большую миску с отменной фасолевым чорбой¹⁹³, а услышав в ответ по-болгарски, что родом он из Болграда, заулыбалась и положила ему в миску большой кусок молодой баранины.

Илья с наслаждением поглощал пищу, о вкусе которой забыл еще задолго до ареста, а раздобревшая женщина щедро подбрасывала ему куски мяса.

Наевшись досыта, он принялся таскать из колодца воду, но не успел заполнить кадку, как появился сержант и приказал ему навести порядок в отхожем месте.

— Там есть все, что надо, — метла, лопата и ящик с хлоркой... Только пошевеливайся! — сказал он. — И чтобы там все блестело, слышь?!

Илья хотел было отказаться, но в дежурке затрещал телефон, и сержант убежал туда. Поразмыслив, Томов решил, что не стоит навлекать на себя недовольство жандармского начальства. Он принялся было за дело, но, увидев висевшие на гвозде обрывки газеты, присмотрелся к заголовкам и раскрыл рот от удивления. Один из напечатанных жирным шрифтом заголовков гласил: «...крывается за самоубийством инспектора Солокану?»

Илья посмотрел по сторонам, убедился, что никто не наблюдает за ним, прикрыл дверь и, сняв обрывок газеты с гвоздя, стал торопливо читать:

«...сделанное инспектором сигуранцы Солокану заявление в главном здании Генеральной дирекции сигуранцы государства представителям столичной прессы, как это практиковалось в особых слу...». Здесь текст обрывался, и Томов продол-

¹⁹³ Суп на мясном бульоне, заправляемый квасом.

жил чтение на втором столбце: «...авершив интервью и ответив на множество вопросов корреспондентов, господин Солокану удалился, заявив при этом, что его окончательное решение станет известно не более чем через пять минут. Но не прошло и минуты, как в соседнем кабинете раздался выстрел... Присутствующие на пресс-конференции журналисты и полицейские чиновники тотчас же бросились туда... На полу, в луже крови, лежал инспектор сигуранцы Солокану. В двух шагах от него валялся именной пистолет, два года тому назад пожалованный ему в качестве награды от Генеральной дирек...

Прочитав этот клочок газеты, Илья снял с гвоздя еще несколько обрывков, торопливо стал их просматривать, надеясь найти начало и конец глубоко взволновавшей его информации, но не успел... Послышались чьи-то шаги, и почти сразу же на пороге появился дежурный сержант.

— Что это у тебя? — строго спросил жандарм и, выхватив из рук Ильи газетные обрывки, стал разглядывать их. — Для чего они тебе?

— Да просто так... — спокойно ответил Илья. — Руки хотел вытереть...

Жандарм недоверчиво посмотрел на него, еще раз повертел в руках бумажки и, не обнаружив на них ничего подозрительного, скомкал и бросил в дыру.

— Ну-ка, пойдём... — недружелюбно произнес дежурный. — Ты мне прикинулся прямо-таки ангелочком, а ваша милость, оказывается, бунтарь первой гильдии!?

Илья понял, что опять стряслось что-то неладное. В дежурном помещении он предстал перед шефом жандармского поста — плутоньер-мажором¹⁹⁴ с обрюзгшей физиономией цвета переспелого помидора.

— Есть приказ сигуранцы Болграда доставить тебя туда в кандалах, — ворчливо произнес жандарм, глядя на Томова мутными после попойки глазами. — В тюремном предписании этого нет, но сигуранце лучше знать, какой ты есть «фрукт»... Будешь топать этапом... Вопросы есть?

Томову одели на ноги допотопные кандалы — толстую цепь с большим амбарным замком. Молча он взирал на приготовления конвоиров, не переставая думать о самоубийстве инспектора Солокану. Что он сказал в предсмертном заявлении на встрече с корреспондентами? В чем причина самоубийства? Есть ли какая-нибудь связь между случившимся и странным поведением инспектора сигуранцы во время его двукратной встречи с Томовым в камере тюрьмы?

¹⁹⁴ Старший фельдфебель (рум.).

Эти мысли не покидали Илью на всем пути из села Табак. С трудом передвигая ноги, скованные волочившейся по земле цепью, не замечая ни встречных пешеходов, ни проезжавших на подводах крестьян, он шаг за шагом восстанавливал в памяти каждое слово, сказанное инспектором при встречах в камере тюрьмы, каждое его движение и все больше приходил к заключению, что уже тогда Солокану испытывал глубокое разочарование в том, чему служил верой и правдой, искал и не находил выхода из тупика, в котором оказался, когда понял истинные причины гибели своей дочери, узнал, что подлинными убийцы ее — те, к кому он благоволил, кому попустительствовал, сам же помогал.

Дорога пошла в гору, вдали показались красные черепичные крыши военных казарм на окраине Болграда. Когда конвой подошел к казарме третьего пехотного полка, из ворот с высокой полукруглой аркой выкатила двухколесная бричка на резиновом ходу. Бесшумно подкатила она к конвою, и оба жандарма в растерянности остановились, взяв под козырек.

— Вы что, слепые? — обрушился на них зычным голосом тучный офицер, восседавший на бричке рядом с денщиком. — Не видите, что заключенный едва ноги передвигает!?

— Здравья желаю, господин капитан! — заикаясь, рапортовал старший жандарм. — От цепей это, господин капитан... В сигуранцу его доставляем. Так приказано!

— Не знаю, какой болван вам приказал такое! Своя-то голова у вас есть на плечах? Сейчас же сделайте так, чтобы цепь не била его по ногам! Понятно?

— Так точно, господин капитан, понятно!..

Офицер ткнул в бок денщика, который хлестнул коня возжами, и рысак рванул с места... Томов узнал капитана Гросу и был уверен, что тот не признал в нем бывшего соседа по дому, еще недавно гимназиста, запускавшего планеры... Гроза солдат и офицеров третьего полка «Вынэторь»¹⁹⁵, капитан Гросу был широко известен горожанам тем, что женился на бессарабке, дочери местного фотографа-еврея. Это считалось недопустимым в армии его величества, хотя известно было, что сам монарх сожительствовал с еврейкой Лэйей Вульф, по желанию его величества ставшей «чистокровной» румынкой Еленой Лупеску...

Жандармы озадаченно чесали затылки, не зная, чем подтянуть цепь, чтобы она не била по ногам арестанта и не громыхла по камням дороги. Наконец, ругаясь и проклиная повстречавшегося капитана, один из жандармов, рискуя

¹⁹⁵ Буквально — охотничий; пехотно-стрелковый полк (рум.).

показаться в городе со спадающими штанами, снял с себя брючный ремень и привязал один конец его к цепи, другой дал в руки арестанту. Илья приподнял цепь, и сразу стало легче идти. Жандарм, однако, продолжал браниться и без конца подтягивать спадающие штаны...

Так они вошли в город. На окраине мало кто знал Илью Томова, но если изредка и попадались знакомые, то не признавали в нем своего земляка. Для встречаемых горожан он был просто безымянным арестантом, одним из тысяч им подобных. Одиночки-прохожие молча провожали сочувствующим взглядом эту не столь уж редкую в королевстве процессию.

Иначе реагировали жители торговой части города. Едва конвоиры и арестант вступили на главную, бульварную, улицу, носившую имя короля Фердинанда, как из расположенных друг за другом бесчисленных лавчонок и шинков, парикмахерских и закусочных, контор по скупке и экспорту зерна и вина, шерсти и овечьих шкур, рыбы и фруктов, лука и веников, словно оповещенные по беспроволочному телеграфу, стали выбегать на тротуар сгорающие от любопытства люди. За редким исключением, для всех этих крупных, средних и мелких торгошечей человек под стражей, да еще в кандалах, — синоним вора, убийцы или, что с их точки зрения еще хуже, бунтаря, революционера, покушающегося разрушить весь их жизненный уклад, попруть их святыню — частную собственность...

Илья шел, глядя вдаль, не всматриваясь в толпящихся на тротуаре людей, но по доходявшим до его слуха возгласам отчетливо представлял себе выражение злорадства и негодования на их лицах.

— Попался, субчик!

— Считай, песенка спета... Амба!

— И римский папа не поможет...

— Руки отрубать таким мерзавцам надо!

— А теперь-то все одно что без рук... В чужой карман уже не залезет!

— Крышка!

«Ну и гады! — с возмущением подумал Илья. — Сами прожженные жулики, и меня в свою компанию зачисляют...». Он хотел крикнуть им что-нибудь оскорбительное, но пока собирался, как сказать, передумал и отказался от своего намерения. Он вспомнил, с каким достоинством реагировали коммунисты — узники тюрьмы Вэкзрешть — на площадную брань и вздорные обвинения тюремщиков. Томов выпрямился, вскинул голову и, обдав толпу презрительным взглядом, зашагал твердой, четкой поступью.

Впереди, на предпоследнем квартале бульвара, размещались лучшие в городе бакалейные и галантерейные лавки, здесь же был и магазин мануфактурщика Гаснера, а дальше начинался проспект помещика Раевского, пестревший претенциозными вывесками банков «Комерциала» и «Басарабия», ресторанов «Пиккадили» и «Монте-Карло», отелей «Гранд» и «Савойя», автобусной конторы «Транспортул модерн», и кофейен «Венеция», «Парадиз» и «Де люкс», служивших местом сборища городских торговцев и владельцев предприятий, приезжих коммерсантов и коммивояжеров, рыскающих в поисках клиентов маклеров и великовозрастных лоботрясов с десятилетним студенческим стажем и кошельком, туго набитым папашиними деньгами. Здесь многие знали Илью Томова если не в лицо, то по имени, как парня, однажды закатившего звонкую пощечину известному в этом мире мануфактурщику Гаснеру.

К встрече с этой публикой Илья готовился и нервничал с той самой минуты, когда жандармы повели его через центр города... Он предвидел, сколь бурной будет реакция завсегда-таев этих заведений на его появление «почетным» эскортом. И он не ошибся. Еще издали завидев конвойных, толкавшихся у входа в «Венецию» дельцы, перебивая друг друга, заорали в открытую дверь кофейной:

— Ай-яй-яй-й!

— Скорее сюда!

— Смотрите! Ведут его!..

Этого было достаточно, чтобы страстные любители сенсаций, не довершив заключения сделок, не дослушав очередного пошленького анекдота, не допив зельтерской или кофе, не доев пирожного или не доиграв партии в домино, бросились опометью на улицу.

— Так то ж наш болградец!

— Точно! Илюшка Томов...

— Это тот самый, который так непочтительно поступил с господином Гаснером?

— Ну да!

— Но оплеуха — мелочь! Бандит же хотел бросить бомбу в патриарший собор!

— В Букуреште!?

— Да-да! И потом он собирался перемахнуть на аэроплане через Днестр к красным голопузикам...

— Ай-яй-яй-й, что творится на белом свете, какой ужас!

— Заковали-то его прочно!..

Илья размеренно шагал по ухабистой мостовой, преодоле-

вая боль в ногах, подняв голову и с откровенной ненавистью в упор глядя на толпившихся, словно перед клеткой в зверинце, мошенников от торговли и казнокрадов, прихлебателей власти имущих и бездельников с пресыщенными мордами. Откровенно суровый взгляд Томова заставил многих из этой разношерстной публики умерить пыл, стушеваться и проводить земляка-арестанта опасливым взором.

Глубокое удовлетворение почувствовал Илья, миновав кварталы, заполненные чуждыми ему людьми с низменными нравами. Многих он видел насквозь, понимал их стремления и намерения, цели; он изменился с тех пор, как покинул этот город. Томов был уже другой человек, с иными запросами, иным мышлением, психологией, иным видением жизни и даже характером. Он возмужал не только внешне. Илья Томов прозрел. Нет, он не доставил удовольствия тем землякам, что столпились у «Венеции», лицезреть себя приниженным, покорным, сломленным, таким, каким они хотели бы его видеть. Напротив, всем своим видом Томов бросал им вызов и осуждение.

И хотя в какое-то мгновение он с облегчением глубоко вздохнул, когда миновал эту людную улицу, он тут же пожалел, что среди тех, кто устроил ему столь выразительно-враждебную встречу, не оказалось ни его бывшего хозяина, ни Изабеллы... Она бы наверняка схватилась за голову и, быть может, даже упала в обморок, а господин Гаснер, при виде кандалов на ногах «паршивца», «голодранца», «босняка» и сопровождающих его конвойных жандармов, пришел бы в восторг...

Сейчас Илья почему-то был уверен, что нашел бы способ публично осмеять сентиментальность Изабеллы, осадить и обескуражить самоуверенного мануфактурщика. Илье очень хотелось, чтобы все было именно так, и так именно он представлял себе эту несостоявшуюся встречу...

Конвой приближался к кирпичному зданию полиции; вдали виднелась белокаменная веранда шинка и часть выступавшей из-за угла покосившейся «присбы»¹⁹⁶ с деревянными столбами вместо колонн, подпиравшими ветхий домик. В нем мать и дед Ильи снимали две комнатухи с крохотной кухней. Неотрывно смотрел Илья на этот домик, но, к великому его огорчению, конвойный свернул к железным воротам полиции, услужливо открытым привратником, а из домика так никто и не вышел.

Пока комиссар местного отделения сигуранцы Рафтоппуло неторопливо распечатывал большой желтый пакет с оттиска-

¹⁹⁶ Завалинка.

ми королевской короны на сургуче и оформлял «обратный талон», подтверждавший поступление арестанта, жандарм во дворе снимал с Томова кандалы, пропажа которых грозила конвоирам, согласно жандармскому уставу, продлением службы не менее чем на год.

Два полицейских провели Томова в узкий коридор, где его обсыпали дезинфицирующим тошнотворным порошком, а затем провели по крутой, шатавшейся под ногами лестнице в глубокий полутемный, пахнущий плесенью погреб. Худая слава гуляла среди местных жителей об этом полицейском застенке, упоминание о нем всегда отождествлялось с истязаниями и пытками.

И первое, что пришло на ум Илье, когда он оказался в этом подземелье, было давнее воспоминание о мужественном поведении его школьного друга Хаима Волдитера. Арестованный сигуранцей за распространение революционных прокламаций, Хаим подвергся тогда пыткам и истязаниям, но, несмотря на весьма изощренный метод допроса комиссара Рафтопулло и жестокость главного сыщика Статеску, ни единым словом не выдал ни своего основного сообщника Илюшку Томова, ни других ребят.

Илья томился в погребе не более получаса. Его привели в канцелярию, и дежурный полицейский комиссар, не говоря ни слова, приступил к делу: измерил рост Томова, установил цвет его волос и глаз, определил черты внешности и наличие особых примет, тщательно выискивая подкожную татуировку. Все эти данные комиссар каллиграфическим почерком вписал в соответствующие разделы формуляра-карточки с опознавательными данными.

Завершив процедуру раздевания и обследования, дежурный комиссар провел Томова в соседний кабинет. Здесь он предстал перед плотным смуглолицым, с густой щеткой рубленых седых усов комиссаром Рафтопулло. Этот самодовольный чин не упускал случая блеснуть своей мнимой проницательностью и способностью хитро вести допросы. Помимо Рафтопулло в кабинете был и главный сыщик сигуранцы Статеску. Он делал вид, будто впервые видит Илью. Статеску и Рафтопулло попеременно повели дотошный не то допрос, не то разговор, причем комиссар, лукаво поглядывая на Илью, старался казаться наивным, добродушным и словоохотливым шутником.

— Учился в лицее? Это прекрасно! А где?

— Наверно, были среди лицеистов друзья? Кто, например?

— Стало быть, учился вместе с Волдитером Хаимом! Неплохой парень, да?

— Уехал куда-то?! Вот как... Жаль, конечно... А сам почему покинул наш город?

— На авиатора хотел учиться?! Совсем похвально! И что же помешало?

— Хм... Не приняли? Почему же?..

— Пришлось наняться на работу? Куда?

— Помогли знакомые? Кто именно?

— А здесь есть родные?..

— И отец с ними?

— Вот оно что!? Уехал с дочерью... Далеко?

— Печально, да-а... Ну-с, а если, предположим, тебя освободили бы из-под ареста, чем бы занялся?..

— Это верно сказано! Человеку без хлеба насущного не жить, а хлебушек с неба не падает и, к сожалению, денежки тоже под ногами не валяются...

Долго длился этот нудный, никчемный разговор с бесконечными повторами. Ни «проницательному» комиссару, ни тем более «всеведущему» сыщику, привыкшему выведывать секреты с помощью доносчиков, ничего не удалось узнать сверх того, что им давно и хорошо было известно. Им лишь самим хотелось увидеть, что в самом деле представлял собою их новый подопечный и каким образом легче держать под контролем этот «объект», с которым в будущем придется, очевидно, вести трудную борьбу. Поэтому они и прошупывали его, пытаясь отыскать уязвимые места. Но безуспешно.

— Ну, вот и прекрасно! — с наигранной любезностью заключил комиссар Рафтоппуло. — Мы должны остаться друзьями... А для этого на память надо сфотографироваться и, ради пущей формальности, — продолжал он, обменявшись многозначительным взглядом с сыщиком, — следовало бы снять отпечатки пальцев... Не так ли?

Статеску помедлил с ответом, равнодушно пожал плечами, будто желая сказать, что можно бы обойтись и без соблюдения этих правил, но коль скоро предложено комиссаром, то почему бы и не выполнить...

— Вот и отлично, господин Статеску! Нельзя не оценить такое единодушие... Полагаю, что и господин Томов не имеет возражений?

Илья ничего не ответил, и комиссар тотчас же заключил:

— Молчание — знак согласия! В таком случае пройдите в соседнюю комнату. Там все уже подготовлено и вас ждет фотограф.

Владелец захудалой фотографии Летник, по прозвищу «замороженный», которое горожане дали ему, имея в виду

почти полное отсутствие у него работы, сфотографировал Томова с четырех сторон и по несколько раз...

— Уж сняли бы и в лежащем положении, — предложил Илья. — Было бы доходнее... Лишний кадр!

— Доходнее? — удивился Летник. — В жизни мне не платили за эту работу и, поверьте, она доставляет мне такое же «удовольствие», как и вам!

— А вашему зятю — капитану Гросу — передайте мою искреннюю благодарность!

— Моему зятю?! За что?

— За человечность... Скажите ему, что жандармы выполнили его приказание и мне стало намного легче.

За время, пока Томова фотографировали и снимали отпечатки с его пальцев, комиссар Рафтопуло связался по телефону с Генеральной дирекцией сигуранцы Бухареста и получил подтверждение полученных в желтом пакете указаний. И когда Илья Томов снова появился в его кабинете, Рафтопуло торжественным тоном довел до его сведения, что «сигуранца государства его величества Кароля второго, исходя из гуманных соображений, постановила прекратить дело, начатое против Илие Томова, и освободить его из-под ареста...»

— Однако, — продолжал уже с серьезной миной на лице комиссар Рафтопуло, лукаво взглянув на Томова, — постановление предписывает господину Томову находиться под постоянным надзором государственной сигуранцы города Болграда, в связи с чем ему надлежит впредь два раза в неделю — по вторникам и пятницам, — отмечаться в полиции... Господину Илие Томову запрещается заниматься политикой, запрещается выезжать за пределы города, запрещается отлучаться из дома от двадцати трех до шести часов, запрещается посещать собрания, запрещается собираться...

Запрещениям, казалось, не будет конца. Затем последовали предупреждения и угрозы о применении санкций в случае нарушения постановления сигуранцы. Наконец Томову предложили засвидетельствовать собственноручной подписью «согласие с постановлением», «отсутствие возражений», «принятие к сведению порядка отметки в полиции», обязательство «соблюдать правила для поднадзорного» и снова «отсутствие претензий к сигуранце государства и государственным служащим», «хорошее обращение» и многое другое...

Илья читал, расписывался и все еще сомневался в том, что его выпустят. Когда же Рафтопуло произнес: — «Вы свободны, господин Томов! Можете идти», от радости Илья чуть было не сказал «спасибо», но вовремя спохватился и только сдержанно кивнул головой.

Странное ощущение испытал Томов, когда вышел за ворота полицейского участка. Умом и сердцем он радовался обретенной свободе и вместе с тем испытывал какую-то неловкость, словно его лишили чего-то, ставшего привычным. Ему казалось, что кто-то все еще сопровождает его, что вот-вот он услышит окрик-приказ идти быстрее или медленнее, повернуть влево или вправо, остановиться или встать лицом к стенке... Он шел медленно, неуверенно, хотя ему хотелось скорее, как можно скорее увидеть мать и деда, шел не оборачиваясь, хотя хотелось убедиться в том, что он действительно свободен и никто не следует за ним по пятам.

Стиснув зубы и сжав кулаки, Илья заставил себя ускорить шаг и, когда дошел до калитки дома, не выдержал, обернулся. Кругом ни души! Над головой огромный простор безоблачного неба!.. С облегчением глубоко вздохнув, Илья рывком открыл калитку и вбежал во двор...

В то время, когда в полицейском участке Илью Томова освобождали от кандалов, фотографировали, допрашивали и, наконец, оформляли расписки, прежде чем отпустить домой, завсегдатаи кофейни «Венеция», среди которых был уже и господин Гаснер, все еще продолжали на все лады комментировать появление в городе закованного в кандалы земляка.

Мануфактурщик торжествовал:

— Теперь его поведут в Измаил... Этапом!

— Почему вдруг в Измаил? Он же, говорят, набедокурил в Бухаресте?!

— Будто вы не знаете, что в Измаиле острог!? Потому его и поведут туда!

— Вы так думаете?

— А вы как думаете? Повезут в фаэтоне на курорт в Будаки? Ему и так обеспечен отдых... за решеткой!

— Почему все-таки вас так волнует судьба этого парня, господин Гаснер? — вмешался в разговор дотошный старикан, владелец соседней с «Венецией» цирюльни. — Неужели все еще помните, как он «отбрил» вас по щеке?

Гаснер не успел открыть рот, как кто-то, с явным намерением вывести мануфактурщика из равновесия, поправил старикана:

— Да нет же! «Отбрил» — не то слово! Один извозчик был свидетелем этой сцены и говорил, что молокосос Томов просто-напросто съездил по морде господину Гаснеру! Разве вы этого не знали?!

— Хорошо, хорошо! — задыхаясь от гнева, прохрипел Гаснер. — Можете еще вспомнить, как мясник сказал, что босяк рубанул по ряжке, и прочее, и прочее... Все это я уже не раз

слышал и меня это не волнует. Ни капли! И, между прочим, на вас бы он руку не поднял. А знаете почему? Нет? Так я вам скажу: потому что, как говорят, рыбак рыбака видит издалека... Да-да! Он бунтарь, дед его бунтарь, и все, кто с ними, хотят они этого или не хотят, такие же бунтари! Как, между прочим, и наш типограф... Он их давнишний приятель!

— Рузичлер?

— Вы не ошиблись! — охотно подхватил мануфактурщик, стараясь переключить разговор на другую тему. — Именно он хотел взять этого босняка в свою типографию и сделать из него печатника!.. А как вы думаете — для чего? Очень просто! Чтобы этот бунтарь мог печатать большевистские прокламации и подбивать людей на...

— Тс-с, тише! — прервал его цирюльник. — Рузичлер как раз идет сюда...

Гаснер замолчал, но ненадолго. Он убедился в том, что типограф только здесь узнал о появлении сына Томовой в кандалах и под конвоем жандармов, и наслаждался, видя, как удручающе подействовало на него это сообщение. С того памятного дня, когда типограф был у него дома и ушел, изругав его последними словами, они не здоровались и не разговаривали друг с другом. Теперь, желая еще больше огорчить своего обидчика, Гаснер снова стал петушиться, переходить от одного к другому и нарочито громко восклицать:

— Так вы понимаете, что его ждет? Он уже получит то, что до сих пор никому не снилось! Сейчас другое время — война! И уж как-нибудь я знаю, что говорить, поверьте мне!

Увлечшись, Гаснер не заметил, что типограф давно уже покинул кофейню и вряд ли слышит его пророчества...

Дома Илья не успел еще рассказать матери и деду, что отныне он будет жить в Болграде под надзором полиции, как раздался стук в дверь. Тревожно забилося сердце Ильи. Испуганно прижалась к груди сына мать. И только дед, сурово нахмутив брови, после короткого радумья громко спросил:

— Кто там?

Это был типограф Рузичлер. Он стоял на пороге в полном недоумении.

— Илюшка?!

— Да, господин Рузичлер... Здравствуйте!

Типограф с распростертыми руками бросился к Илье, обнимал и тискал его, жал руку и хлопал по плечу...

— Так мне же сейчас сказали в кофейне, что тебя привели жандармы, как последнего преступника, закованного в кандалы!?

— Все верно... Но, как видите, освободили.

— Совсем?

— Надеюсь...

Рузичлер смотрел на Илью, словно не верил ни глазам, ни ушам своим, и снова стал обнимать его.

Илья впервые за долгое время рассмеялся. Но тут же посерьезнел.

— Большое спасибо вам, господин Рузичлер, за помощь, которую вы оказывали здесь моим, — сказал он, освободившись наконец из объятий типографа. — Я этого никогда не забуду и, как только подыщу работенку, начну постепенно...

Рузичлер не дал ему договорить:

— Брось ты чепуху городить! О чем говоришь? Как тебе не стыдно! Чепуха все это!..

— Нет, не чепуха! — вмешался старик Липатов. — Наша вам сердечная благодарность, господин Рузичлер. Вы и ваша жена сделали для нас много доброго... Очень много!

— Перестаньте! И слышать не хочу, — отмахивался типограф. — Илюшка на свободе! Вот что важно!

— Тоже верно, — согласился старик Липатов, сворачивая на радостях цыгарку. — А то я уж подумывал, доживу ли до такого дня!

— Ого! — весело воскликнул Рузичлер. — Я уверен, что вы еще будете встречать в нашем городе и других... Вы понимаете, Илья Ильич, о чем я говорю... Пора бы им подумать и о нас с вами...

— Пора бы давно... — ответил Липатов и, сам того не замечая, выпрямился, глаза его блеснули, лицо, и без того всегда серьезное, стало суровым. Резким движением он зажег спичку, прикурил, глубоко затянулся...

Рузичлер взял Илью за руку и, не отпуская ее, спросил:

— А знаешь, с кем на днях мы вспоминали тебя?

— Меня? С кем?

— С отцом твоего дружка!..

— Какого «дружка»?

— Хорошенькое дело «какого дружка»? Отцом Хаима! Старика Волдитера не знаешь?

— Конечно знаю. А что с Хаимом? Хороший парень, только, думается, напрасно мотнул в Палестину... Как он там живет?

— Хаим там создает «великий национальный очаг»!.. По-еврейски это называется «манэ цурес»... Ты знаешь, что это такое? Мои беды, или еще что-то в этом роде... А отец его тут еле-еле перебивается с дочерью. Письма он получает редко и хорошего в них, видимо, мало. Правда, однажды он порадовался, когда Хаим сообщил, что женился...

— Хаим женился?!

— Да, представь себе, женился... Как будто бог весть какое большое дело жениться!? Но с тех пор старик почему-то молчит. Я не спрашиваю его ни о чем. Знаю, что если бы было у него что-нибудь хорошее — наверняка похвастал бы. Раньше он, бывало, все говорил, что ждет от сына «вызова». Теперь об этом — ни слова. Не думаю, чтобы Хаим стал уже Ротшильдом и зазнался!.. Ты же знаешь, не таков он, чтобы бросить отца и сестренку.

— Ну, нет! Это исключено, — твердо ответил Илья. — Хаим — отличный товарищ. Я тоже часто вспоминал его...

— Ну, вот, видишь! Хотя, поверь мне, Илюшка, я не завижусь ему, если даже он стал там миллиардером... Честное слово! У меня есть один немудреный принцип. Не бог весть какой умный. Обыкновенный! Родился я тут? Детство мое прошло тут? Родители мои похоронены тут? Друзья мои живут тут? Я тружусь тут? Значит, и находиться я должен тут!.. И если тут плохо, так тут надо и бороться за лучшую жизнь!.. Вот тебе вся моя философия... И точка! А к тебе, Илюшка, у меня просьба. Большая! И, хочешь ты или не хочешь, но должен пойти навстречу...

— Пожалуйста, господин Рузичлер... Если только смогу — с удовольствием!

— Сможешь, сможешь...

Рузичлер предложил Томову немедленно навеститься в кофейню «Венеция», а потом обязательно пройтись мимо магазина Гаснера. Илья замаялся.

— К чему?

— К чему? — удивился типограф. — Ты же не знаешь, что твой бывший хозяйчик Гаснер уже раструбил всем в кофейне, что тебя отправляют на каторгу!

— Ну и бог с ним...

Рузичлер обиделся:

— Нет, нет, нет! Ты должен исполнить мою просьбу! Я хочу посмотреть, как будет выглядеть Гаснер, когда ты появишься! Прошу, Илюшка! Ведь от такого удовольствия я проживу по меньшей мере на десять лет больше положенного, честное слово!

— А может, и верно надобно уважить? — сказал дед. — Только сперва приодеться бы... Маруся! Дай-ка Илюхе, что там есть у тебя из одежки... Рубаху чистую!

Суетясь и радуясь, как ребенок, Рузичлер ушел, чтобы инсценировать «неожиданную» встречу с Ильей в «Венеции». А Илья умылся, надел белую рубашку с открытым воротом и

неуклюже сидевший на нем, но пропаренный и отутюженный до блеска черный пиджак деда, получил от матери несколько медяков и отправился вслед за типографом.

Появление в кофейне Томова было тотчас же замечено. С разных сторон слышались приглушенные возгласы, и обычно неутихавший здесь галдеж стал быстро замирать.

Будто не замечая этой перемены, Илья прошел к стойке, напротив которой за столиком сидел Гаснер с цирюльником, поздоровался с бай-Авраамом — хозяином кофейни — и заказал стакан сельтерской с двойным сиропом. И только после того, как толстяк, владелец «Венеции», подал ему стакан с вишневой шипучей водой и восторженно высказал свое удивление возвращению его в родной город, Илья устремил пристальный взгляд на мануфактурщика. А всего за минуту до этого сиявший от радости, румяный и словоохотливый хозяин крупнейшего мануфактурного магазина теперь вдруг побледнел, замолчал на полуслове с отвисшей челюстью. От растерянности он поерзал на стуле, оглянулся вправо и влево и, заметив, что Илья Томов продолжает в упор смотреть на него, медленно поднялся, стал не то разводить дрожащие руки, не то приподнимать их, не решаясь ни уйти, ни сесть на место.

Наблюдавший эту сцену старик-цирюльник удивленно уставился на всегда самоуверенного и заносчивого мануфактурщика.

— Что с вами, господин Гаснер? — ехидно спросил он. — Опустите руки! Или вы хотите уже сдаваться?! Не торопитесь, успеете!.. Пока ведь он один только здесь и еще не известно, когда заявятся его дружки из-за Днестра...

Но мануфактурщик, вопреки обыкновению, пропустил мимо ушей язвительное замечание цирюльника. Его голова была до отказа забита тревожно-недоуменными вопросами, на которые он не мог найти сколько-нибудь вразумительных и успокоительных ответов: «Что же это делается? Как могли выпустить такого босняка?! Такого бандита! Сам ведь Статеску говорил, что его заковали в кандалы и вообще теперь ему не видать белого света!? И к чему я плачу столь большие налоги, если власти не хотят уберечь меня и других порядочных людей от таких бунтарей?! А взятки какие я каждый раз им даю! Они называют это «подарки»... Ничего себе «подарки»... А этот босяк смотрит на меня так, что лучше бы ему ослепнуть! Еще может и по уху влупить... От него всего можно ждать, даже в кофейне! Тогда все эти паршивцы вообще не дадут мне покоя: «смазал», «вдарил»...

Не один Гаснер недоумевал по поводу столь неожиданного прекращения дела, начатого столичной сигуранцей против ею

же арестованного политического преступника. Комиссар Рафтопуло и сыщик Статеску читали и перечитывали «постановление», строили всякие догадки, но так и не нашли ответа на волновавший их вопрос. Одно было ясно — постановление поступило от Генеральной дирекции сигуранцы, и, стало быть, они обязаны точно выполнить изложенные в нем предписания. И тем не менее они связывались по телефону с Бухарестом, перепроверяли. Все оставалось в силе... Ни Рафтопуло, ни Статеску, ни тем более Гаснер не могли, конечно, и подозревать, что именно старший инспектор «Бухарестского департамента по борьбе с коммунистическими элементами» Солокану, решив покончить с собой, на прощанье «хлопнул дверь». И поступил на этот раз уже не согласно долгу службы, а как подсказывало пробуждавшееся в нем сознание...

Не догадывался об этом и Томов. Однако то, что он узнал из обрывка газеты, в сопоставлении со странным поведением Солокану во время посещения им Томова в камере тюрьмы Вэкэрешть, склоняли его к мысли, что своим появлением в Болграде и освобождением из-под ареста он обязан покойному инспектору Солокану.

Гаснер все еще стоял в нелепой позе у своего столика и не мог решить, что ему следует делать, как вести себя, когда к Томову, радостно улыбаясь, подошел Рузичлер и, притворяясь, будто видит его впервые, обменялся с ним крепким рукопожатием. Типограф всячески старался на виду у всех присутствующих, и особенно Гаснера, подчеркнуть свое уважение к Илье. Он взял его под руку и, сопровождаемый изумленными взглядами, вышел с ним из кофейни.

На улице Рузичлер спросил Илью:

— Ты видел в углу сыночка господина Попа?

— Видел.

— «Прекрасный Жоржик!» — усмехнулся типограф. — Вместе с папочкой наконец-то им удалось отправить мамочку в могилу, и теперь они на всю катушку спускают нажитое еще ее отцом!..

— У Жоржика умерла мать?

— Да.

— Вот как?! Давно?

— Нет, недавно. С ее смертью тоже какое-то темное дело, но не об этом я хочу тебе сказать... С Жоржиком сидел красавчик, видел?.. Высокий! Говорят, это его приятель из Бухареста... Такой же, видать, хлюст, как сам Жоржик...

Илья промолчал. Он узнал Лулу Митреску.

— Что-то повадился сюда этот красавчик, — продолжал скороговоркой типограф. — Приятели!.. Правда, в последнее

время Жоржик притих. Как бы не перед бурей... Не таковский сыночек у господина Попа, чтобы ни с того, ни с сего притихнуть...

Томов запомнил Лулу Митреску еще с тех пор, когда тот приходил в пансион мадам Филотти кланчить оставленные под залог вещи... Потом, когда Илью отправляли в тюрьму Вэкзрешть, видел его в дежурке сигуранцы... Лулу что-то сосредоточенно писал там... Теперь появление его в Болграде и дружба с Жоржиком Попа заставили Илью задуматься.

— Так что теперь скажешь? — спросил Рузичлер. — Надо было тебе прийти сюда?

— Видимо, надо... Но хочу сказать вам, господин Рузичлер, что хотя я и на свободе, однако остаюсь под надзором полиции и обязан дважды в неделю приходить к ним отмечаться.

— Ну и что? — спокойно парировал типограф. — К чему ты мне это рассказываешь?

— Ну, мало ли что... Может быть, вам не следует так вот откровенно...

— А я их не боюсь! — поняв, что имеет в виду Илья, прервал Рузичлер. — И притом, разве я делаю что-нибудь против их паршивых законов? Где написано, что с тобой нельзя встречаться, здороваться и разговаривать? И вообще, что они могут мне сделать? Соли насыпать? Типографию закрыть? Пусть сыпят и пусть закрывают... Тружусь как каторжник, от них никогда ничего не получаю. Я расписываюсь, а деньги они кладут себе в карман! Словом, плевал я на них! Лучше скажи, ты заметил, что творилось с Гаснером, когда ты смотрел на него? Ведь одно это зрелище, Илюшка, стоит миллиона! И вся эта шваль — коммерсанты и спекулянты, бездельники и железногвардейцы во главе с Попа, — увидев тебя, словно подавились! Каркали, каркали, пророчили тебе кто острог, кто каторгу, даже виселицу, и вдруг... Уверен, всем им придется срочно сменить подштанники! Особенно Гаснеру!

— Да черт с ним!

— Что?! — горячился типограф. — Я еще надеюсь дожить до того дня, когда этот мерзавец со своими миллионами будет трястись в лихорадке при таком же вот неожиданном для него, как твое, появлении наших из-за Днестра... Тогда я вообще проживу, по меньшей мере, еще сто лет! Должны же они зашевелиться, наконец, или не должны?!

Томов пристально посмотрел на типографа и, вспомнив разговор с Бурлаченко в камере галацкой тюрьмы, немного помедлив, ответил:

— Должны. И скоро...

Юрий Антонович Колесников.

ЗАНАВЕС ПРИПОДНЯТ

Р о м а н

Редактор А. Столова. Художник Ю. Румянцев. Художественный редактор А. Святченко. Технические редакторы Б. Шайкис и Б. Вельфор. Корректоры: Е. Лев, Р. Лапшинова.

Сдано в набор 17/VII-75. Подписано к печати 24/V-76. Формат бумаги 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Печатных листов 33,48. Уч-изд. листов 36,06. Тираж 15000. АБ 04217. Цена 1 руб. 25 коп. Заказ № 898.

Издательство «Лумина» («Свет») Кишинев, ул. Винницкая, 10.
Полиграфкомбинат Госкомиздата МССР. Кишинев, ул. Т. Чорбы, 32.

1 руб. 25 коп.

Занавес приподнят

ЛУМИНА • 1976